

АНАТОЛИЙ
ВИНОГРАДОВ

АНАТОЛІЙ ВИНОГРАДОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТЬ О БРАТЬЯХ ТУРГЕНЕВЫХ

РОМАН

ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
В ТРЕХ ЧАСТЯХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

**ББК 84Р7
В49**

**Примечания
Н. МАВЛЕВИЧ**

**Оформление художника
Т. САМИГУЛИНА**

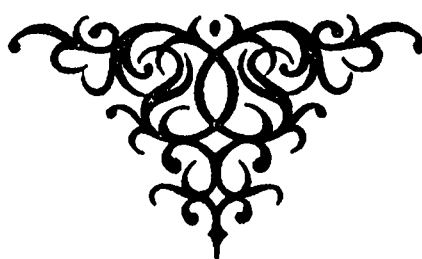
4702010200-295
В 028(01)-88 **подписное**

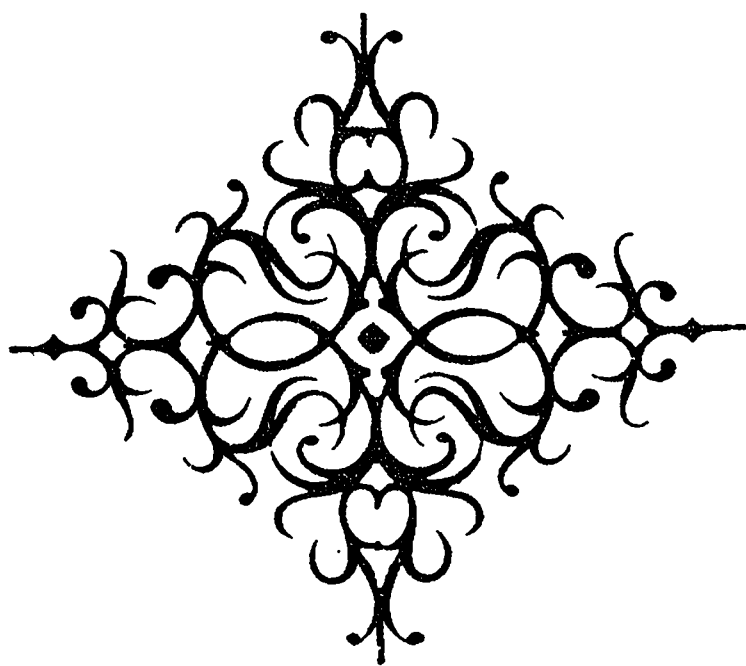
**ISBN 5-280-00117-1
ISBN 5-280-00433-2**

© Состав, примечания, оформление. Издательство «Художественная литература», 1988 г.



ПОВЕСТЬ
О БРАТЬЯХ
ТУРГЕНЕВЫХ







ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема исторического романа по-прежнему остается проблемой в силу того, что наша поэтика, теория жанров и стилей пока ограничивается лишь общими теоретическими указаниями, исходящими от максимы ученого исследователя: *«История есть политика, опрокинутая в прошлое»*. Это недостаточно и не во всем верно.

Мы не намерены касаться здесь теоретических вопросов: нас интересует *литературная практика*. Пользуясь доступностью частных, семейных и государственных архивов, мы берем нетронутый угол прошлого и пытаемся практически разрешить на микроскопическом сегменте задачу воссоздания этого прошлого в той мере, в какой малый сегмент является частью огромного круга проблем, объясняющих необходимость сегодняшнего дня. *Объяснение не есть оправдание*. Нынешний блестящий день человечества, организовавшегося на гигантских пространствах, равных одной шестой части всей суши, в социалистическое общество, не нуждается в оправдании. Скорее наоборот: качество прошлых дней мы оправдываем готовностью к нынешнему. Именно с этой точки зрения мы с интересом останавливаемся на некоторых фигурах прошлого.

Семья — отец, мать и четыре сына Тургеневы впервые становятся объектом исторического романа. Каждый из персонажей по-своему интересен, но, конечно, наиболее яркой фигурой, с точки зрения исторической ценности, является Николай. Старик Иван Петрович Тургенев, воспитанный в идеях гуманности масонов, друг республиканца Радищева, его жена Екатерина Семеновна — крепостница и кнутабоица, красавица с арапником, щадившая борзую и налагавшая красные полосы на спины

малолетних детей,— вот первая коллизия, мучившая первое сознание молодых Тургеневых. А дальше «*нищета миллионов и богатство счастливой тысячи*», александровская сентиментальность и аракчеевское зверство, истинно русское «хамство, блевотина расейского вихрастого парня с гармошкой» и «блестящие интеллекты Германии, Франции и Англии» — все эти противоречивые впечатления не могли не произвести переворота, мучительного и долговременного, в умах тургеневской молодежи. Но каждый из четырех братьев по-разному воспринимал жизнь; по-разному предъявлял ей требования. По мере сил изображая эту неодинаковость, автор стремился к равновесию, но уже в силу того, что Николай сделался в молодых годах «преступником царской России» и *пережил* на своем большом сложном и интересном пути *всех братьев*, его судьба, естественно, выступила в нашей повести на передний план. Николай Тургенев родился в трагический 1789 год, когда грянул освежающий гром Великой французской революции — молодая буржуазия, свергнув дворянство руками трудящихся, сама становилась у власти. Тургенев умер в 1871 году, когда окрепший пролетариат Парижа впервые в открытом бою сделал попытку отнятия власти у буржуазии. Чрезвычайно интересна судьба Николая Тургенева и его брата Александра — двух растений, сорванных с родной почвы разливом великих исторических рек и проведенных цветущие свои годы «без корней у чужих берегов». Не потому ли их судьба при всей яркой и пестрой прихотливости была судьбой почти бесплодных растений — глубоко трагической судьбой добровольных изгнанников, скитавшихся под зноем и дождями европейской погоды XIX века?

Несколько слов по поводу «исторической правды». В тех случаях, когда события двух-трех лет не находились во взаимной причинной связи, мне приходилось описывать их в плоскости одновременной, чтобы *необходимым* материалом не растягивать *излишне* повествования. Кроме того, по ряду композиционных соображений мне необходимо было свести в одном месте персонажи, которые в данном году фактически отсутствовали в Петербурге. Еще двум второстепенным лицам пришлось прибавить возраст года на *три*; я сделал это для того, чтобы не прибавлять к повести лишних страниц — главы на *четыре*. Это существенно не изменило той внутренней правды, которая является обязанностью пишущего. На

эту тему я не желаю спорить. Я не желаю также спорить на тему о том, нужно или не нужно было вводить в мою повесть всю массу неудобоваримых и еще на многие годы дискутабельных характеристик разных групп «*исторического декабризма*», групп, составляющих предмет школьного исследования.

Я не проводил своих героев через «Знаменитые годы» XIX века, стараясь не попасть в положение *sicetone* — проводника туристов по знаменитым местам и историческим зданиям.

Я согласен спорить и защищать свою характеристику Николая и Александра Тургеневых. Я настаиваю на связи русского масонства и политических обществ с «*большой европейской Карбонадой*», вслед за Кампером. Идеи и практика, сущность и ритуалы тургеновской конспирации были и оставались «*импортными моментами*». Николай Тургенев, в сущности, не был декабристом в историческом значении этого термина. Документы прочитанного мною тургеновского архива настойчиво говорят о том, что оба брата были и оставались «*поздними розенкрейцерами*» — масонами высоких степеней.

Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, давшее такую яркую картину истории, ни в какой мере не было делом рук Николая Тургенева, тем менее Александра. Трудно сказать, как сложились бы события, будь Николай Тургенев в России. При его жесткой прямолинейности, большой и отчетливой планомерности действий, «14 декабря» или не было бы вовсе, или династия Романовых могла бы найти себе конец. Политическая потенциальная сила Тургенева волею истории была лишена проявления и динамики.

«Опыт теории налогов», по мнению М. Н. Покровского, был сводкой классических воззрений «политической экономии, на которых воспитался и Маркс». Но политическая система Н. И. Тургенева, при всей своей жизненной новизне, имела перед собой действительность, ставшую *против*. Из этого нельзя делать отрицания системы, как из неуспеха какой-нибудь паровой машины Герона Александрийского в рабовладельческом эллино-римском мире нельзя делать ни отрицания самого факта изобретения, ни значения повторного ее изобретения в другую, более благоприятную эпоху. Меня, беллетриста, интересовала вся семья Тургеневых как трагических личностей. В одном случае они обогнали свое время и

оторвались от широкой среды, в другом — после 14 декабря они роковым образом оказываются позади тех, кого когда-то звали за собой. Сделав свое дело, Н. Тургенев не только не увидел осуществления своих замыслов, но даже вынужден был от них отречься отречением Галилея. В истолковании этого явления мы видим глубоко поучительный пример того, с какой легкостью иногда выпадает ценное и необходимое звено при механически понимаемом процессе и как это звено закономерно укладывается в исторические связи при диалектическом понимании истории.

Я не считаю возможным спорить о правильности и пригодности для беллетриста так называемой «Оправдательной записки» 1827 года. Эта (равно как и другая редакция «оправданий») всецело вынужденная записка Николая Тургенева представляет собою смесь юридической софистики французского адвоката Ренуара, стилистических двусмысленностей Проспера Мериме и, самое главное, психологической беспомощности большого человека, попавшего в страшную николаевскую западню. Трудно судить о человеке вообще, если брать только то, что он напишет под дулом револьвера или под топором палача в свое «оправдание». Во всяком случае, такая записка никак не может считаться исчерпывающим документом всей жизни Николая Тургенева. Достаточно с меня того, что его «Оправдательная записка» оправдана исторически как документ научный и нисколько не оправдывает возлагаемых на нее надежд, как только дело идет о живых образах для бытописателя-беллетриста.

Я не имею нужды утруждать читателя перечнем материалов, которыми я пользовался. Некоторые из них все еще мало доступны. Публикуемое в ближайшее время исследование дает мне несколько бóльшие возможности коснуться вопроса о материалах.

Последнее сомнение, которое довелось мне услышать по поводу моей повести: Александр Тургенев якобы «расстался с дворянскими симпатиями и ринулся навстречу молодой буржуазии». Надо сказать, что Александр Тургенев был довольно сложной фигурой, несмотря на черты поверхностные и неглубокие. После тяжелой семейной катастрофы Александр Тургенев в качестве скитальца искал самых разнообразных европейских встреч — он записывал анекдоты Проспера Мериме, любезничал с Виктором Гюго, спорил с Бальзаком о Сведен-

борге, дружил с карбонарием Андрианом, часами беседовал с бабувистом Буонарроти, путешествовал со знаменитым Стендалем, вместе с Лерминье посещал беседы сен-симонистов. Однако в день скандала на лекции Лерминье, произнесшего контрреволюционную фразу, Тургенев под натиском возмущенных студентов принужден был выскочить из окна вместе с лектором и с приятелем своим Петром Андреевичем Вяземским. Александр Иванович бывал всюду, но христианнейшие салоны Свечиной или Рекамье с Шатобрианом, или легитимный салон Виргинии Ансло всегда притягивают его отовсюду, несмотря на то что Николай пишет ему: «Шатобриан бредит... не хочу помощи Гизо». После Июльской революции в Париже, когда мэр департамента Сены Одилон Барро открывал своей речью буржуазный клуб «Атенеум», с какой едкой иронией Александр Тургенев передает в дневнике речь оратора, захлебывающегося от восторга по случаю того, что французские купцы и банкиры — «соль земли», стали у власти! Это презрение к буржуазии, сменившей феодальную Францию, звучит в устах Александра Тургенева реакционно. Можно было отводить душу даже с представителями европейской Карбонады новой формации: спасшимся из тюрьмы Андрианом или учеником Бабефа, Буонарроти!

Для тех, кто интересуется судьбою тургеновского наследства, сообщаю, что последний представитель тургеновской семьи Петр Николаевич Тургенев передал весь архив Академии наук уже в нынешнем столетии.

Пострадавший на вилле Вербуа в год франко-прусской войны от солдатского сапога, этот архив еще более пострадал от рук неряшливых представителей науки: один, работая над несданной частью архива у себя на дому многие годы, так и умер, не пожелав сдать документов, а другой, бежав за границу, частью бросил на произвол судьбы, а частью *украл* ценнейшие документы из тургеновской переписки. Автору настоящей повести известно, что третий ученый виделся в Париже с беглецом, но желательных для *нашей родной советской* науки последствий это свидание, очевидно, не имело.

В заключение считаю радостным для себя долгом выразить горячую благодарность М. Горькому, без внимательной заботливости которого я не мог бы осуществить замысел этой повести.

Анатолий Виноградов



Глава первая

Верстовые столбы мелькают по дорогам. Пошатнувшиеся и истертые осями почтовых карет и брик, они меряют версты за верстами от Москвы до самого Симбирска. А посмотришь из окон Тургеневки на другую сторону Волги, и кажется, что кончилась Россия, или уж, во всяком случае, географическая Европа кончилась. Дальше, от заволжских степей, где-то несутся сухие пески. Кончаются леса, и глядят через широкую, плавную Волгу глаза азиатского Востока. Там и москвич, и ловкий ярославец, и калужанин, и туляк, и Рязань хоть и чванятся как хозяева, но все-таки они чужаки. Чуваш и черемис, татарин и старые, непонятно откуда ведущие свой род болгары, а иногда киргизы, пригоняющие конские косяки в десять—двадцать табунов,—вот настоящие хозяева края.

Когда маленькие Тургеневы вышли, заспанные и усталые, из старой екатерининской дормезы, они не сразу огляделись и не сразу признали Тургеневку своею.

— В Киндяковку поедем завтра,—сказал отец.— Да и то, ежели кости ломить не будет.

— Уж ты посиди хоть недельку, я сама поеду,—ответила своенравная супруга Катерина Семеновна, рожденная Качалова.— Тебе, Иван Петрович, спешить некуда. Раз ты меня однажды не послушал и своих масонов не бросил, за что пострадал, то уж хоть теперь-то возьми за ум,—все равно Москвы не видать тебе как ушей своих.

Одиннадцатилетний Андрей, старший сын Ивана Петровича Тургенева, внимательно вслушивался в родительские пререкания. Немец Тоблер, учитель, подошел и сурово приказал ему подниматься в мезонин.

Вид оттуда чудесный. Зеленые степи на другой сторо-

не с озерами и песчаным берегом Волги. А здесь огромные фруктовые сады над крутым и обрывистым берегом перемеживаются с дубовыми рощами, бегущими лентой от самого Нижнего и дальше к западу окаймляющими берега Оки.

— Здесь очень красиво,—сказал маленький Саша Тургенев по-немецки.

— Александр, раздевайтесь, идите умываться, потом успеете насмотреться в окна. Боюсь, что окна будут мешать занятиям,—сказал Тоблер.

— Здравствуйте, дорогой барин, отец меня к вам послал на услужение,—сказал красивый четырнадцатилетний мальчик, останавливаясь в дверях.

— А как тебя зовут?—спросил Александр.

— Василий,—отвечал мальчик.—Мы вашего батюшки рабы.

— Нет, Вася, у моего батюшки рабов нету.

— Как же так нет?—отвечал Василий.—Они на Волге, можно сказать, главный хозяин. Весь Симбирск их знает.

— А ты меня, Вася, барином не зови. Будем играть вместе,—сказал Андрей.

Александр подхватил слова старшего брата, и трое мальчиков пошли переодеваться с дороги.

Перед обедом, часа за полтора, Катерина Семеновна вошла в кабинет Ивана Петровича. По решительному виду жены Иван Петрович почувствовал, что разговор будет серьезный. И действительно, с первых слов тон Катерины Семеновны был самый решительный.

— Хочу тебе, Иван Петрович, по душам словечко сказать. В Москве не до того было. Я уж видела, что государынин гнев тебя к земле пригнул. Ну, тут не Москва и не Петербург, тут ты согласишься к делам не подступать и моих холопов не портить.

— Что вы, что вы, Катерина Семеновна, разве я вашему хозяйству перечил? Об одном лишь вас попрошу—не забывайте о милосердии и справедливости к рабу, ибо раб есть не меньше человек, нежели члены других сословий государства, а в послании Иоанна-масона сказано...

— Ну, батюшка,—резко оборвала Катерина Семеновна,—я думала, что ты свою масонскую белиберду в

Москве за Рязанской заставой оставил, ан выходит, до самого Симбирска довез! Мало тебе, что как ссыльного в деревню согнали; мало тебе, что друга-приятеля Новикова в крепость посадили, а этого крамольника Радищева в Сибирь под конвоем отвезли; мало тебе того, что уж совсем хороший человек Иван Владимирович Лопухин под надзором полиции в Москве живет; мало того, что ты с семьею Москвы как ушей своих не увидишь,—ты еще здесь мне мужиков вольнодумством портить хочешь! Какое ж это будет хозяйство, ежели у тебя в голове крамольное настроение вместо дворянского ума...

— Катерина Семеновна, оставьте, матушка, перебранку. Нравственное совершенствование есть истинный долг человеческий, и я об одном прошу вас, чтобы в имении нашем не было телесных наказаний.

— Как? Что? — наступала Катерина Семеновна. — Я и твоего любимца, пропойцу Пафнутку, выпороть не могу? Да ты, Иван Петрович, ума рехнулся? Знаешь ли ты, что Щербатова рассказывала мне в самый день прощания нашего с Москвою, что вот из-за этих самых вольностей в мыслях французы короля сместили, что у них бунт и резня, что голоштанники в правители полезли. Мало тебе Пугачева?

— Эх, матушка, пороли б меньше, Пугачева бы не было. А французы от нас далеко.

— Далеко, говоришь, старик, а знаешь, какие мысли Александр в голове держит, что он-де во Франции учиться наукам будет. Это мне Тоблер сказал. На горох мальчишку поставлю. Жаль, что тебя, старого, на горох поставить нельзя.

Иван Петрович беспомощно развел руками, словно сам удивляясь невозможности стояния на горохе.

Катерина Семеновна, когда-то замечательная красавица, дама сухая и строгая, отличалась свободною плавностью манер и полновластной осанистостью. Иван Петрович, сияющий, как солнце, в кругу своих друзей — Карамзина, Дмитриева, Радищева, Новикова, Лопухина, Фонвизина — угасал при малейшем выражении недовольства своевластной супруги. И в Москве и в деревнях он пытался всячески облегчить участь крепостных, попавших под тяжелую руку Катерины Семеновны, но делал это тайком, с боязливостью, не внушавшей никаких надежд его невольным подзащитным. Для крестьян Иван Петрович был просто приживальщиком и нахлебником,

не смевшим перечить истинной хозяйке — Катерине Семеновне. Хуже всего было то, что мысли о заграничном воспитании детей были взлелеяны самим Иваном Петровичем и он знал, что рано или поздно придет время для серьезного разговора об осуществлении этого воспитательного плана.

Гнев императрицы Екатерины обрушился как снег на голову и был истинной катастрофой. В Европе закачались троны. Герцог Брауншвейгский приглашал государей к походу на Париж и к сожжению мятежного города. «Вольтерьянские цветочки» превратились в «красные ягодки» французской революции. И многим приходилось расплачиваться за увлечение Вольтером. Плохо пришлось и самой Екатерине. Вольтер был ее корреспондентом. В глазах царицы и крепостного дворянства именно Вольтер и авторы Энциклопедии были отцами революции. Катерина Семеновна с негодованием видела в словах Ивана Петровича зародыши мятежа в ее собственном семействе, а спокойный и благодушный член общества вольных каменщиков, масон Иван Петрович Тургенев, отставной полковник Ярославского пехотного полка, конечно, ни о какой революции не думал. Страшился он ее так же, как и другие дворяне. Масонское стремление к нравственному совершенствованию казалось ему необходимой помощью христианской религии, и ни о каком переустройстве не только мира, но и своей усадьбы Иван Петрович не думал. Одного он хотел добиться, это — чтобы Катерина Семеновна запретила побои и отменила телесные наказания. В Москве это ему удалось, в деревне опальный масон почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Что можно было сделать? Детям внушить отвращение к рабству. Делать это надо исподволь, не тревожа Екатерины Семеновны педагогическими домыслами, благо она сама науками мало интересовалась, предоставив это дело целиком Ивану Петровичу. Он все-таки пытался слабо возражать, но Катерина Семеновна решила нанести главный удар.

— Хорошо ли старику говорить неправду? Я еще в Москве тебя спрашивала о причине царского гнева — ты все от меня укрывал. Ну, так знай же, что мне доподлинно все ваше безумство известно. Пожалел бы семью, старик!

Глава вторая

То, что было предметом двухлетнего молчания между супругами, внезапно стало темой неприятного разговора. Приятель Ивана Петровича Тургенева, Александр Николаевич Радищев, пропутешествовал из Петербурга в Москву, побывал в сотый раз у Тургеневых, потом приехал к себе и описал свое путешествие. Да даже не одно путешествие. Чего тут только не было! Тут была и ненависть к царям, и оправдание крестьянских восстаний против помещиков. В этой книжке Радищев выступал как пламенный республиканец. Он призывал к разрушению царской России, к ниспровержению огромной империи, из развалин которой должны, как малые светила, возникнуть свободно соединившиеся в большой союз вольные республики.

Из недр развалины огромной
Среди огней, кровавых рек,
Средь глада, зверства, язвы темной,
Что лютый дух властей возжег,—
Возникнут малые светила.
Незыблемы свои кормила
Украсят дружба венцом,
На пользу всех ладью направят
И волка хищного задавят,
Что чтит слепец своим отцом.

Итак, слепой народ, по слепоте своей, самодержавного волка считал своим отцом. Но, проснувшись и прозрев, он неминуемо этого волка задавит. Так писал Радищев в своей книге «Путешествие из Петербурга в Москву».

Как могла появиться такая книга при царице Екатерине II? Для многих потом это было непонятно. Для Катерины Семеновны непонятно было, как с таким человеком мог дружить Иван Петрович. Правда, книги она тогда не видала. О Радищеве слышала очень коротко и смутно, знала, что он арестован.

А происходило это вот как. Императрица любила поиграть с огнем. Вступила она на престол, прикончив своего слабоумного мужа, в надежде, что из незнатной немецкой принцессы воля истории превратит ее в либеральную царицу азиатской страны. То, что едва успела она прочесть в библиотеке своего отца, немецкого гене-

рала, довольно сильно вскружило ей голову. Приехав в Россию в качестве супруги Петра III, больше всего любившего потехи с деревянными солдатами на огромном столе и расстрелы горохом крыс, повешенных за лапки, Екатерина Ангальт-Цербтская почувствовала некоторое головокружение от обилия власти и применения личных способностей. Сбить с престола своего супруга было делом легким. Чем дальше, тем больше убеждалась принцесса, ставшая императрицей, что управлять страшно неученых дворян тоже чрезвычайно легкая и забавная штука. Но хотелось прославиться. На Западе не было крепостного права, не было холопства. И вот она затевает переписку с философами, Вольтером и Дидро. Дидро приезжает в Петербург, осматривает все диковинки екатерининских построек и говорит, что уж очень велико несоответствие между счастьем одного человека и несчастьями миллионов. Екатерина созывает своих дворян, пишет им наказ для составления проекта нового государственного уложения. Небывалый случай в Европе: в варварской стране, построенной по образцу древних восточных деспотий, императрица созывает депутатов для того, чтобы после многих веков молчания населения услышать какой-то его голос. Екатерининский наказ печатается на многих языках и, как это ни странно, царский наказ, пришедший из России, получает полное запрещение и сожжение в странах Западной Европы.

В 1766 году двенадцать молодых дворян отправляют в Лейпциг учиться для того, чтобы впоследствии сделать из них усердных и знающих чиновников царской России. Среди них — приятель Ивана Петровича, молодой Саша Радищев. Двенадцать молодых дворян едут в сопровождении фельдфебеля Бокума, который смотрел на своих питомцев как на клетку путешествующего зоологического сада. Он сажал их в карцер, лишал обедов, заставлял голодать по суткам и по двое. Однако он не мог влезть к ним в головы и не мог остановить течения свободолюбивых мыслей своих воспитанников. Однажды, применив к молодому Александру Радищеву способ физического воздействия, он в ответ получил звонкую пощечину и упал на пол. В городе Лейпциге Бокум в ответ на оскорбление потребовал применения к русским ученикам военной силы. Все студенты были арестованы и наказаны как государственные преступники заключением в темных казематах, пока не узнали о всех кражах и жестокостях

Бокума и его не сместили. Самая главная наука, которую прошел Саша Радищев, была наука о том, что люди рождаются равными, что у них есть естественные, прирожденные и неотъемлемые права, что государство образовалось путем общественного договора вольных людей, которые свою неограниченную свободу, данную от природы, ради общего блага ограничивают законами гражданскими, но лишь до той поры, пока эти установленные людьми гражданские законы не обращаются во зло людям, и тогда граждане имеют право насильством и кровопролитием эти законы низвергнуть. Законы человеческой массы и свобода человеческого общества столь же естественные вещи, как дыхание воздухом или глядение на свет солнца. Два философа были любимым чтением молодого Радищева. Это — Руссо и Мабли. С этими мыслями, с их учением возвращался он в 1771 году в Россию. Он был охвачен безумным и пламенным порывом «всего себя отдать на пользу отечества», он был уверен, что раз их, двенадцать, послали учиться этим наукам, то, значит, несмотря на казематы Бокума (которого все-таки сместили — справедливость восторжествовала!), возложена на них трудная, но почетная задача. Вернулся, снова встретился с сердечными друзьями — Иваном Тургеневым, Лопухиным, Новиковым. Подал им знак посвящения в масонскую ложу, встречен был как брат младшей степени без особых клятв и церемоний, а дальше начались путешествия из Петербурга в Москву.

Через два года любознательная императрица создала «Общество переводчиков», чтобы переводить любопытнейшие сочинения с иностранных языков на русский. Опять приглашен Саша Радищев. Вызвали его, спросили: «Что хочешь переводить?» — «Хочу перевести «Размышления о греческой истории» аббата Мабли». Любимые мысли Радищева — полное равенство людей, передача земли в национальную собственность, одинаковые законы для всех. Не довольствуясь переводом, Радищев дает примечания, в которые вкладывает гораздо больше, чем думал сам автор. Иван Петрович читает и выхваляет: «Хорошо, Саша, правильно пишешь, но как мы с тобой слово «деспотизм» объясним?» Не спеша очинив гусиное перо, Радищев пишет: «Деспотизм есть *самодержавство* — наипротивнейшее человеческому естеству состояние».

...И, откинув перо, берет очередной номер «Ведомостей» и читает газетные объявления:

Продается малосольная осетрина,
семь сивых меринов и муж с женою.

А дальше в следующей колонке не менее красноречивое объявление:

Продаю одиннадцати лет девочку
и пятнадцати лет парикмахера.
Да сверх сего четыре кровати,
перины и прочий домашний скарб.

— Каковы объявленьица! — восклицает Радищев, глядя прямо в глаза Ивану Петровичу.

В эту минуту вошел Лопухин и сказал:

— Товарищ, и ты, брат, в стране нашей неблагополучно, неведомый поднялся за Волгой и возмутил вихрем вольности столетия дремавших рабов.

То были первые вести о страшной, кровавой грозе пугачевской. Радищев и Тургенев встали.

— В стране, где две трети населения в законе мертвы, разразится гроза опасности и гибели. Ждут случая и часа, колокол ударит, и пагуба зверства разольется быстротечно. Что ты хочешь, Лопухин, смерть и пожигание будет ответом на нашу суровость и бесчеловечье.

С этого дня начались тревоги и волнения. Под именем Петра III, убитого мужа императрицы, поднялся старый, вековечный самозванец русский и пошел жечь города и села, протянув кровавую руку призрака к императорской короне. Вольтер и Дидро посмеивались тихо. Нахмуренная царица, выходя утром из опочивальни, приказала Вольтеру статую выбросить в подвал. Потом, позвавши Анну Степановну Протасову, спросила:

— Ну, что, каков?

— Не годится, матушка, второй ночи не выдержал.

— Отправь его тогда на съезжую.

Разговор короткий, но многозначительный. Анна Степановна — крепкая и свирепая женщина — по приказу царицы всегда брала на трехночное испытание намеченных императрицей людей, прежде чем допустить их к царской опочивальне в китайском шлафоре и с книжечкой в руках, якобы для чтения у благочестивейшего царского ложа.

Эта неудача с избранником огорчала императрицу не меньше, чем слух о взятии Казани Пугачевым.

«Что это за несчастье! — думала она по-немецки. — В один день две неприятные вести. Одно дело — красиво сказать, а другое дело — затеять мятеж. Никто не может сказать, какой ад живет в душе русского мужика».

Императрица стояла в Мельбрунском павильоне; перед окнами кипела, покрываясь белыми барашками, широкая Нева. Золотой тончайший шпиль Петропавловской крепости купался в ясном, светло-синем воздухе. Мягкий свет тысячею брызг дробился в хрустальных подвесках тридцати тысяч граненых хрусталинок на люстрах Мельбрунского павильона. Белые стены, белые мраморы пола, белые раковины под фонтанами, ручейками нежно журчащей воды, — все купалось в том же воздухе двусветного павильона. Ажурные мраморы перил легко взлетали на верхнюю галерею, зеленые мирты, штамбовые розы и шары лавровых деревьев смотрели на мраморах, словно поздняя зелень на раннем снегу. Под роскошным стеклянным балдахином огромный золотой павлин с часами князя Потемкина-Таврического махал крыльями и выкрикивал полдень. Пушка на крепости стрельнула точно, правильно. Механизм государства идет безошибочно. А вот Казань взята, и фаворит оказался непригоден. А какой широкоплечий, красивый и стройный! Что же это за напасть такая — Протасихи не выдержал! Что же это за напасть такая — умерший в Ропше супруг вдруг ожил и двинулся с войском на Москву. Императрица была очень недовольна. Перекусихина Мария Саввишна и камердинер, Захар Константиныч, по нечаянности вместе вошли в Мельбрунский павильон. Оба, причастные к ночным бдениям царицы, не имели других намерений, как отремонтировать закусокный столик, застрявший по дороге и не ушедший под пол. (А полагалось, чтобы прислуга по ночам не входила в Мельбрунский павильон. Все подавалось механизмами из-под полу.) Императрица разгневалась нечаянным посещением. Звонкая пощечина Перекусихиной обратила в бегство также и ее сотоварища.

— Не смей неделю в Эрмитаж показываться, паскудница! — закричала царица.

Политическая катастрофа охладила эту женщину к ночным приключениям, но потом начались успехи. Неорганизованные пугачевские массы таяли в заволжских степях. Вместе с жестокостью, проявленной к помещикам, появилась крестьянская холопливая угодливость, спасав-

шая господ и выдававшая пугачевцев. Шли с именем «законного» царя против «незаконной» царицы. А императрица, почитавшая себя законной государыней, разбивала беспорядочные группы повстанцев и овладевала важнейшими местами их сборов. Вместе с тем какая-то счастливая истома овладевала молодой царицей. Любовные удачи ее были неисчислимы. Молодой называла она себя не только сама, но и те, кого в китайском шлафоре приводил Захар Константиныч к опочивальне царской. Месяцы проходили, и портной не успевал пошивать золоченые флигель-адъютантские мундиры, шляпы с плюмажем и брильянтовым аграфом едва успевали отвалять искусные шляпники. Каждое утро Захар Константиныч являлся в новые покои нового фаворита, поднося ему флигель-адъютантский мундир и шляпу с брильянтовой застежкой. Так прошли годы.

Глава третья

Наступил 1790 год. Обстоятельства во Франции были раздражающие. Пришла весть, что парижские горожане гурьбой пошли на старинную Бастилию — мрачную крепость в середине Парижа, в которой издавна томились политические заключенные, мечтавшие о республике и свободе. С оружием в руках овладев крепостными валами, потребовав спуска крепостного моста, они ворвались в тюремные камеры в надежде освободить заключенных. К тому дню их всего оказалось два человека, но тюрьма внушала так много ненависти, что парижане решили ее разрушить. Оказалось, что в самый трудный момент осады Бастилии двое молодых людей с фузеями и байонетами¹ кинулись в перестрелку. Русская императрица гневалась, так как эти двое оказались князьями Голицыными. Гнев ее был безграничен, когда, в размышлениях о голицынской измене, она взяла книжечку, забытую лектором-любовником на мраморном столике опочивальни. Книжечка в ярко-зеленом сафьяновом переплете, тисненая золотом, называлась «Путешествие из Петербурга в Москву». Захар Константиныч не позаботился узнать, что за книжка, просто вложил в руки фавориту самую последнюю книжную новинку безымянного автора, но-

¹ С ружьями и штыками. (Примеч. автора.)

винку, посвященную вопросу о простых вояжах, так как императрица «зело любила путешествия». Ночью было не до чтения, а утром, когда Перекусихина осторожненько, за ручку, вывела фаворита, книжка оказалась на мраморном столике, неподалеку от царского ложа. В размышлении о суетности своих успехов и о превратности судьбы французов, Екатерина взяла в руки эту книжечку. С вечера было у нее плохое настроение. Петербургские дворяне без всякого стыда и совести иллюминировали свои дворцы и пускали фейерверки «по поводу взятия Бастилии и падения тиранства». Пора переменить политику. Но вот, читая строчка за строчкой красиво описанный сон Радищева, она скидывает одеяло и в сорочке, почти упавшей с плеча, встает гневная и яростная. Писателю представилось, что он «царь, шах, король, бой, набоб, султан или какое-то сих названий нечто, сидящее во власти на престоле». К престолу подходит женщина-истина. Подошед к царю, сняла с глаз его толстую пелену и заявила, что доселе ей не приходилось бывать в царских чертогах. «Ведай,—говорит истина царю,—ты первейший в обществе убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общей тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если запустеет мир».

— Да ведь это оскорбление величества! — восклицает, читая, Екатерина и читает дальше:

— «Военачальники, посланные на завоевания, утопают в роскоши. Солдатам жизнь хуже, чем скоту. И казна, отпускавшаяся солдатам, прилипает к рукам начальства. Флот, отправленный против неприятеля, бездействует, а начальник его нежится на мягкой постели с любовницей. Народ называет верховную власть обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом».

Голубые глаза царицы загорелись яростью, дыхание стало затрудненным, нижняя губа отвалилась, румянец, покрывавший щеки после горячей ночи, вдруг сменился смертельной бледностью. Тридцать страниц прочитала — и никакой пощады. Швыряет книгу на пол, дергает сонетку с таким гневом, что шнур обрывается. Сонетка, как разбитая склянка, звучит коротко и падает на пол с жалким звуком. Календарь показывает 26 июля. Испуганный Захар, не умея скрыть выражение ужаса на лице, показывается из-за портьеры.

— Прикажи Храповицкого,—сдавленным голосом говорит царица.

Секретарь царицы пришел в сильном волнении. Царица не могла говорить. Слезы бегут у ней из глаз. Из невнятных слов царицы Храповицкий понял, что нужно послать за обер-полицмейстером. Обер-полицмейстер Никита Рылеев и Храповицкий, трясаясь всем корпусом, вошли в опочивальню царицы.

— Ты что же, беззубый хам, делаешь, ежели даешь разрешение на такие книги?! Кто сочинитель оной?—спросила Екатерина.

— Думаю, что не иначе, как Радищев...

И прежде чем Никита Рылеев и Храповицкий успели опомниться, она приказала разобрать это дело кнутабойце Шешковскому.

Шешковский был фигура страшная. Ему истинное наслаждение доставляло зрелище человеческих страданий. Но сердце его смягчалось всякий раз, когда родственники человека, попавшего к нему в лапы, помахивали перед его носом замшевым мешочком со звенящими червонцами. Шешковский был самым крупным взяточником из всех воров и расхитителей, окружавших престол Екатерины. Однако Шешковский запротестовал.

— Радищева я знаю, он всегда мимо Экспедиции (так называлась тайная полиция Екатерины) проходил без отягощения. Это не он,—говорил Шешковский.

Дело в том, что Радищев не принадлежал к числу тех людей, которые могли бы дать доход Шешковскому. Шешковский метил выше, он хотел замести в это дело молодого красавца, парижанина Строганова—приятеля известной якобинки Теруань де Мерикур, революционной амазонки, скакавшей по правому берегу Сены во фригийском колпаке и с обнаженной левой грудью.

Но улики оказались слишком явными. Арестован был Мейснер, носивший в цензуру книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Арестован был Зотов—книгопродавец и сафьянный переплетчик. Оба они показали, что книга была напечатана в домашней типографии Александра Радищева. Делать было нечего, пожива была плохая, оставалось только одно—натешиться вдоволь страданиями безденежного дворянина. Деревянные колышки под ногти можно было запускать на четверть вершка, ежели в чем запрется. Все равно денег от этого Радищева не получишь. За правильные показания Зотова

и Мейснера можно было освободить. Освобожденные явились к семьям своим, порадовались, что дешево отделались и спаслись, а поутру Зотов вышел до ближайшей чайной за кипятком и исчез бесследно. Мейснера супруга его Амалия Федоровна нашла поутру в постели холодным. Колпак свисал на нос, слезинка застыла на левом глазе, руки скрючились и заоченели, так что даже при положении в гроб невозможно было сложить крестного знамения из пальцев.

Александр Николаевич Радищев, узнавши, что справлялся о нем Шешковский, два часа не мог прийти в себя. Сознание к нему не возвращалось. Пробовал писать — выходили каракули. Бежать невозможно. Набрался мужества, решил потребовать свидания с императрицей, чтобы ей доказать свою правоту. Но опять помутнело сознание, прилег на диване, а проснулся в камере Шешковского. По первой просьбе увидеть царицу был сбит с ног ударом кулака в лицо. Грязным ручником повязал нос и разбитую челюсть. Отвечать отказался. Собственноручной пометкой Екатерина говорила: «Вход не имеет в чертоги, родился с необузданной амбицией, готовился к высшим степеням, но до них не дошел, желчь с нетерпения разлилась у него». Шешковский прямо тычет в глаза Радищеву книгу, где собственной рукой было написано: «Скажи сочинителю, что читала я его книгу от доски до доски и, прочтя, усомнилась, не сделана ли ему какая обида».

— Что скажешь? — спросил Шешковский.

— Скажу, что первейшая мне обида сделана, как человеку и гражданину, рабским состоянием страны Российской, чего ни в одной стране нет и к чему человек не рожден.

После этих слов тяжелый кнут сбил парик Радищева, и снова погрузился он в тяжкое, бессознательное состояние. Сильный запах нашатыря привел его в себя. Разъяренный Шешковский потирал правую руку, словно после большого ушиба, и говорил:

— Мне с тобою, смерд, разглаголать нечего. Царская воля мне известна. Признаешь ли книгу своею?

— Признаю, — ответил Радищев.

— Сколько штук ты пустил в продажу через Зотова?

— Восемьдесят, — ответил Радищев.

— Сколько напечатал?

— Шестьсот пятьдесят, — ответил Радищев.

— Где остальные?

— Пожег.

— А где рукописание твое?

— Пожег,— ответил Радищев.

— Укрыться хотел, крамольник,— заорал Шешковский.— Царицу оскорбил, а потом концы в воду. Это ты писал?— и подставил к самым глазам Радищева лист синей картузной бумаги, на котором были написаны полные строфы, частично вошедшие в «Путешествие», радищевской песни о вольности.— Ты писал?

— Я,— ответил Радищев хрипло и снова от головокружения и боли потерял сознание.

Когда он проснулся, то вместо Шешковского сидел неизвестный ему человек. На листе было написано канцелярской скорописью:

«Я, подписавшийся ниже, коллежский советник и бывший ордена святого Владимира кавалер, Александр Радищев, оказавшись в преступлении противу присяги должности и подданства, ныне обязуюсь яко государственную тайну хранить ныне учиненный мне допрос и ни о чем мною испытанном никому николи ни словом не обмолвиться, храня сие как государственную тайну под угрозою потери головы чрез отсечение».

Радищев машинально подписал, после чего надели на него кандалы и служительский тюремный тулуп, вывели и посадили в кибитку. Через два с половиной месяца тяжелых мучений проснулся Радищев в далекой Сибири, к северу от Иркутска, на поселении.

Катерина Семеновна, уставившись на мужа, пытала его:

— Что ж? О Радищеве неверно я рассказываю?

Рассказ ее был, конечно, неверен, но, казалось, злоба оскорбленной царицы нашла себе отклик в голове хозяйки крепостной вотчины: симбирская помещица негодовала не меньше, нежели российская императрица.

— Да тебе-то что до Радищева, матушка? Я же ведь к этой истории не причастен.

Звонкая пощечина была на это ответом. Иван Петрович вздрогнул и медленно опустился на старое потертое кресло.

Он был, конечно, прав. В деле ссылки Радищева имя Тургенева не фигурировало. Но Катерина Семеновна,

как мастерский следователь, осуществила только первую часть допроса. Ей важно было узнать, не растеряется ли Иван Петрович, видя ее чрезвычайную осведомленность. Существо дела по обвинению она решила изложить во второй части своего допроса и таким образом отыгаться за двухлетний *силанум* супруга. Силанум—это приказ о молчании, объявляемый периодически в тайных масонских обществах, когда все члены секретного братства обязуются многие месяцы, а иногда и годы, хранить полное молчание и не узнавать друг друга при встрече.

Не давши опомниться Ивану Петровичу, она продолжала уже на деревенской воле, зная, что никто из друзей не прервет беседы, свой допрос с пристрастием.

— Ты бы отца Илию, приходского батюшку, пригласил да вымолил бы у святых угодников прощение твоей проклятой ереси. Ты уже годов восемь в церковь не ходил, а причина сего мне теперь известна. Видишь ли, православный обряд отрицаешь и молитвой внутренней занимаешься. Так знай же, Иван Петрович, что из Симбирска ты ни в какой Орел не поедешь на собрания твоих масонов.

Иван Петрович молчал.

Он очень хорошо помнил выезды в Орел с Николаем Ивановичем Новиковым. Ехали на долгих из Москвы до самого Орла. Новиков был разговорчив и радостен, так как, помимо московской университетской типографии, которую он арендовал, открыл он у себя в подмосковной деревенскую типографию, в которой начал печатать многие «человечеству полезные» книги.

— Ценсировать я их не посылаю, ибо книги сии печатаны токмо для своих братьев и в продажу не поступают.

На откидной скамейке, против Тургенева и Новикова, сидел молодой архитектор Баженов, бывший братом четвертой степени той же масонской ложи. Баженов дремал, голова, склоненная на левое плечо, дышала необычайной легкостью, профиль, нежный и мужественный, хранил черты старинного итальянского типа—не то венецианский кондотьер, не то рафаэлевский ангел. А в этой голове, под густыми каштановыми кудрями, носились удивительные картины зданий, еще не существующих, но таких реальных, как будто художник видел их в незнакомом городе в чужих краях. Творческая легкость Баженова была совершенно необычайной. На месте ста-

рой развалины, в Москве, на углу Моховой улицы, там, где заступ землекопа выкидывал на свет божий черепа, пробитые круглым отверстием всегда в одном и том же месте (старинный застенок царя Ивана IV Грозного), Баженов построил для отставного поручика Пашкова новый дом: оранжевый, с белыми колоннами, с бельведером, на котором воздвиг статую Минервы, с фонтанами, прудом и огромными фонарями на столбах, узор на металлической изгороди. Баженов три недели ходил к церкви Николы Стрелецкого слушать говор восхищенных москвичей, приезжавших со всех концов столицы смотреть на эту генуэзскую сказку, воздвигнутую на Моховой улице.

В этом самом Пашковом дворце князь Прозоровской рассказал князю Репнину о том, что им получен приказ арестовать Николая Новикова и разгромить московских мартинистов. Тайные общества ненавистны стали императрице, тем более тайные общества, главари которых находятся за пределами империи. Во Франции ярится Конвент. Головы падают на эшафоте, благородные дворянские головы. Доктор Гильотэн, как истинное исчадие ада, разыскав миланские чертежи рубильной машины, заказал парижским слесарям и столярам такую же машину для рубки человеческих голов. Дух мятежа и вольнолюбия черни распространился по Европе. А тут эти ученики Сен-Мартена—французского свободолюбца—мартинисты, собираются на тайные собрания и затевают заговоры и козни. В те дни, когда сугубо нужно оберегать границы сословий, они собираются вместе со своими рабами, коих называют братьями, целуются с ними, поют совместные песни.

«Пригоже ли дворянину драть глотку вместе с холопом?»—спрашивает Прозоровской у Репнина.

— Так ты, батюшка Иван Петрович, думаешь, что пригоже?—спрашивает Катерина Семеновна, продолжая допрос супруга.

Иван Петрович молчит.

— Молчишь, помещик Тургенев, молчишь, ссыльный дворянин?—кричит Катерина Семеновна, наступая.

Иван Петрович, приосаниваясь и разглаживая бороду, в негодовании трясет головой.

«Не драться же мне с супругою,—думает он.—Уж терпеть так терпеть». И, приосанившись, решил испытать чашу до дна.

Катерина Семеновна видит, что перед ней каменная стена. Кричит о том, что он-де Иван Петрович, которому поручено благородное дело воспитания юношества, он — директор Московского университета — развратил целое поколение учащихся чтением богопротивных, вольнодумных книг, которые печатал он в деревенской типографии вместе с Новиковым секретно.

— Как тебе не стыдно! Мне все теперь известно. Ежели Новикова сослали, в Шлиссельбург посадили — туда ему и дорога, но ежели тебя Шешковский пожалел и после допроса отпустил, то уж в этом, батюшка, особое божье милосердие и милость императрицы, тобою не заслуженная. А потому потрудись, батюшка, в хозяйство носу не совать и крепостных холопей мне не портить. Здесь тебе не Орел и не Москва, я тебе не Новиков и не Баженов.

Вошел Тоблер с плачущим Колей Тургеневым. Трехлетний мальчик с нахмуренными бровями и красным личиком тщетно старался удержаться от стонов.

— Каждый раз как из кроватки ступает левой ножкой, он падает и ушибается, — сказал по-немецки Тоблер.

— И сын-то у тебя коротконогий, в год французского восстания родился. За грехи отца левая нога короче правой, — сказала Катерина Семеновна.

Звонким голосом крича и напевая, влетел в комнату Александр Тургенев. Увидя плачущего братишку, остановился.

— Ты зачем? — строго крикнула на него мать и, взявши за ухо, долго мяла это ухо в руке.

Красный, молчаливый, надутый, Александр выскочил из комнаты.

Иван Петрович гладил головку белокурого, кудрявого плачущего ребенка.

— Ну, хроменький, ну поди ко мне на ручки, — говорил он Николаю.

Бурмистр вошел с докладом. Катерина Семеновна сделала знак рукою, и все удалились.

Как величаявая Минерва воссела она на кресло. Бурмистр с клоками синей бумаги, на которой корявым почерком были сделаны хозяйственные записи, подобострастно глядя на Катерину Семеновну, ждал барского приказа. Катерина Семеновна «были гневны», и ноги у бурмистра дрожали, коленки тряслись, и так хотелось бухнуть в ноги, как перед иконой Владимирской божьей матери в местной церкви.

Тяжелая и трудная житейская обстановка Тургеневки давала себя знать и в Киндяковке по соседству. Крестьяне стонали. Иван Петрович трепетал. Дети боялись грозной матушки. Но тайком возникали ребячьи союзы, вольные и беспечные, насколько это было можно. Силки и тенета, расставленные в тенистых и огромных симбирских садах, фантастичных по запущенности и плодоносных как сады Шехерезады, приносили ежедневно разнообразных и пестрых птиц. Попадались иволги и длиннохвостые синицы, дубоносы и микроскопические птички, вроде крапивчиков, населявших кустарники, свисавшие в самые воды Волги. Когда Тоблер вел с Андреем сосредоточенные и серьезные беседы, в это время Александр и Сергей Тургеневы, вместе с Васей-крепостным, подкрадывались тихонько к зарослям и крепям в трепетном ожидании, что вот судьба подарит им нового пленного певца. На черном дворе была голубятня. В ясные дни Иван Петрович садился в кресло, перед которым ставили огромный, двухсаженный, серебряный таз и наливали его водою. Безумные турманы, коричневые, жесткоперые бухарцы и нежные египетские голуби поднимали свой спиральный полет к самому синему небу. Не поднимая головы, Иван Петрович наблюдал, как отражается их полет в прозрачной воде серебряного таза. Но у маленьких Тургеневых была своя забава. Вася отгородил часть деревенской клетки, получилась целая комната, населенная всевозможной дикой птицей.

Глава четвертая

Прошло два года. Голубоглазый и не в меру задумчивый мальчик Коля Тургенев начал учиться. Старшие братья относились к нему с некоторой нежностью и снисхождением. Все могли резво бегать и веселиться, а Николай не мог — одна нога была короче другой.

Однажды, очень рано утром, Тоблер, умываясь, заметил, что кровать Коли Тургенева пуста. Немец не нашел своего питомца нигде в доступных в утренние часы комнатах Тургеневки. Он вышел на крыльцо, надеясь встретить Николая в цветнике, но и там его не нашел. Мальчик вернулся только к утреннему чаю, хмурый, и отказывался отвечать на вопросы. Глаза, голубые и

холодные, говорили, что этот маленький человек думает гораздо больше, чем говорит.

После занятий обнаружилось, что у Васи птичник сломан и все пленные птицы, пойманные братьями Тургеневыми и Васей, улетели. Огорчению не было пределов. Искали преступника и решили, что это Петька-черемис созорничал из зависти к Василию, допущенному к барскому дому. Как только было высказано это предположение, так было прервано молчание маленького Николая.

— Я выпустил птиц,—сказал он громко.

Александр надул губы, Вася заплакал. Наступило неловкое молчание.

— Я не хочу, чтобы птицы сидели в клетках,—заявил Николай твердо.

— А мы хотим,—сказали братья,—и будем ловить.

— А я буду выпускать,—заявил Николай.

— Придется сказать отцу,—заявил Андрей.

Перед самым обедом маленький Николай был вызван к Ивану Петровичу.

Объяснение было очень короткое.

— В клетках тесно и грязно,—сказал Коля,—а кроме того, там полет невозможен.

Тоблер восхитился, слушая, как мальчик отчетливо произнес слово «unmöglich»¹.

— Колька прав,—сказал Иван Петрович.—Прекратить мучить птиц!

Оставалась еще одна инстанция, но об ней никто не подумал. Это была Катерина Семеновна.

Петька-черемис ликовал. Один раз только пытался он устроить клетку для птиц и был за то нещадно избит своим отцом. А тут Ваське такая воля!

Через несколько дней наступило внезапное огорчение у других Тургеневых. Катерина Семеновна проиграла в преферанс соседнему помещику Дудареву одного подростка. Выбор Дударева пал на Васю. Карточные долги — дело чести, здесь никаких не может быть колебаний. На этот раз Александр Тургенев, с глазами, широко открытыми от ужаса, вбежал к матери и, зная, на что идет, все-таки закричал:

— Матушка, не продавайте Васю. Вася такой же человек, как и твои сыновья.

¹ Невозможно (нем.).

Катерина Семеновна кормила борзую, держа наготове свернутый кольцом арапник. Развернувшись, этот арапник лег во всю спину на Александра Тургенева. Глаза Катерины Семеновны горели, как голубые льдинки. Она не говорила ни слова, но вся была полна яростью от сознания того, до какой степени несчастное и скудоумное поколение, воспитанное развратными масонами, может забыть о долге дворянской чести. Еще было у нее огорчение: княгиня Щербатова прислала письмо с оказией и сообщила, что во Франции революционная чернь казнила короля и королеву.

Тоблер и четыре мальчика выехали на берег Волги, взяли с собой завтраки, самовар и чашки, большие удочки, дворового человека Федора, по выражению Катерины Семеновны, «весь домашний скарб». На берегу рыбацкие выселки. Сохнут невода, а на плетнях развешаны верши. Около самого берега топко. На кольях, вбитых в дно, толстые веревки, тонущие в воде. К ним привязаны садки, большие, похожие на дощаники деревянные ящики, просверленные и пропиленные узкими отверстиями для свободного обмена воды. Чумазы ребятишки бегают по улицам, вернее — по грязному, покрытому лужами проходу между двумя рядами курных изб. Старый рыбак, позевывая и глядя на солнце, чинит сеть. При проезде барской коляски встал и почтительно поклонился. На берегу Волги, около песчаных отмелей, где посвистывают сотни куличков и со стоном поднимаются пестрые пигалицы с хохолками, Тургеневы остановились.

— Если бы так на лодке до Астрахани,—сказал Александр Тургенев.

— Ну и что же — вода да вода,—благоразумно заметил Андрей.

— Перед Колумбом тоже была одна вода, однако открыл новые страны,—заметил Александр Тургенев.

— Никаких новых стран на Волге не откроешь, все уже открыто,—сказал Андрей.

— А может быть?—возразил Александр.—Может быть, еще не все. Каспийское море велико, персы географию плохо знают.

— Тебя всегда тянет из дому,—сказал Николай Александру.—А вот я бы так не уехал из Тургеневки.

Татарские ребятишки, по просьбе Тоблера, натаскали хворосту. Зажгли костер, стали готовить чай. Справляли

пятнадцатилетие Андрея Тургенева. После официального домашнего праздника разрешен был праздник ребячий. Редкий случай, когда с одним только Тоблером, без родительского глаза, разрешали отлучиться далеко. После таких поездок не обращали внимания на запачканный костюм, на грязные руки, на взъерошенные волосы и громкий голос.

На Волге было широко и привольно. Красивая большая река, с обрывистым берегом около Симбирска, здесь текла плавно между низкими берегами. На берегу были мелкие заводи и затоны, богатые всякой птицей. Когда после чая дети побежали в кустарник на голос какого-то пернатого существа, вылетела целая стайка дергачей, а те, что были помоложе, разбежались в разные стороны, забавно вытягивая вперед длинные шейки и на бегу раскачиваясь в обе стороны, как маятник. Птичка, за которой бежали Александр и Николай Тургеневы, перепархивала с куста на куст. Мальчики бежали за ней, то крадучись, то напролом через кусты большими шагами, до тех пор, пока внезапно густые заросли не кончились, и на другой стороне маленькой песчаной косы снова показалась красивая, спокойная Волга. На берегу горел костер. Совсем у кустов лежала на воде длинная узкая беяна. Перед костром сидели двадцать человек в лаптях, измученные, волосатые. Лямки и канаты неподалеку говорили о том, что люди, сидевшие у костра,—бурлаки.

Мальчики подошли поближе и спросили:

— Что вы здесь делаете?

— Беяну тянем,—ответил хриплый голос. Говоривший посмотрел на Александра Тургенева единственным глазом и вдруг ухмыльнулся.

— А я думал — и не приведет бог свидеться,—заметил он неожиданно.

Александр Тургенев узнал не сразу — до такой степени Вася, товарищ его детских игр, изменился за ушедшие четыре года.

— Как ты сюда попал, Вася?

— А так. Был в Москве у господина Дударева. В кузнечных учениках на каретном дворе служил. Вон, видишь, окривел, когда ободья ковал, а теперь в оброке в бурлаках.

— Куда ж ты идешь?

— Вот с нижнего плеса тянем беяну до Кунавина.

— Хочешь, пойдем с нами, Вася?

— Никуда ему, барин, идти нельзя,— прервал сердито старый бурлак.— Эй, ребята, поворачивайся, бери лямки.

— Через полгода, коли живы будем, увидимся, Сашенька,— сказал Вася.— Оброк мой кончается перед тем, как ехать в Москву.

Саша протянул руку, хотел обнять товарища, но тот боязливо отшатнулся и, не оглядываясь, пошел к берегу.

Мальчики медленно возвращались. Александр только теперь заметил, что Николай во все время беседы не проронил ни слова. Тоблер сделал выговор. Андрей и Сережа смотрели хмуро.

— Я не для того отпросил вас у матушки,— сказал Андрей,— чтобы вы гуляли отдельно. Уж вместе так вместе.

Сережа надул губы и повторил: «Уж вместе так вместе».

Александр сначала хотел рассказать о встрече с Васей, но, услышав суровый тон Андрея, решил молчать. Маленький Николай никак не мог выразить словами, почему костер здесь у ног Тоблера и там— костер бурлацкий внушают ему столь разные чувства. Тут хорошие завтраки в чистых салфетках, блюда, разложенные на траве, чайник, подаваемый дворовым человеком. А там— разбитый синий полуштоф и плесневелый хлеб.

Началась непогода. Откуда-то из-за Волги нашли тучи, и, прежде чем мальчики успели сесть в открытую коляску, загрохотал гром и застучали крупные капли дождя. Огромные темно-синие тучи покрыли небо. Холодок, вместе с каплями дождя, бегущими за ворот, заставил ребят Тургеневых теснее прижаться друг к другу. Тоблер сидел хмурый, сняв очки, с носу у него падали на оливковый редингот крупные капли дождя.

— Подмокло твое совершеннолетие,— сказал Александр Андрею Тургеневу.

— А все благодаря тому, что ты убегал надолго,— возразил Андрей.

— О чем ты задумался, Коленька?— спросил Тоблер Николая.

— Я думаю о том, как можно тащить беляну в такую погоду,— сказал мальчик.

— Что такое беляна?— спросил Тоблер.

Николай не ответил.

Приехали. Встретили их охами и ахами. Катерина

Семеновна, ради совершеннолетия Андрея, выдрала его за уши. Щеки у нее горели, она была очень возбуждена, соседи еще не разъезжались, и пир стоял горой. Мальчики приехали, казалось, несмотря на непогоду, не вовремя: родители были заняты не ими. Вишневки, сливянки и смородиновки вместе со стерляжьей ухой разогрели патриотизм Ивана Петровича. Стоя посреди комнаты, он громко говорил о пользе самодержавия. Катерина Семеновна, покрасневшая, со сверкающими глазами, взволнованно понтировала за круглым зеленым ломберным столом, и в этот день ей не везло. Не играя на деньги из соображений бережливости, она играла на крестьян и проиграла шестьдесят душ. Иван Петрович этого не знал, был весел и смотрел на супругу подобострастно. Она победила в хозяйстве и в семье, а победителей не судят. Минутами, мигая глазами, он силился понять, что с ним происходит. Симбирские помещики, отставные штаб-ротмистры и дворяне, не чуждающиеся откупничества, казались ему «дурачьем, верноподданным набитым дурачьем», и временами так и подмывало крикнуть на всю залу Тургеневки так, чтобы задрожала зеленая штофная мебель из карельской березы, что, дескать, «вон идите отсюда, дурачье», что «вы», дескать, «неученые хамы, позорящие дворянское сословие». Но каждый раз, поглядывая на разгоряченные щеки и горящие глаза супруги, Иван Петрович ее волнение о проигрыше приписывал энергии и хозяйственной распорядительности, затихал и старался изобразить перед гостями благополучный и законопослушный круг мыслей своей супруги. Старый гусар Зубакин притоптывал и приплясывал, держа на плешивой голове большой бокал иностранной мальвазии. В минуты случайного прекращения разговоров он поднимал двумя пальцами бокал высоко над головой и кричал: «Здравие императрицы, матери отечества, царицы цариц!»

Гости подхватывали, по анфиладам Тургеневки неслись нестройные крики «ура!», томные гости из города Симбирска начинали напевать английский гимн «Бог да хранит короля!», ходивший в то время в качестве благонамеренной патриотической песни.

На мезонине четверо ребят Тургеневых переодевались и пили чай с малиной, чтобы не простудиться. Тоблер, омраченный и сердитый, помогал своему любимцу Николаю, не прекращая с ним разговора.

— Aber warum sind Sie traurig, Kola? ¹

— Скажите, дорогой учитель, кто переодевает бурлаков, которые тянут беляну?

— Но, мой мальчик, я второй раз спрашиваю вас, что такое беляна?

Николай объяснил, равно как и объяснил все свои мысли и чувства по поводу встречи с окривевшим товарищем детских игр.

Тоблер, длинный, сухопарый, подняв брови, смотрел на Николая молча, потом, после длинной тирады своего питомца, произнес полушепотом по-немецки:

— Ты не даром сын своего отца, но знай, мальчик, что наступит такое время, когда не будет ни рабов, ни господ и когда один человек перестанет угнетать другого.

— Как сделать, чтобы это время наступило поскорее? Увижу ли я это время?—спросил Николай.

— Не знаю,—сказал Тоблер.—Нужно много знать и многому учиться, чтобы на это ответить.

— Я буду много знать и буду учиться, я хочу это видеть,—сказал Николай Тоблеру.

Глава пятая

Матушка Екатерина, императрица всероссийская, отправившись за нуждой в уборную, вдруг почувствовала себя плохо и, заслонивши грузным своим корпусом дверь, скончалась. Долго искали ее по всему дворцу. Наконец генерал Болховской осмелился открыть дверь. Это было чрезвычайно трудно. Поправивши государыню от зазорного вида, приступили к похоронам.

Из Гатчины, загнав лошадей, прискакал наследник цесаревич Павел Петрович. Первым делом простил Баженова и Новикова, которые звали его в масонство.

За Волгой зима была ранняя в этот год. Снег в 1796 году выпал в самом начале октября, и ударили ранние морозы. По Волге плыло сало. Плакучая ива, заиндевелая и омертвевшая в неподвижных формах,

¹ Но почему вы так печальны, Коля? (нем.)

спускала свои ветви в прозрачные осенние воды. Белые, украшенные льдинками, они превращались в зеленые, как только попадали под воду. Из мезонина Тургеневки виднелись побелевшие сады и обширные белые замороженные заволжские степи. Небо было красное, красные тучи, и над ними ослепительное зимнее солнце.

Первым проснулся Николай Тургенев и босыми ножками подбежал, прихрамывая, к окну. Он громко захлопал в ладоши и закричал:

— Виват, виват! Зима наступила. Уже настоящая зима—снег не тает.

Александр, в длинной рубашке до пят, вскочил на этот крик и опрокинул табуретку с сальной свечкой. Толстая книга комедий Гольдони, читанных им на сон грядущий, свалилась на пол. Сергей и Андрей проснулись за ним. Александр, не говоря ни слова и закинув руки под затылок, сладко потягивался, думая о том, что хозяйка гостиницы, выведенная Гольдони, очень похожа на дворовую девушку Марфушу,—должно быть, такая же веселая, так же заливисто хохочущая и показывающая ослепительно белые зубы. Каждый раз, когда проходил мимо Марфуши, Александр испытывал непонятное смущение. Сергей, оглядывая комнату, натопленную, светлую и веселую, глядя на снег, чувствовал понятную только ребятам радость от этого уюта, теплоты, яркого света красных облаков, освещенных ранним солнцем, и бесконечных степей, покрытых снегом и уходящих куда-то далеко, к востоку, за Урал, в сердце непонятной и таинственной Азии. Оттуда шел Ермак, оттуда в древности по зимам неслись на лихих конях дети Чингисхана. Теперь покорные, красивые татарчата едва помнят о своих предках-победителях. Вокруг Тургеневки мир и прекрасная зимняя тишина, совершенно такая же, как в душе Сережи Тургенева. Николай быстро одевался без посторонней помощи. Тоблер, не обращая внимания на детей, лежа в постели, читал какую-то толстую книгу. Ворота закрипели. Раздался громкий лай дворовых собак, им ответило тьяканье борзых.

— Какой сегодня день?—спросил Николай Тургенев.

— Пятнадцатое ноября,—произнес Тоблер, не меняя позы.—Сегодня двойной урок математики и истории.

Заскрипели ворота еще раз.

— Вкатила кибитка,—закричал Николай Тургенев.

Тут все братья подбежали к огромному тройному окну

мезонина и стали смотреть, как кибитка на широких полозьях с подрезами заворачивала за угол и в облаках пара лошади остановились у крыльца.

— Военная форма,— произнес Андрей.

Усатый фельдъегерь, шашкой стряхивая снег с валеков и держа в руках с величайшей осторожностью кожаную сумку, входил на крыльцо. Через секунду громкие крики ликования понеслись по дому. Император Павел Петрович требовал возвращения Ивана Тургенева в Москву.

Иван Петрович плакал, как большой ребенок. Он сидел на тяжелом вольтеровском кресле, спрятав голову в подушки. Высочайшая грамота лежала перед ним на столе. Коленка в подштанниках выставилась неуклюже из-под шлафора, и старые плечи Ивана Петровича вздрагивали. Катерина Семеновна осанисто и серьезно, ни на минуту не теряя своего достоинства и спокойствия, распорядилась угостить фельдъегеря водкой и соленой рыбой.

Быстро молва пронеслась по Киндяковке. Тургеневские и киндяковские мужики и бабы толпились во дворе. В таких случаях вторжение челяди в барские комнаты не считалось дерзостью. Добрые полторы-две сотни народу заполнили двор, крыльцо и прихожую. Катерина Семеновна, поднеся «бодрительную» кружку с мальвазией супругу, вышла в прихожую и, высокомерно подняв голову, произнесла:

— Ну, холопы, государь требует барина в столицу. Пафнутьича слушайте, оброк платите исправно, и чтоб жалоб не было!

— Слушаем, матушка барыня, слушаем, Катерина Семеновна! — раздались голоса.

Сборы были короткие. Выехали на зимних дормезах, пересаженных на полозья. Ехать решили на долгих, так как самые лучшие лошади почтовых станций были переброшены на Питерский тракт. На следующий день двинулись в дальний путь. Четверо мальчиков, немец Тоблер и Федор Пучков, дворовый человек, сели в переднюю дормезу, выпивши чаю, помолившись на дорогу и присевши со всей семьей и челядью в большой зале Тургеневки, подальше от печки, на прощание.

Первые дни хорошо спали и вкусно ели. Зимние дороги легки и коротки. Нет ни болот, ни гатей, все закрыто снежным покровом, нет ни оводов, ни проклятой

строки, которая нападает на лошадей, покрывая их сплошным покровом отвратительных, копошащихся насекомых. Маленькие окна кибиток заиндевели. Николай Тургенев рукавицей старается отодрать ледяную корку, чтобы видеть окружающие дорогу леса и деревни.

— Что интересного?—говорит Андрей, видя, как кусочки оттаявшего снега сваливаются на медвежью полость под рукой Николая.—Ну, увидишь деревню, только и всего, не мешай лучше спать.

— Нет, я хочу видеть,—говорит Николай.—Деревни разные, а лица одинаковые. Я хочу найти разные лица.

— Какая глупость,—говорит Андрей.—Лица у мужиков разные, а глупость одна.

— Знаете, Андрей,—говорит почтительно Николай,—вы самый старший, а говорите вещи совсем необдуманные.

Андрей не спорил, зевнул, задремал снова.

В лесу, на поляне, насторожившись и мягко ступая, легко, почти не вдавливая рыхлый снег и выставив голову вперед, с опущенным хвостом пробиралась лисица. Горноста́й, почти невидимый на березе, кидался головой вниз и прятался в снегу. Изредка, около деревни, испуганные движением больших экипажей, поднимались из-под одинокой сосны среди поля огромные, как телята, матерые волки. На постоянных дворах отец приходил навещать сыновей. Держа в руках серебряный стакан с медом, распущенным в кипятке, Иван Петрович расспрашивал детей, не устали ли в дороге, помнят ли Москву. Почти никто хорошо не помнил. Хотят ли ехать в Москву? По-видимому, не очень.

— Где будем жить?—спросил Андрей.

— На Моховой, при университете,—ответил Иван Петрович.

По ночам не ездили, хотя Катерина Семеновна торопила и не всегда давала лошадям выстоять. Одно время даже требовала она отправить лошадей в Киндяковку и ехать на перекладных. Но Иван Петрович, приобретя уже в дороге самостоятельность, запротестовал решительно. Встречный курьер с письмом привез ему радостное известие о прощении Радищева. Катерина Семеновна, нарезая индейку за обедом на постоялом дворе, пыталась было вырвать у него из рук письмо. Но, неожиданно для самого себя, Иван Петрович, поднимая письмо высоко в руке, опалил свою супругу таким грозным взглядом, что

она остановилась не столько от испуга, сколько от удивления.

— Ты что, батюшка, сумасшедшими глазами на меня смотришь? Знаю, что новая метла чисто метет. А все-таки ты носа не задирай.

— Катерина Семеновна, вы бы хоть при челяди...— начал было Иван Петрович и протянул супруге письмо.

Катерина Семеновна прочла его, осторожно сложила и, возвращая, произнесла:

— Апостол Павел сказал, что жена да боится мужа своего. Я, Иван Петрович, никогда у тебя из повиновения не выходила.

— Что вы, что вы, Катерина Семеновна! — произнес Иван Петрович, поднимая руку.— Я совсем не про то!

— Да и я тоже не про то,— сказала Катерина Семеновна.

К вечеру брали глиняные плошки, наливали их водой, ставили ножками походные кровати в воду. Хорошие кровати, старый офицерский инвентарь Ярославского полка. И все-таки под утро все стонали и охали от огромного количества укусов. Меньше всего страдала Катерина Семеновна.

— Клоп тебя не любит, барыня,— говорил старый дворецкий.— Это ндрав у тебя такой! А вот у барина ндрав мягкий, и клоп его язвит. Вон и Николая Ивановича тоже не трогают—ндравом в матушку идет.

Катерина Семеновна, снисходительно относившаяся к суждениям старика, качала головой и произносила по-французски:

— Характером-то в меня, а вот затей-то у него отцовские. Готова клятву в этом дать. Оттого и молчит много мальчуган.

К югу от Мурома сломалась хозяйская дормеза. Едва нашли кузнеца. В крутую гору села, за шесть верст от большой дороги, едва втащили проселком тяжелый экипаж. Кузнец возился два дня. Маленькие Тургеневы бродили по деревне, смотрели, как в речке на багор надевают через прорубь рыбу. Крестьянские мальчишки в островерхих шапках и коричневых лохмотьях, когда-то бывших отцовскими армяками. «Непонятный говор, совсем не русский,— думал Андрей.— Пробовали объясняться—ничего не выходит. Десятки чужих слов, разговор быстрый, окаяющий, невнятный, словно каши в рот набрали».

Но Тургеневы восхищались сноровкой и ловкостью, с какой мальчуганы занимались рыбной ловлей. Александр пробовал действовать багром, приморозил руки и едва не упустил снасть. Мальчуганы, разговаривая между собою, рассказывали о Рощине, который будто бы залег своей разбойничьей шайкой неподалеку от Муром. Леса глухие, дороги дальние, ни жилья, ни огонька кругом. Разговоры эти были переданы старшим. Никто не обратил на них внимания, и, к ужасу мальчиков, решили даже выехать ночью, так как поломка заставила задержаться в дороге лишних двое суток.

Ночные леса необычайно красивы при лунном свете. Месяц то прятался за тучи, то ярко освещал огромные пространства.

— Луна восхитительна,—говорил Александр Тургенев.

— А спать чертовски хочется,—говорил Андрей.—Ну ее к... твою луну.

— Андрей, где научились таким словам?—спросил проснувшийся Тоблер.

— Не у вас за пюпитром, дорогой учитель,—ответил Андрей с хохотом.

— Да, я думаю, что не у меня,—сказал Тоблер.

— А вы у кого научились?—спросил Андрей.

— Во всяком случае, не у тебя,—ответил немец.

— Я думаю,—ответил ему в тон Андрей.

Мороз крепчал. Под утро задул ветер. Луна ушла с горизонта. В лесной чаще замелькали, как синие свечки, парные огни волчьих глаз. Ехать становилось жутко, и томительное чувство охватывало путников. В совершенно глухом месте огромная сосна перегородила дорогу. Пришлось остановиться. Лошади храпели и били копытами в снег. Все вышли из экипажа. Дормезы сгрудились, форейтор пошел искать обходной дороги, кучера взяли топоры и тщетно пытались рубить твердую, как сталь, замерзшую древесину. Она звенела, стонала и пела и еле-еле поддавалась топору.

Катерина Семеновна одна не вышла из дормезы. Через Марфушу она выпрашивала, как обстоит дело с дорогой, и Александр Тургенев подробно рассказывал Марфе, в чем состоит затруднение. Марфа скалила зубы, Саша Тургенев смеялся, говоря, что через неделю рубят дерево и поедут дальше, как вдруг по лесу раздался протяжный свист. Топор выскочил из рук кучера. Все

остолбенели. По хрусту ветвей можно было думать, что на дорогу выходит целый полк пехотинцев с обозом.

Десять рослых фигур вышли на дорогу из леса и остановились по другую сторону срубленной сосны.

Тургеневский поезд мгновенно замер. Разговоры и шутки Саши Тургенева прекратились. Форейторы и кучера, прошептав только одно слово: «Рощин», остановились и замолчали.

— Кажись, они самые,—раздался голос с дороги. Потом наступила пауза, и в темноте трудно было понять, что намереваются делать лесные разбойники.

Иван Петрович пошел по направлению к ним.

— Ой, батюшка, не ходи! — закричал старый дворецкий.

Саша Тургенев думал о сказочных разбойниках. Марфуша взвизгнула и бросилась к барыне в экипаж. Андрей, стиснув зубы, заметил:

— Как жаль, что нас не послушались, а теперь да будет во всем воля божия.

Голодный и протяжный вой раздался издали. Ему ответил вой другой волчьей стаи. Катерине Семеновне Тургеневой казалось, что жизнь кончается и весь мир распадается прахом. Чувство невыразимого страха за свою жизнь ее оцепенило. Разбойники и волки — неизвестно, что страшнее. Тоблеру хотелось спать, а тут всякий сон прошел мгновенно. «Гирька на кожаном ремне с короткой рукояткой, называемая кистенем, через минуту-другую уложит всех путников».

«Страшная страна! — думал Тоблер. — И если я когда-нибудь увижу мой родной Геттинген... Aber um Gottes Willen¹, случится ли это когда-либо?» Перед ним пронеслась вся его жизнь в маленьком германском городе с университетом, чтение Руссо по ночам, поездка в Кенигсберг ради слушания лекций профессора Канта, неудачная попытка обзавестись своей семьей. Немец думал про себя, вздыхал и называл себя самого «бедный Тоблер! Der arme Tobler!»².

Иван Петрович, остановленный дворецким, решил, что, пожалуй, действительно неблагоприятно приближаться на короткое расстояние к поваленной сосне. С быстротою молнии сообразил он, что сосна повалена

¹ О боже мой (нем.).

² Бедный Тоблер! (нем.)

недаром, а нарочно, чтобы перегородить им дорогу, что вот сейчас они будут ограблены или разорваны голодной стаей волков,—и все это накануне счастливого приезда в Москву, с которой связана тысяча счастливых надежд.

«Вот когда небо с овчинку кажется»,—думал по-русски Иван Петрович и по-немецки обратился к Тоблеру:

— Wir haben unsere letzte Stunde¹.

— Javohl, gnädiger Herr²,—ответил Тоблер, чувствуя, как дрожат его колени.

Бегающие светляки, синие огоньки замелькали вокруг поезда. Казалось, тысячи светящихся синих жучков летают по лесу. Слышалось лязганье челюстей, подвывание маток. Волки приближались огромной голодной стаей.

Женская прислуга плакала, даже не плакала, а, вернее, подвывала вместе с волками, словно обе вражеские стороны жаловались на какую-то общую обиду.

Быстро чиркнуло огниво. С какой-то неожиданной быстротой загорелась сухая хвоя сваленного дерева. Буквально через минуту около дороги пылал костер. Рослые, широкоплечие люди, опершись на длинные шесты, стояли около костра. Теперь уже ясно можно было различить ближайших представителей обеих вражеских групп. Около костра был десяток людей в высоких шапках, с шестами, с угрюмыми, неподвижными, зверскими лицами. А в ста шагах вырисовывались темные силуэты сидящих на снегу волков. Высунув разгоряченные языки, они, казалось, выжидали какой-то команды, какого-то мгновения для того, чтобы броситься на осажденных ими людей. От костра загоралась поваленная сосна. Ни одна сторона не нарушала молчания. Выхватив из костра большой горящий сук смолистого дерева, один из неизвестных трижды махнул им над головой и швырнул в группу присевших волков. Вся группа отпрянула от неожиданности и испуга. Прошло мгновение, и второй сук, кружась, шипя и потрескивая, понесся в сторону второй группы волков. Мальчики Тургеневы с восхищением смотрели на богатыря, который, размахивая горячей сосною, ловко бросал ее на двести шагов. Волки отбегали с испуганным лаем, обиженно тывкали вместо короткого воя и не возвращались. Поваленная сосна

¹ Настал наш последний час (нем.).

² О да, милостивый государь (нем.).

горела по всей длине. Неизвестные таскали хворост, рубили его короткими топорами сосредоточенно и хмуро, не обращая никакого внимания на Тургеневых. Прошли добрые полчаса. То, что вначале казалось томительным — эта странная молчаливость людей, вышедших из лесу со словами: «Кажись, они!» — то теперь давало впечатление какой-то спасительности. В голову никому из Тургеневых не приходило нарушить это молчание. Все словно сошлись на одном чувстве: так будет лучше. Прошел еще час. Холод заставил ходить. Начали сначала шептаться, потом говорить громко. Неизвестные тоже слегка переговаривались. Тургеневы слышали слова: «Застрял твой купчина, Кузьма». — «Не минует», — ответил тот. Начало светать.

— Однако ловко они разогнали волков, — сказал Коля Тургенев.

— Да, нам бы без них пропадать, — отозвался Андрей.

— А может быть, через них-то и пропадем, — возразил Александр.

Тоблер шептал: «Бог велик и милосерден!»

Катерина Семеновна казалась окоченевшей. Она упорно молчала. Уставившись глазами в темноту, она сидела не шевелясь, и казалось, мгновенное безумие, овладевшее ею, лишило ее способности речи. Когда совсем уж стало светло, неизвестные прикрутили вершину отгоревшей сосны веревкой и, взявшись за веревку всей гурьбой, с какой-то удивительной плавностью и легкостью очистили дорогу. Старший подошел к тому месту, где потухал костер, снял шапку и, не приближаясь к Тургеневым, громко крикнул:

— Господа хорошие, проезжайте, слободная вам дорога. Мы — пильщики и вам зла не хотим.

Зоркий глазок Николая Тургенева заметил, как один из толпы неизвестных подобрался к ближайшему дереву и жадно смотрел в детский экипаж одним-единственным глазом. Рыжая борода закрывала почти все лицо смотревшего. Но по глазу и по всей фигуре Николай Тургенев узнал Васю-птицелова. Через минуту Николай Тургенев не мог бы сказать, видел ли он этого одноглазого во сне, или действительно тот подходил к экипажу, — до такой степени быстро он растаял в воздухе. Да и вся группа, как дурной ночной сон, не то чтобы ушла, а просто как-то исчезла, скрылась из глаз.

Когда миновали обгоревшую сосну и прошел в пути какой-нибудь час, ночное происшествие стало казаться

простым сновидением, и даже разговаривать о нем не хотелось. Нервное возбуждение исчезло. Дети и родители спали крепким сном. Только кучер и фореитор многозначительно обменивались короткими словами:

— Пильщики! Хороши пильщики! Не нас ждали, а то было бы кистенем в висок — и прощай барин, прощай барыня, прощай милые детушки.

— Ды-ть, взять-то нечего. Барыня-то с фельегерем шкатулку отправила. Едут без денег.

— А они почему знают?

— Кто? Рощинцы-то? Да они чего хошь знают. Кривого видал?

— Ну что? Видал.

— Так ведь это Васька-птицелов.

— Врешь!

— Право слово, Васька.

— Рыжий-то?

— Ну да, рыжий.

— Вот оно так-то и бывает. Из господской воли вышел и на большую дорогу пошел.

— Господская воля — мужицкая доля. А барыня-то как перепугались!

— Что говорить — язык отнялся. Первый раз в жизни не ругалась.

— Ды-ть, нешто можно тебя не ругать?

— Пошел к матери, тебя самого ругать надо.

— Сиди, сиди крепче, а то кобыла тебя стряхнет. Ей-богу, обоза не останавлию. Пропадай тут, волчья сыть!

— Что лаешься, старик?

— А ты что зубы скалишь о барыне?

— Ну, подь на меня пожалься.

— На кой ты мне ляд нужен? Все равно тебе в некруты идти.

На этом разговор оборвался.

Глава шестая

В Москве, на Моховой, в университетской квартире расположились хорошо и уютно. Зимний семестр университетских занятий уже начался. Тем не менее Андрей был определен и сделан студентом. Ставши воспитанником университета, он довольно быстро превратился в вожака тургеневского отряда. Трое младших братьев

считали его заместителем отца. Особенно Александр завидовал его студенчеству и стремился догнать старшего брата. В этих целях он упрашивает отца определить его в подготовительный курс к университету, в так называемый Университетский благородный пансион. Отец соглашается. Двое из Тургеневых большую часть дня проводят вне дома. Иван Петрович, окрепший, обрадованный и веселый, ведет оживленную работу с московским студенчеством. Катерина Семеновна притихла и, проходя у супруга курс человеколюбия, старается сдержаться, когда руки чешутся оттащить за волосы провинившуюся Марфушу. Сергей и Николай сидят дома. Тоблер целиком ушел в заботы о Николае. Крепкий и сильный мальчик с серо-голубыми, стальными глазами, с огромным характером и силой воли делается любимым питомцем стареющего Тоблера.

«Редкий ребенок,— думает немец,— он обнаруживает чрезвычайную зрелость, ясность холодного ума и большую широту горячего сердца. Что-то выйдет из этого сочетания? У Александра как раз наоборот: быстро вспыхивающий блестками, чересчур горячий ум и сердце, прыгающее от Марфуши к Анюте, немножечко мелкое, немножечко узкое. Из Александра ничего не выйдет, из Николая выйдет богатырь, гигант. Сергей— лирическая фигура, прелестный мальчик, живущий только гармонией собственных чувств. Достаточно грубому порыву жизни разрушить гармонию, и Сережа погиб. Это настоящий рыцарь, а живет фантазиями. Но император Павел, кажется, тоже живет фантазиями,— думает немец,— магистр Мальтийского ордена, масон, чудака, он считает, что является носителем верховной религиозной, гражданской власти в стране. В малиновом далматике, вышитом серебром, и в архиерейской митре, он самолично служит в гатчинской церкви в качестве священника. Он совершенно серьезно убежден, что дворянское сословие создаст породу особо одаренных, благородных людей, что именно ему нужно поручить руководство царствами и формирование правительств. А вместе с тем по нашептыванию масонов он учреждает ограничительный закон для помещиков, запрещающий отправлять крестьян на барщину больше трех дней в неделю. Он мечтает о вооружении всех европейских дворян и об отправке их на защиту французского трона. Все это буквально повторяет Сергей— самая привлекательная фигура тургеневской семьи».

Четвертого ноября 1797 года у Тургеневых был семейный праздник. Это — день поступления старших в университетский пансион. Было много гостей. Были Кайсаровы — Андрей, Михаил и Сергей, — был Николай Михайлович Карамзин и случайно заехавший в Москву, с бегающими глазами и безволосым черепом, с огромным лбом, вздрагивающим при каждом восклицании, Александр Николаевич Радищев. Кайсаров рассказывал, как на смотре Измайловского полка у солдат оказались неисправны парики. При маршировке носки поднимались на разный уровень над землею, и вообще было немало неисправностей. Император Павел Петрович, отказавшись принимать смотр, сам командовал полком и закричал: «Налево кругом — марш... в Сибирь!» При этих словах Кайсарова Радищев болезненно съежился и поднял брови.

— Ну и что же? — спросил Тургенев.

— Что же, — ответил Кайсаров, — полк так смотровым строем и пошел к заставе. К вечеру выслали конный разъезд искать, куда он вышел. Вернули только около Чудова.

— Каково повиновение! — воскликнула Катерина Семеновна, проходя мимо. Она спешила подсесть к ломберному столу, где, вопреки нахмуренным бровям Ивана Петровича, началась большая игра московских кутил. Француз Пелисье метал банк. Катерина Семеновна и ее сестра Нефедьева возбуждали друг друга азартом. Иван Петрович дважды подходил и осторожно трогал супругу за руку; по третьему разу, когда Иван Петрович подходил, Катерина Семеновна с негодованием заметила:

— Пошел бы ты, батюшка, приказал бы принести мне оржаду, мне доктор велел миндальное молоко пить.

— Подите, подите сами, Катерина Семеновна, — сказал Иван Петрович строго. — Дети замечают, что вам зеленое сукно вредит.

— Не приставай, батюшка, — сказала Катерина Семеновна.

Пелисье бросил ей очаровательную улыбку.

— Мадам, вам так везет, вы так счастливы в игре, позвольте указать вам счастливую карту.

Через минуту княгиня Щербатова сняла брильянтовый перстень и сказала:

— Катенька, тебе везет. Денег у меня нет, вот тебе перстенок на зубок.

Вторично поставив на ту же карту, Катерина Семеновна сорвала банк и торжественно посмотрела в сторону, где стояли Иван Петрович и Андрей, хмурясь и пошептывая. Но вдруг произошла перемена счастья, и перстень, и сорванный банк, и двадцать пять тысяч рублей в какие-нибудь полчаса ушли от Катерины Семеновны.

Когда гости разошлись, дети собрались у Ивана Петровича в кабинете.

— Не расстраивайтесь, друзья,—говорил Иван Петрович.— Отнюдь не осуждайте и гоните от себя хулительные мысли. Пуще всего не поддавайтесь унынию. Дело это мы поправим. Ну, Сашенька, еще раз поздравляю тебя и за латинские твои стишки благодарю. Торжественным стилем латыни ты овладел. Ты, Сашенька, помни, кто был основателем нашего университета— холмогорский паренек из государственных крестьян Михайло Ломоносов. Когда будет тебе трудно в жизни, припомни, как этот человек, претерпевая побои, с трудом завоевывал себе книгу, как он ночью с обозом пешком ушел из Архангельска, как едва не погиб дорогой, идя до Москвы, как здесь сносил унижения ради науки и все-таки выбился в люди, да еще какие люди! Всем вам, дорогие друзья, всем моим четверым товарищам, коим я являюсь отцом, даю завет: пуще всего хранить в сердце человеколюбие, а в уме и воле—стремление к труду и познанию.

После этого небольшого выступления началась очередная беседа с детьми на всевозможные темы. Трудно было понять, читает ли это лекцию профессор университета, или это дружеская беседа пяти ровесников,—до такой степени живы и увлекательны, умны и веселы были эти собеседования.

Ночной сторож прошел по Моховой с колотушками, завернул на Никитскую и дальше, стуча, пошел по Шереметьевскому переулку. Расхаживая большими шагами, Андрей слушал отца. Александр сидел у камина с затаенным и жадным вниманием, он старался не проронить ни одного слова из того, что говорили отец и братья, сообщавшие о прочитанных книгах. Все четверо читали много и беспорядочно. Расстались за полночь. Александр долго не мог заснуть. У него была уже своя комната, горы книг лежали на письменном столе. Стихотворные опыты и прозаические наброски, первые попытки

вести дневник,— все было перемешано в этой литературной кухне. Яркий лунный свет заливал улицу. Снежинки попадали в полосу фонарного света, слегка кружились и медленно падали на немощеную улицу, изрытую ухабами. Сторож в черной поярковой шляпе и широком балахоне, сидя у ворот противоположного дома, спал, склонив голову к себе на колени. Длинная алебарда, высовываясь через плечо, уперлась в водосточную трубу. Была полная тишина. Александр записал: «Сию один в моей комнате. Глаза мои смыкаются. Вижу из окошка бледно мерцающий свет фонарей. Все вокруг меня спит, все тихо. Один сверчок прерывает глубокую тишину. Помышляю о том, что происходит теперь в пространном мире: трудолюбивый крестьянин, работавший целый день в поте лица своего, чтобы достать себе кусок черствого хлеба, разделяет его со своей голодной семьей и помышляет, как бы ему не умереть с голода в будущий день. Между тем как празднотлюбивый богач ест самые отборные кушанья, совсем ни о чем не думая».

Окончив эти размышления на тургеневские темы в карамзинском стиле, Александр задул сальную свечу и лег спать.

Проснулся рано утром и думал, с трудом припоминая, о чем это бишь вчера Николай Михайлович Карамзин и молодой поэт Вася Жуковский разговаривали с Мерзляковым.

Ах да, о немецких замках на берегу Рейна. Говорили, что красивая река, на которой немало развалин немецкого средневековья. Старший брат Андрей слушал и восхищался рассказами о том, как на одной стороне Рейна выстроил замок барон Маус, а на другой через несколько лет возник другой замок, по повелению барона Катцена. Огромные глыбы юрского камня громоздили одна на другую покорные германские рабы. Когда замок был готов, барон Катцен послал Маусу записку: «Мы кошки, а ты —мышь. Отдай мне твой замок, со всеми деревнями, или мы просто тебя съедем, как кошка съедает мышь». Барон Маус обиделся. Началась многолетняя война; сверху по течению, снизу против течения причаливали к берегу Рейна лодки врагов, сшибались на середине, тонули и гибли. И если рыцарь в кольчуге или стальном шлеме падал из лодки, то тяжесть вооружения немедленно тянула его ко дну. Светила луна. Рейнская русалка Лорелея сидела на берегу Рейна в виноградниках, кото-

рые спускались по костлявому, каменистому берегу к водам прекрасной реки. Она расчесывала золотым гребнем свои мокрые волосы, в которых, по выражению Мерзлякова, «конечно, застряли головастики и лягушачья икра», и смеялась по поводу гибели рыцарей. Это была очень злая русалка. Кончилось дело тем, что кошки все-таки съели мышей. Барон Катцен разгромил замок барона Мауса, так как не хотел жить в его жилище. Это старинное немецкое сказание приводило в восторг молодого поэта Васю Жуковского. Николай Карамзин кивал небритой головой. Голубые спокойные глаза смотрели с необычайной ясностью, а губы, опущенные вниз, казалось, всех обливали хинной горечью.

Александр Тургенев задумался над тем, почему у Николая Карамзина такое забавное противоречие между улыбкой лица, холодностью глаз и хинной горечью, которая веет от складки губ и от нижних уголков, которые ясно проступают, опускаясь вниз в минуты самого большого веселья, самых беспечных улыбок Николая Карамзина.

Карамзин приехал ненадолго. Пробудет в Москве еще несколько дней. Он живет в Царском Селе, среди великолепных и холодных дворцов. Он пишет стихи про то, как крестьяне любят помещиков. Александр силится вспомнить карамзинские стихи.

Как не петь нам? Мы счастливы,
Славим барина-отца.
Наши речи некрасивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане нас умнее,
Их искусство — говорить.
Что ж умеем мы? — Сильнее
Благодетелей любить.

— Кто такие благодетели? — спросил Николай Тургенев, подходя к Карамзину.

Карамзин со снисходительной жалостью посмотрел на Колю Тургенева и ничего не ответил.

Александр начал говорить о том, что легенда о кошке и мыши, живших на берегах Рейна, есть по существу очень старая легенда. В дворянском пансионе рассказали, что есть греческая поэма, посвященная войне мышей и лягушек. Список сей поэмы находится на царском печатном дворе: «Батрахомюмахия — сиречь война мышей и

лягушек—это рукопись древнего песнетворца Омира, привезенная в Московскую Русь невестой Ивана III—дочерью греческого императора Софией Фоминишной Палеолог».

— Очень учено, но совершенно неуместно,—сказал Мерзляков.

Все это вспомнил Александр Тургенев утром пятого ноября, когда выпал снег и по Моховой потянулись обозы на полозьях вместо колес. Сразу наступила необычайная мягкость погоды. Мальчикам дышалось легко и вольно. Но захотелось побегать на лыжах, спуститься на широкую Волгу по заячьим и лисьим следам мимо тенистых садов, запущенных теперь хлопьями снега, хрустящего под полозьями чужих, незнакомых, не московских саней.

Как бы в ответ на эти мысли Александра Андрей вскинулся на кровати и воскликнул:

Ах, что сравнится, что тешит взор,
С прелестной далью волжских гор.

При этом возгласе проснулись Николай и Сережа.

— Ты что—Тургеневку вспоминаешь?—спросил Николай.

Сережа потягивался, скидывал одеяло, бормотал что-то невнятное и плакал. Андрей, как старший, подошел к нему, потрогал лоб и сказал:

— Сережка все еще болен. Я думал, что у него скоро пройдет. Вероятно, у него то самое, что нынешние доктора называют очень смешным названием *грипп*. Знаете ли, что такое грипп? Ведь это просто морщенье—смотрите, как Сережка морщится.

Сережа, облизывая языком горячие губы, умоляюще поднимал на братьев почти невидящие, мутные детские зрачки и, ничего не говоря, метался в постели. Вошел Тоблер, пощупал лоб Сережи и сказал:

— Однако надо вызвать доктора.

Глава седьмая

Десятого марта 1801 года в Летнем саду гуляло яркое солнце, гуляло по дорожкам, по деревьям, по статуям. Была настоящая, восхитительная петербургская весна. Два офицера встретились на тропинке. Один попытался

не узнать другого, но тот, кого хотели не узнать, дружески обнял своего знакомого за талию и, держа за темляк большого драгунского палаша, спросил:

— А ну-ка, суворовский адъютант, Расскажи-ка, как там живут за Альпами?

— А, здравствуй,— ответил пойманный.

— Здравствуй, а с дорожки хотел свернуть. Я ведь видел, как метнул глазами в мою сторону и быстро — налево.

— Совсем нет. Однако что ж ты хочешь спросить?

— Да вот то самое, что спросил.

— За Альпами... Ну, шли мы против разбойника Бонапарта спасти Италию от французской революции. Ну, все остальное ты и без того знаешь из газет и журналов.

— Послушай, дорогой офицер, ты прекрасно знаешь сам, что император Павел Петрович никаких газет и журналов не пропускает из-за границы. Ты хорошо знаешь, что нам связаться с мыслящей Европой невозможно. Ты все наши повадки знаешь, и уж, если на то пошло, скажу тебе прямо, что император Павел Петрович повинен в смерти и моей супруги. Две недели тому назад на Галерной вышла она, больная, из экипажа при встрече с императорской каретой, как по нынешнему регламенту полагается для реверансу проезжающей царской фамилии. А сам знаешь, какой на Галерной реверанс: ручьи от самого памятника Петру бегут в Неву, грязь и жидкие лужи лошадям по уши. Вот она, родив мне ребенка, больная, с матерью своею вышли из экипажа, чтобы приветствовать его величество, и сразу по колена в мерзлую грязь ушли. Третьего дня я ее схоронил — из-за поклона его величеству. Это ли не тирания, это ли не деспотия?

— Все хорошо, но от меня ты чего хочешь?

— А вот чего я хочу. Нонче ты вернулся в Петербург из-за границы, и нонче ты заступаешь караул Измайловского полка во дворце. Обещай мне помнить, о чем мы с тобою говорили.

Собеседник внезапно осклабился веселой и счастливой улыбкой. Протянул руку, широко обнял товарища и сказал:

— Это я тебе обещаю. Пален утром был у меня. Ты свое помнишь, а я всероссийское горе помню.

С этими словами они расстались.

Под утро одиннадцатого марта, вскочив с железной походной кровати в белых подштанниках и белой рубаше, император всероссийский Павел Петрович увидел перед собою разъяренные офицерские лица и после короткого разговора с генералом Паленом отрицательно покачал головой.

— Не отрекись от престола,—прохрипел он.

Тогда тяжелый пресс с письменного стола лег ему на висок. Струйка крови из пробитого виска побежала по белой ночной одежде. Пален, бледный, разъяренный и злой, вышел на верхнюю лестницу. По коридору, звякая шпорами и палашами, бежал ночной караул. Предательство! Оказалось, не измайловцы дежурят у дворца, и если слабоумного деспота не стало, то и все заговорщики будут сейчас истреблены. Нужна последняя ставка. Все ближе и ближе блестящие мундиры, ближе гремят шпоры, яснее и яснее горят разъяренные глаза встревоженного караула. Пален становится на верхнюю площадку, скрещивает руки на груди, как это делает якобинец Бонапарт, посылая Францию на смерть, и кричит:

— Караул, стой!

Зычный генеральский рев. Моментально лица успокаиваются. Караул останавливается. Дежурный по караулу подходит с рапортом. Пален молча поднимает руку и говорит:

— Император Павел Петрович скончался. Да здравствует император Александр!

Затем, подняв правую руку высоко, высоко над плечом, кричит:

— Ура!

Караул подхватывает «ура». Затем наступает молчание. Пален командует:

— Налево, кругом...

Команда исполнена. Еще несколько мгновений. Раздается вторая часть команды, но не по-кавалерийски, а коротенько, отрывисто, как пушечный выстрел:

— *Марш!!!*

И, печатая всей ступней, без единого перебоя, шаг в шаг, плечо в плечо, палаш в палаш и коса в косу, люди в мундирах шагают по темному ночному коридору, не смея думать и только покоряясь львиному голосу бесшабашного и отважного заговорщика.

Пален с адской улыбкой говорит Скарятину:

— Хорошую дисциплину создал покойничек. Кабы не он, от нас бы осталось сейчас мокрое место!

В своих покоях цесаревич Александр горько плакал, зная о том, что совершится, и зная о том, что это уже совершилось. Маленькая принцесса Елизавета Алексеевна, его жена, говорила ему тихим и спокойным голосом:

— Но, мой ангел, перестань колебаться. Ты начнешь новую и счастливую жизнь своего народа, а кроме того, завтра ты уже не генерал-губернатор столицы; мы можем спать в постельке сколько угодно, не подавая ненужных рапортов этому деспоту в пять часов утра. Аракчеев не станет будить нас и выгонять меня за ширму каждое утро в пять часов, в самый сладкий час нашей любви, ради того, чтобы получить твою подпись на какой-то бумажке.

— Да, в самом деле, мой ангел,—говорил молодой Александр, ненавидя свою супругу за то, что у нее хватало характера перешагнуть через преступление отцеубийства.

Вопреки всему наступило «дней Александровых — прекрасное начало».

Александр I — любимец бабушки Екатерины. Он знал все ее качества и все ее пороки. Батюшка, Павел I, жил в Гатчине, имея любовницей Анну Гагарину. Бабушка, Екатерина II, жила в Петербурге, принимая в эрмитаже не первого, а уже неизвестно какого своего «аманта».

Трудно было молодому великому князю Александру с двумя братьями — Константином и Николаем — лавировать между отцом и бабушкой. Это были буквальные, а не мифологические воплощения ужасов гомеровской «Одиссеи». Там Сцилла, а здесь Харибда, и посреди них — узкий морской проход, по которому утлый плот Одиссея едва мог проскочить. Александр читал книжки Руссо — французского философа, звавшего человека к возвращению на лоно природы. Александр думал: «Все выходит прекрасным из рук творца, все портится под рукой человека». Однако православные иерархи говорят о каком-то первородном человеческом грехе. Александр обращается к своему учителю — почтенному швейцарскому республиканцу Лагарпу. Тот говорит:

— Все это — богословский вздор! Человек рождается из материи и в материю уходит. Человек рождается с задатками лучшего будущего, а несовершенное общество задатки эти уничтожает в детстве; следовательно, речь идет об уничтожении неправильного устройства человеческого

общества и о воссоздании человеческого общества, соответствующего природным требованиям.

Из Парижа вернулся Строганов. На балу у графа Кочубея он узнал о намерении царя, поехал во дворец и стал рассказывать Александру о французской революции. Император целиком стал на позицию якобинцев. «Правильно, что короля Людовика XVI казнили, правильно, что требуют республики».

— Я сам за республику,— сказал робко Александр.

Но «всероссийский самодержец, подающий голос за республику», был настолько большой исторической нелепостью, что даже тогдашние либеральные представители французских идей не поверили Александру. Однако графу Строганову поручено было вести протоколы негласного комитета, занимавшегося вопросом о либеральных реформах в империи Российской.

По поручению царя Завадовский отправился к сибирскому изгнаннику Радищеву и предложил ему написать проект — «Установление политических свобод».

Иван Петрович Тургенев, окруженный своими сыновьями, сидел — в отсутствие Катерины Семеновны, выехавшей на генерал-губернаторский бал в невероятно расфранченном виде, — с эмалевой табакеркою и даже с сигаретою в зубах. Иван Петрович говорил сыновьям:

— Друзья мои и дети мои, вы знаете, что без вас жизнь моя была бы несчастьем, потому должен я оставить при себе опору своей старости. Андрюша да пребудет при мне. Но знаете вы, что устройство ваше есть первейшая моя забота, и знаете вы, что европейские государства сотрясаются от переворотов. Дело идет о правильном устройении экономии сил внутренних и экономии сил государственных. Необходимы хорошие познания экономические, чтобы человек, выступающий на поприще дел государственных, мог справиться со своею задачею. Для сего потребны геркулесовы силы ума и несметные познания. Где сейчас в Европе лучше и полнее этому научают, нежели в германских странах. Голос внутренний подсказал мне, что милый Тоблер может вооружить вас знанием немецкого языка, а теперь настоятельно потребно вам осуществить прожекты престарелого отца. Простите...

Тут Иван Петрович вынул большой, в полскатерти, фуляр и стал отирать слезы.

— Простите, дети мои, если чувствительность родительского сердца не позволяет мне высказаться полностью, и не принимайте сии слезы за слезы печали, но я должен истребовать согласия вашего на то, чтобы первенец, рожденный мне природою,— Андрей — при мне остался. Александр — соименник звезды российской, ты поедешь, дабы осуществить пламенные надежды царства и отеческого упования. Все будет тебе обеспечено...

Александр Тургенев встал, с полным изумлением подошел, бросился на колени перед отцом и укрыв свою голову у него на груди. Андрей встал и медленно отошел в угол. И пока Александр плакал на груди отца, Андрей сухими глазами смотрел на братьев. Младший Сергей играл лежащей на столе статуэткой, а в левой руке держал щипцы с коробочкой для снятия напыла и нагара на сальных свечах.

Иван Петрович продолжал, смотря на детей ясными, голубыми, стариковскими глазами:

— Ребята, вы еще несмышленыши, вы вряд ли понять меня можете. Настал новый век, ныне вторая годовщина нового столетия, и новое столетие начинается блистательными словами молодого царя. Перед Россией — невиданное будущее. Будьте его достойны.

Маленький Сережа уронил статуэтку и разбил. Это было прямое нарушение достоинства минуты. Александр рыдал на груди отца, а Андрей думал: «Этакая торжественная минута, а болван Сережка разбил о паркет севрскую маркизу. Ну, уж ладно, я останусь, Сашка уедет — Марфушка останется».

Александр по-прежнему рыдал на груди отца. Ему хотелось ехать за границу, но Марфуша все-таки кое-где, в каких-то уголках памяти мерещилась. Мальчишкой въехал в Симбирск на тройке тайком от отца, с Марфушей вдвоем, — кажется, сто лет тому назад это было, — сбил с ног городского перед самым домом губернатора. Ах, и с тех пор прослыл первым шалуном города Симбирска. Что такое Александр I? Пообещает, пообещает... и ничегошеньки не исполнит... «Однако куда это батюшка метит?»

— Так вот, Сашенька, поедешь ты в Германию, в город Геттинген. Дело решенное. Там наилучшие пособия по экономическим наукам дают. Ты принадлежишь к владетельному дворянству, на тебя смотрят первые долж-

ности государства. Дворянству не надлежит заниматься коммерческими делами. Пусть сим делом занимаются иностранные купцы. Однако ж, когда придет время, сумей понимать их работу; ежели она не клонится к выгоде империи Российской, то работу сих иностранцев останавливай. Сам же ни к каким делам коммерции прикосновения не имей. Дворянину это негоже.

От последних слов Александр почувствовал некоторое успокоение и спросил:

— Куда же я поеду?

— В Германию, в город Геттинген, поедешь, дорогой.

— Знаю, батюшка, в Геттингене лучшие профессора, лучшие экономисты, лучшие историки, батюшка дорогой, жалко мне расставаться с семейством.

— Что же делать, милый друг, брат и товарищ,— сказал Иван Петрович.— Ты уже все знаешь, что отец сообщить детям может, нынешний император не чета другим. Явись готовым на большую брань, ибо все же, как древний летописец сказал: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет».

Катерина Семеновна вернулась под утро—веселая, слегка запьяневшая. Дети уже спали. Андрей, идя в уборную, слышит:

— Знаешь, муженек, твой приятель отравился, принес вчера утром Завадовскому якобинскую бумагу о преобразовании государства, а Завадовский ему говорит: «Ты что же, Радищев, за старое принимаешься, мало тебе одной Сибири?» И знаешь, милаша Иван Петрович, приехал твой Радищев домой, намешал себе стакан цикуты, а через две минуты его обмыли и на стол положили покойником. Вот тебе, батюшка,—не верь якобинским глупостям.

Андрей не мог заснуть всю ночь. Когда под утро дети и родители встретились за утренним чаем, Иван Петрович был желт, как итальянский апельсин, мешки висели у него под глазами. Катерина Семеновна сверкала аквамариновыми льдинками своих глаз и ловила выражение глаз у своих детей. Андрей явился позже всех. Старшего сына Катерина Семеновна не то чтобы лорнировала, а с торжеством на него смотрела. Андрей был хмур, и, когда опускал веки, словно под многопудовым грузом, под

многолетней усталостью, она торжествующе шептала про себя: «Яблоко от дерева недалеко падает». Сережка, по обыкновению, пролил чашку на коленки отцу. Николай, занятый своими мыслями, надрезал скатерть и за то был бит по рукам. Иван Петрович, с большим трудом раскочавшись и поднимая синие веки, сказал детям:

— Знаете ли, друзья, когда великий философ Сократ проповедовал пользу познания, его обвинили в ереси против богов. Обвинение неправильно было. Сократ говорил, что он не тайл своего учения, он проповедовал на площадях и перпатировал в греческом колонном коридоре в Афинах: все могли его слышать. Никакого тайного учения, никакого заговора противу правительства его речи не содержали. Он говорил лишь о свободе суждения и о том, что правильное познание добра ведет к его осуществлению. Однаже Сократ был схвачен и посажен в тюрьму. Там он принял цикуту, поднесенную ему палачом, и, окруженный своими учениками, повествовал им об истине, перемежая свое повествование замечками о том, что вот уже ступни ног и кисти рук омертвели, и дальше говорил, прерывая: «Братья, почитатели истины, вот уже ноги по колени и руки по локоть охладели». И так говорил он, смеясь и бодро смотря на учеников своих, пока похолодание смерти не застало его на слове истины. Дети, друзья и товарищи, прошлой ночью от того же самого яда умер великий мудрец так же премудро и просто. Поминая его смерть добрым словом, порадуемся, что в державе Александра подобная смерть не повторится. И проводим ныне весело и счастливо Сашу в германский город Геттинген. Дети мои, мир сотрясается под революциями, во Франции учреждена республика, народоправство стучится в окна. Вдумайтесь в происходящее, перед вами многие возможности.

В два часа дня в Грузинах Саша Тургенев сел в почтовую карету, положив тяжелый баул на крышу. Покрепче в дорожную шинель! «Ох, как хороша дорога!» — думал Александр Тургенев, садясь в почтовую кибитку.

Марфуша пекла блины. Едкий дым застилал глаза. Фекла била ее смертным боем, а она, все чаще и чаще убегая за печку, дергаясь плечами, говорила: «Сашенька, Сашенька!» — и плакала навзрыд никому не понятными, глупыми, бабыми слезами.

Дворовый человек Василий, ухарски завитой, в шитой рубашке, ворот которой торчал из-за полушубка, на лихой тройке приехав на почтовую станцию, остановил Александра Ивановича за какие-нибудь двадцать минут до отъезда:

— Дорогой барин, государыня Катерина Семеновна вас требуют.

Оплакавши Россию, приготовившись к отъезду, Саша Тургенев должен был, повинувшись родительской воле, вернуться домой. На подорожной сделали отметку об отсрочке.

Дома полное смятение. Катерина Семеновна, раздувая ноздри, рвет и мечет. Иван Петрович, как никогда хладнокровный и спокойный, говорит:

— Хорошо, матушка, в Петербург поедem, такова высочайшая воля, но все равно ты меня не переймешь — ехать Сашке надо будет; он и Двигубский уже зачислены, а там еще, смотришь, Кайсаров Андрей, Галич, Куницкий, да и другая молодежь ехать должна — это тебе, матушка, не Синбирск, чтоб девятнадцатилетнего мальчишку с дороги ворочать. Я тут глава, я — начальник семьи.

Дети с ужасом смотрели, как дрожал письменный стол, а через минуту большой фарфоровый чайник разбился о паркет. Катерина Семеновна мрачнее тучи вышла из комнаты.

На следующее утро все выехали, но не в Германию, а в Петербург. И лишь оттуда, через три дня, несмотря на капризы и протесты Катерины Семеновны, Александр Тургенев и Яншин сели за Нарвской заставой в петербургском Отделении почтовых карет и брик, ровно через десять дней после случая в Москве, и шестерка с диким криком фореитора из калмыков помчала кибитку по Ковенской дороге. Саша Тургенев, впервые тайком от матушки и батюшки, был вдребезги пьян. Яншин уговаривал его прислониться к кожаной подушке и заснуть. Саша пел песни про широкую Волгу, про Степана Разина, говорил несвязные слова о том, до чего хороша вольная жизнь и что если б матушка не была похожа на черта, то все было бы замечательно. Яншин его успокаивал и говорил:

— Когда тебя, милый друг Сашка, сильно начнет тошнить, ты мне скажи, а сейчас спи, дурак!

Саша думал: «Если б не капризы и етурдерия матушки, был бы я сейчас человек человеком, а то выходит, что я перед Яншиным свинья свиньей». Саша не помнил, говорил ли он вслух эти слова, или ему так думалось, но только Яншин трубил ему в ухо:

— Всегда, Сашка, перед отъездом так бывает, ты только не злись и не неволься. В Германии еще не то будет! Ты куда едешь? В Геттинген?

— В Геттинген,—отвечал Саша, запинаясь.

— Я тоже! А вот Двигубский—в Париж. Счастливая собака! Там интереснее.

Саша Тургенев проснулся и не мог определить, который час. Яншин сидел в кибитке. На чемоданчике, разложенном на коленях, на верхней крышке было блюдо с резаной курицей. Яншин ел с аппетитом, ястребиным глазком посматривая на Тургенева. У Саши голова кружилась. Достал матушкину жареную индейку и, пока с ней возился, увидел на крышке большого баула две золотые стопки, наполненные лиловатой, издающей приятный запах жидкостью.

— Bon voyage!¹—сказал Яншин.—Но только не мигая и до конца!

Саша, не привыкший к спиртному, выпил и вдруг сразу почувствовал, что ему хочется есть. Болтал без умолку, говорил бессвязные, глупые вещи. Яншин холодным, ястребиным глазком на него смотрел, и лицо его выражало нескрываемое презрение к захмелевшему юноше.

— Тебе девятнадцать лет, Тургенев, да?

— Да,—сказал Саша,—а что?

— Да так, ничего! Думаю, где мы с тобой остановимся, когда приедем в сей славный университетский город.

— А я думаю,—сказал Саша Тургенев,—как бы мне опустить проезжему курьеру письмо к матушке и батюшке.

— Да ты, я вижу, сосунок,—сказал Яншин.—Без батюшки и матушки дня прожить не можешь!

После этих слов Яншин почему-то противен стал Александру Тургеневу.

¹ Счастливого пути! (фр.)

Каждый предавался своим мыслям, и так ехали до самой границы. Там была проверка паспортов. Комиссар на границе впился глазами в русских путешественников и спросил ломаным немецким языком, зачем им нужен въезд в Германию. Отвечал Яншин, окончательно покоривший Тургенева своей практической сметкой и умением разобраться в обстоятельствах.

Начались бесконечные северо-немецкие болота и туманные места Восточной Пруссии. Сам не помня, как и когда, Александр Иванович Тургенев открыл глаза; въехав в маленький город на берегу реки, остановился синий, с большими почтовыми рогами дилижанс. Яншин, веселый и довольный, покачиваясь и посмеиваясь, вышел из экипажа.

— Где мы? — спросил Александр Тургенев.

Яншин осмотрел его с головы до ног. Треугольная шляпа лежала на бауле, черный редингот с голубым бархатным воротом и палевый шелковый ворот с гофренным галстуком, переходящим в кружевное жабо, довольно изящно оттеняли свежее, юношеское лицо молодого Тургенева, с прическою, сбитою мелкими кольцами и спадающею на лоб, с небольшими бакенами, спускавшимися чуть повыше кончика уха. Александр Тургенев был похож на заспанного фавна. Немножечко припухшие веки говорили о том, что юноша или устал с дороги, или, быть может, внимая увещаниям товарища, выпил излишне.

— Знаешь, ты даже похож чуточку на молодого царя, — сказал Яншин, указывая на белокурые волосы Александра Тургенева.

Александр Тургенев был занят другим. Почтовая станция была маленькая. Наблюдателей было немного, и, пользуясь случаем, какой-то старик в тяжелых больших очках, с высоко поднятым воротом, небритый, так что седые волосы торчали вокруг подбородка и под носом, хриплым голосом, почтительно что-то доказывал молодому человеку.

Тот стоял, элегантный, прямой, высокий, и, не глядя, слушал. Тургенев разбирал отрывочные слова из шепота.

— Принц Конде обещал — скоро последняя голова у гидры будет срублена, ваша светлость! Матушка ваша приказала не унывать. Золото в надежных руках. Будьте уверены, что Париж раскроет вам ворота.

Молодой человек, вялый и изнеженный, медленно

натягивал перчатку лимонного цвета на левую руку и говорил:

— Хорошо, Франсуа, ты — верный лакей. Надо, чтобы в течение двух недель сто тысяч прокламаций было разбросано. Мишель возьмет двадцать пять, ты — семьдесят пять тысяч. Марш!

К удивлению А. И. Тургенева человек, ехавший с ними, такой старый и почтенный, казавшийся всем, ехавшим с ним от границы Германии, не то маркизом, не то графом старой Франции, оказался просто лакеем французского аристократа.

— Ну, что же ты так долго? — спросил Яншин.

Из дилижанса вышли. На извозчике поехали по берегу реки. Прошло еще два часа, и, окончательно сваленный аметистовыми бокалами Яншина, Саша Тургенев очнулся уже в городе Геттингене, в маленьком мезонине, где Линхен и Амальхен приготавливали постели для русских путешественников и приглашали их на кофе.

Началась студенческая жизнь Александра Тургенева.

Надо матрикулироваться. Матрикул — большой лист пергаментной бумаги — требует заполнения целого ряда вопросов: о родителях, об исповедании, о философских взглядах, какие науки интересны и прочее и прочее.

— Вы русский? — спрашивает секретарь.

— Русский, — отвечает Тургенев.

— У нас был русский Куницын. Ах, это студент, это студент! Он доктора получил через два года, *aber es ist ein Jakobiner*¹.

— *Aber was für ein Jakobiner?*²

— Вы еще переспрашиваете, — говорит секретарь, — вам мало одной королевской головы, оторванной от плеч.

— Я вас не понимаю, — говорит Тургенев.

— Платите две марки за матрикул, — говорит секретарь. — Я не имею ничего сказать вам.

Александр Иванович оборачивается к Яншину и говорит:

— Я ничего не понимаю!

Яншин стучает его ладонью по лбу и говорит:

— Это в порядке вещей! Придешь, тебе вечером объяснит Линхен, а под утро — Амальхен.

¹ Но он якобинец (нем.).

² Но что такое якобинец? (нем.)

— Что за чушь? — говорит Александр Тургенев. — Это возмутительно! Отпишу батюшке, что не за тем ехал я в Германию.

— Отпиши, отпиши, милый, — говорит Яншин, — сваяй дурака. Прошло время, когда непонявший обращается к матушке и батюшке.

Круглая зала университета. Профессор Сарториус в шапочке с шелковыми углами («словно митрополичий кучер», говорит Тургенев) входит на высокую кафедру, маячащую перед аудиторией. Шестьдесят пять студентов разных национальностей сидят перед ним. Профессорская мантия, головка, откинута на спинку кресла, длинные сухие пальцы, сваливающиеся с кафедры, говорят о прошлой эпохе. Свободные жесты кидает Сарториус в аудиторию. Рука от локтя до кисти временами вдруг встает костлявым привидением над кафедрой и свободно откидывается в сторону студентов. Костлявые пальцы свисают в аудиторию, а голова профессора запрокинута на деревянную доску — «словно на эшафот французской гильотины», шепчет Двигубский на ухо Тургеневу.

— А тебе что — уж Париж снится? — спрашивает Тургенев.

— Точно могу тебе сказать: в Париже сейчас уже не то. Там в умах у всех некий генерал с острова Корсики — Буонапартé.

— Не слыхал такого, — говорит Тургенев. — Думается мне, что у парижан на уме прэнс Лудвиг Нормандский и легитимные Бурбоны, вроде прэнса Конде.

— Ну уж, братец мой, ты оставь это матушке своей Катерине Семеновне, а мы — молодежь — думаем иначе. Оставайся тут со своими немцами, а я в Париж поеду.

— *Bon voyage!* — говорит Тургенев. — Однако ж не мешай мне слушать.

— Народы Европы, — продолжал Сарториус, — не привыкли управлять сами собою. Да это и в порядке вещей с того дня, как деньги стали делать хозяйство. Сто лет тому назад никто из владетельных князей Франции и Германии и не подумал бы, что какой-нибудь кружочек из золота может решать судьбы царств и участи королей. Однако цены на хлеб становились все дешевле: владелец земель, который поставлял хлеб на мировой рынок, не мог выручить того, что он затратил на производство хлеба. Этот владелец, он же дворянин Франции, Германии, Англии и России, никак не предполагал, что хлеб

будет стоять так дешево. Тем временем вырастали машинные фабрики. В народном хозяйстве появилась новая могучая сила. Что вы хотите с ней делать? У нее есть избыток капитала, избыток денег. Сейчас эта новая богатая денежная сила бросается к господам дворянам и говорит: «Государство нуждается в золоте. Чтобы вы зря не брали с населения денег за хлеб, пустим иностранное зерно. На рынке падут цены на хлеб. Вероятно, это нам нужно, ибо чем больше денег в государстве, тем государство счастливее».

Так думали многие в прошлом столетии, так ошибочно многие думают и посейчас, но, дорогие коллеги, это — ошибка, дорого стоящая ошибка *меркантилизма* прошлого века. В нынешнем столетии мы должны во что бы то ни стало пересмотреть теорию народного хозяйства XVIII столетия. Каждый из вас кушает кусок хлеба за обедом. Позволительно спросить вас: откуда этот кусок у вас в руках? В России, в тиранской стране, это все понятно — он дается дворянским детям даром, но кто в Германии и особенно в нынешней Франции возьмет этот кусок и по праву скажет: «Он мой, я его заработал»? Дорогие коллеги, в то время как верхушка населения имеет все, нынешний крестьянин не имеет ничего.

— Хорошо он говорит,— произносит на ухо Яншину Саша Тургенев.

— Молчи, дурак, тебе отрубят голову,— отвечал грубо Яншин.

— Итак, дорогие коллеги,— продолжал Сарториус,— система хозяйства в государстве, предложенная экономистами прошлого столетия, есть система торгового барыша и прибыли. Ясно, конечно, что если человек стремится увеличить барыш в своих сундуках с мешками золота, то он должен, дабы всякое неравенство исчезло, разделить общество на два правильных класса: один зарабатывает и укрывает, другой — страдает, обливаясь потом лица своего. Благородный дворянин, обеспечивающий правильную жизнь и от нищеты спасающий своего виллана, обязанного ему крестьянина, несомненно больше заботится о мужицком достатке, нежели нынешний купец, торговец и предприниматель. Человек, думающий о наполнении замшевого мешка золотыми монетами, менее полезен, чем простой трудолюбивый человек, мечтающий об увеличении реальных, настоящих благ государства.

— Знаешь, Тургенев, он, по-моему, фритредер, он

сторонник свободной торговли, он хочет уничтожить пошлину на продукт.

— А может, так и нужно делать, чтобы население не голодало,— возражает Тургенев.— Что из того, что денег много, а есть нечего?

Сарториус продолжал:

— Система прошлого столетия есть система завоза и накопления в государстве большого количества монеты. Это, дорогие коллеги, чистейший меркантилизм, унаследованный от старинных веков процветания богатого купечества. Знаете вы латинское слово «меркатор», что значит продавец. В Венеции целый квартал назывался «Мерканти». Мифологическое божество древних римлян, способствовавшее всевозможным коммерческим сделкам, называлось «Меркурий». Отсюда французское слово «маршандиза», что значит купля-продажа. Увлечение большой наживой амстердамского дома величайших европейских банкиров Фугеров создало в государствах особое стремление делать все, дабы накапливать в государстве золото, покровительствовать вывозу и препятствовать ввозу чужеземных товаров. Но, дорогие коллеги, все имеет свои пределы. Господа купцы вскоре убедились, что вывоз простого деревенского продукта—хлебного зерна или муки—повышает цены на эти продукты в той стране, из которой их вывозят. Какое из этого надобно было сделать следствие? Только одно. Применить обратный закон к хлебному рынку, а потом объявить свободный ввоз хлеба в свою страну по пониженным ценам и тем самым заставить своих производителей зерна понизить цену на хлеб в своей стране. Население возблагодарило создателя после такой мудрой меры, но равновесие в торговле было сим актом нарушено.

— Ничего не понимаю,—говорит Яншин на ухо Тургеневу.— Скажи, как, по-твоему, он за или против меркантилизма?

— Таким образом получается естественное следствие меркантилизма—вмешательство правящей власти в дела рынков. Это вмешательство, дорогие коллеги, именуется протекционизмом. Государство поощряет одних и препятствует другим. Меркантилизм и протекционизм теснейшим образом связаны друг с другом.

— А, знаешь,—это очень интересно,—говорит Тургенев Яншину, и свинцовый карандаш, шурша по бумаге, быстро записывает основные мысли преподавателя.

— Но, дорогие коллеги, наступает новая эпоха. Новый век стучится в ворота истории и требует, чтобы мы возвестили наступление свободы торговли. Правительство не может вмешиваться в то, что должно осуществляться в силу естественных законов. Одна и та же природа породила людское племя и хлебные злаки. Если одно служит на пользу другому, то это лишь в силу божественного предназначения человека. Все бесконечно разнообразные продукты, производимые нынешней усложненной индустрией, могут оказаться за пределами человеческих потребностей, если у человека нет куска хлеба. Следственно, первейшая забота государства есть обеспечение свободного развития зернового хозяйства. Пора знать вам, дорогие коллеги, что *нужды* управляют государствами, что потребности и интересы формируют общество и что продукты, естественно поддерживающие жизнь человека,—суть первая и основная потребность государства.

— Я так и знал, что он физиократ,—говорит Александр Тургенев.

— А я думал, что он сторонник свободной торговли, сиречь фритредер,—говорит Яншин.

— Какая разница между этими двумя учениями? Одно дополняет другое, как изнанка и лицо,—сказал Александр Тургенев.

Раздался звонок. Студенты, деканы, профессора и педели высыпали в коридоры, в галереи и покрыли собою широкие лестницы.

Георгия Августа—это название университета в Геттингене. Основан он был в 1734 году; из маленького ганноверского учебного заведения сделался крупнейшим центром европейской культуры начала XIX века. Речка Лейна, протекающая совсем у подошвы горы Хайнсберга, хорошо видна из окон библиотеки. В простенках—большие желтые шкафы из ясеня, за стеклами видны кожаные тисненные переплеты трех тысяч рукописей на латинском и немецком языках. Полмиллиона книг в просторных, тихих, прохладных коридорах.

— Сладостна здесь наука,—говорит Александр Тургенев. Галич не слушает. Другие студенты тоже мало обращают внимания на восторженное состояние девятнадцатилетнего Саши. Молодые люди в украшениях из пестрых лент разных корпораций снуют по коридорам. Коротенькие козырьки шапочек, носы, изрезанные рапи-

рами, губы, надорванные остриями, широкие шрамы и черные пластыри на физиономиях студентов, лица, слегка одутловатые, розовые и красные от огромного количества пива, мелькают перед Тургеневым.

Подходит Яншин, наклоняется к Тургеневу и шепчет:

— Что ты вечером сегодня делаешь?

— Думал писать письмо матушке и батюшке.

— Ну, так вот, посылаю тебя к матушке со всеми вытекающими отсюда последствиями, но ты дрянью будешь, ежели не поедешь с нами ночью, при факелах, в ущелье Хайнсберга. Туда едет вся русская колония и вся студенческая Ганноверская корпорация.

— А что там такое?

— Там цыганский табор, и два наших студента подрались из-за цыганки. Случай небывалый, биться будут на старинных мечях, в кольчугах, при свете факелов.

— Фу, черт возьми,—говорит Тургенев,—надо ехать.

Глава девятая

Вечером от восьми до девяти Тургенев сидел с Яншиным, русские студенты пели русские песни. Александр Иванович читал письма, полученные из России. Оказывается, и старший брат уехал за границу, в Вену, для зачисления в русскую миссию при графе Разумовском. «При Иване Петровиче остались младшие братья — Николенька и Сережа», — думал Тургенев. Яншин, сильно подвыпивший, заливаясь соловьем, выводил какую-то длинную песенную руладу, закинув глаза высоко и играя на гитаре. Играл он мастерски, пел с упоительным увлечением. Тургенев смотрел на него и думал: «Добрый малый и с хорошим душевным расположением, но как общение с немецкими графами, с этими драчунами-студентами, отвлекло его от учения». Продолжая думать, Тургенев говорил себе: «Однако я в сутки сижу двенадцать часов без разгибу, сплю, как монах, пять часов, самое большое, в надежде отоспаться в гробу после смерти. Но ведь этак можно раньше времени накликать гробовой сон. Надо непременно ходить до усталости, а то спина не гнется. Надобно ехать сегодня повеселиться. Хотя что за веселье будет, ежели у самых развалин замка Плесс будет драка на старинных мечях. Грубые люди все-таки эти немцы! А в горах там красиво, с самых

высоких белых утесов падают и разбиваются в брызги горные ручьи, что при лунном свете дает зрелище ослепительное. «Поеду»,— решил Тургенев и хотел обратиться к Яншину с напоминанием, как вдруг на улице раздался крик, звон и дробный барабанный бой. Тургенев, Яншин и все студенты бросились к окну. Страшное зарево окрасило горизонт. Множество студентов бежало по улице. Все кричат:

— Feuer, Feuer, Bursche, heraus!¹

Тургенев быстро оделся и побежал к месту пожара. Сечение народа было большое, но, к удивлению Тургенева, почти никто не принимал участия в тушении пожара. Равнодушие зрителей его возмутило. Он быстро вбежал в горящий дом и стал помогать охваченным паникой жителям в спасении их имущества. Он перебегал из комнаты в комнату. Немецкое жилище обнаруживало перед ним свое устройство и навыки хозяев. При большой чистоте отведено слишком много места всевозможным заботам о желудке. Неуклюжесть и громоздкость обстановки поразила Тургенева во мгновение ока. Он не успел осмотреть долго и внимательно ни одной комнаты, потому что заметил, что, то ли от клубов едкого дыма, то ли потому, что не было уже надобности вытаскивать имущество, он внезапно остался один. Лестница, по которой он вошел, провалилась, он толкнул ногой дверь в комнату и увидел на постели ребенка с широко раскрытыми глазами, кашляющего от дыма, но несколько не напуганного. Он взял его на руки и бросился в коридор. Там дышать невозможно было от жары. Выбив раму, Тургенев вышел на крышу. Это был низкий чулан, примыкавший к зданию, покрытый каким-то мягким промасленным ковром. На воздухе дышать было легче. Языки пламени уже лизали окна комнаты, из которой вышел Тургенев. Недолго раздумывая, он подполз к водостоку и через пять минут стоял на маленьком черном дворе около водяного чана, полного до краев. Ребенок спал у него на плече. Передав его шуцману, Тургенев побежал домой и, не раздеваясь от усталости, закопченный, продымленный и опаленный, заснул и не просыпался четырнадцать часов подряд.

Утром долго не мог понять, что с ним было. Он удивлялся только чрезвычайной холодности немцев. Он

¹ Пожар, пожар, бурши, выходите! (нем.)

писал у себя в дневнике: «Отец, лишившийся взрослого сына, тужит о том, что воспитание его дорого ему стало и что сын умер, не успев вознаградить отца за понесенные издержки. Брат, потерявши брата, радуется, что ему достанется кафтан и сапоги покойного».

На следующий день ездили верхами. Тургенев писал: «Сейчас приехал верхом. Целый день был в движении и был в трех государствах: в Ганноверском, в Прусском и Кассельском. А у нас и дач трех помещиков нельзя в один день объездить». Тут же Тургенев записал анекдот: «Недавно случилось, что в прусской службе в одном полку находились отец и сын солдатами: первый провинился и осужден быть прогнан шесть раз сквозь строй. Полковник велел собраться полку всему; ему докладывают, что сын преступника также тут и просит избавить его от сей несносной должности; но сей настоял на своем повелении. Экзекуция началась. Сын наряду с прочими взял несчастное орудие; но могла ли рука его подняться на виновника бытия его? Он, вместо того чтобы давать отцу удары, при приближении его бросил к ногам его прутья и получил от надзирающего офицера за сие несколько сильных ударов; в другой раз поступил он так же и получил вдвое больше ударов; в третий раз узнает об этом полковник, подходит к нему и бьет жестоким образом. Вдруг воздействовало в солдате природное чувство: он схватил ружье и убил бесчеловечного. Все солдаты закричали: «Браво!» Офицеры хотели усмирить их, но последовал всеобщий бунт, и они должны были уступить силе многолюдства».

Напротив, через улицу, поселилось французское семейство: старая маркиза, маркиза молоденькая и старый маркиз — генерал, бежавший из Франции и поселившийся там, где, по его мнению, он был дальше всего от Бонапартовых глаз. Тургенев познакомился со старым генералом. Узнал, что генерал Бонапарт — «выскачка из самой заурядной семьи», что он одерживает теперь победы, что с Французской республикой чрезвычайно трудно бороться. Генерал с горечью говорил, как многие его сотоварищи, титулованные дворяне, «продали свою шпагу этому проходимцу Бонапарту».

— А какие дикие нравы у этих французских якобинцев, — говорил генерал с горечью, — они к лучшим военачальникам покойного короля приставили военных комиссаров. Те требуют побед во что бы то ни стало, а если

войско терпит поражение, то комиссар застреливает из пистолета генерала. Согласитесь сами, что невозможно служить в такой армии.

— Однако она все время одерживает блестящие победы,— заметил Тургенев.— Значит, армия сильна!

— Эту силу революционерам дает дьявол,— сказала старая маркиза.— Разве можно думать, чтоб какая-нибудь марсельская голытьба или шатовьевский штрафной батальон из каторжников и галерников в красных шапках могли одержать победы над регулярными брауншвейгскими отрядами, а тем не менее эти регулярные отряды бегут при виде красных шапок бунтующих французских каторжников.

«Действительно, странно,— думал Александр Тургенев.— Если уж они говорят так, то, значит, республиканские войска непобедимы. Если это говорит французский эмигрант, ненавидящий французскую революцию, то, значит, эти слухи о французских победах верны. Однако не слишком ли они доверчивы ко времени и пространству? Время бежит быстро, и уже недалекие пространства отделяют ганноверские владения от полей сражения, на которых раздаются французские военные песнопения».

Тургенев подписался на немецкие журналы. За шесть талеров в год стал получать все, что выходит периодического в Германии.

Составил себе расписание слушать лекции профессоров истории всеобщей, истории русской, которую читал Шлёцер— автор знаменитого исследования о Несторелетописце. Слушал лекции английского языка, изучал латинский язык, натуральное право, естественную историю, в первые годы главным образом ботанику. Время было разобрано до такой степени, что, начиная лекции с семи часов утра, Тургенев заканчивал свою работу в будни в одиннадцать часов ночи. Воскресенья он проводил за городом в полном и счастливом отдыхе. Эта огромная, напряженная работоспособность спасала его от многих неприятностей, свойственных жизни молодежи на чужбине. Товарищ Тургенева, молодой Успенский, менее работоспособный и менее дисциплинированный, поддавался тоске и, прохворав две недели, должен был уехать обратно в Россию, так как не в состоянии был рассеять

«чувства страстной и захватывающей меланхолии», которая отравляла ему каждую минуту. Яншин был другого склада человек. Он пил вино, волочился, озорничал, шумел по улицам и сделался типичным буршем. Однако Тургенев охотно проводил с ним время. Он писал большие письма, начиная их каждый раз словами «Милостивый государь батюшка, милостивая государыня матушка». Он охотно выполнял поручения отца, высылал ему книги, которые в большинстве случаев не доходили. Он выслал отцу книгу Шатобриана, только что вышедшую в республиканской Франции и предвещавшую в недалеком будущем возврат французской литературы к идеалам и стремлениям королевского прошлого. Эта книга, «Гений христианства», беспрепятственно дошла из Геттингена в Москву.

По воскресеньям Тургенев любил выезжать из Геттингена. Граница была недалеко, можно уехать в Пруссию, можно уехать в Кассель, от ганноверского Геттингена все это было рукой подать. Наблюдения Тургенева аккуратно заносились на странички его дневника. Большая зеленая книга с конвертным клапаном и завязками по ночам исписывалась тончайшим, мелким малоразборчивым почерком. По-русски он писал наблюдения о немецких князьях. Проезжая в кассельских владениях, Тургенев наблюдал, как женщины выполняют самые тяжелые полевые работы. Он допытался о причинах этого: корыстолюбивый кассельский ландграф торговал своими подданными. Во время американской войны он устраивал посадку на корабли своих рекрутов и довольно изрядно нажился на этой торговле войсками. Торговля эта производилась тайно, никто не мог с точностью указать матери, куда исчез ее сын, невесте, куда девался ее жених. Ходили темные слухи, но вслух об этом не говорили. В дневнике Тургенев писал: «Между прочими резкими чертами, характеризующими ландграфа и его корыстолюбие, достойна замечания следующая: чтобы сократить расходы на двор свой, выдумал он средство иметь истопников и не платить им никакого жалования. Он заставил отапливать свой дворец невольников, содержащихся под стражей и, следовательно, отягченных цепями. Но неприятный звук цепей, который раздавался с тех пор всякое утро в покоях и тревожил сладкий сон покоящейся его любовницы, заставил последнюю упростить его упразднить эту экономию».

Тургенев восхищался своими профессорами, особенно Шлёцером. Он с восторгом писал, как именно Шлёцер впервые, вопреки цензуре, осмелился написать о всех бесчеловечных и грязных поступках кассельского государя. В ответ на статистические вычисления Шлёцера о том, как пострадало население Кассельского ландграфства от продажи молодежи иностранцам, кассельский государь обратился к Шлёцеру с негодующим письмом за эти якобы клеветнические показания. Ландграф писал Шлёцеру, что ежели он чего не знает, то пусть обратится непосредственно к ландграфу. На это Шлёцер ответил: «Не знаю только одного, не знаю точного количества золотых мешков, которые получили вы от иностранцев за торговлю немецкой молодежью». На этом переписка прекратилась. Ландграф не ответил профессору.

Суббота. Профессор Шлёцер кончает лекцию. Он рассказывает о том, как всевозможные племена скрещивали пути своих караванов и кочевий на востоке Европы, он говорил о том, как нужда гонит одних и подчиняет других, он рассказывал увлекательным и живым языком о возникновении и исчезновении больших государств Азии и стремился внушить своим студентам мысль о том, как нужды и интересы больших и малых человеческих групп делают историю; как шлифуется и оттачивается человеческое общество благодаря столкновениям острых и противоречивых интересов и как постепенно видоизменяются государственные формы. Зачастую поворачиваясь в сторону русских студентов, он произносит несколько фраз, блестящих, красивых, почти напыщенных, по-русски. Широким жестом он приподымает покровы тяжелых исторических туманов, осевших над старыми временами, он описывает события с такой яркой жизненностью, как будто сам был их участником, он заставляет воображение работать лихорадочно. Его сильная логика направляет мозговую работу аудитории. Студенты слушают затаив дыхание и провожают Шлёцера рукоплесканиями. Его заключительные слова совсем неожиданны. Он говорит о том, что во Франции произошла революция, что все страны идут к народовластию, но вот на востоке появляются признаки новых исторических форм просвещения. Александр I собирается сделать в России шесть просвети-

тельных округов-дистриктов. В каждом округе будет университет, не просто университет, а центр просвещения, от которого будут зависеть школы разных степеней. Будет могучая школьная сеть, в которой каждая ступень есть подготовка к следующей. «Однако,—заканчивает Шлёцер,—все упирается в одно: необходимо уничтожить в России рабство».

Профессор Буле и профессор Мартенс не читают сегодня лекций. Двигубский, Яншин и Тургенев выходят из университетских галерей, сдавши книги в библиотеку, и, при выходе на большой университетской лестнице останавливаются и вопросительно смотрят друг на друга. Всем троим очень молодо и очень весело. Жизнь заманлива и интересна.

— Я хотел бы быть сейчас в гавани, наклониться с палубы белопарусного корабля, посмотреть вот на такое же великолепное заходящее солнце и ждать, как поднимется якорь и в золотистую даль потянет и поманит тебя ветер туда, в неведомые, в удивительные страны,—сказал Двигубский.

— А я хотел бы стакан пуншу,—сказал Яншин.

— До гавани далеко, пунш от нас не уйдет, а пойдемте-ка лучше к Ганзену, возьмем трех лошадей, поедемте верхами до Миндена,—предложил Тургенев.

Сказано—сделано. Через два часа, сидя под огромными буками на высокой горе, трое молодых людей, положив шляпы, перчатки и английские стеки, уже беседовали над огромной долиной, в которой змеилась, протекая, голубая Фульда, ручьи бежали неподалеку, бесконечная долина, окруженная горами, покрытыми лесом, зеленела и золотилась в лучах заката, развалины замков на трех огромных уступах были позолочены лучами вечернего солнца. Старинный германский ландшафт, необычайно мирный и прекрасный, даже величавый в спокойном угасании вечеряющего дня. Красные, золотые, внизу клубящиеся, а сверху перистые облачка таяли и уплывали, тихо меняя очертания. В ближней зелени затихали птицы. И вдруг среди этой необычайной тишины, где-то очень далеко, почти беззвучно, словно попыхивая, послышались один за другим четыре пушечных выстрела. Двигубский продолжал говорить, не слыша. Тургенев вслушивался не понимая, и только Яншин вскочил на ноги.

— Господа, это сражение!

Дневник Тургенева.

«8/20 мая (1803). Итак, французы уже близки к ганноверским владениям. Что-то последует с здешним университетом? Верно, просвещенные французы не потревожат муз, любящих и требующих более всего спокойствия. Под эгидой Минервы нам нечего опасаться.

11/23. Отправил письмо в Москву и в Лейпциг. Итак, мы можем теперь назваться осажденными. Беспрестанно ожидают ганноверцы входа французской армии. Всех граждан призывают к присяге. Силою берут в солдаты, и беспрестанно виден на улице новый привоз рекрутов. Сегодня ввечеру вели их. Жители с сожальной миною смотрят на них. Я шел со своими товарищами и смеялся над пустыми приготовлениями ганноверского правления и над этой недисциплинированной кучей шалунов, которую берут под ружье. Женщины, увидевши, что мы смеемся, вскричали: «Und die Russen lachen!»¹ А что же нам иначе делать, мы не имеем нужды трепетать.

Видно, что страх их не бездельной. Даже и за город никого из мужчин не выпускают.

13/25 июня. Писал письмо к брату. Итак, я уже не в королевских, не в ганноверских владениях, но... ура! в республиканских французских. Государственные гербы здешнего курфюрста поневоле уступили место французскому равенству и вольности. Ни на одном уже казенном доме не скачет конь ганноверского дома. Везде республиканский девиз «Liberté, égalité»². Войско сдалось на постыдную капитуляцию. Французы господствуют. Депутация здешнего университета кончилась с изрядным успехом. Французы сумели поддержать о себе мнение как о просвещеннейшей европейской нации и хотят оставить геттингенских муз в покое. Генерал Мортье отвечал профессорам нашим — Мартенсу и Blumenbachу: «L'université de Göttingue sera respectée dans tous les rapports possibles»³. Разумеется, поставят сюда немногочисленный отряд».

Андрей Кайсаров каждый раз приходит к Александру Тургеневу читать московские письма. Потом Тургенев за одним столом, Кайсаров за другим два часа строчат

¹ Даже русские смеются! (нем.)

² «Свобода, равенство» (фр.).

³ К Геттингенскому университету отнесутся с возможным уважением (фр.).

обширные послания в Москву все тому же Ивану Петровичу Тургеневу, любимцу русской студенческой молодежи в Геттингене.

За его здоровье пили первые бокалы на студенческих пирушках, именуя Ивана Петровича «Другом человечества». Ему исповедовались во всех литературных сомнениях и ересь, ему писали о своих увлечениях шиллеровскими трагедиями и произведениями веймарского писателя Гете. Ему рассказывали лекции профессора Буттервека о Петрарке, о его удивительной любви к Лауре. Восторженно сравнивали Петрарку с Васильем Андреевичем Жуковским, который в тот год стал уже замечательным стихотворцем. Александр Тургенев только Кайсарову доверял свои семейные дела. Ни Двигубский, ни Яншин, ни другие студенты не были в такой мере близки семье Ивана Петровича, как Андрей. Лирическая настроенность Тургенева не встречала насмешек со стороны друга. Кайсаров лучше других понимал весьма утонченные и сложные переживания своего приятеля.

— Знаешь, друг Андрей,— говорил Александр Тургенев,— я смотрю вокруг себя и не узнаю вещей и природы. Кажется мне, что выветриваются остатки прошлого века, скидывается штукатурка, а под ней вместо старых бревенчатых стен обнаруживаются камни и железо новых невиданных строений. Не уловляю этих перемен в ясности, но кажется мне, что меняется облик вселенной и тают образы всем знакомых предметов прошлого века.

— Старое стареет,— сказал Кайсаров,— стареет и отмирает. Отмерла старая Франция придворных поклонов, париков, мушек и фижм. Послушай, какие дерзкие вещи говорят французские офицеры в ресторации Ганзена. Они на весь мир смотрят как на свою собственность. И я уверен, что замыслы их идут очень далеко.

— Ты прав, когда говоришь, что старое стареет. Вот уже батюшка вышел в отставку. В последнем письме он пишет о том, как уже съехали с Моховой улицы, купив дом на Маросейке, и туда поселились. Андрюша приехал, и все три брата в Москве. Пишут, что отец уже стар и только матушка одна посещает московские балы усердно. Во мне два чувства борются. Очень хотел бы видеть отца и братьев, но так привязался я к Геттингену и к наукам, так я чувствую себя на месте, что с боязнью думаю о разлуке с этим прекрасным городом.

Бросив письма на почту, Кайсаров и Тургенев сверну-

ли в переулок, вошли в калитку большого тенистого сада, и, пройдя мимо цветочных клумб к обрывистому берегу, сели на прекрасную веранду господина Ганзена, где подавалось лучшее в Германии пиво и где студенты собирались для товарищеских обедов. Столы были полны. Среди студентов, ничем не выделяясь, весело говорил, поднимая бокал в правой руке, молодой безусый студент баварской корпорации. С ним спорили два французских офицера; господин Ганзен, грузный, но веселый и насмешливый, стоял неподалеку, бросая острые словечки. Безусый студент прекрасно говорил по-французски. Французы обращались к нему, называя его «citoyen»¹, студент с ними спорил и говорил, что еще одна коалиция — и Французской республике конец. Что будет тогда с Францией? Офицер оживился и заговорил с жаром:

— Едва наши свободные крестьяне успели засеять поля, как аристократы, продавшие Францию, двинулись с наемными войсками. Франция всех отшвырнула от своих границ, но так как вы упрямо добиваетесь гибели моей родины, так как вы упрямо добиваетесь царства аристократов, то нам приходится идти против вас и завоевывать ваши пределы. Мы всюду скинем королей, мы всюду напишем великие слова нашей революции. Да здравствует свободный Ганновер! Да погибнут англичане, правившие этой немецкой землей!

Студент поднял бокал и осушил его залпом. Французский офицер протянул ему руку.

— Моя фамилия Бланки,—сказал он безусому студенту.

— Я счастлив,—сказал студент, пожимая руку француз.— Меня зовут Людвиг, я — наследный принц баварский.

Француз отступил, сверкая глазами. Воцарилось неловкое молчание. Потом раздался смех. Француз подошел к прилавку и, бросив три пятифранковых монеты, воскликнул:

— Плачу за всех, сдачи не нужно!

Это была щедрая плата. Когда французы ушли, господин Ганзен показывал всем новую французскую монету. Красивая чеканка. На монете портрет Бонапарта с надписью: «Первый консул». Вместо точки — изображение петуха в самой гордой и воинственной позе

¹ Гражданин (фр.).

с огромными шпорами, а по краям надпись: «Бог покровительствует Франции».

— Однако,— сказал Кайсаров,— что-то последнее время французы часто стали поговаривать о боге. Должно быть, Бонапарту понадобилась подмога римского папы.

Вечером Тургенев был на чаепитии у Шлёцера. В большой старинной зале шлёцеровской квартиры собралось восемьдесят человек. Среди них Тургенев заметил баварского принца и французского генерала-эмигранта, ослепшего еще при короле и теперь проживающего в Геттингене вместе с красавицей дочерью. Для того чтобы не чувствовать стеснения, Тургенев быстро выпил три бокала шампанского. Немецкий принц пил также не мало. Оба захмелели, речь стала веселей, оба подтрунивали над тем, как молодой венгерский граф Текели, пользуясь слепотой старого француза, целует его дочь, в то время когда генерал осыпает бранью Бонапарта и нынешнюю Францию.

— Однако нравы стали вольные,— сказал Тургенев. Принц пожал плечами и засмеялся.

Слепой французский генерал бушевал, крича:

— Этот вор и бандит осмелился убить герцога Энгинского! Сын какого-то корсиканского чиновника, островитянин, где половина населения занимается воровством и грабежом, безродный выскочка, которому во что бы то ни стало нужно рядиться в римские одежды, называть себя первым консулом, управляет Францией! — Венгерский граф, кончая танец, подвел дочку генерала к креслу и быстрым, почти незаметным движением поцеловал ее в висок.

— Венгерская контрибуция с Франции,— трунил принц.

Генерал продолжал:

— За один этот год были два обширных заговора — Пишегрю и Кадудалья. Если бы хоть один из них удался! Этот господин консул, очевидно, застраховал свою жизнь у самого черта.

Шлёцер подошел к Тургеневу. Веселый, насмешливый и умный старик, пожимая руки своему студенту, говорил:

— Ну, что же, поздравляю. Ваш Александр учредил министерства, я читал его указы об уничтожении пыток и ограничении телесных наказаний. Я считаю, что указ о вольных хлебопашцах, разрешающий, наконец, помещикам освобождать крестьян целыми деревнями, есть хоро-

шее начинание. Пожалуй, при таких условиях в России все пойдет мирным путем.

— Господин тайный советник,— сказал Тургенев,— я надеюсь, что вы не проводите аналогии между Людовиком Шестнадцатым и Александром Первым.

— Дорогой мой, у вас нет третьего сословия, нет сильной буржуазии, у вас почти неизжитый феодальный быт. Только поэтому я не провожу аналогии,— ответил Шлёцер, улыбаясь умными светлыми глазами.

Тургенев смотрел в эти прозрачные, горящие искрами ума глаза и чувствовал, что весь образ мыслей Шлёцера ему непонятен, что сколько бы он, Тургенев, ни просидел в Геттингене, он никогда не получит этой изощренной гибкости мозга и этого блеска ума, обогащенного большими знаниями и постоянным упражнением ненасытной, огромной мысли.

— Не будем загадывать вперед,— сказал Шлёцер,— нынешние страны Германского союза могут только завидовать России. У вас уже открыты университеты в Харькове и Казани, у вас открыты гимназии, уездные училища. Александр хорошо начинает. Надо иметь в виду, что французский сенат и государственный совет тоже не дремлют. Во Франции строятся политехнические школы, создается новый гражданский кодекс, выравнивающий людей всех сословий. Люди без роду и без племени, как говорят русские (эти слова Шлёцер произнес по-русски), могут достичь высоких степеней в государстве. Конечно, немножечко смешно, что они рядятся в греческие и римские одежды. Им все-таки хочется разыграть древних греков. Через столетия легенд и преданий своей героической аристократии безродные французы протянули руку братьям Гракхам, Бруту, Гармодию и Аристогитону. Это ведь тоже неплохо, хотя пахнет театром. Во всяком случае, обращение к античным героям для французских буржуа, поднявших красное знамя, было менее обидно, чем обращение к прошлому своей аристократии, которую они стремились уничтожить. В самом деле, французская аристократия ведь совершенно себя изжила, она уже перестала быть двигательной силой государства, она превратилась только в потребителя крестьянского труда. А тем временем французское купечество зрело, укрепляясь. Оно уже владело финансами и чувствовало себя хозяином страны. Перед французским богатым горожанином дворянин имел толь-

ко одно преимущество — дворянскую грамоту. Теперь это преимущество ничего не стоит. Всякий француз может применять свои способности и свободно соревноваться с другим. Всякий солдат может стать генералом, не предъявляя дворянского патента. В России этих условий нет. Она вся распадается на дворянство и крестьянство. Царю нужно опираться на одно, чтобы управлять другим. Возможности у него неограниченны. Все дело в том, пожелает ли он ими воспользоваться.

Тургенев собирался заговорить, но подошел профессор Blumenbach и что-то шепнул Шлёцеру, отведя его под руку. Раздавался голос баварского принца:

— Драмы Шиллера — прекрасная вещь, но хорошо, что закрыли геттингенский театр, так как весь университет проводил там свое время. Театр был полон, аудитории пустовали. Что касается меня, то я Ганзена люблю больше, чем Шиллера. Мозельский виноград на меня действует лучше, чем «Орлеанская дева».

— Я знаю деву, которая на тебя действует лучше мозельского винограда, — произнес захмелевший студент, обращаясь к принцу-студенту.

Дружный хохот был ему ответом. Тургенев заметил, что из двери, пробираясь по стенке, подходит к нему Андрей Кайсаров с лицом, искаженным гримасой.

— Что с тобой делается? — спросил Тургенев.

— Пойдем домой.

— В чем дело?

— Дорогой скажу.

Быстро выбежали оба на улицу.

— Ты только дай мне слово не шлепаться в обморок и не вести себя, как баба, — сказал Кайсаров.

— Да не томи ты, скажи, в чем дело. Что-нибудь с матушкой, с батюшкой?

— Нет, с Андрюшей.

— Умер?

— Болен.

— Тяжело болен? Что с ним?

— Приехавши в Москву... захворал, две недели как... похоронили.

Несмотря на все свое мужество, Александр Тургенев не мог удержаться на ногах. Он пошатнулся и сел на деревянный тротуар, спуская ноги на мостовую.

— Нет проходу от пьяных студентов, — сказал какой-то почтенный немец, обходя Тургенева.

Наутро пришли из Вены обратно письма Александра Тургенева к брату Андрею с извещением, что «императорский секретарь Андрей Иванович Тургенев выбыл в Москву».

— Кто мог бы думать, что он выбыл из числа живых,— говорил Тургенев в минуты просветления после часов страшного отчаяния. Он буквально не находил себе места. Он брался за перо, чтобы писать в Москву, и не мог. Он судорожно брал первую попавшуюся книгу, чтобы не сойти с ума от горя и отчаяния, и через несколько минут, не могши прочесть ни строчки, видел, что держит опрокинутую книгу. Тогда начинал ходить по комнате, вспоминал, как в одном письме Андрей со смехом отзывался об искусственном и глупом титуле, придуманном для него на срок заграничной поездки. После многих мучений Александр Тургенев заснул. Ему снился самый неподходящий вздор. Он целовал хорошенькую кельнершу господина Ганзена и шептал ей на ухо какие-то студенческие нежности. Проснулся, обливаясь холодным потом, вторично проснулся, потому что первый раз проснулся во сне. Проснулся во сне и увидел себя у постели больного брата. Казалось, в жизни не любил он так его, как в эту минуту. Он ловит руку Андрея и говорит слабым голосом. Не помнит, что говорит, но слышит ясно: «Тебе жаль меня будет, братец!» Вторично проснулся от этих самых слов. Комната наполнена желтым светом. На столе мигает свеча. Свет бросает огромную тень на противоположную стену. Это не тень, а какая-то гигантская фигура. Мертвая и давящая тишина. Лучше бы не просыпаться. Предметы кажутся далекими, чужими. На сердце щемящая тоска и ужас оттого, что действительно проснулся и что все это верно, что Андрей где-то далеко, за две тысячи верст, уже лежит в отсыревшем гробу, глубоко под землею. Комната совершенно чужая. Весь мир совершенно чужой. Кругом непроглядная ночь, и только в этой комнате — желтый, мучающий глаза свет.

Тень на стене заколебалась. Это Кайсаров, сидя у письменного стола, перевернул страницу. Он читает всю ночь. Какое всю ночь? Оказывается, он вторые сутки у постели бредящего Александра Тургенева. Подходит. Снимает мокрое полотенце с головы Александра. Тут только Тургенев замечает, что волосы слиплись на лбу.

— Нельзя так предаваться горю,—говорит Кайсаров.—А все потому, что это первая смерть в дружной семье. Вы—баловни судьбы, Тургеневы.

— Боже мой, неужто будут еще и следующие?—спрашивает Александр.

— Будут,—говорит Кайсаров.—А для того, чтобы они были не скоро, приведи себя в порядок и будь как старший утешением старикам.

Глава десятая

Исполнялись всевозможные сроки. Старились старики, крепили юноши, рождались младенцы. Одно зрело, другое отмирало. Зима сменила осень, весна сменила зиму. И лето пришло на смену весне. Трехцветные знамена развевались над Парижем. Двенадцатый год над Европой ветры носили великую песнь марсельских федератов. «Марсельеза» снилась королям вместе с громом французских пушек, а ее автор, сорвав с себя погоны, бросил их под ноги генералу Карно, заявляя, что он не может служить во французской армии после того, как голова короля слетела с плеч. Природа делала и не такие шутки. История в эти годы не только смеялась, но хохотала. От ее громкого хохота давали трещины дворцы, казавшиеся вечными. От ее улыбки над зелеными равнинами Ломбардии появилось яркое солнце, уходили австрийцы, иезуиты и жандармы, возникали легкие отряды итальянской молодежи, мечтавшие о свободе и счастье людей. Первый консул все еще казался богом войны и революции. Но и это было только улыбкой истории. В 1803 году от республики осталась тень, и эта тень протягивала руку императорской короне. Во Франции третье сословие считало, что довольно играть с огнем. Для охраны кошельков нужна полиция. Послушный первый консул поручил хитрецу и ловкачу Фуше организовать розыски не только мелких воров, но и свободных французских мыслей.

— Республика хороша в той мере, в какой она выполняет мою волю,—говорил Бонапарт на докладах Фуше.

— Бонапарт хорош в той мере, в какой он сдерживает натиск санкюлотов и оберегает нашу собственность,—говорили французские банкиры и фабриканты.—

Санкюлоты хороши, когда они режут аристократов, но когда они требуют дележа имущества, то им надо крикнуть: «Руки прочь!» Частная собственность священна.

С презрением говоря о рабской России, французские граждане, сидевшие в законодательных учреждениях, и не подумали о свободе колониальных рабов. Во французских колониях вспыхнули восстания цветных племен. Французских буржуа-колонистов резали с таким же восторгом, с каким восторгом парижские буржуа тащили на эшафот французских аристократов. Всему этому нужно было положить конец. Вот почему каждый буржуа радовался, видя каменную неподвижность и неумолимую энергию на лице Бонапарта. Огромная масса французов намагничивала эту бронзу, и, чувствуя, что он попал на гребень волны, Бонапарт выпрямлял свою маленькую фигуру и, поднимая руку навстречу молнии, считал себя в самом деле великим. В ранце каждого солдата был маршальский жезл. Опьяненная молодежь бредила войной и славой. Это были молодые горожане, отцы которых ставили в армию чулки и нитяные колпаки, военные сукна и металл, кожу и барабаны. По всей Европе катились волна несчастий и пьяная волна военного бреда.

Семнадцатого января 1804 года Александр Тургенев писал в дневнике о несбывшихся мечтах военной карьеры. В самом деле, какая тут военная карьера, когда умер старший брат и Александр теперь чуть ли не глава семьи! Отец пишет о том, чтобы он ехал для изучения славянских земель. Геттингенский университет кончен.

Дневник Тургенева.

«Итак, я не солдат, я не натуральный историк, я не курьер при иностранной коллегии, я не секретарь посольства. Что ж я? Адъютант русской древней истории при Санкт-Петербургской Академии наук. Воображал ли я, что через полтора года по моем приезде в Геттинген Шлёцер сделает мне подобное предложение? Ах, милый брат Андрей, день ото дня чувствую более и более нужду в тебе. С кем посоветуюсь я? Ах, как все переменялось — все переменялось».

Началась длинная переписка с родителями. В конце концов Александр Тургенев не без досады писал отцу: «Я не знаю, с чего заключили вы, что мне очень хочется в

Академию, я никогда не был мечтателем и никогда не хотел занимать профессорской кафедры». А Кайсаров в своем письме Ивану Петровичу писал по поводу предложения Шлёцера: «Немецкий мечтатель рекомендует русского дворянина в профессора». Очевидно, за время долгого отсутствия из России Александр Иванович сам недостаточно ясно представлял себе, куда готовит его отец. В глубине души он чувствовал симпатии к научной деятельности, но разбрасывался и ни на чем не мог остановиться надолго. Смерть Андрея коренным образом изменила планы Ивана Петровича Тургенева. Московские масоны собирались почти открыто. Сам Александр, казалось, вот-вот сделается мастером какой-нибудь ложи. Андрей Тургенев умер, не дождавшись посвящения. Все надежды Ивана Петровича и все стремления превратить старшего в семье в исполнителя поручений масонского союза теперь обратились на Александра. «Наука не есть вид общественного служения,— думал Иван Петрович.— Она завлекла Александра, но она замкнет его в узком круге интересов, а ныне предстоит обширная задача *создать Союз соединенных славян*. Пусть так и будет. Андрей Кайсаров, на мое мнение, производит прекрасное впечатление. Пусть он будет с Александром вместе».

Александр Тургенев повиновался родительской воле. Оставив разочарованного Шлёцера, простился он с Геттингеном. Приехавший купец Рахманов застал его в самый день отъезда из Геттингена. Рахманов рассказал, как разгоряченный на вечере Андрей пришел к матери Катерине Семеновне и та уговорила сына поесть мороженого.

«Оттого приключилась с Андреем Ивановичем горячка и прикончила его жисть,—добавил Рахманов.— А об вас, батюшка Александр Иванович, все дюже убивались. Княгинюшка Щербатова и ваша тетушка Нефедьева целый вечер проплакали у матушки вашей, за достоверное передав, что вы убиты французами, которые из пушек стреляли в ваш ниверситет».

Двадцать восьмого марта, выезжая из Касселя, Тургенев отметил: «Вчера минуло мне двадцать лет. *Excidat aevo*— пусть выпадет этот несчастный год из жизни моей».

По дороге из Дрездена на Вену Тургенев просил соседа, одного из тринадцати пассажиров, сидевших в дилижансе, дать ему газетный листок, который тот не отрываясь читал и перечитывал, словно уставившись в одну точку. Это была французская консульская газета, которая именовалась «Газетой Защитников Отечества». Тургенев прочел и понял причину напряженного внимания француза. Двадцать восьмого флореаля (восемнадцатого мая 1804 года) сенат, под председательством Камбасереса, в Париже вынес решение, по которому учреждалась империя, а первый консул становился императором французов, хотя Франция по-прежнему именовалась республикой. Тургенев молча передал газету Кайсарову. Оба, не говоря ни слова и несколько смущенно оглядываясь по сторонам, вернули газету французу.

«Итак,— думал каждый,— якобинская республика кончилась, выскочка, сын корсиканского нотариуса, мелкий буржуа, французский офицер Бонапарт «вошел в семью» европейских монархов под именем императора Наполеона I».

— Что такое флореаль? — спросил Кайсаров.

— А как же? Французский Конвент в тысяча семьсот девяносто третьем году провел предложение Фабра д'Эглантина, по которому двадцать второе сентября тысяча семьсот девяносто второго года, то есть день объявления республики, был назван первым днем нового человечества. Каждый месяц в календаре д'Эглантина распадался на три декады по десять дней, и каждый месяц назывался по натуральным признакам в соответствии с погодой, промыслами и хозяйством.

— Да, помню, помню,— сказал Кайсаров.

Тургенев продолжал:

— Кажется, первый месяц назывался вандемьер, второй — брумер, третий — фример, четвертый — нивоз, пятый — плювиоз, шестой — вантоз, седьмой — жерминаль, восьмой — флореаль... Ну да, верно, это как раз восьмой месяц соответствует середине мая... Девятый, значит, будет — прериаль, десятый — мессидор, одиннадцатый — термидор и двенадцатый — фруктидор. Как видишь, здесь и ветры, и погода, и плоды, и овощи.

— Однако нигде, кроме Франции, этот календарь не принят,— заметил Кайсаров.

— Надо сказать, что новоиспеченный император довольно быстро двигается по Европе. Боюсь, что в скором

времени, кроме нашего отечества, этот календарь войдет в моду повсюду.

— Не дай бог,—сказал Кайсаров.—Еще французские меры веса и меры длины, которые они называют десятичными, пожалуй, умная вещь, ну а календарь... слуга покорный, я—христианин и этих языческих выдумок принимать не желаю.

— Ах, Кайсаров, ты понятия не имеешь о том, что может заставить принять или не принять война. Будем надеяться только на силу нашего отечества. Что касается Европы, то новоиспеченный император зальет ее кровью.

Француз, читавший газету, обратился к русским студентам:

— Простите, я не знаю русского языка, но по всему вижу, что и вас волнуют вести из Франции. Я уверен, что ваши суждения об моем отечестве ошибочны. Англия виновата в войне, и если Наполеон Первый ведет войну, то он ведет ее ради чести и спасения республики. Уверяю вас, что в самые тяжелые годы Англия затопляла Францию потоком фальшивых кредиток; пользуясь нашими невзгодами, она отняла все французские владения. Господин Брок поднимал всю Европу своей брошюрой, в которой он клеветал на французский народ только потому, что этот народ осмелился сбросить с себя иго дворянских цепей. Английский король Георг Третий объявил, что Франция угрожает человечеству. Именно поэтому в прошлом году первый консул объявил английскому посланнику Вайтворсу в Париже свое негодование: «Вы уже раз заставили нас вести десятилетнюю войну, теперь вы принуждаете меня продолжить ее на пятнадцать лет. Если вы обнажаете меч первым, то да будет вам известно, что я вложу его в ножны последним. Вы систематически нарушаете договоры». Известно ли вам, русской молодежи, что ровно год тому назад, на другой день после отъезда английского посланника, тысяча двести торговых судов и мирных кораблей Франции были захвачены англичанами в гаванях и в открытом море? Известно ли вам, что английские аристократы превратили французских матросов в рабов? Если это вам неизвестно, то узнайте это сейчас и поймите, что, как бы ни назывался генерал, отстаивающий свободу Франции, будь он президентом, императором, королем, герцогом—кем угодно,—но он будет вызывать любовь и верность треть-

его сословия уж потому, что он способен защищать наши пределы.

— Вы — прекрасный оратор, — сказал Тургенев, — а мы — плохие политики. Кажется, интересы моей и вашей родины, к счастью, не пересекаются.

— К счастью для вашей родины, — сказал француз.

— Милостивый государь, — воскликнул Кайсаров, — я считаю ваши слова дерзостью.

Публика в дилижансе заволновалась. Все тринадцать человек пассажиров заерзали на креслах и диванах, на скамьях и на империале кареты. Все ждали, что скажет француз.

Тихим голосом, слегка приподнимая шляпу правой рукой, француз ответил:

— Гражданин, я готов дать удовлетворение в любой форме.

— Кто вы такой? — спросил Кайсаров.

— Я — бельгийский оружейник, моя фамилия — Лепаж.

— Так это вы делаете лучшие дуэльные пистолеты в мире? — спросил Кайсаров.

— Да, это пистолеты системы моего деда.

— Сколько смертей разносит ваше изобретение! — заметил Кайсаров.

— Я не хотел бы, молодой человек, чтобы вы были в списке погибших. Я охотно беру назад свои слова о вашем отечестве.

К общему удовольствию, ссора кончилась благополучно. Кайсаров и Лепаж протянули друг другу руки.

Александр Иванович Тургенев писал из Вены 9 июля 1804 года:

«Милостивый государь батюшка!

Милостивая государыня матушка!

Вчера я был у славного Галя, который изобрел новую систему, называемую кранеологиею. Я еще в Геттингене учился у ученика его и слышал об этом целую лекцию; но Галь говорит, что он ни одним учеником своим не доволен, что ни один не вникнул еще порядочно в его учение, и оттого публика ничего еще верного не знает. Его обвиняют, и, кажется, справедливо, материализмом; почему здешнее правительство и запретило всем своим

подданным слушать его лекции, и одни только иностранцы могут пользоваться ими. Впрочем, как ни говори, а система его очень вероятна, как скоро видишь такое множество ощутительных доказательств, беспрестанно подтверждаемых опытами; только должно было быть необыкновенному человеку, чтобы сделать в этом самое первое наблюдение. Но я еще ни слова не сказал о самом деле. Он говорит, что человек рождается с известными органами и что мозг, действуя на череп, образует их. У одного может их быть больше и в сильнейшей степени, нежели у другого; но воспитание, однако ж, может или мешать, или способствовать их развитию. Весь череп расчерчен у него, и каждому органу показано особое место. Орган сыновней любви, например, или родительской любви находятся вместе с органом храбрости и с многими другими в затылке; органы остроумия, памяти и других находятся во лбу. Если у кого какого-нибудь органа недостает, то там есть впадина. Вероятнее и интереснее делается его система тогда, когда он в человеческом черепе показывает те самые органы, какие находятся на самом том же месте и у известных животных; например, у хитрого и лукавого человека на самом том же месте есть возвышения или орган, на котором у известного хитрого зверя — лисицы находится также возвышение. Он уже множество имел случаев угадывать, ощупывая череп какого-нибудь человека, о добром или худом свойстве или о какой-нибудь способности. Недавно к нему пришел известной славной виртуоз (есть и орган музыки), выдавая себя за профессора математики, и просил его, чтобы он осмотрел череп его и сказал ему, к чему он наиболее способен. Галь при всех отвечал ему, что «вам бы не математиком, а музыкантом быть должно: у вас сильно действует орган музыки, а не математики». Таких примеров было множество не только с ним, но и с учениками его. Он долго делал наблюдения и долго не говорил никому о своем открытии, пока наконец, удостоверившись во многом совершенно, стал говорить и учить публично; но ничего еще не писал сам о своей системе, а только ученики его, которыми он совсем недоволен, проповедуют его учение. Я с трудом достал в Геттингене довольно сходно с его расчерченный череп. Я спрашивал у него, не сходится ли его система с Лафатеровой физиономикой; но он отвечал, что ни мало и что в Лафатеровой нет никаких основательных правил. Он

предлагал нам сам прочесть несколько лекций о своей науке; но мы не имеем более времени, чтобы воспользоваться его предложением. Я наговорил так много, а для вас, может быть, это совсем не интересно. В таком случае простите моему празднословию.

Вчера же удалось мне быть и на здешней университетской лекции. Здесь образ учения университетского и порядок более сходен с нашим Московским (по крайней мере — с бывшим), нежели с другими (протестантскими) университетами Германии. Профессор спрашивает и взыскивает на ученике своем, чего бы не вытерпел наш брат ни от кого не зависимый академической гражданин. У нас, то есть в Геттингене и в других университетах, скорее можно сказать, что профессор зависит от студентов, нежели наоборот. Хочешь — учись, хочешь — нет, лишь заплати за свое место профессору; и кажется, эта свобода для взрослых гораздо лучше; а там иначе и быть нельзя. Но здесь есть также факультетные директора, о которых ни в России, нигде не имеют понятия. Они имеют право ходить к профессору здешнему на лекцию и взыскивать на нем, если он худо читает; имеют право предписывать ему учебную книгу, по которой он должен преподавать свою лекцию; могут рассматривать и не одобрить собственную его или им выбранную. Это ничего не знают тамошние профессора. Здесь все это ведется еще от времени езуитов, которые хотели держать ученых в узде и располагать умы учащихся, как им хотелось. Иосиф II отменил было это, но теперешний император снова восстановил своих ученых деспотов. Однако ж благодаря Иосифу теперь и здесь говорят и пишут довольно свободно. Оттого, что здесь профессорам дается жалованье, положенное от правительства, и что они ничего не берут с студентов, они не очень и пекутся о том, ходят ли охотно, или нет к ним на лекции. У них нет этой побудительной причины, как в других университетах, учить лучше своего товарища и перебить у него слушателей для того, чтоб получить большее количество денег. Притом же и студенты здесь в совершенной зависимости от университетского правления. Они не могут слушать того профессора, которого им хочется, но того, которого следует по порядку учения. Теперь опять начинают здесь читать на латинском языке.

Недавно был я в славном Шенбруннском саду и жалел, что здесь нет никого из наших университетских медиков,

которые бы могли больше меня воспользоваться им. Сад этот разделен на три части. В одной гуляют, другая назначена для одних только медицинских растений, а третья — для всех редких иностранных. В последней есть чему подивиться, особливо когда видишь в одно время сочное растение Южной Америки и наше. Порядок и просмотр везде прекрасный; но зато и три главных садовника, кроме славного Жакена, который сам часто бывает в саду.

На следующей неделе и мы непременно отправляемся отсюда. Милых братьев целую от всего сердца. Препоручая себя родительским вашим благословениям, с чувствами глубочайшего почтения и совершенной преданности честь имею быть,

милостивый государь батюшка,
милостивая государыня матушка,
вашим покорнейшим сыном

Ал. Тургенев».

Следующие письма были уже из Будапешта. В столице венгерского королевства Тургенев «видел на бале цвет венгерского народа. Одно уже национальное платье делает бал великолепным. Все обшито золотом и серебром, особливо магнаты, составляющие знатнейшее дворянство. Танцуют в шпорах. Здесь еще, как в старину прошлого века, без менуэта бал не начинается. Однако здесь простой народ или мужики и к народу не причисляются, а только одно духовенство. Магнаты и дворянство составляют народ. Последние сии классы не платят никаких податей, и привилегии дворянства простираются до того, что если какой-нибудь магнат убьет мужика, его никто не смеет арестовать, и он пользуется свободою неограниченной и дикою до тех пор, пока не осудят его, что, впрочем, никогда не случается, ибо в этом месте Европы до сих пор одерживает верх право сильного или богатого».

Чешская Прага, кроатский Загреб, десятки больших и малых славянских городов мелькали перед путешественниками сквозь окна имперской почтовой кареты. Дни проходили за днями. Холодные ночи на горах Крайны сменялись жарою около Фиуме. Прозрачные, светло-голубые волны Адриатического моря сверкнули на

солнце, славянские лодки, турецкие фелюки с косыми латинскими парусами тихо покачивались под ветром на взморье. Турецкие кофейни, итальянские матросы, грузчики, говорящие словно на испорченном русском языке, из сербов и босняков, далматинские песни заставили на целую неделю забыть о Европе Кайсарова и Тургенева.

— Где тут разыскать славянскую идею, где тут определить братство балканских народов, о котором поручил твой батюшка? — говорил Кайсаров, как всегда несколько неуклюже и тяжеловесно выражая свои мысли.

— Ты старше, и тебе виднее, — говорил Тургенев Кайсарову. — Батюшка обещал и мне раскрыть эти секреты. Я, конечно, предпочел бы осуществить его первоначальный план — отправки меня в Париж. Он очень долго и серьезно говорил об этом. Бонапартовы дела все перевернули. А то были бы мы сейчас в Сен-Жермене у батюшкиных друзей.

— Потерпи, Александр! Тебе немного осталось времени до двадцати одного года, а там, смотришь, ты уже франкмасон младшей степени, и от тебя самого зависит пойти по ступеням Тайны быстро или замедлительно.

— Жду, ох, как горю нетерпением!

— Нетерпение не есть свойство масонов, это ты забудь, а иначе ты отсрочишь посвящение. Сейчас старайся узнать сродников своих, во всех оттенках старайся узнавать славянина, как подобает русскому сердцу. И не забудь передать Захару Яковлевичу Корнееву, обласкавшему тебя когда-то в Минске, все многозначительное, что слышал ты от профессора Ганки в Праге. Он совсем недаром говорил тебе, что скоро вспыхнет теснейшая связь народов славянских.

— Знаешь, дорогой друг, не очень я что-то верю в наше славянство. Если говорить о братстве народов, почему ограничиваться славянами, и много ль славянского осталось у нас — великороссов? Где ты найдешь чистые племена? Сам посуди, в каждом столько и финна, и татарина, что до великоросса и не докопаешься.

— Ой, ты нехорошо говоришь! — воскликнул Кайсаров.

— Чистую правду говорю, как думаю.

Холодок наступил между собеседниками. Разговор не возобновлялся почти до самой Венеции, и каждый думал про себя и по-своему.

Февраль 1805 года. Ярко светит солнце. На небе ни облачка. Но морозный, все ледящий ветер взметает уличный снег почти до самых крыш. На улицах буря. Там, где Покровка переходит в Маросейку, в Собачий переулок сворачивает извозчик и останавливается у дома Тургеневых. Всегда последние шаги перед встречей кажутся самыми долгими. Крики и радостные возгласы, оглядывание друг друга с головы до ног. Иван Петрович в халате нетвердыми шагами идет навстречу Александру, обнимает его и плачет по обыкновению. Руки у него дрожат.

На восемнадцатые сутки по выезде из Ольмюца Тургенев увидел московскую заставу. Усталый с дороги, отвыкший от России, полюбивший Геттинген, как родной город, он терялся под напором самых противоречивых чувств. Ему казалось, что все страшно переменялось. Он ничего не узнавал, словно целые десятилетия прошли между днем отъезда и новой встречей. Все казалось ему разрушающимся, все не нравилось, и все возбуждало чувство острой жалости. Больше всего он был потрясен видом отца. Смерть Андрея и нервный удар сделали его почти развалиной. Матушка с негодованием говорила, что университет—это разбойничий вертеп якобинцев, что здесь открыто говорят хвалы Бонапарту и негодяю Робеспьеру, что Иван Петрович распустил молодежь и что молодой царь совсем запутался в политике. Одно только обрадовало сердце—это Николай. «О Николае нужно много думать особо, даже трудно сказать, что приходит в голову». За такой короткий срок—совершенно другое лицо. Встретил бы на улице—не узнал. Черты лица—пленительные, выющиеся волосы, тонкие очертания губ, круглые брови—красив необычайно, но глаза—холодные, стальные и беспощадно-умные. Неужели можно так меняться до неузнаваемости? Даже прихрамывание делает его походку пленительной.

«Неужели этот человек—мой брат?—думал Александр Тургенев.—Какое счастье!» Однако ни слова не сказал с ним. Николай смотрел и внимательно слушал. Без умолку болтал Сережа. Восторженно, захлебываясь, расспрашивал без конца. Николай спокойно смотрел на всех, и казалось, что он сравнивает голоса, но не слушает произносимых слов. Под предлогом переодевания Алек-

сандр ушел в бывшую свою комнату. Проходя мимо комнаты Андрея, тронул скобку. Комната была заперта. Поглядел в замочную скважину. Книги, тетради, гусиное перо в чернильнице — как будто Андрей только вчера вышел из комнаты.

Александр вошел к себе. Повернул ключ в двери, бросился на постель и, уткнув голову в подушки, чтоб никто не слышал, предался своему горю. Мальчишество и отрочество прошло. Он теперь старший брат, которому предстоит охранять покой полуразрушенного старца и выслушивать крепостнические рацеи матушки. Неужели так быстро промелькнуло время беспечности? Вспомнились горы под Геттингеном. Замок Плесс, горные реки, белые утесы и водопады, горные долины. Поднялся, подошел к окну. Бушевала снежная выюга, сквозь которую высоко над Москвой виднелось бесконечно ясное, синее, солнечное небо. «Восхитительное зрелище все-таки: Замоскворечье с татарской мечетью и далекие синие Воробьевы горы — все видно. Ах, какой хороший дом купил батюшка!»

Наступила первая неделя великого поста. Вся Замоскворецкая набережная вдоль кремлевской стены и по другой стороне берега Москвы-реки покрылась возами и палатками. Всю неделю торговал так называемый грибной рынок. Бочки, бочонки и кадки, наполненные грибами всевозможных сортов и солений, бесконечные ожерелья сушеных белых грибов, свисавшие над прилавком палаток, медовые ночвы, долбленные из липы, дубовые кадки с брусникой и тысячи всевозможных «постных» вещей, способных разлакомить лакомку и свалить обжору, предлагались на грибном рынке в православной Москве.

Катерина Семеновна говела на первой неделе. Иван Петрович решил — на страстной. На крестопоклонной неделе Николай и Александр Тургеневы пошли с отцом на Большую Никитскую под вечер к Ивану Владимировичу Лопухину. Судя по приготовлениям отца, сыновья решили, что предстоит какая-то важная конфиденция, — доверительное сообщение от отца к сыновьям. Пришли. Разделись и сели в пустынной холодной комнате. Единственная свеча горела на столе. Сидели долго. Иван Петрович, не привыкший к далеким прогулкам, чувство-

вал удушье, сильно кашлял и сморкался в огромный фуляровый платок.

Наконец вошел осанистый и важный старик, неизвестный тургеневской молодежи. Он обратился с каким-то особым, странным жестом к Ивану Петровичу. Стальной перстень с пятиконечной звездой сверкнул у него на пальце. Затем кивнул головой в сторону тургеневской молодежи.

— Они? — спросил он Ивана Петровича.

— Да, дети мои по плоти, друзья и братья мои по духу.

— Пойдемте, — сказал старик.

Перешли в маленькую комнату, где над столом из карельской березы на стене, обитой зеленым, с красивыми разводами, штофом, висели портрет француза Сен-Мартена и маленькая деревянная статуя, изображавшая старца, — тип довольно обычного немецкого сапожного мастера. Внизу надпись: «Иже во святых отцу нашему — Якову Бемену». Так русские последователи по-своему переиначили в славянской надписи имя знаменитого немецкого мистика Якова Бёме. Книги в цветных переплетах, рукописи, письменные принадлежности в беспорядке загромождали стол-секретер. На двери, в другом конце комнаты, висели стальной циркуль и медный треугольник. Иван Петрович обратился к сыновьям:

— Дети мои, товарищи и братья, я уже стар и скоро отойду. А вы вошли в совершенные года, когда по уставу нашего совершенного и прекрасного ордена вольных каменщиков вы можете быть приняты в ложу. Сейчас произойдут важнейшие события в жизни вашей. Не как отец, а как друг и сторонний наблюдатель, скажу, что по доброте и щедрости сердца вы уже достойны посвящения. Крепко веруйте в правоту дела своего, идите по пути исследований важнейших наук ордена и осуществляйте дела его помощью и разумом на всех стезях жизни и на всех путях государственных должностей. Отечество наше должно обновиться. К этому призовет вас орденское повеление. Свято блюдите тайну и не отступайте!

Иван Петрович закашлялся и сел на кожаный диван. Старик открыл портьеру, за которой стоял высокий, во всю стену, гардероб. Он открыл его и, обращаясь к молодым Тургеневым, сказал:

— Снимите суетные городские одежды, так как не подобает перед мастером стоять иначе.

Тургеневы повиновались. Они остались в шелковом специальном белье, еще утром собственноручно принесенном им Иваном Петровичем. Затем старик подошел и завязал глаза каждому из них мягкой широкой повязкой. Потом, взяв правую руку каждого в свою левую руку, повел обоих братьев,—казалось, в соседнюю комнату. Но скоро перестал поскрипывать паркет. Братья почувствовали, что идут по неровным каменным плитам, потом просто по земле, потом ноги начали вязнуть, и вдруг холодная вода заледенила им ноги до самого колена. Какой-то быстрый ручей обтекал их ноги. Каменистое дно было неровно, ноги скользили по тинистым камням, и казалось, что вот-вот быстрый поток собьет их и унесет. Но это было всего каких-нибудь полторы минуты. Шли они медленно и с большой осторожностью. Вышли на берег и почему-то чувствовали, что кругом темно и они все еще находятся под землею. Сквозь повязку ничего видно не было. Но, проходя мимо освещенной комнаты, они все-таки смутно чувствовали, что брезжит свет. Теперь было кругом совершенно темно, холодно и сыро. Вода насквозь промочила туфли. Идти было скользко и неудобно. Через минуту, за крутым и быстрым поворотом, братья почувствовали, что попадают в полосу яркого света. Еще минута, и подземный холод сменился живительным теплом. Чем дальше они шли, тем теплее становилось. Но вот стало совсем жарко, стало совсем невыносимо жарко. Еще секунда, и Александр Тургенев судорожно отдернул руку. Язык пламени лизнул ему пальцы и опалил волосы. Помня наставления отца, оба брата молчали. Прошло уже минут двадцать этого подземного путешествия. Начались лестницы и переходы—то вверх, то вниз, так что разобрать направление было невозможно. Воздух был душный; пахло сухой землей, и не было ни следа первоначальной мерзлоты, которая пронизывала и вызывала дрожь. Стали подниматься и остановились, про себя отсчитав пятнадцать ступеней. Старик стучал деревянным молотком в железную дверь. За дверью раздался голос, спрашивавший: кто идет? Раздался ответ старика:

— Вожатый и жаждущие живой воды.

— Не нарушен ли ими обет молчания?

— Нет, прошли через житейские реки и огонь соблазна, не промолвив ни слова.

Дверь открылась. Тургеневы вошли. На пороге Александру страстно захотелось спросить у Николая: «А где же батюшка, разве он не с нами?», но холодный и ясный ум Николая инстинктивно уловил возможность такого движения. Он резко дернул его за локоть, и тот опомнился. Гулко раздавались шаги. Очевидно, шли по большой комнате. Затем остановились. Старик наклонил головы братьев к себе на плечи и спросил их:

— Точно ли знаете, что отвечать на вопросы, не боитесь ли сбиться? — И, не дожидаясь ответа, стал сообщать братьям главнейшие части ритуального вопросника масонов. Потом положил им руки на голову и пошел с ними дальше. Когда ноги обоих братьев стали на коврики, старик отошел. Неизвестно чьи руки сняли с братьев повязки. Ослепительный свет заливал комнату. Она была огромна. Голубые стены были без окон, на них висели экраны с блестящими ярко треугольниками, циркулями, пятиконечными звездами в круге. Братья увидели, что они стоят на треугольных маленьких коврах, что перед ними стол, покрытый черной скатертью. Два черепа на краю. Перед каждым черепом две кости, сложенные крест-накрест. Большой старинный меч поперек стола, острием к братьям. Справа молоток, слева — высокая античная урна, черная, с красными символическими изображениями. Прямо перед ними за столом человек в белой шелковой маске. Широкая орденская лента у него через плечо. В руке он держал большую книгу в металлическом переплете с застежками, на которой сверкали драгоценные камни. Александр Тургенев вздрогнул. Он не заметил, когда и как рядом с ним стала высокая черная фигура, сверху донизу закутанная в черный плащ. Эта фигура держала в руках такой же старинный меч, который лежал на столе, руки были неподвижны, крепко стискивали рукоятку, и меч, такой же неподвижный, как и сама фигура, устремлял свое острие к лепному потолку. Со смутным чувством беспокойства при виде этой мрачной и необычной фигуры, Александр повел глазами направо. Сбоку от Николая он увидел совершенно такую же фигуру. Впечатлительный и нервный, Александр потерял ощущение времени и событий и окончательно был убежден, что все происходящее здесь есть только сон, пробуждение от которого запреще-

но до времени. Эта мысль его успокоила. Три канделябра горкой, по семи свеч в каждом, стояли на столе. Свечи мигали. Черный дымок подымался от фитилей. Но, несмотря на это, можно было различить по три фигуры с каждой стороны, сидящие рядом с креслом человека в белой маске. На тех были тоже значки, но маски были черные. Голубые глаза одного из сидящих внимательно и знакомо смотрели на братьев Тургеневых. Человек в белой маске встал и произнес молодым, звонким и отчетливым голосом:

— Прежде чем посвятить вас в правильную и совершенную ложу, должен поздравить вас с большим счастьем, редко выпадавшим на долю даже старым искателям истины. Правильная и совершенная ложа великого северо-востока нашего ордена в рассуждении заслуг Друга человечества, являющегося родителем вашим, и в рассуждении того, что один из вас уже исполнил поручение в славянских землях...

Александр силился припомнить, что именно, свидание с кем, сам того не зная, он сделал по этому неведомому масонскому поручению. Но ему опять показалось, что он может проснуться не вовремя и что действительность окажется хуже сна. Он почувствовал головокружение, схватился руками за виски и упал замертво. Николай, встревоженный, двинулся к столу и нечаянно коснулся рукою меча. Раздался сильный треск. Он почувствовал ожог, и рука онемела.

Европейская новость — аккумуляторная батарея — стала широко применяться в масонских ложах на Западе. Она увеличивала таинственность и создавала настроение. Неосторожному она напоминала о карающей силе ордена и создавала эффекты, тешившие сердца молодых и старых, искренне убежденных и забавляющихся членов ордена вольных каменщиков в царской России.

Через минуту порядок был водворен. Человек в белой маске не сажился. С помощью Николая Александр очнулся и снова стал на коврик. Раздался снова тот же звонкий и отчетливый голос:

— Постигшее вас сейчас испытание только показывает правоту нашего решения. Еще раз говорю вам о великом счастье вашем. Степень ученика — младшая степень ордена вольных каменщиков — пройдена вами, а по заслугам вашего отца и в рассуждении того, что один из вас уже исполнил поручение в славянских землях..

При этих словах человек в белой маске остановился. Голубые, как лед холодные, светящиеся глаза, казавшиеся страшноватыми и жуткими сквозь разрезы маски, пронзительно глядели на Александра Тургенева, с особым упорством произнося слова: «исполнил наше поручение в славянских землях».

— ...правильная и совершенная ложа постановила принять вас и дать вам посвящение второй степени, минуя первую. Приблизьтесь и отвечайте. Известны ли вам и желанны ли вам обязанности товарища, открывающие вам доступ повсюду, ибо велика и могущественна сила нашего ордена?

Братья твердо и отчетливо ответили:

— Клянемся по силе и по чести исполнять обязанности, возложенные орденом на меня как на товарища.

Александр говорил более торопливо и успел закончить фразу раньше младшего брата.

— Второе наше постановление разрешает принять вас как братьев по плоти и сыновей Друга человечества по духу, обоих одновременно, как то было сделано с разрешения великого магистра мастерами великой ложи Орфея и малой ложи Астреи. Нынче мы принимаем вас обоих.

После произнесения формул, получения ответов, после окончательных слов посвящения братья получили указание, как опознать масонов в свете, и были выведены опять с завязанными глазами, опять прошли подземными ходами и через полчаса одевались в комнате лопухинского дома. Переодевшись и выйдя в большую пустынную залу, они увидели в углу за маленьким столиком сидящих при свете шандалов и играющих в шахматы стариков — Ивана Петровича Тургенева и Ивана Владимировича Лопухина — автора масонской книги «Рыцарь духовной» и, по-видимому, их поручителя.

Старик пошел братьям Тургеневым навстречу. Из объятий Лопухина Тургеневы перешли в отеческие объятия. Оба старика с торжественной важностью поздравляли молодых людей. Санки ждали во дворе. Сели, Николай на переднюю скамеечку лицом к батюшке, Александр рядом с отцом, закутывая стариковские ноги в медвежью полость. Катерина Семеновна встретила всех троих словами полного негодования:

— Как вам не стыдно в великий пост шляться

незнамо где до поздней ночи. Нашли время ходить по гостям. Лучше б ко всенощной пошли.

Отец и дети словно по уговору молчали и подошли к матушкиной ручке. Но Катерина Семеновна гневно руку отдернула и, сверкая глазами, сказала, кивая на Александра:

— Это все вот этот, немецкий бурш, бусурманские порядки заводит. Ну, идите ужинать.

За ужином война не прекратилась. Молчание еще более сердило Катерину Семеновну. Слухи о том, что вся Германия завоевана Бонапартом, страшно тревожили старуху. Передавали слова Бонапарта о том, что он намеревается повсеместно отменить крепостное право, и поэтому Катерина Семеновна была сердита. Возвышение Наполеона кровно ее оскорбляло, словно это было лично против нее направленное злодеяние.

Во время матушкиной тирады Александр Тургенев вдруг спохватился. Он заметил, словно впервые после возвращения из-за границы, что Николай не иначе обращается к нему, как на «вы». Решил спросить его, почему, и забыл. И каждый раз забывал. Он понимал, что многолетняя разлука, разница лет, а главным образом то, что он сам теперь на положении старшего в семье, где больной отец, диктуют какие-то особые соображения Николаю. Он установил также, что Николая невозможно переубедить, если он убежден серьезно, и невозможно отговорить от раз принятого им намерения. Эти отношения между братьями остались на всю жизнь.

Глава двенадцатая

Прошло вербное воскресенье с шумным и пестрым базаром на Красной площади. Прошел пасхальный день, заутреня. На третий день пасхи Александр Тургенев с сестрою танцмейстера Иогель покупали на Девичьем поле сладкие пирожки, кружились на каруселях, стреляли в цель и громко смеялись на шутки и остроты заезжего фокусника в большом балагане.

— Не надоело вам месить грязь? — спрашивала Иогель.

— Ног под собою не чую, а только в сердце счастливое биение.

— Ну, Александр, вы сейчас опять начнете говорить комплименты.

— Не комплименты, а истину. Вы очаровательны, Нина!

— Давайте лучше говорить о погоде, а то вы не сойдете с того места, на которое заехали ваши слова.

Квартальный надзиратель с каким-то гражданским чиновником проходил по рядам палаток, мальчишки с голубями свистели, воробьи чирикали в лужах, на зелени надувались почки. В воздухе какая-то удивительная благоуханная струя протекала с полей из-за вишневых рощ, покрывавших Воробьевы горы. Была ранняя весна. Сердце щемило. Хотелось уехать куда-то далеко. Надоели матушкины ссоры. Тяжела стала батюшкина болезнь. Разговоры с братом — одно утешение. Но он уехал. И вот теперь подвернулась под бок Иогельша, такая живоглазая, с ямочками на щеках, смеющаяся, чудесная и веселая девушка. Это, конечно, не утешение в скорбях. Но шататься с ней по Девичьему полю и ехать потом в балет все-таки лучше, чем киснуть. А все-таки, когда показался Николай Михайлович Карамзин с кипой книг, почему-то захотелось спрятаться с Иогельшей за палатку. Поймав себя на этой мысли, Тургенев предложил Иогельше руку и с Ниной вместе храбро прошел мимо Карамзина. Николай Михайлович его не заметил.

— Что же вы замолчали? — спросила Нина.

— Встретил важного историка и задумался.

Нина выдернула руку.

— Я знаю, о чем вы задумались, Александр, — все вы таковы, не вы первый, не вы последний.

— Боже мой, что вы, Нина!

— Ничего, — ответила она. — Я хочу снова вертеться в карусели.

Вошли в круг. Дождались остановки. Сели в трясущуюся корзинку с бубенцами. Слон, выкинувши хобот вперед и комично расставивши ноги, как борзая на рысях, что совершенно не подходило к слону, был приделан на железных брусках к корзинке. Бросив медяки в тарелку, Тургенев поправил цилиндр. Белокурые волосы выбились ему на лоб. Нина улыбалась и по-ребячески относилась к предстоящему кружению на каруселях. Заиграла дикая музыка, где-то в середине под навесом закрипели валы, и корзинка стремительно помчалась по кругу. Нина смеялась, щеки у нее горели, глаза

искрились. Тургенев украдкой целовал ей руку. Она выдергивала, случайно зацепила за ленту шляпы, узел распустился, шляпу унесло ветром. На втором круге после этого видно было, как молодой франт поднял эту шляпу и почтительно ждет в том месте, где публика выходит с карусели.

— Успокойтесь, Нина, вот ваш будущий новый обожатель.

— А вы ревнивы, Александр?

— Да,—сказал он твердо.

Карусель остановилась.

— Вот ты чем занимаешься,—сказал подошедший франт.

— Боже мой, князь, я тебя не узнал,—сказал Александр Иванович.—Ну, право же, никогда не видел на тебе парижского одеяния,—говорил Тургенев, рассматривая князя Петра Андреевича Вяземского.—Да ты и без очков сегодня?

— Очки я ношу за чтением, а ты все-таки представь меня своей даме. Скажите,—произнес он, обращаясь к Нине,—ведь это Александр виноват, что у вас шляпу унесло ветром?

— Что делать!—сказала Нина.—Он покушается на худшее—он хочет унести мою голову.

Тургенев, польщенный, торжествуя взглянул на Вяземского.

— Голову не страшно, лишь бы сердце осталось на месте,—сказал Вяземский.

— Сердце от головы недалеко,—ответила Нина, взяла шляпу из рук Вяземского, церемонно присела в знак благодарности и отошла к деревянному карусельному столбу, на котором висело неуклюжее, кривое зеркало, аляповато украшенное фольгой.

— Кто эта прелестница?—спросил Вяземский.

— Это Ниночка Иогель,—ответил Тургенев.

— Ах, это жена знаменитого танцмейстера?

— Нет, сестра его.

— А, в таком случае ты безопасно можешь волочить-ся. Редко танцмейстеры бывают не из французов.

Тургенев смотрел на Нину. Молодой человек, элегантно одетый, румяный, легкой походкой подошел к Нине, и слышалась веселая французская речь. Менее чем через секунду, завязав ленты на шляпе, Нина под руку с французом убежала и скрылась в толпе.

— Знаешь кто? — спросил Тургенев.

— Знаю, — ответил Вяземский. — Мы ставили его балеты в Остафьеве. Я тебе говорил, что по легкости, по изяществу пастушеских идиллий это лучший балетный постановщик. Недаром государь его так любит. Он в шутку говорил, что хочет Новерра сделать министром балета.

— А какую прелесть издал он у Августа Семена! — воскликнул Тургенев. — Эти четыре тома «Lettres sur les danses»¹ составляют честь молодого автора.

— Ты великодушен, — сказал молодой Вяземский. — Ты не только прощаешь похитителя, но еще находишь силы им очаровываться. Однако что же мы с тобою стоим? Птичка улетела, и нам надо идти.

— Куда? — спросил Тургенев. — Домой идти не хочу.

— Ну, поедem ко мне.

Взяли извозчика, поехали. Дорогой Петр Андреевич Вяземский рассказывал о последней охоте зимою, по снегу, на лыжах, говорил о том, как в Остафьеве лося загнали на птичий двор, как он там передал кур, перебил стекла в сторожке и поранил кучера, говорил о том, как ночевал на мельнице, на речке Сетуни, за Кунцевом.

— Мельничиха красавица замечательная. Возится с двумя детишками, ведет свое хозяйство, но мучительно страдает от мужа, без просыпу пьяного мельника. Я потому это тебе говорю, — продолжал Вяземский, — что напрасно Катерина Семеновна, твоя матушка, таких красивых крепостных девок продает на сторону. Она тебе могла бы пригодиться.

— Ты вздор говоришь, Петр! Даже не знаю, про кого ты говоришь!

— Как не знаешь! Марфушу, вероятно, помнишь.

Тургенев привскочил на сиденье.

— Как ты говоришь? Марфуша?

— Ну да, она же мне сказала, что она от господ Тургеневых.

— Боже мой, чего только матушка не наделала в своей жизни!

— Да, крутой характер у Катерины Семеновны, — заметил Вяземский.

Приехали на московскую квартиру Вяземского. Снача-

¹ «Письма о танцах» (фр.).

ла пили чай с красным вином, потом красное вино и болтали без умолку. Вяземский был собеседник умный, интересный. Он знал все столичные и московские новости, рассказывал Тургеневу о том, как «двигается отечество по пути к славе».

— Ты вот не смейся, но через год будет у нас конституция. Царь хочет народоправства.

— Это что же, все этот польский князь Чарторыжский выдумал? Тоже, нашли доверять кому такое дело!

— Чарторыжский уж вовсе не такой плохой человек, как ты думаешь. А что из того, что он поляк? Не все ли равно, какой нации, лишь бы голова была не пустая и держалась бы не накривь вбок на плечах. Чуднее всего, что профессор Паррод выступает на защиту автократизма. Ты знаешь, он пишет, что в России только самодержавие и возможно. Пестрая французская публика в России, а сейчас так и понять невозможно, кто Бонапартов, а кто—сторонник короля и старого закона. Ты знаешь, частенько бываю я на Кузнецком. Там уже лет шесть водворился французский мещанин Готье, открыл книжный магазин, неизвестно откуда и какими путями получает книжки безо всякой цензуры, и собирается у него вся французская колония. Знаешь, по-моему, что-то они замышляют...

Вошел лакей со словами:

— Ваше сиятельство, первой гильдии купец Оссовский просит принять.

— Разрешить? — обратился Вяземский к Тургеневу. — Ненадолго!

Вошел важный, осанистый человек, широкоплечий, с окладистой бородой, с широким носом, спокойными, умными серыми глазами. Осмотрелся в комнате, трижды перекрестился, найдя икону, и, держа в руках картуз, почтительно поклонился Вяземскому со словами:

— Здравия желаю вашему сиятельству!

— Зачем пришел? — спросил Вяземский. — Садись. Чаю хочешь?

— Покорнейше вас благодарим, ваше сиятельство, тороплюсь и утруждать вас не хочу. Дело у меня к вашему сиятельству небольшое. Двадцатого января еще подали мы всем московским купеческим обществом челобитие о том, чтобы господам иностранцам господа дворяне наших отечественников мужиков и баб не продавали, да и чтобы в Москве никакой бы продажи мужиков не

было. До сих пор ответу никакого нет. Купечество московское бьет вашему сиятельству челом — походатайствуйте за сирых и бездомных! О себе, ваше сиятельство, скажу. Было у меня шестьдесят ручных станков в Питере. Делали мы хлопчатобумажную ткань. В нынешнем году поставил я аглицкую новинку, вот вроде как стоит у вашего сиятельства на столе самовар, ну, так у меня на фабрике — котел; только вот у вас сквозь самоварную крышку пар зря уходит, а мы его по трубам пускаем, в цилиндры, а там валы да шестеренки ворочаются, ну, то, другое, пятое, десятое, смотришь — челнок и заработал. Хорошая это штука — паровой двигатель! И обученные мастера у меня есть, да вот беда: прошел оброчный срок, и шестьдесят мужиков, самых моих лучших работников, уезжают к вашему сиятельству в деревню. Помилосердствуйте, ваше сиятельство, отпустите мне мужичков на годок.

— Что ж, я не прочь, — сказал Вяземский. — Мужикам-то не худо у тебя живется?

— Да уж известно хуже, чем у вас, ваше сиятельство: у нас ведь таких хоромов нету; спят они в домишке на Малой Неве, у Жукова моста, — сами знаете, что за места. Вошь да крыса до Елагина мыса!

— Ну, ну, — сказал Вяземский, — скажи Клементьичу, что я согласен. Сколько же у тебя этих паровиков?

— Пока четыре поставил, а потом неизвестно — что дальше.

Вяземский на минуту остановился. На лице было написано раздумье. Казалось, он колебался и старался не смотреть на Тургенева.

— А скажи-ка, Оссовский, — вдруг произнес он, — как, деньгами ты не богат?

— Сколько понадобится вашему сиятельству?

— Да мне тысяч десять на ассигнации нужно.

— Ох, ваше сиятельство, расстроился я, туго с деньгами, но уж для вас...

Оссовский снова присел, расстегнул поддевку, долго рылся за пазухой, наконец вынул бисерный, голубой, монастырский бумажник, грязный и засаленный по углам, достал оттуда отсыревшие пачки денег, отслюнил, подсчитал, положил перед собою и прикрыл рукой.

— На какой срок, ваше сиятельство? И, позвольте доложить, годовых — двенадцать процентов, иначе —

никак невозможно. Ежели, к примеру, Неваховича возьмете, так не иначе пятнадцать заломит.

— Ну, уж это ты врешь,—сказал Вяземский.— На прошлой неделе мой приятель у Неваховича из семи взял займы. Это ваша купецкая порода такая — обязательно свалить на чужую нацию свои ростовщические пороки.

— Как вашему сиятельству будет угодно. Невахович так Невахович — я своими деньгами не набиваюсь,—сказал Оссовский, в то же время подсовывая Вяземскому бланк вексельной бумаги.

Вяземский принес чернильницу. Написал вексель, просчитал деньги, швырнул их в секретер и мрачно посмотрел на Оссовского.

— Бывайте здоровеньки, ваше сиятельство,—сказал купец.— Ежели новые оброчники будут, явите божескую милость — пошлите мне. Вот вам крест животворящий, что к рождеству и к пасхе пришлю по штуке лучших мануфактур, чтоб видели вы, ваше сиятельство, что не зря у меня мужики на фабрике сидят.

Оссовский ушел.

— Бездоходно стало в деревне,—сказал Вяземский.— Вот ведь никаких земель не имеет, беспризорный корабельный мальчишка из Балтийского порта этот Оссовский, а какими деньгами ворочает... Что думаешь, ведь теперь политик, смотри, как о Бонапарте рассуждает, со свету сжить готов Бонапарта. А думаешь почему? Потому, что парусину ставит в Англию. Вот этаким мужичина, а на Бирже речь произнес, говорит: «И моя копеечка не щербата, при Трафальгаре весь французский флот погиб, бурей парусину порвало, а моя, говорит, парусина на аглицких кораблях была, ее не то что ветер, а и пуля не берет. Я, говорит, над Бонапартом с англичанами победу одержал». Его купеческое общество посылало на открытие Березинского канала — знаешь, недавно, между Днепром и Западной Двиной.

— Знаю,—сказал Тургенев.— Тринадцать тысяч мужиков там полегло. В этом канале плотины и шлюзы из человеческих костей.

Наступило короткое молчание, прерванное приездом Василия Львовича Пушкина. Войдя с веселой шуткой, сверкая остроумием, слегка напевая и помахивая палевым шелковым платочком, надушенным и вышитым, Василий Львович быстро заставил молодых людей перейти на французский язык, и через пять минут комната огласи-

лась дружным и несмолкаемым хохотом. На смену красному вину появились редереровские бутылки, закипело в бокалах французское ай, горы бисквитов в серебряной корзине быстро таяли благодаря дружным усилиям Тургенева, Вяземского и Пушкина. В самый разгар пира приехал Василий Андреевич Жуковский. Привез с собою молоденького, безусого офицера русской службы. «Князь Ираклий Полиньяк»,—представил его Жуковский. Минуту спустя все пели хором нравоучительную масонскую песнь. Тургенев силился припомнить что-то, глядел на Василия Пушкина, слушал звонкий голос поющего Василия Львовича, и вдруг с полной ясностью вспомнилась ему картина подземелья и масонского посвящения. Ведь это он смотрел на него. Это его голубые глаза глядели на Тургеневых из-под маски. Александр Иванович сделал условный знак, но в ответ Пушкин, продолжая петь, закачал головой и насмешливо улыбнулся. Когда песня кончилась, Василий Львович рассказал о своем приключении позапрошлой ночью.

— В стихах напишу,—сказал он,—и назову «Опасной сосед».

— Цензура этого приключения твоего с легкой девицей не пропустит,—возразил Жуковский.

— А мы без цензуры обойдемся,—ответил Пушкин.

Поздно ночью Александр Иванович вернулся домой. Матушка спала.

«Ну, пронес бог!»—думал Тургенев.

В комнате Николая был свет.

Александр тихо постучался.

— Войдите,—ответил Николай.

Братья сели друг против друга и некоторое время не говорили ни слова.

— Я не знал, что ты уже приехал,—сказал Александр.

— Со мною неблагополучно,—ответил Николай.

Старший брат с тревогой посмотрел на Николая, и сразу весь хмель его прошел. Прошла еще минута. Александр не спрашивал, Николай колебался. Наконец он произнес:

— Батюшка стар и забывчив. Он спутал мои года. Мне шестнадцать, а посвящение я принял как девятилетний.

— Откуда ты это знаешь?—спросил Александр.

— А разве вы не встречаетесь с друзьями?—спросил Николай.

— Я, вероятно, встречаюсь с ними в свете, но не узнаю.

— А я встречаюсь с ними ежеминутно и только что у них был. Дело это надо поправить, чтобы не брать ложью того, что ведет к истине, особенно в нынешнее время.

— Что ты хочешь этими словами сказать о нынешнем времени?

— А то, что отечеству нашему предстоят большие испытания, и каждый в отдельности будет их чувствовать. Война с Бонапартом неизбежна.

— Уж будто так неизбежна? Да ежели так неизбежна, все равно Бонапарту будет плохо.

Николай Тургенев пристально посмотрел на брата.

— Нет у меня этой уверенности,—сказал он.— Слишком много в России внешнего и показного. А всякое испытание требует подлинности и здравых, настоящих сил.

«Вот он какой! — подумал Александр Тургенев.— Живешь с ним под одной кровлей и не знаешь, что в его голове творится и обдумывается».

До поздней ночи продолжалась беседа. Александр, удивленный и восхищенный, ушел из комнаты брата. Его восхищала строгость и зрелость ума человека. Порою перед шестнадцатилетним юношей он чувствовал себя неловко. Было впечатление какой-то острой проницательности.

Глава тринадцатая

Русские войска были в Германии, по которой из края в край прошел Бонапарт — император Франции и король Италии. Стоял декабрь месяц. В Москве наступили жестокие холода. В тургеневском доме с утра до вечера пели двери, поскрипывали заслонки и звенели выюшки. Топили два раза в день, и два истопника следили за тем, чтобы жар не прогорел и чтобы господа не угорели. Иван Петрович не мог согреться. Он чувствовал себя плохо в такие холода, сидел полусонный, с поникшей головой, не мог ни читать, ни говорить. Он тосковал и томился. В углу на столике лежали старые рукописи — стихи покойного сына Андрея:

Угрюмой осенью мертвящие луга
Уныние и мрак повсюду развевают.

И следующее:

На камне гробовом печальный, тихий гений
Сидит в молчании с поникшей головой.

Александр Тургенев вернулся поздно из канцелярии Новосильцева. Предстоял переезд в Петербург. Новая служба была незанимательна и не говорила ничего ни уму, ни сердцу. Но было другое обстоятельство, заставившее его пройти мимо столовой к себе наверх и запереться. Он обдумывал, как бы утаить от впечатлительного и тоскующего отца весть, пришедшую из Германии. Русские войска наголову разбиты под Аустерлицем.

Вот знакомые санки видны по улице. Бобровый воротник, маленький, красивый, бобровая шапка, щегольская бобровая муфточка на руках—это приехал брат Николай. Надо поговорить с ним. Через минуту, прихрамывая, Николай вошел к нему сам.

— Ну, вы, вероятно, беспокоитесь о батюшке. Ему уже утром все было известно. Пойдемте вниз и посидимте все вместе.

Александр развел руками.

«Да это какой-то гений проницательности! — подумал он.— Или действительно права геттингенская гадалка Клотильда, утверждая, что мысли передаются на расстоянии».

— Что же будет, Николай, что же будет? — произносил Александр шепотом.— Кажется, будто кончается мир и совершаются какие-то последние сроки истории. Все заколебалось. Ни в чем нет уверенности, ничто не устойчиво.

Вечер был прощальный. Московское отделение новосильцевской канцелярии уезжало в Петербург, и Александру Тургеневу предстояло на другой день покинуть Москву и родительский дом. Делал он это не без радости, хотя эта радость была отравлена сознанием, что нехорошо оставлять старика отца на попечении двух младших братьев. Но уж очень стала тягостна обстановка. Иван Петрович все больше и больше уходил от жизни. Катерина Семеновна, как заноза, шла против своего времени и мстила ему. Каждый новый день нес с собою все большее ей раздражение. Услышав от сына Александра слова, правда, сказанные по-немецки Николаю, о том, что

русское самодержавие есть хищение власти у народа, она побагровела от злости и не вышла прощаться с сыном. Александр Иванович из Твери и из Торжка, где перепрягали лошадей встречного курьера, послал ей в Москву нежные письма.

Холодным зимним утром появился он на Лиговке. Каждый раз, как приезжал он в Петербург, все одно и то же восхищенное чувство охватывало его. Он с обожанием относился к северной столице. Тщательно переодевшись, слегка позавтракав, поехал он к Виктору Павловичу Кочубею, как уговорено было с Новосильцевым. Важные императорские сановники приняли его лучше, чем то мог ожидать его возраст. Новосильцев и Кочубей говорили с ним, как с равным. С табакеркой, осыпанной брильянтами, в туфлях, белых чулках, со звездой на фраке, Кочубей, черноглазый, чернобровый, с седой головой, смотрел на Тургенева весело, с каким-то беспечным задором, простительным для сановника, которому страшно везет в жизни. Новосильцев пускал клубы дыма из трубки. Брильянтовые перстни сверкали у него на пальцах. Он говорил глухим, почти сиплым басом. Опухшие веки были красны, щеки помяты и в жирных складках. Не стесняясь, продолжали они разговор при Тургеневе. Разговор был отвлеченный, по поводу одного провинившегося придворного. Кочубей вспоминал правила нравственного поведения и религии. Новосильцев брал согрешившего под свою защиту. Он говорил с напускным смирением:

— Ваше сиятельство отрицает закон божественной благодати. Имейте в виду, что человеческая порядочность есть гордыня. А ничто так не оскорбляет господа, как гордыня его тварей. Грех делает человека скромным, кающимся. А ведь это только и нужно. Умиленное сердце смягчает гнев божий, а гордыня леденит.

— Но ведь вы же говорите шутя, Николай Николаевич?

— Нет, я говорю совершенно серьезно. Вы должны понять этого молодого человека и оправдать его, хотя бы по ходатайству митрополита Платона. Не могу вашему сиятельству не выразить свое удивление—вы были защитником подстрекателей и стачечников, поднявших революцию на суконной фабрике Осокина в Казани и на суконной фабрике Кривошеиной в Воронеже. Там, где действительно нужна суровость, ваше сиятельство взыва-

ет к человеческим чувствам и молодому царю внушает несбыточную уверенность в доброте человеческой природы. Я сам уважаю дела комитета: готовить конституцию,—быть может, предотвращать революцию, но нельзя же прощать открытых якобинцев.

— Какие это якобинцы! — захохотал Кочубей. — Голодные суконщики, неграмотные и глупые, которых фабриканты хотели послать на нефабричную работу! Они даже правы, по-моему.

Спор сановников продолжался еще два часа. Затем Новосильцев стал прощаться. Выходя вместе с Тургеневым, он говорил:

— Ну, покажите вашу немецкую мудрость. Завтра экзамен по политической экономии в Педагогическом институте. Потрудитесь экзаменовать, а потом поговорим с вами о занятиях ваших в Комиссии по составлению законов.

Тургенев сел в экипаж Новосильцева, с правой стороны. При выезде за угол раздался крик. Городовой взметнул руку к козырьку. На гнедой лошади в широких санках ехал человек, закутанный в серую шинель. Летняя фуражка с красным околышком была у него на голове. Тургенев успел рассмотреть сизый нос картошкой, оловянные глаза, щеки с прожилками, уродливые губы и оттопыренный подбородок.

— Аракчеев,—сказал Новосильцев,—инспектор артиллерии.

В 1807 году братья Тургеневы осиротели. С Иваном Петровичем стало нехорошо. Сначала было дурно голове, и он метался. Потом потерял сознание, затих, стал дышать спокойно и скорее заснул, чем умер. Катерина Семеновна вдруг сильно переменялась. Она поплакала немного, потом, взяв себя в руки, решила проявить твердость характера. Казалось, смерть мужа сделала ее более осторожной в отношении к идеям своего времени. Она уже не преследовала детей за вольномыслие и настойчиво и твердо повторяла о том, что раз Александр после германской науки получает хорошее жалованье и любим начальством, то и Николаю обязательно и необходимо пройти тот же курс.

— Особенно учись английскому языку,—говорила она Николаю.

Николай, который уже прекрасно говорил по-английски, учился свободно писать и каждый день писал хозяйственные реестры для матушки на английском языке. Воронцовы, Шаховские, Щербатовы и множество других знакомых и друзей Катерины Семеновны были яростными англоманами. Бонапарт скомпрометировал все французское. Оставалось только одно—идти по пути союза с консервативной Англией, ущемлявшей Бонапарта на море, покупавшей льняную парусину и полотно у русских помещиков, соль у Строгановых, кожу у Шаховских, и мало ли еще каких торгов не делала Англия с русскими помещиками. К детям приглашали англичанок. Французская гувернантка выходила из моды. Но было и другое течение. Граф Николай Румянцев был за Бонапарта и за французский союз.

Дворянство волновалось, а молодой царь в заботах о своей популярности не слишком обращал внимание на эти волнения. Аракчеев говорил однажды своему закадычному другу Енгальчеву:

— Понимаешь ли, я в канцелярии на Кирочной печать ставлю на казенной бумаге, но ежели по той же бумаге не поставят печати у масонов в Москве, в Милютинском переулке, то бумага моя без движения валяться будет. Два у нас правительства: одно явное, но без власти, а другое—тайное и могущее.

Если бы Аракчеев знал, что Николай Тургенев действительно получил масонскую санкцию своего отъезда в Геттинген вместе с матушкиным благословением и казенной командировкой, то он почувствовал бы себя подлинным прозорливцем. Но он не знал этого. А Николай Тургенев не принадлежал к числу болтливых, даже старшему брату он говорил не все. Бывая на всех обязательных масонских собраниях, он теперь уже твердо знал, до какой степени зорко следят за всеми масонами глаза руководителей. Он видел, что вместе с течениями легкомысленными и пустыми есть глубокая подземная река, течением которой управляют ему не известные, но большие, вне России находящиеся силы.

Выезжая в Геттинген через Ригу, Николай Тургенев не чувствовал ни одинокости, ни покинутости. Он уже твердо знал, что в германском городе его ждут не простые случайности путешественника, а совершенно правильный, ритуалом определенный прием. Выезжая из России, он уже чувствовал себя гражданином не нацио-

нального государства. С гордостью ощущал он прилив в сердце космополитических, а не национальных чувств.

По приезде на место русские впечатления совсем оставили Тургенева. И, словно чувствуя это, Александр Иванович и Сережа старались вдвойне напомнить ему о забытом. Двадцать шестого августа 1808 года Александр и Сергей Тургеневы писали письмо Николаю:

«Теперь я тебе дам отчет о своем путешествии. Из Москвы, откуда я писал к тебе (2-е письмо, в Геттинген 1-е), я поехал в Тургенево и заехал в Ахматово, где нашел все в изрядном порядке и с благоговейною грустью вспомнил, что тут отец наш часто проводил дни своего ребячества и своей молодости, что сюда приезжал он с дед. и баб. гостить к дяде. Еще многие мужики его помнят и были товарищами его в детских играх. Прежде я не знал об этом и не думал, что Ахматово для нас должно быть так дорого. Оттуда проехал я в Симбирск, где не нашел ни одного дядюшки, в тот же день проехал в Коровино, а оттуда в Тургенево и прожил там, видаясь ежедневно с Петром Петровичем, почти шесть дней, в продолжение которых съездил в Семиключевку. Ты себе представить можешь, с какими ощущениями я подъезжал к Тургеневу, входил в старый дом и увидел все прежнее, все, что было свидетелем пяти лет моего детства. Я не мог ни на что смотреть без какой-то тайной грусти, без душевного волнения; даже старые мебели делали на меня удивительное впечатление; но всего более возбуждали во мне воспоминания о прошедшей жизни нашей виды из залы, где мы обыкновенно учились. Сад, трава и вдали синеющиеся Заволжские горы—все сии предметы своей неизменною показывают перемену всего остального,—напомнили мне множество случаев, ничего не значащих для других, но важных в истории моей молодости. В которую сторону ни смотрел,—всюду находил какой-нибудь предмет, который был для меня почему-либо интересен. Сердце билось во мне особенно тогда, когда я вспоминал то, чего оно лишилось в эту полосу, которая отделяет тургеновское мое житье от теперешнего петербургского. Что со мною было? И что было с другими, которых потеря была для меня невозможною, невообразимою? Сидя ввечеру при солнечном закате в большой зале под окном, что в сад, я читал дядюшке Петру Петровичу стихи, которые Жуковский написал для моего альбома. Почти каждый стих останавливал меня, ибо то,

что в нем сказано было, происходило в сии самые минуты на самом деле—или перед глазами моими, или в душе моей:

Как часто солнечный закат
Мы взором в поле провожали,
Прохладой вечера дышали,
Смотря на бег шумящих стад,
И тихия зари пленялися блистаньем.
Придешь ли ты назад,
О время прежнее, о время незабвенно!
Иль, может быть, навек веселье отцвело,
И счастье мое с протекшим протекло!..

Я объезжал все те места, на которых прежде резвился и был счастлив, где с братом и Васей—вы еще были тогда очень малы—мы проводили довольно весело и не без удовольствия скучное деревенское время и не подозревали, что отец наш жил в ссылке под гневом великой государыни, следовательно, будучи не по собственному желанию в деревне, не мог наслаждаться приятностями сельской жизни. Но сколько я помню, в свободное от ученья время мы, кажется, были очень счастливы, особенно летом в саду. Зимой случались скучные вечера, потому что занятий или забав у нас почти уже никаких не было, и мы часто желали вырваться из деревни, видя к тому же батюшку в грусти и часто нами недовольным, особенно мною. Но что жаловаться на прошедшее? Верно, я уже никогда так счастлив не буду.

Какое счастье мне в будущем известно?
Грядущее для нас протекшим лишь прелестно!»

В Германии Наполеон вторично разбил русские войска под Фридландом. Отечество Тургеневых терпело кровные оскорбления от «сына корсиканского нотариуса» Бонапарта. Наполеон низвергал наследственные монархии. Уже одно это было несовместимо с уверенностью в незыблемости и мировом значении священных традиций. Новосильцев, Кочубей и Строганов в Петербурге, с одной стороны, участвовали в негласном комитете Александра I по подготовке конституции, а с другой стороны—всячески настраивали Александра I против какого бы то ни было мира с Францией. Дворянам невыгодно было разрывать наладившиеся торговые отношения с

англичанами. А Бонапарт, потерпев от англичан на море, решил применить к ним систему континентальной блокады. Торговля с Англией кого бы то ни было рассматривалась совершенно так же, как вооруженные выступления против французского оружия на поле битвы. Потерпев несколько поражений, примирившись с потерей польских земель, из которых Наполеон создал герцогство Варшавское, Александр I заключил с Бонапартом мир и поехал на свидание с Бонапартом в городе Эрфурте.

Германия покрылась сетью тайных обществ. Удар, нанесенный Наполеоном, пробудил какие-то новые, небывалые чувства в сердцах немцев. Некий Штейн явился поборником освобождения крестьян от остатков феодальных повинностей. Медленно, но верно идя по ступеням чиновной лестницы, Штейн вскоре сделался прусским министром и, пользуясь давлением Франции, с одной стороны, и пробуждением третьего сословия, с другой, он проводил реформу за реформой до тех пор, пока французские и немецкие власти не усмотрели в нем опасности. Французы видели, как Штейн пробуждает национальное сознание немцев, а прусские князья видели в Штейне якобинца, стремящегося ниспровергнуть вековые дворянские права. Одновременно союзы молодежи, под названием тугендбундов, как огоньки, вспыхивали всюду, и бороться с ними становилось все труднее и труднее.

Такова была обстановка в Германии, когда молодой Николай Тургенев начал учиться в Геттингене.

Что ни день, то новая перемена. Каждый курьер привозит печальные вести с европейского театра войны. Каждое письмо — это новая трещина в фундаменте Европы. Что делать? Что принесет завтрашний день? С этими мыслями вставал по утрам Александр Тургенев и в Москве и в Петербурге. С ними он ложился спать. Сон его был тяжел и беспокоен. Он часто думал о Николае и завидовал его спокойствию. Как рано сумел этот юноша найти самого себя. Небо его мыслей всегда безоблачно. Если для Александра Тургенева русский патриотизм был чем-то обязательным, если для него философские и исторические воззрения современников имели значение чужих, необязательных взглядов, то для Николая вырабатывались, под влиянием чужих мыслей, и свои, получая значение обязательных и менявших не только его мысли, но и все его поведение. Из мальчика, вдумчивого и

спокойного, он превращался в человека бесповоротных решений. При наружном спокойствии и холодности он мог проявить железную настойчивость и бешеную смелость в действии. Мозг его работал бесшумно, мысли не сопровождались словами. Как большой и могущественный механизм, при внешней неподвижности бесшумно действующих машин, при полной неизменности облика, не ускоряя походки, без единого лишнего слова и жеста, он привык накапливать, пускать в ход и останавливать гигантскую энергию свободолобивой и самоотверженной мысли. Большинство окружавших в Геттингене этого юношу не понимали его. Он казался замороженным, педантичным, замкнутым ученым, сухим и нелюбопытным. Однако не было человека во всем студенческом кружке, который бы сумел с такой зоркостью схватить неуловимые черты характера собеседника, заметить все мелочи и понять сущность человеческих побуждений. Все это было проникнуто не сухим и праздным любопытством аналитика, а горячими мыслями о человеческой солидарности, ставшими второй природой молодого масона. Это был редкий представитель человеческой породы, обладавший быстротой перехода от мысли к воле, от представления к действию. Большие и малые дела этого единственного мира в одинаковой степени были ему доступны.

Там, где многие страдают оттого, что замкнутые личные состояния являются центром тяжести внимания, Тургенев не страдал, так как очень мало занимался собою. Вопросы собственного, ограниченного, личного порядка были для него чужими. Он весь представлял собою гармоническую и музыкальную восприимчивость, работу какого-то большого, красиво устроенного инструмента, отзывающегося на впечатления большого и малого внешнего мира. В этом состояла тайна его внутреннего спокойствия. В этом был секрет его прелести. В этом были черты очарования, недоступного обычному взгляду. Но, в отличие от брата Александра, он не спешил эту восприимчивость израсходовать тотчас же в лирических строфах или элегических строчках. Характерной его чертой было полное отсутствие поэтического и особенно лирического стремления. Однако временами он мог смеяться. В тот день, о котором мы говорим, Николай Тургенев хохотал, кидаясь на кожаный диван, вскакивал снова, брал книжку, лежавшую на столе, читал дальше и

опять смеялся, временами беззвучно, а временами звонким и заливистым хохотом. Автор книжки сидел перед ним. Это был человек немного старше Николая Тургенева. Это был закадычный друг Александра — Андрей Кайсаров. Книжка, им написанная, прославила автора среди геттингенских студентов. Она-то и была предметом насмешки, добродушной и беспощадной в этом добродушии насмешки молодого Тургенева. Кайсаров писал полатыни солидную и серьезную диссертацию об освобождении крестьян. Николай Тургенев, к этому времени целиком ушедший в изучение политической экономии, в изучение истории феодализма, в изучение истории крепостного права, разбирал абзац за абзацем кайсаровскую статью и бранил автора. Кайсаров сначала был обижен, потом начал спорить, потом почувствовал себя побежденным и наконец позабыл даже свою первоначальную фразу: «Когда ж этот мальчишка успел это прочесть и передумать?» Кайсаров просто, как человек честной и серьезной мысли, слушал молодого Тургенева и учился у него. Тургенев говорил:

— Знаете ли, Андрей Сергеевич, ничему не нужно удивляться. История не есть результат произвола. Никакой каприз не может ее свергнуть с дороги. А ваша латинская диссертация как раз обратное утверждает. Это — ошибка. Вы говорите «толчки», вы говорите «катастрофы». Профессор Сарториус прав, когда говорит, что катастроф не бывает необоснованных. Назовите мне, с какой песчинки вы будете называть песок кучей песку. Две тысячи песчинок уложатся на ладони. Тридцать тысяч песчинок есть куча песку или нет?

Кайсаров говорит:

— Нет.

— Ну, а сколько же? Когда же ваше количество перейдет в качество? Когда капли, падающие в чашу, ее переполняют? Когда польется ручей? Когда силы, накопленные бесконечно малыми энергиями (помните, что Лейбниц говорил?), приобретут огромное напряжение, не правда ли, количество энергии может перейти в качество действия? Вот вам, дорогой Андрей Сергеевич, история пугачевского бунта. Количество отдельных негодований переходит в социальное качество, именуемое революцией. Я, как дворянин, всей душой желаю отечеству нашему избежать этой минуты. Предостережения слишком большие и значительные, чтобы ими можно было бы

пренебрегать или отделяться вашей латинской схоластикой. Я боюсь, что будет поздно, когда спохватятся. Обратите внимание: римский папа проклял французскую революцию — законное негодование третьего сословия. А четыре года тому назад тот же самый римский папа был принужден короновать революционного генерала Франции в императоры французов. Что вы вчера читали в «Монитере»? Читали вы о том, что этот самый французский генерал Бонапарт, ставший императором, низвергнул короля Испании и посадил своего брата королем. То же сделано в Италии, то же сделано в Германии. И все это при всеобщем ликовании сословия, ставшего у власти. Еще Александр Иванович, мой старший брат, ехал в ваш Геттинген через Ковну и через Варшаву, а я уже не мог этим маршрутом ехать — в Варшаве сидят французские комиссары. Вы, Андрей Сергеевич, может быть, толчком почитаете и то, что со вчерашнего дня римский папа превратился в простого итальянского попа, без всякой светской административной власти? Но разве вы не поняли, что четыре года тому назад для католического мира революционер Бонапарт заставил римского папу в пожарном порядке короновать его императором, а теперь для якобинского мира этот же самый Бонапарт лишил его всякой светской власти. Римский папа в Италии — нуль. Он ничего не может, ничего не смеет, под угрозой вторичного вывоза его бонапартовскими озорниками, двадцатилетними генералами Миоллисом и Раде.

Тургенев вскочил с дивана.

— Припомните, Андрей Сергеевич, как это было. Ведь они же этого римского старика украли, подставили лестницу к ватиканскому саду, пробрались к нему ночью, спешно заставили его одеться, не подходя к ручке и не прося благословения. Его святейшество в уборную не успело сходить. Посадили в карету и увезли. Привезли под конвоем якобинских жандармов и заставили короновать императорской короной Франции какого-то сына нотариуса с острова Корсики. По-вашему, Андрей Сергеевич, это тоже толчок?

Кайсаров разводил руками. Он слушал эти остро отточенные фразы, чувствовал, что на него налетел какой-то ураган, и совершенно не понимал, что с ним самим делается. Картина, нарисованная Тургеневым, была совершенно правдива. Но он не знал обстоятельств, сопровождавших коронацию Бонапарта, он не знал соб-

ственных мыслей Тургенева и был немного растерян. Наконец с чувством томительным и смутным он произнес:

— Вот что, ты, Николай Иванович, несмотря на молодость лет, прочел мне целую лекцию. Ты знаешь, что я тебя старше, однако и мне за тобой трудно было уследить. Если б твой исторический монолог напечатать, то, ей-богу, до конца дочитать невозможно. Ну, шабаш! Об этом больше ни слова. Толчки и капиллярное развитие истории—это мудрость свыше моего ума. Через неделю я уезжаю, а на завтра мне студенческая корпорация Ганновера предложила ехать на Гарц. Хочешь ли принять участие?

— Мне тоже предложили, Андрей Сергеевич,—сказал Тургенев.—Я поеду.

— Поедем вместе?—спросил Кайсаров.

— Вместе,—ответил Николай Тургенев.

Глава четырнадцатая

Молот. Фонарь. Черная одежда, похожая на монашескую рясу, и группа в тридцать три человека спускается воротом в глубокую шахту. Кругом горы. Далеко виден снег и гигантский, мучительно-таинственный, до боли сладостный Брокен. Здесь совсем недавно доктор Фауст был с ведьмами и с жабами, украшенными бубенцами, в безумные часы Вальпургиевой ночи. Здесь в вихре всех соблазнов, безумных опьянений и сверхчеловеческих пыток Люцифер истязал покорные ему души. В далекой глубине средневековья рыцарские замки враждовали друг с другом по ту сторону и по эту сторону Гарца. Немецкие поэты украсили нимфами, эльфами, кобольдами, дьяволятами и чертенятами, ведьмами и ведунами всех сортов и рангов эти гигантские галереи диких ущелий, водопады, превратившиеся в витые колонны, утесы с человеческими лицами и ледяные моря, превратившиеся в зеркальное отражение хмурого, серого, неподвижного и страшного германского неба. Отсюда начиналось нисхождение. В черных одеждах угольщика, с фонарем в руке и молотком, выбивающим искры из каждого камня, с непокрытой головой и ногами в сандалиях спустился юноша Тургенев в подземелье Гарца. Он просмотрел огромные полосы серебра, предназначенные к отправке на монетный двор

в Ганновер, треугольные призмы золота, маленькие, тусклые, под которыми гнется толстая дубовая скамья, просмотрел ярко-алую, светящуюся, невероятную по блеску и трепету гранатовую залу Гарца, где красные камни всех оттенков и всех форм делают человека совершенно пьяным,—все это прошло перед взорами русского путешественника и не остановило их. Тургенев даже не обратил большого внимания на своих спутников, опьяневших при виде стольких чудес. Он спокойно с товарищем сел в кабину и, держась за канат запачканной, почерневшей рукой, опустился на километр под землю. Студенческая экскурсия была недалеко, но эта шахта была не их шахтой. Восемь минут спуска. Тургенев вынул похожий на репу огромный английский брегет. Каждую минуту тихий звон раздавался в кабинке. Движение было плавное, изредка прерываемое толчками. Когда, стучаясь о черные угольные стены, кабинка трещала, становилось немножечко жутко, томительная грусть забиралась в сердце. После пятой минуты фонари горели тускло, какая-то едкая пыль слепила глаза. Было жарко и душно. Шестая минута кажется особенно длинной. Движение медленное.

— Schlafen Sie? ¹ —спросил собеседник.

— Nein, Kamerad ²,—ответил Тургенев.

Почему-то движение кажется замедленным. Седьмая минута. Брегет прозвонил, и, кажется, седьмая вечность миновала. Мир кончился, он был где-то высоко и позади. Прошлого не было. Настоящего нет. Наступил сон. Время тянется невероятно тягуче. Секунда кажется годом. У Тургенева расширены зрачки. Собеседник смотрит на него пристально, словно пронизывая взглядом.

— Es ist noch Zeit, ³ —говорит спутник.

«О чем он говорит?—думает Тургенев.—Что можно вернуться назад, к людям, к свету, к солнцу, к яркому дню, который мы оставили позади себя ради черных одежд угольщика, ради того, что ждет впереди. Сомневаться низко,—решает Тургенев,—и думать о себе постыдно. Предстоит великая задача».

— Мое время—это будущее,—отвечает Тургенев.

Брегет звонит восьмую минуту. Толчок—и прыгают канаты, прыгает площадка, прыгают фонари. Тургенев

¹ Вы спите? (нем.).

² Нет, товарищ (нем.).

³ У нас еще есть время (нем.).

нечаянно падает на плечо к спутнику. Старик тихо целует его в лоб и гладит ему волосы. Вышли. И вдвоем, согнувшись, пошли длинным, душным, темным, черным каменноугольным коридором. Спутник говорит:

— В прошлом году в шахте Мария Хильфер был обвал. Вот так же, как мы, прошли, а вернуться обратно не смогли. И вспомнили об них через три недели после письма матери погибшего студента.

Тургенев молчал. Шли очень долго. Воздуха не хватало. Душная каменноугольная пыль подземных слоев была безжизненна, мертвила легкие, и в висках стучало. Вкус крови во рту. Темнеет в глазах. Недаром брат Александр писал, что без знания минералогии и без усердного изучения Гарца по книжкам не пускаться в сие рискованное предприятие. Легкий удар в сердце. Толчок, и кровь из головы через правый глаз, по щеке. Быстро капающие горячие капли. Липнет ладонь. Кажется, нельзя остановить. Глаз совсем закрылся. Взял платок. Надавил на пораненное место. Вдохнул твердо и решительно и решил: «По-тургеневски: не было бы этого удара, я не опомнился бы. Кровью изойду, но дойду до конца». А конца все нет и нет. Где-то наверху, вероятно, поет веселый жаворонок. Цветущие — зеленые долины, ручьи и козий пастух в широкой шляпе играет на флейте, как во времена сказочного Менандра. Какой восхитительный мир и как хороша жизнь! Розовые облака тают над Гарцем. Серебряные перистые тучки тонут в закатном свете. Что за диво, что за чудо этот мир, эта жизнь, эта земля! Стоило ли менять ее ради неведомого, стоило ли отдавать единственное счастье ради жуткой и строгой тайны? Сердце упало. Почувствовал себя так же, как в тот день, когда Андрей холодеющую руку положил ему на лоб. Тогда казалось простым и естественным отдать свою жизнь за жизнь брата. На этом слове поймал себя Тургенев. Братьев так много! Почему за одного, а не за всех? Тогда это было невозможно. Теперь это легко и просто. Решение принято, надо его выполнять. Дальнейший путь был легок и прост.

«Сейчас я все узнаю,— думал Тургенев.— Сейчас мне будет сказано то, что из простого куска неорганизованной материи превратит меня в исполнителя великой воли, и это одно может наполнить мою душу счастьем. Муки и казни, серая жизнь — все будет ничто. Когда счастливый посвященный знает свою жизнь, и страшнейшая мука не

испугает после того, как человек узнал свое назначение. Что может быть лучше, что может быть счастливее!»

Путники выпрямились. Вход в широкую освещенную подземную залу открылся за внезапным поворотом. Гигантские сталактиты свисали сверху, сталагмиты поднимались с полу, десятки, сотни и тысячи свечей освещали подземную залу. Огромный черный аналой стоял посередине. Рыцари в шлемах, панцирях, налокотниках, наплечниках и наколенниках стояли по стенам. Громадные мечи от пола до подбородка были воткнуты в землю. Руки, настоящие, живые руки, левые — в перчатках, правые — обнаженные, лежали на крестообразных рукоятках старинных мечей. Забрала были подняты. Молодые, сверкающие жизнью и отвагой лица, старики — голубоглазые, высокие, рослые, с длинными бородами, спускавшимися на чеканные латы, стояли кругом. Русский студент из Геттингена не ожидал этого зрелища. Оно поразило его как громом. Он хотел бы потерять сознание, он хотел бы быть в обмороке, но не мог, потому что идея мира и братства свободных народов, идея всеобщей справедливости, идея космополитической гуманности, привлекавшая его сюда, была слишком светла, слишком умна, слишком правильна и проста, чтобы позволить ему увлечься декоративной фантасмагорией германских масонов. Он выпрямился спокойно. Физически усталый и задыхающийся, он чувствовал себя в одинаковой силе с собравшимися здесь. Мгновение спустя стальные поножи, латы и панцирь плотно облегли его молодую и гибкую фигуру. Он занял место, указанное ему товарищем Ярно, как звали старика. А через минуту, забыв о своей короткой ноге, он легко и не прихрамывая подошел к старику, который, держа андреевское знамя, взглянул на него темными орлиными глазами, раздувая ноздри орлиного носа, и протянул ему белую благоухающую розу.

— Ты видишь перед собою мастера Иоганна, — сказал ему Ярно. — В тот день, когда тебе начинаются ученические годы, он сам кончил годы великого посвящения.

Тургенев силился вспомнить, где видел он это лицо, кто этот старик в доспехах с такими молодыми, горячими глазами и, только став впоследствии в последнем ряду обряда, он понял, что мастер Иоганн — это великий творец «Фауста» — Гете.

«Счастье так же трудно перенести, как горе», — думал Тургенев, когда его шатало. Панцирь держал его в сборе.

Наколенники и поножи не позволяли ему иметь нетвердую походку. При всей ясности его ума, ему было странно и необычно чувствовать себя в этом диковинном собрании. То, что он слышал, что он видел, то, что он обещал, поднимая меч за лезвие рукояткой кверху, казалось ему и ужасным, и безумным, и сладостным, и в то же время безукоризненно верным и честным. Ярно подошел к нему и сказал:

— Это бывает раз в семь лет. Следующего семилетия не будет. Кому известно, будем ли мы живы через четырнадцать лет. Объявим силанум, и ты молчи.

Так кончился этот сон. Уже впоследствии, в тридцатых годах, читая строчку Пушкина

Он имел одно видение, непостижное уму,

Тургенев думал, что и у него тоже было «видение, непостижное уму», о котором никто никогда от него не узнает и не услышит. Здесь Тургенев принял посвящение через одну степень, и с тех пор многие окна, закрытые шторами, для него открылись. Сквозь эти окна видел он и понимал суть европейских событий с такой четкостью и ясностью, с такой прозорливостью, как никто из тех, кто не был причастен к «студенческой экскурсии пещеры Гарца», именуемой «Шахта Доротея».

Через несколько дней Тургенев отдыхал в небольшом горном ресторане вместе с Андреем Кайсаровым. Два пастуха, охотники в зеленых шляпах с кистями, в зеленых куртках, два французских офицера и несколько купцов наполняли комнату. В соседнее помещение вошли трое рослых людей с ружьями, перевешенными через плечо. А через некоторое время — еще трое, до странности похожие на первых.

— Это наверняка военный совет, — шепнул Кайсаров. — Французы продолжают кричать о свободе, равенстве и братстве, а немцы подхватывают этот крик и истолковывают по-своему: «свобода от французов, равенство германских провинций и братство германских племен». Согласись сам, что проповедь в этом духе не нравится Бонапарту.

Французы разговаривали громко. Один из них был маленького роста кавалерист, с белокурыми усами и голубыми глазами. Другой — грузный, с круглым лицом, с каштановыми, почти черными волосами, в форме императорского комиссара. Этот последний рассказывал своему

спутнику, как немцы напали на него в Брауншвейге и как ему пришлось спешно вооружить команду выздоравливающих и отбить нападение.

— Я был сам простужен,—сказал француз,—и с трудом выздоравливаю после тяжелой лихорадки, полученной в Сагане. В сущности говоря, я нуждаюсь в длительном отпуске и не думаю, чтобы двухнедельная поездка на Гарц могла решить вопрос моего отдыха. Два дня тому назад я едва не погиб в городе, где решил отдохнуть. Спокойный, захолустный саксонский Стендаль едва не стал моей могилой. На третий день после моего приезда, утром, туда ворвались стрелки из крестьянской молодежи под предводительством горного разбойника Катта, перебили стекла, захватили магистрат и повсюду искали французов. Горничная Луиза выдала меня за своего родственника. Какой же это отдых!—Произнеся это, комиссар отрезал большой ломоть мяса и хлебнул из кружки красное вино.

— Вот видишь,—сказал Кайсаров Тургеневу,—открытой войны нет, а волнения всюду. Бонапарт наконец разрешил германским государям упразднить народоправство. Он сам убедился, что его свободные лозунги ведут к обратным результатам.

Совсем неподалеку, в лесу, на горном склоне, раздался выстрел. Шестеро сидевших в отдельной комнате трактира вышли один за другим и с озабоченным видом удалились из ресторана. Французы бросили им вслед долгий и испытующий взгляд. Трактирщик, не подымая глаз, ушел в другую комнату, оставив стойку с винами и кассой на произвол судьбы. Тургенев смотрел в окно. Слева—крутая стремнина из серых камней вела к горному потоку, прямо перед окнами клином заканчивался гребень горного леса, а направо, среди снегов и елей, опустивших лапы под горами снега, вилась узкая лента тропинки. Необычайная тишина царила кругом. Покой и холод гор.

Тургенев и Кайсаров поздно ночью приехали в Нюрнберг. Наутро оделись, побрившись собственными силами, без парикмахера, и решили осмотреть старинный город. Мальчуган из гостиницы, которого они просили проводить их, показал стену на площади, усаженную пулями.

— Здесь в прошлом году французы расстреляли книгопродавца господина Пальма.

— За что же они его расстреляли? — спросил Тургенев.

— За то, что у него нашли книжки.

— Но ведь он книгопродавец, — заметил Кайсаров.

— Книжки были запрещенные, — сказал мальчик.

Вот он тут стал, снял повязку, которой ему завязали глаза, бросил на землю и сказал: «Я хочу смотреть на ваши лица». Тогда солдаты отказались стрелять и поставили ружья к ноге. Французский офицер закричал что-то на своем языке и выстрелил в воздух из пистолета. Тогда французские солдаты стали стрелять и все не попадали в господина Пальма. Одна пуля раздробила ему руку, и господин Пальма просил, чтобы они делали свое дело поскорее. Вот почему так пробили эту стену!

Вечером Тургенев рассказывал Кайсарову о нюрнбергской торговле в средние века, а потом незаметно перешел к современным событиям.

— Знаешь, что я слышал? — сказал Кайсаров. — Что этот самый Катт, который напал на саксонский городишко Стендаль, сейчас в Богемии составил так называемый черный легион, или принят в Черный легион, или выступал в Черном легионе против Саксонии, но только это не просто бандит, как о нем говорят французы, это — руководитель большого отряда в несколько тысяч человек. Самое интересное то, что с германских княжеств сходит вековой сон, как только французы в них побывают.

— Это тем более странно, — отозвался Николай Тургенев, — что Наполеон Бонапарт спит и видит истребление либерализма в Германии. Сам он взобрался на вершину славы по костям и скелетам жертв якобинской революции, но в Германии он в прочном союзе с немецкими князьями. Недаром он так ненавидит Генриха цум Штейна — нынешнего преобразователя Пруссии. Если б ты знал, Андрей, до какой степени хочется мне познакомиться с этим человеком! Ты представить себе не можешь, до чего пленительна эта фигура. Если Штейн удержится в Пруссии, то германское якобинство произойдет без крови. Дважды увольняли его в отставку и дважды без него не обошлись. Ты припомни, что произошло в прошлом году. Едва обессиленный король призвал Штейна, как он, никого не спрося, провел закон об отмене всех крестьянских феодальных повинностей. Не чудо ли это? То, что стоило Франции потоков крови, здесь проделано на пря-

жением прекрасного ума и высокой воли. Нет ни одного крестьянина, который не знал бы имени Штейна. Недаром Бонапарт — не далее как вчера читал я эту декларацию в «Монитере» — осудил деятельность Штейна. С точки зрения французского императора, все реформы Штейна сводятся к усилению сопротивления французам, к пробуждению германского национального духа.

— Это очень странно, — сказал Кайсаров. — По-моему, Штейн, как имперский дворянин, сам является представителем германского феодализма, а то, что он поссорился с Бонапартом, показывает, что имперское германское рыцарство вроде твоих цум Штейнов вскорости выступит открыто против Наполеона в союзе с кем угодно.

— Жаль, — сказал Тургенев, — что недосуг мешает ему отвечать на письма. Дважды я ему писал свои соображения о крестьянах в России, и дважды он мне не ответил.

Глава пятнадцатая

Тургенев ходил большими шагами, прихрамывая, по комнате и проявлял признаки чрезвычайной взволнованности. Он был похож на человека, охваченного лихорадочным бредом, так как говорил бессвязно, разгоряченно и жестикулировал, будучи один сам с собою.

«На одного французского санкюлота по численности населения будет сто московских. Что же, не нынче завтра этот идол на глиняных ногах свалится, падая к подножию истории, и никакого лобного места не хватит в Москве для казни. Что делает Бонапарт — самодержавное истребление якобинского республиканизма?.. Разве так должна идти стройная система человечества?..»

Локтем задел вазу, разбил ее и громко про себя заявил:

«Непонятный признак неуравновешенности! Что с тобой делается, Николай Тургенев? Ты под властью навязчивой идеи, тебе грезятся признаки санкюлотов, бегающих по длинным московским улицам, в путанице переулков, во дворах, где живут старухи просвирни, в трактирах, где продают сбитни и дешевый чай, грезятся тебе красные флаги и окровавленные ножи. Смеялись над Пугачевым. Вот вам теперь европейский Пугачев! Счастье будет, ежели блеск императорской мишуры ослепил глаза Бонапарта...»

«А если нет... Тогда полный ужас и сплошной бедлам... Бедлам... бедлам... Что значит бедлам? Ведь это исковерканное слово бетлеем—по-славянски Вифлеем. Неужто от этого города, где, по евангелию, родился Христос, пошло мировое безумие? Однако ведь называли ж англичане свой дом умалишенных этим именем».

Подбежал к письменному столу. Раскрытая большая зеленая тетрадь. Листы желтой бумаги, готовые поглотить все его мысли.

«Не лучше ли затаиться? — думает Тургенев.— Этакую страшную бурю носить в душе могу я один. А напишешь, в суете путевых беспокойств потеряешь написанное, скинет тебя орлиное крыло в Сен-Готарде в пропасть, или просто дорожный разбойник трехгранным острием проколет тебе горло, и будет эта тетрадка в руках досужего человека, бранящего Тургенева за мысли, дела и чувства».

Однако подошел к столу и записал: «Как легко можно без сожаления переезжать из одного места в другое. Это потому, что меня ничто не привязывает ни к какому местопребыванию. И в России не предвижу и не могу предвидеть для себя ничего лестного и приятного. Я пишу тайно, обиняками, потому что не хочется самому себе даже говорить откровенно, боясь мыслить с откровенностью о моем необычайном положении и о видах на будущее. Презрение людей производит *презрение людей*».

Раздраженно закрыл тетрадь, бросил ее пренебрежительно в большой кожаный дорожный баул. Потом стал ходить из угла в угол опять. Короткие штаны, белые чулки, черные атласные туфли, рубашка, открывающая грудь, и незастегнутое жабо, великолепное, мягкое, тончайшее испанское кружево складками, восемнадцать рядов кружев. Все нашито на груди. На маленьком столике тринадцать жемчужных застёжек. На другом столике неубранные принадлежности после бритья, поваленное зеркало в мыле. Черный шелковый галстук. Синий фрак.

«Однако пора одеваться», — думает Тургенев. Бессонные ночи и нервы — это свойство всех кончающих Геттингенский университет. Об этом предупреждал брат Александр. «В последний день инаугурации будешь ты себя чувствовать наподобие безумца, — говорил Александр, — как зверь в клетке. Но ты не смущайся, сумей ошалеть вовремя и вовремя опомниться. Я не хочу учить тебя ничему плохому, но ты лучше напейся, чтобы забыть

переход от одиннадцати часов в сутки работы к новой твоей свободной жизни».

Николай помнил это наставление Александра Ивановича, но выполнять его не хотел.

«Я лучше додумаю все нормально и в безалкогольном состоянии,—говорил он себе.—Дело, конечно, не только в учебе. Конечно, не только в этом утомлении».

Новогодний бал в Вене, на котором был Тургенев, показал ему во всем блеске закат европейского дворянства.

«Какие имена, какие люди, какие состояния, какая фантастическая власть уходит безвозвратно! Уверенность в победе, в несокрушимости своего могущества! Короли, принцы, герцоги, графы, бароны, вчера еще беспечные, уверенные в своем успехе,—сегодня, окровавленные, плетутся на жалких клячах по непролазным, глухим дорогам Европы с обломками растрепанных и нищих отрядов. Что это за ужас? Кто это сделал? Простой французский мужик и парижский сапожник. Европейские монархи не дали им и трех дней подышать воздухом воли, и вот теперь они мстят: громят города Европы, ломают троны, рассыпают королевские мешки с золотом, как с ненужной золой. Хрустят короны под ногой огромного якобинского сапога. Нет силы, которая может это остановить».

Тургенев взял листок бумаги, лежавший на столе. Это была копия письма вестфальской королевы. Она писала: «Захват Бонапартом Голландии глубоко волнует меня, потому что я вижу, что в этом, в земном мире слез ни для кого нет прочного счастья. Где искать спасения королям, когда ни теснейшее родство с Наполеоном, ни открытое расположение царской России не спасают против французского указа о присоединении. Наследственные государи находятся в жутком колебании двойной перспективы, одинаково страшной: либо Наполеон потребует от них союза и повлечет их к позору и к гибели со своим падением, либо, как *только потребуют его личные обстоятельства*, он внезапно объявит о смещении наследственных государей и старинных династий и нагло заменит их своими префектами из французских мужиков и кузнецов Парижа».

Отдувая щеки, почти задыхаясь, бросил Николай Тургенев это письмо на стол.

— Открытое расположение России...—говорил он.—

Начали громко провозглашением Наполеона вне закона, а кончили дружеским свиданием с ним в Эрфурте. Следует ли мне думать о России? Страна голодных рабов и безумных господ! Если б можно было никогда, никогда ее не видеть! Но через два дня надо уезжать. Решаться надо теперь же.

Подержав в руке синий фрак, швырнул его опять и, прихрамывая, стал ходить по комнате.

«Решаться! — подумал он. — Легко сказать. Здесь все — наука, свет, познание, друзья и наставники — явные и тайные, здесь то, о чем лишь изредка, по разрешению стариков, могу подумать в чарующие минуты свободной воли ума, а что там? Грязь и полицейские окрики! Кабацкая Русь и длинногривые попы».

Вдруг, внезапно остановившись, он почувствовал головокружение. Смертельная бледность покрыла его щеки.

«Ты ешь крепостные хлеба, Тургенев, на тебя идут силы тургеневских и коровинских мужиков! Что ты им отдашь, как ты вернешь то, что израсходовано на тебя здесь, в Геттингене?»

Подошел к столу. Сел. Бросил голову на руки, чтобы ничего не видеть, не слышать. А в голове били, как молоты, все те же мысли, искры сыпались перед глазами, огненные круги возникали и исчезали в темноте. Встал. Сорвал полотенце, обламывая пальмовую ручку. Бросился на подушку и, вздрагивая плечами, беззвучно зарыдал. Кричал про себя яростно, исступленно, но не переводя слова на голос. Оглушен был этим криком, но кругом сказали бы, что он спит. Он кричал только одно: «Ни за что, ни за что не вернусь в Россию!» И чувствовал, что этот крик переходит в исступление. «Кто узнал сладкое, тот не захочет горького; кто увидел свет, тот не захочет в темноту. Буду нищим, но не вернусь в эту проклятую страну».

Слова «измена», «предательство» — ничто не действовало. Манили большие европейские дороги, зеленые, обсаженные каштанами и буком. Манил Веймар, где величавый старик, упоенный жизнью, очарованный тайной вещества, наклоняется над столом, разбирая античные камеи, наблюдая в микроскоп строение растительной клетки — хлорофилла.

«Разве не могу я быть простым батраком в славянской Крайне, писцом в военной канцелярии, да, наконец, кем угодно, лишь бы не русским помещиком на царской

службе. Сейчас я молод, вся жизнь впереди. Пройдет неделя—и будет уже поздно. В России гибель моя неизбежна. С моими мыслями жить там чудовищно. Молодость, молодость, молодость!» — повторял Тургенев, и ему в такт раздавались удары дверного молотка.

В низкую дверь геттингенской комнаты Тургенева осторожно стучали. Едва успел накинуть фрак. Открыл. Вошел старик Шпитлер—геттингенский профессор.

— Я уже думал, что господин Тургенев уехал, не простясь с учителем,—произнес он.—Рад, что вас застал.

— Садитесь, дорогой господин хофрат,—сказал Тургенев.—Польщен и рад вас видеть.

— Каким направлением вы едете?—спросил Шпитлер.

— Я еще не выбрал. Вероятно, придется ехать на Штеттин,—сказал Тургенев.—Но еще не уверен в этом.

— Уверьтесь,—сказал Шпитлер.—Теперь Штеттин—единственная дорога. Так вот, я хочу, чтобы мой лучший ученик встретил лучший прием повсюду.

С этими словами он развернул тончайшую папиросную барселонскую бумагу и достал оправленную в золото красную пятиконечную звезду из гарцского граната.

— Наденьте это на шею, добрый друг, и когда вам будет очень трудно, ну совсем плохо, ну, положим так, вас присудят к казни,—покажите это судьбе. Затем не сомневайтесь в том, что вам нужно вернуться в Россию. Прошлый раз мы говорили с вами о французской революции. Не волнуйтесь, знайте, что это простое следствие трехвековой борьбы третьего сословия за свои права. В России—счастье и несчастье, что нет этого сословия. Оно никогда и не разовьется до полной силы. Вашей революции придется шагнуть через целый исторический этап. Ну, итак, простите, дорогой! Не советую вам задерживаться в Германии. Я не своеволен, и если б мне не было приказано, я бы сегодня к вам не явился. Смешнее всего, когда человек, знающий настоящую науку, малодушно обижается на историю. Такие обиды суть простое выбрасывание на ветер лучшей вашей энергии. Прощайте!

Тургенев не успел сказать ни слова. Хлопнула дверь. Старик был уже далеко. На тонком шелковом шнуре висела гранатовая безделушка. Тургенев раздраженно дернул ее рукой и подумал:

«Все это хорошо—песнь вольных каменщиков, преодоления в рыцарские одежды, разные гранатовые побря-

кушки, циркули и треугольники. Но что мы будем делать, когда волна разъяренных санкюлотов уничтожит баронские замки Германии?»

Однако посещение Шпитлера принесло успокоение.

На четвертые сутки, под утро, седые померанские туманы показали Тургеневу, что он уже недалеко от Северного моря.

«Завтра начнется дорога в Россию».

Путь был до такой степени странным. Часы просвета. На горизонте обрисовывалась большая фигура пастуха в шляпе. Тонкорунные немецкие овцы среди безлюдной пустыни. Потом маленькие дома на холмах. Двадцать четыре домика на двадцати четырех пригорках, заполнявших весь горизонт. Странная, полуславянская, полунемецкая речь. Глухо. И очень тоскливо. Европейские бури и грохот наполеоновских пушек казался где-то далеко и ушедшим в прошлое. Но сегодня туман такой густой, что кажется опасным ехать. Если бы не старые, испытанные лошади, знающие дорогу, то лучше было бы не ездить. Дилижанс не вышел в этот день. Пришлось ехать на крестьянской паре. Возница, первоначально словоохотливый, говоривший о том, что теперь жить стало хорошо, барщина прекратилась, долги прощены,—чем дальше к северу, тем становился молчаливее. Тургенев спал. Было холодно, и сырость пронизывала до костей. Но вдруг грубый толчок, и он проснулся. Он полз вниз плечом и головой по жидкой грязи, пытаясь за что-то схватиться. Раскровенив руки, он держался за колючий кустарник. С трудом поднялся, едва разгибаясь от боли. Маленький экипаж лежал колесами кверху. Баул валялся тут. Лошадь, оборвав сбрую, билась задними ногами. Возницы не было.

«Что случилось?» — подумал Тургенев.

Случилась очень простая вещь. В тумане экипаж скользнул в овраг и сломался.

Николай Тургенев, с трудом цепляясь за кусты, вышел на дорогу. Трубил рожок форейтора. Встречная шестерка неслась по дороге. Яркие фонари прорезали туман. Показались лошади, форейторы в ливреях и огромный черный кузов имперской кареты.

Тургенев поднял руку. Карета медленно остановилась. Красиво одетый молодой человек в цилиндре, с большой пелериной, соскочил с козел и подошел узнать, в чем

дело. Тургенев просил помощи, так как ему не на кого было надеяться в этой безлюдной местности. Через минуту молодой человек вернулся и сказал:

— Граф просит вас к себе.

Отворяя дверцу кареты, Тургенев увидел старика с крупными чертами лица, ясными глазами, слишком живыми и молодыми для седых бакенбард и седых бровей, смотревших из-под шляпы.

— Кто вы? — спросил старик.

— Магистр Геттингенского университета, командированный для наук из России, — Тургенев.

— Я рад встретить однокашника. Я — старый геттингенский студент. Вас я знаю. Теперь узнайте меня: Фридрих Карл цум Штейн. Едемте ко мне. Дорогой я отвечу на ваши письма.

Тургеневу казалось, что это счастливый сон. Штейн — предмет его восторгов, этот кумир молодой Германии, с которым встретиться он уже никак не рассчитывал, возвращаясь в Россию, — вдруг выручил его из беды, как нечаянный подарок фортуны.

Глава шестнадцатая

После нескольких вступительных фраз представители имперского рыцарства и русского дворянства начали прямой разговор. У обоих в характере было не мало упрямства, оба не хотели играть комедии и потому чрезвычайно быстро, почувствовав эти свойства, Штейн и Тургенев стали понимать друг друга. Однако Штейн упорно не сходил с геттингенской темы. Он говорил о Геттингене так, как могут говорить взрослые люди о своей колыбели, о лучших воспоминаниях детства, о лучезарных и прекрасных видениях юности. Тургенев рассказал, что он является уже вторым представителем тургеневской семьи, обучавшимся в Геттингене. Штейн был растроган. Тем не менее Тургенев уловил нотки отчужденности в голосе своего собеседника, когда разговор коснулся профессоров-экономистов и историков Сарториуса и Геерена.

— Мне кажется, что они делают ошибку, — сказал Штейн, — приписывая слишком большое значение денежным, особенно металлическим, запасам в государстве. Ведь посудите сами, молодой друг...

Внезапно после этих слов глаза имперского рыцаря Штейна заблестели, зрачки расширились, и, наклонясь к Тургеневу, он сказал:

— Я должен вас назвать младший товарищ, если вы помните нисхождение в шахту «Доротея».

Тургенев встал, насколько это позволяла высота кареты, и, прикасаясь левой рукой к правой руке собеседника, произнес спокойно и твердо:

— Я слушаю и повинуюсь во имя креста и розы.

После этого Штейн сказал ему:

— Успокойтесь, мы будем говорить не шифром, а клером. Роза Гарпократа еще не расцветает между нами. Молодой друг, можете говорить и молчать, сколько вашей душе угодно. Я ничего не говорю тайного. Но от вас зависит испортить наши отношения. Я назвал вам свое имя вовсе не для того, чтобы им похвастаться перед первым встречным. Я узнал в вас русского, а я еду из России.

— Как!—закричал Тургенев, вскакивая с места снова.—Что ни шаг, то загадка. Ужасна Германия в период мировых бурь!

— Это не мировая буря—это наша страна в период бури и натиска,—спокойно ответил Штейн.—Мы думаем, что наши государственные дела на этот раз чужды житейского беспорядка и полны планомерности... Но вы меня не дослушали, младший товарищ Тургенев, я обязан напомнить вам, что вы в ближайшие месяцы для пользы вашей и вашего государства должны прочесть английского экономиста Адама Смита. Вы поймете тогда то, чего не договорил вам Сарториус и многие другие. Настают времена, когда простой кусок хлеба будет цениться дороже верблюда, нагруженного червонцами. В наши дни любая фраза Адама Смита стоит тысячи томов, которые могли бы написать меркантилисты. Вы удивились, что я из России, так знайте же, если вы до сих пор не знаете этого, что вы со всеми вашими горями не можете меня понять. Цум Штейн—рыцарь старинной Германии—сейчас перед вами бедный нищий. Тринадцать месяцев тому назад я поссорился с таким же заурядным человеком, как наш возница. Это сын корсиканского нотариуса, внук корсиканского бандита, дикий островитянин—Наполеон Бонапарт. Если вам неизвестно, так знайте же, что тринадцать месяцев назад я был богатейшим помещиком, у меня были виноградники в

Рейне, собственные копи в Гарце, богатейшие пастбища в Померании. Я помню всех своих дедов и прадедов до девятого столетия, а теперь я—нищий и еду тайком в свое имение, так как все конфисковано Бонапартом. Я—освободитель прусского крестьянства—буду расстрелян первым французским сержантом, который перехватит меня на дороге.

Холодный ум Николая Тургенева вдруг закипел вулканическим потоком мыслей.

«Какой ужас!—думал он.—Как я страшно отстал, живя в Геттингене. Этот горный кругозор, замкнутый и прелестный, совершенно лишил меня дальнорукости. Мой кумир—освободитель германского населения—подвергся столь жестокой участи, а я ничего об этом не знал».

— Как же случилось это?—спросил Тургенев.

— История неумолима,—сказал Штейн,—и плохо делает тот, кто на нее обижается. Однако сердце мое радуется, имея дело с достойным противником. Я принужден был переехать в Россию—*последнюю страну рабства*,—сказал Штейн, растягивая эти слова,—лишь после того, как осуществил заветную мечту уничтожить феодальные пережитки в отношениях между дворянином и крестьянином в Германии. Вот посмотрите, я буду принят хорошо в любом из моих недавних владений, и ни одна душа живая, даже под пытками, не произнесет моего имени французскому комиссару, живущему в моих имениях. Но, милый друг, младший товарищ, какая безотрадная картина ваша страна! Вот вам задача. После Геттингена займитесь изучением Смита и немедленно уезжайте в самое пекло, в самый ад. По письмам вашим я вижу, что вы хорошо ко мне относитесь. Ну, так вот. Если даже не во имя этого хорошего отношения, то во имя собственного успеха в жизни сверните с дороги и немедленно поезжайте в Париж.

Николай Тургенев мечтал о том времени, когда после лихорадки отец брал куски холодного, прозрачного московского льда и прикладывал ему к вискам. Голова его горела. Он вдруг вспомнил высокого, худого и стройного человека, стоявшего рядом с Ярно в шахте «Доротея». Теперь несомненно—это был Штейн. Рядом с ним стоял рыцарь с голубым пером на шлеме...

Откуда вдруг взялась эта фамилия—Гарденберг? Вообще, кто был в этой шахте, какой дальнейший путь

Тургенева, чем он связан с этими людьми, кроме явных, простых орденских поручений? Одно только хорошо, что, вместо тяжелого маршрута с перспективой меховой шубы в ледяном отечестве, он может и, по-видимому, должен...

— Так обещаете мне быть через десять дней в Париже?—спросил Штейн внезапно.

— Обещаю и исполню,—сказал Тургенев машинально.

— Раз это так, то вы обещаете мне еще одно.

— Исполню,—ответил Тургенев.

— Вы не обмолвитесь ни словом о встрече с Фридрихом Карлом цум Штейном.

— Обещаю и исполню,—ответил Тургенев, опять таки чувствуя смущение от этого автоматизма ответов. Но скажите же мне по крайней мере, сколько времени должен я провести в скитальчестве?

— Вам скажут,—ответил Штейн и дернул за звонок кареты.

Форейторы повернули влево. Минуя главные корпуса усадьбы, карета остановилась у маленького флигеля, перед которым тысячи голубей кормились и купались на берегу мраморного бассейна.

— Здравствуйте, господин Гогенлинден,—приветствовали Штейна обученные и законспирированные крестьяне.

— Здравствуйте, друзья,—отвечал им Штейн.—Я привез к вам заблудившегося студента. На сегодня он—хозяин в доме, ради него делайте все, что сделали бы вы ради родных и друзей.

Мгновение спустя Тургенев почувствовал себя действительно в кругу родных. Штейн, безопасности ради, как простолудин, забрался на крестьянский чердак. Центром повышенного внимания поселка, если только можно было это внимание назвать повышенным, стал бывший геттингенский студент, заблудившийся русский—Николай Тургенев.

Из всего, что он видел и слышал в короткие сутки, протекавшие после встречи со Штейном, он понял, что речь идет о формировании германского легиона к предстоящей войне с Бонапартом. За чашкой козьего молока Фридрих цум Штейн, смотря на своего русского друга спокойными, ясными светло-голубыми глазами, говорил:

— Вот посмотрите, это, конечно, улыбка жизни, похожая на хохот гор. Когда горы хохочут, то обрушиваются

села; когда жизнь улыбается, то это значит — целое поколение сошло в могилу. Я говорю о том, как французский император из предводителя якобинских полков превратился в самую мрачную фигуру нашей истории. Каких-нибудь десять лет тому назад французские крестьяне, обученные братьями масонами, сажали майские деревья перед воротами французских феодалов, добровольно отказавшихся кабалить своих крестьян. А теперь этот же самый Бонапарт является самым мрачным, самым ужасным, деспотическим видением растерянной и порабощенной им Европы. Жизнь улыбается жуткой улыбкой, и от этой улыбки сбежали цвета жизни и радости с каменного чела Бонапарта.

Утром через два дня Штейн вручил Тургеневу законные подорожные и другие документы, удостоверяющие его дворянское право на въезд в столицу императорской Франции.

— Поверьте, младший товарищ, что я искренне рад встрече с вами. Вы еще очень будете мне нужны...

Тургенев с волнением пожимал руку Штейну, внимая этим словам простой любезности. Но Штейн, взглянув на него и не выпуская руку, давая ему на ладонь большим пальцем, говорил, словно читая в его мыслях:

— Я не произношу слов простой любезности. Вы, юноша, будете необходимы, а не я вам. А теперь — доброго пути! До скорой встречи в Петербурге!

В трактире «Четырех Ветров» на старой границе Франции Николай Тургенев написал письмо брату Александру, простое, с описанием чисто внешних событий, ни единым словом не упоминая о привалившем ему счастье в виде встречи с «рыцарственным стариком Фридрихом цум Штейном».

Тургенев был исполнителен. Чувство долга занимало первое место в его сердце. Мысли об английском чтении по поручению Штейна, эти твердые, ясно сознанные мысли, не покидали его всю дорогу. Но книги в тогдашнее время не были так легко находимы во французской провинции, как в последующие десятилетия прошлого века. Николай Тургенев сокрушался. Но и тут крепко завязанный узел его жизни дал себя почувствовать. В городе Лионе, на постоялом дворе содержателя французских дилижансов господина Кальяра, совершенно случайно перебирая предметы, лежавшие на втором дне дорожной укладки, Николай Тургенев нащупал толстый пакет

и, распечатав его, с удивлением убедился в том, что перед ним лежит новенький, не разрезанный трактат Адама Смита о государственном хозяйстве.

Только дисциплина вольных каменщиков позволила ему ограничиться удивлением. В существе своем дело было неприятное, ибо в дороге путника тревожат в одинаковой степени внезапные исчезновения и внезапные находки. Опытные люди недаром говорят, что неизвестно, что опаснее, что хуже. Предоставим этим опытным людям суждение по настоящему предмету. А чтобы не задерживаться, последуем за Николаем Тургеневым в город, волнующий и зажигательный, в город, таинственный своими пороками и добродетелями, в столицу Франции — Париж.

При самом въезде Николай Тургенев был разбужен звонким и заливистым смехом двух французов, сидевших в третьем ряду кареты. Брюнет рассказывал блондину о том, как на песчаном берегу около Варриера полицейский агент арестовал двух купальщиц. Одна была совершенно обнажена и плавала на виду у публики, другая повязана легкой тканью на бедрах. Обе арестованы были как политические преступницы. Блондин недоумевал.

— Но при чем тут политика?! — восклицал он.

— Постой, друг, — отвечал другой. — Ты спрашиваешь, при чем тут политика, но обе были осуждены судьями — одна, чуждавшаяся покровов, за возбуждение народных масс, а другая — в год трудности снабжения — за сокрытие предметов первой необходимости.

Дилижанс отвечал хохотом.

Тургенев был поражен не мало.

«Говорят, что во Франции мрачное настроение. Какая же мрачность при таком направлении умов?» И, обращаясь к старой даме, единственной женщине в дилижансе, он спросил разрешения курить. Длинная пальмовая трубка задымила приятным табаком, вымоченным в геттингенском меде. Последняя пачка этого табаку была продана студенту Тургеневу краснощекой Лизхен — кельнершей у Ганзена, которую брат Александр в нежнейших письмах к геттингенским студентам всячески умолял сохранить. Пуская кольца дыма, Тургенев думал о том, как профессор Куницын (увы! двадцативосьмилетний профессор!), перед тем как вернуться в Петербург и сделаться преподавателем Царскосельского лицея, испробовал свои силы и таланты над характером Лизхен.

Кельнерша уступила, и с тех пор она сделалась целебным источником удовольствия для многих студентов. Провожая Куницына, геттингенские студенты увенчали его лоб венком из роз. Они называли его Моисеем, ударившим жезлом в каменную стену, открывшую после удара благодатный источник утоления студенческой жажды.

Миновали заставу. Шумный, веселый Париж поглотил стук железных ободьев кареты о каменистую, хотя и не мощеную, улицу Гомартен.

Начались парижские дни русского студента.

Первым делом Тургенев записал в дневнике:

«Париж, 31 июля, вторник, 6 ч. вечера. В дороге писать не мог, допишу теперь. Из Шалона выехали мы в пятом часу вечера. Погода была хороша. В восемь часов были мы уже в Эпернее, маленькой, но изрядной городок. Мы проехали деревню Аи, остановились и пили самое лучшее вино, которое растет во Франции. Подле самого Парижа местоположение совсем не восхитительное. Маленький лесок с кустарниками, есть и болота. Подле Парижа видел множество трактиров. Сердце мое так, как сердце многих пассажиров, к удивлению, совсем не билось при мысли, что я в Париже. Я живу и буду жить по-нашему в 4-м этаже и буду платить 72 франка за месяц. Это для меня очень дорого».

Неожиданная надпись на двенадцатой странице: «Где будешь ты, Николай Тургенев, когда допишешь до этой страницы», и приписка сбоку той же рукой: «Вот я здесь, в Париже».

Тургенев вчерашний перекликался с Тургеневым нынешним из страха, что по прошествии нескольких дней один другого не узнают. Николай Тургенев чувствовал огромную потребность в таком общении с своим завтрашним «я». Его тревожили и быстрота событий, и постоянная смена состояний.

«5 августа. Приехавший вчера курьер из Петербурга привез мне сто червонных — это от брата Александра. Меня почти до слез тронуло доказательство любви ко мне старшего брата. Александр пишет, что в Царском Селе основан лицей для подготовки чиновников из дворян, что Волконский и Ростопчин выступают на защиту крепостного права, а остзейское дворянство требует

освобождения крестьян, но без земли, для удобства фабрик».

Николай Тургенев принялся за чтение газет. Французский хроникер с большим удовольствием сообщал, что в Англии большие беспорядки. Ткачи уничтожают паровые машины, так как при нынешней безработице в Англии невозможно семь человек оставлять на производстве там, где труд семерых ручников заменяется единоличным управлением одного машиниста. «Некий лорд Байрон выступает на защиту провинившихся рабочих».

«Неужели это всеобщее явление?» — думал Тургенев.

«Двенадцать дней я в Париже, а немец, указанный Штейном, до сих пор не является», — тревожился Тургенев, вставая по утрам и обливаясь холодной водой. Утром мадемуазель Мерси стучала минут через десять после того, как прекращался плеск и было ясно, что господин Тургенев уже оделся. Мадемуазель Мерси приносила кофе. Ее мать, очень непохожая на мать, — Тургенев подозревал, что это просто хозяйка — бывшая содержательница увеселительного заведения, — обращалась с мадемуазель Мерси как с восемнадцатилетней девушкой. Тургенев думал: «Мадемуазель Мерси наверняка уже тридцать лет, может быть, — тридцать два, может быть, — тридцать три. Она довольно неудачно разыгрывает из себя подростка». Мадемуазель Мерси любит поговорить, и поговорить на особенную тему. На нее всегда кто-нибудь покушается. Она хочет пробудить во всяком приезде пансиона благородные рыцарские чувства, и господину Тургеневу она тоже силится внушить стремление выступить на защиту оскорбленной невинности. У господина Николая Тургенева очень много работы. Ему совсем не до того. Тем не менее госпожа Мерси жалуется ему на то, что в конце коридора комиссар французского трибунала — «якобинец и негодяй» — устроил пирушку с тремя молодыми девицами. Они всю ночь пели и пили.

— Ах, господин Тургенев, как я трепетала: ведь если ему понадобились три, то могла понадобиться и четвертая. Крючок у моей дочери такой слабый, и я настолько беззащитна, что все могло случиться.

Господин Тургенев стоял как деревянный. Ни тени сочувствия на этом холодном лице.

— Ах, господин Тургенев, беззащитной девушке трудно в наши дни в Париже. С тех пор как казнили короля

и забыли бога, сатана стал страшно силен. Бороться с ним невозможно.

Но господин Тургенев пьет кофе, пока мадемуазель Мерси поправляет на висках желтые тирбушоны. Мадемуазель Мерси выходит. На другом конце коридора, против двери трибунальского комиссара, кутившего с девицами, есть другая дверь. Там живет господин Лобо — антиквар, старик с провалившейся верхней губой, с выдающейся, небритой, нижней частью подбородка. Мадемуазель Мерси знает, что это за старик. Это граф Шанфлёр — агент бурбонской семьи, проживающий в Париже под чужим именем. Мадемуазель Мерси за недорогую плату сообщает ему последние парижские новости из тех, что пробалтывают ей подвыпившие бонапартовские офицеры. Она же, эта же самая мадемуазель Мерси, согревает своим еще не старым телом простыни и одеяла господина Лобо. Это все за ту же плату — ради церкви и короля.

После кофе Тургенев посещал музеи. Идя из Тюильри около двух часов дня, он любовался аркадами, галереями и переходами Елисейских полей. В этой части улицы Парижа были только что замощены. Карета, лакей с плюмажем. Едет знатная дама. Кто она? Красивые, огромные черные глаза, очень грустные, несколько детские. Парижане кланяются при встрече. «Княгиня Богарне», — слышит Тургенев сзади себя. Сегодня княгиня Богарне, а еще вчера она была императрицей Жозефиной. Она уезжает из Парижа, как бездетная вдова. Наполеон буквально *faisait la cour*¹ легкомысленной дочери императора Франца. Кончилось тем, что он женился на Марии-Луизе, бросив Жозефину. Якобинский генерал породнился с католическими Габсбургами. Наполеон считал себя победителем императоров, но коронованные волки решили, что «если Бонапарт с волками хочет жить, то он по-волчьи должен быть». Его апостолическое величество — король и первосвященник австро-венгерской монархии, — выдав свою дочь за безбожного француза, решил оказать на него самое энергичное давление. Многие ему помогали. Новоиспеченные дворяне, которых много появилось вокруг императорского трона Франции, решили, что настала пора обуздать безбожную парижскую бедноту. Император перестал сме-

¹ Ухаживал (фр.).

яться. Веселые французские песни стали признаком политического вольнодумства. Насмешка над черным монашеством казалась императору опасной. Население проявляло вольные стремления, которым необходимо было положить конец. Вот почему, когда французские церковники захотели съезжаться в Париже, Наполеон Бонапарт отдал распоряжение об оказании полного содействия. Католическая Франция снова ожила. Но церковь без монархии не существует. Оправдать монархию Бонапарта церковники не могли и не хотели.

Наконец Тургенев встретился около самого Тюильрийского сада с немцами и русскими, которых он ожидал. Он не называет их фамилий. Он просто говорит о том, что во Франции подготавливается война с Россией.

Расставшись с ними, он курит трубку, одну за другой, лениясь идти завтракать и в то же время чувствуя голод. Трубка прогоняет голод. Невольно шаги направляются опять к Тюильрийскому саду. Он видит, как огромные толпы народа продвигаются ко дворцу. Машинально последовал за ними.

На балкон дворца вышел короткий человек, довольно грузный, в синем мундире со звездой. Ноги обтянуты в лосинах. Довольно полное брюшко. Голова без шапки. Короткие волосы на пробор. Выглядывая через плечо, в голубом платье, за ним появилась на балконе высокая, полногрудая женщина. Раздались крики: «Да здравствует император!» — вразброд и недружно. Генерал в синем мундире сел, женщина в голубом заняла стул рядом.

«Однако он довольно толстый, этот Наполеон», — подумал Тургенев. Вспомнил: сегодня день крещения новорожденного сына Бонапарта, именуемого римским королем. Зевая, усталый Тургенев фланировал по Парижу. Идя к театру Фейдо, увидел вывеску: «Синьор Пио. Уроки итальянского языка».

«Вот что мне нужно», — подумал Тургенев.

Через минуту уже уговорился об условиях и решил начать занятия поутру со следующего дня. Вечером Тургенев был в театре. Слушал «Сандрильону» и довольно поздно вернулся домой. Лег спать голодный. Странное чувство рассеянности и апатии овладело им после того, как он услышал неправдоподобные (так ему показалось)

суждения о предстоящей войне Наполеона с Россией. «Что из того, что Россия нарушила договор с Бонапартом о блокаде Англии. Все нарушают, так как англичане продолжают морскую торговлю под чужими флагами. Конечно, если пройдет распоряжение Наполеона о прекращении всякой торговли с иностранцами вообще, то, пожалуй, разрыв союза будет неизбежен, но тогда не только Россия, а и все европейские государства вооружатся против Бонапартова произвола». С этими мыслями заснул.

Во сне война уже началась. Пушки гремели. Тряслись стены, и ломались двери. Проснулся от собственного сна. Вскочил. Стук продолжался. По коридору слышалось хождение, возбужденные голоса и сдавленный шепот через перегородку. Накинул шлафрок. Быстро надел туфли. Подошел к двери и хотел выйти, чтобы узнать, в чем дело. Рослый часовой с ружьем в медном кивере с султаном загородил ему дорогу.

— Что такое? — закричал Тургенев.

Часовой молча погрозил и невежливо хлопнул дверью, едва не зацепив головы Тургенева.

Тургенев побежал к окну. Внизу на черном дворе с факелами стояли вооруженные люди. Очевидно, весь пансион оцеплен. Тургенев зажег свет. Сел у стола и стал ждать. Перебирал книги одну за другой. Наконец решил одеться и пойти напролом. С удивившей самого себя быстротой через две минуты он был уже одет в геттингенский редингот. Решительно открыл дверь и столкнулся лицом к лицу с французом в черной одежде.

— Я — русский подданный, — сказал Тургенев. — Кто осмеливается задерживать меня и ставить часовых у двери? Мне даже не вручен ордер об аресте.

На другом конце коридора показалась плачущая Мерси и старуха — содержательница пансиона. Человек в черной одежде, с короткой тростью в руках сказал:

— Сударь, это никакого отношения не имеет к вам. Но я, как гражданский комиссар, должен был осмотреть все комнаты. Пустите меня на одну минуту и предъявите ваши документы.

— Я могу предъявить вам документы в коридоре, но даю вам честное слово, что не имею ни малейшего желания видеть вас в своей комнате.

— Однако вам придется это сделать, — сказал комиссар. — Государственный преступник, которого мы ищем,

мог совершенно легко спрятаться в вашей комнате в ваше отсутствие.

Госпожа Мерси всплеснула руками.

— Гражданин комиссар,— воскликнула она,— клянусь вам, все мои жильцы—люди самые добропорядочные, среди них нет ни преступников, ни аристократов, ни изменников, ни шпионов... Я, конечно, не знаю этого русского господина, платит он исправно, но зачем он живет в Париже, и действительно ли он русский—я не знаю.

Комиссар был уже в комнате Тургенева. Молоденький офицер с ним вместе осматривал комнату. Рослый жандарм просматривал паспорт и сертификаты Тургенева. В коридоре слышался шепот:

— Понимаешь ли, если губернатор послал супрефекта, то, значит, серьезный преступник.

— Так вы действительно русский?—спросил молодой офицер.—У вас нет ни одной русской книги, а я очень люблю русские книги.

— Кого вы ищете?—спросил Тургенев.

Человек в черном, оказавшийся супрефектом Парижа, не ответил. Он спросил только жандарма:

— Сколько комнат в пансионе?

— Восемнадцать,—ответил молодой офицер.

— Все ли ты осмотрел?—спросил супрефект.

— Вот эта, и еще осталась комната хозяйки.

Супрефект обратился к Тургеневу:

— Скажите, не встречали ли вы здесь господина маркиза Шанфлёри?

Тургенев отрицательно покачал головой.

— Однако именно вас вчера видели одновременно с ним выходящим из двери.

— Не знаю никакого Шанфлёри,—ответил Тургенев.—Вчера выходил я из дверей совершенно один.

— Тем не менее он шел вслед за вами до самого Тюильрийского сада.

Тургенев презрительно пожал плечами.

— За мною шел проживающий здесь торговец Лобо и больше никто.

— Очень прошу извинить меня, но потрудитесь не выходить из комнаты до конца обыска.

Пошли в комнату хозяйки. Послышались крики: «Лобо! Лобо—мясник в Дижоне. Он ставит мясо на армию и в настоящее время уехал из Парижа. Клянусь вам, господин комиссар!»

— Ну, хотя бы посмотреть на этого Лобо,—возражал супрефект.

— Конечно, он будет очень рад,—отвечала госпожа Мерси.— Как только приедет, он не преминет пойти к господину супрефекту.

— Для порядка все-таки осмотрим вашу комнату,—спокойно проскрипел, как старые часы, супрефект.

Старуха спокойно открыла комнату и заявила:

— Пожалуйста, господин супрефект. Я сейчас вскипачу кофе. Не угодно ли вам ликеров? Есть прекрасный мартелевский коньяк.

— Благодарю, я спешу,—ответил супрефект.— Пройдемте,—обратился он к офицеру и двум жандармам.

Облокотясь на притолоку и закрыв лицо руками, мадемуазель Мерси плакала навзрыд.

— Святая дева,—причитала она,—можно ли причинять столько горя мирным гражданам! Где это видано, чтобы по ночам держали в осаде с целой армией маленький пансион? И это храбрые французы, и это войска!

Вдруг она перестала плакать. Из гардероба госпожи Мерси вытащили в белом ночном костюме маркиза Шанфлёри. Он шел, упираясь, требуя неприкосновенности, а супрефект спокойным голосом говорил ему:

— Пожалуйста, господин Лобо, пожалуйста сюда!

Схваченного привели в комнату Тургенева.

— Вы не знаете этого человека? —спросил супрефект.

— Я знаю случайно, что его фамилия Лобо.

— Господин Лобо,—заявил супрефект,—вам уже не придется торговать французским пушечным мясом. Одевайтесь-ка, ваше сиятельство, и идите с нами.

Потом, указывая большим пальцем на Тургенева через плечо, он сказал:

— Обыскать иностранца!

Тургенев с возмущением отступил на несколько шагов. Офицер приступил к обыску. Через минуту супрефект вернулся. Тургенев заявил ему:

— Завтра же господин русский посланник будет знать о нанесенном мне оскорблении.

Супрефект скосил глаза, не отрываясь смотрел на ночной столик у кровати Тургенева. Красная звезда из граната горела под лучами бледного утреннего парижского солнца.

Круто повернувшись, супрефект остановил офицера и сказал:

— Извините, что мои помощники погорячились. Если потребуется, я завтра приеду с официальным визитом извиниться от имени губернатора. Но, право же, это чистое недоразумение. Бестолковые ребята ввели меня в заблуждение вашим знакомством с этим шпионом.

Оставив смутное чувство в душе Тургенева, супрефект почтительно, даже униженно поклонился, часовой сделал на караул, офицер, вскидывая рукой под самую треуголку, позванивая шпорами, вышел из комнаты. По коридору, гремя прикладами, уходили солдаты, уводя с собой разоблаченного маркиза. Мадемуазель Мерси, ломая руки, плакала на весь пансион:

— Проклятые, проклятые, что они сделают с бедным стариком!

Не раздеваясь, Тургенев заснул. Он спал глубоким, почти непробудным сном и был очень недоволен, когда синьор Пио тряс его обеими руками за плечи. Ученик и учитель пили кофе. Тургенев усваивал быстро, переспрашивая учителя по-французски.

Итальянский урок прошел хорошо. После урока решил непременно идти в префектуру. Там категорически отрицали ночное происшествие.

«Что же это? — сказал себе Тургенев. — Старого маркиза выкрали, как в сказке, неизвестные воры, или это мне привиделось? Я много курил, но ничего не пил. Фантастические сновидения со мной редки».

В этих размышлениях он дошел почти машинально до русского посольства. Огромная коляска стояла у подъезда. Роскошные ливреи, лакированный черный ландолет говорили о том, что кто-то есть в посольстве из сановных гостей. Но оказалось иначе. Куракин выезжал во дворец. Николай Тургенев носом к носу столкнулся с русским посланником. Тот посмотрел на него щурясь, натягивая перчатку и гремя по лестнице своими раззолоченными дипломатическими доспехами. Потом узнал в изящно одетом молодом человеке Николая Тургенева, махнул на него перчаткой совсем перед носом и спросил на ходу:

— Ко мне?.. Некогда, голубчик, некогда. Придешь в шесть часов. Прямо приходи на квартиру. Тут такие дела делаются...

И проскочил мимо Тургенева вместе с долговязым бритым молодым человеком с лошадиным лицом.

Николай Тургенев чувствовал себя затерянным в огромном городе. Ночное происшествие выросло даже в его холодном уме до размеров какого-то кошмара. Он нервно курил сигаретки одну за другой, помахивал тростью, едва не цепляя прохожих, и в такт собственной походке говорил:

— Домой! домой! Куда же? В Геттинген.

На слове «Геттинген» прихрамывал короткой ногой и, когда волновался, прихрамывал все больше и больше. В спокойном состоянии он научился маскировать хромоту, она была почти незаметна.

«Однако *primo*¹ — Геттинген не дом. Неужели я настолько космополит, что изменю отечеству? *Secondo*² — какой же я масон, если я не дождусь приказанного приема в ложу». Эта мысль его охладила. Он шел уже более спокойно. До шести вечера читал извещения об успехах физики. Некий Гальвани открыл животное электричество. Профессор Вольта его опровергал и рассказывал об электричестве совершенно другое. Между учеными шла перебранка. Молодой Кювье публиковал опыты Ботанического сада.

«Вот куда нужно пойти», — вдруг вздумал Тургенев. Прогулка в Ботанический сад не отняла много времени. При самом выходе из сада увидел он сходящего с подножки экипажа высокого человека в зеленом рединготе, с острым носом и кольцевидными завитками волос. Он держал шляпу в руке. Рядом с ним — человека среднего роста в короткой шапочке, с горбатым носом и губами, опущенными вниз. Тургенев сразу узнал их.

«Но как судьба соединила христианского поэта и первого натуралиста Франции Шатобриана и руководителя опытов Ботанического сада Жоржа Кювье?»

Наспех пообедав в первой попавшейся ресторации, Тургенев поспешил в русское посольство.

Куракин, одетый по-домашнему, но еще в белых атласных туфлях с помпонами и белых чулках, ходил между камином и столом, широко размахивая руками. Перед ним стояли двое неизвестных Тургеневу людей. Куракин кричал по-французски:

— Он меня скандализировал, он меня скандализировал!..

¹ Первое (*ит.*).

² Второе (*ит.*).

Вошедший Тургенев поклонился. Куракин совершенно не обратил на него внимания и продолжал покашливать.

— Так во время торжественного приема заявить полномочному императорскому министру, князю Куракину, как заявил он во всеуслышание,—невозможно. Об этом завтра будут писать и говорить: *C'est la scapule*¹,—добавил Куракин. Потом, внезапно обращаясь к Тургеневу, Куракин произнес:—Представь себе, голубчик,—и потом, переходя на русский язык,—нонче собрался весь дипломатический корпус, и его величество, император французов, заявляет мне: «Я, говорит, не такой дурак,—так прямо и сказал,—чтобы думать, будто вас так занимает Ольденбург...» Ты понимаешь, Тургенев, что сестру Александра I—ольденбургскую княгиню,—выселить вот этак в одни сутки и сделать из Ольденбурга тридцать второй департамент Французской империи—это ведь не шутка! Так вот он считает, что царю не на что тут обижаться. «Я, говорит, ясно вижу, что тут дело в Польше, я, говорит, начинаю верить, что вы сами на нее зарите. Так, говорит, знаешь, Куракин, ежели прусские войска вот тут в Париже, на Монмартре, поставили бы артиллерию, так я и тогда не уступлю России ни пяди Варшавского герцогства».

Наливая в серебряные стопки ай и скидывая кончиком мизинца вафлю с золотой этажерочки, Куракин говорил:

— Тут дело, конечно, не в том. На него нажимают французские купцы. Им обидно, что Сперанский обложил французские товары высоким тарифом, а еще обиднее, что мы, по его мнению, продолжаем торговлю с Англией. Он мне же один раз сказал: «Нечего делать из меня дурака, уверяя, что существуют американские корабли, корабли, приходящие в Балтийский порт,—это не американские, а английские корабли». А я что могу сделать? Разве отсюда уследишь, разве против австрийского флага поднимешь пушки? Черт их там разберет!

— А вы как думаете,—спросил неизвестный Тургеневу немец,—дерзнет ли этот замечательный император на войну с Россией?

— На твой вопрос отвечу,—сказал Куракин,—с пол-

¹ Это низость (фр.).

ной откровенностью. Не дерзнет, но видимость войны покажет.

— А ежели не только видимость? — спросил неотвязный немец.

— Ну, друг,—вдруг оживившись, ответил Куракин по-французски,—ты меня принимаешь за всеведущего Иегову. Откуда, батюшка, я знаю? Могу сказать, что первый раз этак я себя чувствовал *en entrant aux antichambres de Chaim—second fils de Noë*¹.

Собеседники вытаращили глаза, смотрели на Куракина не без ужаса. Слова русского посланника были невероятной дерзостью. Воспользовавшись наступившим молчанием, Тургенев начал довольно сбивчиво излагать историю позапрошлой ночи. Куракин слушал сначала внимательно, но стоило только Тургеневу произнести фамилию Шанфлёрри, как Куракин замахал руками и сказал:

— Ну тебя, батюшка, пошел ты со своей *guet-apens*², никаких твоих маркизов не знаю и знать не желаю. А что у тебя грозились обыском, так на это обижаться нечего.

— Как?.. Что?.. — спрашивал Тургенев. Ему показалось, что он спит и видит сон. Русский посланник отказался от своего долга.

Не промолвив ни слова, сидел он как убитый на диване, пока Куракин по-прежнему расхаживал и маленькими, аккуратными глотками попивал шампанское. По-английски, не прощаясь, Тургенев ушел. Газовые фонари — замечательная новинка Парижа — освещали дом русского посольства. Тургенев прошел на Итальянский бульвар. Шампанское кипело в крови, голова была горячая. Над Парижем угасало зеленоватое небо. Деревья вырезались на фоне этого зеленого неба черными силуэтами, и лишь ближайшие ветки фантастически зеленели под газовыми рожками, было очень сладко переводить глаза от серебристых и розовых облачков, таявших где-то высоко, в зеленоватом небе, сюда вниз, к ослепительным газовым фонарям, освещавшим темный канал бульвара, замкнувшийся в купах зелени, свисавшей с обеих сторон. Бульвар кишел народом. Шляпы и трости, жакеты с буфами и модные страусовые перья, трости с набалдашниками, длинные цепочки от часов из жилетного кармана,

¹ Входя в прихожую Хама — второго сына Ноя (фр.).

² Западней, ловушкой (фр.).

молодые и старые лица, веселые и беспокойные, счастливые и сумрачно нахмуренные, пробежали мимо Тургенева, словно смена калейдоскопских картин перед удивленным провинциалом. Однако Тургенев не был провинциалом. У него было молодое студенческое изумление двадцатидвухлетнего юноши, сдержанного и сдерживающего обаятельный разгул своих чувств, свое бесконечное любопытство к жизни, свои широкие мысли, умеющие приводить в порядок эти бесшабашно бегущие, случайные картины жизни. Студенчество и молодость кипели в жилах Тургенева. В этот час, после неприятного разговора у Куракина, он стремился наверстать чувства и мысли, брошенные по ложному пути.

«Я сам виноват,— думал он.— Разве можно надеяться на кого-нибудь, кроме себя, хотя, конечно, человеческое «я», упирающееся в эгоистический интерес, ровно ничего не стоит».

Он помахивал тростью с легкостью *petit-maître*'а¹. «Разве позволить сегодня себе наглость?» — спросил самого себя Тургенев, и, разрешив себе эту наглость, он сделал непозволительную вещь: снял шляпу и пошел по бульвару без головного убора. Пройдя половину Итальянского бульвара, он вдруг, повинувшись безотчетному стремлению, присел на скамейку, и мигом рядом с ним присела лоретка. Черные, яркие глаза осматривали Тургенева с головы до ног. Белые зубы, ровные, сверкающие, обнажались с каждой улыбкой. Еще минута, и она готова была заговорить. Рассеянный взгляд Тургенева остановился на ней случайно. Он вдруг понял все. Вынул десятифранковый билет («Неимоверная щедрость!» — подумал он) и протянул его сидевшей с ним женщине. У нее загорелись глаза. Она быстро сунула билет за корсаж и привстала, взглядом и жестом приглашая Тургенева следовать за ней.

«Ноги налиты свинцом,— думал Тургенев.— Как мне быть?..»

Он просто отрицательно покачивал головой. Тогда лоретка вынула десятифранковый билет и сказала, суя бумажку в глаза Тургеневу:

— Ты зачем это дал? Ты думаешь, что я попрошайка-нищая?

— Черт возьми! — выругался Тургенев по-русски.

¹ Франта, щеголя (фр.).

— Ты — русский? — внезапно спросила лоретка. — С вами скоро будет война, — сказала она отчетливо, резко и грубо.

Тургенев молчал, а она продолжала:

— Вот твои деньги, вот, — и перед самым носом Тургенева рвала десятифранковый билет, кидая клочки банковской бумаги прямо в лицо молодому человеку.

Тургенев вскочил. Слова проститутки о войне, ее обиженность за то, что десять франков дали ей, «лишь бы отстала», потрясли его глубоко. Он почувствовал какой-то прилив внезапной симпатии к этой черноглазой девушке, но опять вспомнил старое данное себе обещание «сохранить свой пыл до времени». «До какого времени? — думал Тургенев. — Не дурак ли я в самом деле? В этой девушке — пылкость и раздражительность, все это, как я слышал, сулит много опытному любовнику».

Он молча протянул руку девушке и, почти насильно усаживая ее на скамейку, сказал:

— Глупо рвать деньги! Я сегодня болен, а плачу за следующий раз. Приходи сюда ровно через неделю.

— Так бы и сказал, — ответила девушка. — Я не нищая, я еще не дошла до последней степени. А теперь кто же мне отдаст мои десять франков?

Тургенев снова достал второй билет и вручил его девушке. Та попросила его взглянуть, который час.

— Только еще десять с половиной. Вполне можешь рассчитывать, дорогой (как тебя зовут, я не знаю)... Ах, Nicolas, — продолжала она в ответ на шепот Тургенева, — в десять с половиной, ровно через неделю, я приду к этой скамейке. Как хорошо, что рано. Меня еще не успевают замучить до полусмерти к этому часу.

Она потрепала Тургенева по щеке. Он пожал ее руку, и они расстались. Прихрамывая, пешком пришел он на улицу Ришелье, с удивлением заметил с тротуара, что его комната в пансионе Мерси кем-то занята. Был свет почти во всем этаже. Прошла минута, пока отпирали на стук дверного молотка. Потом дверь открылась, и он вошел к себе. Никаких признаков освещения не оставалось. Тургенев трогал себя за уши и за лоб. Ему казалось, что он грезит. Однако действительно никого в комнате не было.

«Неужели куракинское шампанское такое крепкое?» — подумал он, и вторично, не разуваясь и не раздеваясь, едва успев скинуть сюртук, он повалился на непостланный диван и заснул крепким сном.

Наступило утро. Постучался в дверь неизвестный человек. Вошел. Черный, с длинной черной пушистой и мягкой бородой, с оливковым цветом лица, с черными, вернее даже с аметистово-синими, большими и грустными глазами. Вошел и в дверях прямо сделал знак. Мгновенное чувство предубеждения исчезло в Тургеневе. Знак говорил: нужно принять этого человека как старшего. Сели. Стали пить кофе. Упорно отказывается вошедший называть фамилию. «Богдан-молдаванец» — и больше ничего.

— Может быть, молдаванин — так будет правильнее? — спрашивает Тургенев.

Кивает головой — отрицает. Выпивает третью чашку кофе. И наконец говорит:

— В субботу тридцать первого августа, перед самым заходом солнца, будешь принят в здешнюю ложу. Гляди в окно, я кивну и провожу.

Потом просто встал, попрощался и ушел так же, как и пришел. Тургенев теперь знал, до какого числа он пробудет в Париже. Чувство внезапной радости его охватило. Опять жизнь широкой волной вливалась в душу. Ветер, поднимающий листья в аллеях Тюильрийского сада, вполне гармонировал с вихрем в голове, с разбросом мыслей, похожих на листву опавших деревьев.

Приходил и уходил итальянский учитель. После него Тургенев обедал. Потом сел в пассажирский мальпост и в шесть часов вечера приехал в Версаль. Это было двадцать шестого августа 1811 года. Было объявлено народное гулянье.

В семь часов вечера забили версальские фонтаны. Тысячи ручейков, струй, миллионы брызг ожили под розовыми лучами заходящего солнца. По аллее, где пять минут тому назад были сухие бассейны, вспыхнули хрустальные огни фонтанов. Золотистая пыль пронизывала воздух. Косые красноватые лучи негреющего солнца освещали вечеряющий Версаль. Прошло еще пятнадцать минут, и ожили, зажурчали все воды Версаля. Нимфы и тритоны поплыли. Французские русалки утонули в воде наполненных бассейнов. Крестьянин, стоявший на перекрестке двух аллей, говорил:

— А пожалуй, стоило три дня не пить воду, чтобы увидеть сегодняшний Версаль! Хорошо, что эдакие развлечения делаются для народа!

Тургенев хотел заговорить, но щелканье бича, клики и появление экипажа его остановили. Желтолицый маленький человек, с высокой женщиной, разряженной пышно, взглянул острым и пронзительным взглядом на Тургенева из коляски. Короткий мундир. Белые атласные туфли. Белые чулки, белый жилет и белые панталоны. Белые страусовые перья на треуголке. Все белое. Синий мундир—цвет Парижа и красная звезда—орден Почетного легиона. Все называло этого человека. Публика кричала: «Да здравствует император!»

— Это вечерняя прогулка императора,—промолвил крестьянин, смотря на Тургенева с некоторым презрением.

Тургенев замолк, не успев произнести начала фразы. С готовым вопросом он обратился к случайному прохожему:

— Где дорога в Трианон?

Пойдя в указанном направлении, дошел до иллюминированного сада и пробыл в Трианоне, слушая, как крестьянки из-под Парижа пересыпались остротами с приехавшими из города на прогулку девушками. С наступлением ночи пустился в обратный путь. В экипаже были четыре пассажира. Все четверо были парижскими ремесленниками, все четверо были навеселе, остряли, кричали, перекликались со встречными, те подхватывали, и Тургенев, мало-помалу привыкая к спутникам, хохотал до упаду. Не было пешехода, не было тележки, которых пропустили бы мимо эти четверо веселящихся и смеющихся людей. У Версальской заставы хохот сделался всеобщим. Вошел таможенник, осмотрел карету и, глянув наверх, спросил:

— Нет ли чего-нибудь на крыше?

— Как же, как же,—ответили ремесленники,—там стог сена.

— А может быть, там овес, чтобы кормить вас, милостивый государь,—парировал насмешку старый досмотрщик.

— Мы не в родстве с вами,—ответили ремесленники.

— А почему же на ваш смех откликаются лошади?—спросил тот.

— Они радуются, узнавая в вас родственника,—ответили те.

Опять всеобщий хохот. Карета тронулась. Тургенев

думал о том, какая разница между характерами во Франции и в Германии. «Сколько бы швернутов вызвали такие остроты в Германии, а здесь все считают своей обязанностью ответить еще острее, но не обижая». Дальше его мысли перешли к суждению о внутренних таможах. Он еще не проверил на фактах, но само по себе учение Адама Смита казалось ему правильным. «Не есть ли свобода торговли успех развития государства?» — думал он. В Париже простился со своими друзьями. Дома, засыпая, видел Геттинген как родное гнездо; кассельские и ганноверские водопады казались в тысячу раз лучше фонтанов Версаля и Трианона. Наутро вспомнил только ремесленников. Умение отдаться беззаботной веселости поразило его во французском простолюдине. Ему стало стыдно своих меланхолических размышлений. Он не понимал, как, будучи так хорошо принят жизнью, он не умел ценить жизнь как простой и ясный факт. Студенческие мысли и студенческие настроения восторжествовали. Кончив утром с занятиями, он теперь изо дня в день проводил за пределами Парижа, уезжал в Сен-Жермен, скитаясь по лесам и рощам. Он просто с наслаждением вдыхал воздух чужой страны, стараясь как можно скорее прогнать усталость геттингенской учебы и все сентиментальные свои настроения прежних лет. В одной из таких прогулок он вдруг понял, что меланхолические и сентиментальные думы были в нем чем-то подражательным, были простым заимствованием у Карамзина и Мерзлякова, были батюшкины манеры сентиментальной меланхолии в жизни.

Неожиданно получил письмо. Старый Штейн извещал, что его скитания кончаются, что он долго не увидит родины, что вместо нелегальной поездки в Россию он получает возможность открытого проживания при дворе Александра I. Письмо кончалось сообщением, что молдаванец Богдан передаст словесные поручения Тургеневу.

В субботу тридцать первого августа, в два часа ночи (1811 г.) Тургенев писал: «Нынче день удачный. Зашел я на почту, получил там письмо от Сергея. Получивши оное, я спешил в Каво, взял полчашки кофе и ел виноград, читал письмо от брата и ожидал идти... *После обеда был принят в ложу.* Об этом не пишу. Вот минуты, каковые я давно не имел, вот что сделало меня веселым!»

Несколько дней приготовлений. Наступает сентябрь — время уезжать из Парижа.

Тринадцатого сентября Николай Тургенев пошел в посольство. Еще перед этим видел Куракина в иллюминированном саду сидящим на скамейке в аллее. Русскому посланнику не хотелось быть узнанным, Николаю Тургеневу не хотелось прерывать интересного разговора. Дело шло о том, что математика и военные науки стали первенствующими во Франции. Политехническая школа имени математика Эйлера выпускала французских инженеров. Молодые буржуа, отличившиеся в науках, перебивали дорогу избалованным дворянчикам. Тургенев оживленно беседовал со спутником о значении математических наук, «иссушающих душу».

— Бонапарт силен именно тем, — говорил Тургенев, — что он откидывает в сторону все предрассуждения и идет прямыми путями, уничтожая идеи на своем пути и порождая новые, необходимые его веку.

Так и теперь, идя в посольство за паспортом для дальнейших поездок, уж совсем по другим причинам не хотел Тургенев видаться с Куракиным. Однако увильнуть не удалось. Секретарь русского посольства Дивов прямо заявил Тургеневу:

— Князь желает вас видеть.

Пришлось идти. Куракин хоть и сидел без дела, — второй секретарь Колоколов стоял перед ним молча, — однако не сразу отозвался на приветствие Тургенева. Лишь немного спустя, оторвавшись от своего раздумья, Куракин произнес:

— Послушай, ты можешь сделать мне очень большое одолжение.

Молодой человек с готовностью поклонился. Князь вышел. Через минуту вернулся с серебряным дорожным несессером, раскрыл его на столе перед Тургеневым и, вынимая бритву, оправленную в слоновую кость, протянул с любезнейшим поклоном молодому человеку. Тургенев с удивлением смотрел на русского посланника.

— Будь другом, — сказал Куракин и, слегка опуская голову на плечо, жалостно добавил: — сбрей усы!

Тургенев, смущенный, ответил, что он ни разу еще не брился.

— А все-таки лучше обрейся. Только усы — бакены можешь оставить, — умоляюще произносил русский посланник.

— Хочу ехать в Италию, ваше сиятельство,—сказал Тургенев, принимая элегантно отделанную французскую бритву,—а там, кажется, модно носить усы.

— Ошибаешься, голубчик, ошибаешься,—сказал Куракин. Затем поспешно сел за стол и на маленьких бланках с гербом и цветной монограммой написал Тургеневу четыре рекомендательных письма. Формальности были выполнены быстро.

Через неделю Тургенев ехал, думая: «Я спешу не в Швейцарию и не в Италию, но через Швейцарию и Италию в Россию». Заплатив восемьдесят четыре франка за место в открытом кабриолете, закутался получше, так как был ветер, и пустился на лошадях в дальнюю дорогу, в южные страны Европы.

Глава семнадцатая

Все итальянское путешествие проходило в какой-то странной меланхолии, овладевавшей Николаем Тургеневым до такой степени, что он впадал в совершенное отчаяние. Чувства противоречивые наполняли его душу. Его тяготило общество и пугало одиночество. Он стремился в Россию, чтобы увидеть своих, и в то же время боялся и ненавидел эту страну. В борьбе этих странных чувств он машинально осматривал Италию, почти не останавливаясь подолгу ни в одном месте. Чтобы победить самого себя, он затеял продолжительные, большие пешие прогулки, после которых мог засыпать спокойно, но под утро снился Геттинген как родина, и тянуло туда обратно. Просыпаясь, осуждал себя за то, что забыл свое настоящее отечество. Тридцать первого декабря 1811 года приехал он в Неаполь и с удивлением заметил, что этот волнующийся, кричащий и бегающий город был причиной значительного облегчения его тягости. Даже выезжать из Неаполя шестого января было трудно. Рим прошел незамеченным. Флоренция тоже. И чем дальше к северу, тем больше возникало в Тургеневе ему самому странное чувство *любопытства к России*. Ловил себя на мыслях и, как сам выражался, прожектах: «Удалиться в Геттинген, жениться там на какой-нибудь Аделаиде и проводить дни и годы в мире и тишине». Потом садился вечером в гостинице или в комнате, где путешественники ожидают эльвагена, и, раскрыв большую зеленую тетрадь с дневником, перечитывая вслух, смеялся над самим

собою. Старший брат Александр, заместивший отца, вызывал иногда в нем досаду: деньги приходили поздно, а впрочем, и другая была причина, ловил себя на мысли, что брат Александр все-таки старший. Потом опять смеялся над собою: «Неужели я еще мальчишка?»

В таком растерянном и противоречивом состоянии приехал в Вену.

Утром четырнадцатого февраля вписал три строчки в дневник, уложил его на дно чемодана и выехал из Вены. Насупился. Замолчал. До самой Москвы не раскрывал тетради. Спутником был до границы князь Петр Борисович Козловский — насмешник и скептик, одинаково с Тургеневым ненавидевший русское рабство, но смеявшийся над его ребячливою надеждою переменить рабский строй русского государства.

Только шестого марта 1812 года, через три недели после приезда в Москву, начал он приходить в себя. Оцепенение, овладевшее им дорогой в «отечество», было похоже на состояние человека, потерявшего чувство боли в сугробе и засыпающего под снегом. Россию и Москву он принял как сон, от которого нельзя проснуться. В этом холодном человеке, с таким большим запасом воли, словно не осталось никаких сил для того, чтобы скинуть с себя этот сон. Студенческие годы в Геттингене казались явью, прекрасной действительностью. Россия — от границы до Москвы — и Москва воспринимались только как сон и болезненное состояние. Это ощущение было настолько сильно, что оно покрывало собою даже логический ход мыслей, оно врывалось в дневное расписание, оно определяло собою планы и предположения. Планы и предположения строились в покорности, так как все ощущение говорило, что это ведь только сон, и когда наступит пробуждение, то с этой минуты уже прекратится то проклятое «все равно», которым сейчас Николай Тургенев отзывается на Москву и Россию. Была одна обязанность, которая выполнялась машинально и как долг, не терпящий отлагательства. Это — начатая в Геттингене работа «Опыт теории налогов». Вставал рано. Изредка виделся с братом Александром. Сергей с матерью были в Симбирске. С неудовольствием ловил себя на мысли, что их отсутствие ему приятно. С удивлением ловил себя на мысли, что к брату Александру перестал питать нежные чувства, которыми был полон в Геттингене. Утратилась душевная гибкость. Все линии воли

выпрямились и одеревенели. Все русские впечатления сплошь были оскорбительными. После утренней прогулки садился за стол и не разгибаясь сидел до вечера. В первую же неделю почувствовал себя плохо. Купил верховую лошадь и, невзирая на погоду, ежедневно два часа ездил по хорошевым дорогам и в Серебряном Бору. Молодой жеребец был упрям, и борьба с ним была затруднительна. Это доставляло Тургеневу удовольствие. Он озлобленно стискивал бока лошади шенкелями, бил шпорой и собирал повод.

Предпоследняя глава книги «О налогах» была написана. Тогда развернул шелковое покрывало, достал геттингенские дневники, открыл свободную страницу венского дневника и записал:

«6 марта. Вот уже три недели, как я здесь, и по сию пору не опомнился. Многое показывается мне здесь в таком виде, в каковом князь Козловский представлял мне дорогою. Незначащие лица, на которых видна печать рабства, грубость, пьянство,—все уже успело заставить сердце обливаться кровию и желать возвращения в чужие края. Непросвещение высших классов также действовало на произведение последнего желания. Суровая зима показалась мне совсем не таковою, как я представлял ее, будучи в Геттингене и Неаполе. Она подлинно убийственна. Служба—а! Я рад некоторым образом, что во мне родилось теперь чувство почти совершенно равнодушия ко всем выгодам оной. Это *почти* исчезнет тогда, когда я на опыте увижу, что полезным быть нельзя. Теперь я также заметил, что у нас мало вреда происходит от малого выбора, делаемого правительством при вручении чиновникам должностей: на что там выбирать, где не из чего, по крайней мере обыкновенно, выбирать? Единственный род службы, который был бы хотя несколько сходен с моими желаниями, есть в Коллегии иностранных дел. И оттуда я должен выходить! От финансов, то есть от службы по сей части, отбило всю охоту, как скоро я прочел *План...*»

— Сёма, Сёма, дай перо!

Крепостной мальчуган вбежал в комнату.

— Вот видишь, что ты наделал,—сказал Тургенев,—который день не чинено перо!

Четырнадцатилетний Семен в светло-голубом фраке и в валенках (сочетание странное, которое возможно было

только в отсутствие Катерины Семеновны!) без всякого испуга через плечо Тургенева посмотрел в рукопись и громко прочел:

— «Я прочел план, я прочел план, я прочел план».

Тургенев локтем отстранил подбородок Семена и сказал:

— Послушай, четвертое перо меняю, и все не очинены, а все потому, что барыни нет, да?

— Нет, Николай Иванович, ей-богу нет, совсем не потому,—и быстро принялся чинить перья.

Семка ушел. Тургенев подошел к окну. Зеленоватые тяжелые зимние сумерки, несмотря на март месяц, с дымом и морозом расстилались перед окнами.

«До чего грязна Москва,—думал Тургенев.—Но что касается кляксы от неочиненного гусиного пера, то, право же, она своевременна». Посмотрел в дневник. Слово «план» написано прописными буквами. «Пора бросить глупости, пора вспомнить, что я в царской самодержавной России»,—с этими словами внезапно упал на кресло. В мозг ударила молния, задрожали руки и ноги, ослепило глаза. Об этом *плане* говорить невозможно. С неимоверною остротою завихрились мысли и перенесли зрение в шахту «Доротея». Черные угольные ходы, душные коридоры, а там необычайно яркий свет и слова лучших людей мира о том, что сквозь черный угольный ход без страха нужно идти к вечному свету, но что этот вечный свет есть истинное блаженство. «Какое? Вечное. Для кого? Не для тебя и не для тех, кого ты любишь. Жуткое чувство...»

«Так вот в чем дело,—подумал Тургенев,—символ вечного света овладел моей волей, и единственно, что я знаю, это то, что я никогда не сверну с дороги, что я не выйду из повиновения, что я вольный каменщик, но я должен так же точно знать, что все мои надежды, связанные с отечеством, не сбылись. Обещано мне было точно определить каждый шаг моего поведения, и если сейчас я не могу этого сделать и в силу этого в России бездействую, обращаясь только к занятиям научным, то буду надеяться, что в будущем дорога моя прояснится».

Вздрыгнул, словно в лихорадке попал на мороз. Трижды постучались в дверь. Вдруг вспомнился Париж, девица Мерси и арест какого-то маркиза. Стук повторился. Скинул с себя тяготу лихорадочного бреда, спросил по-французски: «Кто там?!» По-русски услышал ответ:

— Николай, это я.

Вошел Александр Иванович.

«Лучше было бы какой-нибудь полицейский»,— подумал Тургенев. Давно тяготился мыслью о том, что рано или поздно предстоит объяснение. Приехав из-за границы, уже застал в доме главного хозяина—брата Александра, но говорить с ним по душам не хотелось.

«Ведь четыре года прошло,—думал Тургенев,—все переменилось, и то, что знаю я, никакого отношения не имеет к узам родства».

Александр Иванович вошел веселый и улыбающийся. Он нес в руках, словно псаломщик евангелие, толстую книгу в кожаном переплете и весело, живыми глазами глядя на Николая, говорил:

— Скажи, пожалуйста, как бы ты отнесся, ежели б мы в Коровине—Тургеневе устроили ткаческую фабрику? Вот смотри, что досужий человек Левшин пишет.

Александр Тургенев положил перед ним книжку Д. В. Левшина «Русский полный фабрикант и мануфактурист» и добавил:

— Он призывает русское дворянство к делу развития индустрии. Что на это скажешь?

— Что мне сказать вам, дорогой брат? Вы—здесь хозяин и глава семьи. Делайте как хотите. Меня смущают только волнения посессионных рабочих в двенадцати волостях Пермской губернии. Это ведь все-таки государственный крестьянин, однако же простой перевод их на положение фабричных вызвал такие шкандалы. Что будет дальше, если мы крепостных будем посылать на фабрики в порядке оброка?

— Ты вечно во всем сомневаешься,—ответил Александр Иванович.—Мы совершенно по-разному смотрим на европейские дела, а ты от меня затаился.

— Я отвечу вам на все ваши вопросы, Александр Иванович,—спокойно сказал Николай Тургенев.

Старший брат сел. За ним и Николай опустился на маленький стул около кресла у письменного стола.

— Николай, я хотел поговорить с тобой серьезно!—внушительно беря быка за рога, произнес Александр Тургенев.

Николай сидел желтый, как лимон, смотря позеленевшими зрачками на брата и удерживая губы от брезгливой гримасы. (Впрочем, он сам не понимал, что с ним происходит.)

Александр Иванович продолжал:

— Ты был во Франции—это нехорошо! Ты был в Италии—это еще хуже! Я слышал о том, что там какие-то шахтеры, какие-то угольщики-карбонарии, как их зовут итальянцы, затеяли какие-то страшные перевороты, ломающие вселенную. Властью старшего брата и опекуна я требую, чтобы это было все оставлено. Никаких шахт, никаких угольщиков! Ты—исконный дворянин, и дворянство не позже шестой книги должно уцелеть в Европе. Довольно с нас бонапартизма!..

Николай вздрогнул. Вскочил.

— Я, кажется, не давал повода, братец...

— Я, конечно, не обвиняю тебя прямо в приверженности к этому дьяволу, но согласишься сам, что вести себя так неблагоразумно. Ведь есть Бонапарт и бонапартизм. Быть может, этот маленький офицер, ставший императором, и сам не знает, кто направляет его волю.

— Будьте уверены, дорогой брат, что его волю направляет третье сословие.

— Тем хуже,—сказал Александр Иванович.—Нам давно известно, что такое невежественное купечество.

— В той же мере, в какой мне известно, что такое невежественное дворянство.

— Я сам от этого страдаю,—сказал Александр Тургенев.

— Если страдаете, надо действовать,—сказал Николай Иванович.

— Что ж ты посоветуешь?—спросил Александр.—Якобинство?

— Нет, не якобинство, не кровь, не топор, не казни. Весь семнадцатый век мы имели то, что во Франции разразилось столетием позже, мы имели Разиных и Пугачевых—довольно с нас этого! Я считаю в последний раз необходимым воззвание к разуму дворянства.

— Да, но для этого необходимо не запирается в четырех стенах, а действительно взывать к первейшим людям своего сословия. Да что там говорить,—продолжал Александр Тургенев,—я тебе прямо скажу. Внизу сейчас сидят лучшие люди России, даже те, кои во мнениях расходятся. Назову тебе—Николая Михайловича Карамзина, старого моряка Шишкова и твоего любимца Василья Львовича Пушкина... Кстати скажу тебе: в прошлом годе отвез я его племянника в новообразованный Царскосельский лицей. Ну, я тебе скажу, мальчишка!

По дороге забил меня вопросами. Директор его принял и сказал: «Хлопот будет много. Даром, что зовут его так же, как вас, Александр».

— Александр Пушкин?

— Дело не в том, а сойдешь ли ты — меланхолик — вниз или нет? Вот что меня интересует.

— Очень ли это необходимо? — спросил Николай Тургенев. — Если спрашиваете как брат, нет к тому моей охоты, но если по закону приказываете... (пожал плечами) должен сойти, хотя знаете что, Александр Иванович... (опустился в кресло, освобожденное братом) трудно мне. Я еще диссертацию не кончил, и каждые сутки на счету.

— Диссертация твоя для заграницы, а нонче что Китай, что Геттинген — расстояние одинаковое.

— О-чень жаль, — злобно сказал Николай Тургенев и молча последовал за братом.

Вошли через разные двери, Александр Иванович немного раньше, Николай Тургенев позже — в другую дверь.

На столе, покрытом белоснежной скатертью, стояло необозримое для глаз количество бутылок; раки, холодная телятина, ветчина и салаты всевозможных сортов чередовались со всевозможными холмами каких-то неопределенных блюд. Дым стоял столбом. Чубуки висели на стенах и торчали в руках некоторых гостей, отошедших в сторону и куривших английский опийный табак через пемзовые мундштуки. В середине стола стоял Василий Львович. Когда вошел Тургенев, он кричал:

Знакомка новая, обняв меня рукою,
«Дружок, — сказала мне, — повеселись со мною;
Ты добрый человек, мне твой приятен вид,
И, верно, девушке не сделаешь обид.
Не бойся ничего: живу я на отчете,
И скажет вся Москва, что я лиха в работе».
Проклятая! стыжусь, как падох, слаб ваш друг!
Свет в черепке погас, и близок был сундук...

Николай Тургенев вошел и спокойно занял место в углу стола. Василий Львович продолжал:

Но что за шум? Кричат! Несется вон, в светлицу,
Прелестница моя, накинув исподницу,
От страха босиком по лестнице бежит;
Я вслед за ней. Весь дом колеблется, дрожит.

О ужас! Мой сосед, могучею рукою
К стене прижав дьячка, тузит купца другою;
Панкратьевна в крови: подсвечники летят,
И стулья на полу ногами вверх лежат.

Тяжелые черепаховые очки. Голубые глаза. Склеротические складки около носа. Приключение в каком-то притоне, где-то за заставой, описанное легкими, вольными, быстрыми стихами.

Слова: «Я лиха в работе» врезались в воображение Николая Тургенева. Вольтерьянец, человек свободных мыслей, член общества «Арзамас», еще недавно, какие-нибудь пять лет тому назад, лежавший под шубою в огромной зале тургеневского дома на Маросейке, московский шутник Василий Львович Пушкин был предметом соболезнования такого же, как он, арзамасца Василия Андреевича Жуковского. Накрытый тяжелой медвежьей шубой, четыре года тому назад Василий Львович Пушкин был принят в это содружество молодых беспечных дворян. Жуковский произносил над ним, покрытым медвежьей шубой, надгробную речь, после которой Василий Львович должен был встать и осушить огромный кубок смешанных вин...

Этот самый Василий Львович нонче читает похабную повесть с некою б... где-то в окраинных домах Москвы, и все ему рукоплещут.

Николай Тургенев наклоняется к Жуковскому и спрашивает:

— Василий Андреевич, в чем тут дела?

— Шуба—шуба, повествует о своих похождениях. Знаешь, Коленька, старику пора бы и на покой. Вот! Вотрушка! Вот так его опять!—выкликивал подвыпивший Жуковский арзамасские прозвища Василия Львовича Пушкина.

— Одначе мужчинам только свойственно столь безобразное возбуждение,—говорит Тургенев.—Да и какой же он старик? Ему сорока пяти еще нет, это просто любострастие состарило Пушкина!

— Знаешь, Коленька,—говорил Жуковский, положив голову на правое плечо Тургеневу,—тебе легко говорить, ты—целомудренник, воздержанник, ты—сплошная аскетика, а старенькому Васе Пушкину это трудно. Уж ты ему прости...

Василий Львович, вытирая вспотевший лоб, кончает, кивая в сторону адмирала Шишкова: «Блажен...

С кем не встречается опасный мой сосед;
Кто любит и шутить, но только не во вред;
Кто иногда стихи от скуки сочиняет
И над рецензией Славянской засыпает».

Романтический поэт Жуковский гладит правую щеку Тургенева. Напротив сидит адмирал Шишков в морском мундире и, не обращая внимания на антиславянский выпад Пушкина, продолжает говорить гнусавя:

— За матросов не могу поручиться. Вот супротив сидит человек, от которого все чего хочешь ожидать можно. Я императору подал «Рассуждение о любви к отечеству», но, друг, не поручусь, что любовь к отечеству...

На левом конце стола, к удивлению Николая Тургенева, оказались Волконский и Ростопчин. Оба, тыкая пальцами не столько в Шишкова, сколько в его опустевший бокал, кричали:

— Адмирал, уж ежели ты хочешь, то взгляды русского гражданина на положение российских фабрик требуют другого.

Вдруг Николай Михайлович Карамзин поднялся за столом, кожаное кресло шлепнулось спинкой об пол, и закричал:

— Геттингенский студент! Да здравствует чувствительность! Да здравствует любовь к отечеству и народная гордость! Да здравствует дворянство и да погибнет наглое разночинство!

В ответ раздались рукоплескания. Поднялся старик с бакенбардами, с завитыми волосами, в синем сюртуке с воротником, доходившим до затылка. Николай Тургенев посмотрел пристально: «Опять Василий Львович Пушкин...»

— Неужто ему рукоплещут? — спросил неизвестный сосед.

Нет, рукоплескали Николаю Михайловичу Карамзину. С адмиралом Шишковым — защитником древних правил российской словесности — Николай Михайлович на ножах, но он за русский слог, он за обновление языка, за новые правила в поэзии. В жизни, конечно, все должно остаться по старинке. По мнению Николая Михайловича, эскимос блаженство испытывает в северных снегах и, будучи противу воли перенесен в знойную Тавриду, будет тоску испытывать без своего ледяного жилища.

Человек любит места, в коих родился, в коих все чувствительному сердцу напоминает блаженство младенчества и надежды юности.

«Однако ж почему я это не испытываю? — подумал Тургенев. — Прохладное отечество единственно внушает мне стремление к енотовой шубе».

Карамзин продолжал:

— Ясно, конечно, что никакая гражданственность французская не заменит русскому пейзазину отеческих попечений благонамеренного помещика. Господин, поставленный ему самим богом вместо отца, есть истинный благодетель селян, и только бесчувствие сердца может побудить людей лишить крестьянство, как детей отеческого надзора, доброго ока благомысленного хозяина.

Шишков одобрительно кивал головой, уже не сожалея, что поручение министра привело его в стан недругов.

— Мысли здравы, а язык у тебя не русской, — сказал он Карамзину. — Помни, что даже безбожный Вольтер не посягнул на александринский стих и правила французской речи!

«Однако, — думал Николай Тургенев, — странное сегодня у нас на Маросейке сборище. Оно, конечно, весело за столом послушать вольные стишки старого Пушкина, но что-то уж очень тяжело говорит Карамзин».

Шишков трясущимися руками открыл устрицу, надавил лимонную корочку и брызнул кислым соком. Тонкая струйка потекла у него по подбородку. Губы шевелились, язык с белым налетом высывался, как у ребенка. С трудом и громко проглотил он устрицу и снова глотнул шампанское.

— А ты, Николай Михайлович, должен был без обиняков царю сказать, кто есть истинный враг государства. Отечество наше не таково, чтобы разночинцы сочиняли законы. Что есть Россия? Купечество невежественно, крестьяне суть дети, это правильно ты сказал, а, иначе, вместо дворянства к первейшим должностям в государстве подпускают людей без роду и без племени. Гляди на этого Михайлу Сперанского. Нонче — первейший министр. Одиннадцатого февраля учредил правила о дворянском налоге. Да разве это русский человек, чтобы первейшее сословие государства так теснить?

— Александр Семенович, я вашему превосходительству не перечу, но думаю, что и без меня дело обойдется. Сперанского песенка спета, он — изменник, и не сносить ему головы.

Все переглянулись.

— Что вы сказать хотите? — спросил Александр Иванович.

— Поживи и увидишь, — ответил Карамзин. — Дело быстрое, двух недель не пройдет.

Николай Тургенев почувствовал духоту, тихо и бесшумно встал и вышел из комнаты. Перед тем как подняться на лестницу, он остановился и прислушался: в маленькой комнате, под лестницей, слышалось тихое, заунывное пение. Николай Тургенев открыл дверь. Марфуша, лежа на постели и бросая вязальными спицами искры по комнате, напевала заунывную песню. При виде Николая Тургенева она быстро натянула одеяло до подбородка и уставила на него испуганные черные глаза.

— Ты что — больна, Марфа? — спросил Тургенев.

— Нет, барин, ноне здорова, а было очень плохо. Только тоска осталась.

— О чем же тоскуешь, коли здорова? — спросил Тургенев.

— Дочурку свою жалко — померла.

— А я не знал, что ты замужем, — сказал Николай Тургенев.

— Ох, уж и не говорите, Николай Иванович, а пуще Катерине Семеновне не говорите. Как ушла с мельницы самовольно, дворецкий хотел меня в Симбирск отправить, и там бы мне конец. Спасибо, Александр Иванович отстояли. А девочку мне жаль.

— Ну, хочешь, Марфуша, поговорю с братом, чтобы твоего обидчика наказали.

Марфа вдруг с диким ужасом вскочила на постели, сорочка соскочила с плеча, испуганная красавица всплеснула руками и умоляюще смотрела на Николая Тургенева.

— Что вы, барин, какой же Александр Иванович обидчик, нешто он может меня обидеть. Только надоела я ему, я сама виновата.

Покраснев до корня волос, Николай Тургенев отворил дверь и медленно поднялся по лестнице.

Прошло две недели. В Царском Селе в кабинете Александра I происходил короткий разговор, все более и

более отрывистыми фразами сыпал царь. Тщетно его прерывал Сперанский.

Вернувшись в Петербург, Сперанский получил пакет с предписанием выехать немедленно в Нижний Новгород и там ждать императорского указа. Кибитка с жандармом, не давшим даже собраться, приняла его в свою темноту. Не глядя на вечернее время, на ночь, Сперанский выехал. Карамзин оказался прав.

Глава восемнадцатая

В самом начале мая, уже к тому времени твердо решившись начать борьбу с рабовладельческой Россией, Николай Тургенев выехал из Москвы и седьмого числа был в Петербурге. «Опыт теории налогов» был началом этой борьбы. В этом финансово-экономическом исследовании молодому Тургеневу хотелось показать, до какой степени губельна крепостная система для всех сторон государства. Получил назначение в Комиссию по составлению законов. Четырнадцатого мая писал в дневнике:

«Час от часу более удостаюрюсь, что мне надобно оставить отечество, которое так люблю и для которого так бы охотно всем пожертвовал бы; но тьма препон, невозможность с моей стороны быть полезным заставляють более и более знакомиться с мыслью разлуки. Написал брату просьбу выслать в Петербург геттингенские тетради».

Александр Иванович приехал сам. Зашел к брату на полчаса. Семен привез тючок с тетрадями. Александр Иванович, укоризненно качая головой, говорит:

— Дорого стоила твоя затея — груз тяжелый.

Николай Иванович нахмурился и ничего не ответил, подумав: «Вижу, ты малым детушкам не родной отец». Скупость брата давала себя чувствовать. На месте прежней откровенности в отношении их стояла ледяная стена, и уже ничто не могло ее устранить.

Молодой дворянин, вернувшийся из западных краев, во многих возбуждал любопытство. По странному противоречию в наиболее мрачные дни румянец играл на щеках Тургенева, глаза блестели, улыбка холодная и слегка насмешливая казалась обязательной и играла на тонких губах. Все это был блеск молодости, нисколько не отвечавший мрачности внутренних настроений Николая

Тургенева. Он неохотно шел на новые знакомства, он не был падок на впечатления. Кроме того, был недостаток, обращавший на него внимание в те роковые минуты светской жизни, которые состоят в движении от двери гостиной к креслу хозяйки: блистательная красота лица и слишком заметное прихрамывание. Гости смотрят не на лицо, а на ногу. Молодые женщины и девушки думают: «Он не может танцевать». Все это окрашивает последующий час пребывания в свете. Но гораздо того сильнее было ощущение другого контраста: Германия, Франция, Швейцария и Италия давали впечатление большой старинной культуры. Из этой культуры вырастали, как плоды на огромном дереве, мысли лучших учителей Геттингена, из них росли на полках европейских библиотек прекраснейшие творения человеческого ума. Здесь, в Петербурге, и в Москве все поражало дикой грубостью. Дворянин, обладающий всем, кроме ума и образования, чиновник, живущий лишь мелкими малоблагородными побуждениями, своекорыстие властей, доходящее до бесстыдства,— все это чувствовалось Тургеневым с невероятной остротой. Минутами, возвращаясь к себе на Морскую и оставаясь один, Тургенев чувствовал, что задыхается в атмосфере мелких дел и фальшивых людей. Одних он не любил, других он сожалел как жертву.

Двадцать пятого мая записывал в дневнике: «Мысль о несчастном состоянии большей части людей в России, которая не выходит из моей головы, много действует на образ мой мыслить и многое заставляет презирать. Хорошо, что я хоть презираю подлинно достойное презрения каждого, хотящего размышлять».

Стояло чудесное петербургское лето. Бледно-голубое небо отражалось в каналах. Сфинксы с золотыми крыльями встречали прохожих на мостах через каналы. Дворцы, церковные шпили с ангелами на крестах четко рисовались в ясном и синем воздухе. Нева была спокойна как зеркало. Молодая, незапыленная зелень кидала прозрачную тень на дорожки. Не ветер, а какое-то прохладное дыхание с легким шелестом несло по аллеям петербургских садов. Зеленые и золотые солнечные блики перебегали при этом по мрамору статуй. Резвились дети по аллеям Летнего сада. Облачко лежало тенью по огромному простору Марсова поля. Корабли-гиганты, оснащенные белоснежным парусом, неподвижно стояли у гранитных стен Невы. Чайки садились на мачты, и

солнце золотило реи. Страшно тянуло вдаль при виде этих кораблей.

Николай Тургенев сторговался с вольным ямщиком и поехал в Царское Село. Через несколько часов он сошел около лица и спросил старого дядьку в мундире и, несмотря на июнь месяц, в валенках, где живет профессор Куницын.

— А вот они сами,—прошамкал тот и указал на круг около фонтана, где на низкой каменной скамье сидел человек с острыми чертами лица, большим лбом и волосами, откинутыми назад. Узнал Тургенева по походке. Бросил шляпу на скамейку, побежал и обнял. Куницын с жадностью расспрашивал о Геттингене.

— Сумеем ли мы,—говорил он,—внушить к нашему лицу такую же любовь, какую мы сами питаем к Геттингену. К счастью, здесь мы преподаем свободно и даже, кажется, слишком. Молодежь, особенно стихотворцы, вроде вон того, курчавого,—Куницын указал рукою на белокурого мальчика с толстыми губами,—племянника твоего приятеля—Василия Пушкина, беду наделать могут своими стишками. С того дня, как кончилась карьера Сперанского, каждый новый день приносит перемену. Император уже не мечтает быть республиканским царем, уже и о конституции думать перестали. Аракчеев ведет линию на голое тиранство, и неизвестно, что будет завтра. А крестьян, даже государственных, то есть как будто защищенных от произвола помещиков, как скот перегоняют с места на место. Сколько народу недавно полегло при переселении крестьян новгородских и вологодских на Урал в распоряжение горнозаводчика Яковлева. Настоящие были сражения с окопами и редутами, с правильным ведением войны.

— Падение Сперанского и его казнь,—говорил Тургенев,—которая страшнее смерти, делает мало чести виновникам его возвышения и падения. Во всем этом деле нет ни осторожности, ни порядка.

— А я слышал,—сказал Куницын,—о шумном твоём успехе, уверяют, что ты прямой заместитель Сперанского.

Тургенев вздрогнул и нахмурился.

— Не собираю молву о себе,—сказал он.—И единственно из тревоги спрашиваю: что ты слышал?

— Да ведь ты третьего дня был на приеме у министра?

— Был. И вышел *rempli d'indignation*¹,—сказал Тургенев, переходя на французский язык, так как позади скамейки появился тот же дядька,—исполненный презрения в отношении к тем, которые там рассуждали, и с горячим сожалением ко всей огромной массе населения, на которую распространяется влияние министров. Мне жаль миллионов людей. Чувствую тоску в сердце и стремление отдать за них все силы. Но все дело в том, что внутреннее управление государства в большом беспорядке и всего более заметен беспорядок в Петербурге.

Куницын посмотрел на Тургенева исподлобья, помолчал и затем произнес:

— Ты словно отравленный, не узнаю в тебе прежнего Тургенева. Тебе надо принять участие в больших делах, иначе твои силы без применения сожгут тебя самого. Бери дела, соответственные твоему кругозору, и немедленно принимайся за деятельность, иначе будет тебе очень плохо.

— Я это знаю,—сказал Тургенев,—но ты знаешь мой характер. Выбрав, я не должен отступать. Ложный шаг заведет меня очень далеко. Поправить будет невозможно. Я не боюсь за себя, но я боюсь, что избранный путь ошибочен. И тогда я отвечаю перед братьями по духу, перед всем орденом за израсходование себя не по назначению. Ответственность нравственная тяжка. Вот почему мои колебания и моя скука: я—человек и потому томлюсь.

— Царь тебя не призывал?

— Александр сейчас в Вильне. Его приняли тамошние масоны, и не знаю, что из этого выйдет.

— Возможна ли война с Францией?—спросил Куницын.

— Она неизбежна и может вспыхнуть в любую минуту.

Куницын встал. Крупные капли пота падали у него со лба. Казалось, он изнемогал под тяжестью какой-то страшной мысли. Тургенев продолжал:

— В нашем Геттингене я при размышлениях о войне с Францией питал детскую уверенность в победоносности войны, теперь я думаю как раз обратное.

С Куницыным вместе приехали в Петербург. Николай Тургенев застал на столе московскую почту. Полное

¹ Полный негодования (*фр.*).

смятения письмо брата Александра. Младший брат уехал уже два месяца. Почта бездействовала, и последнее письмо из Симбирска было в марте. Сергей уехал почти тайком учиться в Геттинген по примеру братьев. «Что с ним теперь, с этим неблагоприятным мальчиком? Если уж идти по стопам братьев, то прежде всего необходимо обзавестись их осторожностью и благоразумием».

— Нашли время, когда посылать мальчишку! — вдруг переходя от осторожности к благоразумию, закричал Николай Тургенев, скомкал письмо и хотел его разорвать. Толстая синяя бумага не поддавалась. На пальцах и ладонях образовались красные рубцы.

На холме, недалеко от берега Немана, в черном польском плаще, с подозрною трубою в руках ходил у костра невысокий офицер. Поодаль стояли генералы, среди них высокий, стройный, блестяще декорированный понтонер Эблэ. Изредка, принимая короткие сообщения солдат, приезжавших на взмыленных лошадях, Эблэ подходил к офицеру в польском плаще и, вскидывая руку под кивер, докладывал коротко и отрывисто. Это было двадцать третье июня 1812 года. Наполеон в польском плаще сам руководил работами понтонеров. В два часа французские инженеры навели три моста, и непрерывным потоком после этого в течение трех суток по этим понтонам шли четыреста тысяч людей, стучали копытами лошади, и гремели тысячи орудий, вдавливая колесами утлые понтоны, и гремя выкатывались на восьмерках лошадей по хрящу каменистого литовского берега. Так начался Великий северный поход. Эта армия быстро захватила западные города и с молниеносной быстротой шла к Москве. Москвичи не верили в то, что столица будет сдана. После Бородинской битвы, после совета в Филях дело определилось. Но задолго до того московская знать учуяла недоброе. Могилевские, витебские и минские помещики семьями в старинных дормезах и поодиночке в зимних кибитках двигались на север. Они сначала наводнили Москву своим скарбом, своей польской речью, своим украинским говором, скользившим на поверхности общерусской дворянской речи. Они-то и посеяли неуверенность в робких сердцах. Они рассказывали, как французские якобинцы из армии Наполеона раскидывают листовки крестьянам и заявляют по дерев-

ням, что настало время освободиться от помещичьей власти. Помещики рассказывали, что крестьяне совершают порубки помещичьих лесов, что правильное лесное хозяйство Платеров сильно пострадало оттого, что сажёный, редкий и холёный лес сводят и рубят для нужд военных и крестьянских одновременно. Этот Наполеон — сущий якобинец: он всюду несёт за собою заразу бунта и яд революции.

Слыша это, москвичи с испугом загружали сундуки, готовили возы и, оставляя «верных» людей в старинных дворцах, уезжали в дальние деревенские усадьбы.

Но вот Наполеон в Москве. Ростопчин затевает пожар. Москва горит, и бедный Николай Тургенев не выходит из панического состояния, бродя по пустынным улицам северной столицы.

— Две головы российской державы, две орлиные головы двуглавого орла — Москва и Петербург, — говорил адъютант Новосильцева. — Одна уцелела и другой поможет.

— Великий тактик и стратег Витгенштейн отрезал Бонапарту дорогу на Петербург, — говорил сам Новосильцев.

Бродя по печальным улицам со щемящей тоской в сердце, Николай Тургенев чувствовал, что попал в какую-то морщину времени и что нужно собрать все силы для того, чтобы не растерять надежд. Петербург его холодил, но и успокаивал, хотя при мысли о том, что нельзя вот завтра, как прежде, сесть в почтовую кибитку и ехать в Москву, он испытывал состояние, похожее на чувство инвалида, в первые дни забывающего, что ему отрезали ногу.

Почта совершенно расстроилась. У державы выели сердцевину, и вместо двенадцати почтовых трактов, скрестившихся в Москве, бойко бежали тройки, одиночки и гуськи вдоль замерзшей Волги, по Шелони, по Ловати, по северным рекам и повыше Твери выезжали на старую, укатанную петербургскую дорогу. Там полосатые верстовые столбы с черным двуглавым орлом, покосившиеся и старые, говорили об императорском тракте, о «большой дороге к Северной Пальмире великой и могучей России». Ямщики, крутя кнутом над головою, свистали и пели многоверстные унылые песни. Фельдъегери с застывшими глазами, в башлыках и тулупах, мчались с казенными пакетами, которые «дороже человеческой жизни».

«Грустная эта Россия»,—думал Тургенев и завернул на Фонтанную. Там в небольшом кружке друзей расхаживал перед камином и грелся Николай Михайлович Карамзин; размахивая руками, он рассказывал о своих впечатлениях от Нижнего Новгорода.

— Греюсь, батюшка, греюсь,—сказал он Тургеневу.— Нынче только приехал из Нижнего—это и каторга, и ссылка, и эмиграция—все что хочешь! Томился я там безделием и застывал в конуре, как собака. Подумай только, вся богатая Москва там—Римские-Корсаковы, Апраксины, Бибиковы, там два старика Пушкиных—Алексей и Василий, там Малиновский, Бантыш-Каменский и Муравьев, там Батюшков, там Дружинин со своим англичанином, двумя гувернантками и шестью собаками. У Архаровых «роуты» не хуже московских, но квартал нетути; леса кругом, а дров мало. Город хороший, от Коромысловой башни за Волгу верст пятьдесят видно. Но город маленький, и всех москвичей не поместить.

— А как Василий Львович?—спросил Тургенев.

— Василий Львович пиитствует, но живет в мужицкой избе, ходит по морозу без шубы, изо дня в день на чужом рубле. Ходит с покрасневшим носом между телег и отпускает французские каламбуры. Я уж ему говорю: «Ты бы от этого наречия поостерегся», а он, как нарочно, у Архаровых ни слова по-русски не скажет. Московские франты и красавицы толпятся на площади перед собором, между телег и жалких извозчичьих колясок, поминая Тверской бульвар почти что со слезами. Шутка сказать, по какой непролазной грязи приходится устраивать променады. У Архаровых Василий и Алексей Пушкины едва не передрались: начались разговоры о псовой охоте, перешли на Кутузова. Любовь к отечеству у всех на устах пылала. Красавицы прыгали во французских кадрилях до обморока, а Василий Львович, тыча пальцем в своего всегдашнего врага Алексея Михайловича Пушкина и рассказывая сам о своих потерях книг, экипажей и всего состояния, упрекал Алексея в том, что для него мало разницы—утеряна Москва или не потеряна, что-де Алексей на Тверской да на Никитской играл в бостон да в вист, а в Нижнем уж тысяч до восьми выиграл. Ему мало разницы! Только кричать в Нижнем стал больше да курить табаку стал вдвое больше прежнего. На то ему Алексей давал литераторскую отповедь: «Ты, говорит,

дражайший однофамилец, слова по-русски сказать не умеешь, а я считаю, что российская словесность куда преизряднее французской». Опять начались споры. Василий Львович сел на своего конька и стал доказывать преимущество французской словесности, а чтоб уязвить Алексея, читал по общей просьбе свое обращение к нижегородцам:

Веселья, счастья дни златые,
Как быстрый вихрь, промчались вы.
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов,
Примите нас, мы все родные.
Мы дети матушки Москвы.

Прочтя эти стихи, Карамзин вдруг сам расчувствовался, вынул платок, смахнул слезу. Сел в кресло и произнес: — Грустно на сердце. Тоска томит и гложет.— И прозрачные, спокойные слезы ручьем полились у него по щекам. Голова его держалась спокойно. Он словно показывал свою чувствительность. Правильные черты лица нарушались только слегка опущенными углами губ, и хинная горечь улыбки отравляла самоуслаждение этих слез.

Петр Андреевич Вяземский, потягивая дымок из длинного чубука, проговорил:

— Ну, ну, довольно, расчувствовался. Побыл бы хоть пять минут в этом аду крошечном, и плакать и тосковать перестал бы.

Тургенев попросил Вяземского рассказать об этом «крошечном аде». Вяземский спокойно, привычной речью, плавно, закругленно и красиво рассказывал о Бородинской битве, где он был чуть ли не единственным штатским человеком, приехавшим верхом, в шляпе, в панталонах со штрипками и в сером рединготе. Под ним была убита лошадь, и он стал пешком ходить от батареи к батарее, ничего не понимая и не будучи в силах разобраться, где русские, где французы. Ярче всего ему запомнился эпизод, когда молодой Щербатский приехал непосредственно из главной квартиры к Багратиону, чтобы прямо попасть на линию огня. Багратион посмотрел ему на грудь и сказал:

— Ты штабной?

— Так точно, ваше сиятельство!

— Прислан для награды?

— Так точно, ваше сиятельство!

— Знаем мы,—заворчал Багратион.— Какая твоя очередная?

— Станислав второй степени.

Багратион вынул книжку, написал несколько строк, вручил Щербатскому и сказал:

— Получай! Налево кругом—марш и чтоб духу твоего здесь не было!

Щербатский прочел представление к награде за немедленный отъезд с линии огня. По-детски обрадовался, сделал под козырек и удрал.

Тургенев нахмурился. Карамзин перестал плакать.

— Однако,—сказал Карамзин,—поступок не дворянский. Тоже и Багратион твой хорош! Поговаривают, что уж недолго осталось Наполеону быть в Москве, что Москва сильно погорела, но толком узнать ничего нельзя.

Вошла старушка Талызина, предложила всем сидевшим чаю и сказала:

— Сейчас Мишенькин денщик пришел, Мишенька—племянник мой—Митропольский приехал из армии и прямо, как прописался у заставы, поведен был во дворец. Денщик пришел, а Мишеньки все нет. Подождем,—вероятно, важные вести.

И пока пили чай и разворачивали ломберные столы, готовясь играть, старушка нетерпеливо посматривала на часы. Ее ожидание увенчалось успехом гораздо раньше, чем она сама ожидала. Свеженький и опрятный офицер, позванивая шпорами и отряхая снег, появился в вестибюле. Старушка бросилась ему навстречу, и, скидывая шинель на руки денщику, Мишенька согнулся, чтобы поцеловать ручку у низенькой старушки тетки.

— Важные вести, тетушка,—сказал он по-французски.—Генерал Милорадович послал меня к главнокомандующему, а тот с депешами—сюда. Наполеон покидает Москву.

Все вскочили. Карамзин молитвенно поднял руки к небу. Вяземский перекрестился. Старушка плакала, не выпуская племянника из объятий и глядя его по голове.

— Тетушка, я с утра ничего не ел. Дайте же мне хоть выпить чаю,—заявил молодой курьер.

— Ах, что же я,—всполошилась Талызина и вышла из комнаты.

Присутствовавшие обступили Митропольского. Пользуясь общей суматохой, Тургенев, вышел и направился на

Литейный проспект в дом, где с двенадцатого июня 1812 года проживал уже совершенно легально опальный германский министр Генрих Фридрих Карл цум Штейн.

Тургенев был немедленно принят. Старик, высоко подняв брови, не без некоторой иронии смотрел на своего взволнованного посетителя, и так как Тургенев молчал, то он спокойно произнес первый:

— Ну, что же, дорогой геттингенец, наш общий друг не выдержал московского холода.

— Вам уже известно? — спросил Тургенев.

— Да, мне это известно с утра, — сказал Штейн. — Теперь все зависит от того, хватит ли у этого «умного умника» военного такта, чтобы избрать подходящий обратный путь. Если он пойдет на Украину, то долго придется с ним возиться. Будем надеяться, что не он будет выбирать дорогу. Если он пойдет на Смоленск, то потеряет армию и попадет в плен. Живя в Петербурге, вы представить себе не можете, что представляет собою полоса в три тысячи ярдов шириною, по которой шли его войска. Это мертвая, безлюдная пустыня. Только бы в ослеплении он выбрал эту дорогу, остальное все сделает природа.

Тургенев склонил голову.

— Когда бы ни слушал я вас, дорогой барон, ваш гений меня всегда восхищает. Вы говорите, как самый блестящий мудрец Европы.

— А вы говорите совсем ненужные фразы, добрый друг. Но, во всяком случае, уверен, что вам скоро представится новый случай побывать в Европе, в Европе разумной, освобожденной от этого чудовища, которое украло человеческую свободу.

— Я был бы счастлив быть вашим спутником. Близок день, когда ваши права будут восстановлены.

— Вы будете моим спутником, — сказал Штейн и открыл стеклянный ящик с настоящими гаванскими сигарами. — Вот самое большое лишение, которое не могу простить я Наполеону. До войны ни один американский корабль не мог войти в Балтийский порт без того, чтобы не вызвать дипломатического скандала. Агентам Бонапарта всюду чудились английские товары.

Сидели молча и курили, пуская кольца голубоватого дыма. Огромная черная кошка с разными глазами зеленого и красного цвета поднялась на диване, выгнув спину, и стала потягиваться, царапая кожаную обшивку.

— Долой, Мефисто,—крикнул Штейн. Кошка прыгнула к нему на колени. Старик гладил пушистую спину, искры, потрескивая, вонзались в стальной перстень с Адамовой головой на безымянном пальце левой руки.— В четверг у меня соберутся вольные каменщики,—сказал Штейн.— Вам надлежит быть. Собрание секретное. Войдете с черного хода в семь часов вечера. Перед дверью наденете маску не для ритуала, а из уважения к императорской крови.

Тургенев слегка побледнел, быстро встал и простился.

Великий князь Константин Павлович в белой шелковой маске был всеми немедленно узнан. Не так легко всем остальным было узнать друг друга. Хуже всего, что не было Штейна. Наследник болтал без умолку. После песни «Все мы братья» он говорил только один, говорил о том, как успешно преследуют Наполеона, что близок день, когда русские войска вступят в Европу по следам его тающей армии, что всюду наперерез беглецу высланы разведывательные отряды, что царь задался целью перестроить Европу на началах религии и почтения к власти, что главным министром всех европейских провинций назначается барон Фридрих цум Штейн.

Ужинали, пили рейнские вина, потом снова пели и поздно разошлись, братски пожимая друг другу руки, делая вид, что никто никого не узнал.

Глава девятнадцатая

Деятельность Комиссии по составлению законов, загложшая после ссылки Сперанского, возгорелась благодаря энергии Тургенева. Дважды приехав в Зимний дворец, молодой докладчик входил в кабинет немножечко сухой и пыльный, с запыленной чернильницей, неубранными перьями и большими листами бумаги, на которых сохранились следы многочисленной пробы нового гусяного пера. За большим деревянным столом, покрытым картами со значками и карандашными отметками, сидел офицер с мелкими чертами лица, женственный, с белокурыми редкими волосами и мелкими колечками белобрысых бакенов, с голубыми, жидкими, словно аквамарин,

глазами, холодными под нахмуренными бровями, и с чарующей улыбкой тонких, далеко не мужественных губ. Он был занят. Приходилось долго ждать стоя. Потом он начинал говорить, не глядя на вошедшего, и наконец, вслушиваясь в звонкий, отчетливый и спокойный голос Николая Тургенева, словно ловя нотки успокаивающей мудрой деловитости, он, отдыхая, откидывался в кресле, закрывая на минуту глаза, и потом, медленно их открывая, смотрел на Николая Тургенева, спрашивал: «Как твоя фамилия?», рассеянно слушал ответ, брал огромное перо и писал со множеством колечек и виньетов: «Быть по сему. Александр».

— Какая твоя главная задача? — спросил он однажды Тургенева.

— Освобождение крестьян, ваше величество, — ответил Тургенев, глядя прямо и спокойно.

Морщина появилась между бровями Александра, а на губах заиграла пленительная улыбка. Александр вздохнул и сказал:

— И моя также.

В эту минуту, не забываемую для Тургенева, вдруг из-за портьеры, грузно шлепая по ковру, выступил генерал с оловянными глазами и сизым носом, в серой тужурочке, словно заштатный денщик из крепостных, и только овальный портрет Павла I с брильянтами, висевший на анненской петлице, под лацканом, указывал на то, что это значительная персона. Продев большой палец правой руки под тужурку и придерживая портрет ладонью, Аракчеев, не обращая никакого внимания на Тургенева, заговорил:

— Сжег Москву начисто, ваше величество! Так столицу растрепал, что в пять лет не почишь. Прикажи, государь, министру финансов раскошелиться. — Потом, уставя глаза на Тургенева, продолжал: — Бестужева привезли. Ведь этакий христопродавец, Бонапарту предоставил секретные архивы и сам же признается, что французские бумагомараки писали пашквили и на твою, государь, династию, и на всю историю твоей державы.

— Что ж, Алексей Андреевич, — сказал Александр, — надо будет наполеоновские бумаги отбить. Я слышал, что под Красным великое множество штабных баулов досталось нам. Сколь помню, это тебе все ведать надлежит. А Бестужев зачем в Москве остался?

— Завтра допрошу, ваше величество. Полагаю, что

партикулярные были причины. А पुще всего виновато в том заграничное воспитание. Ну, на что Бестужеву, русскому дворянину, обучаться в Европах? — Аракчеев ехидно улыбнулся, глядя на Тургенева, и затем, разводя руками и как бы нечаянно указывая на Тургенева, добавил: — Одно якобинство разводить. Уж будет! Кончать пора!

На губах Александра по-прежнему играла, как солнце, пленительная улыбка.

Звезда Тургенева поднялась высоко. Русский царь вместе с союзными армиями вступил в Европу по следам Бонапарта, который, греясь у камина в Сен-Клу, говорил, к великой досаде парижан: «А все-таки здесь лучше, чем на московском морозе».

Ненавидимый Наполеоном Штейн был назначен министром всех владений, отвоеванных у Наполеона. Каждая страна посылала к нему в качестве представителя своего комиссара. Российским императорским комиссаром при Штейне был назначен Николай Иванович Тургенев за отменное знание законов, уважение гражданской справедливости и либеральный образ мыслей.

«15 октября (1813). Вот уже с неделю как собираюсь в свою дорогу. Барон Штейн сдержал свое слово, и я в полной мере радовался бы сей поездке, если бы не думал, что некоторым образом перебиваю теперешнее мое место, тем более что Сергей идет в военную службу.

Хотя я и весьма рад, что еду, в особенности когда воображение мое хотя несколько разгорячится; но не менее чувствую что-то неприятное, или, лучше сказать, неловкое; и в сем случае утешаюсь только мыслию, что предчувствия дурные часто меня обманывали.

Всего более беспокоит меня опасение быть совершенно лишним для Штейна. Теперь первый раз в жизни чувствую я в себе желание нравиться — в первый раз, *ибо я еще до сих пор не старался никому нравиться*. И потому боюсь теперь за успех».

Записал эти слова и пошел по Петербургу прощаться. Поздно вечером приехал к другу — Сергею Петровичу Трубецкому, поручику Семеновского полка. Сергей Трубецкой привстал, слегка накренившись, так как долго не мог оправиться после ранения, и, бросившись навстречу к другу, громко поздравил его с успехом. На голос мужа

вошла в комнату Екатерина Ивановна Трубецкая. Красивая француженка, голубоглазая и белокурая, так странно бывшая не под стать сухопарому и долговязому супругу. Мечтательный, безвольный Трубецкой как-то сразу ступшевался при появлении этой женщины. Екатерина Лаваль была и умнее его и крупнее характером.

«Единственный ее недостаток,—подумал Николай Тургенев,—это обожание Сергея. Она ему совершенно не подходит, равно как и он ей». За вечерним чаем втроем говорили о самой главной своей тайне. Члены одной и той же масонской организации, Трубецкой и Тургенев затевали большую реформу ложи. Они стремились превратить ее из маленького и стареющего дела в большую политическую конспирацию. Уже удались первые шаги. Возникло Общество русских рыцарей. Вместо прежних мистических отвлеченностей шли разговоры об освобождении крестьян и об установлении конституционного образа правления. Поручик и законовед во всем сходились в области политических вкусов. Екатерина Трубецкая считала дело обреченным на неуспех, и когда двое других друзей—ахтырский гусар Петр Яковлевич Чаадаев и самый младший из их компании восемнадцатилетний Кондратий Федорович Рылеев—говорили с Екатериной Ивановной в отсутствие ее супруга, то все трое соглашались, что вряд ли государь останется при прежнем курсе мнений, что вряд ли следует выступать открыто и явно, но что если дело и обречено на неуспех, то вести его все же надо для того, чтобы даже самый неуспех прозвучал как могучий колокол, способный разбудить страну.

Разговор, по обыкновению всех троих собеседников, велся спокойный и прикровенный так, чтобы слуги, преданные хозяевам, не оказались случайными предателями.

— Кондратий также едет за границу, получив производство,—сказал Тургенев,—но будет в действующей. Воображаю, как развезет его под конец конная артиллерия.

— Ничего, он человек молодой, и его еще не трепал снаряд, как меня. Пусть понюхает пороху,—заметил Трубецкой.

Тургенев посмотрел на свою укороченную ногу и ничего не ответил.

— Интересно, как скоро будете в Париже,—сказала Трубецкая.—Говорят, Бонапарту удались наборы.

— Все-таки армия его уже не та. Ведь у него каждая дивизия — проходные ворота. Раз до восьмидесяти обновлялся состав. Какая ж это военная семья! Да и обучать рекрутов ему некогда.

— Ну, все-таки еще подержится! Во всяком случае, раз уж мы вмешались в европейскую кашу, придется хлебать ее до конца, хоть и невесело это иногда бывает.

— Да,—сказал Трубецкой,—приходится вспомнить, не к ночи будь помянут, императора Павла. Так ведь и отрезал английскому посланнику: «Завидую, говорит, вашим успехам». Тот спрашивает: «Каким?» — «А таким, говорит, у вас Россия — хороший союзник, а у меня все — дрянь, вроде вас». Ясно, конечно, одно: что русским солдатам своими черепами придется платиться за австрийские и немецкие выгоды. Кстати, друг, бывал ли ты у Штейна в эти дни?

— А что? — спросил с неохотой Тургенев.

— Да так, передавали мне его разговор о том, что Россия должна идти своим путем, что дворянской молодежи совсем не нужно обучаться иностранным языкам и что даже иноземных книг ввозить не нужно.

Тургенев улыбнулся.

— Да, это одна из его странностей.

— Странность ли это? — сказал Трубецкой.

Екатерина Ивановна улыбнулась тонкой улыбкой и с расстановкой произнесла:

— Штейн — ледяной человек. Это не странность, Николай Иванович, а тонкий расчет. Вот посмотрите: пройдет немного времени, и немцы повернутся к нам спиной.

— Не думаю,—сказал Тургенев.— Это в вас говорит французская кровь.

Красавица улыбнулась.

— Если так, то она говорит все-таки правду. Во всяком случае, в моей французской крови больше искренности, чем в русском патриотизме немецкого барона. Царь его любит, но это тоже не говорит за него. Царь очень занят вопросом о том, что говорилось о нем, о его балах, о его шутках госпожой Сталь и господином Шатобрианом.

— Однако мне пора,—сказал Тургенев.

Разговор о Штейне стал его задевать.

— Надеюсь увидеться с вами, и скоро,—сказал Тургенев на пороге, протягивая руку Трубецкому и, обернув-

шись к Екатерине Ивановне, добавил, целуя ей руку,— в Париже, конечно, княгиня.

Лаваль рассмеялась и отошла к окну.

Холодный соленый ветер ударил Тургеневу в лицо. Он пошел на Васильевский остров. Усталый ванька плелся по другой стороне улицы на заморенной рыжей кляче. Тургенев его окликнул. Тот не отозвался. Лошадь свернула в переулок. Пришлось идти пешком. Пройдя добрые полчаса и чувствуя себя слегка продрогшим, он решил не ходить к приятелю Свечину — командиру лейб-гвардии Егерского полка. Повернул обратно, но потом почувствовал укоры совести и, не желая казаться малодушным в собственных глазах, решил вернуться к Свечину. У самого фонаря Жукова моста, в минуту этого колебания, поворачиваясь то вперед, то назад, поскользнулся и едва не был раздавлен наехавшим экипажем. Лошадь ударила копытом больную ногу. Кучер мгновенно остановил. Тургенев привстал на локте. Живые глаза молодого человека с оттопыренной губой, ярко освещенной под самым фонарем, с беспокойством смотрели на Тургенева. Правой рукой незнакомец помогал Тургеневу встать.

— Не повредило ли вам падение?

— Нет, кажется, только легкий ушиб, в котором я сам виноват. Я поскользнулся на повороте.

— Могу предложить вам место в экипаже,— сказал незнакомец.— Куда вас довезти?

— На угол около Старой гавани.

— Уж не к Свечину ли?— спросил тот.

— Вы угадали,— сказал Тургенев.— Откуда вы знаете этого доброго конного егеря?

— Знаю по дружбе с моим отцом,— сказал незнакомец.

Сели в экипаж. С минуту ехали молча.

— Однако кого же мне благодарить?

— Благодарить не за что,— ответил незнакомец,— а назваться могу: Петр Григорьевич Каховский.

Тургенев в свою очередь назвался.

— Вот как — неожиданность полнейшая! Это вас прочат в министры?

— Не слыхал об этом,— сказал Николай Иванович.

— Люди говорят,— отозвался Каховский.— За что купил, за то и продаю. Только, будете министром, попытайтесь узнать о судьбах народа нашего не по геттингенским

книжкам и не по Зимнему дворцу.—И вдруг, обернувшись к Тургеневу, сказал:—Вы простите, я, быть может, напрасно это говорю. Я знаю, что в немецких университетах воспитываются люди свободнее. Мы тут лишь из Плутарха, Тацита и Ливия берем пищу геройства, да и то в самом деле какими крохами! Вот я прожил в сожженной Москве с французами, книжек никаких не было, но школу прошел такую, какая вам в Геттингене не снилась. Наш университетский пансион был как раз таким местом, где остановились офицеры-республиканцы, участники террора, ставшие солдатами Бонапарта еще в те времена, когда тот был простым генералом. Подумайте, я родился в 1797 году. Мы уже теперь не увидим того, что видели они во Франции, но, быть может, увидим то же самое в России.

— Нехорошо быть этаким поспешным пророком,—сказал Тургенев.—Вам еще по-настоящему нет шестнадцати лет, а вы берете на себя слишком много.

— Мы и отдать можем очень много,—сказал Каховский.—Во всяком случае, этот опыт пережили мы не даром.

Подъехали к темному двору. Вышли. Пробрались по темной и грязной лестнице, едва не упав на кучу мусора.

— Грязно живет наше отечество,—сказал Каховский.—У родителя моего бывал в Петербурге каждый год—всегда столица была столицей. Приедешь на рождество, любишься чистотой после Москвы, а теперь, после нашествия Наполеона, все, кажется, позапустело, все позасорилось. Россия пожигает французские и русские трупы. Говорят, до полумиллиона пожгли да свыше двухсот тысяч лошадиных трупов. На сколько десятилетний зараза?

— Слушаю я вас,—заметил Тургенев,—и кажется вы мне почтенным старцем. Где огонь и веселость вашей молодости?

— Эх, Николай Иванович, удержу не знает моя молодость, но открытыми глазами смотрю себе под ноги.

Постучались. Свечин открыл. Обрадовался Тургеневу. Нахмурился при виде Каховского.

— Если б покойный твой батюшка знал, что ты будешь шлаться и загонять его лошадей, он бы этих рысаков кому-нибудь другому завещал. Где был с утра?

Каховский засмеялся и, указывая на Николая Ивановича Тургенева, сказал:

— Служа царю и отечеству, спасал будущего министра.

Но уже Свечин не слушал. Он наливал стакан чаю с ромом Тургеневу и говорил:

— Что делать с этой сволочью иезуитами? Остался я в Питере один-одинешенек с той поры, как католические попы вывернули наизнанку голову моей сестрице. У нас здесь отечество погибало, а она в Париже держала католический салон. Католические попы в рясах—это коршуны, а тайные иезуиты—это волки-оборотни, это страшные звери.

— Имеете какие-нибудь вести о Софии Петровне?—спросил Тургенев.

— Самые скверные,—сказал Свечин.—Ваш любимый Гете сказал: «Где за веру спор, там, как ветром сор, и любовь и дружба сметены». Еще они покажут себя, еще устроят государство в государстве.

— Не так страшен черт, как его малюют,—сказал Николай Тургенев.—Это ведь небольшой кружок полумных фанатиков.

— Хорош небольшой!—сказал Свечин, от жары доверху расстегивая сюртук.—Я поинтересовался этим делом. У них организация наподобие масонской, дисциплина наподобие военной и мертвая хватка, как у портового бандита. Там, где нужно,—по горлу чик! (Свечин показал жестом, как это делается)—и нет богатого наследника, а, смотришь, духовное завещание в пользу римской церкви. Вот посмотрите, все наши петербургские барыни в обход прямым наследникам завещают деньги и имения римскому папе.

— Вы бредите,—сказал Тургенев, отпивая чай глотками.—Лучше скажите, кто вам нравится—Гурьев с Румянцевым или Козодавлев?

— Я ведь помещик, а не фабрикант и к фабричному делу отношусь как к вредному. Я за Гурьева и за дешевый ввозной тариф. Считаю, что Государственный совет допустил большую ошибку, даже больше вам скажу. Какое ж у нас самодержавие, ежели царь не сможет остановить этого безумия. На хлеб налагают пошлину, а фабрикантам протезируют. Ничего хорошего из этой протекционной системы не вижу. Россия страна дворянская и земледельческая. Попробуйте, насадите фабрики—и все пойдет к черту.

— Однако,—сказал Тургенев,—вопреки вашей воле и

соображениям фабрики насаждать будут, да они сами вырастут, как грибы.

— Ну, тогда прощай наше дворянство,—сказал Свечин.—Эх, напиться, что ли?

Он налил себе половину стакана ромом.

— Отведайте-ка, Николай Иванович, девяносто шесть градусов!

— Чей?—спросил Тургенев.

— Шведский,—отвечал Свечин.—От самого Бернадота контрабанда.

— Не знал я, что вы с королями в дружбе!

— А что ж, неплохой народ,—сказал Свечин, пьянея.

— А, по-моему, короли — дрянь,—вдруг отозвался Каховский.— Чаю-то вы мне, Евграф Павлович, дадите?

— За королей не нужно б было тебе давать. Ты что, сегодня безрукий, что ли, что сам налить не можешь? Да, Николай Иванович, пропадает наше дворянство.

— Ну что, какие несообразности говорите,—возразил Николай Тургенев.—Сословие, в руках которого находятся все преимущества, и вдруг пропадает... Поработать кой над чем надо — и не пропадет. Сословие хорошее, только мужицкое рабство отменить нужно. Позорно это и для честного ума не переносно. Срамота это перед богом и перед людьми!

— Это вы с мужика хомут хотите снять?—спросил Свечин с ужасом.—Да знаете ли, что тогда будет? Тогда нам самим вилы-тройчатки в первом же амбаре в бок от спасенных вами мужиков.

Тургенев рассердился и, цепляя хромою ногой с шумом падающее кресло, заходил по комнате.

— Как вы, этакий умный человек, не понимаете своей же выгоды? Что может быть хуже рабства! От него и хамство, от него и пьянство, от него и бунты, повсюду бунты, дорогой мой, по всем губерниям непокойство. Перестаньте дурака ломать, пока вам не сломали шею. Я говорю о дворянской выгоде прежде всего. Крепостной труд на фабриках никуда не годится. Раб — поганое слово! Какого от раба сознания можете ждать? Любой заводчик с вольным рабочим за пояс заткнет наших дворян с крепостною фабрикой. Я уж о бесчеловечье не говорю, о скотском держании людей. Вчерашний день получил я безграмотное письмо. Был у меня в детстве приятель — крепостной мальчуган Василий. Матушка проиграла его в карты. Помещик Досекин выхлестнул ему

глаз. Был этот кривой человек бурлаком, стал беглым холопом, замешался в воровскую шайку, а третьего дни попал на съезжую и написал мне письмо. Просит его выручить. Пошел выручать, да поздно. Под семидесятым кнутом помер. Что это, батюшка Евграф Павлович, в какой стране это есть?! Обучать Европу собираемся, а своей дикости оставить не можем.

Каховский поднял кресло и смотрел на Тургенева злыми глазами.

— Вы что, молодой человек,—спросил Николай Тургенев, обернувшись к нему,—жалеете, что ваши кони меня не подмяли?

— Нет,—сказал Каховский,—я совсем о других материях держу мысли. Французы в Москве срамили мою родину так за это же самое, о чем вы говорите, что повторить невозможно.

Глава двадцатая

В пятницу двадцать четвертого октября 1813 года кучер с молотком и щипцами, кузнец в кожаном фартуке вошли к Тургеневу и сказали:

— Исправно, барин, можете на край света ехать.

— Хорошо ли смазал?—спросил Тургенев.

— Преотлично! Пусть только Федотка на каждой станции смотрит. Коляска новенькая и сделана на славу.

— Ладно, друзья, прощайте,—сказал Тургенев и заперся у себя в кабинете.

Раздумывал: «Лучше геттингенской жизни быть не могло. Буду ли снова чувствовать себя так же? Здесь, в Петербурге, невозможно, а в других местах России еще меньше. Вот поеду сейчас по Ковенской дороге. Опять один-одинешенек попаду в польские и литовские леса. Темный край! Бесконечные лесные дороги по пескам и болотам. Только полосатые столбы с двуглавыми орлами. Вот и все встречные. А куда еду? Что будет? Как повернутся события, ежели Наполеон с новой армией опять вторгнется в Россию?»

Карету устроил удобно. Выехать и прямо заснуть, полулежа, полусидя, спрятав ноги в полость и закутавшись шотландским пледом. «Новенький,—поглаживая рукой английский товар, думал Тургенев.—Сколько сразу английских товаров! Словно плотину прорвало. И старая

и новая гавани полны английскими кораблями. Мачты как лес». Посмотрел на часы. Осталось два часа. Стал читать дневник 1806 года. «А я тогда больше думал и нравлюсь себе больше тогдашний, чем нынешний. Любопытство тянет меня на Запад, но нет уверенности. Петербург — хорошая школа для опытности, но для опытности жить с людьми, а это — печальная опытность». Вдруг вспомнил, что Сергей теперь адъютант при командире гвардейского корпуса Воронцове. Потом резко упрекнул себя за полное отсутствие мыслей о старшем брате, и как раз, как нарочно, в эту минуту раздался стук в дверь. С чемоданом в руке, в шинели, в меховой шапке, с покрасневшим носом и красными веками, Александр Тургенев стоял на пороге, словно раздумывая, входить или нет.

Николай молчал, словно оцепенел. Александр Иванович отвел глаза и, улыбнувшись, сказал:

— Ну, что ж, провожать так провожать,— и стал раздеваться.

Охлаждение стесняло обоих братьев. Манеры Александра казались Николаю тираническими. Чувство это, безотчетное, досадное и неверное, расстраивало Николая гораздо больше, чем огорчало Александра. Переходя от темы к теме, Николай заговорил об иезуитах России.

— Подождем,— сказал Александр Тургенев,— у государя мистические настроения. Прямо не знает, куда ими швырнуться. Но, уверяю тебя, будет время, я своего добьюсь. Запретим им пребывание в Российской империи.

— Это было б хорошо,— сказал Николай Тургенев.— Но трудненько вам будет этого добиться.

— А ты не думай о трудности, когда начинаешь дело,— посоветовал Александр Иванович.

Прошел час. Сели друг против друга, подальше от печки. Поставили золотые стопки. Выпили прощальные бокалы шампанского, обнялись и поцеловались. Николай стал на колени. Александр надел ему ладанку — подарок матери.

— Матушка занята по хозяйству. Приехать не может. Сам же ты в Тургеневке затеял ткацкую фабрику. Ей сейчас не до поездок.

Перекрестились на иконы. Обнялись.

Во дворе ярко горели фонари у коляски.

— Провожу тебя до заставы,— сказал Александр.

— Ne vous derangez pas¹,—сказал ему Николай и прибавил по-русски: — Долгие проводы — лишние слезы. У заставы извозчика не найдете, а пешком возвращаться — опасно. На чужих кораблях завезли в Петербург шайку чужеземных душителее. Шнурками в секунду задушивают человека, обирают дочиста, а трупы швыряют в Неву. За вчерашний день шестнадцать покойников выловили.

Александр Иванович вздрогнул.

— Чужестранцы ли это? Много своих на краю голодной смерти решаются на разбойничью жизнь. По проезжим дорогам стало опасно. Есть ли с тобой-то оружие?

— Никогда не имел и иметь не собираюсь. Ни стрелять, ни колоть человека не буду в жизни.

— Слава богу, еще не уехал! — вдруг раздался голос. — Душа ты моя, голубчик ты мой, как же мое сердце изболелось! Я ведь уверен был, что едешь через неделю.

— А, вот подарок так подарок,—сказал Николай Тургенев.

Плача слезами привычного и сладкого умиления, Николай Михайлович Карамзин обнял Николая Тургенева и гладил его по плечу.

— Дорогой мой, как же я рад! — повторял он беспрерывно.

Николай Тургенев сел в экипаж. Дверцы захлопнулись. Кучер ударил. Скрипя по песку, завертелись колеса. Держась за ручку кареты, бежал Александр Тургенев, заглядывая в стеклянное окно. Тургенев, откинувшись в глубь сиденья, не замечал брата. Карамзин сморкался в фуляровый платок и шарил в кармане, ища табакерку. Потом взял под руку вернувшегося Александра Тургенева, сказал:

— Поедем ко мне на петербургскую фатеру, а утром вместе махнем в Царское Село.

Взяли извозчика. Поехали на Кирочную.

С дороги Тургенев писал профессору Куницыну:

«Дорогой товарищ, любезный геттингенец, пишу тебе из самой что ни на есть глуши. Тяжко и одиноко в польских лесах. Вчерась понравилось мне крыльцо у одного из почтовых домов, подле которого растет дерево,

¹ Не беспокойтесь (фр.).

дружелюбной старинной дуб, растущий тесно подле дома, словно охраняет его стражем, соединив свою судьбу с судьбою одного дома. Так думал я: неодушевленные предметы часто придают много прелести другим предметам — зла от них ожидать нельзя, как от людей. Мрачная мысль, но что ж делать. Когда я вижу людей в стране, скрозь которую я проезжаю, те, кои более всех имеют право на счастье — землепашцы, в каком они положении? Без содрогания не могу смотреть на здешних почталонов. Трубит в рожок, отдувая посинелую щеку. Руки застужены, и из глаз льются слезы. Товарищ дорогой, ничто справедливое не умирает. Сохраним верность геттингенским нашим замыслам. Пиши мне в Вену на имя Воронцова, а Сергей мне передаст. Ожидаю увидеть Штейна, но нет твердости в мыслях моих. Аракчеев с государем, а то не предвещает ничего доброго. Правда ли, что Сперанский прислал свою защиту? Отпиши все подробно».

По странной игре случая письмо вместо Куницына читала канцелярия графа Аракчеева.

Переехал границу. При переезде принял пакет на свое имя, секретный, с фельдъегерем. Военные посты удивляли. Множество офицеров в станционных домах. Ушел в комнату таможенника и, потребовав, чтобы его оставили одного, распечатал пакет. Предписание ехать на Франкфурт-на-Майне. С досадой пожал плечами. Удлиняет прямую дорогу почти что вдвое. Выйдя из комнаты досмотрщика, встретил знакомого геттингенского доктора. Увы... фамилии не помнил. Но при рукопожатии большой палец обнаружил масона. Вследствие этого Тургенев решился обратиться с просьбой — рекомендовать слугу. К моменту перепряжки лошадей в русскую карету Тургенева просьба была уже исполнена. Вошел молодой человек, вежливо и спокойно поклонился и произнес:

— Положитесь на меня. Я все буду делать, как верный брат.

Тургенев писал в дневнике: «Вот,—скажет Ганнеман,—и выгода быть вольным каменщиком».

Дальнейший путь он совершал вместе с этим странным слугою. С сильно бьющимся сердцем в субботу третьего декабря въехал в Геттинген. Думал: «И хорошо,

и плохо. Все осталось на месте, кроме молодости. Во французских госпиталях умирают раненые. Князь Репнин хочет иметь меня при себе. Встретился с Беннеке, Рау, Соколовичем, Кассиусом. Пошел в библиотеку. Был у Сарториуса. Без конца болтал у Геерена. Был у Магера. Дочки стали красавицами. Ночью постучал в маленький домик, рядом с Ганzenом. Лотта узнала по голосу, бросилась на шею. До чего она еще хороша! Вышел от нее под утро».

Десятого декабря — Франкфурт. Сразу у Штейна. Штейн принимает Тургенева ласково, но хитро улыбается. С первых часов, не отдохнув от дороги, Тургенев стремится войти в работу. Какая пестрота в международной канцелярии Штейна! Прусские принцы, австрийские генералы, представители всех освобождаемых от войск Наполеона государств! Штейн знакомит этот международный штаб по борьбе с Наполеоном с русским императорским комиссаром. Почтительные поклоны. Льстивые слова. «Всякий другой принял бы на свой счет, — думал Тургенев. — А мне нужно сделать так, чтобы не кружилась голова и чтобы не ускользала основная идея».

Вечером был в театре. Смотрел пьесу Коцебу.

— Ну пьеса! — говорит Тургенев своему соседу.

К немецкому пастору является некий французский убийца, когда-то прикончивший его дочь. Пастор принимает преследуемого, дает взятку полиции. Растроганный убийца остается у него слугой, моет полы и чистит двор.

Немецкая публика рукоплещет.

Тургенев хохочет так, как давно не хохотал.

«Попасть прямо из кареты на эту вздорную пьесу, слушать эту галиматью в течение целого вечера — это в стране, где есть Гете и Шиллер, — забавно! Кто такой Коцебу?» — думает он.

Сосед немец рассказывает:

— О, это замечательная фигура! Вы говорите Гете. Коцебу тоже из Веймара. Он был там адвокатом. У вас в России его переводили и ставили.

— Как же, как же, знаю, — сказал Тургенев. — В России это не диковинка, но как он у вас пользуется успехом? Русские его дела я знаю. Тринадцать лет тому назад при императоре Павле Коцебу попал в Сибирь, и только «Лейб-кучер Петра I» — тоже дрянная пьеса — спасла его из ссылки тем, что понравилась царю. А что он делает сейчас? — спросил Тургенев.

— Ну, уж не буду вас смущать,—сказал немец.— Он смотрит из партера собственную пьесу только для того, чтобы говорить с императорским комиссаром Николаем Тургеневым.

Тургенева передернуло. Пьеса кончалась. Тургенев мрачно молчал. Коцебу хихикал и ерзал на стуле.

— Ваше превосходительство,—говорил он Тургеневу.— Вы не забудете меня как издателя «Русско-немецкого народного листка», как верноподданного его европейского величества, помазанника божия Александра. Вы должны будете оценить мое усердие.

Маленькая, теплая и отвратительно влажная рука пожала руку Тургенева.

— Согласитесь сами,—сказал Тургенев,— что средство, которое вы выбрали для знакомства со мной, скорее пригодно для агента секретной полиции, чем для автора столь достойного. Пеняйте на себя, сударь, ежели неудача вашей пьесы вынудила меня к нечаянной откровенности. Обижать вас я не хотел, но и знакомства продолжать не намерен.

— Молодой человек,—сказал с внезапной наглостью Коцебу, переходя на русский язык,— в вашем хорошем русском языке есть поговорка: «Насильно мил не будешь», и еще: «Прежде отца в петлю не суйся». Вам со мною знакомство иметь придется, даже если вы этого не захотите. И вы, и я имеем долг перед христианским отечеством всех народов. Борьба против духа свободолюбия, якобинства и безбожия французской революции вас обяжет почитать всякого, кто стоит на страже законной власти.— И, сгибая указательный палец в какой-то коготок, Коцебу с видом разъяренного педагога махал ручкой перед самым носом Тургенева.— Мы еще встретимся, молодой человек,—говорил он яростно, и потом, переходя на немецкий язык снова, так как перед ним показались капельдинеры с почтительными поклонами, он произнес: — Будьте почтительны, ведь я тайный советник его величества прусского короля,— и повернулся к Тургеневу спиной.

— Фу, черт возьми!—говорил Тургенев, выходя на воздух и едва не попадая под колеса.

Карета остановилась. Смеющиеся, веселые глаза старика посмотрели на него сквозь стекло. Штейн открыл дверцу и пригласил Тургенева в карету. Он начал прямо с места в карьер:

— Ну вот, выяснилось все. Я получил частное письмо императора. Вот основание твердого мира в Европе. Первое, что представляется, есть — обезопасение Европы от Франции. Какое влияние имела Франция на судьбу Европы не только в политическом, но даже и в нравственном отношении! Итак, надобно, так сказать, обложить Францию сколь возможно более непреодолимыми границами. Такая граница всего нужнее со стороны Германии. Для сего всего, кажется, лучше и вернее противопоставить на берегах Рейна Франции германскую державу первого класса, которая бы во всякое время, при каждом покушении Франции, могла одна противиться сей последней державе. Для сего нужно пожертвовать несколькими мелкими владениями. Но все должно покориться великой цели независимости народов-владельцев или лишиться вследствие сей перемены земель своих. Можно частью вознаградить в других частях Европы или даже *отставить* с пенсиями. Династия, которая должна будет царствовать в сем новом воздушном королевстве, должна быть связана с одною из сильнейших держав в Европе не только узами политики, но также и узами родства. Таковую же державу должно основать и в Италии. Для сего королевство там уже готово, а именно: итальянское королевство. В Голландии должно учредить династию, которая бы также была связана самыми тесными узами с одною из первейших европейских держав. Итак, на Рейне будут царствовать родственники императора российского, в Италии — родственники Австрии, в Голландии — родственники короля английского, английские принцы, или принцы дома Оранского, который сверх того связан и с прусским двором. В середине Германии могут существовать державы второго, третьего и так далее ранга: окруженные тремя первоклассными державами в самой Германии, они никогда не будут опасны для свободы сей земли и с сим вместе для свободы Европы. Et cette belle France¹ будет в клетке сама любоваться своею красотою.

Тургенев молчал, размышляя о прекрасной Франции и чередуя эти мысли с рассуждениями о том, следует ли, или нет рассказать Штейну о встрече с Коцебу, — решил смолчать и через минуту благодарил себя за это решение.

— Завтра приходите ко мне обедать, — сказал

¹ И эта прекрасная Франция (*фр.*).

Штейн.— Вы молчите,— очевидно, дорожная усталость сказывается на вас сейчас.

— Я молчу,— сказал Тургенев,— только потому, что во время долгого пути в карете я видел и слышал слишком много такого, что заставляет меня сожалеть о прекрасной Франции. В частности—я убедился, что гражданский кодекс Наполеона вовсе уж не такая плохая вещь, а потом—разрешите ли вы мне быть откровенным...

— Как всегда,—сказал Штейн.—Откровенность есть первая уловка дипломата.

Тургенев засмеялся.

— Я не о той откровенности говорю. Я хочу сказать вам, что меня страшит успех императорской России. Я боюсь, что результатом будет печальная участь крестьянского вопроса в нашей стране.

— Каждая страна,—сказал Штейн,—имеет свои законы. Что было своевременно в Пруссии, то может оказаться пока еще опасным в вашей стране.

Глава двадцать первая

Дни и месяцы, каждый по-своему полный пестрых и очень разнообразных впечатлений, слились для Николая Тургенева в какое-то тусклое серое пятно, до такой степени они были похожи один на другой. Переменчивое счастье Бонапарта наконец совсем от него отвернулось. Медленно и упорно французские войска уходили на территорию старой Франции, и штаб международной администрации медленно двигался за ними.

Тургенев начинал чувствовать скуку и уже имел возможность подвести первые итоги своей деятельности на широкой европейской арене. Они были неутешительны.

«Что же это? — думал он.— В чем состоит деятельность моего благородного патрона? В том, что мы постепенно, шаг за шагом оттесняем французские войска, тщетно пытаемся уничтожить следы невольного якобинства, вносимого Наполеоном. Мы хотим повернуть назад колесо истории. Каждый день администрация Штейна получает разнообразные и часто друг друга исключаящие требования, из которых я понимаю, что дворянство и купечество никак не могут помириться друг с другом и поделить остатки французского наследства. Невеселое дело! Оказы-

вается, нет никаких идеалов, связывающих всех людей вместе. Есть корысть отдельных классов. А трудолюбцы, кормящие и купца, и дворянина, и фабриканта, и заводчика, никак даже не привлечены к решению вопроса об условиях своего бытия. Вместо благоустройства мы заняты уничтожением французских влияний. Однако опыт научил меня видеть в этих влияниях гораздо больше полезного, чем мог я видеть это сквозь петербургские туманы. Полезна ли моя деятельность сейчас? И даже могу спросить себя: есть ли в ней необходимая для дела честность?»

Размышления эти имели место в Труа на французской территории; десятого февраля 1814 года Тургенев писал в дневнике:

«Вот уже несколько дней, как беспрестанно видны по дорогам раненые. Французские деревни от Бар сюр Лоб до Труа оставлены. Дома пусты, но мебель и посуда целы, то есть предоставлены воле проходящих солдат. Поля устланы соломой, разломанными бочками, посудой, пухом. Следы бивуаков. Я ездил из Лангра в Женеву — путешествие скучное. Теперь сказался больным, дабы не ехать в Брюссель. Не знаю, как это понравится Штейну. Но путешествовать или ездить курьером в теперешнее время во Франции, где на почтовых дворах нет ни лошадей, ни повозок, ни корма, — ужасно! Я сделал одну лишь станцию, но воротился.

14 марта вечером Шомон опустел. Императоры и короли уехали. Вчера держали мы вольнокаменническую ложу. Старший Щербинин был принят. Гейне, Препаратор, делая с ним начальные путешествия, говорил хорошо, то есть с чувством, напомнив ему два раза о недавно умершем брате. *Вот масонство!* Черные души только не могут любить или по крайней мере уважать его.

У Штейна обедал с Чарторыжским и Радзивиллом. Умные они люди, но сожалею, что не понимают, как благоустройство государства или что сама Россия может созидать свое счастье на несправедливости. Штейн и Чарторыжский — люди, не раздумывающие, что *угнетение одного класса граждан другим может когда-либо быть залогом благосостояния великого и нравственного доброго государства.*

Долго смотрел я на карту Российской империи. Ужасное, (почти) необъемлемое пространство! Какое отечество! Как теряют те, коих одна только природа

привязывает к их родине, а не вместе с нею образованность жителей, обработанность земли и климат!! Это я чувствую. Нельзя более любить своего отечества, как я люблю Россию; но всегда, при мысли об отечестве, мысль некоторой жалости, мрачная и печальная, побеждает все другие мысли. Прежде, например, живя в Геттингене, при мысли об отечестве сердце билось от радости, от восхищения. Где то время! *Теперь напротив.* В перемене сего чувства, конечно, люди гораздо более причиною, нежели природа.

Ужасное пространство России! Как управляют ею из Петербурга? Как управлять ею?

Настоящий переворот в Европе переменил весьма, весьма многое. Многие даже книги, в коих рассуждения были справедливы, сделались теперь или негодными, или ложными. Многие истины политические, даже финансовые, быв истинами до 1812 года, сим переворотом опровергнуты. Даже многие аксиомы, основанные на истории, ничего теперь не доказывают. Какой конец увенчает теперь такие важные происшествия! В течение сих двух годов сделано столь много хорошего и истреблено столь много дурного, что совершенно неудачной развязки даже и ожидать нельзя. Сия последняя может быть лучше или хуже, но всегда должна быть и останется хорошою, полезною».

Раннее утро. У Николая Тургенева болит голова. Подходит к форточке и не находит ее на месте. Хочет взять золоченую стопку, подаренную Сергеем в детстве,—она еще вчера стояла на маленьком столике перед кроватью,—ее нет. Начинается незнакомое беспокойство. Широко открыв глаза, осматривает комнату. Обои с огромными цветами вместо маленьких листьев душистого горошка на стенах. Огромные широкие простенки. Маленькие окна с невероятно широкими подоконниками вместо хорошо знакомых огромных итальянских окон в три ряда, сквозь которые виден собор и площадь Франкфурта.

Тургенев берет полотенце со стула. Выливает на него графин воды, мочит себе виски и обвязывает голову.

— Со мной что-то случилось,—говорит он громко.—Еще вчера было все на месте.

Шатаясь, оборачивается, чтобы лечь в постель.

— Ну, как вы себя чувствуете? — спрашивает человек в белом халате и подхватывает Тургенева, так как тот вместо ответа во весь рост падает на пол.

В коридоре слышатся голоса:

— Это началось по дороге на Вену. Бред и высокая температура. Во Флорисдорфе пришлось его снять.

— А как сейчас? — раздается голос.

— Сейчас просто крайняя славянская впечатлительность. Он уже вне опасности.

— Кто вне опасности? — кричит Тургенев через дверь.

Дверь отворяется. Входит Репнин, а через его широкое плечо саркастически улыбается Штейн.

— Ну что же, дорогой, надо поправляться к началу конгресса! Завтра — открытие. Съехались властители Европы. Вена веселится. Сейчас самый блестящий момент. Жаль, что первая сессия прошла без вас.

— Какая сессия? — спрашивает Тургенев с испугом. — Ради бога, объясните мне, где я и что со мной.

— Выехали вы из Парижа месяцы тому назад, и вот сегодня первый раз имею удовольствие разговаривать с вами. Вы, сударь мой, буянили, как бандит, разбили окно кареты, едва не утонули в озере. У вас была серьезнейшая лихорадка. Вы, вероятно, даже не знаете, какие дела сейчас сделались во Франции. Наполеон давно низложен, был сделан губернатором Эльбы. Талейран приехал на Венский конгресс, провозглашая принципы единственной бескорыстной страны — Франции, желающей Европе одного только мира, а неделю тому назад снова гремели пушки в двадцати километрах от Брюсселя, снова под командою Наполеона. Сейчас все кончено.

— Боже мой, ведь это тысячи лет, — говорил Тургенев.

— Да, — снова заговорил Штейн. — Событий хватило бы на столетия...

Уже на что легкое гусиное перо, но даже от него рука дрожит, как от неимоверной тяжести. Однако десятого февраля 1815 года Николай Тургенев писал:

«Вот уже шестая неделя, как я не схожу почти совсем с постели. Сначала доктор ласкал меня скорым выздоровлением, но теперь срок моего заключения опять отдалил-

ся. При всем том, однако же, он уверяет своим честным словом, что через две недели я буду выходить».

После страницы дневника опять долгое беспмятство. Двадцать пятого февраля писал:

«Вот уже два месяца как я болен».

А четвертого марта снова пишет:

«Вот уже три недели как я не встаю с постели. Желая выздороветь не столько от скуки лежать, но для скорейшего окончания наших дел».

Двадцать пятого июня, уже выздоровев, во Франкфурте был на собрании масонской ложи св. Иоанна. Вернувшись вечером, перечитывал свой парижский дневник. Долго не узнавал своего почерка, и даже первой мыслью было, что в те до дна забытые времена не мог он сам так писать что кто-нибудь, шутя над ним, вписал в дневник эти нешуточные строки. Буквально написано было следующее:

«Долго смотрел я на карту Российской империи. Ужасное, (почти) необъемлемое пространство!.. Как теряют те, коих одна только природа привязывает к их родине, а не вместе с нею образованность жителей, обработанность земли и климат!! Прежде... при мысли об отечестве сердце билось от радости... Где то время! *Теперь напротив.* В перемене сего чувства, конечно, люди гораздо более причиною, нежели природа».

И дальше уж совсем не тургеневские строки:

«Ужасное пространство России! Как управляют ею из Петербурга? Как управлять ею?»

Настоящий переворот в Европе переменил весьма, весьма многое. Многие даже книги, в коих рассуждения были справедливы, сделались теперь негодными или ложными. Многие истины политические, даже финансовые, быв истинами до 1812 года, сим переворотом опровергнуты. Даже многие аксиомы, основанные на истории, ничего теперь не доказывают. Какой конец увенчает теперь такие важные происшествия! В течение сих двух годов сделано столь много хорошего и истреблено столь много дурного, что совершенно неудачной развязки даже и ожидать нельзя. Сия последняя может быть лучше или хуже, но всегда должна быть и останется хорошою, полезною».

Первый приступ тоски почувствовал в часы ночного приезда в замок Полижи. Приехал верхом. Во дворе, окруженном стенами с бойницами, с огромными башня-

ми, стояли повозки. Зажженные фонари и факелы бросали бегающий свет по стенам. Люди на тенях превращались в гигантов. Вот тут холодный ум не мог сдержать бешеной игры воображения. Вдруг ощутил тоны и звуки давно умершей феодальной Франции. От этого чувства столетий, опадающих, как листья на осенних деревьях, закружилась голова. Вот когда началась болезнь.

«Быть может,— думал Тургенев,— болезнь вызвала эти размышления, а быть может, обратно».

Взглянул в окно. Спокойные воды Майна с большими речными судами у пристани блестели при свете месяца. Тургенев посмотрел на тетрадку.

— Почерк, несомненно, мой,— сказал он.— Да и что за болезнь, что за расстроенность воображения предполагать чужую руку?

Читал дальше:

«После того, что русский народ сделал, что сделал государь, что случилось в Европе, *освобождение крестьян мне кажется весьма легким, и я поручился бы за успех даже скорого переворота.*

Вот венец, которым русский император может увенчать все свои дела. Если он теперь этого не сделает, то нельзя и надеяться на такую перемену».

— Да, конечно, это я писал,— громко сказал Тургенев и читал дальше:

«29 апреля 1814 года. Утро. Что за французы! В то время как другие народы пользуются несчастиями и внутренними переворотами и присвояют владычество (*souveraineté*) себе, вручая королю исполнительную власть, французы тоже теперь кричат, но о чем? О том, кому они *принадлежат*! Одни кабальют себя Лудвигу, другие думают, что гораздо славнее быть рабом Наполеона. Вчера в Palais Royal разговаривался я с одним французом, который был сего последнего мнения и без пощады бранил Бурбонов. Но между тем французский народ не видел еще никакого полезного действия революции. Он остался без конституции и в деспотизме. Какое несчастье, какой стыд для целого народа! Драться, резаться, убить короля за свободу и потом, после жесточайших войн, прийти на то же место, с которого пошли за двадцать пять лет!

Пришедши вчера домой, я нашел приглашение в *du Point parfait*. Это приглашение обрадовало меня более обыкновенного».

Глаза Тургенева быстро бегали по строчкам. Описание масонских лож, шотландской ложи «Иерусалима», немецкой — «Железного креста», французской ложи «Восхититель мироздания». ...Все это призраки быстро тающего времени, все это безвозвратно исчезающие минуты волнения сердца, глубокие и странные, о которых тем не менее исчезает память. ...Кончился Венский конгресс. Вот опять через несколько страниц странные, совсем не тургеневские суждения о Петербурге:

«Решившись ехать в Петербург, я решился на многое. Все неприятности сносить с холодностью и презрением. Будет же меня иногда поддерживать идея о экспатриировании».

И дальше вдруг неожиданное заключение:

«2 сентября 1814 года. Повечеру был в редуте. Монархи и монархини пришли часу в одиннадцатом. Зала, сделанная из манежа, весьма хороша и освещена была чрезмерно светло, так что трудно было смотреть на сие. Императрицы, как торбы, сидели в большой зале. Императоры и короли стояли, как ослы в стойлах. Трудно было даже смотреть на вюртембергского короля, каково же было ему стоять: брюхо у него ужасное. Что, если б все эти владетели или по крайней мере трое из них были совершенно согласны и поклялись бы за стаканом вина удержать мир в Европе лет пятьдесят или более! Всем этим королям и императорам весьма трудно знать состояние народа, различных классов оного и так называемое общее мнение, что короли и императоры живут в совершенно другой сфере, нежели народ: они окружены новою *придворною атмосферою*, которая так густа, многосложна, что мешает им дышать обыкновенным воздухом. К тому же все окружающие их имеют свои выгоды стараться как можно более отделяться от массы народа и прилепиться к этому придворному миру.

...Ах республики! Люди, более похожие на ангелов, нежели на людей, изобрели республиканское правление — идеал всего человечества.

...думал о некоторых переворотах в России и о том, как бы я стал там действовать, если бы у меня были средства. Я чувствую, что мне или духу моему в моем теле узко и если б я начал действовать в теперешнем моем расположении, то дела мои, быть может, не имели бы последовательности, но все носили бы печать энергии».

«Странный конец дневника»,— думал Тургенев.

«В течение всего времени сделал я печальную опытность, которая частью разрушила мои сладостные надежды о благополучии любезного отечества».

Тургенев вскочил и заходил по комнате. Теперь жизнь вставала перед ним настоящей, неприкрытой реальностью. Он ощущал себя в каждой строчке автором этого дневника. Месяцы болезни словно выпали из сознания. Он снова вернулся в себя.

До какой степени памятен этот день, когда с отчетом о делах комиссии он и Штейн говорили с Александром I.

Вдруг простая мысль о том, что после деловых экономических трактатов Венского конгресса русский царь перешел к замыслам об истреблении самой идеи свободы. От прежних мечтаний не оставалось и следа.

Тургенев читал в дневнике:

«О судьба, как играешь ты легко верностью людей, как жестоко смеешься над их слабыми, но справедливыми и честными замыслами! Давно мудрые говорят, что легче узнать глубину моря, нежели тайные изгибы сердца человеческого!»

...Ясно представилась картина. Маленький мозаичный стол. Бронзовая чернильница, скорее похожая на солонку. Громадное перо с позолоченным очинком. Песочница с золотистым тончайшим песком для подсушивания строк и рука—тонкая, длинная, женственная, озлобленно и нервно барабанящая пальцами по отчету Штейна, в то время как глаза сидящего царя, улыбаясь и сияя аквамаринovým блеском, смотрят на Тургенева, а губы, сложенные в пленительную улыбку, произносят обращенные к Штейну слова преувеличенных похвал, обещаний неслыханных милостей...

«Вот именно после таких высокомиловитых речей петербургские сановники немедленно подают в отставку»,—подумал Тургенев, хорошо знающий эту манеру царя.

Подавляя в себе любопытство психолога, Тургенев стремился не слишком пытливо глядеть в лицо Александра, так как эта пытливость немедленно вызывала перед его глазами другое, поразительно схожее с лицом русского царя лицо: перед вечером летом на Итальянском бульваре в Париже эту же самую пленительную улыбку и это же самое холодное сияние аквамаринových глаз видел он у лоретки в голубом платье с розовым зонтиком.

Белокурая бестия, наглое и алчное животное, французская кокотка и русский царь! Тургенев сам испугался этого сопоставления, а между тем было какое-то с ног сбивающее сходство, и пока мысль отчаянно искала, в чем оно, Тургенев, напряжено задумчивый, почти не слушал царя.

Александр был доволен его внешностью. Он глубоко оценил эту серьезную, напряженную внимательность своего комиссара. Русский царь, в этот день сломавший карьеру Штейна, решил высоко вознести Николая Тургенева.

Кончая последнюю закругленную фразу, Александр кивнул головой. Докладчики откланялись. И вдруг Тургенев понял. Черта сходства — лживость.

Вот почему в дневнике двадцать третьего декабря 1814 года стоит подчеркнутая фраза: *«Наружность обманчива. Должно иметь столь невероятное и ужасное доказательство. Святая надежда, не обмани ожиданий чистейших и справедливейших, ожиданий блага отечества. Но с чем встречаются мои мечтания? Дух безбожного невежества, грубых предрассудков, дикие крики исступленного самовластия встречают сии мечтания, но не заглушают стенаний невинно угнетаемого человечества».*

Глава двадцать вторая

Н. И. Тургенев занимался, как сам говорил, маленьким делом. Тургенев, комиссар, проводивший финансовую реформу и занимавшийся ликвидацией военных расчетов и долгов, стоял на каменной площади франкфуртского пожарного двора и смотрел, как с огромных возов стаскивают кипы русских кредиток и ассигнаций, кладут на дровяной помост и ждут его приказа. Господин комиссар — Николай Тургенев — медлит секунду. На этом холодном лице появляется улыбка при мысли о том, в скольких руках побывали эти русские кредитки, сделанные наполеоновскими типографщиками. Когда-то, во времена Конвента, когда головы французских аристократов торчали на кольях крестьянских виноградников, а в Париже ликовали красные фригийские колпаки, англичане дали первый сложный урок фальшивых денег французским санкюлотам. У Дюнкерка и Кале, на песчаных дюнах с соснами, почти на границе с Голландией, рыбаки

находили огромные короба хорошо упакованных фальшивых французских денег. Вчерашний бедняк становился банкиром, и эта зараза фальшивых денег плыла по Франции с севера на юг, давая бешеный фантастический успех на короткий срок одним и слезы от разорения другим. Фукье-Тенвиль, Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон посылали лучших разведчиков революционной Франции искать очаги этой заразы. Все нити вели на север, на недостижимый остров, где гражданин Брок и сэр Вильям Питт, согревая холодную и терпкую кровь крепким алкоголем, флегматически, но упорно строили новые козни Конвенту. Разваливался рынок, безумно привскакивали цены, деньги ничего не стоили. Их было так много, что можно было выложить кредитками шоссе от Парижа до Марселя. И не было сил остановить этот поток. Урок был принят хорошо. Бонапарт выпускал в России своих фуражиров, свои эскадроны разведчиков, из которых каждый был академиком-географом, профессором-этнографом и чертом-разведчиком в человеческой шкуре. Эти люди мастерски повторили английский урок в России. Там, где английские холерики брали медленным упорством, сангвиники-французы брали быстротой и утонченной хитростью. Бешеные темпы их ударов посылали фальшивые деньги в такие края России, где меньше всего ожидал Александр. Все заграничные расчеты, производившиеся русскими рублями, были подорваны. Хлеб стал валютой. Его было мало. Люди, когда-то караулившие по большим дорогам проезд мальпостов, бросавшиеся с криками и выстрелами на путешественников, обиравшие дочиста проезжих, теперь искали не денег, а хлеба. Толстые бумажники русских купцов, немецких генералов, австрийских священников вышвыривали тут же, не считая денег. Бедные немецкие семьи, в домах которых стояли русские солдаты, насильно принуждены были отдавать последнее и с горем прятали кипы ненужных денег в тех редких случаях, когда господа русские офицеры достаивали платежом.

Но совсем не потому и не от этих мыслей улыбка пробежала по лицу Николая Тургенева. Он думал еще о том, что к этим заведомо фальшивым деньгам он присоединил кипы настоящих кредиток последнего выпуска, а для того чтобы это уничтожение бумажного хлама, вводящего людей в заблуждение, достигло действительно успеха, он вчера, взявши измором двух комиссаров

нейтральных стран, заставил их скостить с русского долга восемьсот тысяч золотых гульденов. Это была трудная операция. Тургенев думал: «До какой степени своекорыстны правительства, забывающие в расчетах на золото о самом драгоценном расходе — простой солдатской крови!» Чувство огромного омерзения от этого спора делало Тургенева жестоким и напор его беспощадным. Под конец, выкуривая в комиссии трубку за трубкой, он решил не спать, не вставать, не кончать комиссии до тех пор, пока не добьется своего. Там, где объективная логика была не на его стороне, он дипломатически выдвигал ему известные материальные соотношения сил и, в сущности, взял измором.

Тургенев махнул платком. Рыжеволосый короткий, толстый пожарный нагнул факел. Дрова вспыхнули.

— Долго горят, — сказал немецкий уполномоченный.

— Но они много сожгли сами, прежде чем сгореть, — сказал Тургенев. — За четыре года сколько человеческого счастья успели сжечь эти деньги.

В этот день Тургенев сделал пометку в журнале:

«О разных способах, кои служили в различных государствах для уничтожения рабства».

Захлопнул книгу и стал собираться. Слуга немец помогал укладывать вещи. Маленький баул, в котором были самые необходимые предметы, Тургенев любил набирать сам. Всегда самое верхнее место в нем занимала очередная тетрадь дневника. Перед тем как положить его в баул, Тургенев снова раскрыл очередную страницу и надписал против строчек «о способах уничтожения рабства» слова: «Да будет эта мысль моею путеводною на обратном пути в ужасный Петербург. Тишина и прекрасная погода сейчас возбудили в душе моей одно из тех чувств спокойствия и свободы, которое ощущал я некогда гораздо чаще. Наслаждайся настоящим, — говорит мне это чувство, — придет время, ты со вздохом вспомнишь о нынешней минуте. Предстоящий мне ужас делает приятной настоящую ничтожность».

Уже сидя в мальпосте, Николай Тургенев получил письмо от брата Сергея. С восторгом пишет, что прибалтийские крестьяне получили личную свободу, но без

земли, и что матушка Катерина Семеновна, хотевшая прикупить еще две деревеньки, задумалась и от этого намерения отказалась.

«...стоит ли обзаводиться мужиками, когда ни нончи завтра помещиков разорять станут».

«Да, действительно не стоит,—подумал, улыбаясь, Николай Тургенев.—Матушка остается себе верна».

Желтая карета с серебряными трубами на дверцах, желтый почтальон с красиво загнутым рожком на ремне через плечо, кучер в тирольской шапке, шестерка усталых, ребрастых лошадей и дорога, поднимающая белую пыль. Тургенев с наслаждением смотрел в окно кареты. Трубил рожок, и посвистывал веселый осенний ветер. Мальпост по дороге на Берлин был полон. Светило яркое солнце. Немецкие крестьяне работали в полях. Птицы поднимались с тополей стаями. Деревья качались, раскидывая по ветру широкую листву. Нагибались травы в лугах под ветром. В мальпосте налаживалась беседа. Ни одного знакомого пассажира.

«Это хорошо»,—думал Тургенев.

Быстро сговорились и разрешили друг другу курить, так как не было женщин. Толстый баварец рассказывал громко анекдоты, пользуясь тем же правом; его соседи громко хохотали. Тургенев не слушал этих анекдотов для курящих и с жадностью ловил спокойные голоса двух немцев, рассуждавших где-то у него за спиной ни более ни менее как о природе современной власти. Оба говорили чрезвычайно ученым языком. Один отмечал, что «власть есть выражение волевой равнодействующей всего народа. Если народ безволен, то власть деспотична».

— Твои рассуждения похожи на Делольмовы суждения об английской конституции,—возражал говорившему сосед.—В сущности говоря, всякая власть есть тирания, заслуженная массой глупцов. Властвуют умные негодяи над стадом тупоголовых баранов. Всякий народ заслуживает свое правительство. Сатрапы древней Персии, деспоты древней Азии так же необходимы и так же естественны, как следствие, необходимо вытекающее из причины.

— А общественный договор?

— Ну, общественный договор—это наивная легенда господина Руссо, которую французы развенчали уже в дни Конвента. Я не верю ни в разумную организацию

общества, ни в благородство власти. Разве не блестящим примером является нынешний год? Над Европой одержало победу организованное зверство московских дикарей. Русский самодержец, навалившись ордой своих бородачей на Париж, диктовал Европе условия. Это же возмутительное издевательство над самой идеей цивилизации. Непросвещенная толпа широкоплечих мужиков задавила страну философии и социальных идеалов.

— Жалею, что я не записал твоих слов в прошлом году. Ты совершенно то же говорил по поводу власти Бонапарта. Ты непоследователен.

— А, я очень рад, что ты об этом вспомнил. Именно тут-то и был я наиболее последователен. Все истины относительны. То, что было истиной год тому назад касательно Франции, теперь истина касательно России.

— Но ведь это же полная беспринципность!

— Я не боюсь страшных слов,— ответил собеседник.— Истины выцветают так же, как плохая краска на ткани. Ткань перегорает, все меняется, и все течет.

— Печальная философия,— возразил собеседник.— Интересно было бы посмотреть на тебя в какой-нибудь канцелярии через год, через два.

— О, это совершенно неинтересно! Я научусь получать жалованье и защищать ту действительность, которая обеспечивает мне возможность дышать и двигаться. Я неприхотлив. Я даже согласен посещать церковные службы, еженедельно ходить на исповедь с абонементным билетом для отметок священника. Я считаю исповедь самой серьезной и самой хорошей дисциплиной, так как один неверующий человек рассказывает другому неверующему все глупости, какие приходят ему на ум. Исповедь—это хорошее зеркало, а взглянуть на себя иногда бывает чрезвычайно интересно.

Собеседники замолчали. Тургенев украдкой посмотрел на них. Оба были молоды, и оба носили печать усталости и даже измученности на лицах. Казалось, что они недавно расстались с университетом. Смесь Макиавелли и Фридриха Великого наложила отпечаток на их немецкие умы. Тургенев пытался заснуть. Пружина давила в бок. Скрипели рессоры. Песчаная дорога хрустела под колесами. Щелкал бич. Покрикивал форейтор. Пел рожок. Старый длиннобородый еврей храпел рядом с Тургеневым, и Тургенев тщетно пытался следовать его примеру. Так доехал до маленькой почтовой станции, на

которой производилась перепряжка лошадей. Четыре пассажира вышли. Вошли двое. Один — элегантный молодой человек с мягкой улыбкой — вежливо поздоровался и занял место перед Тургеневым, сев к нему лицом. Другой — огромного роста, с зверским лицом, в поношенном платье, с глазами, не внушающими никакого доверия, — к неудовольствию Тургенева, сел рядом с ним. Молодой человек с тревогой и подозрительностью поглядывал на своего соседа. Ражий парень с курчавыми волосами, с узловатыми корявыми руками, покрытыми шерстью, смотрел на Тургенева с каким-то диким и буквально зверским выражением.

«То ли у меня больные нервы, — думал Тургенев, — то ли действительно мой сосед опасен». Но беспокойство овладело Тургеневым сильно.

Элегантный молодой сосед, по-видимому, разделял опасение Тургенева. Обращаясь к нему по-французски, он произнес:

— Меня очень удивляет порядок, позволяющий впускать в почтовые кареты подозрительных лиц.

Тургенев пожал плечами и сказал:

— Вполне разделяю ваши опасения.

Ражий парень молчал с мрачным видом. У него не было никаких вещей, он был очень плохо одет, поглядывал на соседей бегающими глазами и не проронил ни слова.

Тургенев разговорился с молодым человеком. Последний держал маленький саквояж на коленях и, ловко уклоняясь от толчков дилижанса, шлифовал ногти маленькой щеточкой. Произнося малозначащие фразы, он постепенно выпрашивал Тургенева, кто он, куда едет и какая цель поездки.

Мальпост выехал на ровную и широкую дорогу. Колеса бесшумно покатались по ровному шоссе. Толчки прекратились. Прекратились вопросы собеседника. Тургенев зевнул, прислонил голову к кожаной подушке и заснул.

Проснулся он от толчка и, открыв глаза, не сразу понял, в чем дело. Внутри кареты все говорили наперебой. Ражий парень держал элегантного тургеневского соседа за обе руки. Тот стремился ударить держащего ногой. Крики негодования и ругань пассажиров оглушили Тургенева. И вдруг во мгновение ока он понял все. Тургеневский бумажник из красного сафьяна с большим

золотым гербом сверкал и переливался в руках элегантного молодого человека.

Ражий парень кричал Тургеневу:

— Берите у этого мерзавца ваш бумажник, чтоб он не выкинул его в окно.

Тургенев наклонился. Взял бумажник правой рукой, но элегантный молодой человек никак его не уступал. Вцепившись шлифованными ногтями в сафьян, он держал его как стальными крючьями. Тургенев рванул обеими руками, и бумажник оказался у него в руках. Глубокие черты ногтей остались на сафьяне.

«Ничего не понимаю,— думал Тургенев.— Как все это могло случиться?»

Пассажиры шумели и требовали друг от друга молчания, так как ничего нельзя было разобрать.

Наконец один, молча развязав свой чемодан, накиннул веревку на плечи молодого человека и с помощью державшего его парня завязал руки вора.

Мальпост остановился. Пассажиры с волнением вышли и вывели связанного.

— Что с ним делать?— спрашивали все Тургенева.

Тургенев пожимал плечами и говорил:

— Отпустить на все четыре стороны!

Немцы неодобрительно качали головами.

— Это невозможно! Мы обязаны доставить его как преступника до первого полицейского пункта и передать его в руки властей.

— Но в таком случае его придется иметь соседом в мальпосте!

Ражий парень со зверским лицом вдруг осклабился. Лицо стало необычайно добродушным и веселым.

— Ничего, пусть он будем моим соседом,— сказал он громко.

Приключение закончилось сдачей шуцману молодого человека, производившего прекрасное впечатление, ражим парнем, принятым за бандита. С момента этого происшествия сонливая вялость овладела Николаем Тургеневым. С ослабленным пульсом и веками, которые почти не держались на усталых глазах, он, поминутно вздрагивая и просыпаясь, продолжал путь, пропуская очередные остановки, почти не принимая пищи и чувствуя в короткие промежутки, проводимые без сна, приливы страшной тоски.

Дневник Н. И. Тургенева.

«С.-Петербург, 7 ноября. Я не записывал того, что я чувствовал при въезде моем в Россию и во время пребывания моего в Москве и здесь. Но чувства сии сильно запечатлелись в душе моей. Все, касающееся до России в политическом отношении, то есть в отношении к учреждениям и управлению, казалось мне печальным и ужасным; все, касающееся до России в статистическом смысле, то есть до народа, свойств его и т. п., казалось мне великим и славным; конечно, климат и не таковое инде благосостояние народа, каково бы оно быть могло, делают в сем последнее исключение. Порядок и ход мыслей о России, который было учредился в голове моей, совсем расстроился с тех пор, как заметил везде у нас царствующий беспорядок. Положение народа и положение дворян в отношении к народу, состояние начальственных властей, все сие так несоразмерно и так беспорядочно, что делает все умственные изыскания и соображения бесплодными. С тех пор как я здесь, замечания мои привели меня к еще более печальным результатам. Невыгода географического положения Петербурга в отношении к России представилась мне еще сильнейшею, в особенности смотря по нравственному отдалению здешних умов от интересов русского народа. Все сие часто заставляло и заставляет меня сожалеть, что я не искал остаться в чужих краях, то есть в Париже; но идея жить в чужих краях делается мне час от часу более знакомою. Бросить все, отклонить внимание от горестного состояния отечества, увериться в невозможности быть ему полезным,—вот к чему—думаю я часто—должно мне стремиться. Посвятить себя на службу не стоит труда по причине малой возможности быть полезным так, как бы мне хотелось. Приятностей жизни здесь нет, да я начинаю уверяться, что и нигде их для мыслящего человека не существует. Живя в Париже, можно вообразать по крайней мере, что живешь и наслаждаешься жизнью—в других местах и сего утешения иметь невозможно. Занятия здесь по службе, сколько я предвижу, не могут быть достаточными, *pour absorber l'âme et le coeur*¹. Что делать? Молчать и жить, почитая себя машиною. Но

¹ Чтобы поглотить душу и сердце (*фр.*).

зачем душа всегда желает перемен, желает лучшего и видит даже возможность сего лучшего? Зачем сердце не довольствуется собственным благополучием? Зачем оно предпочитает сему благополучие других?»

Не сразу и как-то медленно происходили встречи с друзьями. В отличие от прошлых лет не было сердечности и простоты. Улетучилось в пространство какое-то теплое вещество. Казалось Тургеневу, что надо всей землей индевет зимний сумрак, зябнут мысли и зябнет сердце. Сам не зная как, стал работать над планом *полного преобразования России*. Он пишет «План реформ на двадцать пять лет». Каждая часть плана осуществляется в одну пятилетку; в течение пяти пятилеток мир должен увидеть новую Россию. Но с чего нужно начать первую пятилетку? С подготовки человеческого материала. За пять лет отборная молодежь должна обучиться и детально разработать план финансов и народного хозяйства и приняться за его осуществление.

По вечерам перечитывая этот план, Николай Иванович самого себя считал наивным, но потом им овладевало бешеное, чисто тургеневское упорство, и он снова принимался за пересмотр и разработку деталей.

Посещал литературное содружество «Арзамас». Нащупывал почву.

Двенадцатого ноября писал: «Вчера был я при заседании «Арзамаса». Ни слова о добрых намерениях сего общества. После заседания говорил я с Карамзиным, Блудовым и другими о положении России и о всем том, о чем я говорю всего охотнее. Они говорят, что любят то же, что и я люблю. Но я той любви не верю. Что любишь, того и *желать* надобно. Они желают цели, но не желают средств. Все отлагают — на время; но время, как я уже давно заметил, принося с собою доброе, приносит вместе и злое. Вопрос в том: должно ли быть, что желательно? Должно. Есть ли теперь удобный случай для произведения чего-нибудь в действо? Есть; ибо такого правительства или, лучше сказать, правителя долго России не дождаться».

Воспитанник Лагарпа, друг Чарторыжского, проповедник либеральных идей, мог ли Александр I не откликнуться на призыв такого человека, как Тургенев? Очевидно, не мог, очевидно, законченный план новой России встретит его поддержку, если в числе первых актов Александра в 1816 году было назначение Тур-

генева помощником статс-секретаря Государственного совета.

Жили с братом Александром Ивановичем в его казенной квартире на Фонтанке в двадцатом номере, прямо против Михайловского замка, в третьем ярусе. Во втором ярусе жил министр просвещения и духовных дел, при коем состоял Александр Иванович.

На третий ярус взбегал по лестнице, шагая через четыре ступеньки, оттопыривая верхнюю губу на каждом прыжке, белокурый, с огромными голубыми глазами, только что кончивший лицей Александр Пушкин, стучал бешеными ударами в дверь и, уже в прихожей наполняя воздух шумом, смехом и остротами, врывается к хозяевам. Он был всеобщим любимцем. Он был так беспечен, так восприимчив ко всем явлениям жизни, так отзывчив на всякий отзвук явлений, что всюду, куда он приходил, он перестраивал мысли, разговоры, чувства и настроения. Два места любил он в те дни: кабинет Тургеневых, где можно было, лежа на большом столе для книг, писать стихи, петь и читать; невзирая на уговоры братьев, мешать им как угодно, декламировать, присев на стол и закинув ногу на ногу, оду «Вольность», написанную однажды на этом самом столе, и без конца слушать разговоры старших друзей. Здесь, в этом кабинете, в этих комнатах, как ему казалось, выковывались идеи нового века, создавались проекты новых цивилизаций, слышались отзвуки лучших культурных эпох. Катенин спорил с Вяземским о драматургии, Карамзин и Жуковский замолкали внезапно, когда звучные пушкинские строфы останавливали общую беседу.

Второе место — вход в Зоологический сад в час закрытия. Красивая билетчица подсчитывает последние алтыны и кредитки, потом, накинув легонькую мантилью на плечи, берет Пушкина под руку и садится с ним в экипаж.

Вяземский об этих проделках писал не без горя Тургеневым.

Куницын, Орлов и офицерство, приверженное новым идеям, были постоянными гостями дома на Фонтанке.

Насколько трудна была петербургская обстановка царской России для одного брата, настолько она была легкостью и приятностью для другого. Александр Иванович купался мыслью и нежился умом в беседах с просвещеннейшим дворянством. Снисходительно отно-

сясь к пушкинским шалостям, он считал Пушкина чуть ли не воспитанником своим. Будущее казалось ему прекрасным.

После первых столкновений с Александром на почве сомнений разговоры Николая стали более сдержанными, и в скором времени доверчивость между братьями уступила место традиционной официальной почтительности и традиционным семейственным чувствам. А между тем для сомнений Николая Тургенева возникало все больше и больше настоящих поводов. Чувство недоверия к словам Александра I охватывало наблюдательного Николая Тургенева все чаще и чаще при столкновении с делами. Слово настолько расходилось с делом, что это могли бы заметить и другие, если бы хотели, но уж слишком многие, уставши от войн, ушли и от либеральных идей. Николаю Тургеневу пришлось искать иные человеческие группы, а эти поиски требовали времени.

Ласковость Александра I была пленительна. Жестокость Аракчеева внушала всем ужас. Александр и Аракчев были неразлучными друзьями. Можно ли жить при таком противоречии и не видеть его? Николай Тургенев изнурял себя непосильной работой в департаменте, стремясь изучить финансовое состояние страны, и эта мучительная работа в ночные часы, когда уходили последние гости, когда на письменном столе догорала четвертая смена свечей, когда вороха бумаги, начиная от докладных записок и простых человеческих документов, доверху наполняли письменный стол, подтачивала его богатырское здоровье. Как часто встречал он наступление бледного туманного дня в Петербурге. Светлела узкая полоска над шторой, нагорали и оплывали свечи. Погасив их, Тургенев пил кофе и шел в Государственный совет.

В один из таких дней, под влиянием неожиданного импульса, встретив Аракчеева в пустынной галерее, остановил его словами:

— Алексей Андреевич, в Лондоне есть должность генерального консула не столь для защиты русских граждан, сколь для изучения тамошней жизни и торговли. Вы сейчас идете к государю, доложите мою всеподданнейшую просьбу о назначении в Лондон.

Аракчев просиял улыбкой. Этот либеральный барин, переставший быть россиянином, вскормленный европейскими мыслями, вдруг обращается с просьбой к нему, Аракчеву!..

— Беспременно скажу, Николай Иванович. В совете буду в два часа пополудни и ответ его величества передам.

Ответ был отрицательный. Александр внутренне разгневался, думая, что Тургенев замышляет побег. Через секунду с веселою улыбкою сказал:

— Скажи ему, Алексей Андреевич, что место это ниже его и вдобавок там мало жалованья.

Аракчеев передал в точности. Тургенев горестно опустил голову и, отходя с прихрамыванием по паркетам залы, произнес словно про себя:

— Не жалованья ищу, а полезной должности.

И эти слова были переданы царю. У Александра I были приступы сентиментальной восторженности. Слова Тургенева показались ему отзвуком его собственных розовых мечтаний «о полезной царской должности в Российской республике». Умилившись собственной чувствительности и не задумываясь над нелепостью этой мысли, Александр просил передать Тургеневу свое чувство восхищения этими бескорыстными словами.

В столовой Александра Ивановича в восемь часов вечера собрались к чаю все три брата по случаю приезда из деревни Катерины Семеновны. С матерью не виделись давно, и встреча была не из приятных. Катерина Семеновна стала стареть. Она ласково посматривала только на одного Сергея, без умолку болтавшего о парижских приключениях воронцовского корпуса, при котором он состоял штатским секретарем, вернее комиссаром по гражданским делам. Катерина Семеновна, перебивая его неоднократно, говорила, что жалеет о прихоти покойного Ивана Петровича, давшего всем троим своим детям заграничное образование.

— Вы и сейчас геттингенские студенты, а не российские дворяне; подождите, скоро будет конец вашему либеральному душку. За вас примутся, как и за других.

Николай хмурился, не произнося ни слова. Катерина Семеновна делала все, чтобы отравить встречу с сыновьями сварливым тоном и брюзжанием. Она обвиняла их во всех политических горестях Европы и во всех собственных помещичьих неудачах.

— Жаль, что не могу вас ни выпороть, как прежде, ни надрать вам уши,—с Волги до вас не достанешь; хоть

уши у вас выросли ослиные — через стол рукой достать можно.

Николай Тургенев сделал вид, что он не слышал материнского обращения. К тому представился хороший предлог. Пришел почтальон с рекомендованным письмом на имя Николая Ивановича. Прочел, порвал письмо. Лоскутки бумаги положил в карман.

«Надо ехать в Москву. Подпись на вызове С и Б — Союз благоденствия созывается для обсуждения вопроса о закрытии, прекращении своих действий. На душе тревожно».

С ловкостью опытного дипломата перевел разговор на тему о симбирской ткацкой фабрике, и через десять минут Катерина Семеновна, сама того не зная, с головой выдала себя как виновницу всех неполадок и неурядиц на фабрике.

«Так, матушка, — подумал Тургенев, — придется завтра же мне выехать в Москву, а оттуда поневоле съездить в Тургенево».

В Москву запоздал на три дня и едва успел переговорить с возвращающимся обратно Трубецким. Вечер провели вместе, твердо порешив на обломках развалившегося московского общества устроить новое в Петербурге Северное общество.

В Симбирске картину застал ужасающую. На тургеневской фабрике крестьяне работали посменно — как фабричные и как отбывающие барщину в поле. Катерина Семеновна, казалось, нарочно сделала все, чтобы создать нечеловеческую жизнь своим крестьянам. При громадном напряжении труда, при разбросанности сил на полевых работах и на ткацкой фабрике, имение не давало прибыли, а фабрика работала в убыток. Катерина Семеновна во всем обвиняла «проклятых мужиков». «Проклятые мужики» стонали и гнулись, но поправить хозяйского дела не могли, несмотря на сложную табель взысканий, которые все состояли из разных видов порки. В первый день неожиданного приезда первое впечатление — четырнадцать человек по очереди под розгой на фабричном дворе. Крестьяне со страхом ожидали новых распоряжений приехавшего барина. Но барин никого не взыскал, ни на кого не накричал, никого не поставил в рекруты не в зачет. Тогда испуг крестьян сделался всеобщим. Они привыкли к тому, что барыня распалялась яростью и гневом, и обильные связки лозинок расходовались после этих вспышек гнева в непомерном количестве.

Если в данном случае приезд барина сопровождался перерывом наказаний обычного свойства, то, значит, он выдумал нечто такое, от чего волосы должны стать дыбом.

Зловещий барин, хмурый, хромой на левую ногу, с недовольным видом ежедневно выезжал в поле, ходил по деревне и по двенадцати часов сряду не выходил из помещения фабрики. Наконец роковой день наступил. Приказано было в воскресенье, после полудня, собраться всем мужикам на фабричном дворе. Надели чистые рубахи, поплакали по домам и, почти прощаясь с семьями, пошли. Прождали недолго. Барин пришел, опираясь на трость, положил ее на некрашенный деревянный стол, вынесенный из фабричного корпуса, взглянул спокойными глазами на собравшуюся толпу и сказал:

— Фабрика у вас идет плохо. Работы кладете много, а толку получается мало.

— Батюшка, прости! — раздалось с разных концов. — Животы положим, лишь бы тебя не гневить.

Тургенев поднял руку. Лицо его болезненно искривилось. Он покачал головой и с глубокой горечью в голосе сказал:

— Я не о том говорю. С нонешнего дня у вас будет другой управитель, поставленный от меня, как от хозяина. Сегодня же выбирайте трех старост, по одному от цеха, и все непорядки, какие заметите, этим старикам докладывайте. Управитель фабрики есть доверенный от хозяина, а ваши три старика суть ваши защитники. Полевую барщину запрещаю назначать более трех дней в неделю. Ткачи и ткачихи барщину отбывают на фабрике два дня в неделю за жалованье. Понятно ли я говорю?

Никто не ответил. Шепот недоверия и удивления пробежал в толпе. Наконец вышел старик ткач Анисим, работавший на парусных фабриках князя Шаховского, и сказал:

— Ваше превосходительство, премного будем довольны, лучше пять дней работать будем, только не велите пороть.

Краска ударила в лицо Тургеневу.

— Кто приказал? — спросил он.

Молчание крестьян было настолько красноречиво, что Тургенев не переспрашивал.

— Телесных наказаний не будет, — сказал он. — Но не бывает так, чтобы виновных не было. На виновных

придется налагать штраф, а размеры его определит ваш выборный фабричный суд. Выбирайте по цехам доверенных людей, поручите им сбор денег на случай чьего-либо несчастья. Я вам помогу как умею.

Гул одобрения пронесся в толпе. Крестьяне зашевелились. Тургенев предложил тут же в его присутствии произвести выборы. Два часа гудела крестьянская толпа. Через два часа к Тургеневу подошли восемь человек — пять для суда и кассы взаимного вспоможения и трое «стариков», выбранных для защиты крестьянских интересов.

Вечером Тургенев был в Симбирске и из разговора с губернатором с удивлением заметил, что ему, губернатору, известно все до мелочей из происхождения этого знаменательного для Тургеневки дня.

— Опасное вы дело затеяли, Николай Иванович, — сказал старик, проходя мимо Тургенева. — Смотрите, как бы не взбунтовалась вся губерния!

Месяц прошел со дня введения нового управления фабрикой, когда в одно прекрасное утро бубенцы, глухари и поддужный колокольчик возвестили Николаю Тургеневу, сидевшему в старой детской комнате, откуда были видны заволжские леса и степи, что приехала Катерина Семеновна. Гнев ее был безграничен. Она решительно потребовала отмены всех разорительных новшеств, хотя не могла не отметить чрезвычайную чистоту фабричного двора налаженность в работе и какой-то здоровый и спокойный дух ее крепостных. Эти явления скорее подействовали на нее отрицательно, но решительности ее тона был сразу же дан отпор. «Нашла коса на камень», — говорили мужики, проходя мимо окон и слушая, как из столовой несутся крики и брань Катерины Семеновны и непреклонный, сурово-почтительный, твердый голос ее сына. Николай Тургенев говорил в ответ на бранчливые крики своей матери:

— Матушка, опасайтесь меркантильной заразы. Фабричная затея на принудительной барщине есть дворянская химера.

— Ах ты! — восклицала Катерина Семеновна.

Тургенев, вежливо поднимая руку, говорил:

— Дайте мне кончить, матушка! Я изучал экономику. Я знаю, что купец, устроивший свою фабрику по коммерческому порядку, следственно платящий своим работникам по вольной цене, получает и всегда получать будет

более дохода, нежели помещик, у которого на фабрике работают его крепостные люди, без вольной платы.

— Тогда лучше я фабрику закрою.

— Да, лучше закрыть, чтоб не разориться, матушка,— говорил Тургенев.— Но помните, что я уже дал распоряжение о полной отмене полевой барщины. Земледелие в России не делает почти никаких успехов, а состояние наших земледельцев едва ли не то же самое, каково оно было при царе Алексее Михайловиче.

Как ни кипятилась Катерина Семеновна, но повернуть по-своему решение сына не смогла. Закрыв фабрику и отпустив ткачей в деревню, выдав им отпуска на оброк в чужие промыслы, он выехал в Петербург. Сергея уже не было. Александр Иванович отнесся к операциям брата в деревне сочувственно, но без горячности. Да ее и не ожидал Николай от старшего брата. Гораздо более близким ему оказался Сергей. Ему-то он и написал двенадцатого сентября из Петербурга о результатах симбирской поездки:

«Вот тебе отчет о моем путешествии в нескольких словах. Я нашел, что работа крестьян на господина посредством барщины есть почти то же самое, что работа негров на плантациях, с тою только разницею, что негры работают, вероятно, каждый день, а крестьяне наши— только три дня в неделю, хотя, впрочем, есть и такие помещики, которые заставляют мужиков работать 4, 5 и даже 6 дней в неделю. Увидев барщину и в нашем Тургеневе, после многих опытов и перемарав несколько листов бумаги, я решился барщину уничтожить и сделать с крестьянами условие, вследствие коего они обязываются платить нам 10 000 в год (прежде мы получали от 10 до 15 и 16 тысяч). Сверх того, они платят 1000 на содержание дворовых людей, попа и лекаря, с которым я заключил контракт на 2 года... Сверх того, я стараюсь теперь сколь возможно скорее уничтожить существующую у нас там фабрику, на что и матушка согласна. Оброк матушке не нравится».

Глава двадцать четвертая

— Пока солнце взойдет, ночная роса глаза выест,— проговорил молодой офицер, сидя за столом и попивая небольшими глотками красное вино.

— А что б ты предложил, Каховский? — спросил его собеседник Якубович.

— Что я предложил бы? Спрошу тебя, как бы ты назвал тесное содружество людей, вознамерившихся спасти человеческое общество?

— Я назвал бы его Союзом спасения.

— Вот об нем-то я тебе и говорю. Не желаешь ли быть членом оногo?

— Всеми помыслами желаю, — отвечал Якубович. — Но что для этого сделать надо?

— Протянуть мне руку в знак согласия.

Якубович положил правую руку на стол ладонью вверх. Каховский пожал эту руку со словами:

— Разве можно обещания улучшенных правлений и чуть ли не республики нарушать так, как сделал это царь? За девятнадцать лет правления его изменились только формы мундиров гражданских. Но посмотри, что происходит! Со дня вооруженного истребления крестьян помещицей Анненковой в Курской губернии недели не проходит без деревенских пожаров. Красный петух гуляет по России. Ни осенний дождь, ни зимний холод остановить его не могут, ибо вместо уничтожения рабства мы видим рабство еще более тяжкое — крестьянин из подневольного холопа превратился в машину. Он свой досуг, свое скудное время отдыха обязан строить по аракчеевскому ранжиру в военных поселениях. Тяжкая работа с плугом и сохою вместо отдыха чередуется с муштрою военною, но, значит, силен гнет, если три года не можем усмирить бунта военных поселенцев Новгородской губернии. На землях Буга вся уланская военная дивизия восстала, а почти на наших глазах военнопоселенцы чугуевских и таганрогских полков прямо пошли на смерть, не смогли вынести тягчайшего ига, о коем не ведали рабы Древнего Рима и Египта.

— От красного вина ты красно говоришь, — сказал Якубович.

— А ты для красного словца не пожалеешь родного отца, — возразил Каховский. — Что я сказал неверного? Не от красного вина, а от красных кровавых луж, затопляющих деревни военнопоселенцев, болит мое сердце. Смотри, близок час, когда красный фригийский колпак покажется на площадях Петербурга. По Чугуевскому и Таганрогскому делу схвачены и брошены в тюрьмы две тысячи человек, и среди них не только

холопы, а пятьдесят шесть офицеров, пошедших рука об руку с угнетенными. Разве это спокойная страна, разве можно задавить миллионы живых людей без того, чтобы они не закричали? А кто главный советчик царский? Образина, нетопырь Аракчеев, нынешний единственный докладчик по делам Комитета министров. Знаешь ты Ждановское дело, как в Комитете министров гладко сначала шла жалоба ждановских мужиков на продажу с раздроблением? Там ведь такое творилось, что волосы дыбом станут. Подумать страшно, что год тому назад это дело начато и еще не кончено до сегодня. Ты поставь себя в позицию мужа, от которого продают жену в другую деревню, в неволю, во время рекрутчины. Что бы ты стал делать? А вот курский помещик это делал и сейчас делает, хотя жалоба на него и лежит в Комитете министров. Хуже всего, что по указу Петра, напечатанному ровно сто лет тому назад, продажа крестьян не только без земли, но и порознь из одной семьи почиталась преступлением, а вот теперь спаситель Европы от варваров сам не может остановить варварских деяний своих разгулявшихся помещиков. Аракчеев даже не докладывает. Царь хмурится при слове «крестьяне».

— Что же, по-твоему, делать надо? — спрашивал его Якубович. — И не пошатнется ли государство от поспешного освобождения крестьян?

Каховский желчно усмехнулся.

— Вопрос твой подобен ребячеству. Не будет ли мне хуже оттого, что мне будет лучше? Прочти «Опыт теории налогов» Николая Тургенева и увидишь, из чего складывается богатство государства. Освободить крестьян выгодно, не только что человечно.

— Тургенев это почти что вельможа? — спросил Якубович. — Будущий министр, как о нем говорят. Знать его не хочу!

— Жаль, — сказал Каховский. — Ты и брата его не любишь?

— А брата терпеть не могу. Он задавил католиков. Правда, хорошо, что выгнал иезуитов, но уж очень он какой-то... не поймешь его, весь чужой, не русский. Тоже, кажется, обременен государственными делами по горло.

— Не русские-то они, пожалуй, все не русские, кроме разве умершего Андрея. Учились они в немецких землях, но знаешь, Якубович, ежели, чтоб быть русским, надо быть хамом, не хочу быть русским.

— Ну, допили вино, я пойду.

— Хорошо, брат, ты ради вина ко мне пришел — мог бы в трактире у Демута напиться.

— Я трактиры лучше Демута знаю. Пойдем со мной! Или сыграем партию в шашки.

— А я советую, — сказал Каховский, — в другое пройти место.

Вышли на берег Невы. Неуклюжий широкий пароход Бердовской компании «Елизавета» пыхтел, пробираясь от Биржи к Балтийскому порту. Яркое солнце светило. Нева была спокойна и отражала белесоватое небо. Яркое горело шпиль Петропавловской колокольни, и адмиралтейский корабль на острой золотой игле купался в синем майском воздухе. Шли молча, каждый неся свои думы. Около Миллионной взвод Семеновского полка, сверкая на солнце гигантскими киверами, прошел словно призрак из племени сказочных гигантов.

Дворцы, немые и таинственные, огромные, как сооружения египетских времен, молчаливо смотрели на Неву, люди казались маленькими, у подъездов и вестибюлей, под колоннами и кариатидами, несущими балконы дворцов, человеческая порода мельчала, и, торжествуя попирая ногой отдельные личности, надо всем Санкт-Петербургом осуществляла свою власть идея императорской России.

— Знаешь, Якубович, — сказал Каховский, — мне недавно шведский адмирал за пуншем сказал, что «Нева» не русское слово: Нью — значит новая, молодая река. Знаешь, конечно, я офицер, мне можно не заниматься науками, однако ж я был у Николая Петровича Румянцева. Старик говорит: «Васильев остров и Петербургская сторона были известны еще старинным новгородцам, и псковская летопись упоминает остров святого Василия и Фомин остров». Я кричал на ухо бывшему канцлеру: «Там, говорю, еще упоминается финский остров Сандуй». А он мне с трубкой около уха, щуря глаз, говорит: «Санкт-Петербург, знаешь, что такое Санкт-Петербург? Город святого Петра, апостола, отверзающего двери ада и рая...»

Александр Иванович Тургенев пробудился от послеобеденного сна. Встал, надел шлафор и мягкие туфли. В устах его звучали слова:

Отуманилася Ида,
Омрачился Пелион.
Спит во мраке стан Атрида,
На равнинах битвы — сон.

Прошел по комнате раза три, подумал: «Что за чудо этот Жуковский? Ведь эти строчки о похоронах Ахилла способны довести до самозабвения».

Где сталятся робки лани
Вкруг оставленных могил.

.....

.....

Ты не жди, Менетий, сына —
Не вернется твой Ахилл...

.....

Раздался стук в дверь. Прихрамывая, вошел Николай Иванович.

— *Ecoutez, mon cher,* — сказал он по-французски, — *de connaissais votre ami Pouchkine, qui vient de disparaître*¹.

Александр Иванович остушился, скинув туфлю и оттопырив большой палец левой ноги, сел, опустив руки по налокотникам большого кресла.

— Как? что? — спросил он.

— Да, да, — сказал Николай Иванович, переходя на русский язык. — В нашей трактирной империи все идет вверх дном: только что успокоились оттого, что хамы и канальи отправили моего единокровного брата и лучшего друга Сережу в Константинополь, где свирепствует чума, а тут еще этого весельчака арапа, не то Ганнибала, не то Пушкина, черт его знает кто... отправили в ссылку на юг. Все для того, чтобы лучшие люди подошли позорной смертью. Объясните мне, пожалуйста, Александр Иванович, что это все значит? Неужели за те стихи, что спрятаны у вас в бюваре?

Александр Иванович ничего не мог объяснить. Он сидел в кресле желтый, с повисшими руками, с отвисшей нижней губой и говорил:

— Сверчок, сверчок, что с тобой случилось? Как я тебя торопил, чтобы ты кончил поскорее «Руслана». О каналья, о сокрушитель сердец, Сашка, Сашка, негодяй, не я ли выполнял все твои прихоти, дарил мои последние деньги всем, кому ты укажешь.

¹ Послушайте, мой дорогой, я был знаком с вашим другом Пушкиным, который недавно исчез (фр.).

— Ну, положим, Alexandre, деньги у вас далеко не последние!

Александр Иванович успокоился, подошел к письменному столу, вынул листок желтой бумаги и стал читать, пользуясь терпеливым слушанием брата:

Тургенев, верный покровитель
Попов, евреев и скопцов,
Но слишком счастливый гонитель
И езуитов, и глупцов,
И лени моей бесплодной,
Всегда беспечной и свободной,
Подруги благодатных снов!
К чему смеяться надо мною,
Когда я слабою рукою
По лире с трепетом вожу
И лишь изнеженные звуки
Любви, сей милой сердцу муки,
В струнах незвонких нахожу?
Душой предавшись наслажденью,
Я сладко-сладко задремал...

Один лишь ты с глубокой ленью
К трудам охоту сочетал;
Один лишь ты, любовник страстный
И Соломирской и креста,
То ночью прыгаешь с прекрасной,
То проповедуешь Христа.
На свадьбах и в Библейской зале,
Среди веселий и забот,
Роняешь Лунину на бале,
Подъемлешь трепетных сирот;
Ленивец милый на Парнасе,
Забыв любви своей печаль,
С улыбкой дремлешь в Арзамасе
И спишь у графа де Лаваль.
Нося мучительное бремя
Пустых и тяжких должностей,
Один лишь ты находишь время
Смеяться лени моей.

Не вызывай меня ты боле
К навек оставленным трудам.
Ни к поэтической неволе,
Ни к обработанным стихам.
Что нужды, если и с ошибкой
И слабо иногда пою?

Пускай Нинета лишь улыбкой
Любовь беспечную мою
Воспламенит и успокоит!
А труд—и холоден, и пуст:
Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст!

Глава двадцать пятая

Неподалеку от Неаполя есть маленький городок Нола. В городе были казармы драгунского полка. Старые драгуны помнили далекую северную страну, с которой пришлось столкнуться дважды: за Альпами в качестве побежденных, в московских снегах в качестве победителей. Испытав в жизни много, эти люди сами были готовы на многое, а самое заветное их желание—это было увидеть Италию свободной страной. Люди, жившие на Апеннинском полуострове, говорили одним языком, но делились на десятки государств, враждовавших друг с другом, благодаря искусственно подогретой вражде. Австрия была главной владетельницей Италии. Она диктовала мир и войну, она брала налоги, она под разными предлогами заставляла мирных крестьян в долинах и пастухов в горах работать на себя. Австрия в Италии все разъединяла и надо всем властвовала. Для борьбы с этой политикой поработорительницы Италия пошла на организацию тайного общества. Оно было названо союзом угольщиков, по-итальянски «карбонарии». Эти угольщики повсюду имели свои организации—венты, баракки, форесты, мелкие и крупные объединения. Вента состояла из двадцати человек, и только один из них был связан с вентой другого места. В глухих лесах, где жгли уголь, устраивались сходки, сговаривались о сроках и способах связи. Так постепенно разъединенная сверху Италия объединялась в низах и подпольях. Самое большое и самое тесное объединение представляли собою войска. Ненавистные для Италии имена полков не делали солдат враждебными своей стране. Поэтому в тот день, когда драгуны получили известие об испанской революции, о том, что «Риего и Квируга подняли восстание во имя свободы своей страны», офицеры и солдаты Бурбонского драгунского полка в ноланских казармах не выдержали и, быстро поседлав лошадей, полетели в Неаполь. Они

выстроились перед дворцом короля; во мгновение ока по сигналу присоединились к ним восемь тысяч карбонариев. Криками они вызвали Фердинанда на балкон и потребовали от него отречения или признания прав народа. С этого дня началась итальянская революция. Движение перекинулось на север, перевороты совершались повсюду, и эти события вызвали тревогу в сердцах самодержавных государей севера.

В Царском Селе, в маленькой комнатке, обитой палевым штофом, с светло-голубыми, почти стальными карнизами из шелка и панелями серого цвета, на маленьких, почти игрушечных креслах, за маленьким столом из серого полированного мрамора сидели друг против друга Александр и Аракчеев. Серые фарфоровые чашки с густым переваренным чаем стояли перед ними. Александр любил этот напиток, отбивающий сон. Аракчеев делал вид, что тоже любит, хотя в своем Грузине, новгородском имении, в такие вечера предпочитал выпить с любовницей Настасьей Минкиной стакан анисовой водки, укрепляющей мужественность.

Нервы русского самодержца расходились; он был то очень грустен, то возбужден, на Аракчеева смотрел с надеждой. Аракчеев чувствовал это и хотел поломаться.

— Да, государь,—говорил он,—кабы я тогда был в Питербурге, твоего дражайшего родителя не тронула бы святотатственная рука заговорщиков, а сейчас я уж никуда от тебя не поеду.

Александр опустил руки и поник головой. Рядом, по дивану, были разбросаны депеши и синяя папка с запиской Каразина о дворянской конституции. Александр смотрел на эту папку с выражением какого-то ужаса, и взгляд его переходил от иностранных депеш, сообщавших о ходе европейских революций, на эту каразинскую папку, казавшуюся все более и более страшной.

— Где он? — спросил Александр, кивком головы указывая на папку.

— В Шлиссельбурге, государь. Стриженная девка косы не заплетет, как он ладожской воды нахлебается. Знаю, что и не попытаются они его спасти.

— Кто они? — спросил Александр.

— До времени не тревожься, государь. Сам веду дело и сам все узнаю. Карбонарии есть повсеместно, я всех их знаю в Питербурге. Об одном прошу, как о милости: пятеро их вскоре повергнут к высочайшему престолу ходатайство об учреждении добровольного общества в пользу освобождения холопей,—отвергни их, государь, отвергни, ваше величество, ради незабвенной памяти покойного твоего родителя, дабы они не положили начало новому якобинству в Питербурге.

Александр ничего не ответил и закрыл лицо руками. Аракчеев ехидно улыбнулся, зная, что Александр его не видит.

Чаепитие продолжалось еще около часу. Александр с восторгом говорил об организации на Карлсбадской конференции держав международной следственной комиссии по ликвидации революционного движения Европы. Ему нравилась мысль конференции об организации инквизиции в Майнце, и его в восторг приводила мысль о возникновении новой «христианской Европы, белой и чистой». Он сам считал целесообразным «жесткой метлой и стальной щеткой смывать кровавый позор европейских революций». В глубине души он был убежден, что его детские увлечения либерализмом никак не отразились на состоянии умов людей, его окружающих, и что они, эти люди, всегда готовы считаться лишь с мыслями его теперешнего дня.

По уходе Аракчеева он стал на колени в моленной комнате и, перебирая четки, клал положенные две тысячи поклонов. Огромные залысины на лбу от висков покрылись потом и красными пятнами, а царь все еще молился. Аракчеев в пять часов утра приехал в Петербург. На Кирочной, в канцелярии, явился к нему невзрачный человек с подслеповатыми, слезящимися глазами и бородой, похожей на банную мочалку в мыле. Аракчеев шепотом начал говорить с ним.

— Ну, где ж они хотят встретиться?

— В английском портовом трактире, ваше сиятельство.

— Встречи не допускай! А ежели на улице захочет подойти, то прямо хватайте—и в воду. С полицией устрой драку, ежели вмешается. Побег—знаешь куда. Пусть туды хоть сам полицмейстер приедет, там тебе крысиная нора—катайся как сыр в масле.

— Слушаю, ваше сиятельство. Я боюсь только, что к

господину Николаю Ивановичу Тургеневу и другой посланный есть.

— А ты узнай! Что мне до твоих боязней — «боюсь», «боюсь». Экий хам, рыжий дурак, ты эти штуки мне оставь. Пошел!

В широкой шляпе, закутавшись клетчатым пледом, раскуривая толстую трубку и закрываясь клубами дыма, уже два часа сидел после обеда Николай Тургенев в английской таверне. Никто не приходил, а между тем именно в этом костюме обещал он встретиться с незнакомцем, которого ни разу не видел и который был к нему послан.

Тургенев, «следственно, не мог бы его узнать», но тот узнать его мог. Вышел. Отправился пешком. Шел долго, инстинктивно выбирая не прямую дорогу. Ветер едва не срывал шляпу. Косой дождь засекал и крупными каплями бежал за шею. Края пледа щелкали, как бичи, намокшие и все же поддававшиеся капризному, рвущему ветру. Так дошел до дому, все надеясь, что по клетчатому пледу нужный человек узнает в нем Николая Тургенева. У самых ворот увидел толпу народа, человек шестьдесят стояли неподвижно. Дурное предчувствие кольнуло сердце. Тургенев ускорил шаги.

Что бы могло случиться, что привлекло эти десятки людей к воротам жилища?! С тревогой подошел он к набережной. Матрос и городской обшаривали утопленника, положенного на куске парусины. Грязная, мутная, черная Фонтанка не успела еще зачехлить выловленного из нее человека. Пока полицейский выворачивал ему карманы, отжимая одежду и расстегивая грудь, Тургенев успел рассмотреть утопленника. Маленькая фигурка, тщедушное тело, борода рыжая с клоками, веки, покрытые треснувшими жилками, руки скрюченные, как петушиные лапы, маленькие, костлявые, желтые — типичный писарек из канцелярии. А из кармана достали документ потрясающего значения. Только Тургеневу и решился показать городской этот документ. Агент тайной полиции Полбин, имевший право без доклада входить к всесильному Аракчееву. Повернули Полбина спиной кверху. Матрос выругался:

— Черта мы с ним возились! Ведь он убитый, а мы добрый час его качали. И как это кровь не пошла?

Череп был проломлен.

— Это работала железная рукавица,—сказал городской,—с одного разу. А кровь вся в воде вытекла.

Вернувшись домой, Тургенев писал в дневнике, на полях против места:

«29 марта. Вчера получили здесь известие, что король гишпанский объявил конституцию кортесов. Слава тебе, славная армия гишпанская! Слава гишпанскому народу! Во второй раз Гишпания доказывает, что значит дух народный, что значит любовь к отечеству. Бывшие нынешние инсургенты (как теперь назовут их? надобно спросить у Фуше), сколько можно судить по газетам, вели себя весьма благородно. Объявили народу, что они хотят конституции, без которой Гишпания не может быть благополучна; объявили, что, может быть, предприятие их не удастся, они погибнут все жертвами за свою любовь к отечеству; но что память о сем предприятии, память о конституции, о свободе будет жить, останется в сердце гишпанского народа».

Поперек текста на поле: «Вторник, 30 марта, $\frac{3}{4}$ 11 ночи. Сегодня поутру занимался устройством библиотеки. Обедал в английской таверне. Возвращаясь домой, видел, как против наших окошек откачивали утопшего в Фонтанке. Качали долго, но без пользы. Наконец унесли. Странны люди! Стараются воззвать к жизни умершего, а о живых мало думают...»

Через минуту перевернул страничку назад. Там написано было: *«Теперь я слышал, что приехавший некто из Берлина говорит, что сам видел на улицах знаки неудовольствия против короля. Требуют конституции. Гишпания! Гишпания! Без знаков неудовольствия—тут узнаю я народ истинный!»*

Задумался. Удивился, отчего этот приехавший некто не явился. Затем почти машинально, для того чтобы не забыть, зачеркнул слово «некто» и подписал: «полковник Базень».

Полковник Базень в штатском платье решил не идти в английскую таверну, а дожидаться Тургенева на набережной Фонтанки. Он простоял час, опершись на перила и смотря на грязную воду, как вдруг кто-то схватил его за ноги и сошвырнул через перила. Во мгновение ока вспомнилась кавалерийская вольтижировка. Левой рукой схватившись за якорное кольцо, Базень перекинул ногу через перила и секунду спустя стоял перед плюгавым

человеком, едва его не утопившим. Прежде чем тот успел броситься на него с ножом, Базень успел стукнуть его германским кастетом. Спокойно сошвырнув в воду аракчеевского шпиона, потом быстрыми шагами ушел с набережной.

Аракчеев сидел и дремал в кресле в своей канцелярии. Железная банка с чернилами и гусиными перьями, бронзовая песочница и разбросанные документы лежали на столе. Проснувшись, Аракчеев запустил щепотку в табакерку, нюхнул два раза, чихнул в синий фуляровый платок и ответил самому себе вслух:

— Нет, арестовывать Базеня нельзя, этак можно весь выводок распугать.

— Николай, ты дома? — спросил Александр Иванович, входя к брату.

Тот быстро закрыл дневник, встал и подвинул второе кресло, приглашая Александра Ивановича сесть.

— Ну, я просьбу твою исполнил, — сказал Александр Иванович. — Вот как обстоит дело. Постарайся месяца за два закончить и юридически проработать устав нашего общества, а Воронцов, Меншиков, Потоцкий и Петруша Вяземский согласились стать учредителями. Название дадим «Общество содействия освобождению крестьян».

Николай Тургенев встал и с важностью пожал руку брату.

— Благодарю вас, — сказал он. — Все это будет сделано. Надо надеяться, что власть наша хоть и самодержавная, но примет во внимание голос благоразумия.

Разговор перевели на другие темы. Александр Иванович был в хорошем настроении, смеялся, рассказывая о назначении Пирха командиром Преображенского полка.

— Подумаешь, какая радость — назначение этого ультрачерного человека! Недаром офицеры, повидавшие Париж и Европу, говорят, что Преображенский полк «попирхнулся», как бы армия не подавилась от такого попиршения.

— Считаю целесообразным сообщить вам, Александр Иванович, что без армии никакое освобождение страны невозможно.

Александр Иванович поднял глаза.

— Что ты хочешь сказать? — спросил он.

— Хочу сказать, что в армии у нас сейчас самая образованная часть общества. Без образованности невозможно провести реформу, без оружия невозможно ее удержать.

— Значит, о чем же идет речь? Будем говорить без обиняков: о перевороте государственном?

— Да,— жестко ответил Тургенев.

Голос его прозвучал металлически. Сам он стал похож на стальную машину. Взяв трость, подошел к мраморному столику и со всего размаху ударил ею по мраморным плиткам. Обломки трости и осколки мрамора посыпались на паркет.

Александр Иванович смотрел спокойно и сказал:

— Привык тебе верить. Твоя дорога—моя дорога. В успехе сомневаюсь, идею одобряю.

— Александр Иванович,— возразил Николай,— здесь одобрения мало. Пора почувствовать, до какой степени, до какого градуса накален весь честный и думающий Петербург, и если вы имеете в наследство от незабвенного родителя повеление истинной гуманности, то как можно тут раздумывать? Не сами ли вы оказываете покровительство лицам, гонимым от правительства. Кто изгнал вашего любимца Александра Пушкина? И кто его приютил, кто давал ему воспитание мыслям, кто воздухом свободы овеял молодую его музу, кто в «Арзамасе» произносил речи о свободе человеческих мнений, о свободе совести, о мире и братстве народов? Так что же нам теперь таиться друг от друга? Ежели азиатский деспот не идет на уступки, история кажет нам путь к его уничтожению.

— Нет, нет!— закричал Александр Иванович.— Только не это! Не вынесу крови! И моя рука ее не прольет!

— Хорошо,— сказал Николай,— тогда чужая рука прольет нашу кровь. И с этим можно помириться, если бы кровь наша могла растопить полюсы северные и южные, если бы льды деспотии, стесняющие прекрасную человеческую личность, могли растаять под горячим паром кровоточащего борца за идею. Но скудной крови нашей не хватит, и в той мере, в какой мы сами готовы пролить эту кровь, быть может, мы имеем право твердо сказать о пролитии крови враждебной.

Николай Тургенев представлял собою в момент произнесения этих слов картину исключительного спокой-

ствия личности. Глаза его были ясны, фигура спокойна, и ничего в нем не осталось от вспышки бешенства человека, сломавшего трость о мозаичный стол.

Наступил июнь месяц. Восхитительные белые ночи царили над Петербургом. По Невскому из театра шел Николай Тургенев, празднуя тридцать лет своей жизни. Легкомыслие и веселость геттингенского студента чувствовались в его походке. Несмотря на хромоту, он не шел, а танцевал по тротуару. Широкие тротуары Невского проспекта, с огромными каменными плитами, казались ему бальными паркетами кассельского курзала. Не хватало только Лотты, чтобы покружиться в легких вальсах и вольтах под звуки Моцартовой музыки. В ушах пели восхитительные, победные, прекрасные мелодии Каталани, лучшей певицы в мире.

— Что это за голос! — говорил вслух Тургенев. — В нем и солнце Пиренеев, и горное эхо Апеннин. То ли она испанка, то ли она итальянского племени, странная женщина с потоками восточного огня в голосе, загорелая, смуглая, с черными глазами. И звук голоса совершенно не похож на человеческий голос. Это звук самой природы, дикой, необузданной и изощренной.

Около полночи пришел домой. Голова кружилась и пьянела от голоса Каталани. Спать не мог, до такой степени в крови звучали призывы к новым, небывалым ощущениям жизни. Чтобы хоть сколько-нибудь прийти в себя, открыл зеленую тетрадь и записал:

«Вторник. Три четверти двенадцатого ночи. Не Каталани привела меня к этой книге. Вчера я ее слышал: восхищался — забыл, что я в несчастном моем отечестве, посреди варваров, дураков, неприятелей его. Так! Люди благонамеренные везде здесь встречают недоброхотов, противников. В мае месяце вместе с весною расцвела было в сердце моем надежда на что-нибудь доброе, полезное в отношении к крепостным крестьянам. Воронцов, Меншиков вознамерились работать к освобождению своих крестьян. Воронцов предуведомил государя. Он согласился. Открылась подписка. Подписался Васильчиков и на другой день потребовал свое имя назад; но, получив бумагу, утратил честь. Открылась подписка. На этой и я подписался, после Воронцова, Меншикова, другого Воронцова, Потоцкого, брата и вместе с князем

Вяземским. Кочубей, доложив по сей подписке государю, объявил, что общество и подписки не нужны, а каждый может свои намерения, в рассуждении крестьян, сообщать министру внутренних дел. Кажется, на этом все и остановилось. Вяземский завтра едет или уже уехал сегодня.

Нечего тут говорить, даже и мне самому с собою. Безднадежность моя достигла высочайшей степени. Пусть делают обстоятельства то, чего мы сделать и даже начать не можем. Что меня может привязать к теперешнему моему образу жизни и службы? Все для меня опостылело. Идея, бывшая у меня в голове прежде, очень меня занимает теперь: надобна помощь в жизни, и в жизни столь скучной, прозаической, безнадёжной. Но идея эта, представляя много приятного, вместе и устрашает. Может быть, несбыточность желания будет полезна—но что еще может быть для меня полезно? Скучная, мрачная будущность, одинокая старость, морозы, эгоисты и бедствия непрерывные отечества—вот что для меня остается!»

— Как тебе понравилась Каталани? — спросил, входя, Александр Иванович.

— Восхитительна,—ответил Николай.—Но не Каталани привлекла меня к дневнику, а мысли о том, что до сих пор нет разрешения нашему обществу.

Александр Иванович подошел к столу и длительно, минут двадцать, объяснял брату причины неудачи проекта. Он изложил ему все петербургские сплетни последнего времени и сообщил, что, конечно, в Петербурге, за пределами небольшого круга военной молодежи, их имена становятся именами чужаков и людей небезопасных.

— Наше геттингенское образование, наши европейские идеи не вызывают ничего, кроме зависти глупцов и ненависти дураков. Невежественный разночинец и хам-помещик, встречающий пьяною икотой слово «свобода», одинаково суть наши враги. Невежественность и хамство завистливы к таланту и образованию,—вряд ли можем рассчитывать на сочувствие даже тех, за кого мы хлопочем. Лишь признательность будущих поколений может служить нам утешением. Государь под гнетом своей варварской страны стал склоняться к утешениям религии и к упованиям несбыточным. Хорошо ли, уповая на царство небесное, оставлять в небрежении миллионную

участь подданных царства земного. Баронесса Крюденер и какие-то сомнительные, недоброкачественные персоны окружают сейчас российского венценосца, создавая при нем то дождь, то ведро. Об нас с тобою говорят, что мы, как малоземельные помещики, выступили лишь потому, что мы бедны. Этим объясняли наш либерализм.— Николай Тургенев потерял равновесие, сдернул скатерть со стола. Посуда загремела об пол. Он закричал:

— Канальи, хамы, сукины дети, все в них измеряется корыстью и барышом. Проклятый торгашеский век! Людское качество стало низко с водворением в Европе торгового сословия, а у нас холопы обезумели от непосильного труда, а помещичье хамство ничего, кроме своей утробы, не видит. Наступающий ему на глотку новый хам—купец—не содержит в себе ни гуманности, ни образования—как есть толстосум, хам, попирающий ногою цивилизацию и гуманность.

Александр Тургенев, сжав руки, заходил по комнате.

— Думается мне, зря ты горячишься,—сказал он.— Васька каторжник, матушкин крепостной, говаривал: «Плетью обуха не перешибешь».

Николай Тургенев вздрогнул.

— В таком случае, не обух, а лезвие самодержавного топора скинет наши головы с шеи. Что делать, что делать?

— Что делать сейчас, я тебе скажу. Сейчас—лечь спать и успокоиться. Не думаю, чтобы все погибло. Не сам ли ты говорил мне неоднократно, что ни одна справедливая мысль не умирает...

— Вы правы, Александр Иванович. Простимся, я лягу.

Однако по уходе брата Николай Тургенев не лег. Он долго сидел, читал, потом стал заниматься деловыми бумагами и наконец снова, не могши одолеть искушения, раскрыл страницу дневника и записал:

«Половина девятого утра. Подписка наша стала известною. Она никому не понравилась, и государь признал ее ненужною. Публика восстает в особенности против наших имен; претекст ее—небогатство наше, малое число наших крестьян. Я предполагал, что этого претекста недостаточно: искал его в аристократическом образе мысли наших богатых или знатных людей—есть ли, впрочем, эти архихамы имеют что-нибудь общего с какими бы то ни было аристократами. Наконец, услышав

и то и другое, я покуда уверился, что негодование против нас происходит оттого, что о нас разумеет эта публика как о людях опасных, о якобинцах. Вот, как мне теперь кажется, вся загадка. Гурьевы, и мне в особенности называли Ал. Гурьева, кричат против нас, и со всех сторон все на нас вооружились, одержимые хамобесием. Пусть их хорохорятся.

Ах вы хамы! Для моего самолюбия недостает только того, чтобы вы были менее презрительны, дабы я мог гордиться вашим негодованием, вашею ненавистью!»

Глава двадцать шестая

Огромный стол, красная суконная скатерть с гербами, золотые кисти и золотая бахрома до самого паркета. Кресло близко придвинуто к столу. Чернильницы, карандаши, белые листы бумаги—все говорит о том, что заседание готовится, но еще не началось. Гоффурьер в белых атласных чулках неслышными шагами, как мышь, шмыгнул из двери в дверь. Старый толстый дворцовый камердинер вошел в залу и положил огромный портфель из зеленой крокодиловой кожи с балтийским золотым гербом и с надписью латинскими буквами: «Барон Розенкамф—Государственный совет». В двух шагах через комнату у дверей стояли часовые Преображенского полка. Это были какие-то каменные изваяния, священнодействующие фигуры, уставившие глаза в одну точку, держащие ружье у ноги, абсолютно неподвижные, щеголеватые, совершенно одинаковые друг с другом настолько, что их можно было принять за восковые фигуры, нарочно сделанные по одному образцу причудливым скульптором. За дверьми был кабинет царя. Через комнату рядом красная скатерть и кресла ожидали заседание Государственного совета. Через залу, гремя шпорами, прошел граф Уваров и скрылся в царском кабинете. Похожий на пятнадцатилетнего мальчишку, с оттопыренной верхней губой, щеками, как яблоки, он шел с видимым беспокойством, вид задорный и нахальный, всегда ему свойственный, на этот раз уступил выражению неопределенной робости, даже на часовых посмотрел, словно по лицам хотел узнать, каково там настроение за дверями. Через минуту дверь отворилась скрипя, вошли департаментские служаки с огромными портфелями и заняли столы прото-

колистов. Едва успели они расположить материалы, как в комнате появился светлейший князь Лопухин — председатель Государственного совета. Описав носом полуокружность в воздухе, презрительно скользнув по фигурам вставших при его появлении людей, Лопухин в нос пропел скорее, чем проговорил, коротенькую фразу:

— Пора бы начинать, а в комнате ни одного человека.

Повернулся на каблуках и вышел.

Вставшие при появлении светлейшего князя люди сочли замечание его светлости чрезвычайно справедливым. Они снова сели, взглянув на часы и совершенно не обращая внимания на то, что восклицание светлейшего князя трактовало их не как людей. Вскоре появились люди. Прихрамывая, вошел Николай Тургенев, за ним его брат Александр. Через минуту появился барон Розенкампф, хмуро посмотрел на Николая Тургенева.

— Я слышал, Николай Иванович,— сказал он,— что ваш «Опыт теории налогов» продается в пользу крестьян-бунтовщиков. Весьма сожалею.

— Не сожалейте, барон,— сказал Тургенев злобно,— доход от моей книги я могу тратить как угодно. Я трачу его на уплату недоимок, за которые беднейшие крестьяне сидят по тюрьмам,— вот и все.

Розенкампф осклабился.

— Жаль, что вы мало пишете,— едко отозвался он.— Ежели б было почаще, то, пожалуй, наше страдающее от злостных недоимщиков дворянство почитало бы вас спасителем.

Камердинер подошел к Розенкампфу и сообщил ему, что его требует к себе Лопухин. Розенкампф вышел. Зала постепенно стала наполняться людьми. Тургенев стоял у окна с братом Александром. Тот рассказывал Николаю о всех происках Розенкампфа, направленных против тургеневской семьи. Оленин, Милорадович, Данило Мороз, граф Кочубей жарко спорили между собой, постоянно переходя с русского языка на французский. Дверь отворилась, но вместо ожидаемого Розенкампфа все увидели Потоцкого. Потоцкий быстро прошел к Николаю Тургеневу и с волнением протянул ему синюю тетрадь со стихами. Это была поэма Байрона «Бронзовый век». Тургенев подвинул кресло, сел и начал читать вслух:

— «Бронзовый век», или «Юбилейная песнь бесславной години». Эпиграф: «Impar Congressus Achille»

— Однако,—сказал Николай Тургенев,—Байрон играет словом «конгресс». «Стадное скопище все же не равно одному Ахиллу».

Несколько человек сгруппировались вокруг читающего. Тургенев прозой переводил байроновские стихи¹.

За «добрым старым временем» вослед—
Вся была—добро! Дела текущих лет
Пошли, в них все зависит лишь от нас;
Великое свершалось уж не раз,
И большего возможно в мире ждать.
Лишь стоит людям тверже пожелать;
Велик простор, безмерна даль полей
Для тех, кто полон замыслов, затей.
Не знаю, плачут ангелы иль нет,
Но человеку—так устроен свет—
Немало слез пришлось уже пролить.
Зачем? чтоб снова плакать и тужить.

Звучные строчки английского текста, отчеканенные, четко произносимые Тургеневым, привлекли еще ряд слушателей. Тургенев дочитал до места, где говорится о греческом восстании. Греки подняли революцию против стамбульского монарха. И вдруг кто-то неосторожно произнес, прерывая Николая Тургенева:

— Ходят слухи, что Сергей Тургенев в Константинополе написал проект освобождения Греции от власти султана. Уж не этот ли проект в стихах вы читаете?

Увы, это не была шутка. Старый генерал—член Государственного совета—спрашивал совершенно искренне. Глупый генерал продолжал:

— Говорят, что в Константинополе вырезано четыреста тысяч христиан и что наша миссия пострадала.

Николай Тургенев слегка побледнел, но Александр Иванович перебил генерала:

— Слухи не подтвердились, ваше превосходительство. Я сегодня читал все официальные депеши. Однако продолжай,—обратился Александр Иванович к брату.

Тургенев читал дальше:

¹ Вместо английского текста мы приводим перевод Балтрушайтиса. Позволяем себе такую вольность, зная, что читатель не посетует на это. Поэт Балтрушайтис, ныне литовский посланник в Москве, естественно, современником Николая Тургенева быть не мог. (Примеч. автора.)

И Греция в свой трудный час поймет,
Что лучше *враг*, чем *друг*, который *лжет*.
Пусть так: лишь греки—Греции своей
Должны вернуть свободу прежних дней,
Не варвар в маске мира. Царь рабов—
Не может снять с народов гнет оков!
Не лучше ль иго гордых мусульман,
Чем плеть царя, казацкий караван!
Не лучше ль труд свободный отдавать.
Чем под ярмом у русской двери ждать,
В стране рабов, где весь «простой народ»
На рынках продается, словно скот.
И где цари свой подъяремный люд
По тысячам придворным раздают,
Его ж владельцам снится только ширь
Пустыни дальней—мрачная Сибирь;
Нет, лучше в мире бедствовать одним,
Лицом к лицу с отчаяньем своим,
И гнать верблюда в доле кочевой,
Чем быть медведю горестным слугой!

— Это про кого же он? — спросил все тот же генерал.

Потоцкий нервно протянул руку за книжкой. Тургенев отвел книжку, другой рукой опустил руку Потоцкого и читал дальше:

Кто это имя снова произнес,
Что, искупая горечь рабских слез,
Звучало там, где голос вечевой
Провозглашал свободным род людской?
Кто ныне призван в судьи дел чужих?
Святой союз, замкнувший все в троих!
Но этой тройце чужд небесный лик,
Как гений с обезьяной не двойник!
«Святой союз», в котором здесь сложен
Из трех ослов—один Наполеон!
В Египте боги лучше: там быки,
Там псы по-скотски смирны и кротки:
На псарнях, в стойлах, знают угол свой,
Там ждет их пойло, сложен корм денной;
Скотам в коронах мало корм жевать—
Они хотят кусаться и бодать.

Дверь отворилась, и вошел Розенкампф, хмурый и злой. Положив кипу бумаг на стол и видя, что Тургенев не прерывает чтения, подошел и стал слушать. Тургенев читал:

Царь Александр! Вот щеголь-властелин,
Войны и вальсов верный паладин!
Его влекут: толпы подкупный крик,
Военный кивер и любовниц лик;
Умом — казак, с калмыцкой красотой,
Великодушный — только не зимой:
В тепле он мягок, полулиберал, —
Он жесток, если в зимний вихрь попал!
Ведь он не прочь «свободу уважать»
Там, где не нужно мир освобождать.
Как он краснó о мире говорит!
Как он по-царски Греции сулит
Свободу, если греческий народ
Готов принять его державный гнет!

Тут уже всем стало ясно, и глупому генералу в том числе, что речь идет о русском самодержце. Прямо от перечисления трех «коронованных скотов», собравшихся на конгресс в Вероне, Байрон перешел к сатирической характеристике царя Александра. Розенкампф закричал, кашлянул и сказал:

— Прошу занять места, господа! Стихи довольно дерзкие. Как Европу ни благодвори, все равно она благодарности в сердце иметь не будет. Российский государь спас ее — и вот европейский ответ.

— Российский государь породил мысли о человеческой справедливости, он же мечтал об освобождении крестьян, барон, — ответил Тургенев.

— Прошу докладывать по очереди, — предложил Розенкампф.

В скором времени Тургенев не выдержал. Разбиралось скандальное воронцовское дело, в котором один из Воронцовых обманом завладел землею однодворцев и в ответ на их жалобы затеял огромную судебную волокиту. Мордвинов, прерывая чтение письмоводителя, закричал:

— Да ведь такие дела стыдно слушать в Совете, тем более что они уже решены, — и дал справку о приказе, буквально вырванном у Александра I.

— Мне стыдно, — сказал Мордвинов, — что от самого низу до самого верху дело справедливое и ясное ничего не создало, кроме кривых толкований. Люди, промучавшись по судам четыре года, могли бы умереть, не дождавшись справедливого решения. Поистине несчастна страна, в которой возможен такой произвол в решениях одного класса по справедливым требованиям другого

класса! Если бы не воля государя, сегодня и здесь бы правильного решения не получилось, ибо вижу, что нас меньшинство.

— К чему горячность? — возразил Розенкампф. — Если так, то слушать дальше нечего: воля императора — закон.

Николай Тургенев в негодовании разорвал сверху донизу лежавший перед ним лист бумаги.

— Ваше превосходительство, кажется, недовольны? — обратился к нему Розенкампф.

— Решением я доволен, — сказал Тургенев, — но способом сего решения человек, чтущий закон, доволен быть не может.

— Переходим к дальнейшим, — заявил Розенкампф.

Вечером, возвращаясь домой, братья взяли извозчика и молча ехали до Невского. При повороте от военного министерства Николай Тургенев спросил:

— Что это за дурак в мундире так неудачно предлагал вопросы по поводу байроновской поэмы?

— Разве ты его не знаешь? Это брат Аракчеева. Надо тебе сказать, что лучше было бы, конечно, эту поэму не читать. Посмотри, как Розенкампфа передернуло. Кстати, она с тобой?

— Со мной, — сказал Николай.

Проезжая мимо Михайловского замка, Александр Иванович Тургенев внимательно смотрел на покои Татариновой.

— Так поздно, — сказал он, — а в окнах всегда этот странный свет. Посмотри, не кажется ли тебе, что это свет семи восковых свечей. Что там, молитвы, что ли, какие-нибудь поют?

Николай Тургенев пропустил это замечание мимо ушей. Он с любопытством рассматривал извозчика, когда тот оборачивался и скалил зубы.

— Ты чей? — спросил он.

— Его сиятельства графа Разумовского.

— Откуда? — спросил Тургенев.

— Деревня наша в Рамбовском уезде.

— На оброке? — спросил Тургенев.

— Да, платим по тридцать два рубля с ривицкой души; прежде меньше платили, да недавно граф увеличил оброк. Брату еще хуже приходится. Он на четыре месяца в Петербурге нанимает за себя работника и платит ему восемьдесят рублей, а восемь месяцев, воротившись, опять по три недельных дня на барщине, — это чтобы

старые долги за отца его сиятельству заплатить извозчичьей выручкой.

— Как же вы живете? — спросил Николай Тургенев.

— Вот сына отняли да продали господину Альбрехту.

— Слышал о таком, — сказал Николай Тургенев.

— Как мы живем, как не помираем, одному богу известно, — продолжал крестьянин. — Как продали моего парня — нет работника в доме. Прибежит в праздник от господина Альбрехта — его деревня в четырех верстах от графской усадьбы — и давай просить хлеба. Никогда у них своего хлеба нет.

Николай Тургенев обратился к брату по-французски:

— Как не противиться таким помещикам уничтожению рабства? Что такое Разумовский? Я часто вижу эту глупую и безобразную образину на набережной и на бульваре: гуляет, ходит, чтобы с большею жадностью есть и лучше спать. В других государствах эти тунеядцы копят небо без непосредственного вреда ближним — здесь они угнетают их, чтобы, чтобы... черт знает на что и для чего и в особенности почему. А этот Альбрехт, с пребольшим пузом, играет ежедневно в карты, в клобе, и фигура его цветет глупостию, скотским бесчувствием, эгоизмом!

Расплатились с извозчиком. Вошли к себе. Встретили Лунина и Чаадаева, расположившихся без хозяев. Лунин, молодой, блестящий, только что приехавший из Парижа, Чаадаев с оголившимся черепом и живыми, необычайно блестящими глазами, очевидно, беседовали уже долго и на Тургеневых посмотрели словно на какую-то помеху для разговора. Здоровались, приветствовали друг друга.

— Сенаторы! — кричал Лунин. — Прямо сенаторы! А я слышал, что сенаторская порода вымирает. Друзья, не миновать вам завести сенаторский завод — *pour regréter la race*¹.

— Перестань, Лунин, — говорил Чаадаев. — Хоть к этим-то не приставай — они не нынче завтра поскользнутся на дворцовом паркете. Сенаторами им не быть.

Раздался звонок. Старуха Егоровна доложила, что пришли господин Муравьев, господин Яков Николаевич Толстой, господин Всеволожский и Пестель.

— Как это вы сошлись у двери? — спросил Александр Иванович.

¹ Для того чтобы увековечить эту породу (*фр.*).

— Вопрос негостеприимный,— ответил Всеволожский.

— Почему негостеприимный? — возразил Александр Иванович.— Напротив, я страшно рад видеть Павла Ивановича и...

— А нас он не рад видеть,— сказал Яков Толстой.

— Да нет, всех рад видеть. Придется иметь большой разговор о деле.

Яков Толстой подошел к Чаадаеву.

— Какие вести от Пушкина? — спросил он.

— Пишет редко,— ответил Чаадаев,— но написал кучу прелестей.

— Это вам он писал? — спросил Яков Толстой:

Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут *наши* имена.

— Да, мне,— ответил Чаадаев.— А что?

— Мне он написал другое,— ответил Яков Толстой:

Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины забот
И бесполезных размышлений.

— Меня это не удивляет,— сказал Чаадаев,— у Пушкина зоркий глаз, я ему верю: разным людям — разная судьба.

Подошел Лунин.

— Ну, так что это за случай в Семеновском полку? — спросил он, продолжая разговор.

— Да, я не кончил,— сказал Чаадаев.— Ведь командир полка Шварц — это совершенная скотина. Из-за его самодурства самый грамотный, самый скромный и, сказал бы я, самый гражданственный полк сейчас раскассирован.

— Правда ли, что там была читка запрещенных книг с офицерами? — спросил Яков Толстой.

— Не думаю,— сказал Чаадаев.— В солдатской лавочке, правда, продавали книги. Дело, конечно, в том, что Аракчееву не нравился товарищеский дух полка, тесная дружба с офицерством; на фоне событий в Неаполе и Пьемонте полк показался ему неблагонадежным. Они нарочно провоцировали движение возмущения, вместо внесения спокойствия. А когда первую роту посадили в крепость, то весь полк отказался выходить из казарм до

полного воссоединения с первой ротой. Солдат, голодных и измученных, отвезли в Финляндию и заключили в Свеаборгскую крепость.

Лунин покачал головой.

— Это уж серьезно, друзья.

— Да,—сказал Николай Тургенев.— Дисциплина имеет свои пределы, так как права природы и рассудок имеют свое необходимое пространство. Хоть семеновское дело прошедшее, а все-таки не могу без содрогания вспомнить тот день, восемнадцатого октября двадцатого года, когда поутру полк проходил по Фонтанке. Я еще не знал, в чем дело, и спрашивал: «Куда?» — «В крепость», — отвечали солдаты. — «Зачем?» — «Под арест». — «За что?» — «За Шварца». Тысячи людей, исполненных благородства, погибли за человека, которого человечество отвергло.

— И еще миллионы будут гибнуть,—сказал Лунин,— за человека, который является воплощением лжи.

— Что же делать будем? — спросил Пестель.— Вводить испанскую конституцию, ограничивающую самовластие? Но, конечно, выведение рабов из крепостного состояния не может быть первою мерою правительства.

— Вот вы как смотрите, Павел Иванович,—сказал Николай Тургенев.

— Да, я так смотрю,—злбно возразил Пестель.— И вас мы заставим смотреть так же, если вы покоряетесь дисциплине общества.

— На будущее я смотрю иначе,—сказал Николай Тургенев.— Я изверился в самодержавии и не верю в конституционных монархов. *Почитаю необходимым волею народа учреждение республики и высылку за границу всех представителей нынешней династии.*

— Что, что, что?! — закричал Яков Толстой.— Это сильно, очень сильно. Но какой же вы молодец! Да, кстати, чтобы не забыть. Энгельгардт говаривал мне, что полицмейстер начал против нас дело о подкидывании каких-то вырезанных листков в казармы.

Николай Тургенев пожал плечами.

— Что делать? — сказал он.— Полицмейстер подкидывает клеветнические листки против меня. Ну, здесь все только свои. Откинемте шутки в сторону и вспомнимте, что вы послали меня в Москву для закрытия Союза благоденствия, что вы согласились со мною при самом

учреждении союза выкинуть прусские параграфы о верности государю и династии. О чем тогда мы спорили? О том, чтобы члены Союза благоденствия, буде они помещики, обязывались содействовать освобождению крепостных. Вы этого не хотели. Вы настояли на своем. Этот пункт был выброшен. Неужели и теперь настаиваете на своем заблуждении, даже когда мы здесь организовали общество более стойкое, более крепкое, более решительное? В свое время ехал я в Москву, тая надежду на революционное решение Союза благоденствия. Я был председателем последнего собрания, и я уверился, сколь ненадежны были многие члены оногo. Я поспешил с закрытием и роспуском Союза благоденствия лишь для того, что надежнейшие и вернейшие стали учредителями нового общества. Всем же остальным сказано было, что императору известно существование Союза благоденствия и что гнев его может настигнуть каждого. Как тогда проклинали меня москвичи, как называли изменником делу свободы.

Чаадаев подошел к Николаю Тургеневу и шепнул ему:

— Прекрати, друг, остановись, пока не поздно.

— Ну, что же, Александр Иванович, давайте угощать гостей,— закончил неожиданно Николай Тургенев.

Глава двадцать седьмая

Николай Иванович Тургенев с пером в руке сидел над рукописью и записывал медленно, с перерывами:

Мысли о составлении общества, под названием

Приняты: Николаем Тургеневым.

Профессором Ал. П. Кунцыным.

Предлагаются: Никите Михайловичу Муравьеву,

Федору Николаевичу Глинке,

Грибовскому (и другим).

Карандашом он приписал:

Иван Григорьевич Бурцов.

Павел Иванович Колошин.

Князь Александр Александрович

Шаховской.

Александр Сергеевич Пушкин.

Александр Иванович с печатным листком в руке вошел к нему в кабинет и с видом крайнего огорчения сказал:

— Силанум, силанум, молчание на много лет! Прочти!

Это был высочайший рескрипт о закрытии всех масонских лож и о запрещении всяких тайных обществ. Братья обнялись. Александр Иванович сказал:

— Повидайся с Кривцовым, ты давно у него не был, и посоветуйся о будущем. Кстати, отдай ему книжки об иллюминатстве и масонстве Вейсхаупта. О масонстве, конечно, многие жалеть будут.

Николай Тургенев сказал:

— О масонстве, конечно, жалеть будут, но я считаю, что упоминание тайных обществ есть упоминание глупое. В самом деле, ежели оно «тайное», то, следовательно, правительство о нем знать не может. И оно с правительством успешно бороться будет; а ежели оно правительству известно, то оно уже не тайное... Как бы я хотел уехать из России,—вдруг неожиданно перевел он разговор на другую тему.

Прошло некоторое время. Николай Иванович не выходил из кабинета. День был воскресный. В Государственный совет ехать было не нужно. Александр Иванович в шлафоре сидел внизу и читал газету. Посмотрев на часы и видя накрытый стол, удивлялся, почему брат не идет завтракать. Пошел наверх, постучал; не получая ответа, толкнул дверь. Николай Тургенев лежал на полу, далеко закинув правую руку назад. В величайшем волнении Александр Иванович приблизился к нему. Сердце почти не билось. Глаза были закрыты, веки и губы посинели. Быстро послал за доктором. Старичок Виллье—придворный врач—явился через час. Маленькая бричка, запряженная парой низкорослых лошадей (экипаж, известный всему Петербургу), долго стояла у подъезда на Фонтанке, прежде чем Виллье кончил свою операцию. Он выехал не раньше, чем Тургенев стал дышать полной грудью.

— У всех жестокая подагра, друг мой,—говорил он, поглаживая руку Николая Тургенева.—Вы много сидите—надо больше двигаться. Второй припадок может кончиться плохо, раньше чем успеют меня вызвать. Перемените образ жизни.

— Это очень трудно,—простонал Тургенев.

— Однако это необходимо,—ответил Виллье.

Александр Иванович с волнением всматривался в лицо брата. Виллье попрощался. Братья, оставшись наедине, долго молчали.

— Пойдите к Кривцову сами,— прошептал Николай Иванович.

Александр Тургенев, словно браня себя за забывчивость, ударил рукою по лбу и сказал:

— Пойду! Надо поскорее всех предупредить.

Прошла неделя, другая, а состояние здоровья Николая Тургенева не улучшалось. Временами он чувствовал себя еще хуже, но, сделав над собою большое усилие, он требовал от брата с настойчивостью здорового человека полного осведомления о всех происходящих в Петербурге событиях. Однажды Александр Иванович сидел у постели больного и в рассказе о состоянии «теперешнего Петербурга» вдруг неожиданно замялся и замолчал. Обостренная чувствительность брата Николая заставила его насторожиться. По интонации Александра Ивановича младший брат понял, что старший скрывает что-то. Николай приподнялся на локте, укоризненно посмотрел на брата и сказал:

— Во избежание ненужных моих догадок вы лучше говорите прямо то, что хотели от меня скрыть.

Александр встал и, отвернувшись к окну, сказал:

— Лабзин сослан.

— Куда? — спросил Николай.

— В Сенгилей.

— За что?

— По-разному говорят.

— Вот уже начались кары против масонов. Недалек день, когда нас, как покойного родителя, сошлют в синбирскую деревню, и будем ждать смены царства, которое опять-таки неизвестно что принесет.

— Я думаю, что не за масонство. Лабзин — старый, испытанный мастер ложи. «Сионский вестник» он прекратил еще задолго до рескрипта. Силанум объявил еще в прошлом году, после чего ни братья, ни товарищи, ни мастера не имеют права давать знаки, узнавать и нарушать молчание. Я думаю, что здесь другое.

Вдруг Александр Тургенев начал громко смеяться. Николай строго смотрел на него, силясь понять причину этого неуместного смеха.

— Видишь ли, месяц тому назад была конференция Академии художеств, где Александр Федорович Лабзин

был вице-президентом. Президент Оленин предложил трех графов: Гурьева, Аракчеева и Кочубея—в кандидаты академии. Думается мне, что это было на конференции тринадцатого сентября. Лабзин с упорством воспротивился этим кандидатам и спросил, за какие художества президент хочет покарать академию этими тремя недостойными кандидатами, добавив к этому, что «все три графа суть правительственные чиновники и ничего более». Оленин обиделся смертельно и, взывая к конференции, заявил, что он предлагает сих заслуженных мужей в Академию художеств, так как *они близки к особе государя императора*. Лабзин не уgomонился и громко заявил: «Тогда я предлагаю самую близкую персону в академике—царского кучера Илью Байкова: он особо близок к государю и даже спиною к царю сидеть может!» На конференции произошел шум и смятение, а Лабзин потребовал занесения своего предложения в протокол. Оленин конференцию закрыл. Три графа в академию не прошли, а протокол Аракчеев положил в докладную папку императору. Вот тебе и ссылка!

Николай Тургенев стал хохотать.

— Лабзин подписывается буквами У. М.,—сказал он,—«ученик мудрости», но поступок этот не весьма мудрый, а скорее ребячливый. В прежние годы государь не придавал бы ему значения. Что произошло? Не понимаю. Мы все проглядели какой-то крутой поворот политики. Это наша вина. Очевидно, политика делает царя, а не царь—политику. Народы выросли и не хотят рабства. Цари умалились и лишились разума. Тяжелая судьба нашего отечества. Кривцов прав в своем свирепом республиканизме.

— Не верю я в русскую республику,—сказал Александр.—Из дела нашего ничего не выйдет, не даром Рылеев пишет:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

— Ничто справедливое не погибает,—сказал Николай Тургенев,—и Кондратий Федорович, конечно, прав, когда говорит:

Погибну я за край родной,
Я это чувствую, я знаю.

В этой смерти больше смысла, чем в бессмысленной жизни всего Петербурга. Но чувствуете ли вы, как переменился характер самого Александра, не правы ли были те, кто, как Лунин, говорили о непостоянстве этого характера? По внешности поворот политики не так силен, как силен он по внутреннему смыслу, по секретным действиям царя. Когда угодливость и подлость царедворства доходила до такой степени, как ныне? Прав благородный Лабзин, представляя в академики Илью Байкова. Байков благороднее и честнее Аракчеева. Он просто кучер, не имеющий ни злости, ни человеконенавистничества, он любит и холит вверенных ему лошадей с большим вниманием, нежели своекорыстная царская челядь заботится о врученных ей миллионах граждан. Честию клянусь, я подаю голос за Байкова.

Капли холодного пота проступили у Николая от негодующего волнения. Он откинулся на подушки и закрыл глаза. Александр с тревогою смотрел на это желтое лицо, синеватые веки и синие губы, покрытые белым налетом.

— Тебе плохо? — спросил он.

— Нет, не беспокойся, это лишь мгновенная слабость.

Немного полежав с закрытыми глазами, Николай Тургенев заговорил снова:

— Как много значат личные пристрастия в наше время! Кто мог бы сказать, что деловитая энергия Сперанского будет брошена в грязь из-за личной обиды царя на свободные суждения Сперанского? Кто мог бы сказать, что на весах государственности чашку перетянет не ум, способность и усердие, а покорность тупоумному распоряжению начальства, это подлое воспитание рабской страны? Боюсь, что оно скажется и тогда, когда века волею судеб сделают ее свободной.

— Ты все волнуешься, — сказал Александр Тургенев, — а тебе лучше заснуть.

— Не буду спать, — сказал Николай Тургенев. — Дай ты мне лучше послание североамериканского президента Монройэ Веронскому конгрессу. Странная эта вещь. Если мы станем в эту позицию, что «Америка для американцев», «Франция для французов», «Англия для англичан», то будем иметь последствия печального национального

эгоизма. Вместо помощи угнетенных народов друг другу мы будем свидетелями гнета больших над малыми.

— Ох, куда хватил! — сказал Александр Иванович. — Стало быть, ты стоишь за вмешательство одной страны в дела другой? В этом ты, пожалуй, сходишься с канцлером Меттернихом.

— Нет, — возразил Николай, — оставь, пожалуйста, это сравнение, громогласно от него отрекаюсь. Когда государственный канцлер монархии Габсбургов пишет русскому царю требование уничтожить Семеновский полк, якобы действовавший по поручению тайного революционного комитета карбонариев Европы, то согласишься сам, что между мною и моим лозунгом солидарности больше внутренней гармонии, чем между Меттернихом, желающим отвести назад историю, и его стремлением навязать свою волю другим нациям и монархам.

У Трубецкого был бал. Сергей Петрович и Екатерина Ивановна Трубецкие созвали весь блистательный Петербург. Братья Тургеневы были в числе домашних друзей. Военные группы в пестрых и нарядных мундирах мешались с представителями штатской молодежи, архивных юношей и молодых последователей немецкой философии. Молодой человек в черном фраке, в белых атласных чулках и лакированных туфлях, смотря сквозь очки и не принимая участия в танцах, то молчал, то вдруг бросал едкое двестишье по адресу вальсирующей пары, а старшие представители ученой породы со смехом отзывались на эти колкие эпиграммы. Два человека, оба одинаково низкорослые, скромные и вкрадчивые, — Николай Греч и Фаддей Булгарин — хихикали по поводу каждой эпиграммы.

— А все-таки, Александр, — шепнул Булгарин своему соседу, — твоя комедия «Горе уму» не будет напечатана. Слишком шумный успех!

— Только ли потому? — спросил Грибоедов. — Не сами ли вы виноваты, пуская искаженные списки?

— Нет, душенька, нет, — говорил Булгарин, — я тут ни при чем. Я сегодня цензора просил и умолял. Немыслимо, душенька, невыносимо! Ты знаешь, как я тебя люблю, последнюю рубашку за тебя отдам, руку отрубить себе позволю, но ничего, душенька, не выйдет, ничегошеньки, ничегошеньки, ничегошеньки.

Двое Пушкиных и Чаадаев проходили мимо. Василий Львович и Левушка ругались, отпуская друг другу нецензурные французские каламбуры. Очевидно, оба говорили еще недавно с Чаадаевым, который машинально шел за собеседниками, бросив глаза поверх нарядной толпы.

— Петр Яковлевич,—спросил Грибоедов,—что это у вас за поперечные полосы на эполетах?

— Отставка, голубчик, отставка,—ответил Чаадаев.

— Скажите, какая новость!—произнес Грибоедов.

— Для меня эта новость уже земскую давность получила.

— Я в столице недавно,—сказал Грибоедов,—простите.

Николай Тургенев и Сергей Петрович Трубецкой шептались друг с другом.

— Когда же кончишь замечания на «Русскую правду» Пестеля?—спросил Трубецкой.

— И не начинал,—ответил Тургенев.—Муравьевская «Конституция» мне кажется замыслом гораздо более важным. В Петербурге мы все прохлаждаемся; как штатские люди, посматриваем на нынешнюю погоду, а в Тульчине куют железо, пока горячо; там дело делают. Впрочем, полагаю необходимым рано или поздно произвести объединение всех тайных обществ. Нельзя, чтобы юг и север были так разобщены.

Яков Толстой танцевал с Екатериной Ивановной Трубецкой. Аксельбант и шнур лихо крутились в воздухе. Шпоры кругом звенели. Гремела музыка, угашая шарканье лакированных туфель и башмаков.

— Пишите еще какую-нибудь пьесу?—спросила Трубецкая.

— Как же, «Нетерпеливый» поставлен на театрах. Дозвольте прислать билет, княгиня?

— Обязите,—ответила Екатерина Ивановна, вальсируя мимо группы, в которой стоял ее муж с Тургеневыми.

— Однако вы не праздно проводите ваше «праздное время»,—сказала Екатерина Ивановна, намекая на сборник Якова Толстого «Мое праздное время».

— О нет, это сущие пустяки, а не занятия.

— Смотри, Сергей, как твоя супруга закружилась со старшим адъютантом штаба,—говорил Александр Тургенев Сергею Трубецкому.

— Этот старший адъютант штаба скоро, вероятно,

станет нашим старшим адъютантом общества. Удивительно сильный политический темперамент.

— А по-моему, он пустомеля и человек ненадежный,— сказал Николай Тургенев.— А вот и «Полярная звезда»,— добавил он и, прихрамывая, направился в сторону вошедших в залу Бестужева и Рылеева.

— Это черт знает что,— говорил Бестужев,— сначала сидел в негласном комитете, расписывал лазоревые потолки и розовые стены у царя-либерала, а сейчас едет громить Польшу и вести следствие об обществе филаретов. Лучшие люди братского племени будут раздавлены царским сапогом.

— О ком речь?— спросил Николай Тургенев.

— О Новосильцеве,— ответил Бестужев.— Как переменялись времена и люди! Кто бы сказал после разных прекрасных слов на Варшавском сейме, что венценосный краснобай пошлет своего холопа Новосильцева разрушать то, что сам воздвиг.

Николай Тургенев махнул рукой.

— Писали русскую конституцию, а теперь польскую конституцию развалим, самодержавие загоняет нас в тупик. Нечем дышать, воздуха нет.

— Воздуха нет, так приезжайте на Урал,— вдруг раздался голос рядом.— Там, словно альпийские долины, горы ласкают глаза...

Тургенев замолк, здороваясь с подошедшим. Это был огромного роста красавец, элегантно одетый, в костюме, только что присланном из Парижа, миллионер, уральский купец Собакин, переменивший фамилию на Яковлева, владелец рудников и заводов на Урале и в Сибири.

— Хорошо хвалить уральский воздух, живя всю жизнь в Париже,— сказал Тургенев.

— Завтра опять уезжаю,— смеясь, сказал Яковлев.

— Почему у вас было следствие на заводе?— спросил Тургенев.

— Да сам не знаю,— пожал плечами Яковлев.— На Верхне-Исетском заводе обнаружили какую-то карбонаду—глупость какая! На Урале—неаполитанский карбонарий!

— Однако, я слышал, есть арестованные?— спросил Николай Тургенев.

— Есть даже без вести пропавшие! Но что из того? Зачем вы об этом говорите?— с досадой спросил Яковлев Тургенева.

Пятнадцатого мая 1823 года Александр I царапал гусиным пером по синей бумаге с золотым обрезом:

«Если тебе досужно, любезный Алексей Андреевич, то мне будет удобнее, чтобы ты у меня отобедал сегодня, вместо завтрашнего, и привез бы вместе и дела. Но не торопись к обеду, и не прежде уезжай, как по окончании Комитета. Ты мне привезешь уведомление о том, что происходить будет в заседании».

Скрипя вилкой по тарелке, Аракчеев медленно жевал куски жареного фазана, сопел и попивал легкое французское вино из стакана со штандартом и двуглавым орлом. Александр ел вяло и неохотно. Аракчеев — обильно и жадно. В промежутках между двумя глотками он, не прожевывая пищу, жаловался Александру на братьев Тургеневых, особенно на Николая.

— Либерал, государь, он — якобинец, не токмо что либерал, и настроение умственное у него вредное.

— Не обижай меня, Алексей Андреевич, не отнимай уверенности в последних мне верных людях. После измены Сперанского, коему все-таки пришлось поручить дело, не вижу возможным обойтись без Тургенева хотя бы в ведомстве финансов. Людей с образованностью, пылкостью и усердием не так уж много, дорогой друг. А если ты, бесценное мое сокровище, всех начнешь с собой сравнивать, то, пожалуй, что мы только вдвоем и останемся.

Аракчеев засиял. Он начал излагать множество личных просьб, замаскированных благотворительностью, назидательной строгостью, любовью к точности закона и бескорыстием. Через минуту он уже забыл Тургеневых.

Глава двадцать восьмая

На квартире у Пущина собрались Якушкин, Никита Муравьев, Митьков, Яков Толстой, Миклашевский, Лунин, Рылеев, Семенов. Прихрамывая, вошел Тургенев вместе с Грибовским. Грибовский говорил ему еще на лестнице:

— Николай Иванович, поверьте прямоте моего характера, не рассказывайте вашему брату о делах общества. Он из-за стремления спасти вас от возможной беды может решиться на поступок неблагоразумный.

Пущин курил длинную трубку. Тургенев подошел,

снял со стены чубук, и так как прислуга была отпущена нарочно, то Тургенев, как и прочие гости, сам набивал английским табаком чашечку длинного чубука, выстукивал кремневую искру, раздувал трут и раскуривал чубук. Разговор был оживленный и посторонним людям непонятный. Обсуждали брошюру Бенжамена Констана «Комментарий на труд Филанджиери».

Пушин читал:

— «Прошло время речей о том, что все должно быть сделано для народа, но не через народ...»

— У нас еще, кажется, это время не прошло,— сказал Николай Тургенев.— Попробуйте втолкуйте это нашим дворянам.

Пушин посмотрел на него строго и продолжал:

— «Представительное правление есть не что иное, как допущение народа к участию в общественных делах».

— Конечно,— сказал Тургенев,— не от власти должна исходить начальная идея улучшения гражданственности, а от общественного мнения.

— «Однако,— продолжал Пушин,— если интерес не может быть двигателем всех индивидов, так как есть лица, благородная натура которых стоит выше узких стремлений эгоизма, интерес есть двигатель всех классов, и нельзя ожидать ни от какого класса серьезных действий против его собственных интересов».

Как обычно, очередное чтение сопровождалось короткими замечками и разъяснительными толкованиями Тургенева. Затем шли вопросы практического свойства о средствах общества, о принятии новых членов, о тактике и стратегии. Рылеев с горячностью и настойчивостью кричал о неминуемой неудаче всякой тактики и стратегии. Тургенев пожимал плечами и говорил:

— Я не понимаю вас. Тогда к чему весь этот эшафодаж?

— Ты бы хоть русское слово сказал,— возразил ему Лунин,— эшафодаж значит сооружение, а по-русски твое французское слово звучит так же, как эшафот.

Тургенев вздрогнул, лицо его пожелтело, глаза потухли.

— Мне страшно,— закричал Рылеев,— мне страшно!

Душа сказала мне давно:
Ты в мире молнией промчишься,
Тебе все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.

— Это ты написал? — спросил Лунин.

— Нет, это юнец Веневитинов.

— Должно быть, хороший поэт, — сказал Лунин. — Однако ж что же мы стихи-то будем читать, Кондратий Федорович? Ты свой замысел объясни.

— Замысел мой такой: что не бывает бесплодных жертв. Согласен я, чтобы вся кровь моя, пролитая, задымилась бы на льду, — лед не растает от нее, но дым пойдет к небесам, и потомство услышит о том, что нашлись люди, не смирившиеся перед деспотом.

— А если будет удача? — спросил Грибовский.

— В чем удача? — спросил Пущин Грибовского.

— Если совершится государственный переворот? — отчетливо произнес Грибовский. — Он должен совершиться. Смотрите, какая блестящая военная сила. — Он указал на Якова Толстого. — Вы думаете, старший адъютант штаба плохой вербовщик? Сколь много наша юная армия насчитывает вольнолюбивых сердец!

Чаадаев, прищурившись и разглядывая свои ногти, произнес:

— Кстати, Грибоедов откуда-то слышал о возможности военного заговора в империи и весьма скептически заметил: «Сто человек прапорщиков хотят перевернуть Россию». Не правда ли — широкие у нас возможности?

— Я не прапорщик, — ответил Яков Толстой. — А Грибоедов говорит это от зависти, *comme un requin*¹. Да и Михаил Сергеевич тоже не прапорщик, — кивнул он в сторону Лунина. — А кроме того, какое значение имеет военный чин либо гражданский титул для долга и чести? Патриотом можно быть во всех чинах и званиях. Республики уважают равенства.

— Друзья, не забывайте, что я Грибовский, а не Грибоедов, и потому я иначе смотрю на дело государственного переворота.

— Ну, как ты иначе смотришь? — спросил Якушкин. — Мы уже давно порешили, что после свержения династии и изгнания царской семьи Николай Тургенев будет формировать временное правительство. А дальше — история подскажет нам необходимые шаги. Из твоей книжки, Михаил Кириллыч, не поймешь, как ты на дело смотришь, да и написал ты ее, черт подери, по-латыни —

¹ Как штатский (фр.).

«De servorum herilium in Russia statu vetere»¹. Писал бы, Грибовский, ты по-русски — «о рабах»!

— Вот это правильно, вот это решение чудесное! — закричал Грибовский. — Я так тосковал, слыша еще в Москве слова безнадежности от дорогого Тургенева на съезде Союза благоденствия. А по-латыни писал, дабы обмануть бдительность цензуры. Радуюсь вашему решению, Николай Иванович!

— Рано радуетесь, Грибовский, я согласия на этот прожект не давал и осуществимым его не считаю. Могу только одно сказать, что естественные способы обуздания воли деспота исчерпаны до конца и без пользы. Остается другой путь.

Чаадаев сделался грустен, посмотрел кругом и, не видя желающих ответить что-либо Тургеневу, произнес вполголоса:

— Мы идем по пути времен так странно, что каждый пройденный шаг исчезает для нас безвозвратно. Вот было Общество русских рыцарей, вот был Союз военных друзей, вот был Союз спасения, вот был Союз благоденствия. Все они прошли, не оставив ни следа в сердце, ни опыта в умах. А между тем простое наблюдение могло бы подсказать обществу, соединенному единством мысли, что во Франции феодальные привилегии исстари окружили дворянство непроницаемой стеной и связали волю монарха. Там иначе как революционным взрывом и не могла пойти история. У нас же возможна была бы другая картина. Благая воля самодержавного монарха могла бы заставить невольническую страну мановением пера перейти из рабства в состояние свободы, минуя организацию невежественного купечества и низменного класса торговцев. Но, очевидно, не такова воля провидения. Это жаль! Это грустно, как грустно всякое кровопролитие, как опасен всякий крутой поворот дороги.

Разошлись поздно ночью. Грибовский предложил расходиться поодиночке, заявив, что Аракчеев всюду разослал шпионов, что в столице неблагополучно, и советуя друзьям большую осторожность.

— Славный парень этот Грибовский, — сказал Лунин, прощаясь.

— А черт его знает, — сказал Пущин, — переводил

¹ «О старинном положении господских рабов в России». (лат.).

«Военное искусство» Жомини, писал по-латыни о крестьянствах, но черт его ведаёт, что у него в мыслях!

Тургенев шел с Грибовским, ища извозчика. Он прихрамывал. Идти было трудно, ноги разъезжались. Грибовский как бы невзначай взял его под руку и говорил:

— Я почитаю вас, Николай Иванович, первым по уму и образованности из всех членов нашего общества. Я думаю, что вы были бы первым министром республики Российской.

Тургенев молчал. Ноги его скользили, хотелось выругаться по поводу петербургской темноты и отсутствия извозчиков. Наконец появилась частная повозка. Седок узнал прихрамывающую фигуру Тургенева и крикнул:

— От девочек идешь, Николай?

Это был Вяземский. Он остановил экипаж и сказал:

— К сожалению, только одно место.

Грибовский поспешно простился. Николай Иванович Тургенев и Петр Андреевич Вяземский уехали.

С минуту простояв в раздумье, Грибовский быстрыми шагами пошел на Петербургскую сторону. Там, в небольшом особняке, жил его приятель, толстый весельчак, немецкий ученый—географ Шиллинг фон Конштадт. Подходя к подъезду, Грибовский нос к носу столкнулся с выходящим из дверей человеком. Тот быстро опустил шляпу, поднял ворот, так что Грибовский не мог рассмотреть лица. Однако Грибовский успел просунуть руку в дверь, чтобы старуха Варвара—прислуга Шиллинга—не успела дверь захлопнуть. Как старый знакомый, он вошел на антресоли. Шиллинг не спал. Два подсвечника по четыре свечи горели у него на столе. Черная штора закрывала окно. В печке потрескивали дрова. Крепкий кофе и трубка лежали на столе. Шиллинг встретил его весело. День был удачный: первая в России Петербургская литография при министерстве иностранных дел, заведенная Шиллингом для копировки секретных документов, праздновала пятилетие. Директор Шиллинг получил орден! А давно ли еще над ним смеялись, когда он корпел по ночам, снимая от руки по двадцати копий наспех с выкраденных и подлежащих возврату иностранных писем! Давно ли сановники царя высмеивали его план похищения из Мюнхена немецкого «секрета литографического копирования». Аракчеев «на ура» послал Шиллинга в Баварию, и тот, чтоб обеспечить успех в

петербургских кругах, сделал литографскую копию «Опасного соседа» В. Л. Пушкина: сановники и скоростью копирования, и текстом Пушкина остались много довольны. Так упрочились «основания жизни» господина Шиллинга. Теперь уже его не пошатнешь, теперь он человек нужный, теперь он сила, он политически «опасный сосед».

— Ну, фот, Аракчееф волнуется, фы давно были должны дать список и протоколы заседаний фаших друзей.

— Скажите его сиятельству, что все готово,— произнес Грибовский.

— Пиши!—сказал Шиллинг.—Откуда сефодня и что было? И чтоб больше ни одного дня пропуску. Три дня без штоффа. Генерал требует, чтоб был штофф на каждый день.

Перо закрипело. Грибовский описывал все: и управление тайным обществом в Петербурге, и намерения Тургенева издавать журнал вместе с профессором Куницыным, и выписку из-за границы «предосудительных карикатур». Закончил Грибовский рекомендацией правительству обратить особое внимание на Николая Тургенева, как на кандидата в революционные правители, ибо Тургенев «нимало не скрывает своих правил, гордится названием якобинца, грозит гильотиною и, не имея ничего святого, готов всем пожертвовать в надежде все выиграть при перевороте. Именно тургеновскими наставлениями и побуждениями многим молодым людям вселен пагубный образ мыслей».

Утром очередное донесение Грибовского читал Аракчеев. Хихикая, с ехидной радостью, с замаслившимися глазами, Аракчеев потирал руки. Потом открыл тайничок письменного стола, положил туда в запечатанном конверте донос Грибовского, запер стол и похлопал по нему рукою.

«Этого его величество знать не должен. Без него сделаем все, когда будет нужно. Еще, пожалуй, меня обвинит. Где мне тягаться с ними, с заграничными птицами. Я ведь простой русский неученый дворянин».

Тургенев писал в дневнике: «Будучи исполнен горячего желания и силы стремления к общему благу отечества, я по сию пору часто погружаюсь в мечтания и устаю от негодования, видя, как далеко всё и все наши от того порядка, который я почитаю лучшим и отчасти возмож-

ным. Здешний порядок вещей час от часу делается для меня более тягостным. Все, что вижу, печалит и бесит. Грабительство, подлость, эгоизм, как и куда все это идет? Кто думает о всем этом?»

Кончив эти строчки, Тургенев стал искать в старых записях свои мнения о Союзе благоденствия. Не нашел и страшно взволновался. Потом, ходя взад и вперед по комнате, спрашивал себя о причине этого внезапного волнения. Неожиданно перед глазами встал образ Грибовского, разговор на квартире Пущина и опять досадное волнение. Снова стал перерывать тетрадь. Записи о московском заседании Союза благоденствия не нашел. Зато попалась интересная запись 1822 года: «2 февраля, Министр финансов представил Сенату об отнятии у нас почти всей земли нашей. Хотя наша собственность кажется мне по возможности твердою, но чего здесь не может случиться? Увидим!» С раздражением перечеркнул эту запись. На полях было написано карандашом: «Вот ответ на первую попытку мою, как помещика, освободить крестьян семьями и деревнями». Перечеркнул и эти слова.

«Идея о выезде из России беспрестанно у меня в голове»,—думал Николай Тургенев. Потом стал думать о судьбе Сергея: «Турки, негодуя на греческое движение, режут кого ни попало. Что делается с нашим посольством в дни, когда старика патриарха Григория, коему семьдесят четыре года, в самый день пасхи схватили у алтаря и повесили в полном облачении у самого входа в церковь!»

«Положительно неудачный день,—думал Тургенев.—Что-то делается у меня с нервами? Почему-то не могу собрать мыслей?»

Машинально перелистывал итальянские альбомы. Попалась маленькая флорентийская улица, где когда-то жил.

«Вот,—сказал Тургенев,—самое лучшее в жизни уехать во Флоренцию и сделаться там содержателем трактира».

Потом, иронизируя над собою, добавил: «Без занятий жить скучно, а это занятие с хозяйством, с семьей хорошо. Над всем смеяться, есть, пить, гулять и отдыхать под лимонными деревьями».

Посмотрел на себя в зеркало и, обращаясь к себе же, добавил: «Хорошо, Николай Иванович, право, славно! Пора тебе на что-нибудь решиться. Да, пора решиться»,—повторил он еще раз. При слове «решиться»

подошел к секретеру и нажал пружинку жестом вполне решительным; твердо и уверенно, не глядя в тайничок, он вынул двумя пальцами за угол бумаги два письма Александра I к Лагарпу и его же письмо к Ланжерону. Свинцовым карандашом были отчеркнуты строчки: «Дав свободу и конституцию стране своей, сделав Россию свободной и счастливой, я своей первой заботой поставлю отречение от престола и удалюсь в потаенный угол Европы, радуясь, что этим я доставил истинное благо своему отечеству». В письме к Ланжерону мальчик, будущий Александр I, тогда великий князь, пишет, до какой степени тяжела ему жизнь в Павловске и в России вообще, ибо «здесь капралы предпочитают людям образованным. Я пишу вам мало и пишу редко, ибо моя голова положена уже под топор». Тургенев швырнул оба письма в тайничок и с тяжелым, щемящим чувством заходил из угла в угол. Думал о ссылке Пушкина. Вспоминал слова этого юноши: «Холопом и шутком не хочу быть даже у царя небесного...»

«А ведь нынешний царь земной всю свою молодость провел в мечтах о республике и в ненависти к холопству. Что сейчас? Холопы помещичьи более на людей похожи, нежели холопы дворянские вокруг императорского престола. Однако что-то нехорошее делается с моим здоровьем. Надо переменить мысли, надо думать о другом».

Снова раскрыл «Рассуждения о французской революции» г-жи Сталь. Дочь того самого министра казенного французского короля Людовика XVI, дочь Неккера, давшего первый толчок волнениям, предшествовавшим революциям, писала о России строки, глубоко возмущавшие Тургенева.

«Опять не удалось уйти от своих мыслей. Сталь сказала где-то на обеде в Петербурге о русском крестьянине: «Народ, сумевший отстоять свою бороду, сумеет отстоять и свою голову». Это она хорошо сказала,— подумал Тургенев.— Но дальше Сталь писала, что император Александр при всем желании лишен возможности дать России конституцию, ибо в этой стране для народного представительства нет промежуточного класса между боярами и холопами, нет свободного третьего сословия. Значит, народное представительство лишь усилит аристократию и этим отодвинет Россию назад, ибо в нынешней стадии русского развития самодержавная власть одна может сдерживать власть дворян над народом. Совершен-

ный вздор,—думал Тургенев,—и как это Сталь может верить в то, что буржуазия окажется милостивее крестьянина, чем представитель дворянства после освобождения крестьян и после всенародного избрания Думы».

Закрыв книгу. Оделся и вышел на берег Фонтанки. Встретил старшего брата.

— Ты опять поссорился с министром Гурьевым? — спросил тот Николая с опечаленным видом.

— Да ведь он же совершенный дурак. Даже говоря о новой форме гербовой бумаги, министр финансов не может не риторствовать и не витийствовать о карбонариях. При этом смотрит на меня в упор, бьет себя в грудь и кричит, что всякое русское сердце должно содрогаться при имени сих злодеев.

Александр Иванович улыбнулся и сказал:

— Сейчас встретил Аракчеева, что-то уж очень любезен. Говорит: «Рад бы познакомиться с вашим братом поближе, еще более рад тому, что он совсем не тот, как о нем говорят клеветующие».

— Фразы графа Аракчеева меня прельстить не могут,—возразил Николай,—а что касается Гурьева, то припомните, как он выдумал лишить нас всего за попытку освобождения крестьян.

— Ты куда идешь? — спросил его Александр Иванович.

— Хочу устроить променаду в оранжерею на Елагинном острове. Там выращивают деревья южных пород. Хоть в оранжерее посмотреть на то, что растет в теплом климате.

— Ну, вот,—прервал его Александр Иванович,—вот тебе новость. Тебе везет: вместо Гурьева будет министром финансов Канкрин.

Николай Тургенев пожал плечами молча. Простился с братом, прошел к Трубецкому. Надел костюм для верховой езды. Конюх вывел ему оседланную лошадь, и минуту спустя легкой рысью кавалерийский конь понес Тургенева по петербургским улицам к Елагину острову. После осмотра оранжереи Николай Иванович сидел в трактире на Выборгском тракте, ел яичницу и пил чай, разложив перед собою дорожную карту Германии, с которой уже несколько дней не расставался. Карандашом вымерял дороги. Перед глазами неотступно вставали горы и замки за Геттингеном, старые поездки в Кассель, наполеоновские офицеры. Мысли бежали с невероятной быстротой.

«Совсем недавно Бонапарт умер на острове Св. Елены. Газеты исказили его последние слова о сыне. Смешное это правительство Франции, если боится напечатать последние слова умершего человека о своем ребенке».

Карандаш остановился машинально. Тургенев глянул в карту. Кружочек под карандашом носил название «Карлсбад».

«Старик Виллье посылает меня именно в этот город,— подумал он.— Недостает только, чтобы я, как цыганка, стал гадать на карандаше!»

Вечером за ужином с Александром Ивановичем твердо решил, что поедет лечиться в Карлсбад, а потом, может быть, пробудет часть времени в Италии.

Получено письмо от Сергея: «Жив».

— Хорошо, пусть едет с нами,— сказал Александр Иванович,— проживем втроем под лазоревым небом.

Подали французское вино, чокались, пили весело, говорили, восстановив давно утраченную доверчивость. Вспоминали отца, масонских друзей. Вспоминали масонский праздник—Иванов день—двадцать четвертого июня 1817 года, когда Сергей принял посвящение. Александр Иванович, педагогически поглядывая на брата, говорил:

— Кончились вольнокаменщицкие дела, но не могу тебя одобрить: оставляешь ты свои дневники открытыми и незапертыми. Когда ты на Елагин ездил, я обратил внимание: старый твой дневник открыт на словах Вейсхаупта. Ты пишешь: «В Вейсхаупте также ярко доказывается польза и необходимость обществ тайных для успешности действий важных и полезных. Пусть действуют некоторые, но пусть все наслаждаются плодами сих действий». Ты пишешь это, да еще делаешь приписку: «Вот девиз всех людей, стремящихся к добру. Девиз следующий необходим из неперменного порядка вещей, основанного на характере человеческом».

— Я не настаиваю на правильности этого суждения,— уклончиво сказал Николай.

Уже давно прошло то время, когда Александр Иванович знал или мог представлять себе тайную жизнь брата. В качестве члена Коренной думы Северного общества Николай Тургенев, быть может, и сам не представлял себе всей своей роли. Его чрезвычайная занятость, его вечная озабоченность количеством дел, непосильных даже для целого ученого общества, заставляли его при-

уменьшать свою роль в качестве руководителя большой петербургской конспирации. Холодная замкнутость его, молчаливость и выдержка как нельзя лучше подходили к роли конспиратора. Он сам искренне удивился бы, если бы ему представили мнение будущих повстанцев о нем. Разработка проектов будущих законов, подготовка войскового мнения, вербовка надежных сторонников в войсках прежде всего—это были дела, которые он осуществлял, работая с точностью часового механизма, не произнося при этом ни одного лишнего, неосторожного слова. То, что пылкий Рылеев считал возможным выразить в качестве невзвешенного чувства, Тургенев осуществлял методически, с той разумной холодностью, которая зачастую одна может спасти положение, давая человеку зоркость, недоступную затуманенному взору.

Продолжая разговор, Николай Тургенев все время думал про себя о верности своих слов. Ему казалось бесспорным, что достаточно доброкачественного усилия небольшой группы самоотверженных граждан, располагающих доброй волей и обширными познаниями, чтобы по образцу испанских и итальянских карбонариев из офицерской среды преобразовать поработанное отечество и превратить его в страну свободы.

Глава двадцать девятая

Наступил 1824 год. Казалось, какое-то омертвление овладело петербургской Россией. Но повсюду участились бунты в военных поселениях, хотя и становились все короче и короче. Стояли часовые у подъездов дворцов. Проходили взводы и отделения войск по Петербургу. Шептались офицеры, собираясь в небольшие группы. Помещики—«Владельцы огромного числа душ»—проигрывали крестьян в клубах оптом и в розницу. Всем казалось, что наступил какой-то длительный «мир, который много хуже доброй ссоры», что повисло над Россией кладбищенское молчание, прерываемое только стоном военнопоселенцев и свистом шпицрутенгов. Александр I путешествовал из города в город, нигде не находя себе покоя. До его слуха уже донеслись нашептывания о военных заговорах. Он, как мертвец, пустыми глазами смотрел на любимое свое развлечение: воинские парады перед Зимним дворцом становились для солдат так же

мучительны, как во времена Павла. Сам царь, казалось, приобретал черты все большего и большего сходства со своим убитым отцом.

К тому времени, когда обострилась болезнь Николая Ивановича Тургенева и выяснилась необходимость длительного лечения, в Петербург приехал Павел Иванович Пестель, председатель Коренной думы Южного тайного общества. Северное общество зашевелилось. Пестель прямо предложил объединение работы. На квартире у Тургенева в отсутствие Александра Ивановича собрались двадцать четыре человека и долго спорили по вопросу о том, действительно ли у них есть общий путь, или, быть может, северянам и южанам нужно идти врозь.

Павел Иванович Пестель стальной холодностью движений, отчетливостью, быстротой и сухостью вызывал в каждом собеседнике невольное воспоминание о недавно умершем Бонапарте. Он начал с изложения своего мнения о тяжести предстоящего пути, он намеренно набросал картину возможной гибели тайного общества и после каждой произносимой фразы оглядывал присутствующих, словно ожидая, что объявятся малодушные, сомневающиеся, неуверенные в себе. После этого опыта испытания членов Северного общества Пестель перешел к изложению порядка действий, и когда речь зашла о России как стране рабовладельческой, когда Пестель заговорил об упразднении права собственности на землю, Николай Иванович Тургенев, резко перебивая его, выступил в качестве защитника земельной собственности. Пестель настаивал на полном перераспределении земельных имуществ. «Земля должна принадлежать тем, кто ее возделывает,—говорил он,—и только на тот срок, когда это возделывание продолжается».

Николай Тургенев кричал:

— Вы хотите ввести закон английской королевы Елизаветы о содержании нетрудоспособных бедняков церковными приходами. Вы хотите ввести налог на состоятельных граждан в пользу несостоятельных.

— Да,—закричал Пестель,—хочу!

— Так вы хотите деспотически вторгаться в частные дела государственной силой?

— Да, хочу!—кричал Пестель.—Не думайте испугать меня словами: я—сторонник диктатуры, государственная власть не есть карамзинская идиллия.

— Обратите ваши взоры в Америку: там нашелся

чудак, который создал общину «Новая гармония» — это Роберт Оуэн; предоставьте ему государственной властью решать дела партикулярные.

— И это меня не пугает,— сказал Пестель.

Спорили долго. Наконец сошлись на единстве действий ради республиканского строя, изгнания династии «даже при возможности цареубийства». Заговорщики разошлись. Пестель остался. Он словно застыл, сидя на углу стола и подперев голову руками. Николай Тургенев сидел за столом с бумагами в руках и записывал карандашом, совершенно забыв о госте. Наконец Пестель спросил:

— Верите вы в успех нашего дела? Я что-то сомневаюсь.

— И я не найду средств бороться с этими сомнениями,— ответил Тургенев.

Разговор был совершенно дружеским. Пестель был жесток в суждениях о деле и мягок по отношению к друзьям. Эти черты сближали и отталкивали его и Тургенева. При полном расхождении Тургенев чувствовал потребность пожать руку этому человеку, при наибольшем совпадении взглядов он испытывал чувство досады, похожее на ненависть. Расстались, условившись встретиться на следующий день, но Пестель неожиданно уехал в Тульчин.

Наступил апрель месяц. Состояние здоровья Николая Ивановича настолько ухудшилось, что пришлось ускоренно просить отпуск. Дела старшего брата не позволили ему выехать вместе с Николаем, и вот он отправился один по дороге на Карлсбад. Долгие перегоны в распутицу по литовским лесам, белорусским болотам и польским каменистым дорогам он провел как во сне. Только сев в почтовую карету, почувствовал, как тяжело он болен. У него не сгибались колени, болели плечи, хрустели суставы. Наконец на заре пересадка из русской кареты в немецкий синий эльваген. Опять знакомым воздухом Европы повеяло на него, и только русский пограничник у полосатого столба с двуглавым орлом говорил ему о том, что двести—триста сажен он еще едет по русской земле.

В Карлсбад приехал совсем больной. Слег и чувствовал себя настолько плохо, что не мог даже вести дневника. Медленно поправлялось здоровье. Письма приходили редко. Сергей сообщил, что скоро приедет, что в

Дрездене есть человек, с которым он переписывается, и что от этого человека многое зависит в его судьбе. Потом наступили длительные пустые дни без писем и без связи с внешним миром на больничной койке, куда однажды после ванны принесли толстый пакет из серой бумаги с сургучными печатями.

Странная вещь! Неожидаанное письмо от Аракчеева!

«Государь поручил мне передать вам, чтобы вы последовали его совету держаться осторожнее в чужих краях. Он преподает вам этот совет не как ваш государь, а как христианин. Вас вскоре окружают люди, помышляющие о переворотах, и они постараются привлечь вас к себе. Не верьте этим людям».

«Чем вызвано это письмо?» — думал Тургенев и распечатал второе письмо. Там было сообщение о страшном наводнении в Петербурге, о массовой высылке поляков в Россию по обвинению в принадлежности к тайным обществам и о приезде молодого польского поэта Мицкевича в Москву в жандармской кибитке. Это было письмо от Вяземского. Вяземский сообщал, что вышел манифест «об устройстве гильдий и о торговых правах прочих сословий». В конце стояло короткое сообщение: начальник штаба Волконский, более всего протестовавший против военных поселений, свален Аракчеевым, причем Аракчеев заявил: «Как государя можно оставлять без игрушек?» Но сделал это очень хорошо, совсем ни с кем не ссорясь. Государь предложил Волконскому уменьшить смету военного министерства. Волконский сделал, списав со сметы восемьсот тысяч рублей. Аракчеев на другой же день представил другой план, по которому скидывал со сметы восемнадцать миллионов. Видя такую разницу, государь объявил Волконскому негодование, и тот ушел в отставку. Через неделю обсуждение министерских смет показало *невозможность* аракчеевского плана, но уже дело было сделано: Волконского к должности не вернули. Далее корреспондент описывает историю наказания военнопоселенческих бунтарей. Сквозь строй в тысячу человек, стоящих друг против друга со шпицрутенами, провинившихся прогоняли двенадцать раз. Большинство из них не дожило и до одиннадцати тысяч ударов, тут же с кровоточащими и вспухшими спинами покойников вытаскивали из строя и зарывали в землю. Аракчеев хвастал ласковым письмом Александра I. Царь писал:

«Искренне, от чистого сердца благодарю за понесенные тобою труды при столь тяжелых происшествиях. Мог я в надлежащей силе оценить все, что твоя чувствительная душа должна была терпеть в тех обстоятельствах, в которых ты находился». Это в ответ на письмо Аракчеева о том, что «многие преступники, наказанные по силе закона, во время наказания померли».

Тургенев, прочтя это, вскочил на койке. Россия с улыбающимся царем и «чувствительной душой» Аракчеева показалась ему таким ужасным призраком, что он содрогнулся при мысли о возвращении.

Прошел месяц. Здоровье поправилось, но появилась какая-то ломота во всем теле. Захотелось горячего солнца. И вот южный мальпост повез его через Восточные Альпы на Милан, Флоренцию, Рим, Неаполь. Просыпался под звуки почтового рожка, ждал перепряжки или нанимал веттурино до почтовой станции, ехал все дальше и дальше. Ночуя в местечках, в маленьких гостиницах больших городов, давал себе отдых от дороги на час, на два, до тех пор, пока синий Неаполитанский залив с Везуviем и островами, с кипарисами, обвитыми розами, с миртами и лаврами Поццуоли не сказали ему, что он приехал. Грустил и радовался странному ощущению. Не осталось ничего русского в душе. С наслаждением читал «Вильгельма Мейстера», перечитывал «Фауста», чувствовал себя благоговейным сыном культуры. Европа многовековых накоплений сокровищ духа. Европа больших умов, Европа гениев и друзей человечества — эта первая обретенная родина — вновь приняла своего блудного сына. Не хотелось думать о том, что здесь есть свое горе, что рыбацкие семьи живут не лучше русских крестьян, что если здесь тепло, то бывает голодно итальянским нищим, исхудалым и в лохмотьях, перегнувшимся во сне на камнях набережной, свесив голову в сторону моря и сбросив ноги на горячие камни. Первые дни в опьянении солнцем и воздухом Тургенев ничего этого не видел, не хотел видеть, не мог видеть, если бы даже захотел.

Прошла неделя. Изъезжены все места от Мизенского мыса до Сорренто. Вечерами, когда солнце садилось и наступали быстрые сумерки, возвращался в маленькую рощу на окраине города, где жил у неаполитанского

сапожника, смотрел, как потемневшее небо вспыхивало красноватой тревогой над конусом далекой горы, как облака отражали свет этого красного факела, стоящего недремлющим часовым над темным морским заливом. Когда пригляделись все картины, когда примелькались люди, когда некоторые лица стали казаться знакомыми, уехал дальше на юг. На пустынных скалах Сицилии, над заливом старого Акраганта вспоминал пленение Платона, причал кораблей Алкивиада, прибывшего сюда с греческой экспедицией и получившего вслед приказ никогда не возвращаться на родину. Бурная память ученого, осложненная, загроможденная образами прошлого, на каждом шагу находила вещи, знакомые со школьных лет: акрагантские храмы, огромные, давящие своей невероятной архитектурной мощью, по-прежнему царили над местностью, мраморные колонны превратились в столбы золотистого цвета, вокруг них африканское солнце выгоняло из каменистой почвы кактусы-гиганты и буйную растительность, способную своим сонным, стихийным ростом задушить города и доверху покрыть приморские башни. Вокруг царила полная тишина. Невероятным казалось это безлюдие древних городов. Серые, зеленоватые, лиловые тени плыли по далекой Этне, и впечатление тишины и непробудного сна природы только усиливалось пением цикад и потрескиванием отсыхающей листвы. Пастухи в огромных войлочных шляпах, с ружьями за плечами, верхом на некованных лошадях объезжали стада. Местные жители в полдень боялись показаться под лучами этого адского, палящего солнца. Они с суеверным ужасом смотрели, как хромой человек в белой хламиде и белой шляпе, с тростью в руках, поднимается по склону Этны, и вспоминали древний миф о хромом Гефесте-Вулкане, выброшенном разгневанным богом из жерла Этны. Николай Тургенев не чувствовал на себе этих взоров, он не чувствовал жары, и солнце, сжигавшее травы, казалось ему единственной силой, способной растопить леденящую зиму его русского сердца. Каждый раз с наступлением вечера он чувствовал, как подкрадывается незнакомая тоска. В сердце щемило от инстинктивной боязни, что солнце не взойдет. Он кутался во все одежды — и дрожал от ночного холода. Но утром быстрые золотые лучи сжигали капли ночной росы, слетавшие с листьев без малейшего признака тумана, и солнце вновь торжествовало над землей. Море, посеребренное

пеной, казалось синим до черноты, валы подкатывались к берегу, разбивались о камни и шурша пробегали по пескам и водорослям синего залива.

Так шли недели, казавшиеся годами, и дни, казавшиеся месяцами. Ни писем, ни знакомых голосов.

В Мариенбаде лечился водами Николай Иванович Тургенев уже целую неделю, когда утром на восьмой день, вернувшись к себе в отель, нашел там старшего брата. Обнялись и поцеловались. Начались расспросы.

— Ну, каков ты? Давно ни строчки от тебя не было. Жаль, что не скоро кончается срок твоего отпуска. Государь перед отъездом в Таганрог говорил: *«Сперанский далеко и уже обленился. Некому заменить его, кроме Тургенева»*.

— Ох, лишь бы мне подальше от дел,—сказал Николай Иванович.—Ни в законные, ни в незаконные пути нашего отечества не верю.

— Вижу, что ты еще нездоров, ибо ответ желчный,—сказал Александр Тургенев, внимательно глядя на брата.—Но подожди. Мы с Сергеем тебя приведем в свою веру.

— Кто у Сергея в Дрездене? —спросил Николай.

— Это его секрет,—ответил Александр Иванович.—Пусть сам, если захочет, скажет, а я не могу.

Пришло письмо от Канкрин¹а Николаю Тургеневу. Министр финансов писал, что образуется новая министерская работа: «фабрики растут; департамент мануфактур требует образованного представителя наук экономических. Не может ли Николай Иванович согласиться на должность директора департамента мануфактур?»

Поспешно, пока не вернулся Александр Иванович, Николай Тургенев набросал официальный ответ, в котором не отказывался, но просто сообщал, что срок отпуска для него не кончился, здоровье еще слабо и потому, прежде чем дать ответ, надо подумать. К вечеру приехал неожиданно Сергей. Ужинали втроем в маленькой комнате гостиницы. Пили шампанское. Сергей с блестящими глазами бегал по комнате и говорил, что завтра же едет в Дрезден.

— Женюсь на Пушкиной,—кричал он брату.—Право же, Николенька, женюсь, она отличная девица — и красавица, и умница. Мы с ней давно переписываемся. Читает

Шекспира. Мы с ней условились в один и тот же день, в один и тот же час прочитывать одни и те же строчки.

— Что ж ты мне раньше не написал? — говорил Николай.

— Я еще не имел разрешения старшего, — сказал Сергей, указывая на Александра Ивановича.

— Значит, оба вы затаили свое решение? Что ж? Я среди вас лишний?

Потом все трое смеялись.

— Год перелома, — говорил Сергей. — Байрон умер — свободолюбец Европы. Людовик Бурбонский недавно скончал свои дни, а граф д'Артуа короновался в Реймсе по образцу старинных королей Франции, серебряные деньги сыпал по дороге и в день миропомазания исцелял золотушных наложением рук. Как сам не заразился?

Разговор перевели на константинопольские темы. Оба брата говорили о своих тогдашних тревогах. Сергей поставил стакан с вином на стол и начал рассказывать о резне в Стамбуле.

— Одного англичанина настиг турок сзади и ударил ножом в шею, и, можете себе представить, пока меня кто-то вталкивал в ближайший дворик, чтобы спасти, я смотрел, что сделали с англичанином. Нож остался в шее, а кровь фонтаном забила из уха и лилась! лилась! лилась!

Сергей качал головой и продолжал повторять одно и то же слово.

Братья переглянулись. Александр Иванович смотрел испуганно. У Николая морщина залегла между бровями. Сергей продолжал без смысла повторять одно и то же.

— Сережа, что с тобой? — спросил Александр.

Легкая пена появилась на губах Сергея. Он упал на кресло. Николай Тургенев, быстро намочив салфетку, повязал ему голову, и оба брата уложили Сергея на диван.

— Бедный мальчик, — говорил Александр, — он страшно впечатлительный. Константинопольские дела не дались ему даром.

Утром Сергей проснулся как ни в чем не бывало. Он был весел и совершенно спокоен. Втроем съездили в Дрезден. Провели чудесные вечера. Сговорились о свадьбе. Через год решено было венчаться в Москве, потом съездить в Тургеневку и спокойно пожить год. Обсуждали, следует ли Николаю принять предложение Канкрина,

что делать Александру Ивановичу в правительстве, и после обсуждения прямо из Дрездена, не сообщая никому своего маршрута, решили ехать во Францию. На самой границе, пересаживаясь во французский мальпост, узнали обогнавшую их весть: восемнадцатого ноября на берегу Азовского моря в Таганроге умер Александр I.

Глава тридцатая

Держали совет, как быть и что принесет царствование Константина Павловича — польского наместника, самого неудачного из сыновей Павла I.

Маленькая немецкая почтовая станция, аккуратная, чисто прибранная; цветочные горшки в плетеных корзинках на высокой скамье перед самым окном. На столе окорок и яичница, кружки недопитого легкого пива; комната для знатных гостей. По этому тракту неоднократно стремительно проносились маршалы Наполеона; в этой комнате немецкие князья принимали французских шпионов; тяжеловесные бюргеры с толстыми бумажниками приезжали сюда потолковать со своими французскими агентами.

Николай Тургенев говорил:

— Я думаю, что начнется совершенный ужас. Константин — сумасшедший, хотя есть, конечно, и добрые задатки в этом странном человеке.

— Все-таки он привык управлять страной конституционной, — сказал Сергей.

Александр Иванович насупился. Николай перебил младшего брата:

— Эти свои детские мечты оставь! Ты прожил в Цареграде и ничего не знаешь. Польская конституция есть Александрова гипокризия. Для Европы Польша — страна с конституционным королем Александром Первым, а для деспотической России она просто царство, как царство Астраханское, царство Казанское — ни в чем нет отличия! Не знаю, чего ждать от России с Константином! Я *не поеду!* — сказал он с расстановкой, решительно. — А вам ехать надо!

— Да, я поеду, — сказал Александр Иванович, — дела у нас запутаны, хозяйство из рук вон; матушка стала стара и в дело не вникает. Не могу уезжать надолго. А Сергею, как опекун, приказываю ехать со мною.

Решили. Александр Иванович пошел в соседнюю комнату, вызвал начальника и спросил, когда обратная почта на Берлин. «Меньше чем через полчаса». — «Хорошо!»

Николай Тургенев, оставив Сергея в комнате, вышел к своему слуге дать распоряжение о разделении багажа. Возвращаясь, застал в комнате шум. Он видел ясно, как Сергей с блестящими, острыми глазами впился в цветочную банку и ударом кулака скovyрнул ее на пол, потом отошел к окну как ни в чем не бывало. Николай остановился в дверях и стал смотреть. Сергей по-прежнему стоял у окна, слегка насвистывая, и был совершенно спокоен. Прошло пять минут, не более. Александр и Николай вошли в комнату.

— Как это случилось? — спросил Александр Иванович.

— Что это? — спросил Сергей и с совершенно искренним удивлением смотрел на разбитый цветочный горшок.

Николай покачал головой и, словно отгоняя навязчивую мысль, сказал:

— Это я уронил нечаянно.

Прощание было короткое. Николай обнял Сергея и молча протянул руку Александру Ивановичу.

— Разрешите мне, — сказал он, — в полном спокойствии провести остаток разрешенного мне отпуска. Мне очень не хочется заболеть снова.

Александр Иванович нахмурился и вышел из комнаты. Сергей последовал за ним, весело напевая: «Домой, домой, домой!»

Вечером четырнадцатого декабря 1825 года в Петербурге опустели улицы после дневной стрельбы. У Зимнего дворца горели костры. На улицах было тихо и безлюдно. Извозчики показывались редко. Одинокие пешеходы крались как тени и прятались за углы домов. Страшный день миновал. Еще трудно было подсчитать потери, но одна потеря была ясна: четырнадцатого декабря оказалась потерянной лучшая часть петербургской военной молодежи. Вместо Константина, прямого наследника Александра I, на престоле был Николай Павлович, исполнительный командир бригады, бесталанный, тупоголовый офицер, совершенно растерявшийся в этот день и сбежавший с площади, занятой *декабристами*, так как рабочие Исакиевского собора из-за забора начали кидать в него поленьями. Начались жуткие розыскные дни. Николай I с

Левашовым в Зимнем дворце вели допросы. Арестованных было множество.

Через две недели Николай I писал отрекшемуся брату:

«В том состоянии, в каком теперь моя голова и ум, я должен раз навсегда вас просить, дорогой и бесценный Константин, заранее извинить меня за бесконечную забывчивость и за всю беспорядочность того, что я вам пишу. Пишу вам, когда урываю секунду свободного времени, и то, что у меня на сердце; поэтому прошу милости и снисхождения за все; пожалейте бедного малого — вашего брата.

Ваш курьер 22 декабря/3 января прибыл вчера утром; Михаил был у меня, и вы можете себе представить, что заставило нас обоих почувствовать чтение вашего письма. Только бы мне быть достойным вас! Вы знаете, я всегда этого просил у провидения. Можете себе представить, что происходит во мне в этот момент.

Здесь все, слава богу, благополучно, наше дело тоже подвигается, насколько то возможно, успешно. Я получил донесение Чернышева и Витгенштейна, что Пестель ими арестован, равно как и кое-кто из других вожаков; а так как после здешнего происшествия я уже дал приказ об аресте последних и о присылке первого, то я и жду их каждую минуту. В 4-м, 5-м и 2-м корпусах все благополучно; я не получал официального рапорта из 3-го корпуса и из второй армии, но меня уверяют, что там тоже все благополучно. Здесь я велел арестовать обер-прокурора Сената Краснокутского, отставного семеновского полковника, а Михаил Орлов, который был по моему распоряжению арестован в Москве, только что привезен ко мне. *Я приказал написать Меттерниху, чтоб он распорядился арестовать и прислать Николая Тургенева — секретаря Государственного совета, путешествующего с двумя братьями в Италии.* Остальные замешанные лица или уже взяты, или с часу на час будут арестованы.

Я счастлив, что предугадал ваше намерение дать возможно большую гласность делу; я думаю, что это и долг, и хорошая и мудрая политика. Счастлив я также, что оказался одного с вами мнения, что все арестованные в первый день, кроме Трубецкого, только застрельщики. Факты не выяснены, но подозрение падает на Мордвинова из Совета, поведение которого в эти печальные дни было примечательно, а также на двух сенаторов — Баранова и

Муравьева-Апостола; но это пока только подозрения, которые выясняются помощью и документов и справок, которые каждую минуту собираются у меня в руках.

Посылаю вам показание полковника *Комарова*, который несомненно очень правдив и, кажется, человек прямой и действительно почтенный; показание его даст вам ясное понятие о всем ходе заговора во 2-й армии.

Здесь все благополучно. Я очень недоволен здешней полицией, которая ничего не делает, ничего не знает и ничего не понимает. Шульгин начинает пить, и я не думаю, чтобы он мог оставаться с пользою на этом посту; еще не знаю, кем его заменить.

...Посылаю вам еще *список масонской ложи в Дубно*, найденный у кого-то из умерших тут; быть может, эти бумаги и не имеют значения, но, пожалуй, лучше, чтобы вы знали имена этих личностей в настоящий момент. Посылаю также и польский перевод манифеста по поводу событий 14-го; думаю, что он у вас уже есть, но на всякий случай посылаю. Там вы найдете выражение чувств, которые одушевляют меня, и официальное провозглашение того образа действий, какого я предполагаю держаться в этом важном деле.

Я был очень счастлив, что мог сам исполнить поручение, касающееся *Насакина и Мещерского*; это поручения, которыми позволено *гордиться* и которые неохотно уступаются другим. Они приняли это со слезами благодарности и счастья.

По известиям, дошедшим до меня сегодня, оказывается, что во *вчерашней почте есть сообщение о приезде 84 иностранцев — французов, швейцарцев и немцев*. Так как у нас достаточно нашей собственной сволочи, я полагаю, было бы полезно и сообразно с условиями настоящего времени отменить эту легкость въезда в страну; я думаю предложить Совету министров восстановить тот порядок вещей, который существовал до последнего разрешения свободного въезда».

Новый царь, не довольствуясь этим, дополнительно извещал своего брата Константина в Варшаве о том, что он послал *письмо к старику, королю саксонскому, с просьбой о выдаче всех троих Тургеневых*.

Моросил дождь. Дилижанс опрокинулся. В разбитые окна кареты засекали холодные струи. Окоченелые руки и посиневшие лица пассажиров говорили о ненастье.

Николай Тургенев подъезжал к Парижу. Сырое и туманное, как никогда, утро встретило его там. С почтового двора «Восточного Мессажера» он пересел на извозчика и велел везти себя в «Луврскую гостиницу». В коляску, стоявшую неподалеку, грузили вещи и усаживали двух детей. Черноглазые, остролицые, смуглые дети напомнили Тургеневу Восток. И вдруг показались родители. Человек в высокой барашковой шапке, пестром халате, с длинной, иссиня-черной бородой стрельнул в него глазами. Две женщины, совершенно закутанные в пестрые шали, сели на передние места коляски, после того как чернобородый пассажир водворился первым. Это впечатление Азии в Париже кольнуло сердце Тургенева. Он сам не мог понять почему, но чувство смутной тревоги не дало ему ни минуты покоя. Расставание с братьями было странно коротким, и хотя он приучал себя к сдержанности и внезапным обрывам готового разрастись чувства, но в этот раз покоя в себе не находил.

Через день он явился к друзьям масонской ложи, провел с ними несколько часов в обычной беседе, в пении гимнов, а потом направился к Лагарпу. Высокий старик с горбатым носом, в длинном черном сюртуке встретил его словами соболезнования.

— Умер мой ученик,—сказал он.—Я не знаю его преемника, меня и без того тревожит судьба вашей страны.

Тургенев молча пожал ему руку.

— Что делается в Париже?—спросил он.

— Прежде чем ответить на этот вопрос,—сказал Лагарп,—чтобы не забыть, я попрошу вас: верните мне письма покойного Александра, взятые десять лет тому назад. Сейчас мне они особенно дороги. Ни один король Франции не мог написать бы теперь так, как писал тогда мой воспитанник.

— Приму меры к тому, чтобы это исполнить,—сказал Тургенев,—но скажите же мне все-таки, что же делается в Париже?

— В Париже?—переспросил его Лагарп.—Карл Десятый поднимает руку на права третьего сословия, забывая, что, подняв руку, он может потерять голову. Я живу в Париже последний месяц и скоро уезжаю в Швейцарию. Там, среди вольных кантонов, на озерах, я позабуду отвратительное впечатление Парижа, я буду вспоминать письма покойного Александра, перечитывать

их как мысли и замыслы благороднейшего монарха Европы.

Николай Тургенев увидел невозможность продолжения беседы.

Лагарп продолжал, однако, не обращая внимания на молчание Тургенева:

— Кажется, Константин является его наследником. Сумеет ли он хоть сколько-нибудь продвинуть вашу страну по пути эмансипации?

В Берлине, в русском посольстве, Александр Иванович сидел у секретаря, белый как полотно, и руки его тряслись. Потрясающие вести пришли из Петербурга. Пакет секретный. «Но это секрет всему свету,— говорил секретарь.— Будьте уверены, что через неделю это шило вылезет из мешка. Император Константин отказался от престола. Бригадный генерал, великий князь Николай Павлович уже четыре дня как император, но благодаря тому, что отречение Константина Павловича не было никому известно, произошла заминка в присяге и было несколько залпов по войскам на Сенатской площади. Все это благополучно обошлось, но советую вам немедленно возвращаться в Россию».

«Великий князь Николай,— думал Тургенев,— ведь это же тупица, совершенно не подготовленный к управлению огромной страной. Простой фронтовик, от которого ничего ждать не можем, кроме новых петличек и застёжек на военных мундирах. Однако ехать надо».

— Но что же произошло на Сенатской площади? — спросил он.

— Да ничего особенного,— ответил секретарь,— часть полков требовала Константина, а другая часть провозглашала императрицей его жену «конституцию».

— Ах вот как? — спросил Александр Иванович.— Были, значит, политические требования?

— Да, очевидно, кто-то внушил солдатам этот крик под видом защиты прав Константина.

— Тревожно,— сказал Тургенев.

— Тревожиться нечего,— ответил секретарь.— Поезжайте-ка, батюшка, поезжайте-ка в Петербург.

С очень тяжелым чувством Александр Иванович выходил из посольства. Дорогой во мгновение ока решил

твердо и бесповоротно оставить Сергея в Германии, не сообщать ему никаких новостей.

Дальнейший путь держали на Мариенбад, где, несмотря на протесты, Сергей остался ждать. Ослушаться старшего брата было невозможно. Оставив Сергея в счастливом неведении, Александр Иванович доехал до русской границы и, пересев в русскую коляску, двинулся по Ковенскому шоссе. Его поражала молчаливость начальников станций, его удивляли хмурые лица. Офицер в маленьком местечке к северу от Ковны, швырнув на стол подорожную, сел против него и уставился безумными глазами. Кивер съехал набок. Пятнистая барсова шкура, украшавшая ворот, была разорвана в нескольких местах. Тургенев с тревогой смотрел на своего неожиданного соседа. Офицер спросил себе обед, но, почти не притронувшись к пище, огромными глотками пил из стакана водку, потом, сошвырнув кивер на пол, лег локтями на стол и положил голову на руки. Все это молча, без единого слова. Тургенев встал, расплатился, сунул в карман подорожную и хотел выйти, чтобы сесть в экипаж, пистолетный выстрел раздался в комнате. Офицер с раздробленным черепом распластался на полу.

— Что это? Что делается?! — закричал начальник станции. — Батюшки, что делается которую неделю с господами офицерами?!

— Что делается? — спросил Тургенев тихо, в то время как пассажиры и кучер суетились вокруг самоубийцы.

— Эх, батюшка! — сказал смотритель. — Не могу вашему превосходительству словами передать! Помните двадцатый год? У меня ведь сын в Семеновском полку, пропал без вести — сказывали, что из-за зверства полковника Шварца. Так и не знаю, где он. Бабу его с ребенком выселили в тот же день из Петербурга, как его из Петербурга гнали. В холод и в стужу, одеться не дали. Выгнали с ребенком за город: иди куда хочешь. Так и пришла в двадцать лет седая баба с обмерзшими ногами на восьмую неделю ко мне в домишко! И тут опять какой-нибудь генерал виноват в смерти господина офицера! Смотрите, ведь какой молодой, а не выдержал жизни! Что это? Что это?

— Да ты не мудрец! — сказал Тургенев. — Ну, не мудри, а давай скорее лошадей!

Боль железными щипцами стискивала виски.

Генерал Лафайет — герой великой революции, герой американской войны за независимость, седой, голубоглазый, живой, диктовал своему секретарю Лавассеру письма, в то же время осторожно рассматривая тонкие листки папиросной бумаги, на которых Базар и Манюэль сообщали ему сведения о деятельности южно-французской карбонады. Лафайет входил в состав секретного комитета вместе с Буонарроти, Манюэлем, Базаром и четырьмя другими представителями не угасшего, но тлеющего европейского карбонаризма. Манюэль сообщал Лафайету: «Наши друзья потерпели поражение в Петербурге. Дымящаяся кровь русских героев поднимается к небу».

Раздался стук в дверь.

— Разве никого нет в вестибюле? — спросил Лафайет.

— Кажется, я забыл запереть входную дверь, — сказал Лавассер и распахнул кабинет Лафайета.

У входа стоял человек с желтым лицом, измученный, с воспаленными глазами, с кольцами седых волос на висках. В руках был синий лист бумаги — только что вышедший «Монитор универсаль».

— Что вам угодно? — спросил Лавассер.

Вошедший смотрел мимо него. Он видел перед собой только Лафайета и по глазам стремился определить, узнает он его или нет. Наконец он переступил порог и, в полном изнеможении бросившись на ближайшее кресло, прохрипел:

— Генерал, я — Николай Тургенев!

Лафайет быстро встал, бросил взгляд, мгновенно понятый Лавассером, и подошел к Тургеневу. Подошел близко-близко, положил ладонь на подлокотник кресла и взял Тургенева за руку.

Лавассер удалился, плотно закрыв дверь.

— Ну, ваши друзья погибли! — сказал Лафайет. — И едва ли скоро можно будет начать снова, — добавил он шепотом.

Тургенев дышал с трудом. Лафайет отшвырнул его руку и сказал:

— Ну, успокойтесь, и поговорим о деле.

— Мне нельзя оставаться в Париже,—сказал Тургенев.

— Конечно, нельзя,—ответил Лафайет.— Вы должны уехать сегодня. Знает ли русский посланник о вашем прибытии?

— Нигде по пути я не оставил никаких адресов. Никто мною не интересовался.

— Посмотрим,—сказал Лафайет и развернул трубку из папиросной бумаги.— Вас ищут по Италии по распоряжению австрийского канцлера—князя Меттерниха; от Неаполя до Белинцоны подняты на ноги все жандармы и вся полиция. Вашим братьям угрожает смерть.

Этого Тургенев не мог вынести. Он закрыл глаза и впал в беспамятство. Лафайет молча ходил по комнате, потом сел за стол и стал писать. Он писал быстро на больших листах почтовой бумаги один и тот же текст. Он просил принять Тургенева, оказать ему гостеприимство «как человеку, заслуживающему всякого внимания». Четырнадцать писем стопкой лежали на столе. Написав адреса, Лафайет вышел в другую комнату и пригласил Лавассера.

— Будьте добры, друг мой, запечатайте эти письма. Я не решаюсь звать врача. Никто не должен знать об этом визите. Предоставим природе северного гражданина самой прийти себе на помощь.

Цветной сургуч запечатал четырнадцать писем. Семь писем—масонским друзьям в Америке и семь—мастерам ордена вольных каменщиков в Лондоне. Вынув из галстука золотую иглу, Лафайет поднял левую руку Тургенева и без церемонии вонзил ему иглу в ладонь. Тургенев поднял глаза с выражением боли.

— Простите, друг,—сказал Лафайет,—не время дремать. Вы должны сегодня же выехать из Парижа. Вот вам письма. Вы поедете в Лондон, предъявите вот эти семь, но начнете действовать не раньше, чем вами будет вручено седьмое письмо. Если положение ваше на Британских островах будет безнадежным, друзья переправят вас в Америку, и там вы предъявите вот эти семь писем. Уверяю вас, вы в безопасности, если сами не захотите себе зла.

Тургенев провел рукою по лбу. Лафайет его обнял.

— Доброго пути! Ничего мне не пишите. Мне напишут другие. Я буду знать о каждом вашем шаге.

Дилижанс Лафита и Кальяра приехал в Кале, когда было уже поздно. Дождь хлестал как из ведра. Протянутые по берегу канаты и проволоки, державшие вывески на кровлях, бешено выли под ветром. Был дикий свист, гудение и жуткое завывание бури. Ночь на взморье, казалось, стонала. Остервеневший прибой налезал на берег, и в те часы, когда утомленный, измученный Тургенев в бессоннице или в бреду ворочался в грязной гостинице, ожидая утренней отправки с пароходом в Англию, другая воля привела другую разбушевавшуюся стихию в действие. Закрытая карета стояла у дверей «Луврской гостиницы» в Париже. Человек в серых очках с беспокойством смотрел на подъезд. Другой, от угла здания доходя до вестибюля, подходил к нему и успокоительно говорил:

— Скоро выйдет, скоро выйдет. Ты прямо его хватай и швыряй в карету. Постарайся, чтоб не закричал.

Но проходил час. В гостиницу входили и выходили. И вот наконец желанная минута настала. Портье вежливо отворил дверь человеку в низком цилиндре и, когда тот зашагал по тротуару, быстро махнул рукой человеку в серых очках. Через секунду двое схватили вышедшего за руки. Вышедший оказался силачом. Он сбил с ног одного и ударил ногою в живот другого. Портье быстро запер входную дверь. На улице продолжалась драка. И вдруг человек в серых очках заговорил:

— Лучше сдайтесь, господин Тургенев.

Богатырь оцепенел от удивления, от русской речи в Париже и самой отборной русской руганью ответил нападавшим:

— Что вы, каналы! Сукины дети! Какой я Тургенев? Моя фамилия Туркин!

— Есть ли при вас документы?

— Да пойдемте в гостиницу. Я — нижегородский купец четвертой гильдии Никита Туркин.

Портье долго не соглашался отпирать. Наконец по книге посетителей установили, что Николай Тургенев выехал полтора суток тому назад. Портье покраснел.

— Извините, господа. Ведь русские фамилии такие трудные, что боишься сломать себе зубы, когда говоришь.

— Куда же выехал господин Тургенев?

— Выехал в дилижансе господина Лафита и Кальяра на север.

Стояло засушливое лето. В Петербурге ночью было не темнее, чем днем. В вестибюле Верховного уголовного суда, несмотря на жару, не мог согреться Александр Иванович Тургенев. Он то выходил на улицу, плотно надев шляпу и кутаясь, то опять входил в помещение и ждал. Вот наконец раздался звонок. Часовые, стуча прикладами, стали у дверей, Где-то по лестнице слышались десятки шагов и звенели шпоры. Боковая дверь открылась. Вышел тот, с чьим именем были связаны лучшие надежды, кого Александр Иванович ждал восемь часов подряд: : член Верховного уголовного суда, старый друг тургеневской семьи Блудов.

Тургенев бросился к нему. На лице Блудова он прочел усталость и безразличие.

— Ну, что же, что? — спрашивал Тургенев.

— Ах, как я устал! — говорил Блудов. — Ты представить себе не можешь, как устал!

Ординарец великого князя Михаила быстрыми шагами подошел к Блудову и вручил ему пакет. Блудов сломал печать и читал долго, словно нарочно стараясь не смотреть на Тургенева. Швейцар накинул ему на плечи одежду и вручил трость. Блудов, словно не замечая Тургенева, пошел по лестнице вниз. Ноги подкашивались у Александра Ивановича. Он делал над собой страшные усилия, чтобы не закричать, ему хотелось схватить Блудова за плечи. Он боялся, что еще одно движение — и он потеряет власть над собою. Блудов торопливо шел по Невскому проспекту; задыхаясь и глотая воздух, как утка, Тургенев бежал за ним. Наконец, напрягшись до последней степени, он сказал со спокойным видом:

— Ты так бежишь, что мне!.. — Тут он остановился, просунул руку под руку Блудова и, стараясь попасть с ним в ногу, добавил: — Что мне не хватает воздуха!

— Ах, это ты! — сказал Блудов, будто видя его в первый раз. — Прости, братец, ничего не поделаешь — *смертная казнь!*

— Ну, подумай, — закричал Тургенев, — ведь это же безумие! Казнить неповинного человека! Как у тебя повернулся язык? Как ты не закричал на всю залу суда?!

Блудов повторил:

— Через отсечение головы.

— И ты можешь это спокойно произносить? Ты, знающий брата?!

— Да что ж, братец,—сказал Блудов,—такова служба. По долгу и по присяге поступили.

— Да ведь ты же знаешь, что он никакого отношения не имел к делу на Сенатской площади! Если бы он был в Петербурге, то ничего бы этого и не было!

Держа друг друга под руку, оба шли пешком и жестикулировали. На фоне лиловатых ночных облаков белела адмиралтейская игла. Ленивая извозчичья лошадь цокала по камням Невского проспекта. Ровный мягкий свет царил над ночным Петербургом, разливая кругом необычайный мир, спокойствие и тишину прекраснейшей петербургской ночи. А эти двое ничего не замечали. Блудову не казался его поступок ужасным. Эгоистический чиновник царской России, мечтающий о большой карьере, был готов любой продажностью и жестокостью купить себе восхождение на новую ступень бюрократической лестницы. Его спокойствие и законченная бессердечность, его черствость были до такой степени непроходимы, что Александр Иванович окончательно потерял чувство действительности. Глядя в это спокойное и сытое лицо, говоря с товарищем, от которого никак не мог ожидать ничего плохого, Тургенев напряженно думал, считая, что это не более как недоразумение, которое вот-вот рассеется. «Смертный приговор через отсечение головы» казался ему такой ужасающей нелепостью, что он ни минуты не сомневался в его невыполнимости. И, только простившись с Блудовым на углу Фонтанки, он вдруг понял всю чрезвычайную серьезность положения. Его давило удушье. Ставши у фонаря, он обеими руками схватился за ворот. Машинально, почти не сознавая, что делает, резким и сильным движением рванул воротник. Затрещали пуговицы. Разорвалась рубашка, жабо и жилет. Тургенев тяжело рухнул на гранитную набережную Фонтанки, в том самом месте, где когда-то полковник Базень, защищаясь, убил аракчеевского шпиона.

Очнулся Александр Иванович на лестнице у собственной двери. Стряпуха Варвара с корзинкой в руках поддерживала его под руку и, всхлипывая, говорила:

— Батюшка, Александр Иванович, да что же это с вами? У вас волосы-то... седые!

Василий Андреевич Жуковский просыпался рано. Он стоял без шляпы в маленьком садике, надев утренний германский светло-серый редингот. Томик «Ундины» Ла-

молт-Фуке в кожаном переплете с золотым тиснением торчал у него из кармана. В левой руке он держал тарелку. Правой брал с тарелки пригоршни крупы и бросал белым голубям, воркующим у его ног.

Александр Иванович Тургенев вошел в сад, не говоря ни слова, сел на скамейку. Жуковский подошел к нему, положил ему руку на голову и сказал:

— Приговор еще не подтвержден. Уверяю тебя, что Николаю будет дарована жизнь. Однако на тебе лица нет. Ты вряд ли пил кофе? Пойдем ко мне!

Тургенев хотел что-то сказать и... не мог. Рука после бессильного жеста упала как мертвая и разбилась о скамейку.

— Я должен выехать,—сказал он наконец.

— Это тебе разрешат,—сказал Жуковский.—Знаешь, что самое трудное: то, что Пестель и Рылеев показали против Николая. Они прямо называли его диктатором, республиканцем и истребителем царской фамилии.

Александр Иванович развел руками.

— Когда хочешь ехать?—спросил Жуковский.

— Как можно скорее.

Прошло три дня. Николай I возился над проектом Третьего отделения в собственной его величества канцелярии. Бенкендорф сделался его правой рукой.

Жуковский с большим трудом добился разрешения говорить о Тургеневе. Николай I посмотрел на него в упор и сказал:

— Непричастность Александра Тургенева установлена. Мальчишка Сергей, к радости моей, тоже невинен. Но если Николай Тургенев действительно чувствует себя невинным, то передай ему через брата, чтобы он явился на суд, как человек честный. Может рассчитывать на царскую справедливость.

Александр Ивановичу был разрешен выезд за границу.

На кронверке, близ крепостного вала Петропавловской крепости, против небольшой и ветхой церкви Троицы, в два часа ночи тринадцатого июля 1826 года из отдельных деревянных частей собрали виселицу. Двенадцать солдат Павловского полка с заряженными ружьями и со штыками стали вокруг эшафота. Пять человек со связанными руками и ногами, перетянутыми выше колен, едва переступая, взошли на помост. Сто двадцать человек

приговоренных к Сибири и каторге были поставлены вокруг эшафота как свидетели поучительного царского зрелища. Рылеев, Каховский, Пестель, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин в последний раз вскинули глаза на небо. Десять полицейских и два палача накинули на них мешки. В мешках они еще двигались. Потом намыленные петли надели им на головы. Бесформенные и страшные фигуры под одной перекладиной вдруг повисли, потому что эшафот, двинутый рычагом палача, быстро опустился. Но страшный произошел случай! Меньше чем через минуту трое оборвались. Раздался стон. Два мешка — один с кожаной нашивкой, на которой было написано «Пестель», и другой с такой же нашивкой и меловой надписью «Каховский» — судорожно извивались под перекладиной. Трое других стонали. На мешке с надписью «Рылеев» показалась кровь.

— Подлецы, даже не умеете делать своего дела! — закричал Рылеев.

Петербургский генерал-губернатор Кутузов подбежал к виселице, ударил кулаком в зубы полицейскому и выхватил у него веревку. Матерно ругаясь, генерал собственноручно надел всем троим веревки. Отбежал и махнул рукой. Помост снова опустился, и через минуту все было кончено.

На берегу Темзы, озираясь, ходит человек, не находя себе пристанища. Он ел и пил в матросском трактире, несколько раз подходил к дверям неизвестного ему человека, вынимая письмо, брался за молоток и каждый раз не мог ударить — рука коченела, не в силах был ее разогнуть. Это было последнее письмо, которое должен был вручить Николай Тургенев. Но, бродя, словно в бреду, по берегам туманной реки, вдыхая тяжелые испарения от гниющей рыбы, от дыма, от несвежей речной воды в затоне, он никак не мог справиться с собой. Он ловил себя на мысли, что боится каждого прохожего, что город с кишющими улицами, с беспорядочным огромным движением — ему страшен. Тауэр, Вестминстер казались ему грозными призраками. Башенные часы его пугали, и, однако, он больше всего боялся пустынных и маленьких переулков. Не потому ли рука бросала молоток без стука, что эта маленькая дверь вела в низенький дом в глухом переулке, выходящем к берегу Темзы. Он выбегал из

этого переулка, чтобы снова попасть на людные улицы, чтобы чувствовать вокруг себя толпу, чтобы затеряться среди людей. В третий раз выбежав из этого переулка, он дрожал как в ознобе, слыша цокание копыт по мостовой. Это был бред наяву. Николай Тургенев бредил преследованиями. В полном изнеможении в два часа дня он сел в карету, едущую на север, и почти безостановочно, без еды и без питья, не щадя сил, ехал до самой шотландской границы. В лесах, горах и долинах Шотландии он вдруг почувствовал отдых. Он вдруг яснее стал смотреть на вещи. Незнакомые, великолепные картины, связанные с лучшими романами Вальтера Скотта, вдруг напомнили ему беспечные, почти счастливые дни, когда он, отдыхая от работ, мог с наслаждением перечитывать старинные были этой чудесной страны.

Наконец еще один переезд, и он сможет отдохнуть в Эдинбурге. Заняв комнату в придорожной таверне, Тургенев в первый раз ел и пил, не оглядываясь и не чувствуя испуга. Кружка вина оказалась для него роковой. Вытянувшись на скамье и положив под голову баул, он вдруг заснул крепким и глубоким сном. Спал он долго. Проснулся оттого, что его расталкивали чьи-то сильные руки.

— Два дня вы спите, господин! — говорил силач, встряхивая Тургенева за плечи. — Ни отец, ни я не можем вас растолкать.

Перед Тургеневым вдруг встала действительность, позабытая во сне. Безумно захотелось жить. Твердая решимость во что бы то ни стало избежать опасности им овладела после отдыха и сна. Расплатившись и взяв носильщика из трактирной прислуги, Тургенев пошел пешком на почтовую станцию.

Путь до Эдинбурга не был ничем примечателен. В городе он остановился в гостинице «Цветок и корона». Ему отвели маленькую комнату во втором этаже. Из окон открывался чудесный вид на горы, на дымчатые леса, на серые, быстро бегущие облака. Вдыхая полной грудью, Тургенев не мог оторваться от этого зрелища. Раздался осторожный стук в дверь. Тургенев сказал по-английски: «Войдите». И вдруг отступил с широко раскрытыми глазами в самый угол комнаты. Перед ним с холодным спокойствием стоял секретарь русского посольства в Лондоне князь Горчаков.

«Все погибло», — думал Тургенев.

Горчаков поклонился с дружелюбной и даже почтительной улыбкой, спокойно подошел к нему и спросил:

— Как это случилось, Николай Иванович, что я, выехав на день позже вас из Лондона, оказался на день раньше вас в Эдинбурге?

— Чего вы хотите? — спросил Тургенев. — Каким ужасом хотите вы овеять мою душу?

— Ничего нет страшного. Все просто, Николай Иванович! Правительство его величества предлагает вам явиться в Петербург для того, чтобы предстать перед судом, милостивым и справедливым.

— Да, но я нездоров, и мой отпуск еще не кончился, — слабо заговорил Тургенев.

— Я буду говорить как друг, — сказал Горчаков. — Император вас простит. Только не делайте европейского скандала. Вернитесь добровольно, иначе придется прибегнуть к дипломатической переписке. Это для вас хуже, а для нас невыгодно. Я лично убежден в вашей невинности. Вам так легко будет доказать ее на суде.

— Говорите ли вы это лично от себя, или посланник, граф Ливен, уполномочил вас дать мне гарантию моей безопасности?

— Поверьте моей дружбе. Я вас очень люблю, и ваш государственный ум необходим России. Неужели вы думаете, что император без вас обойдется? Уверяю вас, что даже если бы вы были виновны, он так к вам расположен, что будет искать смягчающие обстоятельства, дабы восстановить ваши нарушенные права.

— Был ли уже суд над несчастными, выступавшими на Сенатской площади?

— Честью клянусь, что нет, — сказал Горчаков. — Нет смысла раздувать эту маленькую историю. Послушайтесь моего совета. Мой экипаж к вашим услугам. Мы приедем в Лондон. Граф вас обласкает. Поживете у нас, а потом мы вместе поедем на родину.

Тургенев молчал. Вдруг бешенство исказило его лицо. Он подошел к Горчакову со сжатыми кулаками и сказал:

— Во избежание несчастия, в целях вашей собственной безопасности, чтобы я вас не оскорбил... — и, закидывая руки назад, подходя почти вплотную к испуганному Горчакову, продолжал: — чтобы я не спустил вас, как негодяя, с лестницы, немедленно выйдите вон. Я не вернусь!

Глава тридцать вторая

В Москве на Собачьей площадке в доме Ренкевича был полный содом, человек пятнадцать сидели за столом, на самом столе, на подоконниках и на постели. Бутылки катались по полу. Густой табачный дым висел в воздухе. Молодой человек с бакенбардами, курчавыми волосами, в красной рубашке и плисовых шароварах, с поднятым стаканом в руке кричал:

— Так и спросил: что бы со мною было, будь я тогда в Петербурге? «Был бы с ними»,—ответил я. Да, да, друзья, был бы с ними! Да! Да!!!

— Хорош бы ты был,—отозвался другой.

— Да уж нечего говорить—хорош,—ответил рассказчик.

Эх, был бы я такой же шут,
И я б тогда болтался тут.

Говоривший начертил в воздухе виселицу.

— Пушкин, это безобразие!—закричал хозяин.

— Безобразие, Соболевский, то, что делаешь ты! Калибан! Фальстаф! Обжора! Кюхельбекера не мог спасти!

— А я при чем?—говорил, отступая, Соболевский.

— Хуже всего,—продолжал Пушкин,—что нет у меня ни в чем уверенности. Меня, как Беранжера, хотят сделать ручным домашним животным. Беранжер отказался взять от правительства деньги. Да ведь я-то не Беранжер! Привезли меня прямо из Михайловского! Умыться с дороги не дали! Прийти в себя от удивления не дали! А когда я, уставши, облокотился на стол, государь повернулся на каблуках и сказал самому себе: «Нет, с этим человеком нельзя быть милостивым». Ну, довольно об этом! Я возвращен, я на свободе, я живу и дышу! Но бедный Пущин! Не могу без него жить. Недавно ведь приезжал. Я ему «Бориса» дочитывал, я ему Калашникову показывал.

— А ты что ее в Болдино отправил?—спросил Соболевский.

В углу Погодин шептал на ухо Ражалину:

— Жаль, что наш талантливый поэт предстал перед нами в развратном виде. Это все свинья Соболевский делает. Пушкин у него на квартире сопьется.

— И Тургеневых жаль,—закричал Пушкин,—Петруша Вяземский живет в Ревеле и воспекает море.

Друзья, по этому морю, раздувая паруса, мчится корабль и несет Николая Тургенева в кандалах. Что делать?

В наш гнусный век
Седой Нептун — земли союзник,
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник!

Александр Тургенев подъезжал к Варшаве. Туманное утро вполне отвечало его настроению. Сидя в кофейне «Кристалль» через какой-нибудь час после въезда в Варшаву, разглядывая тарелку с варшавским гербом, изображавшим сирену, посматривая на тусклое, серое небо, плачущее над варшавской аллеей Вздохов, Тургенев раздумывал о том, как судьба разметала всех его братьев по свету.

Молодая полька с заостренным овалом лица, с большими голубыми глазами, белокурая, улыбающаяся, села против него за столик.

«Сиди, сиди, голубушка, — думал Тургенев, — мне сейчас не до тебя. Знает ли Сережа о петербургских ужасах?..»

И вдруг кровь ударила ему в голову. А что, если его, Александра Тургенева, сейчас нарочно с такой поспешностью выпустили за границу? Что, если Николай где-нибудь перехвачен? в закрытой карете доставлен в посольство? и дальше, под видом умалишенного? с чужой фамилией? и ложным паспортом? отправлен жандармами в Петербург?! Александр Тургенев почувствовал такой озноб, какого не знал со времени симбирской лихорадки. Зубы застучали. Стакан с крепким кофе задрожал в руке.

«Боже мой, как ужасна жизнь! — подумал он. — Как страшно жить!»

В Мариенбаде не застал Сергея. Бросился в Берлин. В посольстве ничего не знали. Поехал в Дрезден. Старуха Пушкина через дверь, не пуская Александра Ивановича к себе, сказала ему грубо, что брак расстроился и что она просит ни Сергея Ивановича, ни Александра Ивановича не беспокоить ее бесполезными визитами.

«Начинается! — думал Тургенев. — Жизнь кончилась, начинается житие! Еще неизвестно, как все повернется! Я забываю, что я зачумленный, что меня не пустят ни в один дом. Но бедный Сережа! Как он перенесет этот удар? При его впечатлительности, после всех потрясений константинопольской резни, что с ним теперь и где он?»

Лихорадка продолжалась. Тургенев трясся не от холода, и эта тряска гнала его по улицам, заставляла бешено кричать на извозчиков. Как безумный, он вскакивал на ходу в городские омнибусы, сбивал с ног шуцманов, выпрыгивая с империала, словно ему было пятнадцать лет, а он не был директором департамента в отставке, с пенсией и чинами, словно он был мальчишка-циркач, привыкший соскакивать с лошади на галопе, словно он был вольтижировщик в манеже аракчеевских казарм. Эта дьявольская легкость стоила ему очень дорого. Доктор Альтшулер на улице Унтер ден Линден прописал ему успокоительные пилюли, но, к ужасу, они дали обратное действие. Пропал сон. Наступило страшное возбуждение. Уже третьи сутки он гнал собственную коляску, запряженную немецкими почтовыми лошадьми. Старый лакей Николая Ивановича — Ламберт — сопровождал его всюду. Равнодушный и холодный человек, он не выказывал ни малейшего удивления, когда Александр Иванович по ночам в экипаже произносил вслух какую-нибудь фразу, выкрикивая строчку из трагедии, или заламывал руки.

Кальяровские лошади привезли его в Париж. Побегал сразу в посольство. На лестнице увидел Лабенского, секретаря. Тот встретил Тургенева приветливо.

— Где Сергей, где Николай? — спросил Александр Иванович.

— Как! Ты ничего не знаешь? Сергей в «Луврской гостинице» в состоянии полного отчаяния, а Николай, по-моему, в Лондоне. Хочешь послушать совета? Сделай, чтобы он вернулся скорее в Россию.

— Я за этим приехал, — сказал Александр Иванович, — я имею повеление государя императора.

Лабенский участливо посмотрел на него.

— Ну, эти шутки ты оставь.

Простясь с Лабенским, Александр Иванович поехал в «Луврскую гостиницу». Радость Сергея при виде старшего брата была огромна. Но Сергей перешел какую-то границу и напугал Александра бурным проявлением своей восторженности. Он пел и приплясывал, бросался на шею брата, говорил ему, что еще одни сутки ожиданий — и он бы не вытерпел. Потом, наклоняясь совсем близко к Александру Ивановичу, шептал:

— Знаешь, по-моему, они уже убили Николая.

— Да что ты, Сережа, опомнись, — говорил ему

Александр Иванович.—Николай благополучен в Лондоне.

— Нет, нет, они смотрят совсем не так, чтоб он был благополучен.

— Кто они?—спросил Александр Иванович.

Сергей встал и, обводя комнату блуждающим взором, говорил:

...Умереть, уснуть.

А если сон видения посетят?

Что за мечты на смертный сон слетят,

Когда покинем суету земную?

Это она читала в Дрездене.

— Кто она?—спросил Александр Иванович.— Пушкина, твоя невеста?

— Да, да,—сказал Сергей.

— Вы что же—вместе разучивали «Гамлета»?—спросил Александр Иванович.

Сергей не ответил. Он тихо взял Александра Ивановича за руку, подвел его к шкафу и сказал, отворяя дверку, покачивая головой:

— Вот посмотри, братец, что они сделали.

Александр Иванович отшатнулся. Пальто, сюртуки, жилеты, вся одежда была разрезана на тонкие ленты и висела лохмотьями на держателях. Сергей развел руками с видом страшного огорчения и, положив голову на плечо Александру Ивановичу, горько заплакал.

— Сережа, что же это, что с тобой?—закричал Александр Иванович.

Он подвел брата к дивану, усадил его, быстро налил стакан воды, но зубы Сергея стучали о край стакана, он расплескивал воду, трясясь всем телом, и наконец громкие, безудержные рыдания огласили комнату. Чувство ужаса охватило Александра Ивановича. Безнадёжная тоска защемила сердце.

Что делать, к кому обратиться?

Он выбежал в коридор. Он хотел звать. Звать было некого.

«Бедный брат!—подумал он.—Что пережил он в последние дни!»

Он побежал в контору гостиницы.

— Умоляю вас,—кричал он,—ради бога! Врача! Как можно скорее врача!

В конторе гостиницы засуетились. Мальчик в зеленой

куртке с синими лентами и шнурами побежал за врачом. Александр Иванович возвратился к себе наверх. Сергей спал, свесив голову с дивана. Александр Иванович боялся его пошевелить и в то же время видел, как эта беспомощно повисшая кудрявая белокурая голова синеет и наполняется кровью.

За круглым столом в приемной гостиницы доктор Корэф, коротенький курчавый человек, с короткой толстой тростью, украшенной громадным хризолитом, говорил Александру Ивановичу после осмотра Сергея:

— Только великий Пинель знал секреты излечения этих странных явлений. Тут происходит утрата какого-то летучего вещества мозга. Как восстановить его? Я склонен был бы вернуться к временам гениального Парацельса — знатока таинственных веществ, движущих силами мозга. Но скажу вам откровенно: тут я беспомощен. Я недавно в Париже, я не в хороших отношениях со здешним медицинским миром. Я не люблю французских врачей. Никого не могу вам посоветовать. Меня здесь не любят. Ясно, конечно, что доктор прусского короля не может найти гостеприимства в медицинском мире Парижа. Кстати, в Москве живут родственники моей жены — Матьясы. Не можете ли вы мне оказать содействие в том, чтобы им облегчили переход из одной гильдии в другую?

Тургенев с трудом дышал. Он думал о том, когда кончится эта несносная болтовня великосветской парижской знаменитости, он думал о том, что с этим человеком интересно было бы встретиться где-нибудь в салоне, но что помощи Сереже от Корэфа добиться невозможно.

— Вы, конечно, не сомневаетесь, — сказал Корэф, — что одежду изрезал он сам и что у него все-таки бредовая идея преследования?

Прошло два дня. К великой радости Александра Тургенева, пришло письмо из Лондона от брата Николая.

«Значит, жив, здоров и, пожалуй, невредим. Хоть тут какой-то просвет в жизни. Николай просит приехать в Лондон. Говорит, что получил письмо от Сергея, которое поразило его своей восторженностью, доходящей до нелепости. Ни слова о семейных несчастиях, но безумные реплики о Шекспире и бесконечные цитаты из «Гамлета».

«Я прошу вас, — кончал Николай Тургенев, — обратить

самое серьезное внимание на младшего брата. Состояние его духа серьезно меня беспокоит».

«Откуда он знает, что я уже в Париже?» — думал Александр Иванович. И как бы в ответ на это, читая мельчайший бисерный почерк брата, он нашел следующие строчки — уже поперек основного текста письма: *«Не знаю, куда вам писать. Нет уверенности ни в чем. Пишу в Париж на адрес Лабенского, а уж он вас разыщет. Ваш приезд ко мне необходим».*

Утром следующего дня Александр Иванович был в посольстве. Ему категорически запретили выезжать в Лондон. Новый удар. С понурой головой пошел он домой. И тут ужасающая картина застала его. Сергей пел, плакал и без умолку говорил, возбуждаясь все больше и больше. Он жестикулировал, кричал и, раньше чем успели вызвать врача и сделать с ним что-либо, разорвал на себе платье и в страшных конвульсиях повалился на пол. Через полчаса, не приходя в сознание, он судорожно вздрогнул, вытянул ноги, и по прошествии второго получаса холодные руки и ноги и чистое зеркало, отнятое от губ, показали, что наступила смерть.

Александр Тургенев безмолвно просидел всю ночь перед телом брата. Под утро высокая, стройная женщина с большими глазами, с седыми висками на белокурой голове помогала ему устроить погребение Сергея. Эта женщина была брошенная мужем графиня Генриетта Разумовская. Услышав от Лабенского о запрещении выезда Александра Ивановича и о смерти Сергея Тургенева, она пришла так же, как приходила всюду, где горе и страдания были чрезмерны. Она сама после погребения Сергея на Père la Chaise предложила Александру Ивановичу отвезти его письма в Лондон. К вечеру она выехала из Парижа.

Она не явилась в русское посольство. Она не стала тратить времени на розыски Николая Тургенева. Она решила применить то средство, на которое может пойти один раз в жизни безумная фанатичка, решившаяся любой ценою добиться совершения крайнего подвига, пожертвовать своим спасением ради спасения другого. Графиня Генриетта Разумовская после всех несчастий с безумным мужем — сыном гетмана — выехала из России в 1817 году вместе с целой женской свитой великого иезуитского агитатора графа Жозефа де Местра. Александр Тургенев был одним из тех, кто содействовал

высылке представителей иезуитского ордена из России. Орден окружил себя густой и непроницаемой сетью интриг, в центре которой стоял Жозеф де Местр, писатель, считавший революцию проявлением небесной кары, защищавшей палача, как «белого ангела», несущего земле очищение. Это был страстный защитник светской власти папы, обладавший способностью завлекать слушателей своим религиозным краснобайством. За ним потянулись из Петербурга в Париж вереницы обращенных в католичество женщин, потерпевших те или иные личные неудачи и вывозивших теперь в Париж из Петербурга остатки когда-то больших наследств, предварительно подписав завещание на имя католической церкви.

Генриетта Разумовская была поражена софистическими рассуждениями иезуитов о том, что «цель оправдывает средства». Еще более ее поразило странное противоречие в суждениях хитроумного наставника, когда тот доказывал, что спасение души зачастую состоит именно в том, что человек всеми силами стремится потерять эту душу. Случая не представлялось, говоря просто, и поэтому измученная жизнью графиня Генриетта, услышав о горе Александра Тургенева, решила пойти навстречу именно ему, как главному врагу ордена иезуитов. Она не видела противоречия в этом странном голосе долга, который велел ей помочь уцелевшим представителям тургеневской семьи.

«Вот уже их осталось только двое,—говорила она,—еще немного, и, быть может, зов смерти услышит Николай Тургенев. Надо вовремя ему помочь; быть может, погубив себя этой помощью, я добьюсь того, что Николай Тургенев станет сыном католической церкви: в несчастиях человек податлив на религиозные утешения. Православные попы сейчас не окажут ему никакой помощи. Русская церковь слишком боится царя».

Вот почему розыски Тургенева, не удавшиеся агентам русского посла после внезапного отъезда Николая Тургенева из Эдинбурга, с легкостью удались католичке, приехавшей в Лондон и обратившейся к скромному преподавателю французского языка Шастелю, сильнейшему иезуитскому агенту в Лондоне.

— Попробуйте счастье,—говорил ей Шастель.—Поездка неутомительна. Николай Тургенев живет в Чельтенгаме. Но, само собою разумеется, не в наших интересах сообщать его адрес кому-либо.

Деревенский дом на берегу ручья. Огромные дубы, вязы и поросли низкого кустарника кругом. Сквозь зелень виднеются черепичные крыши. Деревянный молоток у двери, наглухо запертой.

Генриетта Разумовская, выйдя из экипажа, долго стучит. На вопрос, кто стучит, отвечает:

— Мне нужно мисс Хаг.

Выходит женщина с волосами соломенного цвета, с засученными рукавами и горстью салата.

— Я имею письмо к вашему квартиранту,—говорит Разумовская.

— Присядьте,—говорит мисс Хаг.

Проходит десять минут, пятнадцать минут. Графиня Генриетта вынимает четки и в молитве проводит еще полчаса. Тяжелые, неровные шаги прихрамывающего человека раздаются за стеною, большой ключ поворачивается со звоном и пением, как в старом сундуке, в двери. Опираясь на палку, входит огромный человек с желтым лицом и воспаленными веками.

«Вот этот гигант,—думает Генриетта,—недаром его прозвали Варвиком. Но какое злое и неприветливое лицо!»

Прямо направляясь к ней, Тургенев жутким, стальным голосом говорит:

— Какую еще неприятность готовит мне жизнь? Что вы мне привезли? На какую еще плаху прикажете мне положить голову?

— Я хотела предуведомить вас о новом горе,—сказала Разумовская, протягивая ему письмо.

Тургенев пристально посмотрел на нее и ни о чем не спросил, взял письмо совершенно молча и медленно вышел из комнаты.

Через два часа мисс Хаг предложила Генриетте Разумовской обедать с нею. После обеда Тургенев снова вышел. Лицо его еще более пожелтело, глаза плохо видели, лоб был нахмурен. Он передал ей запечатанный сургучом пакет, благодарил ее рукопожатием за заботы и *начисто отказался говорить о религии.*

Графиня Генриетта уехала ни с чем. Последними словами Тургенева была просьба, адресованная к брату, чтобы он не слишком много тратил сил на хлопоты об его положении в Лондоне.

Письмо Н. И. Тургенева к брату Александру Ивановичу:

«14 июня (1827). Вчера приехала сюда графиня Разумовская. Я провел с нею весь день. Получил ваше письмо. Горе не помешало мне и радоваться вашей твердости и глубоко чувствовать и ценить неоцененную вашу ко мне любовь и дружбу. *Но я никогда не заменю для вас Сергея!* Пусть он будет навсегда для нас и незаменимым, и незабвенным, и всем! Мы обязаны решиться переносить эту величайшую беду твердо. После сего и что иное может быть для нас трудно? Вы не можете теперь приехать ко мне. Трудно ли перенести эту временную разлуку? Надеюсь, что вы согласитесь со мною, что эта неудача не должна сильно вас беспокоить. Я грущу не столько об этой неудаче, сколько о том, что вас ожидает в исполнении предприятий, кои вы намереваетесь исполнить касательно моего положения. Я уже вчера много говорил об этом с графиней. Результат моего мнения вот: *что на успех вы считать не должны, то есть на успех касательно меня.*

Из письма, которое я писал к Жуковскому третьего дня (адресуя на вашу старую квартиру), вы увидите, что я угадал причину вашего неприезда сюда и угадать было нетрудно: ибо Сергей писал ко мне, что, когда он собирался из Вены ехать в Париж, а оттуда сюда, Татищев сказал ему, что посол в Париже не даст ему сюда паспорта. Вы очень хорошо сделали, что послушались Жуковского и остались в Париже. Я знаю, что, пробыв здесь несколько времени, вы захотели бы ехать в Россию хлопотать обо мне. *Но тогда хлопоты были бы еще затруднительнее.* Я думаю даже, что свидание наше через год будет сладостнее, нежели могло бы быть свидание теперь. Обо мне судите и теперь и после по собственному вашему положению. Не думайте, чтобы я имел нужду в какой-либо особой помощи или необходимости быть с людьми, принимающими в нас участие, подобными графине Разумовской. *Я чувствую, что мог бы жить и посреди равнодушных.* Мне утешительно было видеть из письма вашего, что между сими хлопотами вы не забыли о наших мужиках. *И я думал о них. Эта обязанность лежит на нас тяжелее теперь, нежели когда-либо.* Я могу только содействовать исполнению оной одними советами; на вас обращается весь труд действовать. Вот совет мой: *будущая участь крестьян должна быть обеспечена. И мы умрем.* Моя

жизнь или смерть не может иметь никакого влияния на их участь; *но смерть ваша может лишить их возможности улучшения их бытия.* Надобно предупредить такому случаю. Надобно исполнить обязанности совести. Ближайшее средство есть: заключить с крестьянами условие сообразно закону о вольных хлебопашцах. Предоставив им свободу и землю, можно условиться на платеж вам оброка по вашей смерти; а после вас какой-либо суммы для содержания училища.

Графиня дала мне вчера вексель. Это мне не очень понравилось. Вы знаете, что у меня теперь много денег. Вам могли бы они пригодиться для дороги. Я могу не только обойтись без них, но совершенно не знаю, на что они мне нужны. Я писал вам прежде о деньгах, потому что видел замедление в присылке; а в самой присылке видел возможность совершенной независимости для предприятия путешествия дальнего и продолжительного в Америку. *Теперь я об Америке не думаю. Остаюсь здесь».*

Генриетта Разумовская умерла. Поездка была последним стремлением осуществить своеобразно понимаемый христианский долг. Николай Тургенев оказался неисправным. Парижские иллюзии голландской католички, бывшей жены русского титулованного авантюриста, рассеялись, как дым, перед натиском нового времени. Париж тех дней представлял собой картину борьбы двух миров. Революционный призрак девяносто третьего года бродил, как тень, по узким переулкам и рабочим пригородам Парижа. Католические салоны последних аристократов превращались в конспиративные квартиры, где, как в загнившем болоте, вспыхивали Эльмовы огни контрреволюционных замыслов, имевших целью вернуть Францию к временам феодализма. Царствовал Карл X. Люди в черных плащах с кусками высохшего пергамента в руках стучались в ворота старинных замков Франции и выгоняли оттуда новых владельцев, ставших во имя революции на место уехавших за границу дворян. Теперь эти люди в черных плащах волею Карла X возвращали свои дома и поместья. Теперь эти люди получили миллиард золотых франков в качестве «дворян, пострадавших от революции». Откуда было взять эти деньги? Можно было обложить пошлиной или акцизом продукты французских фабрикантов, а те в свою очередь могли снизить рабочим заработную плату. Так началось высасывание из Франции

живых соков для кормления сословия, как будто уже сметенного с исторической арены. Но французские буржуа, отвоевавшие себе львиную долю успеха в жизни, знали, что если внесешь этот золотой миллиард дворянам, то не скоро получишь его обратно от безработных пролетариев Парижа. Операция была им невыгодна.

В отличие от России, где дворянин только что поссорился с царем, во Франции между королем и аристократией был полный мир. Там выступали другие силы. Новая огромная армия людей, стоящих у ткацкого станка, людей, стоящих у машин, появилась во французских городах. Эти люди жили в ужасающей нищете; разоренные в деревне, они наводняли города, они кишмя кишели в подвалах Парижа, Лиона, Орлеана, Бордо и Тулузы, они голодали при всяком новом улучшении машин, так как хозяева выбрасывали их после этого на улицу, они голодали, как только молодежь из разоренных деревень приходила и сбивала цены на рабочие руки, они продавали свои рабочие сутки, свою рабочую силу, свои руки — все, что у них осталось. И жизнь зачастую отказывалась покупать. Наступала смерть.

За год перед теми событиями, которые мы описываем, на пятом этаже, где между двумя коридорами помещался холодный чулан, в одном из рабочих предместий Парижа умер Сен-Симон. В дни революции, когда-то, отказавшись от титула и имущества, Сен-Симон кинулся в кипящую лаву революционной борьбы, но, не довольствуясь завоеванием свободы третьему сословию, он первый заговорил о новом устройстве человеческого общества, в котором главную массу составляет пролетариат как четвертое сословие.

В этом Париже надолго остался Александр Тургенев для того, чтобы продолжать «дело спасения брата».

Николай I дал приказ сообщить английскому министерству о том, что «укрывательство Тургенева позорит Англию». Царская записка долго ходила по министерским столам в Лондоне. И семь друзей Лафайета нашли способ сделать это хождение бесконечным. Разъяренный русский царь не получил никакого ответа из Англии.

Глава тридцать третья

Наступил 1829 год. Давно были позабыты пятеро казненных, давно были только во сне виданы родные места, с которыми оба брата расстались не добровольно.

Новая жизнь вошла в них и затянула их в свой оборот. Один продолжал жизнь изгнанника, почти не покидая своего чельтенгамского уединения, редко выезжая в Лондон, мало общался с людьми, и лишь изредка итальянские карбонарии поэты Берше или Россетти, отец замечательного мальчика-художника, потерпевшего когда-то судьбу русских военных заговорщиков от других монархов, на других площадях, заходили к Тургеневу, прослышав о его судьбе. Однажды, обедая в маленькой таверне, совсем близ гавани, Тургенев увидел рыжеволосого гиганта с орлиным профилем. Это был Фосколо, автор прославленных «Последних писем Якопо Ортиса». Прошли годы, как его уже нет. Его друзья, Россетти и Берше — «итальянские декабристы», — как их называл Тургенев, приезжали навещать синьора Николая в чельтенгамском доме. Тургенев зажигал свечи. Все трое усаживались за стол, и начиналось чтение «Божественной комедии» Данте, причем оба, не перебивая друг друга, в полном согласии давали толкование текста. В каждой картине они находили особый смысл, скрытый от непосвященных, они указывали на то, что Данте является первым автором картин гражданской войны в Италии, что он принадлежал к таинственной политической секте, отстаивавшей права народа и писавшей статуты свободных городских коммун старинной Италии. Берше говорил:

— Искра свободы, пламя революций тлеет в сердцах людей. В чем состоит счастье человечества? В преемстве, передаче неугасимого огня. Очаг свободы никогда не потухает. Вспомните обычай при переходе на новое жилище, в новые страны, брать с собою незатухающую уголку с родного алтаря. Уголь зажигается от угля, один сжигается временем дотла, другой возгорается от него до пламени. Не так ли мы — итальянские угольщики — передали наш затухающий уголь на льдистые равнины вашего гиперборейского царства? Не у вас ли вспыхнули огни *карбонаризма*, и не вспыхнут ли они вскоре во Франции?

Тургенев слушал. Зеленоватые лучи зашедшего солнца золотили высокие, перистые облака. Зеленые долины покрывались сумерками. Наступала вечерняя тишина. Пастухи пригоняли овец. Старая служанка вносила кувшины с парным молоком. Среди этих мирных картин, между холмами, покрытыми лесом, странно звучали голоса трех людей, лишившихся родины.

Друзья уходили. Наступало утро с обычными занятиями — чтение философских книг и экономических трактатов.

Потом, после ухода друзей, тоска и по настоянию брата Александра составление докладной «записки о неправильности приговора».

«Был ли я участником событий, 14 декабря? Нет. А если бы я был тогда в Петербурге? — поправлял себя Тургенев и отвечал: — *Тогда этих событий или не было бы, или бы...*»

Тургенев заходил по комнате и наконец с усилием ответил сам себе: *«или бы они имели другой исход»*.

Эти размышления он положил в основу своей записки. Третье, пришедшее ему в голову во время чтения обвинительного заключения, это было то, что недовольство военной молодежи могло иметь источником вовсе не деятельность тайных обществ, а просто фигуру Николая Павловича, который, по словам Петра Каховского, был знаком «офицерству лишь перед фрунтом и вызывал в русских умах размышление». Лестно ли видеть на троне верховного правителя России человека, ограниченного кругозором «фрунтового солдата»?

«Писать это неудобно, — думал Тургенев. — Но ведь в самом деле, какие враждебные чувства мог питать я к Николаю I лично, когда я даже не предполагал, что в руки этого заурядного офицера попадет судьба многомиллионного населения отечества нашего?»

«Оправдательную записку» пришлось много раз перебеливать. Три черновика были посланы Александру Ивановичу на прочтение, и все три одинаково были забракованы.

«Я затруднен вопросом, — писал Николай Тургенев брату, — следует ли мне вообще оправдываться, раз дело решено бесповоротно. Я никогда не предполагаю вернуться в Россию. Жизнь моя и там была прежде цепью неприятностей при виде крепостных мужиков, бутошников и таких дворян, как Есиповы, Альбрехты и проч. Я жил в России только потому, что думал, что я должен сам жить для возможности быть полезным делу уничтожения рабства. Меня теперь лишили сей возможности. Не я отказался от исполнения своего долга. Меня почитают несчастливым. Я таковым себя не почитаю. Почему? Потому что я привык видеть вещи в настоящем виде».

Александр Иванович был в ужасе от этих писем. Ему, человеку, легально проживающему в Париже, было не только трудно, но невозможно понять, как его брат отказывается восстановить себя в правах гражданина царской России. Наступил момент решительной борьбы, когда необходимо во что бы то ни стало спасти заблуждающегося, и Александр Иванович нашел в себе необходимое красноречие, чтобы убедить чиновников посольства в неизбежности посылки его в Англию. Чиновники убедились.

Двадцать девятого декабря 1829 года братья встретились в Лондоне. В маленькой гостинице на Варвик-стритт обнялись и поцеловались после долгой разлуки. День прошел в бесполезных спорах. Наступил еще день, и наконец вместе с итальянцами решили встретить Новый год. Александр Иванович выпил лишнее. Николай Тургенев тоже. Встреча Нового года неожиданно сделалась каким-то буйным пиршеством. Рокетти, племянник библиотекаря Британского музея Паницци, предложил совершить круговую поездку по Лондону для встречи Нового года. О, это была сумасшедшая ночь! Попали где-то, около Виндзора, в маленький матросский притон, две негритянки танцевали в зале, матросы пели и кричали несвязные вещи. Молодой матрос говорил:

— Англичане торгуют неграми, русские торгуют русскими.

Николай Иванович подошел к брату и сказал:

— Знаете, я больше слышать этого не могу. Мне стыдно, что я русский.

Александр Иванович пожал плечами и сказал:

— А мне не стыдно.

— Я уеду,—говорил Николай.

— А я останусь,—говорил Александр Иванович.

— Как хотите, друзья!—кричал Рокетти.—По-моему, здесь очень весело.

Подняв ворот пальто, Николай большими шагами направился к выходу.

«Между мною и братьями лежит пропасть,—подумал он.—Очевидно, я в мире один! Неужели брату в Париже мало этих дешевых развлечений?»

Вернувшись к себе, Николай Тургенев перечислял события, характеризующие первые годы николаевского царствования. Первое, после казни декабристов, манифест двенадцатого мая 1826 года о незыблемости крепо-

стного права. Жестокий устав о печати, так называемый «чугунный устав» десятого июня. Выселение евреев из столиц. Просьба к дворянству о «христианском обращении с крестьянами». Учреждение жандармских округов. *Восемьдесят пять кровавых крестьянских восстаний за четыре года.* И лицемерная присяга на верность польской конституции.

«Без здравого ума может ли быть что-нибудь ужаснее, нежели такое начало царствования?» — спрашивал Тургенев, расхаживая большими шагами по комнате.

Беспокойство им овладело страшное. Чувство тоски и одиночества сменялось отвращением при мысли о возможности вернуться в Россию.

Через два дня Александр Иванович уехал в Париж. Встряхнув дневную усталость, вечером он был на обычном четверговом собрании у Кювье. Французский академик водил его по комнатам своей квартиры в Ботаническом саду, показывая устройство своих ученых кабинетов. Широкий охват интересов сказывался в этом распределении. Каждый кабинет Кювье был посвящен отдельной науке. Ботаническая лаборатория сменялась физическим кабинетом, из которого можно было прямо перейти в геологический и палеонтологический кабинеты; химическая лаборатория примыкала к обширной библиотеке, увешанной географическими картами, таблицами и картинами животных исчезнувшего допотопного мира. Кювье показывал куски ископаемых костей, подносил эти куски к стене, на которой был большой чертеж скелета, и говорил группе гостей:

— Вот изгиб, наиболее показательный для направления роста скелета этого странного животного. По этому изгибу вы путем комбинированной формулы органического роста ткани, путем вычисления давления костной тяжести на скелет можете определить строение всего скелета. Вот мой рисунок.

Он указывал на небольшой зарисованный киноварью угол чертежа и говорил:

— Вот место, занимаемое на скелете костью, которую я держу в руке. А вот, по моему скромному мнению, каков должен быть скелет этого вымершего чудовища. Мы можем определять возраст земли, мы можем многие тайны природы открыть этим способом. Мы должны заставить ее заговорить с нами понятным языком, а содействовать этому может только тесное содружество

наук, стремящихся к одной цели. Я смотрю на общество ученых как на тесное содружество человеческого общества, разделяющего трудовые процессы на группы. По типу солидарности наук должна строиться и солидарность человеческих обществ. Между наукой и творческим трудом не вижу разницы.

Группа молодых ученых, литераторов и артистов не без удивления слушала эти странные и небывалые слова. Тургенев обратил внимание на скуластого человека с черной шапкой волос, маленькими глазами, короткими бровями, с губами, слегка поднятыми вверх по углам, с кабаньим оскалом зубов с большими клыками. Этот человек с бесконечной пытливостью впивался в каждое слово Кювье.

— Согласны ли вы со мною, господин Бальзак? — сказал Кювье, обращаясь к этому человеку.

— Не только согласен, — сказал молодой человек, — но я склонен включить всю литературу в тот оборот содружества, о котором говорите вы. Пора уничтожить грань между литературой и наукой. Будем в литературе воссоздавать ту бурно кипящую жизнь, которая безумствует и плодотворит из хаоса космос в микрокосме и макрокосме.

— Что за дьявольский язык! — шепотом произнес сосед Тургенева. — Это какой-то мастеровой, начитавшийся ученых словарей.

Тургенев наклонился к Лабенскому, стоявшему рядом с ним, и спросил:

— Кто это так язвительно отозвался о Бальзаке?

— Это Мериме, — ответил Лабенский, — автор «Хроники времен Карла Девятого».

— Значит, писатель? — спрашивает Тургенев. — Очевидно, их судьба дурно говорить друг о друге.

— Ну, Мериме имеет право так говорить о Бальзаке. Бальзак — писатель вздорный, — заявил Лабенский.

— Ничего не читал, — сказал Тургенев.

— Могу дать тебе «Шуана» — очень плохая вещь.

Разговор был прерван племянницей Кювье. Стройная, высокая девушка с очень добрым и спокойным лицом вошла в библиотеку и пригласила всех ужинать.

— Здравствуйте, дорогая Дювоссель, — произнес Мериме. — Не видел вас весь вечер и спрашивал господина Кювье, куда исчез лучший цветок Ботанического сада.

— Цветок вчера попал под дождь и сегодня кашляет с головной болью.

— Вам не нужно так рисковать собою,—говорил Мериме.—У вас слабая грудь, вам нельзя простужаться.

За ужином Дювоссель сидела между Тургеневым и Мериме. Она была очень непринужденна, очень весела, и какое-то доброе, совершенно не светское внимание светилося в каждом ее слове и в каждом обращении к людям. Она производила впечатление монастырки, давшей тайный обет и остающейся по-прежнему в светской обстановке. Большими голубыми глазами она внимательно смотрела на Александра Тургенева с таким видом, как будто она знала о его горе, но не хотела и не собиралась заговаривать о нем. Только когда Мериме осторожно и деликатно спросил Тургенева, улучшилось ли состояние брата-изгнанника, София Дювоссель, оживившись и словно обрадовавшись возможности выразить Александру Ивановичу свое сочувствие, произнесла:

— Мы так боимся жестокости царя и так радуемся возможности помочь изгнанникам, что я была бы рада, если бы вы мне разрешили хоть чем-нибудь быть вам полезной.

Александр Иванович был удивлен и тронут. Он не предполагал, что брат Николай станет предметом внимания и такого большого сочувствия в доме сухого и строгого Кювье. Он решил обратиться к Дювоссель с просьбой указать, кто мог бы исправить французский язык оправдательной записки брата. Пока Дювоссель собиралась ответить, Мериме осторожно обратился к Александру Ивановичу:

— Если б вы разрешили мне быть вам полезным, я немного знаю французский язык.

Сухое и холодное лицо Мериме вдруг оживилось внезапной улыбкой. Тургенев поблагодарил. Он с удивлением взглянул на это преображение. Большой, чрезвычайно уродливый нос, глаза свинцового цвета, огромный лоб с большими выпуклостями—все было чрезвычайно некрасиво, но улыбка сделала лицо почти привлекательным.

«Он любезен, этот француз,—думал Тургенев,—но черт его знает, какие у него политические взгляды».

— Благодарю вас,—еще раз повторил он, обращаясь к Мериме.—Тут ведь нужен знаток юридических терминов.

— Но ведь я юрист, я окончил юридический факультет,—сказал Мериме.

Кювье через стол спросил:

— Почему литератор Мериме рекомендуется в качестве юриста?

Тургеневу не хотелось, чтобы Лабенский слышал его ответ. Он сказал:

— Мне нужен редактор юридического документа.

Кювье кивнул головой, казалось, понял, в чем дело, и, вынув из жилетного кармана маленькую визитную карточку, написал на обороте несколько слов и через соседа передал Тургеневу.

Академик Кювье просил адвоката Ренуара оказать всяческое содействие господину Тургеневу.

Пробило двенадцать часов. Ночной Париж только что начинал жить. У Кювье за столом сменили свечи. Слуга в зеленой ливрее со знаками Ботанического сада в петлицах внес шампанское. Под громкое хлопанье пробок в комнату вошел новый гость, встреченный восклицаниями и насмешками. Это был довольно грузный высокий человек с круглым, красным лицом, темно-каштановыми, почти черными, волосами и такими же бакенбардами.

— Господин Бейль всегда является перед зарей,— воскликнул один из гостей.

— Это хорошо,— ответил вошедший.— Самые лучшие звезды появляются на небе перед зарей. Но, по-моему, всего только полночь. У кого-то часы идут слишком вперед.

— Это лучше, чем отставать,— заявил Мериме.

— Верно!— ответил Бейль, садясь и сразу беря большой бокал шампанского.— Но уже давно французские часы показывают четыре, когда на небе восемь. Я только что от госпожи Ансло. Ее супруг защищает классический театр, так что остается пожалеть о неудаче его рождения. Он опоздал родиться ровно на сто лет... Клара, по вашему адресу там были колкие замечания.

— Какие, барон Стендаль?— спросил Мериме, к которому относились последние слова Бейля.

— Вам не могут простить «Театра Клары Гасуль». Ваши испанские комедии разрушают чинное спокойствие благонравного французского театра. А тут еще господин Гюго написал драму, в которой героини перескакивают из эпохи в эпоху, в которой ничего не осталось ни от единства действия, ни от единства времени, ни от единства места. Аристотель и Буало отправлены к черту. Корнель и Расин ворочаются в гробу. Но, увы... и Шекспир не торжествует.

— На вас трудно угодить, дорогой Бейль,—сказал Мериме,—вы, автор «Романтического манифеста», наносите ущерб репутации лучшего романтика—Гюго.

— В спорах Гюго и классиков я на стороне Армана Кареля. Когда газета «Националь» ругательски разругивает господина Гюго с компанией неудачных школьников, я на стороне Кареля. Редактор «Националя» лучше вздорного литератора с трескучими фразами. Нам нужны не стихи, а драма с прозаическим диалогом, драма, способная разбудить общество, испорченное героями прилавка и биржи.

Лабенский подошел к Тургеневу и сунул ему маленькую книжку Кампера о тайных обществах.

— Тебе полезно будет это прочесть,—сказал Лабенский.—Ты не веришь в виновность брата, а между тем Кампер прямо доказывает, что петербургские события четырнадцатого декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года были прямым следствием общего карбонарского плана.

Тургенев покачал головой и сказал:

— Не верю. Я покажу тебе дневник моего брата. Ты увидишь его отношение к тайным обществам. Он писал, что тайные общества невозможны в России.

— Покажи, покажи,—сказал Лабенский и отошел от Тургенева, ворча:—Ну что ломается? Известно, что Николай Тургенев в Эдинбурге сжег все свои дневники!

Александр Иванович задумался, повторяя про себя:

«Хорошо, что я не дал брату сжечь свои дневники двадцать пятого года. *Все у меня. Сейчас из Николая не выжмешь ни строчки. А оставшихся бумаг я ему не отдам!*»

Разошлись под утро, Бейль шумел по лестнице настолько, что Кювье, провожая гостей со свечкой, просил не будить соседей. Бейль кричал, обращаясь к Мериме:

— Король Карл Десятый объявил смертную казнь за святотатство. Он предписал смещать с должностей всех не католиков, занимающих ответственные посты. Начинается «новая борьба с гугенотами». Ждите Варфоломеевской ночи!

Он стучал тростниковой тростью по перилам и, весело хлопая Мериме по плечу, говорил:

— Молодец, Клара! Но не слишком ли много риска? В наши дни, когда Карл Десятый готовит Варфоломеевскую ночь ради восстановления феодальных прав дворянства,

писать такие книжки, как «Хроника времен Карла Девятого», опасно, дружок!

— Тише, тише, господа,—говорил Тургенев.— Господин Кювье просил не шуметь.

Но дверь захлопнулась, шестеро гостей-попутчиков оказались на улице, и Бейль без стеснения продолжал:

— Вы уверены, конечно, что Мармон и Полиньяк дураки. Мармон герцог Рагузский, отупевший маршал, полоумный губернатор Парижа, он вам покровительствует, но Полиньяк вряд ли вас помилует, если иезуиты шепнут ему одно лишь словечко. В самом деле, вы не довольствуетесь тем, что при Карле Десятом пишете «Хронику времен Карла Девятого», вы жонглируете именем Карла, вы помещаете в «Парижском обозрении» короткую новеллу «Видения Карла Одиннадцатого»! Как это любезно, изобразить Карла Одиннадцатого галлюцинирующим в ужасе, видящим самого себя с отрубленной головой! Согласитесь сами, что между Карлом Девятым и Карлом Одиннадцатым находится как раз Карл Десятый. Попробуйте втолковать, что «Хроника» относится к тысяча пятьсот семьдесят второму году, а Карл Одиннадцатый всего лишь *шведский*, а не *французский* король,— все равно, Клара, ваш безумный замысел очевиден!!!

— Да нет же, это случайное совпадение!—говорил Мериме.— Я не Бейль, я никакого отношения не имел к итальянскому карбонарию, я не проводил в палату гренобльского депутата Грегуара, который первый подал голос за арест Людовика Шестнадцатого! На мне нет ни одного политического преступления барона Стендаля!

— Вы парируете ловко,—сказал Бейль.— Кстати, когда увидите Мармона, порасспросите его о русских событиях двадцать пятого года. Я представить себе не мог, будучи с Наполеоном в Москве, что эта страна политически созреет так скоро.

— Вы были в Москве?—спросил Тургенев.

— Да, господин Тургенев. Я вздрагиваю каждый раз, когда вспоминаю виленские морозы. Между прочим, супруги Ансло недавно вернулись из России, где пробыли шесть месяцев на коронации царя.

— Да, я вчера читал брошюру такого же изгнанника, как и мой брат, Якова Толстого «можно ли узнать страну в шесть месяцев». Написано в ответ на книжку Поликарпа Ансло.

— И я читал Якова Толстого,—сказал Бейль.— Простите неприятный отзыв о вашем соотечественнике. Господин Яков Толстой очень резко отозвался о прекрасной книжке Рабба «Краткий очерк истории России». Русский барин, выросший на крепостных хлебах, не стыдящийся быть рабовладельцем, осмеливается издеваться над Раббом, играя русским значением этой фамилии, раб все-таки не «Рабб»! Не правда ли?

— Рабство—это, конечно, позорная вещь для нашей страны,—сказал А. И. Тургенев.—Изгнание моего брата может вам свидетельствовать, что многие не снесли этого позора.

Бейль кивнул головой.

— Я видел господина Николая Тургенева в прошлом году, когда был в Виндзоре.

— Как, вы видели моего брата в Англии?

— Да, мне указали на него мои итальянские друзья, когда он был на прогулке.

Глава тридцать четвертая

Бывший главный адъютант штаба, вовремя уехавший из России «декабрист» Яков Николаевич Толстой, с беспокойством поглядывал на вошедшего гостя. Рваное полотенце валялось на полу, медный тазик с мыльной водой, зеркало и бритва, сапог на диване и вороха документов на столе.

«Плохая обстановка для приема гостей»,—думал Толстой.

И, не зная, с чего начать разговор с неожиданным и крайне неприятным гостем, Яков Толстой прямо начал с этой фразы:

— Прости, Александр Иванович, плохая обстановка для приема гостей. Но...

И запнулся.

— У тебя там, внизу, мальчишка, сын портье, распевает чудесные стихи.

— Ах, это маленький Мюрже! Да, подает большие надежды!—вдруг обрадовавшись возможности сдвинуть с мертвой точки разговор, произнес Толстой и добавил, стремясь раскидать книги и газеты так, чтобы прикрыть документы:—Баальные надежды!

— Ну, а как твои надежды?—спросил Тургенев.

— Да, знаешь, ведь я же ни в чем не виноват! Кстати, я просил у тебя займы и до сих пор не отдал. Сейчас еще хочу попросить. Туго, брат, живётся в этом проклятом Париже русскому офицеру.

— Да ведь ты теперь писатель! Разве тебе не платят за защиту царской России? Ты ведь поешь такие панегирики!

— Ну! Ну!—остановил Толстой.—«Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет». Говори прямо, что тебе нужно. Тургеневы зря не приходят!

Этот тон разозлил Александра Ивановича, но он обрадовался возможности прямо приступить к делу.

— Мне нужно добиться единства действия. Оправдываешься ты, оправдывается и мой брат. Надо, чтобы не получилось разнобоя. Покажи текст твоей записки царю.

— Текст? Текст! Текст!—защелкал Яков Толстой.—Да я тебе на словах скажу. Ну, вот. Как же? Ну! Сообщил в следственную комиссию, что «к тайному обществу действительно принадлежал, но за деяния оного в мое отсутствие ответственности принимать не могу».

— Да ты покажи, что написал! Не таись!

Толстой стал рыться на столе. Но Тургеневу показалось, что роется он больше для виду, так были странно неудачны движения Якова Толстого. Вот он вытянул вчетверо сложенный лист бумаги и показал несколько строк.

«Документ незначительный»,—думал Тургенев. С удовлетворением прочел строчки: «В тайное общество введен был Семеновым». От сердца отлегло. «Слава богу,—подумал Александр Иванович,—что не назвал брата, пригласившего в общество Якова Толстого».

Он хотел перевернуть страницу, и вдруг изнутри выпал казенный бланк, исписанный мелким почерком. Этот клочок бумаги косым движением полетел под диван. Яков Толстой торопливо бросился его поднимать. Когда он выпрямился, лицо его было красно, глаза потемнели. Казалось, наклонение головы сопровождалось для него невыносимым напряжением. Александр Иванович машинально протянул руку к документу. Толстой, словно не замечая этого жеста, положил документ в толстую книгу с самым небрежным видом и спросил:

— Ну, так как же? Дашь денег?

«Свинья,—подумал Тургенев,—ты что-то таишь, ты что-то виляешь». И молча покачал головой в знак отказа.

С чувством беспокойства Александр Тургенев пошел домой по Итальянскому бульвару. День казался бесконечно большим. Светило яркое солнце. И, вероятно, у многих людей было счастливо и весело на душе. Вот молодая бедно одетая парижанка идет по бульвару со студентом в берете. Тот вертит в руках тремя пальцами тросточку. Лучи солнца искрятся в кружащемся набалдашнике. Оба веселы, оба молоды и, вероятно, не думают о завтрашнем дне.

Когда пришел к себе, то комната гостиницы показалась погребом. За перегородкой слышались голоса, спорившие на тему о безработице. «Ворота фабрик охраняются конницей. Переодетые полицейские агенты делают провокационные выстрелы в часовых. Часовые отвечают залпами в сторону рабочих». Тургенев уже не слушал. Он писал письмо за письмом: 1) Василию Андреевичу Жуковскому с просьбой просить царя о помиловании брата, 2) брату о своих хлопотах и о парижских впечатлениях. Кончив письма, шел обедать в ресторане Пале-Рояля, предварительно сдав пакеты на почту.

«Проклятое время,— думал Тургенев.— Русских в Париже считают политической заразой. Брату нечего и думать появляться на континенте. Приходится писать обиняками. Недаром Николай в ответ на мои восторги по адресу английского парламентаризма и свободы отвечает сдержанным предупреждением о том, что в Англии тайный кабинет вскрывает письма. Письма молодого Маццини, изгнанного из Италии и приговоренного к смерти, были перехвачены. Но все-таки об этом был запрос в парламенте. Долго идут что-то письма».

Черноглазый курчавый мальчишка протянул через дверь Якову Николаевичу Толстому записку.

— Послушай, Мюрже,— закричал Толстой,— отнеси ответ.

Мальчишка смотрел острыми, понимающими глазами.

— Также чтобы никто не видал?— спросил мальчик, кивнув головой.

— Также чтоб никто не видал,— сказал сердито Толстой.

— Вы не думайте, что я маленький,— сказал Мюрже.— На улице лучше видно, чем в комнате, а мы вчетвером спим под лестницей. Все видим, все слышим,

все понимаем. Мы знаем, что мсье важный человек. *Вас любит русский царь.*

— Не говори глупостей, щенок,— закричал Толстой.

Через два часа из коляски прыжком тигра выскочил молодой человек в сером цилиндре и в рединготе оливкового цвета. Щеголеватый, надушенный, словно только что вышедший из парикмахерской, он имел беспечный и несколько наглый вид. Он постучался к Толстому. Дверь закрылась, и маленький Мюрже внизу уже знал, что нужно отвечать, если кто-нибудь в эти часы будет спрашивать господина «*Жакоб Тольстой*».

Каждый раз после ухода человека в сером цилиндре маленький Мюрже получал целый франк, а мсье Жакоб возвращался поздно ночью навеселе с девушкой под руку. Девушки все были разные. Мюрже предвкушал удовольствие. Холодная серебряная монета падает в руку, а потом думал, какая сегодня будет, блондинка или брюнетка, а быть может рыжая, с красными губами, как прошлый раз.

В верхнем этаже проживал господин Этьен Жуи, академик, важная персона, автор «Шосседантенского отшельника». Отец Мюрже получал от него жалованье. Господин Жуи был, говорят, когда-то таким же бедняком, как маленький Мюрже. Он любит рассказывать о своих приключениях жизни, а господин Толстой говорит, что господин Жуи в Индии отличился в скверном приключении. Он хотел совершить насилие над девушкой в индийском храме, а когда та закричала, то господин Жуи убежал, бросив на произвол судьбы своего спутника офицера. Этого офицера индусы изрезали в куски, в то время как господин Жуи на лошади своего товарища ускорил во французский лагерь.

«Говорят, что господин Жуи использовал деньги убитого. Деньги — самое главное в жизни,— думал маленький Мюрже.— Чтобы быть счастливым, надо иметь деньги. Вот мой отец — всю жизнь нищий и всю жизнь работает. Есть ли в этом смысл?»

Мечты маленького Мюрже о деньгах сбылись только много лет спустя, когда он вырос и сделался секретарем Якова Толстого. Он доносил ему о всяком слове, сказанном русскими людьми в Париже, о литературных кружках французской молодежи, стремящейся к революции. В эти годы Яков Толстой уже был прощен за грехи своего раннего декабризма. Но об этом в конце.

Пробило одиннадцать ночи. Александр Иванович запечатал последний пакет, записал несколько строк в дневнике и стал переодеваться. Нанял извозчика на улицу Жубер. В гостиной Виргинии Ансло было уже много народа. На голубом диване сидели, рассказывая друг другу непристойности, Сергей Соболевский и Проспер Мериме. Хозяйка поодаль сидела с господином Бейлем, держа в руках «Прогулки по Риму», преподнесенные автором.

— Почему вы избрали такой странный псевдоним? — спрашивала Ансло Бейля. — *Стендаль* ведь даже не французское слово?

— Тем лучше, что не французское, — возразил Бейль.

— Нет, в самом деле, что это значит?

— О, это многое значит, сударыня. Во-первых, *Стендаль* — это маленький саксонский городок с тринадцатью башнями. Во-вторых, в этом маленьком саксонском городке родился величайший знаток искусств Винкельман. В-третьих, отдыхая после неприятностей военной жизни в Брауншвейге, я приехал в этот маленький саксонский городок как раз в тот день, когда немецкие крестьяне и пастухи с гор, под предводительством Катта, пытались изгнать французов из Саксонии. Для меня этот город богат воспоминаниями, а потом *французом не обязательно быть для человека*.

— Смотрите, как Мериме и Соболевский подружились, — сказала Ансло, здороваясь с Тургеневым.

— Они, кажется, сверстники, — сказал Бейль.

— Да, — ответил Тургенев, — так же, как и мы с вами. Мериме и Соболевский родились оба в тысяча восемьсот третьем году. Тургенев и Бейль родились оба в тысяча семьсот восемьдесят третьем году. Не правда ли, странное совпадение?

— Да, — сказал Бейль, внимательно посмотрев на Тургенева. — Все четверо холостяки и все четверо бродяги. Я люблю скитальческую жизнь. А где же господин Ансло? — спросил вдруг Бейль.

— Сегодня ставят его пьесу. Главную роль играет его любовница. О! Как вы счастливы, обходясь без семейной жизни.

— Но ведь театры уже, по-видимому, кончились? — спросил Тургенев и, взглянув на часы, сказал: — Да, уже за полночь, конечно, кончились.

Госпожа Ансло надулась.

— Вы хотите сказать, что мой супруг не в театре. Я это знаю.

Вошел доктор Корэф. Неловкий разговор был прерван. Но судьба положительно издевалась над Виргинией Ансло. Когда Тургенев спросил доктора, какой самый здоровый образ жизни, тот ответил:

— Образ жизни эгоиста,—и, развивая свою мысль, сказал: — Почему Талейран чувствует себя хорошо? Только потому, что он никогда ни о ком не жалеет, иначе как для вида. Он бережет свои чувства и расходует их раз в столетие.

— Ну, кажется, он моложе вас, доктор? — спросила Ансло.

— Не перебивайте, сударыня, иначе я забуду, о чем говорил. Я хочу рассказать вам, как в Вене, на обеде у императора Франца, сосед Талейрана умер за столом, повалившись на плечо Талейрану. Тот спокойно допил глоток вина, поставил стакан на стол и, обратившись к слуге, сказал: «Уберите с моего плеча эту голову, мне достаточно своей». Потом как ни в чем не бывало продолжал есть. Второй случай эгоизма очень характеризует женщину. Супруга, увидев, что ее муж умер в постели после супружеской ласки, зовет лакея и просит унести господина.

— Ну и что же? — спросил Тургенев.

— Потом она отвернулась к стене и заснула.

— Хорошо, что слуга не занял его места,—сказала г-жа Ансло.

— Сударыня, мы примем вашу поправку,—заявил Корэф и, обратившись к Мериме, продолжал: — Сударь, что вы сделали с ученым Кювье? Вас чествовали, вами восхищались, а вы?..

Корэф остановился, все, заинтригованные его словами, ждали, что он будет продолжать.

Мериме закончил сам:

— Кювье давно искал автограф Робеспьера и, зная мои дружеские связи с Лабордом, директором архива, просил оказать ему содействие в поисках. Я нашел *автограф*. Кювье и ученые академики признали его подлинность. Устроили обед в мою честь, а я, когда подали шампанское, предложил просмотреть письмо Робеспьера на свет. Обнаружилось клеймо Лионской бумажной фабрики — увы! — тысяча восемьсот двадцать девятого года. Ученые архивисты были смущены! Кювье чуть не заплакал!

— О мастер подделок! О великий фальсификатор чувств! О мистификатор людей! Вот что значит пройти школу журналиста Лингаи, умевшего одновременно писать в двух газетах диаметрально противоположные статьи с одинаковой убежденностью! — воскликнул Корэф.

«О французы! — думал про себя Тургенев. — О пустые сердца и острые умы! Если бы среди вас я мог бы хоть на минуту забыть муку предстоящей казни брата! Несмотря ни на какие обещания и посулы, я навсегда ушел со службы. Доколе ж я буду скитаться? Как и с чем появлюсь я в России? Чтобы влачить там жалкое существование? *Екатерина Лаваль, ставшая женою Трубецкого, не будучи родной ему по крови, не могла его оставить и поехала за ним в Сибирь. Неужели я предам брата, неужели окажусь эгоистом?*»

Александр Тургенев до такой степени задумался и загрустил, что не заметил обращенного к нему вопроса. Мадам Ансло третий раз спрашивала его о причине задумчивости. Тургенев нашелся, что ответить, но настоящей причины не сказал. Он думал о неверности друзей, о Блудове, который, несмотря на дружбу, вынес брату Николаю смертный приговор, отмененный царем, о Жихареве, которому братья Тургеневы поручили управление домами и который эти дома делает все менее и менее доходными. Жихарев — лучший друг! Жихарев — вор! Жихарев — мошенник! О Кайсаровых, которые разбрелись неизвестно куда, о Жуковском, который до сих пор не может выхлопотать гарантию безопасности для брата Николая.

Мериме рассказывал о доктринерских спорах, о политическом беспокойстве Парижа, о том, что *«поговаривают о смене династии»*. Тургенев пересел поближе и стал слушать рассказы Бейля об Италии, о тамошних жарах, о времени года, наиболее удобном для путешествия.

— Я во всяком случае не останусь в Париже, дорогой наставник, — заявил внезапно Мериме, обращаясь к Бейлю с неожиданной нежностью. — Тут беспокойно — нужно собираться в Испанию. А если полиция не пустит, то я увяжусь за старшим другом и вместе с Бейлем поеду в Италию, — произнес он, поворачивая голову к Тургеневу.

— Чтобы потом, — перебил один из гостей, — появились новые двенадцать томов записок Джакомо Казановы?

Предлагавший вопрос с лукавым видом смотрел на Бейля.

— Бюш до такой степени привык издавать фальшивые хроники,— ответил Мериме спросившему,— что, конечно, он не верит в подлинность записок Казановы.

— Не я один,— сказал Бюш.— Возьмите Лакруа, который пишет под псевдонимом «Яков-библиофил»,— он тоже категорически отрицает существование какого бы то ни было Казановы. Казанова ни слова не понимал по-французски, однако его авантюры описаны таким прекрасным французским языком, какой отличает только автора «Прогулок по Риму», «Ванины Ванини» и «Воспоминания итальянского дворянина». Да, да,— повторил Бюш, упорно глядя на Бейля.— Я не принадлежу к числу наивных людей, допускающих, что анонимный рассказ итальянского беглеца, напечатанный в «Британском обозрении», есть действительно итальянское произведение. Это ваша новелла, дорогой Бейль.

Бейль хотел возражать, но неугомонный собеседник говорил, не давая ему ответить:

— Сошлюсь на другой авторитет. Итальянский карбонарий, изгнанник Уго Фосколо—лучший поэт Италии—прямо говорил мне, что эти записки представляют собою сплетение вымыслов встречающихся в брошюрах и журналах, вышедших непосредственно после падения Венецианской республики. Именно Фосколо сказал мне, что господин Бейль, вернее барон Стендаль, приложил руку к этому вымыслу.

На этот раз Бейль молчал. Мериме тихо и беззвучно смеялся. Виргиния Ансло встала и через минуту принесла из библиотеки двенадцать томов брюссельского издания 1828 года с надписью Бейля.

— Вот вам,— сказала она,— недостает только подписи: «Искренне преданный автор».

Бейль рассмеялся.

— У вас на книжной полке, рядом с Казановой, стоит маленькая книжка «Мертвый осел, или Обезглавленная женщина», тоже с моей надписью. Не станете же вы обижать бедного Жюль Жанена, который является несомненным автором этой книги. У вас там маленькое издание «Ромео и Джульетты», тоже с моей дарственной надписью. Не станете же вы приписывать мне эту изящную пьесу!

— И все-таки,— сказал Бюш,— Казанова никогда не существовал. Его «Приключения»—ваша выдумка!

Пришли письма из России. Жихарев воспользовался генеральной доверенностью Тургенева и заложил все недвижимые его имущества. *«О деньгах не пишет ничего. Странно!»* Пришло письмо от Жуковского. В неопределенных выражениях сообщает, что господь милостив и что если Николай Тургенев считает себя невинным, то пусть явится *«для предания себя великодушию императора»*.

«Странная неопределенность письма»,— думал Тургенев.

Было два часа пополудни, время, когда мадам Рекамье принимала дневные визиты очень небольшого, очень избранного круга друзей. Александр Тургенев принадлежал к этому кругу. Издали увидел у подъезда карету Шатобриана. Христианнейший писатель в чине римского посланника, Шатобриан уже беседовал с г-жой Рекамье около получаса, в то время как в карете, внизу у подъезда, его ожидала супруга. Г-жа Шатобриан с любопытством поглядела вслед Тургеневу, поднимавшемуся по лестнице. Тургенев машинально оглянулся и посмотрел в окно кареты. Чувство внезапной неловкости охватило его, когда он входил в гостиную и целовал руку мадам Рекамье. Лавр и белая роза кокетливо стояли на мраморном камине. Силуэты мадам де Сталь, черные на золотом фоне, лежали на мозаичном столике. Книги, гравюры и маленький сад перед окнами, распятие из слоновой кости в углу рядом с изображением мадонны. Семь белоснежных восковых свечей и четки, два тома Шатобриана в зеленом сафьяновом переплете *«Гений христианства»*. Разговор вели о политике, о значении христианства в политическом строе государств. Шатобриан с жаром говорил о том, как печальна смерть Байрона, *«первого сатаниста Европы, умершего на греческих полях без надежды и веры в сердце»*. Потом вдруг благодаря какому-то нечаянному повороту Шатобриан заговорил о своем пребывании в Америке, внезапно оживился, и Тургенев почувствовал, что этого человека можно заслушаться, когда он, как богатый колорист, стал набрасывать картины бесконечных американских степей, непроходимых лесов и полноводных, глубоких рек.

«А все-таки у него байроническое ощущение природы»,— думал Тургенев.

Рекамье смотрела на Тургенева все время с таким многозначительным видом, что Тургеневу стало неловко. Минутами ему казалось, что у него есть какая-то небреж-

ность в одежде, но вскоре все разъяснилось. Г-жа Рекамье взяла со стола небольшой пакет и, обращаясь к Тургеневу, сказала:

— Сегодня прибыл господин Матусевич из Петербурга. Он привез мне очень милое письмо князя Вяземского, и в нем оказался, к моему удивлению, пакет на ваше имя.

Тургенев почувствовал большую неловкость: «Как могло произойти, чтобы человек такой вежливый, как Петр Андреевич, позволил себе обременить хлопотами по передаче знаменитую светскую красавицу французской столицы!» Он попросил разрешения вскрыть пакет. Маленький том пушкинского «Онегина», и в нем короткая записка:

«Дорогой Тургенев, писать больше ничего не могу. Брат ни в коем случае не должен возвращаться в Россию.

Твой *Василий Жуковский*».

Сделав над собою усилие, чтобы не слишком взволноваться, Александр Иванович извинился перед г-жой Рекамье и показал ей новую книжку Пушкина. О записке Жуковского, конечно, промолчал.

«Ясность положения все-таки лучше,— думал он.— Но чего стоило Жуковскому написать эти строчки. С его характером, с его вечной боязливостью—это почти героизм».

Шатобриан еще сидел, продолжая высказывать свои опасения за судьбу французской монархии, если король Карл X еще дальше пойдет по пути восстановления старинной Франции.

Использував первую минуту молчания, Тургенев откланялся и вышел. Г-жа Шатобриан все еще сидела в карете. Мальчишки-газетчики едва не сбили Тургенева с ног криками: «Новые ордонансы».

«С плеч свалилась гора,— писал Александр Иванович брату,—теперь по крайней мере все ясно».

Отослав письмо, стал раздумывать о том, куда и когда собраться из Парижа. Атмосфера слишком сгустилась. Дворяне и буржуа сцепились в парламенте. Одним хочется продавать хлеб подороже с полей дворянских имений, другим хочется иметь дешевые рабочие руки, но все тянут политику налогов в свою сторону. А в Париже растут безработица и нужда, о которой газеты не смеют писать. Того и жди—вспыхнет восстание фабрик и заводов.

Утром седьмого июня 1830 года почтальон принес на улицу Ришелье, № 29, в отель Лиллуа, короткую записку.

«Мадам Ансло просит господина Тургенева не позабыть, что в ближайший вторник, 8 июня, мы должны устроить прощальные проводы господину Мериме. Вы должны утешить нас по случаю отъезда нашего общего друга, поэтому те, кто остаются с нами, должны быть в сборе».

Утром девятого июня Александр Иванович писал брату в Чельтенгам:

«Понедельник, Виргиния.

№ 20. Обедал в «Salon des étrangers»¹. Там встретил Груши, который был дипломатом в Гишпании, а теперь назначен секретарем посольства в Стокгольм. Он мне очень нравится и все расспрашивает о тебе с живым участием. Он дал мне охоту заглянуть в Гишпанию из Пиреней. И Мериме, коего отъезд в Гишпанию вчера праздновали мы у Ансло, приглашает меня, но боюсь жары и полиции. Впрочем, до Барселоны можно и с одним паспортом французского пограничного префекта добраться. Я кончил вечер у Ансло. Это был прощальный для Мериме. Там слышал я, что политика австрийская изменилась в отношении к мнению о состоянии Франции и о политике внутренней здешнего кабинета. Сказывают, что Меттерних объявил разгневанно в Вене, что правительство губит себя, что Австрия никогда не думала, что должно волновать так умы для поддержания и утверждения королевской власти. То же граф Лансдорф объявил в Берлине прусскому министерству. Сказывают, что этот отзыв очень подействовал. Но Полиньяк все надеется на помощь свыше, ибо он, уверяют, почитает себя вдохновенным и недавно объявил это одной из родственниц своих, которая высказала опасение за монархию».

Перед отъездом Мериме посоветовал Тургеневу:

— Почаще бывайте на представлениях герцогу Орлеанскому.

— Да, мне говорили,— сказал Тургенев.— Двадцать шестого мая утром я был представлен герцогу, герцогине

¹ Салон для иностранцев (фр.).

и mademoiselle d'Orléan. Кажется, мне надолго придется поселиться во Франции.

— Поезжайте на юг,— ответил Мериме,— вы ни разу не были в районе Пиренеев. Поедьте со мной в Испанию. Помните, как хорошо вы говорили об этой поездке, когда я познакомил вас с господином Гюго во время первого представления «Эрнани».

— Боюсь, что из поездки выйдет пародия на путешествие. Испания меня страшит!

— Не бойтесь пародий,— ответил Мериме.— Мы ведь с вами вместе смотрели «Эрнани» Гюго и «Ни-ни»...

Мериме уехал. Тургенев последовал за ним.

Двадцать девятого июля 1830 года Бейль возвращался извилистыми переулками по корявым и горбатым мостам из Сент-Антуанского предместья на улицу Ришелье, № 71. Мостовые были выворочены, артиллерийский бой затихал, но выстрелы слышались и в восточной и в западной части Парижа. Третий день Париж сотрясали конвульсии и судороги революции. Сегодня уже было ясно, что никакая отмена диких распоряжений, «внушенных королю Карлу и министру Полиньяку самой богородицей», не поможет. Династия пала. Всюду рвали белые флаги с лилиями Бурбонов, на баррикадах зрелище, не виданное в Париже со времен 1650 года (ибо Великая революция 1789 года обошлась без баррикад), развевались красные знамена, но вместе с тем появился и третий цвет—появилось черное знамя на баррикаде Сент-Антуана с надписью: «Жить, работая, или умереть в бою». Это мрачное знамя с этой трагической надписью было ответом черного отчаяния на черную реакцию, наступившую в эти годы. Десятки тысяч рабочих голодали. Закрывались фабрики, распускались заводы, а двадцать седьмого июля к типографии на улице Ришелье явился полицейский комиссар с отрядом, чтобы сломать типографские машины. Манжен—префект полиции—уверял, что роспуск палаты депутатов не вызовет массового волнения. Он был прав. Рабочим не было никакого дела до расширения избирательных привилегий в среде полутораста—двухсот тысяч французских предпринимателей. Основной массе французского населения не было никакого дела до того, чем кончится налоговая война, объявленная буржуазией, сидевшей в палате, аристократам, сидев-

шим на скамьях пэров. Но когда стали ломать печатные станки, только что выпустившие прокламации о королевском произволе, как искры электрического тока пробежали от Политехнической школы к фабрикам и заводам. Десять тысяч студентов и рабочих высыпали на улицу. Загремели ломы о камни мостовой, коляски, омнибусы, винные бочки, кровати, двери магазинов, уличные столбы и тумбы, деревья великолепных бульваров,—все стало перегораживать улицы, и длинные проволоки потянулись с одного тротуара на другой, чтобы конница, налетавшая на толпу, остановилась и сразу отпрянула под выстрелами инсургентов. У губернатора Мармона была армия в четырнадцать тысяч. Ни конница, ни артиллерия не могли повернуться в Париже. Полки и батальоны отказывались стрелять, тем не менее по Парижу гудел набат, восток был охвачен заревом, и Карл X, играя в вист на балконе в Сен-Клу, не без тревоги спрашивал Полиньяка, что все это значит. Полиньяк отвечал: «Вспышка, простой бунт. Это скоро кончится». Но это не кончилось. Бои разгорались все страшнее и ужаснее. На улицы вылились роты, батальоны и полки старой Национальной гвардии, которые откуда-то с чердаков и из укладок достали старые, помятые мундиры и нацепили трехцветную кокарду—белую, красную и синюю, так знакомую Парижу 1793 года,—появились всюду с ружьями, пистолетами, саблями и трехцветными знаменами. Движением нужно было руководить. Второй день оно носило стихийный характер. Годфруа Кавеньяк в рабочих кварталах поднимал призыв к республике. Депутаты буржуазии собрались у банкира Лаффита и не знали, как быть, составляли вялые воззвания, выпускали их без подписи. Лаффит смеялся: «Если синяя блуза победит, сколько среди вас будет охотников объявить свою подпись; если она будет поражена, вы—чисты, никто не запачкал чернилами бумагу».

Не растерялся Тьер. Он выпустил громовую листовку с своей подписью. Ее мысль сводилась к следующему: «За республику нас растерзает Европа, Карл X пролил народную кровь. Он не может вернуться на престол. Да здравствует власть орлеанского герцога!»

— Как, неужели мы боролись за то, чтобы вместо дворянского короля посадить короля буржуазии?—кричал Кавеньяк.

— Да, вы боролись за это,—отвечал Лафайет, став-

ший во главе Национальной гвардии.— Луи Филипп — лучшая из республик.

Так совершилось это предательство. Так опять старое коалиционное знамя, синий цвет Парижа, белое королевское знамя и красный цвет штрафного Шатовьеского полка перепутали пути революции и движение революционной массы свели к достижению собственных выгод буржуазной верхушки. Депутаты, боявшиеся подписаться под актом низложения Карла X, теперь не испугались выступить против той самой массы, движением которой они воспользовались. Приехавший в Париж пятидесяти-семилетний Луи Филипп держался очень скромно. В мундире национального гвардейца он пожелал видеть Лафайета, скромно прося аудиенции у своего командира. Он был назван королевским наместником. Он вежливо извинился перед Карлом X за то, что занял его место, и обещал ему всяческую помощь. Потом позвал к себе своих друзей генералов и сказал: «Поезжайте, припугните старика, пусть уезжает на все четыре стороны».

Карл уехал, но Людовику, когда-то вежливо подобравшему головной убор Карла X, захотелось теперь подобрать упавшую корону. Волна негодования прокатилась по Парижу. Как может куцая палата, созванная прогнанным королем и пропускавшая депутатов через кордоны полицейских интриг, как может эта палата определить образ правления страны? Тем не менее собравшиеся в Париже банкиры потолковали с Луи Филиппом, предложили ему в точности соблюдать хартию и договорились о том, что тридцатилетние граждане, платящие не меньше двухсот франков налога, могут участвовать в выборах палаты. Если Карл X хлопотал о привилегиях восьмидесяти тысяч дворян-землевладельцев, то его преемник продал свободу Франции ради выгод двухсот тысяч крупнейших фабрикантов и торговцев. Тридцать четыре миллиона французских граждан были сделаны лишенцами.

Мы оставили Бейля среди улицы в раздумье стоящим перед затухающим пожаром и вспоминающим московские зрелища 1812 года. В течение двух дней он не выходил из дому с того момента, как ночью увидел огромные каменные плиты мостовой, сложенные в виде заграждения до второго этажа зданий. Двадцать девятого числа, выйдя рано утром и неоднократно попадая в поле обстрела, он с ужасом убедился, что не может вернуться прежней дорогой. Набат и стрельба не затихали. Но

артиллерийская канонада кончилась. Пушки не достигали никакой цели, они портили дома на узких и кривых улицах Парижа и зачастую избирали мишенью свои собственные воинские части.

Пятнадцатого августа Бейль писал своему другу:

«Ваше письмо, дорогой друг, доставило мне огромную радость. Извинением моему запозданию с ответом может служить только то, что я в течение десяти дней вообще не написал ни строчки.

Для того чтобы вполне отдаться замечательнейшему зрелищу этой великой революции, надо было все эти дни не сходить с французских бульваров. (Кстати сказать, от самой улицы Шуазель почти до отеля Сен-Фар, где мы поселились на несколько дней, вернувшись из Лондона в 1826 году, все деревья порублены на баррикады, загородившие мостовые и бульвары. Парижские купцы с радостью отделались от этих деревьев. Не знаете ли вы средство, как пересаживать толстые деревья с одной почвы на другую? Посоветуйте нам средство восстановить украшение наших бульваров.)

Чем более мы отходим от потрясающего зрелища *великой недели*, как назвал ее господин Лафайет, тем более кажется она удивительной. Ее впечатления аналогичны впечатлению от колоссальной статуи, впечатлению от Монблана, если смотреть на него со склона Русса в двадцати лье от Женевы.

Все, что сейчас написано было наспех в газетах о героизме парижской толпы, совершенно верно. Появились интриганы, которые все испортили. Король, конечно, великолепен: он сразу выбрал себе двух дрянных советников: господина Дюпена — адвоката, заявившего 27 июля, после чтения ордонансов Карла X, что он не считает себя депутатом, и второго... Простите, меня прервали, и я должен поспешно отправить вам этот клочок бумаги. Я вам допишу его завтра. Сто тысяч человек вошли в Национальную гвардию Парижа. Наш восхитительный Лафайет стал истинным якорем нашей свободы. Триста тысяч человек в возрасте двадцати пяти лет готовы воевать. Но, кроме шуток, Париж способен отстоять себя, если действительно на него навалятся двести тысяч русских солдат. Простите мои каракули. Меня ждут. Чувствуем мы себя хорошо, но, к несчастью,

наш Мериме в Мадриде и не видел этого незабываемого зрелища: на сто человек героев-оборванцев во время боя двадцать восьмого июля можно было встретить не более одного хорошо одетого человека. Последняя парижская сволочь оказалась настоящими героями революции и проявляла действительно благородное великодушие после битвы.

Ваш»

Каковы бы ни были результаты июльских событий в Париже, тревога охватила монархическую Европу. Николай I не признал Людовика Филиппа законным королём, и в дипломатическую скважину, образовавшуюся в эти месяцы, проскочило разрешение Николаю Тургеневу приехать на континент. К тому времени, когда состоялась эта поездка, появились баррикады в Брюсселе, а еще немного времени спустя репрессии Николая I довели до открытой гражданской войны угнетённую им Польшу. Николай Тургенев выехал в Швейцарию и поселился в Женеве. Русский царь, поглощённый тревожными вестями с Запада, не делал никаких шагов и попыток вернуть Тургенева для суда и наказания. Окончательно потеряв признаки русского помещика, Николай Тургенев вращался в среде старых французских карбонариев и дописывал огромную, начатую им еще в Лондоне работу *«Россия и русские»*.

Наступил 1832 год. Александр Иванович странствовал по Италии вместе со своим новым другом Анри Бейлем, которого он просто называл *Стендаль-Бейль*. Неопределённость будущего тревожила его и не давала ему покоя. Он писал в дневнике:

«С тревогою смотрю на будущее. В нем нет отечества, в нем только судьба брата и тревога за него».

В декабре, по мере приближения рокового четырнадцатого числа, всегда внушавшего Тургеневым чувство непобедимой тоски, Александр Иванович и его французский друг были в Венеции. Оба вспоминали — один своих итальянских друзей-карбонариев, другой — ссыльных декабристов.

Дневник А. И. Тургенева.

«Колокольня (кампаниле) св. Марка стоит особо на площади, и вид с оной на всю Венецию, на ее латуны и острова, на тысячи каналов и мостиков, их пересека-

ющих, на громады, воздвигнутые веками и брошенные разрушению, очарователен.

Вдали синеют горы и бесконечное море... Я вышел раз взглянуть на стены Арсенала—надгробный памятник Венеции. Глядя на него, венецианцы, прохаживавшиеся в зеленеющем саду Наполеона, могут со вздохом говорить друг другу: — *Et nos quidam floremus*¹.

Один из колодников, скованных по двое одною цепью, работавший в сарае, где готовят корабельные мачты, упал затылком на бревно, и товарищи вынесли его при мне из сарая. Я был до слез тронут попечениями их о собрате; не один тот, который был скован с ним одною цепью, но и другие обступили его, начав обливать водою и положив на солнце. На лицах каждого изображалась горесть, беспокойство и какая-то нежная заботливость, между тем как австрийский чиновник и надсмотрщики смотрели на эту сцену без участия. Некоторые из колодников говорили по-немецки, и я понял, что им хотелось помочь страдающему собрату, все еще без чувств лежащему на солнце, но что они не знали, чем и как помочь ему, и эта досада выражалась на их лицах. В эту минуту я как-то с ними побратался. Чувствовалось, что преступление, что горе сковало и привело их сюда, не пошатнув в них человеческого сострадания к товарищу, коему чужды были другие свидетели, равнодушные к страданию.

Они с благодарностью приняли подавание для их собрата, все еще без чувств лежащего. *Настоящей помощи я не мог подать ему...* ...мне пришло на мысль другое... и это воспоминание еще более отравило мою душу, мое русское сердце; смотря на этих колодников, гремевших цепями вокруг своего страждущего товарища, я вспомнил, что наши сестры и дочери *плясали под звук цепей, в коих шли их друзья и братья в Сибирь!!!*.. Но другое воспоминание усталого сердца... молодые супруги летели туда же к супругам зарыться с ними во вьюжных снегах до... радостного утра!!!

Сел у первой пристани в гондолу...»

По пути в Рим, расставшись с Бейлем, А. И. Тургенев задержался большими остановками и проживанием во Флоренции. Отмечая везде в дневнике отсутствие книжных магазинов в итальянских городах, он с радостью, как

¹ И некоторые из нас процветают (лат.).

исключение, подчеркивает Флоренцию. Там женевский гражданин, книгопродавец Вьессе, открыл читальню (*gabinetto di lettura*), вскоре ставшую местом собрания флорентийской молодежи и изгнанников из Милана и Неаполя. Правитель Тосканы старался править просвещенно и по внешности чуждался австрийских порядков. Вот почему Вьессе получил разрешение.

Александр Иванович пошел осматривать кабинет для чтения. Там он встретил руководителя молодого итальянского кружка Каппони, познакомился с самим Вьессе и в кабинете, обогащенном всеми новинками европейской литературы, увидел согнувшегося над книгами Анри Бейля. После первых приветствий начались переговоры о Париже.

— Я все еще получаю проколотые и окуренные письма,— сказал Бейль.— Неужели холера еще не затихла?

— В России она в полном разгаре, особенно в летние месяцы; что касается Парижа, то она там незаметна, но мои письма к брату подвергаются двойному окуриванию, и в результате полицейского окуривания зачастую приходит совсем не то, что я писал. Говорят, и в Англии такие же порядки. Брат писал, что в парламенте был запрос о вскрытии писем карбонария Маццини.

— Маццини уже не карбонарий,— сказал Бейль.— Но ведь ваш брат, по-видимому, сейчас далек от движения?

— В Париже я не любил об этом откровенно говорить, дорогой друг.

— Ну, а здесь? У меня такое впечатление, что он все-таки гораздо более политически значил и потому гораздо опаснее для царя, чем, например, Корэф, тоже несомненный либерал, участник конституционных проектов Гарденберга.

— Но мы сейчас прилагаем все усилия к тому, чтобы предать эту молву забвению.

— Понимаю,— сказал Бейль.— На меня вы можете вполне положиться, но скажу вам откровенно: чужеземный, австрийский режим менее разлагает Италию, чем режим Луи Филиппа—Францию. Это я вам говорю совершенно доверительно. Здесь всякое движение достигает точки кипения, вследствие чего человеческий характер закаляется и энергия крепнет в борьбе. Когда вы будете в итальянских семьях, вы это заметите по лицам говорящих.

— Буду ли я допущен в семьи? — спросил Тургенев.

— Будете, но чем открытее живет семья, тем более советую вам быть осторожным. Никому не говорите о брате, — впрочем, я уверен, что некоторые семьи в Риме вас примут особенно хорошо именно в целях вывести настроение господина Николая Тургенева.

— Меня стесняют сомнения, — сказал Тургенев, — ехать ли дальше. Говорят, дороги небезопасны.

— Сейчас значительно тише, но прошлый год Болонья, Парма, Модена, Романья, а в нынешнем году Папская область и Пьемонт ходят, как горячая лава. Было не мало стрельбы и виселиц. Святейший отец набил руку на ремесле палача, но дороги сейчас действительно опасны только на юге. Все-таки терпение итальянцев неистощимо! Еще год такого режима и обнищания — и по северным дорогам невозможно будет ездить от бандитов. Все молодое и сильное провоцируется австрийцами на преступления.

— Да, забыл сказать вам новость. Во Франции начали настилать дороги из железа. Паровик ходит между Сент-Этьеном и Руаном на потеху окрестным деревням.

— Да, я убежден, что в недалеком будущем паровые кареты исколесят всю Францию.

— Не думаю, — возразил Тургенев. — Парижане относятся к этим опытам, как к игрушке, но если бы проложить железный путь до Сибири, сколько русских сердец ликовало бы!

Бейль посмотрел на Тургенева и заметил:

— К моим сосланным друзьям, к нашему миланскому кружку не проложишь никакой железной дороги, как не проложить ее к молодости и к Милану шестнадцатого года. Но расскажите мне подробно о Париже. При всей моей ненависти к этому городу я все-таки хотел бы знать, как себя чувствует, ну... хотя бы Клара?

— Откуда вы ее знаете? — спросил Александр Иванович, стараясь скрыть удивление, словно услышав шутку дурного тона.

Бейль тоже смотрел на Тургенева, потом с видом застенчивым и неловким он произнес:

— Простите мою шутку, я совсем забыл, что вы не привыкли к этому прозвищу Мериме.

— Боже мой, — вспыхнул Тургенев, — мне показалось, что вы спрашиваете так о невесте моего брата.

— Тем лучше, если у каждого есть своя Клара, —

сказал Бейль.— Но я уверен, что мне реже пишут, чем вам.

— Да, я регулярно пишу и регулярно получаю ответы. Увижу ли я вас в Риме?

— Да,— ответил Бейль,— если вы будете там в октябре.

— Я буду там в декабре,— сказал Александр Иванович.

Дневник А. И. Тургенева.

«...Флоренция, 26 ноября 1832 года.
Ливорно — Пиза. 2 декабря.

Перуджия.

5 декабря. В пятом часу вечера выехали мы из Неппи, своротив уже прежде при Чивита-Кастеллана с дороги Фламиния при Монтеросси на новую дорогу, которая ныне называется Виа-Кассия. В девять часов увидел я с пригорка... Рим!

В десять с половиной мы приехали ко второму завтраку. Тут встретил я Беля-Стендаля и показал ему его книгу. Он посоветовал заехать к Чези и дал мне записку к нему. В двенадцать с половиной мы опять пустились в путь.

6 декабря. Бель прислал мне Мишелотову «Римскую историю» при умной записи и остерегал чичероне, коих имя начинается на «В»,— вероятно, *Висконти*. Спасибо! День достаточный для меня по папе, по Ватикану».

Французская приписка Бейля: «Несмотря на величие и поэзию Ватикана и св. Петра, мое воображение не воспламенилось. Дух итальянских изгнанников наводит меня на прозаические и печальные мысли. Процессии священников и папская служба не могут отогнать мыслей о другой прекрасной и бедной Италии, которую ясно видит мой разум».

Седьмого декабря по дороге на Корсо Александр Иванович увидел идущего навстречу стройного и высокого человека в широкополой шляпе, с великолепными вьющимися волосами, русой бородой и голубыми глазами. Встречные итальянцы почтительно обнажали перед ним головы. Можно было подумать, что это наследный принц или исключительно знатная особа по тому энтузиазму и восхищенным взглядам, какими этого юношу провожали встречные и идущие за ним.

Поравнявшись с Тургеневым, он остановился и вскинул обе руки к небу, потом поздоровался с Александром Ивановичем двумя руками, Это был художник Карл Павлович Брюллов, выставивший в Риме только что законченную картину «Последний день Помпеи». Ему было тридцать два года. Он был беспечен, полон сил, ему покровительствовал Анатолий Демидов, совершенно отняв от Брюллова материальные заботы. Слушая оперу Пуччини 1829 года «Последние дни Помпеи», он задумал написать на эту тему картину. Город, засыпанный лавой, только что начал появляться перед взорами удивленной Европы. Бейль писал в Париж некоему ди Фиоре в январе тридцать второго года: «Мозаики, открытые в Помпеях всего лишь два месяца тому назад, дают картину самого лучшего, что было в античной живописи».

Седьмого декабря Александр Иванович, Брюллов, Соболевский, Кипренский обедали вместе в римской траттории, а на следующий день Александр Иванович сделал короткую запись:

«8 декабря. Обедал у Зинаиды Волконской. После с Белем пошел к Сент-Олеру и графам Циркур на вечер».

По дороге шел разговор о картине Брюллова. Белю не нравилась.

— Посоветуйте вашему другу,—сказал он,—не выставлять своей картины за пределами Италии. Я имею сведения, что французская молодежь из артистических и художнических кругов сейчас плохо настроена ко всему русскому. Расправа царя с поляками отвратительна, а картина плохая.

Почему она сейчас подействовала на впечатлительность итальянцев? Только потому, что в Италии давно уже нет настоящей живописи. Это отсутствие живописи вовсе не обусловлено отсутствием «великого дыхания средневековья», как сказал бы какой-нибудь господин Гюго. Это вздор, гений всегда живет в среде народа, как искра в кремне. Необходимо лишь стечение обстоятельств, чтобы искра вспыхнула из мертвого камня. Искусство пало потому, что нет в нем той широкой мировой концепции, которая толкала на путь творческой работы прежних художников. Детали формы мелочи сюжета, как бы художественны они ни были, еще не составляют искусства, подобно тому, как идеи, хотя бы и гениальные, еще не дают писателю права на титул гения или таланта. Чтобы ими стать, надо свести круг воззре-

ний, который захватил бы и координировал весь мир современных идей и подчинил бы их одной живой господствующей мысли. Только тогда овладевает мыслителем фанатизм идеи, то есть та яркая определенная вера в свое дело, без которой ни в искусстве, ни в науке нет истинной жизни. У старых итальянских художников эта вера была, и потому они были действительными творцами, а не копировщиками, не жалкими подражателями уже отживших образцов. Кроме того, я никогда не отделял художника от мыслителя, как не могу отделить художественной формы от художественной мысли. Я не могу представить себе искусства вне социальных условий, в которых находится народ. В них, и только в них, оно черпало свои силу и слабость, приобретает значение великого произведения или становится пошлостью. Я не хочу сказать, что произведение Брюллова относится к последнему разряду, но ведь это сплошь академическая, сухая надуманность, это чистый классицизм, ничего не говорящий ни уму, ни сердцу. Это полное отсутствие той *политики*, которая составляет сущность исторической живописи.

Так как почти каждое утверждение Бейля встречало возражение Тургенева, то спор был очень жаркий. Подходя к французскому посольству, Бейль вдруг спохватился и спросил:

— Вы идете к Циркур после Сент-Олера?

— Да,— ответил Александр Иванович.

— Я очень люблю его русскую жену, хотя никогда не могу произнести ее девической фамилии, но я боюсь, не осталось ли в самом старике Циркур каких-либо замашек Полиньяка после долгого секретарства у этого министра.

В эту минуту прошел молодой черноволосый человек с очень красными губами и глазами как вишни. Холодно и церемонно поздоровался с Бейлем. Все трое поднялись по посольской лестнице.

— Я вам как-нибудь расскажу, что это за человек,— сказал Бейль на ухо Тургеневу.— Это тот самый «В», о котором я вам писал.

«9 декабря. В десятом часу отправился к Белю. Застал его еще в постели. Условились на завтра начать прогулки по Риму. *Висконти... шпион* папского правительства.

Циркур заехала, и вместе отправились на дачу французского посла Сент-Олера.

10 декабря. Продолжаю читать Тасса с большим наслаждением. Был у Брюллова, видел поэму его картины «Последний день Помпеи». Он основал главные черты на тексте Плиния и на сохранившихся предметах в Помпее, которую видел два раза... В двенадцать часов зашел за мной Бель-Стендаль, и мы отправились осматривать Рим—прежде всего к церкви св. Петра в Монторио, ибо, по мнению его, ниоткуда Рим так хорошо не виден, как с этой горы. Дорогой указывал он мне некоторые дворцы и церкви: древнюю статую Паскини у дворца Браски: этот Браски был последним племянником папы, который умел грабежом воздвигнуть себе дворец. Папа долго не знал о богатстве своего племянника. Уверяют, что когда он в первый раз увидел его, то заплакал и велел повернуть в Ватикан, не навестив племянника в его пышном дворце».

Два дня подряд, расставаясь только после ужина для короткого освежающего сна, ходили по Риму в какой-то лихорадке брат русского изгнанника Александр Тургенев и бывший миланский карбонарий, теперь знаменитый писатель, автор нашумевшего романа «Красное и черное», французский консул в итальянских владениях милостью Июльской революции Анри Бейль, писавший под псевдонимом Стендаль. Этому человеку предписано было безвыездно жить в маленьком приморском городе, в тридцати километрах от Рима, но он, пренебрегая строгим приказом властей, продолжал странствовать по любимым местам центральной и южной Италии.

— Я только что приехал из Романьи,—говорил Бейль,—это маленькая таможня, составляющая границы Романьи, производит странное впечатление. Можно подумать, что не нынче завтра буря разразится и сметет не только австрийское иго в Италии, но и ватиканского владыку. Знаете ли вы, что такое «красные пояса»?

— Кажется, это самые страшные бандиты, каких только выдумывала южная страна?

— Ответ, достойный австрийского цензора,—едко заметил Бейль.—Имейте в виду, что эти фантазеры, назвавшие себя «красными поясами», являются серьезнейшей политической партией Италии. Во всяком случае, доставка оружия, вооружение молодежи—дело их рук. А пламенная ненависть к врагам Италии, к какой бы национальности они ни принадлежали,—это, конечно, дело рук Австрии: ее режим создал революционные настроения.

— Мой брат думает, что национальное чувство является серьезным препятствием к цивилизации.

— Он прав,— сказал Бейль,—свободолюбивое человечество давно заменило мне родину. Я презираю Францию. Кстати, одна моя знакомая, венгерка родом, приходится двоюродной сестрой Генцу—секретарю австрийского канцлера Меттерниха. Она знает вас и вашего брата. Слава господина Николая Тургенева гораздо больше, чем он сам это думает, не даром австрийский диктатор без всяких обиняков заявляет, по словам Генца, что «Николай Тургенев является истинным нарушителем общественного спокойствия Германии и Европы, что он принадлежит к тайному революционному штабу, к европейскому карбонарскому комитету». Меттерних писал даже царю Николаю в ответ на требование ареста вашего брата, что он, Меттерних, невиновен в том, что поимка Тургенева не удалась. «Такой человек, как Николай Тургенев, может найти, к сожалению, приют у любого немецкого сапожника, французского столяра или итальянского угольщика. Я убеждал покойного брата вашего императорского величества в том, что Николай Тургенев бросил в Германии бродильные дрожжи, что с тех пор вся страна забродила. Мне не верили, надо мной смеялись, меня сочли фантазером. Попробуйте, ваше величество, изловить теперь этого опасного человека!»

Александру Ивановичу было не по себе. «Это сущий дьявол—этот француз,—думал он.—Хорошо, что он не болтлив, но как много он знает такого, чего мы в семье и не подозревали».

— Я поражен вашей осведомленностью, хотя не уверен в точности сообщенных вам сведений. До какой степени господин Бейль изменился со времени наших парижских встреч, не узнаю анекдотиста и веселого рассказчика. Консульский ли мундир делает вас политиком, то ли воздух Италии располагает к либерализму?

Тургенев и Бейль расстались.

Глава тридцать шестая

Итак, друзья расстались—один в Риме искал прибежище на пятиугольной, странной по причудливости архитектуры зданий площади и, вспомнив, что наступило столетие скитальчества в этом мире, писал с неверо-

ятной быстротой и скоростью воспоминания о лучших мгновениях жизни, другой, русский скиталец, проводил свой именинный день в Чивита-Веккия, в маленьком доме на высоком холме над морем, где, в сущности говоря, «сам господин Бейль должен был бы жить безвыездно». Но господин Бейль дал господину Тургеневу письмо к греку Лизимаку Тавернье, тщетно ожидающему возврата имений, реквизированных турками. Господин Лизимак Тавернье, секретарь французского консула, получив распоряжение консула Бейля, был очень любезен. Он поморщился только по одному поводу. Бейль пишет: *«Предоставьте моему другу, г-ну Тургеневу, мои книги...»*

— О, конечно, господин Тургенев...

Еще три-четыре секунды молчания. Последние три строчки письма Бейля: *«Сделайте так, чтобы русскому изгнаннику было так же хорошо в моей квартире, как изгнаннику Греции в любом жилище Франции. Прошу вас, позаботьтесь о г-не Тургеневе, познакомьте его с господами Манци и Донатто Буччи. Предоставьте в его распоряжение винный погреб».*

Черные, чрезвычайно густые брови г-на Лизимака приподнимаются, лоб морщится. «Все дело в том,— думает Лизимак,— что этот проклятый Бейль не запирает погреба. Он думает, что там бесконечно много вина, а ведь уже три года прошло с тех пор, как консул Дево, на смену которому прислали проклятого Бейля, продал этому дьяволу оставшиеся тринадцать тысяч бутылок орвиетто и других хороших итальянских вин».

Лизимак ослабился и стал похож на африканских обезьян, которых римские писатели принимали за сильванов, лесных сатиров и фавнов.

Господин Тургенев имел к обеду плоховатое вино, купленное в ближайшей траттории, и мелкую рыбешку, спешно зажаренную в консульской кухне.

Александр Иванович Тургенев, выспавшись после пыльной дороги под зноем, пронизывавшим мальпост от Рима до Чивита-Веккия, после плохого обеда расхаживал вместе с Лизимаком по полям Корнето, любовался этрусскими вазами, вырытыми из этих самых древних гробниц Европы, и, встречая на каждом шагу признаки необычайной пытливости своего отсутствующего хозяина, чередовал свои мысли об этом странном французском писателе Стендале с мыслями о скором приезде важной русской персоны. Ждали парохода «Сюлли».

Водоросли покрывали берега. Подземные ручьи с сернистой, железистой водой окрашивали прибрежный песок в темно-коричневый и ярко-желтый цвет. Томительное и знойное солнце выгоняло буйную растительность прибрежной полосы. Коричневые черепицы зданий и серые могильные плиты надгробий раскалялись до такой степени, что рукой нельзя было прикоснуться. За оградой, обнесенной вокруг громадной пристани, сидели тысячи каторжан, работавших на галерах, и среди них, в отличие от ранних карбонариев Европы, в отличие от блестящих гвардейских офицеров царской армии, в отличие от французов, сидевших в революционных трибуналах Парижа, теперь, по прошествии пятидесяти лет со дня страшной революционной грозы, потрясшей Европу, сидел столяр Феоли и угольщик Гаспарони. Их обоих приравняли к простым бандитам. Политическое значение Союза красных поясов было совершенно стерто в папских судебных процессах. В минуты отдыха, когда, несмотря на зной, Александр Тургенев ходил по городу, он подошел и к этому месту заключения провинившихся итальянцев. Любопытный русский путешественник, забыв о дворянских приличиях, приткнулся к тонкой щели в папской ограде. Веселый, но спокойный глаз заключенного в ограде ответил ему тем же.

— Кто ты? — спросил Тургенев.

— Гаспарони, — ответил тот звонким, каким-то особенным, молодым, бронзовым голосом. — А зачем синьор спрашивает?

— А я думал, — сказал злобно Тургенев, — что ты случайно попавший сюда Сперанский.

— Не понимаю вас, синьор, — ответил резко бандит.

— Трудно понять, — сказал Тургенев злобно. — Это русский вельможа, предавший своих единомышленников и моего брата. У него лицо точь-в-точь такое, как у тебя.

— Отверстие слишком мало, чтобы я плюнул вам в лицо, — сказал Гаспарони. — Я никого не предавал, а тот, кто предал всех нас, двадцать восемь, сейчас в руках вентикватро.

Тургенев обернулся к Лизимаку.

— Вентикватро, — сказал Лизимак, — это сыскная полиция в Риме. «Двадцать восемь» — это название шайки Гаспарони. Однако — вы слышите? — сирена! Это наш пароход из Марселя.

Лизимак выбрал короткую дорогу. Несмотря на пять-

десять лет, Тургенев бежал сокращенной дорогой через кладбище, где была папская усыпальница. Урбаны, Иннокентии, Пии, трехсотлетние, полутысячелетние трупы лежали под камнями с гербами в виде свирелей, лилий, пчелы,—все с ключами от ада и от рая и с трехъярусной тиарой—принадлежностью римского первосвященника, возрождавшей в христианском Риме культа кровавого Митры и любвеобильной богини сладострастия Астарты.

Свидание не состоялось. Лишь через день Лизимак обеспечил возможность Тургеневу взойти на борт французского парохода. Остроносый, с небритыми, седыми волосами, меланхолический и добрый Жуковский с видом усталого вельможи протянул ему руку. Потом, не выдержав, как старые друзья, обнялись. Синий редингот Жуковского на правом плече украсился серебристыми слезинками масона Тургенева. Зеленый редингот Тургенева получил те же самые признаки расчувствованной дружбы и нарочитой нежности.

Василий Андреевич Жуковский, стряхивая слезинки Тургенева с плеча, по дороге к себе в каюту думал: «Так блестели диаманты, рубины и смарагды на чеканных латах крестоносцев освобожденного Иерусалима». Александр Иванович, скидывая платочком легонькие капельки слез Жуковского, думал: «Этак вот еще недавно сверкали эполеты на плечах блестящих офицеров, сосланных твоим покровителем в Сибирь». Пять столетий разделяли эти мысли и образы.

Шел уже 1836 год. Жуковский говорил:

— Что Пушкин женился, это ты знаешь; что Гоголь выпустил пиесы, полные гумора, это ты тоже знаешь; что возник неплохой поэт Лермонтов, к сожалению развращенный вольнолюбием и постоянно навлекающий на себя гнев,—это тебе все известно. Что сообщить тебе?..—И, помолчав, Жуковский прибавил, качаясь в кресле в каюте и попивая крепкий кофе:—Был я в Лувре, видел это величайшее в мире здание, в нем художественные ценности французского народа. Это целый город—двести тысяч квадратных метров. Три века обростает и крепнет, как брильянт в земле, меняются десятилетия, сверкают взоры новых людей, а этот колоссальный дом человеческого гения растет и ширится, земля из-под земли родит убежища тончайших мыслей. Я ходил там вместе с

Тюфякиным и господином Мериме — инспектором всех памятников и всех искусств во Франции. Холодный человек, но великий мастер. Да, чтоб не забыть, в Польше опять неблагополучно, поэтому, прости... его величество не разрешил мне видаться с твоим братом. Я видел его на улице Гомартен, он шел с известным карбонарием Гаэтаном Виарисом, прихрамывал, описывал в воздухе тростью круги и меня не узнал. Милый друг, должен я тебя огорчить. Я рад, что свидание не состоялось. Мне было тяжело подумать о том, что Николай в компании этого старого бунтовщика, Бонапартова спутника в Москве.

Александр Иванович встал с ужасом.

— Послушай... ну, как же, Василий, и ты ничего не спросил, и ты его не окликнул, и ты удержался, чтобы его не обнять после скольких лет муки, не ты ли, пренебрегая своей безопасностью, с Матусевичем к Рекамье прислал...

— Тс...

Жуковский подошел и осторожно положил большую ладонь на рот Тургенева:

— Что ж ты, несчастный, о двух головах? Не знаешь, какое теперь время?

— Какое бы то ни было, но обязан был бы повидать брата, а касательно Гаэтана тебе скажу, что прекрасный это старик. У него семнадцать ран, многожды он видел перед собою смерть. Чем ты его испугаешь теперь? И что он, как ветеран, живет на покое в Жёневе и что Клара, его дочь, стала женою моего брата, не должно тебе служить препятствием к свиданию с дорогими друзьями, со сверстниками твоих лучших лет.

Жуковский развел руками.

— Я шел с Яковом Толстым. Согласись сам — не до того было. Много было у меня горя, дружище. Одна грибоедовская смерть чего стоит! А вы все какие-то сумасшедшие. Вот Пушкин года три как женился и уже нынче пустился в ревности, оберегая Гончарову.

— Слушай, Василий, в Европе клеветников порядочно, ведь все до единого говорят о том, что Николай Павлович пользуется старинным правом первой ночи.

Жуковский вспыхнул и с негодованием, поднимая ладонь перед самым лицом Тургенева, сказал:

— Лакей уберет чашки, кофе кончен, пойдем на палубу, посмотрим острова.

Тринадцатого октября 1836 года, воскресенье, Женева. Николай и Клара Тургеневы уезжают после совместной жизни с Александром Ивановичем.

«Я велел остановиться у пограничного камня: увидев его, вышли из кареты. Брат с нежностью подошел ко мне, взял меня за руку и с каким-то дотоле неясным чувством сказал мне несколько слов: «Что же мы не вместе? Ведь, однако, и я вам все это...—вы все это сделали!...» Что-то подобное. Я замаял речь; он хотел говорить о моей поездке в Россию, которая беспокоит его. Ощущения мои были неизъяснимы. Мы поцеловались, сильно пожали друг другу руки и еще раз взглянули на разлучающий нас камень. Он сел в коляску. Пешком за колесами—и... разлука».

Разлука надолго. Прошли годы и годы. Наступали тяжелые дни. Зимы сменялись веснами. Рождались новые люди и умирали старые. Приближался перелом столетия. Парижские салоны то пустели, то наполнялись. Король баррикад Луи Филипп, прозванный так Николаем I, послушно выполнял веления банкирских домов Парижа, не признанный по-прежнему «северным медведем».

Судьба занесла Александра Ивановича Тургенева в Симбирск, и, не зная, что он совершает последний свой путь из Симбирска, Тургенев гнал ямщиков, напаивал их водкой на каждой станции, колотя их в загривок, позабыв свои европейские привычки. Тяжкое у него было состояние. Он сам даже не знал, почему спешил. На сорок восьмые сутки попал в Петербург. Остановился у Свербеевой и всю ночь напролет слушал от приезжей компании петербургские сплетни. Больше всего сплетничал Николай Иванович Греч.

— Что же вы удивляетесь, Александр Иванович? — кричал Греч петушиным голосом.— Господин Жуковский—персона официальная, воспитатель царского сына, а я—простой смертный, не терпящий сопротивления натуральным чувствам. Едва я увидел вашего брата, как принял с наслаждением его в объятия. Подумать... друг детства, Николай, замечательный...—Греч остановился, подбирая слово.—Ну, одним словом, мы облобызались, и Николай...

— Да про кого вы говорите? — спросил резко Александр Иванович.

— Да про тезку моего, про Николая Ивановича, не про Николая Ивановича Греча, а про Николая Ивановича

ча Тургенева, конечно. Так вот-с, ваш братец спросил: «Как это вы со мною здороваетесь, а Жуковский, с высочайшего соизволения, не решился на этот поступок?» Знаете ли, Александр Иванович, знаете ли, дорогой, оно, конечно, долг гражданина — одно, но, согласитесь сами, встреча с изгнанником... долг, благородство и чувство чести... Какое сердце выдержит! Мое забилося трепетной радостью — я не выдержал.

— Могло ли быть иначе, — говорил Александр Тургенев, уставший от дневной сутолоки и не понимавший, что нужно делать, — удивляться ли, или пугаться.

Говорили, что Николай Иванович Греч — человек довольно страшный. Но в чем его «страшность» — никто объяснить не мог.

«Этот озорной француз Бель говорит: «То, чего никто в человеческом обществе объяснить не может, то просто не существует в качестве авторитета». Так для меня и Греч не существует в качестве пугала». Но Николай Иванович Греч «пел, как соловей».

Накрыли ужин. Во фраке, в белых чулках и туфлях в залу вошел молодой человек с курчавыми волосами и бакенбардами — секретарь французского посольства виконт д'Аршиак. Он спокойно обвел глазами присутствующих, исполнил все положенные церемонии, и, когда легкое движение, вызванное его приходом, успокоилось, он подошел к Александру Ивановичу Тургеневу, придавая оттенок легкости начатой беседе, передал ему вчетверо сложенный лист бумаги за подписями Данзаса и д'Аршиака. Тургенев прочитал и откинулся головой на спинку стула. Потом покачал головой и вернул документ д'Аршиаку. «Дуэль! Опять дуэль сверчка! Саши Пушкина! Когда же прекратится его бретёрство?»

— Неужели это неизбежно? — спросил Тургенев д'Аршиака. — Ведь эти условия верная смерть! Или Пушкин, или этот молодой пустомеля, но один из двух неизбежно погибнет при таких жестких условиях. Неужели христианские чувства исчезли в сердцах настолько, что мертвый эгоизм может толкнуть людей на убийство, неужели нельзя простить?

Д'Аршиак покачал головой.

— Жорж совершенно взбешен. Я должен признаться вам открыто, мсье Тургенёфф, что страна, давшая приют потомку французских дворян, делает несчастного Жоржа ответственным за провинности русского феодального

права. Я—юрист и французский офицер, я совсем не вникаю в то, может ли первый сеньор страны покушаться на жен своих вассалов, но я вообще против того, чтобы из малых поводов возникали большие последствия. Вы больше европеец, чем все, находящиеся здесь. Обратитесь к Пушкину, убедите его в том, что Жорж является игрушкой в руках вашего монарха, что время и терпение могут сгладить все, что во всяком случае вина Жоржа не такова, чтобы, например, во Франции придали ей серьезное значение.

— Путята рассказывал мне,—возразил Тургенев,—что ваш предшественник Теодоз Лагрене стал уже однажды жертвой вспыльчивости нашего несчастного Пушкина, однако ваш предшественник нашел в себе силы и смелость отказаться от дуэли, явно безрассудной и бессмысленной.

— Все меры исчерпаны!—жестко, не без некоторой наглости сказал д'Аршиак.—И меры терпения также.

Александр Иванович писал в дневнике 18 ноября 1836 года:

«Чай два фунта отдал Аделунгу. После зашел к Пушкину. Говорил о Шатобриане и Гете, о моем письме из Симбирска, о пароходе, коего дым приятен глазам нашим».

Итак, страшное событие произошло. Пушкина не стало.

«31 января. Воскресенье. Зашел к Пушкиным. Первые слова, кои поразили меня в чтении Псалтири: «Правду не скрыл в сердце твоём». Конечно, то, что Пушкин почитал правдою, то есть злобу свою и причину оной к антагонизму, он не скрыл, не уговорил в сердце своем и погиб.

6 февраля. В шесть часов утра отправились мы—я и жандарм!.. Опять монастырь. Все еще рыли могилу.

19 марта. Встретил Дантеса в санях и с жандармами. Он сидел бодро, в фуражке, разжалованный и высланный за границу».

Глава тридцать седьмая

Двадцать седьмого декабря 1837 года Александр Иванович был снова в Париже. Николай Тургенев приезжал редко. Он жил под Парижем, на вилле Вербуа, и вел очень замкнутый образ жизни. Два тома книги «О России и русских» были закончены. Он дописывал третий, читая

из первых двух отрывки старшему брату. Русская колония в Париже была полна рассказами и росказнями об этом новом труде Николая Тургенева. Одни говорили, что это чудовищное, дикое искажение исторической правды, что это *клевета* на современную Россию, другие говорили, что это *лучшее* вообще когда бы то ни было написанное о России. Ожесточенные споры велись в салонах, и Яков Толстой, никому не уступавший в осведомленности, на этот раз в оценках оказался до странности скромным. Он неоднократно пытался, как он сам говорил, возобновить дружбу с Николаем Тургеневым, писал к нему письма с просьбой *«ознакомить старого друга с замечательным произведением о России»*, но не получал ответа. Александр Иванович был очень сдержан в суждениях о новом произведении брата. Сам Николай Иванович ни разу не поднимал вопроса о печатании своего труда. Наконец, когда толки стали слишком навязчивы и громки, когда молву нельзя было уже остановить, Александр Иванович решил переговорить с братом вплотную. Разговор дал ему полное удовлетворение. Тема была щекотливая. Несомненное чувство гордости охватывало Александра Ивановича всякий раз, когда он слышал отрывки из книги *«Россия и русские»*. Тут были старые, общие, геттингенские мечтания, дававшие обоим братьям неизъяснимое наслаждение. Но тут даже для Александра Ивановича были неожиданные повороты мысли, ослеплявшие его и беспокоившие главным образом потому, что публичное высказывание этих мыслей, по мнению Александра Ивановича, навсегда закрывало дорогу младшему брату в Россию. Делясь этими впечатлениями с Николаем Тургеневым, Александр Иванович однажды услышал реплику, одновременно и трогательную, и волнующую:

— Знаете ли, дорогой брат,—сказал Николай Иванович,—до каких-либо весьма серьезных перемен я и думать не хочу о возврате в Россию. Меня в моих *«Записках»* беспокоит совсем не то. Меня беспокоит отношение царя к вам лично. С этой стороны вы можете быть мною успокоены. Книга *«О России и русских»* не будет предана тиснению при нашей жизни.

Александр Иванович хотел броситься на шею брата, но тот, произнесши эту деликатную и умно построенную фразу, уже сделал несколько шагов к двери, впуская царापавшегося английского дога, любимца Клары Турге-

невой. Жест с выражением благодарности Александру Ивановичу не удался. Он обнял пустое пространство и в смущении сел обратно в кресло. Огромная собака лизнула ему ботинки и улеглась у его ног.

— Что касается до моих слушателей и до слухов, якобы ими пущенных, то усердно прошу вас — не верьте никаким слухам. Кроме вас и Клары, я читал отрывки из моей книги только одному человеку, за честность и бескорыстие которого я готов *parier*¹ и даже ручаться.

— Кто же это? — спросил Александр Иванович.

— Адам де Кюстин — сын казненного Астольфа.

— Странно, — сказал Александр Иванович. — Отец сложил голову на плахе Робеспьера, а сын слушает записки *d'un réfugié politique*².

— Да еще как слушает! — сказал Николай Иванович. — Он легитимист, конечно, однако между легитимистами встречаются люди разного склада. Не забудьте, что именно Адам де Кюстин ездил к герцогу Брауншвейгскому с предложением отказаться от вмешательства во французские дела.

— Ты, кажется, заблуждаешься. Поездка Кюстина в Брауншвейг была вызвана вовсе не стремлениями либерального свойства. Французские дворяне кюстиновского склада уверены были, что революция сама себя съест. Им не хотелось получать свое добро из чужих рук.

— Не будем говорить об этом, — сказал Николай Иванович. — Кюстин не любопытен, не праздное любопытство привело его ко мне. Он — путешественник, изучающий нравы, но в отличие от вашего друга Бель-Стендаля Кюстин отнюдь не является якобинцем. *Бель-Стендаль тоже путешествует, тоже выпускает книги, но его поездки — это поездки эпикурейца и скептика, взрывателя всех фундаментов старого мира.* В самом деле, что такое его «Прогулки по Риму», в которых он неожиданно, без всякого отношения к Риму, начинает выхвалять контрабандистов, пишет целый «*Manuel*»³, обучая читателя тысяче способов обмана папской полиции и таможенников, восхищается рабочим Лафаргом, произнесшим перед судом речь о ниспровержении политических и социальных систем Европы. Я очень ценю в вашем друге остроумие

¹ Биться об заклад (фр.).

² Политического эмигранта (фр.).

³ Учебник (фр.).

анекдотиста, с наслаждением перечитываю умнейший роман «Красное и черное», но считаю его философию весьма опасной. Это подкладка пороха под все столицы Европы. Кюстин не таков. Я с интересом жду его впечатлений от поездки в Россию.

— Я думаю, он будет принят хорошо,— сказал Александр Иванович.— Что касается Стендаля-Беля, то ты совершенно прав. Только в Италии я понял, насколько он серьезен и насколько он связан с итальянской чернью какими-то непонятными мне узами.

Николай Тургенев пристально посмотрел на брата и хотел что-то сказать. В это время собака насторожилась, подняла морду и радостно залаяла. Стукнула садовая калитка. Братья, стоя у окна, увидели шедшую по песчаной дорожке женщину.

— Редко имена даются так удачно,— сказал Александр Иванович.— Она вся необычайно светла. Это не женщина, а какое-то тихое, лучистое сияние.

— Наследство отца,— сказал Николай Иванович.— Это чудесная жизнь без единого пятнышка. Будучи солдатом, сподвижником Наполеона, Виарис проявил себя героем в боях и прекрасным товарищем своих раненых однополчан; будучи карбонарием, он проявил себя пламенным сторонником свободы Италии и героем в борьбе с австрийскими жандармами. А в частной жизни это человек необычайно веселый, спокойный, ясный и участливый.

Оба брата приветствовали вошедшую Клару Тургеневу.

Завтракали. Николай Иванович говорил мало, ел мало и большими глотками пил бургундское вино. Александр Иванович ел много, пил еще больше и без конца рассказывал о предшествующем вечере. У Софии Петровны Свечиной собрались: Соболевский, польский изгнанник Адам Мицкевич, сухой, высокий человек с горбатым носом, острыми глазами, с печалью тягчайшей внутренней борьбы и несчастий на лице, лишенный сана священник Ламенне, его ученик, с лицом Люцифера и ангельской улыбкой, отец Лакордер в доминиканской рясе, экзальтированный автор «Жития св. Терезы», переводчик и почитатель Мицкевича граф Монталамбер и толстый, добродушный суфраган архиепископа парижского Аффра.

— Не помню его фамилии,— сказал Александр Иванович.— Но мне он больше всего понравился. Софья Пет-

ровна Свечина обожает Сережу Соболевского, не зная, что этот беспутный ее племянник — сам атеист и дружит с атеистом Мериме, шляется вместе по всем кабакам и притонам Парижа. У Софии Петровны Соболевский ведет себя скромненько, как мудрец и пифагореец, пьющий чистую воду, никогда не знавши вина. Софья Петровна озабочена спасением души двух блуждающих звезд католической церкви. Отцы Ламенне и Лакордер являются падшими ангелами. Римский папа в последней булле назвал их стремления сочетать католичество с либерализмом «порочным и опасным злодеянием мысли». Софья Петровна — самая опытная и последовательная ученица иезуита де Местра. Эта самоотверженная душа имеет тайное поручение архиепископа парижского, а может быть, кого-нибудь и выше, возвратить Ламенне и Лакордера в лоно правоверия.

— Простите, я вас перерву, — сказал Николай Тургенев, — я терпеть не могу католического бреда. Вы сами мне описывали комическими красками римского папу в золотой карете, окруженного жандармами. Вы мне приводили даже слова вашего зубоскала Бея: «Так ныне ездят только уголовные преступники во всех странах, кроме Рима». Кстати, что за нелепость: маркиз де Ноайль, почитатель вашей Софии Петровны, дал ей совсем смехотворную характеристику. Он дурак, ваш Ноайль! В передовице католической газеты он величает нашу соотечественницу с нарочитой любезностью этаким совсем русским комплиментом: французскими буквами он называет ее «*клюква подснежная*»... Вот так клюква!!!

Клара Тургенева просила перевести. Разговор шел по-французски, и только последние слова были произнесены Николаем Тургеневым по-русски.

— Это одна из французских нелепостей в суждении о России, — сказал Александр Иванович. — Проспер Мериме передавал мне суждение на смерть Пушкина, бывшее в салоне Виргинии Ансло. Вся эта компания убеждена, что смерть Пушкина есть подготовка интригой уничтожение противника. Мадам Ансло говорит даже, повторяя слова Бея-Стендаля, что если бы «северный поэт не был убит на дуэли, а, положим, ранил бы Дантеса, то, несомненно, десяток-другой подставных гвардейских офицеров в какие-нибудь две недели нашли бы двенадцать случаев вызвать его на дуэль, наступая ему на ногу или толкая его локтем ради политического бретёрства».

Николай Тургенев пожал плечами.

— Это уж не такое глупое мнение,— сказал он.— Царь Николай, как главный помещик, пользуется феодальными правами, давно отошедшими из частного обихода. Что же делать, если иногда женихи и мужья вскидываются на дыбы! Нельзя целую страну вести на мундштуке, как безумную лошадь! Иногда это плохо кончается для всадника!

Николай Тургенев сверкнул глазами.

Клара Тургенева не понимала разговора.

— Вот вам еще иллюстрация ужасов русского крепостничества. Могу вас уверить, что Пушкин погиб, как погибали только крепостные актеры, у которых помещики крали жен. Но вернемтесь к вашим католикам. *Revenons á nos moutons*¹. В самом деле, не знаю более стадных баранов! Скажите, каковы же успехи Софии Петровны со злополучными неокатоликами?

— У Софии Петровны не очень удачный союзник: суфраган архиепископа парижского—это веселый толстяк, имеющий лучший винный погреб в Париже, краснощекий, в веснушках, рыжеволосый, с тонзурой, над которой всегда дымятся винные пары; он управляет лучшими виноградниками, принадлежащими отцам Шартрезы и святого Бенедикта, он знает лучшие рецепты зеленых ликеров, крепчайших бенедиктинов,—это он вырастил самый пьяный виноград юга Франции и окрестил его *Lacrima Christi*—«слеза Христова». Он полчаса с самым серьезным видом убеждал, что ничто не в состоянии так ублажить человечество в горях и несчастьях, как эти сладчайшие слезы Христовы. Он пламенно говорил о том, что ему удалось добиться сложения акциза со всех винных заводов католической Франции. Его речь в защиту водочных изделий была совершенно восхитительна по цинизму и безобразию. Лакордер и один уродливый, горбоносый, бронзоволикий миссионер из Африки с негодованием слушали эту речь. Обращаясь к ним, церковный винодел сказал: *«Братья, бросьте ваши либеральные бредни, почувствуйте хоть раз всем сердцем, что это измышление сатаны, пейте вино, оно поощряет малые человеческие слабости, делает мирянина блаженным и послушным, малые слабости лучше больших умничаний. Пройдет сто*

¹ Вернемся к делу (фр.).

лет, и от ваших либеральных бредней у несчастного человечества останется память как о чуме и холере, а церковь... вечна, и если все демоны якобинства, как врата адовы, воздвигнутся на нее в попытке уничтожить церковь, то страждущее человечество снова ее воссоздаст, по слову Спасителя: «Созижду церковь мою и врата адовы не одолеют ю». Пейте ликеры! Пейте вина во славу господа!» Вот, Николай, я точно передаю эту тираду, но, несмотря на смесь цинизма и глупости, несмотря на пародию этих слов, все присутствовавшие, не исключая Лакордера, Ламенне и Монталамбера, не исключая свирепого африканца, обожженного солнцем Сахары и знавшего пытки дикарей, все до единого на слова этого суфрагана ответили: «Аминь».

— А что Мицкевич? — спросил Николай.

— Ты читал статью в «Глобе», подписанную «друг Пушкина», так вот это — статья Мицкевича. Правда, половина написана Соболевским...

— Какой поворот, какой поворот! — воскликнул Николай Иванович. — Вот никогда не думал!

— Я передал Мицкевичу стихи Пушкина, к нему относящиеся, — сказал Александр Иванович.

— Ну, что же сказал польский Пушкин о русском Мицкевиче?

— Что же? — повторил Александр Иванович. — Он прочитал сравнение медного всадника с памятником Марку Аврелию¹.

Сгущалась ночь над Петроградом.
Под острым ветром и дождем
Два юноши стояли рядом,
Одним окутаны плащом
И взявшись за руки. Безвестен
Был первый, с Запада пришлец —
Глухая жертва царской мощи.
Другой по странам полунощи
Гремел гармониею песен —
Народа русского певец.
Они недавно подружились,
Но быстро души их сроднились,
Как две альпийские скалы,
Что дружно вознесли вершины,
Не внемля, как средь душной мглы,
Грозя, шумят на дне долины
Реки враждебные валы.

¹ Цитируется по переводу С. М. Соловьева. (Примеч. автора.)

Скиталец молча и сурово
Задумался, вперяя зрак
На бронзу статуи Петровой.
Певец же русский молвил так:
«Сей памятник сооружала
Царица первому царю.
Родной земли казалось мало
Огромному богатырю,
Что создал город чудотворный.
Уж на спине у Буцефала
Вознесся медный великан,
Но конь вздымался непокорный,
Ища гранита дальних стран,
Чтоб водрузить на нем копыта.
Помчались за море суда,
И холм финляндского гранита
Отломан, привезен сюда
Из мрака родины дубравной,—
Приказ царицы так велел,
И медный царь кнутодержавный
Верхом над бездной полетел,
В венке лавровом; в римской тоге,
Грозя незримому врагу.
Рванулся конь, вздыбивши ноги,
И стал на снежном берегу».

Не так сияет в древнем Риме
Великий оный Марк Аврелий,
Герой возлюбленный племен.
Он тем свое прославил имя,
Что от престола удален
Был и доносчик, и шпион.
Когда ж злодеи присмирели,
Когда при Рейне, при Пактоле
Сломил он силу диких орд,
То тихо въехал в Капитолий,
Спокоен, величав и горд,
Челом сияя благородным.
Он думает лишь об одном:
О благоденствии народном.
Владея резвым скакуном,
Он повод сжал одной рукою,
Другую же слегка поднял,
Как бы народ благословлял
И призывал его к покою.
И мнится, слышен крик сердец
Толпы восторженной, счастливой:
«Вернулся цезарь, наш отец!»

И едет он неторопливо,
Желая каждого дарить
Своей отеческой улыбкой.
Под ним, свою смиряя прыть,
Потряхивая шеей гибкой,
Ступает благородный конь.
В его глазах горит огонь,
Как будто бы он понимает,
Какой желанный гость въезжает,
Мильонов подданных отец!
К отцу бегут без страха дети...
Так едет он во мглу столетий,
Стяжав бессмертия венец.

Но конь Петра безумно неся,
Все сокрушая на лету,
И вдруг вскочил на край утеса,
Подняв копыта в пустоту.
Царь бросил повод, конь несется,
Закусывая удила...
Вот упадет и разобьется...
Но все незыблема скала,
И медный всадник, яр и мрачен,
Все так же скачет наугад.
Так, зимним холодом охвачен,
Висит над бездной водопад.
Но в эти мертвые пространства
Лишь ветер Запада дохнет,
Свободы солнце всем блеснет,
И рухнет водопад тиранства!

— Довольно! — сказал Николай Тургенев, поднимая бокал бургундского. — За здоровье литовского Пушкина!

— Для меня петербургский Пушкин дороже, — слабо сопротивляется Александр Иванович.

Входит Ламберт, бальзаковский любимец, остроумный, едкий, насмешливый лакей Николая Ивановича Тургенева, и произносит, глядя в упор на Николая Ивановича (шепотом):

— Генерал контрреволюции.

И потом (громко):

— Маркиз Адам де Кюстин.

Александр Иванович поднимается с некоторой тревогой..

— Может, вы останетесь? — говорит младший брат. — Это, право же, интересно!



ЭПИЛОГ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— Дорогой родственник, *chère cousin*¹,— говорил Николай Иванович Тургенев по-французски,— вот на этом месте перед роковыми днями сидел наш с вами соотечественник Михаил Бакунин, займите его место, пожалуйста! Вы—молодой романист! Вам-то не страшно! Вы не были участником Дрезденской осады, вы не советовали пруссакам выставить на крепостную стену Сикстинскую мадонну, вы не кричали: «Пруссак—народ образованный, по Рафаэлю стрелять не станут»!

Старик Николай Тургенев смеялся.

— Я сейчас это повторить готов,—произнес молодой человек со светло-русыми волосами, похожий на фидиевского Юпитера Олимпийского, Иван Сергеевич Тургенев, автор только что вышедших «Записок охотника».— Что касается Бакунина, то царь, проговорив с ним полчаса, произнес: «Человек на редкость умный, посадить его в Петропавловку!» Надеюсь, дорогой Николай Иванович, вы не желаете мне такой участи!

— Не желаю,—ответил Николай Иванович.— Но расскажите, что было в Париже.

— В Париже... в Париже...—повторил Иван Сергеевич.—Были баррикады... были неприятности. Но все кончилось. Король баррикад—Луи Филипп—вывел вооруженные отряды за пределы Парижа, а сам удрал в Лондон и теперь благополучно преподает французский язык в английских школах.

— Интересна судьба Европы,—сказал Николай Иванович, пристально посмотрев на молодого писателя из

¹ Дорогой кузен (фр.).

тургеневского рода, в то время как Клара Тургенева подливала ему в бокал бургундское вино.— Учителя словесности становятся королями, а короли становятся учителями словесности. Скажите, какой смысл для народов иметь каких бы то ни было королей и самодержцев? И когда только этот балаган кончится?!

Иван Сергеевич слегка побледнел.

«Вот начинается»,— подумал он.

— Я давно не был в Париже,— продолжал Николай Иванович,— я вообще сделался домоседом, я скоро превращусь в тех москвичей, которые не ходят далее своего переулка, а выезжая на прогулку в Кунцево, навеки прощаются с родителями. Расскажите, пожалуйста, подробности того, как закатилось солнце Кавеньяка и как вошла звезда нового Бонапарта на французском небосклоне.

Иван Сергеевич не без некоторого смущения рассказал историю занятия президентского кресла второй французской республики принцем Шарлем Луи Бонапартом.

Николай Иванович слушал его внимательно и потом, вежливо останавливая Тургенева, сказал:

— Президентом он будет недолго. Это фигура сложная и весьма авантюристическая. Покойный Александр Иванович девять лет тому назад рассказывал мне о том, что этот молодец был участником заговора Чиро Менотти, что он прославился своими республиканскими убеждениями, что он сейчас едва ли не социалист, а между тем все, начиная с ношения фальшивого имени и кончая фанатической приверженностью к чужим убеждениям, говорит о лживости этого человека. Прежде всего, он, конечно, не Бонапарт. Его мать странствовала по Европе и вдруг сообщила своему супругу— голландскому королю— о том, что она *«не может без него жить»*. Говорят, супруг мало обрадовался. Прочтя письмо, он прямо заявил министрам: *«Клянусь вам, она беременна»*. Тем не менее мадам Гортензия приехала в Гаагу и, прежде чем ее супруг успел опомниться, произвела на свет младенца, ныне ставшего президентом Французской республики. Были пушечные выстрелы, были торжественные крестины, были столяры и каменщики, которые поставили перегородку, отделившую наглухо покои королевы. Это не помешало родиться второму ребенку, которого голландский король уже никак не хотел признать своим.

Дали ему титул графа Морни; вот он теперь взял в аренду лучшие французские рудники. Когда его старший брат Шарль Луи Бонапарт скитался с матерью по Европе и Америке, Луи Филипп делал все, чтобы молодец не проник во Францию. Однако ручной орел, секретари, любовницы и генералы были погружены на английский корабль и высадились в Булони. Организовано это было недостаточно хорошо, вот почему *все*, начиная с орла, который вовсе не садился на голову претендента, а спустился на матросскую кухню, кончая генералами, которые вовсе не располагали войсками и не получили обещанных отрядов, *потерпело крушение*. Ручной орел был зарезан матросами, генералы были посажены в тюрьмы, а сам нынешний президент сел в тюрьму Гамм и, как вы знаете, просидел там шесть лет. Он вышел оттуда, переодевшись рабочим, с доской на плече прошел мимо зевающих часовых, и вот теперь, не угодно ли, будет представителем Французской республики. Уверяю вас, что республика скоро превратится в империю.

— Почему? — спросил Иван Сергеевич.

— Как почему? — удивленно вскинул глазами Николай Иванович. — Поверьте моему стариковскому опыту, Франции нет другого пути. Она или будет социалистической республикой, или империей. Две силы противоборствуют. Сословий нет, население делится по-другому.

Николай Иванович вышел из комнаты и минуту спустя вернулся с тоненькой книжечкой, напечатанной в Лондоне.

— Вот вам документ, свидетельствующий о человеческих заблуждениях, равно как и больших исканиях страдающих человеческих умов.

Иван Сергеевич прочел: «Коммунистический манифест», Лондон, 1848 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Прошло девятнадцать лет. Давно по железным дорогам Европы дважды проехал седой, хромающий старик, допущенный снова к себе на родину, Николай Тургенев. С оглядкой давали ему лошадей от Варшавы до Твери.

Люди неопределенных профессий ласково заговаривали с ним, когда он завтракал на почтовых станциях. В паспорте Николая Тургенева значилось, что «высочайшим повелением императора Александра II допущен ко въезду в империю Российскую, но без права появления в обеих столицах». Это было уже давно. Пребывание в России было коротко и вспоминается, словно какой-то безотрадный сон. *«До чего чужая эта страна! До чего чужими стали все страны тафику, вступившему в девятый десяток жизни!»*

Была парижская осень. По бульварам крутились листья. По улицам поднималась пыль. Серые облака, разорванные и туманистые, отражались в Сене. Ее вода стального цвета подергивалась зыбкой рябью. Набережные были полны странной и непривычной для Парижа тишиной. Эту тишину прерывали изредка гулкие, ухающие выстрелы германских пушек. Париж был в осаде.

Клара Тургенева с молодым сыном сидела на улице Риволи в комнате и заботливо посматривала на дверь. Сквозь створки она видела закутанного пледом человека у камина. Он был в полудремоте.

Дверной молоток стукнул три раза. Клара Тургенева поспешно подошла к двери, открыла. Вошли двое. Один — высокий старик, голубоглазый, с лицом, обрамленным седой бородой, крепкий, сильный, как старый дуб, другой — худощавый, знакомый сосед по деревенскому дому, крестьянин Планшон из Вербуа. Оба поздоровались. Оба вошли в комнату. Планшон потирал руки, заоченевшие от холода, и говорил:

— Плохие времена, плохие вести! Пруссак вчерез заняли ваш дом в Вербуа и бушевали страшно до поздней ночи.

Клара Тургенева приложила палец к губам.

— Планшон, не будите господина Тургенева, — сказала она. — Не говорите ему ничего.

Затем, обращаясь быстрым движением к другому посетителю, сказала:

— Раздевайтесь, дорогой господин Гюго, муж скоро проснется. Он всю ночь не спал, делал вид, что работает, забыв волнения, но мне кажется, что он волновался, забыв работу.

Гюго сел молча. Планшон вышел из комнаты вместе с молодым Петром Тургеневым.

— Я давно у вас не был,—сказал Гюго.— Но с тех пор, как я вернулся в Париж, после захвата пруссаками коронованного авантюриста, мне столько приходится проводить времени вне дома, что вы меня простите.

— Помилуйте, господин Гюго,—ответила Тургенева,—разве мы с мужем можем быть требовательны. Кто первый посетил русского изгнанника после возврата во Францию? *Изгнанник Гюго*. Кто первый теплыми словами напомнил Николаю об умершем Александре Тургеневе? *Господин Гюго!*

Старик у камина зашевелился. Проснувшись, он раскутал ноги и, опираясь на палку, вошел в комнату, увидел Гюго, и глаза его вспыхнули молодым огнем.

— Говорите, говорите все парижские новости, дорогой Гюго,—начал Николай Тургенев.

— Извольте,—ответил Гюго.— Вчера наша старуха, простояв два часа в хвосте, купила трех прекрасных фазанов, они еще недавно каркали на монастырском заборе. Их сбили выстрелами бургундские мобили. Сегодня мы ели рагу из картофеля и по горсточке сушеного винограда. Но Париж веселится! Республика вскружила всем головы! Разоблаченный Бонапарт в прусском плену! Пруссак осаждают Париж! Гамбетта пал! Тьер ведет переговоры, и не нынче завтра вспыхнут огнями баррикады! Единая Франция сейчас представила в Париже все оттенки своих национальностей. Взгляните! Вот проходят *бретонские мобили*, у них длинные волосы, большие круглые шляпы, удивленные лица; свежесть лесов, воздух диких холмов наполняет их легкие под проливным дождем осеннего Парижа. Эти *французы* не умеют говорить *по-французски*. Смотрите, как, получив квитанцию на занятие квартиры, группа бретонских мобилей идет по незнакомым мостовым и странным улицам, не похожим на село их родных, вечно шумящих лесов. Смотрите, сечет проливной дождь, косой, безумный ливень, а они проходят с ружьями, опущенными дулом в землю, с таким видом, как будто на небе светит солнце. А вот смотрите, *берришонцы, шампанцы, пикардийцы, оверньяки*—какая пестрота этот Париж! Как не похожи друг на друга! Сравните бретонца—задумчивого, сосредоточенного, с неистощимым запасом девственной энергии,—с бургундцем. Леса и граниты, песчаные дюны и думы, навеянные постоянным видом морской беспредельности. Что это за люди, что могут они сделать?!

— Много хорошего и очень много разрушений,— ответил Николай Тургенев.

Гюго его не слышал. Все трое—Николай Тургенев, Клара Тургенева и Виктор Гюго—смотрели в окна на проходящих под дождем людей.

— А вот узнаете бургундцев? Смотрите! Яркий румянец, веселое лицо, звонкая речь и гордая поступь, широкие жесты, открытый характер и безумное воображение. Неистощимо веселые люди! Крестьяне с поступью принцев и с горячим вином в сердце и крови. Вот идет семюрский батальон. Стоит услышать его историю. Его оставили дома, в родных деревнях Бургундии. Они достали прошлогодние бочки, выбили донья под гром барабанов и ружейных затворов, потом, напившись, пришли в Дижон, на вокзал, вызвали начальника станции и потребовали поезд. «Никакого поезда нет,—ответил тот.—Пруссак отрезали все пути».—«Тогда мы тебя расстреляем»,—сказали бургундцы. И поезд появился. Пыхтящий локомотив с одним кочегаром покрыл дымом перрон. «Нет машиниста»,—с ужасом закричал начальник станции. «Тогда лезь сам на эту проклятую машину,—закричали бургундцы,—или мы пристрелим тебя, как перепела в винограднике!»

И вот начальник станции сам повел последний поезд из Дижона. Эти бургундцы, опьяненные солнцем, вином и радостью, бушевали, как море, они стреляли из окон в проходивших коров, в стада баранов, они шумели, пили, пели, заставляли локомотив свистеть на каждом шагу. Красное вино их родины бурно клокотало в молодых жилах; когда они с пением прикатили на северный вокзал—их песен не понимали парижане, их странный нежный язык, совсем не похожий на татарскую речь бретонцев, был так же дик и непонятен парижанам, как и их бурная веселость в тоскливом, угнетенном Париже... *Вот вам единство нации! Вот вам тот французский народ, который хотел обуздать железной уздой деспотизма и биржевых спекуляций авантюрист, похитивший свободу Франции! Не пора ли всем нам понять, что нет единства нации, что каждая деревня дышит своим воздухом и что истинная родина человека есть человечество!* Священные идеи человечества попирает прусский сапог, все, кто борется сейчас за Францию, борется за человеческую свободу! Я пришел это сказать вам, Тургенев, только потому, что вы, имея все возможности, не покинули

Францию в трудную минуту. Вы—старый борец за свободу! Приветствую вас!

— Благодарю вас,—сказал слабеющим голосом Тургенев.— Меня интересует вопрос о том, что думает обо всех этих делах князь Бисмарк.

Гюго нахмурился. Огромные брови, как крылья седой птицы, сдвинулись и загнулись, как стальная проволока. Голубые глаза мгновенно загорелись бешенством.

«Вот оно,—подумал Тургенев,—недаром Мериме говорил, что это бешеный человек». И, словно продолжая свою мысль, Тургенев без всякой осторожности спросил:

— А что думает обо всем этом господин Проспер Мериме?

— Господин Проспер Мериме! — закричал Гюго.— Да разве он жив? Я думаю, что он умер двадцать лет тому назад. Я помню в роковые дни измены французской республике президента Бонапарта, когда я пробирался на конспиративную квартиру десятого округа с воззваниями против узурпатора, мне встретился этот щелкопёр Мериме—автор повести о цыганке Кармен и о многих других столь же восхитительных героинях. Он сказал мне: «Я вас ищу». Я ответил: «Кажется, вы меня не найдете», и повернулся к нему спиной. Так вел я себя в отношении ко всем из шайки Бонапарта.

— Я слышал, что Мериме жив. Я получил от него письмо из Ниццы. Он уезжает в Канны, он рассчитывает на то, что министр Тьер спасет династию во имя мальчика Луи.

— Никаких Луи! — закричал Гюго.— Этот мальчик Луи недавно подобрал прусскую пулю, упавшую на форпосте. С тех пор парижане прозвали его «ребенок с пулей». Какое счастье, что он пулей вылетел из Парижа в Лондон со своей мамашей, распутной испанской танцовщицей!

Клара Тургенева рассмеялась.

— Я думаю, Евгения Монтихо переживет нас с вами, господин Гюго. Она может прожить дольше, чем новая Французская республика.

— Однако мне пора,—сказал Гюго.— Желаю вам здоровья, дорогой единомышленник!

Живой, совершенно не старческой походкой Гюго вышел из дому, а Николай Тургенев сел завтракать с Планшоном и слушал его рассказы о том, что делали пруссаки в его кабинете в Вербуа.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Миновала тяжелая зима. Наступила весна, несшая людям надежды. Был март. Над парижскими домами в синем воздухе реяли красные знамена. Ветер трепал флаги, развевал волосы, срывал шляпы. Новый ветер небывалой человеческой весны! И, врываясь диссонансом в эту красную пляску знамен и флагов, щелкавших и свистевших над домами в синем небе, черные люди в цилиндрах с серебряным галуном вели под уздцы черных коней. За гробом на катафалке идет седой старик, волосы, поднявшиеся кверху, овеивает ветер, обжигает старое французское солнце. Виктор Гюго хоронит своего сына. Рабочие в синих блузах с коммунарскими значками попадают ему навстречу. Кепки взлетают на воздух, толпы присоединяются к шествию. Старый Гюго с красным бантом в петлице протягивает им руки и говорит:

— *Вы правы, товарищи! Закон Коммуны, закон Парижа... станет законом всего мира.*

На улице Риволи полк национальных гвардейцев с оркестром играет «Марсельезу». Смешанный батальон, пересекающий дорогу похоронной процессии, поет «Марсельезу». Бургундцы узнают старика и с оркестром становятся за катафалком. Тысячные толпы наполняют улицу Риволи, когда восьмидесятилетний старик Тургенев подходит к окну. Он смотрит, узнает Гюго. Клара Тургенева говорит мужу:

— У него умер сын.

Николай Тургенев смотрит на нее потухшими глазами и говорит:

— Я ничего, ничего не понимаю... Я все позабыл... Скажи, Клара, вернулся ли Кюстин из России?

— О, давно вернулся. Он уехал в путешествие, из которого не возвращаются. Его книгу «О России» проклял царь Николай.

К вечеру Клара Тургенева послала сына к своей сестре. Прислуга осторожно ввела человека в котелке с небольшим саквояжем. Николай Иванович лежал на постели без подушки. Глаза были закрыты. Седые волосы стальной щеткой вышли на подбородке. Желтые руки тихо собирали и отпускали одеяло. Ему снилась многоводная Волга, крепостной Вася с тенетами, и смертельная жалость сжимала сердце при виде пойманных птиц. Дым у костра и бурлаки на берегу. Потом Галерная гавань и

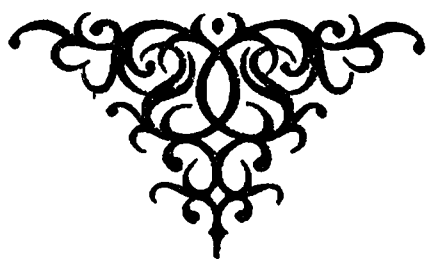
Каховский с безумными глазами, который просит: *«Николай Иванович, взойди ты в мешок вместо меня»*. Потом в глазах стало темнеть, и вдруг яркое солнце осветило каменную тумбу на повороте около Sacré-Coeur de Montmartre, и маленькая золотая пчелка села на белый камень. В ушах звучали слова: *«Жизнь дается только раз, каждая минута—счастье»*. Вот смотреть на эту пчелу на белой уличной тумбе, впивать всем телом лучи горячего солнца—вот это настоящее счастье. Сознание этого счастья было настолько велико, что сердце не выдержало и остановилось.

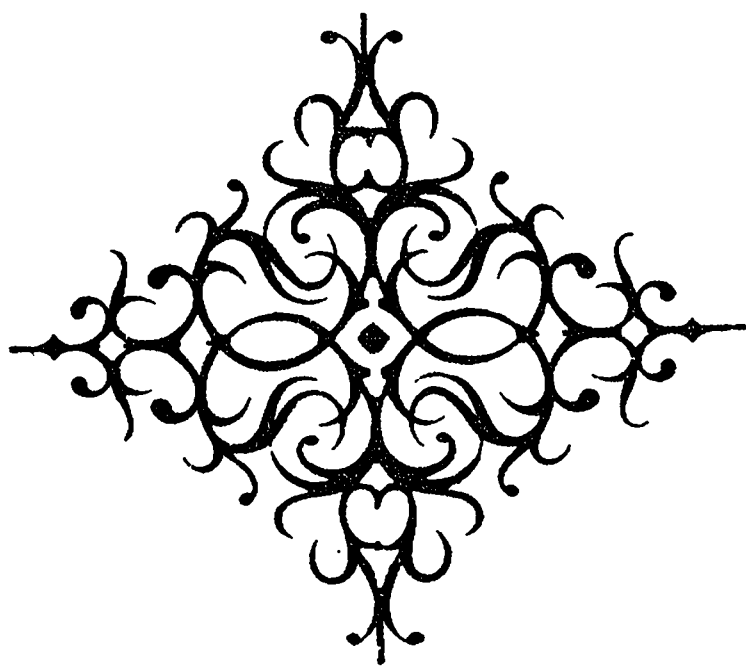
Доктор отнял зеркало от губ Николая Ивановича и, молча разведя руками, показал: поверхность была совершенно гладкая, сухие губы не затуманили его никаким дуновением.

Знаменитый писатель Иван Сергеевич Тургенев в некрологе о последнем из четырех братьев Тургеневых написал прекрасные слова: *«Из возможных благ, доступных людям, многие достались на его долю: он вкусил вполне счастье семейной жизни, преданной дружбы; он узрел, он осязал исполнение своих заветнейших дум. Будем надеяться, что и для тех из них, которые еще не исполнились и которым он посвятил свой последний труд—со временем также настанет черед»*.



ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ



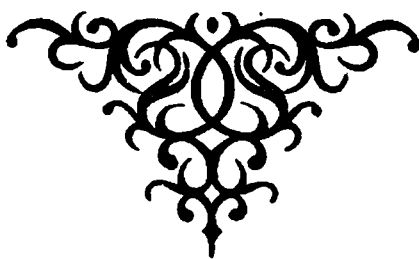




ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



БЕЛАЯ
ФРАНЦИЯ





Глава первая ТЕНИ ПАРИЖСКОЙ НОЧИ

Да, впрочем, можно ли в том сделать ей упрек,
Что меж приезжих Адонисов,
К несчастью, такой нашелся человек,
Что в сумерки гулять под тенью кипарисов
Они уводят дам, что с ними за стеной
Уж восемь дней живут под кровлею одной.

*Виланд. «Вастола». Изд. Александра
Пушкина, СПб., 1836.*

В отличие от зимы 1788 года революционный декабрь Парижа сопровождался большим снегопадом. Снег начался с внезапного налета бури; облака закрыли солнце, яркое небо потускнело, и наступили серые сумерки. Монах из конгрегации святого Мавра записывал в «Анналах страшных событий», что снег падал, не останавливаясь ни минуты, пятьдесят два часа, то есть «всю мессу, повечерие, литанию, полунощницу, отпевание маркиза д'Абевиля и часы Блаженной Девы Марии дважды». А парижские ремесленники отметили в своей памяти, что в этот день прекратилась доставка муки в город и обыкновенный ливр грязного хлеба обошелся им в булочной в семь с половиной су.

Снегопад кончился в полнолуние. Париж почти опустел. На глубоком нетающем снегу копыта верховых лошадей ступали без стука, а кареты почти бесшумно оставляли длинный след. Кучера не кричали «гарр», пешеходов почти не было.

В поздний час по улице Генего пробирался с фонарем человек в треуголке, в черной маске, усталый, судя по тому, как он опирался на высокую трость, а впереди, освещая и без того светлую дорогу, кидая по белому снегу

двойную тень — синюю от луны и коричневую от восьмигранного дымящего и мигающего фонаря, — шел не то слуга, не то провожатый. Он шел, покачивая маленькой островерхой шапкой, злой и ворчащий, как зверь, а его «господин» следовал молча, погруженный в свои мысли.

Слуга обернулся на перекрестке и спросил:

— Ну, куда же теперь? Ведь уже скоро рассвет, а вы еще не надумали, где будете ночевать. Я вам говорю, вернемся в восемнадцатый номер на улице Кордельеров, я вас уложу под лестницей и положу вам под голову вот этот тюк, а сам, как собака, буду спать у двери. Я не могу больше идти... Мне надоело рисковать собою из-за каких-то корректур.

Человек в маске закашлял, потом махнул рукою, хотел что-то сказать, но в это время из переулка, задыхаясь, вышли двое, и женщина, закутанная с головой, дрожа от стужи, бросилась к человеку в маске, ведя с собою не менее закутанного спутника, ставшего в тень углового дома.

— Гражданин! — крикнула она. Потом вдруг остановилась, увидев маску. — Сударь! Милостивый государь! Маркиз, быть может! — все больше и больше волнуясь, умоляюще произносила она. — Скажите, где живет знаменитый доктор Кабанис? Человек умирает, его надо спасти...

— Парижская ночь полна тенями, — ответил человек в черной маске, — гражданка, я не маркиз, а такой же гражданин, как вы... Если, впрочем, ты не аристократка! Тебе известно, что доктор Кабанис нынешней осенью не возвращался из Версаля и что немало других докторов в Париже...

— Но где же они все, гражданин, где все они?.. Я с вечера на ногах, и вот приезжий родственник больного... мы не можем найти ни одного врача... Доктор Кабанис... Разве мы можем рассчитывать на его внимание? Но его имя у всех на устах, мы пошли к нему... Мы ищем в четвертом квартале, и везде говорят, что он уже уехал на другую квартиру.

— Уже уехал, — повторил человек в маске, покачивая головой, — уже уехал, когда-то про меня это скажут?

— Боже, какое счастье! Неужели вы врач? — воскликнула женщина.

— Да, я врач, но не уверен, что это счастье. Кто ваш больной и почему говорит женщина, когда мужчина

молчит и прячется в тени? Может быть, этот стройный господин — агент муниципалитета и хочет сделать мне неприятное?

— О нет, господин, я совсем не агент, — внезапно заговорил закутанный человек. — Я даже не парижанин. Я не меньше, чем вы, страдаю от парижской зимы, а мой бедный родственник, вероятно, от нее умрет.

— Поговору вы — испанец, — сказал врач. — Мне все равно... Лишь бы не аристократ.

— О нет, во всяком случае нет, — горячо заговорил закутанный иностранец.

— Вот что, дорогой Лоран Басс, — обратился доктор к человеку с фонарем, — ты прав, иди сам туда, куда ты меня звал, и отнеси этот тюк с лекарствами, который ты таскаешь на себе. Завтра я буду сам лечить этими лекарствами весь Париж, а сегодня буду лечить заболевшего иностранца.

— Оставьте себе хоть фонарь, — произнес провожатый.

— Зачем мне будет нужен утром фонарь, когда над Парижем взойдет солнце? Иди себе, старый черт, с твоим фонарем и тащи медикаменты, которыми будет со временем вылечен наш больной Париж... Прощай, дружище Лоран... Не проедайся... Ну, не трать дорогого времени, мы должны заставить молодых девушек и ремесленников предместья плясать на земле, а богачей и аристократов плясать между небом и землей.

Женщина и ее спутник переглянулись быстро. Закутанный человек сказал:

— Вы, конечно, переночуете у нас, доктор, а потом экипаж доставит вас под утро всюду, куда вы пожелаете.

Тот, кто был назван именем Лорана Басса, повернул назад и, мерно покачивая фонарем, пошел по снегу, а доктор, продолжая разговор, двинулся туда, где ждали его помощи.

Шли долго... И как-то странно все замолчали... Доктор, внезапно повернувшись, хотел что-то сказать, но гулкие выстрелы из мушкетонов на другом берегу Сены изменили его намерения. Прошло еще несколько минут беззвучных шагов по снегу, безмолвных мыслей и молчаливых догадок.

— Тридцать девять выстрелов с промежутками, — сказал доктор. — Как далеко нам идти?

Закутанный человек пожал плечами. Женщина быстро выступила вместо него.

— Мы пройдем Новый мост и Самаритэну, потом около моста Ошанж свернем направо... Вот и все.

— Хорошо,—сказал доктор и вдруг, быстро взбежав на ступеньки ближайшего здания, спрятался за колонной.

Спутники, слегка замедляя шаг, продвинулись вперед. Роскошная, ярко освещенная карета, запряженная четверкой, двое слуг и фореитор. Человек, откинувшийся на атласных подушках, без парика, обмахивающийся шляпой с плюмажем,—все это быстро промелькнуло перед ними.

— Вот он,—задыхаясь, говорил доктор после проезда экипажа.—Вот он, господин Мирабо, проматывающий королевские взятки, спасающий шкуру Капетингов, этих кровососов Франции... недавно сидевший за долги, а теперь катающийся на пуховых подушках в золоченой карете. Этот болтливый вор и негодяй с продажной душонкой, не стоящий плевка проститутки Пале-Рояля или даже пьяной либертинки, стонущей под матросом в трактире Гавра...

Кулаки доктора сжимались. Маска соскочила, треуголка сбилась. Легкий тюрбан из голубого шелка повязывал голову хрипящего в негодовании человека. Он стоял на лестнице, освещенный полной луной, протягивая вперед прекрасную, словно выточенную, руку, а лицо с треугольным подбородком, маленьким носом, складками горечи около губ морщилось безумным гневом, хотя глаза сохраняли звездный блеск. Они были огромны, печальны и в то же время необычайно жизненны. Он смотрел на своих незнакомых спутников, но, казалось, их не видел. В нем было и бешенство, и детская беспомощность, как у человека, давно потерявшего представление о личной жизни. Мгновение спустя он успокоился. Он поднял маску и, вплотную подойдя к своему спутнику, вскинул на него строгие и проницательные глаза.

— Я не спросил вашего имени, кто вы такой,—почти сердито обратился он к мужчине.

— Не все ли вам равно?—ответил тот.—Если вы врач, не все ли вам равно.

— Дорогой друг,—сказал доктор,—есть парижане, которым я могу оказать только одну хирургическую помощь—перерезать им горло.

— Тот, для кого мы просим вашей помощи, не парижанин и даже не француз. Что касается меня, то

извольте, сударь, я назову себя. Мое имя Адонис Бреда.

— Это очень жаль, это очень жаль,— зашипел доктор.— Бреда, это тот самый, который укрыл заговорщика графа де Майльбуа, покушавшегося на свободу французского народа?..

Тот, кто назвал себя Адонисом, с горечью коснулся ладонью лба и сказал:

— Вы ошибаетесь, доктор, вы ошибаетесь. Владения Бреда, которому, увы, я должен в этом сознаться, мой покойный дед принадлежал как раб, находятся не в Париже, не во Франции. Они за океаном, как вы сейчас все узнаете. Пойдемте поскорее.

— Хорошо,— сказал доктор,— я верю. Я все проверю. Вы вспомните каждое ваше слово.

— И вы тоже, доктор.

— Вы мне угрожаете?

— Нет, я далек от угрозы, но я боюсь за участь человека, который нам всем бесконечно дорог, хотя он и называется нашим общим слугою.

— Не останавливайтесь, доктор, пойдемте. Дорога каждая минута, умоляю вас,— простонала женщина.

— Бреда... Бреда... вы хотите заманить меня в ловушку, гражданин, но я вооружен, я буду защищаться.

И доктор вдруг отступил, откинув тяжелый плащ. На белом атласном жилете, почти достигая выреза кружевного жабо, лежал широкий темно-красный пояс, из-под которого виднелись рукоятка большого кинжала и два корабельных пистолета.

— Я безоружен,— тихим голосом ответил мужчина.

Этот волнующий тремолированный голос успокоил доктора. Женщина схватила его за руку. Мир казался восстановленным. Но внезапно патруль Фландрского полка, звеня шпорами, вышел из переулка. А в отдалении улицы показались огни кареты.

Доктор и женщина быстро взбежали по ступенькам и спрятались в тень.

Караульный разводящий издали крикнул: «Стой!» Адонис перешел улицу и быстро пошел вперед навстречу патрулю.

Когда офицер просматривал синюю «гражданскую» карточку Адониса, сворачивая с ним вместе в переулок, встречная карета, зацепив за выступ дома, уронила правые колеса и грохнулась на оснеженную улицу.

Женщина, схватив доктора под руку, быстро побежала с ним в противоположную сторону и, почти катясь по выступам каменной набережной, еле переводя дух, остановилась вместе с доктором в кустарниках, на песчаном берегу Сены, под Новым мостом и скрылась в черной тени огромной каменной арки. Вдали виднелась Самаритэна с крестами и выступами. В кустарнике храпел нищий, а его собака, видя сны, выла тихим воем, словно напевала какие-то старые собачьи песни. Вдалеке луна освещала огромные пролеты моста Ошанж и бросала колоссальные тени трех его арок на поверхность черной, ночной, испещренной серебряными стрелами Сены.

— Гражданка,—сказал доктор,—я не хочу ночевать под мостом в декабрьскую стужу в кустарнике и собачьем помете. Господин Вольтер писал господину Руссо: «Никогда еще не тратили столько ума на попытку снова сделать нас скотами. Когда читаешь ваши книги, так и хочется пойти на четвереньках...» Так вот, гражданка, мне надоело не спать на постели, мне надоело превращаться в животное, мне вовсе не хочется ходить на четвереньках. Гражданка, твой спутник сказал, что у вас в доме заболел какой-то слуга, а мне надоело возиться с челядью, так как лакеи графа д'Артуа оказались порядочными сволочами, они все стоят за дворян, они все против революции, но они все доносчики и пакостники от имени Учредительного собрания...

— Подожди, дай мне кончить,—продолжал он, расхаживая под мостом и беспокойно теребя перламутровые пуговицы на грязном атласном жилете.—Что за беспокойная жизнь! Две недели подряд я ночевал в конюшнях Бонафуса. Проклятые голодные почтовые клячи заразили меня чесоткой! Что это за жизнь! Это какой-то ад, и все по доносу тех, кому через неделю палач перережет горло, кому народный гнев приготовил виселицу. Послушай, гражданка, вряд ли тебе есть охота выслушивать мою ругань. Но ведь если б я был способен ходить на задних лапках, я бы уж давно сидел во Французской академии вместе с первыми лизоблюдами Франции. Однако я не сделал этого. Я ответил отказом. Зато теперь я умею не только лечить болезни, я знаю состав света и звезд, я умею разложить и сложить солнечный луч, я знаю, как возникают в природе цвета и краски.

Женщина с ужасом смотрела на говорящего и думала, что доктор бредит. Но тот ходил большими шагами,

вскидывая огромные сверкающие черные глаза навстречу потокам лунного света, струившимся сквозь большие хлопья медленно падающего снега. Потом, резко повернувшись, словно забыв о своей спутнице, доктор полез на набережную, цепляясь за кусты. Женщина последовала за ним.

Никто не мешал дальнейшему пути. Женщина шла вперед. Доктор следовал за ней почти машинально. В темном переулке, под фонарем, мигающим от ветра, огромный человек с дубиной сделал несколько шагов навстречу женщине.

— Послушай, Жоржетта, неужели ни одного врача в этом проклятом городе! Ведь он совсем умирает и кашляет кровью. Он бредит... Никто из тринадцати до сих пор не вернулся.

— Я привела врача,— сказала та, которую называли Жоржеттой.

Доктор, женщина и человек с дубиной вошли по скрипучим ступенькам в первый этаж.

Ночники, подвешенные на стене в виде кенкетов, тростниковые циновки на полу, легкий, едва слышный запах горьковатого гвоздичного масла и мускуса встретили вошедших.

Женщина скользнула в дверь, вернее — сквозь занавес из бамбуковых коленьев, зазвеневших, когда она их открывала.

— Присядьте, сударь,— сказал высокий человек, и тут вдруг впервые доктор увидел его лицо.

Перед ним был огромный негр с глазами навывкате и черными короткими, завитыми в крутые кольца волосами. Он не был похож на раба. Он посмотрел на доктора концентрированным, пронзительным взглядом и мгновенно погасил эту горячую пытливость взора. В последующие секунды доктор услышал, как три двери пропели, закрываясь и открываясь перед ушедшим гигантом.

«Вот еще новое приключение», — подумал доктор. Но двери опять запели, и уже другой черный человек, почтительно ему поклонившись, повел его к больному.

На большой кровати под белым тонким матрацем с огромными стегаными оранжевыми цветами лежал, закинув руки на белую подушку, маленький черный остролицый человек, и тонкая струйка крови окрашивала белую подушку, пачкая левую щеку больного. Доктор подошел к нему и взял его за руку. Она была горяча. Больной сипло

дышал и в ответ на прикосновение застывшей руки доктора открыл глаза. Поводя лихорадочными черными зрачками невидящих глаз, скорее зашипел, чем заговорил, слова:

Haec mera libertas! hos nobis pillea donant.
An quisquam est alius liber, nisi ducere vitam,
Cui licet, ut voluit? licet ut volo vivere: non sum
Liberior Bruto?—Mendose colligis, inquit
Stoicus hic aurem mordaci lotus aceto,
Haec reliqua accipio licet illud et ut volo tolle.
Vindicta postquam—meus a praetore recessi
cur mihi non liceat, iussit quad cumque voluntas,
Excepto si quid Masuri rubrica vetavit?¹

Доктор выслушивал стук горячей крови в жилах разметавшегося больного негра, прислушивался к звукам странной латинской речи, силясь вспомнить, кому из латинских поэтов бронзового века принадлежат *эти варварские* строчки о свободе. Тем временем комната постепенно наполнялась людьми. Бесшумно входили разнообразнейшие, низкорослые и высокие, курчавые и в седых париках, степенные, спокойные люди в цветных и черных, расшитых золотом камзолах, осанистые, тихие, озабоченные. Потом появился странно бледный высокий и курчавый человек с желтоватыми белками и, проведя рукой по белому парику, сверкая перстнями на правой руке, обнаружил белые руки с синева-желтыми ногтями.

За стеной выла и стонала декабрьская вьюга. Четыре занавешенных окна отделяли от нее. Две жаровни, стоявшие на полу, разливали тепло. Больной, роняя подушку, вырвал руку из пальцев доктора. Доктор встал. Озираясь, он обратился к белому человеку с синими ногтями:

— И вы говорите, что это ваш слуга, и вы говорите, что это ваш раб! Этот человек, ночью в бреду читающий

¹ Вот она, чистая свобода, вот что нам приносят в дар пилеи. Кто же свободен, как не тот, кому можно жить, как он хочет? Я могу жить как хочу: разве я не свободнее Брута? «Твое заключение неверно,— говорит при этом стоик, у которого уши промыты едким уксусом,— отбрось это «все могу и как угодно», остальное я принимаю. С тех пор как я, в силу обряда отпущения на свободу, возвратился от претора человеком свободным, отчего бы мне не позволить себе всего, что повелевает моя воля, за исключением лишь запрещенного в рубриках Мазурия?» (Перев. автора.)

сатиры знаменитого Персия так, что ему позавидовал бы любой академик?! Что это за бред? Неужели я схожу с ума? Кто вы такие?

— Доктор, дорогой доктор, пусть снизойдет покой на ваше сердце, пусть в карманах вашего камзола находится золото,— об этом мы позаботимся,— но спасите нашего раба. Что же делать, маленький остров на далеком океане полон и не таких страшных тайн и чудес. Ваши вопросы заслуживают ответа на условиях полной взаимности. Ведь мы не спросили у вас при входе диплома парижского университета на право врачевания. Мы доверились вам, хотя знали, что наши люди встретили вас случайно. Мы имели право спросить вас. Если вы не французский врач, то вы можете погубить нашего больного, если наш больной говорит по-латыни, с вами ничего не случится.

— Ошибаетесь, гражданин! — закричал доктор, скидывая плащ и треуголку.— За эти несчастные два месяца я затравлен, как мышь, попавшая в клетку с сотней кошек. Я перестал удивляться. Со мной может случиться все что угодно. Доверюсь вам: я доктор Марат, я Друг народа. Я — человек, затравленный и доведенный до безумия врагами народа.

Шепот пробежал по группе негров. Два-три человека с суровыми лицами и морщинами между бровями сняли шляпы. Сидевшие привстали.

Марат словно проверял впечатление. С головою, въехавшей в плечи, сгорбившись и нахохлившись, как больная птица, он ладонью шлепал по рукоятке корабельного пистолета и бешено обводил глазами черных людей, почтительно опустивших головы.

— Наше сердце у ног Друга народа. Перед вами Оже. Меня черные и цветные братья послали к вам, в Великую Конституанту, в поисках наших прав,— сказал человек с бледным лицом и синими ногтями.— Судьба привела вас к нам. Вы будете лечить не только нашего господина, простуженного страшным парижским снегом, но всех нас, тоскующих по свободе и человеческим правам. Вы — Друг народа, вы друг всех, кого воззвала Декларация прав. Вы друг цветных племен, населяющих Гаити — Страну гор.

— Тише, тише,— сказал Марат,— не так громко! У него опять пошла кровь,— он указал на больного. И, словно позабыв об окружающих, сбросил зимнюю одежду,

камзол, вынул пистолеты с кинжалом, распутал узел красного пояса, снял жилет, и, оставшись в белой полуистлевшей рубашке и голубой повязке на усталой, со смятыми волосами голове, он наклонился над больным. Потом, пальцем подзвав Оже, немногосложными, короткими словами скомандовал принести таз холодной воды, простыню, номера «Национальной газеты» и, сделав огромный обложной компресс, закутал всю грудную клетку больного — стонущего и пускающего в ход кулаки негра. Тот кричал по-латыни:

— Ступай, моя книжка, и от меня приветствуй милые места; конечно, коснулся бы я их ногою, насколько возможно. Если кто-нибудь там из народа, не забыв меня, спросит случайно, что я там делаю, — скажи, что живу, но на вопрос, благополучно ли, отвечай отрицательно!

— Что же, он изгнан, ваш Раб-Господин? Он читает Овидия. Его родной язык — язык изгнанников и римских врагов. Кто это? Говорите прямо. Уверяю вас, он вне опасности. Мне опаснее ходить по улицам Парижа, чем ему лежать здесь в постели.

Негры сокрушенно закачали головами. Словно при виде чего-то недозволенного, они по порядку вставляли один за другим через какие-то строго размеренные промежутки времени и с видом смущенного достоинства выходили из комнаты один за другим. Марат, окунув кусок полотна в холодную воду, выжал материю и, осторожно расправив, сделал повязку на лбу больного, который, откинув голову за пределы подушки, дышал, как птица, жадно ловил воздух и метался. Огромная черная ладонь негра упала на голову Марата, сбила голубую повязку: волосы спустились на лицо доктора. Он встал, тихо отошел от постели, поправил свои волосы и стал готовиться к уходу. Когда он надевал плащ, больной вдруг вытянулся, губы его сомкнулись, и лицо, до того искаженное гримасой боли, вдруг стало спокойным, красивым и грустным. Марат протянул руку к пистолетам, засунул их за пояс, как вдруг раздались совершенно ясно через три двери идущие восклицания и стук булавою:

— Именем короля!

Марат повернулся на каблуках, потом заметался по комнате, но в эту минуту вошел Оже, спокойный и улыбающийся. В руках у него было блюдечко и белый кусок хлопчатой ваты. Осторожно подойдя к Марату, он сказал:

— Сядьте, доктор, они войдут еще не скоро.

Марат беспомощно опустился на плетеный стул. Оже окунул комок хлопка в блюдечко и, прежде чем успел опомниться Марат, выкрасил ему лицо и руки в коричневый цвет. Молодой негр, войдя в комнату, быстро раскинул по полу циновки и тростниковый подголовок вместо подушки. Оже быстро и решительно снимал, почти срывал с Марата его одежды, завязал плащ, быстро кинул узел на руки негру и знаком приказал Марату лечь.

— Не раскрывайте глаз, не раскрывайте глаз,— шепнул он ему.—Ваши глаза останавливают звезды и закрывают солнце.

Марат повиновался. Вдыхая запах погашенного кокосового ночника, он лег под тюфяк, пропахший гвоздичным маслом и ванилью. Марат слушал, как сонный, словно качание корабля на мертвой зыби, далекий голос. Кто-то ворчливо, медлительно и недовольно переспрашивал через дверь. Вошли, гремя прикладами, гвардейцы. Потом наступила тишина. В двери комиссар на всю комнату возгласил:

— Именем короля и по приказу господина начальника парижской Национальной гвардии маркиза де Лафайета.

— Тише, тише, здесь лежит больной,—сказал вошедший в другую дверь Оже.—Здесь только двое наших слуг. Осмотрите, гражданин комиссар.

— Я не комиссар, а слуга короля,—сказал начальник.—Мы не можем поймать этого неуловимого Марата, но мы сейчас поймали его слугу Лорана Басса с корректурами преступной газеты «Друг народа», и хоть он удрал от нас, но мы знаем, что яблоко недалеко падает от дерева. Наши отряды ищут Марата по всему округу.

— Гражданин...

— Я не гражданин, а офицер его величества короля.

— Господин,—продолжал Оже,—мы не знаем того, кого вы ищете. Нам неизвестен господин Басс и господин Марат. Здесь только...

— Что здесь только? Здесь только притон негров. Слуга покойного деда нынешнего короля, мой дед Эснамбук, имел десять тысяч таких черномазых, как вы. Когда он въезжал в Париж, десять золоченых карет везли его свиту и имущество. Его встречали министры, король у него обедал, кардинал Ришелье брал у него деньги

взаймы... Проклятое время!—сказал офицер, садясь за стол и шпагой цепляя ночник.

Горящее масло побежало по скатерти, комната осветилась, и стены покрылись бегающими тенями. Негры, стоящие в комнате, молчали. Офицер осмотрелся, не обращая внимания на горящий стол, и сказал:

— Ну, кажется, здесь только одни черные. Этот негодяй Марат не отвечает на предписания властей, не является вовсе, пишет дерзкие письма в полицию о том, что если триста тысяч его ловят, а триста одна тысяча его прячут, то он никогда не попадет в руки властям. Неужели весь округ Кордельеров состоит из маратистов? Какие времена! Какая полиция! Словно младенцы, не могут разыскать типографию, где напечатан восемьдесят третий номер «Друга народа». Повесить бы всех типографщиков! Запретить бы печатать книги! Все зло и несчастье королевства от науки и печати!

Офицер заходил большими шагами по комнате. Негры, молча и бесшумно ступая по циновкам, убрали горящую скатерть. Другие поставили на стол шандалы. В комнате стало почти темно. Офицер продолжал, обращаясь к здоровенным сопровождавшим его солдатам:

— Ну что же, кончили?

— Еще осталась мансарда,—ответил рослый гвардеец в ботфортах и с седыми усами, оглушительно звеня шпорами при каждом движении.

— Скорее, скорее,—сказал офицер.—Разве год тому назад я думал, что мне так придется проводить ночи! Тогда девушки Пале-Рояля дюжинами сидели за столом в задних комнатах кофейни Робер-Манури. Тогда по двадцать свор лучших борзых мы выпускали в Бретани на графской охоте, тогда никаких Генеральных штатов не собирали в Париже и банда безродных буржуа не осмеливалась против воли короля назвать себя Национальным собранием. А сейчас... Впрочем, что сейчас! Если б я был королем, я перестрелял бы всех перепелов, чирикающих в зале Манежа. Они бы у меня двух шагов не пролетели по улице. Национальное собрание! Куча незаконного сброда—вот что такое Национальное собрание! Его выдумали мятежные умы, господа философы, безродная сволочь, не имеющая пятидесяти арпанов земли, но смеющая рассуждать о том о сем.

— Господин лейтенант тоже рассуждает,—тихо произнес Оже.—И рассуждает настолько громко, что может

разбудить больного. Довожу до сведения господина лейтенанта, что мы являемся делегацией законно существующих Общин, что мы приехали с острова, лежащего на далеком океане, заявить о своей преданности французскому государству независимо от цвета нашей кожи. Мы — граждане острова Гаити, мы делегаты Национальной ассамблеи. Мы приехали с королевским пропуском, и речи господина лейтенанта нас удивляют.

Офицер смутился. Но ему помог вошедший гвардеец.

— Господин лейтенант, обыск окончен. Пойдемте дальше, если только здешние собаки на налаяли на соседний дом. Боюсь, что не найдем ничего и там.

Едва офицер ушел, уводя с собой отряд, как Марат вскочил, разъяренный, забыв о своем гриме. Оже взял его за руку и спокойно произнес:

— Друг народа, ложитесь, отдохните.

— Как? Вы думаете, я могу спать? Граждане, вы думаете, я цепляюсь за жизнь? Вы думаете, мне сладко дышать в этом смрадном Париже? Вы думаете, что можно сломать мою волю?..

Слова его прервал шум в коридоре. Марат остановился, прислушался и произнес:

— Имейте в виду, они возвращаются раза по три!

Но вошли двое негров. Один нес шандалы, по четыре свечи в каждом, другой подошел к окну и осмотрел плотность занавесок и створок. Марат бросил взгляд на окно. Там лежала кipa синей бумаги, той самой, что продавалась в палатке публичного писца под вывеской «Отец Кулон», около книжной лавки г-жи Авриль. Марат подошел к окну, схватил не считая кипу бумаги, роня отдельные листы, понес ее вместе с банкой железных чернил и гусиными перьями к столу. Оже придвинул ему песочное сито. При полном безмолвии Марата негры расположились на циновках, подушках и маленьких табуретках неподалеку от ложа больного. Марат писал, почти не переводя духа, быстрым и нервным почерком, лишь изредка резким жестом хватал себя за руки и за ноги; лицо его искажалось от боли; чесотка, полученная от ночевки в денниках и конюшнях, временами переходила в нервный тик. После приступа Марат опять продолжал писать.

I

«ГОСПОДАМ ЧЛЕНАМ ПОЛИЦЕЙСКОГО ТРИБУНАЛА ПРИ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПАРИЖА

Милостивые государи! Мне предписано сегодня предстать перед вами по поводу предполагаемого нарушения предписания и правил, допущенного в № 83 моей газеты «Друг народа». Так как номер этот снабжен именем редактора и типографа и так как он вполне отвечает правилам, как и все остальные, то я, после недавнего гнусного покушения со стороны суда, усматриваю и в этом вызове грубую ловушку, имеющую целью выманить меня из пределов округа Кордельеров, обеспечивающего мне свободу. Подтвердите мне, действительно ли это предписание исходит от вашего трибунала. Я жду вашего ответа, чтобы сдать в печать свою газету.

Марат, Друг народа».

II

«ПИСЬМО К ОКРУГУ СВЯТОЙ МАРГАРИТЫ

Прежде всего, сограждане, обращаюсь к вам с искренней благодарностью за сообщение мне постановлений, принятых относительно меня в общем собрании вашего округа; они продиктованы опасением разлада среди граждан, преданностью миру и общественному благу; побуждения эти делают честь вашим патриотическим чувствам и были всегда дороги моему сердцу. Но, воздавая должное вашему патриотизму, я позволю себе осветить ваш поступок и предостеречь вас против происков тех коварных людей, которые очернили меня пред вами и стараются привести вас к тому, чтобы вы сами отвергли старания вашего же защитника.

Наговор на мою газету со стороны одного из городских депутатов мог преследовать единственную цель — поднять ваш округ против меня. Вы могли бы догадаться о его намерениях по тому ожесточению, с каким он стремился настроить вас против меня. Позвольте, однако, спросить вас, не он ли склонял вас сообщить ваше решение округам Сент-Антуанского и Сент-Марсельского предместий в надежде поднять их против меня?

Что касается обвинений, которые он себе позволил, то они столь же смешны, сколь мало обоснованы. Он заявил

вам про мою газету, будто она провозглашает ложные принципы. Вместо того чтобы ограничиваться простым указанием, ему следовало бы обрушиться на самые принципы; этим он дал бы мне возможность выступить на их защиту, изложить вам те основания, которые убедили бы меня в их истинности, и мы в конце концов, разумеется, пришли бы к полному согласию. Он уверяет, что принципы мои могут лишь уничтожить дух единения и согласия, который должен царить между гражданами и теми, кого они избрали, поручив им блюсти общественное управление. Все это было бы чудесно, если бы администраторы были честны и неподкупны, но когда они только о том и мечтают, как бы сделаться независимыми от своих сограждан, чтобы притеснять их и обогащаться за их счет, тогда подобное слепое доверие, такое доверие было бы самым крайним несчастьем. Да и кто такие эти люди, которые себе одним присваивают право смотреть за общественным управлением? Баловни судьбы, пособники деспотизма и крючкотворства, академики, королевские пенсионеры, сластолюбцы, трусы, которые в дни опасности сидели, запершись, по домам и с трепетом дожидались конца всей тревоги. А в это время вы, в пыли, поту и крови, страдая от голода и смело глядя в лицо смерти, защищали свои очаги, низвергали деспотизм и мстили за отечество.

А потом, достигнув почестей ценою низостей и интриг, ревниво оберегая свое господствующее положение, они поднимаются против мужественных граждан, следящих за ними, под тем предлогом, что им одним, в силу избрания, поручено блюсти благо государства.

Но что случилось бы с нами 14-июля¹, если бы мы слепо поверили им, если бы мы предоставили им судьбу Делонэ, Флесселя, Фулона, Бертье, если бы мы не вырвали у них приказа идти против Бастилии и разрушить ее? Что случилось бы с нами 5 октября, если бы мы не принудили их дать приказ двинуться на Версаль?² И что случилось бы с нами ныне, если бы мы продолжали полагаться на них? У них есть основания призывать вас к слепому доверию. Но, чтобы почувствовать, как мало они его заслуживают, вспомните, что до сего времени оказалось невозможным

¹ Взятие Бастилии. (Примеч. автора.)

² Голод в Париже и привоз семьи Людовика XVI в Париж из Версаля. (Примеч. автора.)

заставить продовольственную комиссию отринуть негодных своих сочленов; вспомните, что не легче было заставить и самый муниципалитет дать ясный и полный отчет; вспомните, что многие из его членов обвинялись в ужаснейших должностных злоупотреблениях.

Обратите затем внимание на скандальную роскошь этих муниципальных администраторов, содержимых на счет народа, на пышность мэра и его помощников, на великолепии занимаемого им дворца, на богатство его обстановки, на роскошь его стола, когда он в один присест потребляет стоимость прокормления четырехсот бедняков. Подумайте наконец, что эти же самые недостойные уполномоченные ваши, растрачивающие государственные богатства на свои удовольствия, насильственно вынуждают вас расплачиваться с жестокими кредиторами и безжалостно предают вас ужасам тюремного заключения.

Вы ставите мне в упрек резкость и несдержанность, с которой я обрушиваюсь на врагов отечества, и вы предлагаете мне снять заголовок с моей газеты под тем предлогом, что такой заголовок предполагает сочувствие части народа, который может признать истинным своим другом лишь того, кто утверждает только такие факты, на которые у него есть доказательства, кто лишь осторожно решается затронуть репутацию любимого министра Франции и кто в писаниях своих сохраняет уважение и приличие по отношению к публике...

Это все равно, как если бы я привлекал вас к ответственности за то, что вы разражались проклятиями при осаде Бастилии или во время похода против королевской гвардии, или все равно, как если бы я ставил вам на вид то, что вы без достаточной вежливости упрекали Делонэ в его вероломстве и не попросили его разрешения раскромсать его на части. Не поддавайтесь обману: война наша с врагами еще не окончена; ежедневно они ставят нам ловушки, и ежедневно приходится сражаться с ними; вы вменяете в преступление то, что я отчаянно бьюсь за ваше благо и выступаю против них с единственным оружием, которого они боятся. Что касается излюбленного министра Франции, то он до своего возвращения, пожалуй, еще мог порочить кого-нибудь, но здесь завеса сорвана: спросите-ка его, кто платил войскам, пришедшим, чтобы перерезать всех вас и превратить ваш город в пепел; спросите его, кто заставлял голодать и

отравлял вас столько времени; спросите его, какие надежные справки давал он вам относительно подготовлений к бегству королевской семьи в Мец; спросите его, кто скупает у вас всю звонкую монету, после того как уже скуплено все зерно,—а потом взгляните на его молчание и судите о его доблести.

Вы предлагаете мне расстаться с званием Друга народа: ничего большего не могли бы потребовать от меня самые жестокие наши враги. Как могли вы допустить столь безрассудное требование? Принимая это прекрасное звание, я подчинился единственно движению моего сердца; но я старался заслужить его своим усердием, преданностью родине, и мне кажется, что я оказался на высоте. Прислушайтесь к общественному мнению, посмотрите на толпу несчастных, угнетенных, преследуемых, которые каждый день обращаются ко мне за поддержкой против своих угнетателей, и спросите их, друг ли я народа. Впрочем, благодетеля мы узнаем по содеянным благодеяниям, а не по оценке облагодетельствованного—и неужели же вы, содействовавшие победам 14 июля и 6 октября, утрачиваете звание освободителей Франции только потому, что ваше отечество уже забыло о ваших заслугах? И неужели бестрепетный благородный человек, кидающийся в воду, чтобы вытащить оттуда своего ближнего, умаляется в своей роли спасителя только потому, что неблагодарный спасенный отказывается признать за ним это звание? Нет, нет, сограждане, правила, которые хотят внушить вам, вовсе не идут из глубины вашего сердца: честное и чувствительное, оно с негодованием отвергнет попытку злодеев, которым хотелось бы поднять вас против вашего защитника. Читайте «Друг народа» от 13-го числа сего месяца, вы там увидите, что он, не дожидаясь сегодняшнего дня, воздал вам должное. Читайте «Друг народа» каждый день, и вы увидите, что он мечтает лишь об одном—задушить ваших тиранов и сделать вас счастливыми.

Доктор Марат, Друг народа».

Облатки не нашлось. Доктор свернул письма длинной лентой и вогнал один конец письма в другой, тщательно разгладил сгибы, заботясь об уменьшении объема писем. Оже смотрел на его руки, на быстрые пальцы, тонкие, длинные, необычайно изящные, пальцы конспиратора, привыкшего к работе над письмами, над книгами секрет-

ной типографии, над тонкими столбиками латинской наборной кассы. Марат не написал никакого адреса, он положил письма в правый карман атласного жилета, туда, где обычно мюскадены, парикмахеры и франты-приказчики Парижа навешивали длинные цепочки несуществующих часов. Оже хотел предложить доставку этих писем, но, увидя жест Марата, остановился. Марат подошел к постели больного, взял его за руки и, убедившись, что жар спадает, удовлетворенно вздохнув, произнес:

— Ну, надобность в медицине проходит. Однако я хотел бы посидеть у вас до рассвета. Вы видите, какой беспокойный наш Париж по ночам.

Марат обращался к Оже. Тот переглянулся со старым негром, толстогубым морщинистым человеком в седом парике, с холодными светло-голубыми глазами. Старик, не глядя на Оже, едва заметным умным и важным кивком выразил свое согласие мулату. «Кто же у них старший,— думал Марат,— и кто они, эти странные люди?»

— Оставайтесь, Друг народа,— сказал Оже.— Мы должны вознаградить вас как врача, если только в наших силах будет вознаградить по заслугам Друга народа.

Марат желчно улыбнулся.

— Медицина—наука, а я не торговал истиной. Я прошу вас только о двух сухарях и чашке молока, если можно сейчас достать этот редкий напиток в Париже.

Просьба Марата была исполнена. С необычайным радушием и заботливостью черные депутаты Ассамблеи устроили Марату ночной ужин. Огромная плетеная фляга с вином, этой крепчайшей настойкой из благоуханных антильских растений, была принесена, но Марат покачал головой. Друг народа не пил ни капли вина, но ел с такой звериной жадностью и так скрипел зубами, отгрызая сухари, что этим ясно обнаруживал страшный голод, огромное истощение, до которого довели Маратаневидимку парижские магистраты, умевшие организовать за недорогую плату тонкую и адскую полицейскую травлю.

Быстрыми шагами в комнату вошел человек в сером плаще, сдернул маску, скинул треуголку и сказал, ни сколько не обращая внимания на Марата, еще не снявшего своего коричневого грима:

— Рафаэль сделал ужасную вещь. Он шел по площади со мною вместе через мостовую дворца, четверо слуг проносили некую даму в желтой маске, а рядом с дамой в

носилаках качался в подвесном кольце синий квецаль, любимый попугай Рафаэля... Неосторожный юноша, он окликнул попугая, и тот ему ответил, дважды закричав: «Страна гор, страна гор». Дама остановила носилки, и один из слуг ударил Рафаэля, с которого соскочила маска. Дама бешено кричала: «Негры в Париже оскорбляют женщин!» Из-за решетки вышел офицер с часовыми, выхватил шпагу, Рафаэль открыл грудь и сказал: «Я безоружен и никого не оскорблял, дама говорит неправду». Хуже всего, что на шум поспешил с другой стороны площади господин Ламет, который узнал Рафаэля и возмущенно закричал:

— Так вот ты где, негодяй! Кто тебе разрешал отлучаться с плантации?

— Тише, тише,— прервал Оже,— остановись, Биассу, тут что-нибудь не так, тут что-нибудь не так.

— Что не так?— с бешенством повторил тот, кого называли Биассу.— Рафаэля поймали, его схватили, и двадцатка черных рабов господина Ламета окружили его на конюшне. Я видел сам, как они сорвали с него камзол, обнажив плечо, заклеямили его каленым железом. Они поставили ему Runaway¹. Молодой Ламет не испугался жареного мяса в Париже, он ударил Рафаэля сапогом и кричал: «Теперь мы всюду узнаем тебя, беглый раб». Они тащили его по улице города ночью; толпа лакеев, приказчиков и конторских счетоводов господина Ламета свистела и ликовала.

Говоривший встретился глазами с Маратом. Выражение глаз Друга народа, стиснутые зубы и поднятые кулаки вдруг обнаружили в нем пришельца в цветной среде. Говоривший не понимал, чем вызван гнев незнакомого человека, было ли это возмущение насилием над негром Рафаэлем, получившим гражданскую карточку без ведома своего владельца, или, наоборот, этот выкрашенный в коричневую краску француз, у которого белая кожа явно просвечивала под расстегнувшимися обшлагами на поднятых сжатых в кулаки руках, негодовал на негров. Молчание было общим. Потупя головы, все оставались в неподвижности, подавленные чувством гнетущей горечи.

Наконец заговорил Оже:

— Да покарает их бог! Мы не знали, что Черный кодекс висит над нашей головой даже здесь, в городе

¹ Runaway — значит «беглый». (Примеч. автора.)

благородной свободы. Четырнадцать лет тому назад в далеких саваннах, ночью, в палатке моего друга француза, аббата Рейналя, изгнанника здешней страны, я впервые прочел слова, возродившие мое сердце. Он привез бумагу тринадцати Соединенных Штатов. Ее называли «Декларацией независимости», в ней было написано: «Мы считаем самоочевидными истины, что все люди созданы равными, что им даны их создателем некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Вот прошло четырнадцать лет, и мне в мое усталое сердце еще раз постучала птица свободы и счастья. Наша Франция в тысячу раз лучше повторила священные слова тринадцати штатов. Как не гордиться нам, что наше государство громко, на весь мир сказало о правах человека и гражданина! Франция кликнула на весь мир: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах!» Наши друзья, наши французские друзья советовали нам обратиться в Великую ассамблею свободного народа. Мы покинули наши Красные и Белые горы, мы собрали золото с островов, деревень и поселков, нам обещали свободу. Мы впервые ехали по морю на корабле, везшем цветных и черных людей, не будучи при этом плавучим кладбищем черных рабов, как в Манеже назвал их господин Мирабо. Мы забыли, что этот бриг «Санпарейль» только потому и назывался бесподобным, что был первым по количеству перевезенных рабов, что сам французский король был владельцем этой негрской плавучей гробницы. Мы впервые за всю нашу несчастную жизнь смотрели с палубы, как белая пена взлетает до самых парусов, как птицы не успевают садиться на рей, и под нашей африканской кожей сердце впервые пело, как птица. Из Сен-Мало мы спешно ехали в Париж по вашим пустынным дорогам. Мы видели, как по ночам пылают дворцы и деревни, дважды мы слышали, как пушки били в стороне от дороги, дважды отряды вооруженных крестьян с волнением смотрели в наши желтые дамбланши, в наши синие кареты. Мы привезли в Париж два клада, и оба клада положили на трибуну вашей великой Национальной ассамблеи. Вы помните, это была ночь, вокруг нас стояли друзья: господин Бриссо, господин Траси, господин Грегуар, господин Ларошфуко, господин Корнейль, господин Петийон, господин Сийес, господин Лавуазье...

Марат вздрогнул, брови его сдвинулись. Он гневно закричал:

— Господин Лавуазье?.. Директор пороховых заводов! Королевский откупщик, химик-недоучка! Первый богач Парижа, окруживший столицу Франции стеною таможенных бойниц, налоговых бастионов!.. Ни пройти, ни проехать ни взад, ни вперед без того, чтобы не заплатить генеральному фермеру господину Лавуазье... Стены в тридцать три миллиона ливров, собранных у беднейших французов... Граждане, цветные друзья моего народа, зачем вы произносите имя Лавуазье, этого продавца подмоченного табака и отравленного сидра?

Биассу, обращаясь к Оже, сказал:

— Оже, мы все это помним. Если ты обращаешься к этому перекрашенному гражданину, то...

— Ты разгорячен, Биассу, остановись! — возразил Оже.— Это не перекрашенный гражданин, это доктор Марат, Друг народа. Первый белый, первый француз, которого черный цвет кожи нынче спас от мести белых людей.

Биассу низко поклонился, разводя руками. Оже продолжал:

— Гражданин Марат, мы видели вас в ту ночь, вы ходили, прихрамывая, вместе с господином Робеспьером за тесовой оградой трибун, там, где за головами депутатов стояла публика. Мы дважды слышали ваш голос, когда в перерывах вносили новые факелы. Дважды ваша тень покрывала меня, когда, указывая на трибуну английского гостя, господина Юнга, сидевшего с швейцарским гостем, господином Дюмоном, вы крикнули: «Они ошибутся, эти стреляные парламентские волки, они ошибутся, считая голос французского народа младенческим лепетом парижской свободы. Они еще услышат гром!»

— Не помню,—сказал Марат,—кажется, это было собрание, на котором Камюс предложил учредить национальный архив из пергаментной дворянской рвани. Дворяне беспокоились, что погибнут их титры, их бумажные права на труд крестьян. Лучше бы они подумали о том, что скоро погибнут их деревянные головы. Я помню еще, что этот дурак Бальи предложил отменить рукоплескания, так как они зачастую поощряют глупых ораторов, и вся зала Манежа огласилась бешеными аплодисментами

парижского народа. Французы ликовали, видя, как Бальи превращается в красного индюка.

— Нет, это было не то собрание,— сказал Оже, сурово нахмурившись.— Я хочу напомнить доктору Марату только то собрание, когда нам дали слово, когда мы говорили о своих обидах и о своих ожиданиях, когда мы на алтарь Франции принесли наши два клада, когда с трибуны я говорил, что первый клад—это наша горячая вера в свободу французского народа, наша жажда отдать ей все наши братские силы, а второй клад—это вырытые из земли и скопленные трудом и горем шесть миллионов золотых ливров, тайно привезенные нами в подарок Франции. Вы помните, доктор Марат, как президент Бальи ответил на то и на другое: *«Ни одна часть нации, пришедшей сюда взывать о своих правах, не будет взывать о них тщетно»*. Господин Бальи при этом прочел грамоту, подписанную господином королевским банкиром, о том, что «золото, привезенное черными и цветными людьми с острова Гаити из колонии святого Доминика, хотя и старой испанской чеканки, но золото хорошего качества и полного веса на шесть миллионов ливров». Тут тоже были аплодисменты, гражданин Марат! Наши старики, знавшие тайны подземных сокровищ, вырыли их как выкуп за тех, кого свободная Франция должна освободить из рабства. Верните нам проданных братьев, жен, разлученных с мужьями, детей, оторванных от матерей. Вот о чем мы просили, вот о чем мы просим. Разве можно отвечать на это клеймом беглого раба здесь, в Париже! Неужели мало господину Ламету рабов и денег? У него за океаном девяносто три сахарных завода и шестнадцать кофейных плантаций. Зачем его брату клеймить нашего Рафаэля? Разве недостаточен привезенный нами выкуп? Разве брат его не член Национальной ассамблеи? Разве на улицах Парижа мы также должны опасаться собак, вскормленных негрским мясом, как наши черные братья в саваннах? И не странно ли, гражданин Марат,—если только не ошибся Биассу,—не странно ли, гражданин Марат, что в Париже клеймят английским клеймом, а не знаком французской лилии, как делали до сих пор вы, благородные французы? Или господин Ламет, почитая английские законы, пренебрегает уже старым гербом королевской Франции? Что нам делать теперь, гражданин Марат? Кого просить, гражданин Марат? Куда нам деваться, гражданин Марат?

— Вот что! — качая головой, шептал Марат. — Вот как!

В смятении он встал и заходил по комнате.

— Вот как можно жить в Париже и ничего не знать! Я ничего, ничего об этом не знал. Я скрываюсь от преследований. Я издаю газету во имя революции. Нынче ночью от белого агента магистратов меня спасает черная кожа раба, нынче ночью свободного негра клеймят французские рабовладельцы. Разве можно говорить, что революция кончилась? Я задыхаюсь! Дайте подумать обо всем этом, друзья!...

Марат остановился, затем вдруг поднял голову, жестко усмехнулся с видом полного разочарования:

— Ничего не могу сказать вам, друзья, мне горько все, что я услышал. Мне горько то, что вы приехали с горячих рек, на берега нашей Сены, покрытой снегом, что легкие вашего товарища, лежащего здесь, простужены и наполнились кровью. Вы сделали тяжелый путь в поисках свободы. Что ответит вам французский народ? В «Обществе друзей черного народа», где заседают господа депутаты с берегов Жиронды, вы не найдете друзей народа. Вот вы называли господина Лавуазье. А знаете ли вы, кто этот Лавуазье? Когда разъяренный Париж пошел штурмом на королевскую Бастилию, кто как не Лефоше, помощник господина Лавуазье, вице-директор Арсенала, отпускал пороховые бочки защитникам королевской тюрьмы? А? Что вы скажете на это?

— Как здоровье Туссена? — спросил Биассу, перебивая Марата.

Оже взглянул на доктора, как бы передавая ему вопрос.

— Ваш больной вне опасности, — глухо сказал Марат. — Он бредит латынью, как испанский иезуит. Кто научил его латыни?

— Некий старый аббат, — ответил Биассу. — Доктор Марат, у вас на лице столько удивления, что я должен поделиться с вами печальным наблюдением. Мы вместе с моим другом Шельшером, в доме которого живем, смотрели во «Французском театре» зрелище под названием *«Черный, каких мало среди белых, или Негр Адонис»*. Французская публика показывает на сцене крашеного человека, все достоинство которого состоит в том, что он отдает жизнь, спасая своего ничтожного и глупого господина. Неужели думаете вы, что все достоинства наших племен

будут всегда состоять в том, что мы добровольно будем кормить собак господина Массиака! Не каждый из нас «Адонис»!

— Где Адонис? — прошептал больной в постели и, приподнявшись на локте, открыл удивленные, большие, сохранявшие еще лихорадочный блеск глаза.

Все встали за исключением Марата. У всех на лицах отразилась живая и самозабвенная радость. Оже и Биассу подошли к больному. Они стояли с выражением такой почтительности, такой огромной радости, что, казалось, совсем забыли о присутствии постороннего человека.

— Бреда, дорогой Бреда, дорогой начальник! Как хорошо, что ты заговорил! Как хорошо, что к тебе вернулась память! Адонис придет, Адонис пошел за врачом.

— Мне хочется пить, — сказал больной.

Выпив глоток воды, он спросил только одно:

— Когда декрет?

— Можно ли завтра, начальник? — отвечал Оже. — Можно ли докладывать тебе завтра, когда ты снова будешь в твоей комнате? Там все книги, там все твои письма, там ты прочтешь и о том, как нам хотят помочь «Друзья» и как собрания в отеле Массиака с двенадцатью капитанами хотят помешать нам в Париже.

Больной сказал:

— Мне нельзя болеть, я должен быть здоровым, и я обойдусь без врачей так же, как, будучи мальчишкой, обходился без колдунов. — Он выпрямился, худой, маленького роста, стройный, необычайно быстрый, и остановил глаза, услышав смех Марата.

— Вы правы, мой черный друг, вы правы. Лошадей лечить лучше, чем людей. Неблагодарность мерина удивляет меньше, чем скотство в человеке.

— Кто это? — спросил больной и закашлялся.

— Я доктор Марат, меня прозвали Другом народа. Я пришел сюда по просьбе вашего брата, который бегал по улицам Парижа, разыскивая врача. Я пришел, я помог вам, вам теперь легче, я могу уходить. Но только дайте мне воды, какую-нибудь тряпку. Как видите, мне плохо и в черной и в белой коже.

Больной слушал внимательно.

— Я заслужил ваш гнев, конечно, в меньшей степени, чем доктор Марат заслуживает мое уважение... Должно быть, уже немало дней, как я впервые потерял память, и

очень немного минут прошло с тех пор, как она снова со мною... Получил ли врач положенное ему золото? — спросил больной, быстро поворачиваясь к Оже.

На это ответил сам Марат:

— Таких, как я, не знающих завтрашнего ночлега, честных граждан, преданных революции, в Париже сорок тысяч человек. Нас кормит французский народ, мы ни с кого не берем никакой платы. Жалею, что вы не обратились к доктору Месмеру, магнетическому шарлатану, любимцу королевы. Это животное лечило бы вас животным магнетизмом. Глупость, от которой еще ни разу никто не выздоровел, но очень многие заболели. И тогда вам пришлось бы кинуть золотой подвесок к вашему испанскому золоту. Вот любитель денег! Вот истинный врач!

Раздался стук в комнату. Стук условный. Все переглянулись. Больной посмотрел в сторону входа и громко, отчетливо, как пароль, произнес:

— Квисквейя.

Вошла женщина, поклонилась больному и с удивлением обвела комнату глазами.

— Кого вы ищете, сестра Шельшер? — спросил Оже.

Но она уже нашла сама. Она узнала Марата по одежде, улыбнулась и сказала:

— Светает. Я была на овощном рынке, а сейчас на углу нашей улицы столкнулась с вашим слугою. Он переоделся нищим и при виде меня сказал только одну непонятную фразу: «Попросите хозяина вынести мне семь су». Я уверена, что он меня не узнал, мы виделись ночью, зато я его узнала, так как тогда он нес фонарь.

— Семь су,—повторил Марат.—Я могу дать семь су этому нищему, если граждане разрешат пригласить его сюда.

Взоры всех обратились в сторону больного. Тот кивнул головой. Через несколько минут Лоран Басс с большой пестрой котомкой дорожного попрошайки был введен в комнату. Лукаво сощурившись, он поклонился, не будучи уверен, следует ли ему узнать в черном человеке неуловимого Друга народа. Короткими условленными фразами Марат успокоил своего телохранителя. Лоран Басс вынул из котомки ворох корректур восьмидесят четвертого номера «Друга народа» и разложил перед Маратом. Тот быстро, привычным взглядом, узнавая им же написанные и трижды прочитанные статьи, сообще-

ния и заметки, перелистал номер несколько раз и корявым почерком дрожащей руки написал, издеваясь над термином королевского цензора, *Imprimatur*¹. Лоран Басс встал, прошептал быстро:

— Вам сегодня лучше не появляться в округе Кордельеров. Через посредство «Монитера» вам собираются предложить добровольную явку на суд Национального собрания.

— Дураки,— сказал Марат,— они думают, что я читаю эту сволочь.

Лоран Басс продолжал:

— Есть известия, что аристократы, успевшие перебежать границы вместе с принцами и родней австриячки, поговаривают о войне, о сожжении Парижа.

— Они еще поговаривают, а мы уже конфисковали их имения три дня тому назад. Пусть бесятся попы, мы уже конфисковали добро монастырских князей второго ноября.

— Сегодня я первый раз видел новые ассигнации вместо звонкой монеты,— сказал Лоран Басс.— Мне это на руку. Легче носить жалованье типографским наборщикам.

— Прошу тебя, Лоран, как друга,— сказал Марат,— доставить эти письма по назначению, но смотри, друг, из почтальона не превратись в висельника. Поживем, хотя многим хотелось бы видеть нас мертвыми. На нас обижаются за то, что мы живы. Что же поделаешь, мы вежливы, но не до такой степени, чтобы перерезать себе шею. Прощай, друг.

Пожимая руку Лорану, Марат шепнул ему:

— Я сделаю отметку белым камнем на углу левой башни Нотр-Дам, как всегда, поставлю цифру. Вернешься из типографии, пройди мимо и перечеркни. Я буду знать, что ты прочел и в назначенный час будешь под старым деревом в Пале-Рояле.

Лоран Басс ушел. Марат подошел к своему пациенту, державшему в руках книгу, и спросил, как он себя чувствует. Негры, бывшие в комнате, один за другим уходили. Больной отложил книгу и сказал:

— Ваша помощь пошла впрок, доктор Марат. Можете ли ответить на один вопрос, а быть может, даже и на два? Марат кивнул.

¹ Печатать дозволяется. (Примеч. автора.)

— Знаете ли вы, что Шельшер, брат этой девушки, которая входила в комнату, был вместе с вами принят в масонскую ложу «Великая Англия» в Лондоне? И еще — знаете ли вы аббата Рейналя, написавшего эту книгу?

Марат взял четвертый том сожженной книги аббата, ставшего атеистом, революционером, открытым врагом христианской религии, бежавшего из Франции в те дни, когда палач, сжегший книгу, должен был сжечь ее автора.

Осыпая, как искрами, взглядами мулата и старого негра, бесшумно, вразвалку вошедшего в комнату, доктор прочел: «Нигде христианство так не отравляло людей ядом, как в богатых колониях Нового Света. Там богачи религией прикрывают свои пороки, а людей, имеющих одну только разницу в цвете кожи, наставляют в добродетели, которая вся состоит в покорности раба господину. Скоро настанет век великих республик. Белые и черные рабы соединятся, освобождая мир».

— Не люблю беглых попов,— сказал Марат,— даже когда они пишут «Философическую и политическую историю об учреждениях и торговле европейцев в обеих Индиях». Знаю вот эти картинки.— Марат постучал ногтем по гравюре, изображающей, как колонист продает молодую женщину на невольничий корабль.— Мне тоже не по душе торговля рабами, но еще больше не по душе мне материалисты и атеисты. На первый ваш вопрос отвечать не желаю, я хочу спать.

Марат шатающейся походкой подошел к циновке и, не глядя на своего пациента, смотревшего внимательно спокойными глазами, заснул на циновке.

ПИСЬМО САВИНЬЕНЫ ДЕ ФРОМОН
К ФРАНСУА ШОДЕРЛО ДЕ ЛАКЛО

«2 января 1790

Мой дорогой Просветитель и благочестивый Наставник. Вы можете не упрекать вашу усердную ученицу, во-первых, потому, что ее вынужденное молчание не было длительным, а во-вторых, я сразу заболела после простуды, схваченной мною в ту самую ночь, когда в городе выпал небывалый снег и мы с Мадленой и Кавалером должны были идти пешком от самого моста Ошанж до Турнельского моста, так как свалились два колеса от кареты. Какое счастье, что мы еще не разби-

лись! Мадлена локтем проломил толстое окно из витимской слюды. Я выпала через дверцу и запуталась в юбках Мадлены. Наш кучер пошел искать помощи и пропал; мы остались одни, не зная, что делать, и с ужасом смотрели на уцелевший догорающий фонарь кареты. Я даже подумывала о том, что, пожалуй, решилась бы проехать в экипаже этих ужасных фиакров, но их нигде не было. Вот тут и произошел случай, о котором я хочу вам рассказать. Из переулка вышел молодой человек, смелая и благородная походка которого внушила нам полное доверие. Если б вы знали, святой отец, как он оправдал это доверие! Конечно, к нему обратилась не я, а Мадлена. Он ответил ей, что ищет потерянного врача, мне показалось, что он лжет, но, чтобы заручиться провожатым, я ему обещала послать врача, будто бы живущего в нашем отеле. И вот тут слушайте: он оказался красавцем, кавалером какого-то испанского ордена, но, увы, он был чернокожим. Он был африканцем... Какое мне дело! — он был красив! К нему вполне подходило его имя Адонис. Я вспомнила ваши уроки; уверяю вас! тысячекратно уверяю, что я превзошла своего учителя. Страницы ваших «Опасных связей» скользят по берегу, а я искупалась в самом потоке. В отеле я шепнула Мадлене, чтобы она подготовила моего Адониса, дала ему горячего вина и несколько капель из подаренного вами флакона. Ничего, подумала я, ничего. Будет маленькая ошибка в мифологии: сделаем так, чтобы Адонис вместо Эскулапа нашел Венеру. Мадлена осветила всю комнату, обмахнула пером серебряные зеркала по стенам и поставила около алькова большой фарфоровый таз, ваш любимый, розовый, прозрачный, так хорошо освещающий комнату, когда в нем остаются всего две глиняные лампы. Уверяю вас, что в ту минуту, когда Мадлена меня расшнуровывала, я дрожала не из страха, а только от любопытства к черной коже. Может ли ваша приятельница, эта испаночка Кабарюс (говорят, она «завладела» сердцем г-на Тальена, но разве это сердчишко — неприступная крепость? Правда ли, что ей наскучила связь с вами и она побывала в руках собственного брата?)... Я была хороша — Адонис неутомим. Но под утро неожиданно вернулся из Версаля граф Анри, и мне пришлось быстро спрятать моего черного любовника в комнате Мадлены и сделать так, чтобы не пахло горьким маслом. Я не впустила Анри, сославшись на головную боль и простуду, однако мне не удалось заснуть.

Я была разбужена бешеным лаем борзых на каменном дворике перед моими окнами. На стук Анри я открыла дверь. Он подбежал к окну, весело смеясь, он быстро распахнул гардины, открыл жалюзи, и при свете факелов я увидела, как собаки рвали на части тело моего Адониса. Он отбивался бешено до тех пор, пока борзая сука, прозванная Бритвой, не впилась ему в горло. Анри любовался этим зрелищем и говорил: «Вот видишь, как они дрессированы, этому черному вору не удалось похитить невинности даже нашей Мадлены, несмотря на то, что ее целомудрие побывало в двадцати ломбардах». Эти слова заставили меня рассмеяться. Моя «головная боль» прошла; я бросилась на шею Анри, и, как говорят поэты, декабрьская Аврора, пробравшись к нам в альков, застала нас еще не спящими. Можете ли вы меня хоть в чем-нибудь после этого упрекнуть? Я была безупречна, я могу стать наставницей своего наставника. Я, вероятно, ошибаюсь, думая, что заболела от простуды, просто у меня кружилась голова оттого, что вечером приходил г-н Бриссо с г-ном Верньо, с ними кто-то из магистрата и небезызвестный ваш соперник Ретиф де ла Бретонн, автор «Развращенного крестьянина». Я слышала их разговор с мужем. Оказывается, старшая дочь Ретифа, восемнадцатилетняя кокетка, влюбилась в некоего Оже, богатого мулата. Этот Оже приехал из Антилий по каким-то политическим делам (какие могут быть политические дела у негров? Объясните мне, пожалуйста, почему их всех не посадят в Бисетр, или Ла Форс, или в Сен-Пелажи? Мало ли тюрем для рабов?). Оже взволновал Ретифа рассказами о том, что негры исчезают в Париже. Ретиф взволновал Верньо, Верньо взволновал Бриссо, а этот черный дрозд с берегов Жиронды не нашел ничего лучшего, как прийти к моему мужу и просить его помощи, так как Анри имеет в подчинении всех начальников парижских кордегардий. Пока они говорили, я волновалась... Но Анри! Ах, я его почти полюбила, хотя он и мой муж! Он оказался на высоте; он был истым дворянином. Он не сказал ни одного слова невпопад. И когда они ушли, меня беспокоило только одно: почему они говорили о нескольких пропавших? Неужели создатель мира так щедр, что сотворил многих черных красавцев, и неужели я так несчастна, что какая-нибудь негодяйка обогнала меня в опыте с неграми? Уж не ваша ли Кабарюс? Нет! Тысячу раз нет! Но все-таки. Когда увидите ее снова у герцога

Орлеанского, спросите, не перебила ли у меня мой запретный плод эта новая Ева из старого Ада.

Прощайте, дорогой Франсуа. Поручаю себя вашим молитвам. Правда ли, говорят, что граф Мирабо написал в тюрьме книжку «Эротика»? Если она украшена гравюрами Моро Младшего, то пришлите ее мне с первым выстрелом пушек вашей батареи, если сами не приедете скоро в Париж. Я хочу позабавиться. Говорят, жизнь становится опасной. У моей кузины конфисковано имение! В ее замке крестьяне сожгли все титры! Забудемся! Предадимся забавам! Дорогой Франсуа, милый артиллерист, доказавший меткость своей стрельбы. Видите, как вы меня просветили. Оставляю это на вашей совести (я хочу сказать, если вы остановились на полдороге). Прощайте!

С. де Ф.»

Глава вторая ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ

Надо опасаться отчаяния людей, которым более нечего терять, ибо все у них отнято. Они могут захотеть овладеть всем миром.

De Pradt

Отец Кулон полагал, что в этот день поздно открыл свой киоск. Было холодно. Январское солнце скупо светило над Парижем.

Отец Кулон вынул засовы, снял заслонку из досок. Огромный карабасс, запряженный четверкой лошадей, прогремел по дороге, отец Кулон почтительно снял меховую шапку. Молодой генерал Лафайет, комендант Национальной гвардии, с восемью офицерами в карабассе, сделал приятную улыбку старому владельцу киоска, десятки лет подряд выставляющему по утрам деревянную вывеску «Публичный писец» над карнизом своего киоска. В этот день ревматические боли едва не удержали отца Кулона в постели. Однако он вышел, несмотря на боль в суставах. Отец Кулон осмотрелся, расставил чернильницы, пересмотрел запас очиненных перьев и ситки с золотистым песком для просушки чернил.

— Плохие времена,—ворчал отец Кулон,—все мень-

ше становится работы, приходится в ожидании заказчиков заниматься чтением вместо письма.

Отец Кулон с неудовольствием заметил, что ветви кустарника, выросшего на деревянной крыше киоска, свисают на карниз. Капли недавнего дождя падают на прилавок. Он вытер дождевые пятна и, высунувшись по пояс из киоска, с неудовольствием осмотрел улицу.

Господин Феликс Бертэн, занимавший два окна дома номер восемьдесят восемь, не открыл своей булочной; ленточное заведение госпожи Лаваль, этажом выше, казалось спящим, так как окна были занавешены; щеточное заведение господина Грокалью не обнаруживало признаков жизни. Старая Маргота, выходявшая по утрам с переносной печью, столами, скамейками, двумя большими псами и располагавшаяся на углу под огромным зонтом, спасавшим ее с горячими пирожками и ласковыми собаками от солнца и от дождей, в этот день тоже отсутствовала.

— Плохие времена,—повторил старик, чувствуя, как боль грызет его суставы.—Погода меняется, и холоднее становится в мире. Двадцать лет Маргота приходит изо дня в день на этот угол. Тревожно на сердце. С тех пор как короля провезли из Версаля мимо этой палатки, не повторялось отсутствие Марготоны и закрытие заведений моих соседей. Неужели опять что-нибудь случится?

Чтоб отделаться от неприятных мыслей, отец Кулон достал с полки первую попавшуюся книжку. Это был томик басен Флориана. Отец Кулон давал книги из своей палатки соседям, любившим от нечего делать почитать. Сейчас он сам расположился на табурете, открыл книгу. Из маленького томика выпал рисунок; какой-то читатель заложил им басню, подчеркнув верхнюю строку

Секрет мой состоит в уменье выбирать
Собак позлее...

Рисунок изображал короля и двух министров на своре. Отец Кулон с досадой закрыл книгу, спрашивая себя, кто последний брал у него Флориана. Эти размышления были прерваны словами незаметно подошедшего человека:

— Господин писец, не можете ли написать письмо под мою диктовку?

Отец Кулон вздрогнул. Заказчик, говоривший с сильным иностранным акцентом, улыбался ласково и приятно.

— Извольте, сударь, да будет ваш приход началом хорошего дня. Хотя позднее утро, но до вас не было еще ни одного заказчика.

— Вот как,—сказал посетитель,—а мои часы показывают шесть часов утра. Разве вы не видите по солнцу, что это так?

Отец Кулон с облегчением вздохнул.

— Боже мой, ведь в самом деле раннее утро. Мои часы остановились на десяти часах вчера вечером, только и всего, а я-то, чужак, испугался, что остановилась жизнь Парижа...

— Сударь, вы разговорчивы, а мне некогда,—прервал незнакомец.

Отец Кулон не привык к такому обращению. Пожевывая старыми морщинистыми губами, он придвинул поближе стопу синей бумаги, открыл железную банку чернил и прогнусавил:

— К услугам господина.

— Пишите,—скомандовал заказчик.—«Друг народа посылает в Отель де Вилье парижским магистратам и всем честным гражданам предупреждение о том, что директор пороховых заводов, подкупленный врагами народа, ведет переговоры о продаже пороховых бочек прусскому королю, а для того подготавливает отправку сорока тысяч бочек в склады, построенные в районе Вальми и Тионвиля. Академик Лавуазье, директор пороховых заводов...»

Неосторожным поворотом локтя отец Кулон опрокинул чернильницу, и вся страница оказалась испорчена.

— Сейчас, гражданин, сейчас, простите, пожалуйста. Вот возьму новый лист, а чтоб вам не беспокоиться диктовать, давайте я перепишу с вашего листка.

Отец Кулон с неожиданной быстротой отогнул край синеватого документа, бывшего в руках заказчика, но тот быстро рванул рукой, прежде чем старый, выдавший виды и знавший немало уличных секретов отец Кулон успел прочесть первую строку. Он увидел только первые два слова, вернее — слово и несколько букв: «Лорд В...»

Хитрый писец виновато опустил глаза и стал тщательно вытирать стол, сплошь залитый чернилами. Занятие это отняло столько времени, что подошли еще двое других заказчиков, а немного погодя старая Маргота появилась с тележкой, которую везли две собаки, и с племянницей, несшей корзинки. Еще прошла минута, и

старуха уже громко здоровалась с отцом Кулоном, в то время как племянница раскрывала зонтик и расставляла все приспособления пирожного заведения бабушки Марготы. Из-за угла показался сержант ближайшего дозора со шпагой, змеевидной лентой через плечо, в белом парике, в рваной синей треуголке над седыми бровями и с большим красным носом. Несмотря на утренний час, сержант был навеселе. Он громко поздоровался с пирожницей и подошел к прилавку писца.

— Слушайте, старик,—сказал он,—нет ли холодной воды? Пить хочу, как святой Иоанн в пустыне. Надо попросить, конечно, Марготу, но чертовка обманула меня, не выходит за меня замуж.

— Когда ты замолчишь, старый греховодник!—крикнула пирожница.—Про тебя правду говорят, что ты языком можешь почесать у себя за ухом.

Отец Кулон, не обращая внимания на заказчиков, достал флягу, приносимую им с собой в палатку, и протянул ее сержанту.

— Должно быть, вы так заняты, что нам будет некогда переговорить,—раздраженно заметил заказчик-иностранец, засовывая свой документ за обшлаг и с недовольными жестами отходя от палатки.—Я подожду, когда освободитесь.

— К услугам граждан,—сказал отец Кулон.

Сержант, пошатываясь, отошел от палатки писца и, перейдя улицу, низко поклонился пирожнице.

— Марготона! Ты молодец, ты самая умная женщина округа. Я выпил, теперь надо поесть, дай пирожка!

Отец Кулон не сводил глаз с темно-голубого клочка бумаги, сложенного вчетверо и упавшего в пятнадцати—двадцати шагах от палатки. Не говоря ни слова, он бросил перо и, прихрамывая, выбежал из киоска. Он быстро спрятал документ, оброненный иностранным заказчиком, и, вернувшись к прилавку, стал писать под диктовку письма в деревню с перечнем десятков поклонов и приветствий от сына к деревенским родителям.

День прошел: миновали январские сумерки. Зеленоватое небо темнело над Парижем. Края высоких облаков светились едва заметной, тонкой серебряной каймой. Отец Кулон запер свою палатку. Погасив лампу, он задвигал засовом ставни и собирался уходить. День был

ему очень длинен, так как писец пришел раньше обычного времени, а набор национальных гвардейцев, объявленный утром, вызвал прилив горделивых чувств у парижской молодежи. Диктовали письма отцам, матерям, любовницам и невестам.

В темной палатке, заканчивая свою работу, отец Кулон слышал, как затихла улица, как вдалеке девушки, расставаясь друг с другом, перекликались через садовую изгородь:

— Покойной ночи, Анна!

— Добрый путь, Сюзетта!

Прошла еще минута. Уже совсем в отдалении снова слышалась перекличка девушек:

— Будь счастлива, Сюзанна!

— Приятных снов, Аннета!..

И вдруг раздался выстрел. Щепки посыпались с крыши, ободранные свинцом. Отец Кулон вздрогнул, выбежал из палатки, и в ту же минуту второй выстрел уложил его на месте.

Два человека, перебегая через опустевшую улицу, быстро обшарили его карманы. Один, вынимая измятый кусок синей бумаги, с бешенством прошипел другому по-английски:

— Вот вам! Чтоб это было в последний раз! Как глупо обращаться к уличному писцу! Хорошо, что эти проклятые французы разбегаются от выстрелов. Крик зарезанного созвал бы всю улицу, а выстрел очищает целый квартал.

Затем оба быстрыми шагами скрылись. Еле дыша, в полном молчании дошли они до «Книжной лавки господина Авриля». Там легкая вискетка с громадными задними колесами приняла их в свою корзинку. И, качаясь на английских рессорах модного экипажа, кучер погнал лошадей с молчаливыми пассажирами. Вискетка летела в Сен-Жерменское предместье.

Английский ученый-экономист, путешественник Артур Юнг с некоторым нетерпением ходил по комнатам, присаживался, вычислял стоимость паровых машин, поставленных герцогом Орлеанским на своей шелковой фабрике, и с удовольствием говорил про себя:

— Он прогорит, он, несомненно, прогорит.

Клерк, выполнявший роль письмоводителя и секретаря при особе знаменитого путешественника, расшифровывал красивым английским почерком стенограмму, про-

диктованную господином Юнгом, и улыбался, открывая рот до ушей при каждом радостном восклицании своего господина.

— Поможет ли нам революция в Париже? Как умно сделали наши лорды, участвуя в промышленной жизни наряду с горожанами. Во Франции хозяйство организует буржуа, в то время как аристократы уничтожают богатства нации. Нет, Франция нам не опасна! Герцог Орлеанский с паровыми машинами—это не конкурент нашим лордам и нашей доброй старой стране.

Вошедший лакей стал в дверях. Юнг с живостью обернулся.

— Сэр, вернулись Бигби и Джонсон.

— Прекрасно!—закричал Юнг.

Молчаливый клерк, не говоря ни слова, встал со стенограммами и ушел из кабинета, не дожидаясь приглашения удалиться.

— Прекрасно, сэр! Все удачно, сэр!—начали наперебой говорить молодые франты.—Бигби даже не виноват. Он передел жилет и, позабыв об этом, думал, что потерял письмо.

Протягивая мятую синюю бумагу Юнгу, Джонсон, спрятав левую руку за спину, легким толчком предложил молчать своему товарищу.

Юнг не сказал ни слова. Молодые люди ушли. Срезав фитиль в лампе и вытянув его щипчиками, Юнг разгладил измятый листок и снова перечитал давно известную инструкцию, словно желая удостовериться, что ее не подменили. В ней было написано:

«Лорд Вэллоугби встревожен отсутствием регулярных сообщений, причем ему известны все обстоятельства, могущие затруднять движение по французским дорогам. Ему известно также, что не эти обстоятельства являются причиной отсутствия сообщений. Его светлость встревожен вашим известием о том, что выработка пороха на французских заводах достигла в этом году трех миллионов восьмисот тысяч фунтов. Проверьте, дорогой сэр: ведь это удвоение всего в какие-нибудь четыре года. Ваше сообщение об аресте директора пороховых заводов г-на Лавуазье по подозрению в снабжении Бастилии нас вполне удовлетворило. Опыты этого химика судьба может остановить, очевидно, только в случае констатирования его связей ну хотя бы с герцогом Брауншвейгским или с прусским королем. Бросьте взгляд в этом направле-

нии. Старший секретарь его светлости получил сообщение о том, что Франция готовит провиантские склады на севере. Мы имеем также сведения о том, что господин Лавуазье как генеральный фермер не пользуется любовью и доверием парижских горожан, охваченных сейчас безумием подозрительности и разъяренных кровожадностью преступников. Его светлость также интересуют сообщения ваши о том, что Франция намерена выпускать новые бумажные деньги.

Не медлите с присылкой чистых, неизмятых образцов с указанием фамилий гравировщиков монетного двора...»

Юнг не стал читать дальше. На полях были отметки, сделанные рукой его помощника: имена укрепленных пунктов и военных приготовлений на востоке Франции.

Академик Лавуазье жил на пороховом заводе. Его окна выходили на двор Арсенала. В верхнем этаже была жилая половина квартиры великого химика. Холодная большая белая зала с белыми занавесками, креслами, банкетками и диванами, обитыми белым штофом и муаром. Часть мебели покрыта опрятными белыми чехлами. На стенах картины, также завешанные белыми чехлами. С первых дней революции хозяйка госпожа Лавуазье, дочь знаменитого откупщика по фамилии Польз, сочла целесообразным надеть белые чехлы на эти портреты. Господин Лавуазье во всем повиновался супруге, «отличавшейся твердым характером, деловитостью и приданым в восемьдесят тысяч ливров». На белых круглых и овальных столах большой пустынной залы в чинном порядке стояли канделябры с белыми спермацевотовыми свечами. Единственная роскошь, допущенная скупой хозяйкой,—это свечи. На них она не скупилась, и после каждого вечера в шандалы и канделябры вставлялись новые свечи, а старые отдавались прислуге. Комната самой госпожи Лавуазье отличалась еще большей суровостью. При входе на женскую половину трудно было догадаться, является ли эта строгая комната, отделенная от спальни громадной занавеской, свисающей с потолка, комнатой женщины, или кабинетом ученого. Множество книг в белых кожаных переплетах, английский словарь, раскрытый на письменном столе, хрустальная чернильница и громадные гусиные перья, песочницы с белоснежным сухим и тончайшим песком, книжка химика Кирвана—

перевод самой госпожи Лавуазье, напечатанный в Париже,—круглое зеркало в серебряной раме, потускневшее от времени, и среди всех этих белых вещей единственным черным пятном была сама госпожа Польз-Лавуазье. Высокая, худая, с блестящими острыми черными глазами, в широком черном английском платье из тончайшей фландрской ткани, секрет изготовления которой тщетно старались купить английские фабриканты, не умевшие готовить этого чудного сукна из той самой конуэльской шерсти, которую скупали фландрские ткачи и прядильщики.

Нижний этаж наполовину принадлежал заводу, а в шестнадцати комнатах располагалась лаборатория господина Лавуазье. Это была странная кухня. Маленькие жаровни, огромные горны с мехами, таганы и сковороды, круто поднимающиеся дымоходы, плавильные печи, большие полутемные залы сменялись светлой комнатой, в которой лучи солнечного света дробились поверхностями фарфора, хрусталя и стекла. На фарфоровых, деревянных, стеклянных и серебряных столах с деревянными штативами причудливо располагались держатели, пробирки, конические колбы, аллонжи, реторты, баллоны, агатовые ступки, фарфоровые тигли с королевского завода в Севре, кристаллизаторы, заказанные по рисункам Лавуазье венецианскому стеклянному заводу на острове Мурано, градуированные пипетки, мензурки, бюретки, кюветы—весь этот фантастический стеклянный мир, по воле ученого наступающий на скупую природу, ломающий ее скрытность, горел и искрился на солнце парижского вечера, переливаясь цветными огнями, радужной игрой солнечного луча, такого простого и белого, с радостью распадающегося на тысячу цветных переливов в лаборатории Антуана Лавуазье словно для того, чтобы наверху, там, где царствует мадам Польз, снова превратиться в строгий, белый и бесцветный, даже как будто ставший скупым, солнечный свет. За пределами этой стеклянной лаборатории шли лаборатории Лапласа, Монье, Сегена, Маккера, добровольных ассистентов и товарищей по работе академика Лавуазье. Там были комнаты с цветными стеклами, а за ними три большие кабинета, из которых последний был совершенно лишен доступа солнечного света. В нем Антуан Лавуазье провел в абсолютной темноте, никуда не выходя, сто один день, для того чтобы сделать свои, как он говорил, «дневные» челове-

ские глаза способными воспринимать едва заметные, тончайшие напряжения простого светового луча. Это добровольное заключение в темницу, когда простое питание ученого также происходило в темноте, принесло ожидаемые результаты,—зрение академика стало чрезвычайно чутким, но он сильно подорвал свое здоровье. В первые дни, превратив свои глаза в тончайший инструмент оптического контроля, он при резких поворотах света испытывал мгновенные состояния, близкие к потере сознания. Усилием воли он заставлял себя вернуться к действительности из того полусонного состояния, в которое бросала его чрезвычайная раздражительность зрительных нервов.

В этот день приступ повторился, и, несмотря ни на какие усилия воли, ученому не удалось закончить опыта. Приложив ладони к вискам, он откинулся на спинку жесткого деревянного стула. В этот момент в лабораторию вошел старик в ливрее с дворянскими гербами. Мадам Лавуазье любила знаки покупного дворянства. Сам ученый относился к этому подарку тестя более чем равнодушно. Четыре тысячи дворянских титулов с соответствующими должностями так называемого «дворянства мантии» были королевским товаром и продавались за очень высокую цену разбогатевшим представителям третьего сословия. Отец госпожи Лавуазье сделал свадебный подарок своему зятю.

Лавуазье в ту минуту, когда старик появился в лаборатории, даже не заметил его новой ливреи, поймав себя на чувстве радости по поводу возможности прекратить неудавшийся опыт и уйти. Мадам Польз-Лавуазье приглашала мужа обедать.

— Мадам недовольна,—сказал старик,—прислуга Лефоше опять повесила белье через весь двор Арсенала. Мадам приказала снять. Во дворе был крик.

Лавуазье не слушал. В зале его встретил в дверях маленький человек в светло-синем костюме, черных чулках и черных туфлях. Маленький, белый, чрезвычайно прихотливый парик с какими-то вольными волнистыми прядями на висках обрамлял спокойное и ясное лицо с голубыми глазами, производившими впечатление большой наблюдательности, но это выражение глаз было лишь признаком полной близорукости. Грустное выражение не сбежало с этого лица даже тогда, когда оно улыбнулось в ответ на приветствие Лавуазье.

— Как я рад, господин Сильвестр де Саси, что снова вижу вас. Когда приезжали англичане, мне хотелось показать вам их; я с удивлением узнал, что вы уехали неизвестно куда.

— Я живу *extra muros*¹. Слишком много волнений в стенах Парижа. Мысль работает плохо, когда тебе ежедневно напоминают, что ты ничтожная единица в скопище граждан. Я не лучше и не хуже других людей, но я смотрю на себя как на инструмент науки, а науку нужно беречь. Мне и моей семье хуже живется в деревне, но там тихо.

— По-прежнему шестнадцать часов напряженной работы над арабами, персами, друзьями, над рукописями и книгами Востока?

— Да, по-прежнему,—ответил Саси.—Я поселил у себя еврея, он научил меня своему старому языку; его огромные знания дали мне возможность разобрать самарийские тексты, я теперь знаю их не хуже Кенникота и Росси. Мы разобрали гениальные рукописи Юлия Цезаря Скалигера, и должен сказать, что за три века, прошедших со дня его смерти, не так уж много двинулась наука вперед. Этот чужак, этот гений и двоеженец, всю жизнь просидевший в маленькой голландской комнате, закутанный в меховую одежду, окруженный помощью и заботами двух своих странных подруг, умел видеть далеко впереди себя. Я мало что могу прибавить к его выводам относительно языков Леванта.

Госпожа Лавуазье, пользуясь минутной остановкой разговора, спросила, разводит ли господин Сильвестр де Саси по-прежнему тюльпаны и как поживают его птицы. Переходя из зала в столовую по приглашению хозяйки, Саси говорил:

— Благодарю вас, сударыня, вместо тюльпанов я развожу огород, так как жить довольно трудно: крестьяне предпочитают везти овощи на парижские рынки; что касается птиц, то мой самый большой говорун, скворец, не выдержал переезда. Моя младшая сестра схоронила его в саду под деревом, но мне удалось выучить двум-трем фразам моего чижа.

Лавуазье поднял брови с выражением удивления. Саси также улыбнулся. Мадам Лавуазье снисходительно

¹ За стенами. (Примеч. автора.)

молчала, находя, что заниматься птицами серьезному ученому совершенно невозможно.

— Да, да,—сказал Саси,—язык — такой тонкий механизм и такое сложное превращение мысли в звук, что изучать его нужно всячески, а самое строение речи, воспроизводимое животными, открывает неожиданные тайны в природе звука.

Слуга доложил о приходе господина Бриссо. Лавуазье сделал несколько шагов навстречу, Бриссо поздоровался как-то растерянно и, занимая место за столом, заговорил сразу:

— Дурная встреча, дурная встреча,—сейчас встретил этого юриста Максимилиана Робеспьера.

— Почему это дурная встреча? — спросил Лавуазье.

— Вы не знаете этого человека,—ответил Бриссо.— Не нынче завтра это будет самый опасный фанатик политики.

— Не думаю,—сказал Лавуазье,—прямо не думаю. Когда он кончал коллеж, король был у них на торжествах. Робеспьер читал ему латинские стихи, сочиненные специально для этого случая. Стихи плохие, но короля он любит.

— Робеспьер никого не любит, господин Лавуазье,—ответил Бриссо.—Робеспьер любит кричать о своей бедности. Он нарочно переселился к Морису Дюпле, только для того чтобы друзья говорили о том, как бедный подмастерье приютил революционного депутата третьего сословия. Но ведь этот Дюпле ютится в бедной квартирке, чтобы скрыть свой огромный барыш. У Дюпле два дома в Париже, Дюпле — королевский мебельщик, Дюпле с Робеспьером — выгодный союз.

— Однако вы взволнованы! Что же вам сказал Робеспьер?

Бриссо улыбнулся.

— А ведь действительно, может быть, ничего. Может, действительно я напрасно себя волную. Я вышел от мадам Леклапэр в тот момент, когда полиция пришла произвести обыск в ее книжной лавке. Я только что купил новую английскую карту Антилий, узнав о ламетовских плантациях на Гаити. Я шел по улице, и перед самым Арсеналом был окликнут господином Робеспьером. Он насмешливо посмотрел на меня и сказал: «Бриссо, ты падаешь в яму и проломишь себе череп, так как, роясь глазами в карте великой вселенной, ты загораживаешь

себе дорогу по нашему маленькому революционному Парижу».

У Лавуазье задержались веки, он силился понять эту фразу, в которой был колоссальный, зловещий смысл и жуткая едкость. В это время лакей осторожно обносил с левой стороны блюдо и предложил своему хозяину крыло куропатки.

— Я, кажется, говорю неуместные вещи. Я перебил ваш разговор, господа,— вспыхнув, заметил Бриссо.

— Маркиз Ларошфуко! — громко произнес лакей.

— Какой разговор? — сказал, входя, тот, кого называли маркизом, и, скользя по вощенному полу, новый посетитель плавно подошел к руке госпожи Лавуазье.

Поднося пясть почти около браслета к тонким губам Ларошфуко, мадам Лавуазье ответила:

— Наш славный ориенталист, брат графа де Саси, рассказывал, как он обучал чижа произносить итальянские фразы.

Ларошфуко поклонился в сторону Саси, занял предложенное хозяйкой место и сказал:

— Мадам должна извинить меня. Нынче ночью моим лошадям подрезали сухожилья. Тетка со мной в ссоре. Я не мог ехать в ее карете. Я поэтому опоздал, сударыня. Что касается обучения птиц, то самое лучшее обучить попугая говорить: «Да здравствует король!» Попугая немедленно сделают нотаблем!

— Может, его лучше выучить словам присяги Учредительному собранию? — спросил Лавуазье.

Бриссо нахмурился.

— Я отказался от присяги,— сказал Саси,— и не чувствую себя вправе обучать политике кого бы то ни было, даже птиц.

— Я присягнул Конституции,— сказал Лавуазье,— я считаю революцию великим делом.

— Я тоже,— сказал Саси.— Но у нас с ней разные дороги. Я не интересуюсь делами Манежа и манежными делами, как говорят парижане, называя сплетни.

Бриссо вспыхнул: словечко это стало нарицательным; парижане-аристократы «манежами» называли систему политических интриг и грязных происков, ходивших вокруг Конституанты.

— Ведь вы прошли на выборах от второго сословия? — спросил Бриссо, обращаясь к Лавуазье.

Лавуазье подумал и ответил не сразу:

— Да. Но я люблю свободу и стремлюсь принести пользу революции.

— Я люблю свободу науки,— задумчиво говорил Саси,— но, как сказал Овидий в «Посланиях с Понта»:

Carmina secessum scribentis et otia quaerunt:
Me mare, me venti, me fera jactat hiems.
Carminibus metus omnis abest: ego perditus ensem
Haesurum jugulo jam puto jamque meo.
Haes quoque, quod facio, judex mirabitur aequus.
Scriptaque cum venia qualiacumque leget.
Da mihi Maeoniden, et tot circumspice casus.
Ingenium tantis excidet omne malis¹.

Все замолчали.

Хозяйка пристально смотрела в окно. Из экипажа, въехавшего во двор Арсенала, вышел человек в зеленой шубе с желтым мехом и темно-зеленой треуголке. То был Оже. Едва он скрылся в подъезде и тронулась карета, как во двор въехала красивая легкая вискетка, из которой почти на ходу буквально выпрыгнул и пошел юношеской походкой знакомый, почтенный гость Парижа: господин Юнг.

В столовую он вошел вместе с Оже, предупреждая возглас лакея: «Сэр Артур Юнг с господином Винсентом Оже».

Мулат был одет с чрезвычайной тщательностью. Англичанин — в серебристо-сером костюме, изысканно, просто, важно. Бриссо и Оже поздоровались, как старые друзья. Юнг занял место рядом с Лавуазье. Разговор раздробился. Саси, перегнувшись через стол, воспользовался молчанием английского гостя и сказал тихо:

— Мне нужны ваши советы и ваши познания.

Лавуазье кивнул головой и сказал:

— За английским чаем будет легче говорить о делах.

При словах «английский чай» Юнг тонко и высокомерно улыбнулся, словно отвечая своей старой мысли о том, что «английские моды в Париже мешны так же, как всякое провинциальное подражание столице».

¹ Творческий дух требует уединенной тишины и свободного времени для писателей, а я жертва моря, ветров и суровой зимы. Поэзии чужд всякий страх, но я, «потерянный», каждое мгновение жду меча, пронзающего мне горло. Окружи Гомера безумием всех этих случайностей, и среди бед угаснет его воображение. (Перев. автора.)

Закончив лабораторные работы, постепенно занимали места за столом ученики, ассистенты и друзья Лавуазье.

Скинув протравленные химикалиями камзолы и переодевшись в свои обычные одежды, один за другим входили: Гассенфрад, Гитон де Мерво, Фуркруа, друг и школьный товарищ Робеспьера, Сеген, лучший ученик Лавуазье. Революция сказывалась в том, что, вопреки строгости мадам Лавуазье, стало возможным опаздывать к обеду и нарушать чинный, строгий этикет, заведенный ею в доме.

Слышался голос Бриссо:

— Революция есть свобода для всех. Декларация возглашает всеобщее равенство. Долой «Дворянство кожи».

Ларошфуко доказывал правильность своих опытов над серой. Фуркруа доказывал, что аристократ не может быть химиком. Юнг улыбался и, плохо говоря по-французски, ограничивался незначительным участием в разговоре. Сильвестр де Саси объяснял выражение *«гемт эль мельхаа»*, приведенное Винсентом Оже и непонятное французам. Он рассказывал с красивой, увлекательной обстоятельностью ученого об африканском племени «бенилайль», в котором англичане, французы и турки наперебой покупают молодых девушек за плитки каменной соли, привозимой с Атласа. *«Гемт эль мельхаа»* — название живого товара, буквально значит — *«цена куска соли»*.

Бриссо обратился к Оже:

— Быть может, вы здесь, на свободе, объясните мне, что значит постоянное слово, которое у вас звучит как лозунг, как условный знак, как то, чем приглашает или дает разрешение ваш Туссен?

Бледное лицо Оже покрылось синеватыми тенями, он ничего не ответил. Но неумолимый француз продолжал:

— Каждый раз, когда я у вас бывал, я слышал это слово *«квисквейя»*.

Саси, держа кусочек рыбы на серебряной вилке, на секунду задумался и сказал:

— Насколько я помню, это слово эфиопиян. Если перевести его буквально, оно значит: *«Матерь всех земель и стран»*...

Оже грустно и тихо произнес:

— Этим именем мы зовем наш остров. Наши отцы и деды поселились на нем невольно. Эта страна была нам мачехой, мы знаем ее историю. Некий Колумб назвал

нашу Гаити, что значит «Страна гор», «Эспаньолой» — Малой Испанией. Она стала Малой Испанией в тысяча четыреста девяносто втором году. Прошло триста лет, сегодня мы зовем родною эту землю, впитавшую нашу кровь, превратившую в прах тела наших предков. Мы жили рабами, становимся свободными, мы хотим стать гражданами Новой земли и назвать ее «Матерью всех земель». С этим мы приехали сюда через океан, но здесь сердца наши наполнились тревогой.

Грубый голос Фуркруа вдруг заставил его замолчать. Друг Робеспьера, он кричал:

— Что из этого, что Симонна Эврар вручила свою жизнь Марату, что она, разделяя его невзгоды, вместе с любовью отдает ему сбережения своего отца для издания «Друга народа»? Неужели из этого можно делать какие-нибудь выводы, порочащие Марата? Смотрите, скоро рассеется клевета, и станет стыдно тем, кто ее сеял. Клеветники пожнут кровавую жатву. Не трогайте «Друга народа»! Не всегда Национальное собрание будет преследовать Марата. Настанет час...

Но тут Артур Юнг, ослабившись волчьим оскалом зубов, вынул из кармана сложенный вчетверо номер «Друга народа», развернул и, с улыбкой подавая Фуркруа газету, сказал:

— Ваш Марат преступный клеветник.

Фуркруа прочел и побледнел. Тем не менее передал номер Лавуазье. Марат писал:

«Вот вам корифей шарлатанов, г-н Лавуазье, сын сутяги, химик-недоучка, ученик женевского спекулянта, откупщик налогов, пороховой комиссар, чиновник учетной кассы, королевский секретарь, академик, величайший интриган нашего времени, молодчик, получающий 40 000 ливров дохода и коего права на признательность — это: 1) Париж в тюрьме без свободной циркуляции воздуха, за стенами, стоившими 33 миллиона французской бедноте, и 2) доставка пороха из Арсенала в Бастилию ночью с 12 на 13 июля.— Интригует, дьявольски пролезая на выборную должность по Парижу. Жаль, что он не на фонаре 6 августа. Избирателям не пришлось бы краснеть».

Лавуазье молча вернул газету и посмотрел мрачно на Юнга.

— Меня удивляет и омрачает,— сказал Юнг,— то обстоятельство, что злостный клеветник до сих пор не пойман.

— Вот герцог де Лианкур,—продолжал он, кивая в сторону маркиза Ларошфуко и называя его вторым, более значительным титулом, которого Ларошфуко чуждался.— Вот герцог де Лианкур знает положение! Его, даже его зацепил Марат за выступление против черных рабов. Впрочем, ваша светлость, конечно, не читает таких газет. Вы, конечно, читаете только сатирические «Деяния апостолов», газету Антуана Ривароля.

По окончании обеда разговор продолжался в белой зале. Общество разбилось на группы за тремя столиками. Играли в карты. Но фараон проходил вяло, так как хозяин все время хранил печать озабоченности. Фуркруа грубовато и часто повторял слова Марата, хотя всем это становилось неприятно. Бриссо заметил, бросая слова в воздух: «Раньше Марат был моим другом и писал мне часто. Теперь я боюсь его».

Бросая карту на стол, Лавуазье произнес, обращаясь к Фуркруа:

— Марат высокомерен и зол. Было время, его приглашали в академики. Он дерзко ответил герцогу, что желает остаться *свободным* исследователем. Он прислал, однако, свой трактат об огне, который я отправил назад, как вздорный, ибо он говорит о нарастании света во вселенной, а я доказал неизменность в мире количества вещества. Я назвал это законом сохранения вещества.

— Однако ты забываешь,—сказал Фуркруа,—что некий немецкий ученый-оптик, господин Иоганн фон Гете, считает трактат доктора Марата о свете самым замечательным открытием, завершающим столетие.

— Не верю немцам,—сказал Лавуазье.

— Хорошо делаете,—подтвердил Юнг с другого стола.

— Нельзя всем выстригать тонзуру,—ответил Фуркруа.—Есть разные немцы. Есть герцог Брауншвейгский, есть прусский и австрийский двор, а есть некий немец, господин Жиль, которого мы вчера торжественно провозгласили в Ассамблее почетным гражданином Франции. Он написал пьесу «Робер, вождь разбойников»¹.

¹ Здесь допущено намеренное хронологическое смещение. Шиллер получил звание «гражданина Французской республики» от Конвента и, напуганный казнью Людовика XVI, отказался от этого гражданства. (Примеч. автора.)

— Поздравляю с большой ошибкой,— сказал Юнг,— «Робер, вождь разбойников» — это пьеса, вышедшая почти десять лет тому назад из-под пера простого немецкого фельдшера Фридриха Шиллера. Вы ошибаетесь, давая ему имя Жилля.

Фуркруа не унимался.

— Потом отметить, Лавуазье, во-первых: Жан Поль Марат никогда не был крупье Генеральной фермы. Он не мог затратить миллиона восьмисот тысяч на оборудование лаборатории. Он не мог пользоваться ничем, кроме флаконов парфюмера и черепков фарфорщика, для производства опытов. В те сладкие месяцы, что ты проводишь в имении Фрешин, за которое заплатил шестьсот тысяч ливров, доктор Марат должен прятаться в конюшнях и голубятнях, скрываясь от полиции. Ты споришь с Тюрго, доказывая, что не в сельском хозяйстве дело бюджета Франции, но ты сам разводишь на полях клевер и эспарсет, сам ты выписываешь из Англии племенных свиней. Ты с помощью господина Леду обводишь Париж стенами для собирания налогов, для борьбы с крестьянином, привозившим бесплатно овощи в Париж, для борьбы с ремесленником, продающим кожаную обувь extra muros. Марат требует отмены откупов.

Лавуазье покачал головой.

— Я не подозревал в тебе маратиста, Фуркруа! Но я знаю в тебе ученого. Тебе известно, что сто одиннадцать дней опыта с перегонкой и взвешиванием воды стоили мне пятьдесят тысяч ливров. Ты знаешь, во что обходится изготовление тончайших инструментов? Кто дал мне их без откупов?

— Тогда не осуждай Марата.

Лавуазье пожал плечами. После часового разговора гостей слуги принесли чай. Лавуазье пригласил Сильвестра де Саси в угол комнаты, отгороженный белыми ширмами. Там, поставив чашки с душистым напитком на белый мраморный стол, Саси и Лавуазье беседовали о том, как лучше переводить химические термины и древние арабские названия драгоценных веществ, упоминаемые в сказках «Тысячи и одной ночи». Саси рассказывал французскому ученому о северо-западной Африке, стране, до сих пор имеющей самые странные сказания и поставляющей на весь Восток колдунов, ядомешателей, так называемых «опасных магов» и прочих знахарей, наводящих тропические страны.

Редкая память Саси помогала ему обходиться без записей. Не имея перед собой манускрипта, он наизусть переводил для Лавуазье целые страницы арабских текстов о путешествиях Синдбада, где говорится об искусстве приготовления серебра и золота, о ядах и противоядиях, о семи планетах и семи сферах, о семи днях и семи климатах, о семи цветах шёлка, о семи цветах радуги, о семи цветах луча, отраженного и преломленного алмазом и удвоенного турмалином, о семи возрастах мира, о свинцовых рудах восточно-индийского острова Калаха, о «желтом мышьяке», посредством которого арабские врачи удаляли волосы, о порошке «кохо», который, по мнению Саси, был простой сурьмой, о герое сказки Али-Зибак, имя которого обозначает тяжелый, жидкий, чрезвычайно подвижный белый блестящий металл. «Очевидно, ртуть»,— говорил Саси.

После беседы Лавуазье с востоковедом Саси Ларошфуко присоединился к разговору. Облокотившись на стол и положив подбородок на большой палец, герцог Лианкур изредка вставлял свои замечания, из которых явствовало, что хоть он и занимается в лаборатории Лавуазье, но ему одинаково чужда и старая и новая химия. Он был скептичен. Смеясь, он говорил, что старинный итальянский писатель в сочинении «Божественная комедия» всех алхимиков помещает в самых глубоких подземельях ада.

Когда говорил Ларошфуко, напряженный слух Лавуазье уловил тихий голос Юнга в другом конце залы. Он повторял, ломая слова: «*Le mur, murant Paris, fait Paris murmurer*»¹.

Лавуазье задумался. Он очень доверял английскому гостю; он любил в нем спокойствие и размах большого ученого-экономиста, ясность его практического ума, он пользовался его советами в сельском хозяйстве. Но повторение острот врагов Лавуазье в собственном доме Лавуазье нарушало представление хозяина об учтивости английского гостя.

«Да и не слишком ли много знает господин Юнг?— думал Лавуазье.— Не слишком ли он долго живет во Франции?»

Лавуазье привстал. Поверх полуширмы он видел, как

¹ Игра слов, буквальный перевод: «Стена, ограждающая Париж, вызывает ропот Парижа». (Примеч. автора.)

Юнг, держа золотую табакерку, стоя разговаривал с Фуркруа.

Ларошфуко говорил тем временем:

— Я убедился, что почти все восточные лекарства ядовиты, за исключением трав, вызывающих испарину. Я верю только в пиявок и в кровопускание.

Лавуазье вздрогнул и быстро занял прежнее место.

Саси говорил:

— Я никогда ничем не болел. Я не знаю усталости, я люблю ходить пешком, и сейчас, чтобы вовремя попасть к себе в деревню за парижскими стенами, я отправлюсь пешком, не дожидаясь наступления ночи. Прощайте, дорогой господин Лавуазье. Благодарю вас за совет и указание.

По-английски, не прощаясь, Саси ушел.

За ширмой, превращавшей залу в маленькую гостиную, появился Юнг.

«Трудно сказать, кто из нас себя чувствует больше хозяином в доме»,—подумал Лавуазье, глядя на улыбающееся лицо английского гостя.

— Я восхищен вашим гением,—говорил Юнг.—Такой упрощенный способ добывания селитры сразу учетверил силу и военные качества Франции.

Лавуазье молчал, выражая благодарность за комплимент только кивком головы.

Фуркруа говорил с мулатом:

— Школа французских химиков признает тридцать три элементарных вещества, сочетание и распад которых образуют все сложные тела великого мира, но само вещество не уничтожается и не возникает вновь.

— Вы слышите,—сказал Лавуазье,—то открытие, которым я один могу гордиться, приписывают *школе французских химиков*. Что же будут говорить после моей смерти, если я при жизни слышу это и даже в собственном доме?

— Будем надеяться, что вы еще много лет отдадите вашей науке,—сказал Юнг и, вскинув глаза на Лавуазье, добавил:—Если вовремя переедете в Англию.

Лавуазье всплеснул руками.

— Переехать, зачем? Да разве это осуществимо? Разве можно перевезти шестнадцать лабораторий, пороховые склады, французские интересы в Лондон?

— За исключением французских интересов мы все остальное можем дать вам в Лондоне.

Юнг оживился и заговорил тоном убеждения:

— Вы, очевидно, не предугадываете всех ужасов вашей революции. Вы, депутат, прошедший от дворянства, должны понять, что дворянство кончилось.

— Я не дворянин,— сказал Лавуазье.

— Вы депутат второго сословия, и этим все сказано. Вам нужно уезжать как можно скорее. Нам, смотрящим со стороны, многое виднее. Нам многие предметы говорят больше, чем люди. Лорды Англии давно пошли иным путем. Ваше дворянство лишено жизнеспособности наших лордов.

— Не забудьте,— возразил Лавуазье,— ваш парламент обошелся Англии тоже не в малое число голов. Вспомните, что среди них упала и одна королевская голова.

Юнг улыбнулся:

— Вы счастливы, если можете ручаться за жизнь короля Франции. Перед тем как говорить с вами, я много думал; я изъездил всю вашу страну, я видел лионские шелковые фабрики, рудники Лотарингии, виноградники Дофинэ. Я видел богатые епископии и дороги Франции, где по крайней мере двести или триста тысяч нищих бродят по дорогам, людей голодных и очень страшных. Я путешествовал, знакомясь с деревенским хозяйством ваших сеньоров, всюду. Леса вашей Бретани напоминают мне рассказы нашего Флетчера о России. Там такая же глушь и дичь, и только тридцать тысяч борзых собак, зачастую рвущих на куски деревенских ребятишек в дни дворянских охот, оглашают своим лаем пустыни и ланды. Ваши феодальные дворяне ничем не отличаются от вилланов, ваши крестьяне спят на земляном полу, не меняя вороха прошлогодних листьев, служащих им постелью. Я видел на севере Бретани замок Комбур, где господин Шатобриан и его десять членов семьи живут в невероятной грязи, в заплесневелом замке над ржавым прудом. Нет процветания страны. Вы знаете, что сейчас в Париже есть русские? Эти дворяне из страны медведей пламенно приветствуют вашу революцию, но бьют плетками своих крепостных любовниц. Ваши феодалы недалеко ушли от этих титулованных русских мужиков. В России был неграмотный царь Алексей, когда в Англии сэр Даниель Дефо напечатал «Робинзона Крузо», нынешнее любимое чтение в Париже. Когда наш актер Шекспир ставил в «Глобусе» свои знаменитые трагедии, которых публика Франции до сих пор еще не знает, дворяне

Франции были еще совсем неграмотны. Судите сами, если мы сумели так прославить простого актера, то каким же почетом мы окружим величайшего химика Франции!

— Я не поеду, сударь, я не поеду, дорогой сэр! Даже если завтра я взлечу на воздух вместе с пороховым складом,—сказал Лавуазье, переходя на английский язык и приглашая к тому же английского гостя.

Лавуазье в своей наивности думал, что горячность Юнга объясняется незнанием французского языка. Юнг немедленно разубедил его в этом.

Мадам Лавуазье почувствовала по некоторым ноткам разговора, что нужна ее помощь, и, быстро приблизившись к Юнгу, спросила, не хочет ли он еще чаю. Юнг встал, поблагодарил, отказался и стал собираться, торжественно прощаясь со всеми, как бы подчеркивая, что если английская манера уходить без прощания уместна в Лондоне, то он считает ее ненужной в Париже.

Проводив чопорного английского гостя почти до самой вискеты, Лавуазье снова появился в зале. Его ждал у двери Оже.

— Я хочу, чтоб господин Лавуазье подарил меня счастьем своей беседы,—сказал он, ломая слова.

— Прошу вас,—сказал Лавуазье, приглашая мулата в маленькую гостиную.

Оже заговорил не сразу. Лавуазье вдруг испугался. Он понял, что мулат приехал не даром, что в нем, в Лавуазье, нуждаются не как в случайном представителе «Общества друзей чернокожих».

— Господину Лавуазье известно,—начал Оже, словно выдавливая из себя слова,—что мы живем в доме Шельшера, нашего большого друга, который немало сделал добра для цветных людей.

Лавуазье кивнул головой. Оже с расстановкой заговорил снова:

— Вчера сестру господина Шельшера погребли на кладбище. Это была чудная девушка, наш провожатый и хранитель в этом страшном Париже. Она ухаживала за больным Туссенем. Вчера мы узнали, что она умерла не просто. К Туссену неизвестное лицо прислало аббата, желавшего приобщить Туссена как умирающего. Туссен отказался принять аббата. После его ухода сестра Шельшера обедала с нами и выпила глоток воды из чашки, стоявшей на столе больного. Через час она упала с лестницы и не встала. Ее, мертвой, с посиневшими

веками и скрюченными руками, принесли в покои брата. Я вылил в этот флакон остатки воды: узнайте, что это такое?

Оже осторожно передал химику флакон с этикеткой королевского парикмахера Субирана. Лавуазье поставил флакон перед собою на белый стол и, едва сдерживая негодование, сказал:

— Я думаю, что один из нас сошел с ума. Мало ли от чего могут умереть молодые девушки. Не для того ли вы приехали с вашего острова, чтобы клеветать на парижских аббатов, приходящих к людям с самыми чистыми намерениями?

Оже встал и, поклонившись, направился к двери. Стекланный флакон с совершенно прозрачной жидкостью стоял на мраморном столике. Лавуазье отвинтил фигурную пробку и понюхал жидкость. Она была без запаха.

— Этот мулат сумасшедший,— тихо прошептал Лавуазье.

Поздно ночью, когда мадам Лавуазье улеглась, она, как счетовод, подытожила все впечатления дня, начиная от перебранки с госпожой Лефоше по поводу незаконно развешанного белья и кончая спорами с Ларошфуко о пропорциях селитры в новом порохе. Мадам спокойно засыпала в белом чепце на белоснежной постели.

Осторожно и мягко постучал в дверь Антуан Лавуазье. Эти посещения были чрезвычайно редки. Мадам Лавуазье зажгла свечи, и по нахмуренному лицу и по костюму господина Лавуазье она убедилась, что он еще не отдыхал. Антуан Лавуазье заходил по комнате большими шагами, от которых воздух заколыхался в комнате. Пламя свечей ответило на эти колыханья неверными колебаниями, и огромная тень химика, с длинной шеей, горбатым носом и буклями, размахивая руками, забегала по стенам, ломаясь в углах, вырастая до карниза потолка, прыгая по мебели, перебегая по письменному столу с неубранными бумагами.

«Опять бессонница,—подумала госпожа Лавуазье.— Прошлогодний взрыв эссонского пороха с ожогами и с вылетом Антуана в окно не прошел для него бесследно».

Трещали свечи. Комната казалась желтой. Тоска была в душе утомленного ученого. И вовсе не пороховой взрыв был причиной этой бессонницы.

— Послушай, Литтль,—сказал Лавуазье, называя жену всегда одним и тем же английским словом,—я хочу

выйти из откупа, я хочу расстаться с Генеральной фермой. Ее дела меня мучат уже давно. Я не чувствую себя ни в чем виновным. Наоборот, сознание успеха науки искупает для меня многие неприятности жесткой работы генерального фермера. Если еще осуществить два научных замысла, то у меня не останется денег. Они все идут на науку. Разве я не знаю, кто мои враги? Разве контрабандист Бардэ, стрелявший в меня во время путешествия с Греттаром, не оказался детоубийцей и негодяем? А ведь доказано, что подметные письма магистратам написаны его рукою, ведь доказано, что ни я, ни Лефоше не дали ни одной крупинки пороху в Бастилию. Лефоше застрелился. Я был в тюрьме. Разве я не знаю, что ростовщик Марсо из Пьемонта клеймит меня теперь, ставши революционером только потому, что сидел в тюрьме по моему требованию, посаженный именно за то, что он ввел в своем городе позорный «налог с раздвоенных копыт», собирая деньги, как три века тому назад, «с евреев и свиней».

Мадам Лавуазье, приподнявшись на локте, следила за мужем глазами. Она зевнула, закрывая рот рукою, устало опустила веки и резко ответила:

— Антуан, этого не будет! Ты не бросишь откупов. Сегодня утром я читала в первый раз твой трактат «О дыхании». Почему ты раньше ничего не говорил мне об этом?

— Литтль, к чему тебе сейчас трактат «О дыхании»? — с удивлением остановился перед ней Лавуазье.

— Ты пишешь там, что мускульный труд рабочего люда вызывает усиленное дыхание. Ты рассматриваешь дыхание как горение, сжигающее человека, если не добавляется в организм топлива правильным питанием. Ты требуешь на основании этого добавочных рационов, особых, для кормления парижской бедноты. Ты грозишь магистратам, если не последуют твоему совету. Ты перечисляешь все, что едят и сколько платят за еду парижские ремесленники, но в твоём трактате ты забываешь, что учащенное дыхание на свежем воздухе дает человеку хороший сон. Я давно замечаю, что ты не спишь. Теперь ты хочешь, чтоб я не спала. Выкинь из головы размышления об откупах и ложись спать, а завтра начни регулярные прогулки.

Следя за потоком ее слов, Лавуазье улыбался все больше и больше. Засмеявшись тихим, беззвучным сме-

хом, он поцеловал руку жены, щипцами погасил свечи и тихо вышел из комнаты, уже в тысячный раз убеждаясь, что жена его не понимает, и подчиняясь ей.

В маленькой ночной лаборатории, где производились контрольные опыты в уменьшенном размере, где иногда среди ночи, когда напряженный мозг во сне подсказывал удачное решение задачи, не решенной днем, внезапно пробуждаясь, ученый мог сразу «проверить сон»,— на стеклянной доске Лавуазье увидел флакон, оставленный мулатом. Переодевшись, ученый зажег лампочку, налил в пробирку несколько капель прозрачной жидкости, принесенной Оже, взвесил на тоненьких весах, дважды проверил все и поднес пробирку к огню.

— Этот мулат сумасшедший,— повторил Лавуазье,— есть много страшных вещей в жизни, и этот страшный мир существует рядом с нами, но... этот мулат сумасшедший. Он без... Надо мгновенно закрыть лампочку.

Вода выкипала. Тончайший белый налет покрывал стенки пробирки. Серебряным шпателем Лавуазье соскребал этот налет и приступил к анализу.

Только под утро, когда красная полоса на востоке возвестила зарю, Лавуазье записал в тетрадь анализ, раскрывающий качество белого порошка. Он давал то же самое, что прошлогодний сегеновский анализ пережога мерки горького миндаля. Это была синильная кислота. Утром, по распоряжению Лавуазье, Матье, старый слуга при лаборатории, принес котенка из-под крыши Арсенала. Лавуазье вылил в фарфоровую кювету жидкость, принесенную мулатом, и окунул в нее мордочку котенка. Котенок чихнул, облизнулся и, нелепо бросивши мордочку об пол, судорожно дернул ногами. Смерть наступила почти мгновенно.

Глава третья

ДНЕВНЫЕ ВИДЕНИЯ

Сильвестр де Саси шел по садам Пале-Рояля, раздумывая о вечере, проведенном у великого химика. Герцог Лианкур, предложивший в Национальном собрании освободить всех крепостных, рабов, находящихся во французских колониях, показался ему человеком легкомысленным и мало добросовестным.

«Эти странные люди торгуют чужими вещами,— думал

он,—они охотно уступают то, что им не принадлежит, думая таким образом спасти остатки своего имущества. Еще недавно духовенство уступало право охоты, которым само не пользовалось, а дворянство уступает церковные десятины, которые также не находятся в его распоряжении».

В это время девушка толкнула его в локоть. Был поздний вечер, когда аллеи Пале-Рояля наполняются женщинами, ищущими легкого заработка. Саси вскинул глаза; перед ним стояла голубоглазая, очень молодая женщина, усмехаясь только верхней губой, вылитая мадам Дюбарри, как ее изображали современные художники салонов. Она чем-то напоминала ученому впечатления совсем молодых лет: такая же легкая и веселая улыбка голубыми глазами была у его невесты.

Антуанетта де Кардон была другом юности и первой любовью де Саси. Когда судьба выбросила его из Парижа и после полуторагодичных скитаний он снова встретил Антуанетту, она была по-прежнему приветлива и мила. Свадьба ожидалась через два-три месяца, молодой Саси приходил по вечерам в загородный дом Сен-Дени. Там на закате солнца они вдвоем выезжали в легкой вискетке по западной дороге, усаженной липами и каштановыми деревьями.

Однажды Саси пришел часом раньше. Уже издали он увидел: маленькая угловая калитка в садовой стене, выходящая к оврагу на лесной опушке, была открыта. Антуанетта прощалась с молодым человеком. Саси не мог догадаться, кто это. Быстро обвив его шею руками и поцеловав, Антуанетта со стуком захлопнула калитку, и когда Саси выходил на веранду и через дом прошел в сад, Антуанетта уже поднималась на ступеньки со стороны сада. Она встретила его с видом такой же беспечности, как и всегда, она, казалось, обрадовалась его раннему приходу; как всегда, встречая милое и привычное впечатление, она радовалась его повторению. Саси смотрел на это безоблачное и ясное лицо, на эту улыбку, доверчивую и милую; он сам вдруг почувствовал полную легкость и под впечатлением этой доверчивости спросил свою невесту:

— Анита, с кем это вы прощались в саду?

Она ответила неожиданно просто и легко:

— Это мой любовник. Я привыкла к нему за год вашего отсутствия.

Саси молча прошел в гостиную. В обычный срок была подана вискетка; в обычный час жених и невеста выехали на прогулку, вдогонку уходящему солнцу, как, смеясь, говорил Саси. Ветер дышал прохладой; красные маки по бокам дороги качались под тихим дуновением.

Вернулись вечером, простились при свете кенкетов с таким видом, как будто прощаются до завтра. Но с того дня Саси не возвращался к Антуанетте. Другие люди прошли перед глазами. Годы залегли между этой первой иголкой, вошедшей в сердце и сломавшейся там, и теми, другими уколами, которыми щедро встречала его жизнь.

Сейчас эта встреча, эта улыбка беспечности у продажной женщины и лицо, в сумерках аллеи Пале-Рояля казавшееся почти прекрасным,—это был новый укол.

«Только потому,—подумал Саси,—что совсем не случайно природа устроила такую поимку глаз, такую западню для чувств и впечатлений, которые невольно заставляют людей останавливаться с волнением. Как все эти девушки, наполняющие вот уже месяц аллеи Пале-Рояля, стремятся подражать вековым типам женской красоты! Одни стремятся пленить и заработать, перенимая сияющий облик рафаэлевской Мадонны; другие — присаживая себе на лицо признаки слепительной и сверкающей страсти какой-нибудь египтянки Клеопатры; третьи сурмят и вычерчивают брови, как женщины Востока, подражая Клотильдам и Армидам освобожденного Иерусалима. Все это путеводные звезды и маяки, обаятельные и сверкающие в веках. Тип женщин дробится, как в кривых зеркалах или как в раздробленной поверхности взволнованного озера, и превращается в тысячи осколков когда-то большого явления».

Прошла одна, прошла другая, прошла третья, поводя плечами, бросая вызывающие взгляды. Саси становился грустным. Неуместное впечатление оказалось сильнее его. Красные маки, склоняющие головы ему навстречу на закате солнца сен-дениской дороги,—какая все это далекая и ненужная тоска, не свойственная ученому! Это всего лишь ненужная боль, которую человек не должен в себя пускать.

Саси не замечал девушек и скоро вышел из Пале-Рояля, оставив скамейки, переполненные приказчиками, писцами, адвокатскими помощниками, пришедшими на этот рынок любви для покупки дешевых продажных ласк.

Таяли парижские улицы, и первоначальные размыш-

ления Саси о событиях революционного Парижа, о плене короля и испуге дворянства, о восстании черни сменились спокойной и ровной работой научной мысли. Философ Монтескьё указывает на огромное влияние естественных условий на организацию человеческого быта. Саси начал с этой мысли о том, что революция является политическим разливом, затопляющим берега истории, что настает час, когда из снесенных домов уцелевшие обязательно попадут на чужой берег, а на месте схлынувшей бушующей воды возникнет новая, чуждая прежней, жизнь. Саси думал о том влиянии, которое окажет революция на всех, кого судьба выбросит за пределы Франции. Отсюда он перешел к своим любимым мыслям. Изучая историю Аравии, он был уверен, что основным моментом, определяющим историю всего Аравийского полуострова, был разлив Иремской плотины так называемой Счастливой Аравии. Разлив этот причинил великое множество несчастий и десятки тысяч родовитых семей выбросил из Мекки на берега Персидского залива, в Сирию и Месопотамию.

«Вот исходный пункт,—думал Саси.—Эта эмиграция дала во втором столетии нашей эры таблицы новой арабской генеалогии, новых патриархов. С этого времени начинается новая письменность, новые люди, и тут уже еще более обширная мысль. Платон извещает о том, что странная молва из столетия в столетие передает одно и то же, что земли Африки за пределами Геркулесовых столбов сообщались с дальними материками, что древнейшие люди посылали караваны туда, где теперь плещется океан; там была суша, там были цветущие города, там была богатая Атлантида. Уже во времена сказочного Орфея аргонавты плавали за пределы Геркулесовых столбов и нашли там новую сушу и новую землю. Они видели высоких, стройных и красивых людей, это были остатки древней Атлантиды. Так меняется лицо земли, так исчезает старый облик вселенной. Огромные земли уходят под воду, и потоки крови наполняют десятилетия человеческой истории».

Как бы в ответ на это раздались выстрелы. Из переулка бежал молодой человек со сбитым париком, помахивая шпагой. Саси быстро отошел от опасного места.

Перестрелка шла по всему переулку, когда ученый подошел к массивным старинным зданиям аббатства

Сен-Жермен де-Пре. Выстрелы раздавались все ближе и ближе. Над башней аббатства в голубом воздухе плескались белые голуби, садясь на кресты и розетки, а внизу слышались крики и раздавались пистолетные выстрелы. Саси поднял дверной молоток, оконце тяжелой калитки открылось, и небритый седой монах-привратник выглянул на улицу.

— Ах, это вы, господин Сильвестр де Саси,— произнес он, придавая своему лицу некоторое подобие улыбки.

— Брат Фома, проводите меня к отцу Томасьеру.

— Идет служба,—сказал монах,—согласитесь ли вы ждать?

И, вызвав мальчика-певчего, кивнул ученому. Саси медленно пошел по знакомым переходам, крытым галереям и крытым коридорам старинного аббатства.

В V веке Бенедикт Нурсийский основал орден. Бенедиктинцы основали это парижское аббатство. В нем работала конгрегация святого Мавра, бывшая интернациональным архивным учреждением старинной Европы. Во исполнение устава своего основателя бенедиктинские отцы собирали отовсюду старинные грамоты и важные дипломатические документы, служившие для истории Франции. Их латинская переписка с отдаленнейшими местами в разных концах земли поражала своей суровой и строгой скромностью, ласковым тоном, а иногда грубыми и молниеносными словами, бежавшими из-под пера разъяренного монаха, нашедшего искажения старинного текста в какой-нибудь грамоте, полученной с юга Испании. Приходилось заново посылать пешком или на осле какого-нибудь доброго отца, который, совершив свое многомесячное путешествие, привозил выверенные копии греческой или латинской грамоты, служившей очередной темой рассуждений среди ученых историков и богословов в обширных рефекториях Сен-Жерменского аббатства.

Шкафы из желтого ясеня, дубовые скамьи и пюпитры, на которых в порядке лежали пергаментные фолианты, окованные железом по углам с чеканенными жуками на переплете из пожелтевшей испанской свиной кожи. Драгоценнейшие фолианты, прикованные цепями к пюпитрам, изукрашены золотом, киноварью и ляпис-лазурью, это плоды бессонных ночей и многих лет труда одиноких монахов, замкнувшихся от бурного мира, нечестивых людей и греховной королевской Франции в мире серафи-

ческих грез и золотых легенд, когда под звон усталых и ласковых колоколов, при свете вечернего солнца, сквозь зеленые листья платанов, перед узкими стрельчатыми окнами в решетках рука монаха тщательно вырисовывала железными чернилами буквы на размеченных строках пергамента или кисть отрекшегося от мира художника налагала краски одна другой чудесней на заглавные листы старинной хроники, изображая действующих лиц в разных позах и положениях на одной и той же картине, заменяющих действия и слова давно ушедших людей старинной Франции. Послушник отца Томасьера, вернее, как говорят сами старые монахи, молодой оруженосец духовного рыцаря, подошел к Сильвестру де Саси и приветствовал его согласно монастырскому уставу.

— Может быть, до прихода отца Томасьера я могу служить вам? Пусть ваша ученая речь направит мои смиренные стопы.

Саси попросил письма самаритян к Скалигеру и две малоизвестные арабские рукописи. На большой желтый полированный стол послушник положил просимое и почтительно предложил кресло великому ученому. Саси, вооружившись увеличительным стеклом, погрузился в глубокое кресло перед кипарисовым пюпитром, а болтливый послушник, обрадовавшись возможности на законном основании нарушать монастырские правила, ибо ради гостей прощались многие разговоры, удивлял Сильвестра де Саси беседой на совсем не монастырскую тему. Оказывается, вопреки существовавшим правилам, он за последние дни трижды выходил из ворот монастыря и с тревогой наблюдал новые события Парижа, о которых и понятия не имел до сих пор отец Томасьер. Послушник говорил ученому:

— Ни монсенюру, ни отцу Томасьеру невозможно говорить о тех ужасах, которые происходят в Париже, для них Париж остается таким, каким он был сто лет тому назад. Они по-прежнему посылают братьев в калабрийские монастыри и в Сент-Эммеран, так как уехавшие в прошлом году двое до сих пор не вернулись, а вы знаете, как трудно теперь нашему брату путешествовать и не быть перехваченным в дороге. Я вчера слышал, что граф д'Артуа и принцы вопреки воле короля собирают у границы войска для водворения порядка во Франции. Братьям монастыря в десятой доле неизвестны невзгоды, происходящие в Париже. Они не выходят за пределы

обители, а мне, выполняющему послушание святого Бенедикта, мало ли где приходится бывать как мирянину. Простолюдины и ремесленники говорят о свободе, о равенстве и братстве. Что бы сказал про это благочестивый аббат Никез, что бы сказал преосвященный Жан Мабильон! Ведь это все слава и гордость нашего монастыря, они оба не были дворянами, это крестьянские дети, воспитанные на монастырском дворе в глухой и забытой чертозе Дофинэ, а потом прославившие имя нашего святого на весь мир своими учеными трудами. Свобода, о которой шумят на парижских площадях и в здании ипподрома, эта свобода давным-давно осуществилась, ибо воля господня делает всякого человека свободным в выборе своего пути, и только нечестивые кальвинисты говорят, что божественное правосудие одних еще до рождения определило к добродетели, других — на путь преступлений. А что такое равенство, когда бенедиктинская сутана прикрывает и знатных и незнатных, богачей и бедняков ризами общей бедности? Пресвятой Бенедикт Нурсийский обучал нас накоплению единых богатств — сокровищ науки, смирения и добродетели. Что такое братство, как не лучшее братство нашей обители? Ничего нового не услышал я от ваших богопротивных ораторов, да и что нового могут сообщить они тем, кого осенила благодать божественного милосердия?

Сильвестр де Саси перелистывал рукопись, изредка поглядывая на болтливого монаха. Тот говорил без умолку, дождавшись наконец терпеливого собеседника, который слушал не перебивая, с вежливым вниманием.

— Вот сегодня на улице Гомартен нашли старика. Он лежал мертвый около самой изгороди дома Казальса, его подняли. Он одет был в верхнее платье мещанина, при нем не было ничего, что указывало бы на его происхождение, на его имя. Он показался мне умершим от полного истощения и голода, словно раздавленным непосильной ношей. У него в желтых руках, похожих на когтистую лапу хищной птицы, застыли ручки кожаного мешка с заклепанным замком. Двое с трудом разогнули эти костлявые пальцы и вынули из рук сумку. Агент магистратов не смог ее открыть и вспорол кожу. Тогда понял, почему сумка так была тяжела, — в ней был слиток золота величиной в голову ребенка. Скажите, на что золото этому покойнику? И уверяю вас, господин Сильвестр де

Саси, когда волнуется парижская чернь, она волнуется ради ничтожных житейских благ, а тут у нее на мостовой помирает от истощения человек, несущий несметные богатства.

— Однако вы рассуждаете, как светский философ,— возразил Сильвестр де Саси.— Я даже не знаю, кто является настоящим вашим наставником: господин Жан Жак Руссо или святой Бенедикт Нурсийский.

Монах осенил себя крестным знаменiem.

— Что вы, что вы, господин Сильвестр де Саси, я не читал никогда никаких книг, кроме Священного писания и устава ордена святого Бенедикта, но жизнь учит, а глаза наблюдают. Ведь двадцать девятого апреля, если не ошибаюсь, был случай в предместье Сент-Антуан, на фабрике господина Ревельона. Брат мой служит у него счетоводом, и он клялся, что сказал мне сущую правду. Господин Ревельон был простым печатником набоек, и только трудолюбие и усердие с божьей помощью превратили его в собственника богатой мануфактуры, кормившей четыреста рабочих. Жадность человека не имеет предела, эти люди хотели повышения заработной платы, а господин Ревельон на собрании перед выборами в Национальную ассамблею заявил, что рабочим достаточно пятнадцати су дневного заработка. Вот отсюда гнев, алчность породили бунт, гордыня породила непослушание законной власти, бунт и непослушание породили кровь. Два дня толпа громила дом Ревельона. Гвардейцы прикладами и штыками проложили дорогу сквозь толпу, и, несмотря на то, что двести человек пали под стенами этого дома, толпа алчного люда стремилась к дому богатого Ревельона. Только пушки, заряженные картечью, да фитили, зажженные канонирами, напугали бунтарей, они разбежались. Разве угодно богу такое несмирение?

— Согласитесь, однако, дорогой брат,— возразил Саси с улыбкой,— что на пятнадцать су можно только медленно умирать, а не жить, да еще с семьей. Уж если вы завели этот разговор, я должен вам сообщить, что крестьяне в окрестностях Парижа настолько повысили цену на самые простые овощи, что я сам вынужден обрабатывать свой огород. Любой крестьянин скорее повезет в Париж продукты своего хозяйства, зная, что парижанам сейчас приходится туго, чем продаст их на месте. Я вижу, что вихри вокруг Парижа залетают к вам

сквозь слуховые окна, кровлю и через башенные ходы вашего аббатства. Вы в смятении, дорогой брат.

Монах покачал головой, но в это время отец Томасьер веселым, спокойным и уверенным шагом вошел в комнату, зажимая шаплетки левой рукой, и приветствовал ученого. После первых приветствий Саси беседовал с отцом Томасьером на тему о последних работах конгрегации. Старик, голубоглазый, седоволосый, сухощавый и смеющийся, достал с полки белый пергаментный том и с восхищенным видом стал перелистывать, показывая ученому страницы творения святого Бернарда, обильно окруженные золотом, киноварью, ляпис-лазурью, изумрудной краской тончайших миниатюр.

— Вот рукопись, недавно привезенная нам в подарок из Грейсфельда,— говорил отец Томасьер.— Мы готовим ее издание, продолжая заветы великого Мабильона, а потом хотим помочь нашим братьям, готовящим в королевской типографии «Издание памятников французской монархии». Это будет колоссальное собрание документов с гравюрами, сделанное в свое время Бернардом Монфоконом, да будет поступь его легка в реках, долинах рая. Орденский капитул переписал нам эту работу.— Вдруг глаза монаха загорелись безумным блеском и руки задрожали.— Смотрите, досточтимый господин Сильвестр де Саси, вот в этом эпизоде из жизни святого Бернарда, изображенном бесхитростной рукой странного художника, вы видите демонов, окружающих сатанинский сон. Страшнее человека эти черные люди без рогов и без хвостов. Страшна судьба нашего Парижа!— Руки отца Томасьера дрожали, он говорил как в бреду.— Вчера у собора Парижской богоматери я встретил шестнадцать чернокожих людей. Они шли, сверкая белками, говоря на эфиопском языке, перекликались, нарушая благочиние королевской столицы, они показались мне демонами, окружающими сатанинский сон, забывшими о творце.

Глава четвертая

КЛУБ МАССИАКА

В предместье Сент-Оноре в те годы еще существовал богатый отель господина Массиака. Богач, унаследовавший от отца четырнадцать сахарных плантаций в Сан-

Доминго, он за свою шестидесятипятiletнюю жизнь добился стократного увеличения своих имуществ. Ветряные мельницы, богатые кофейные плантации, сахарные заводы, целые леса низкорослой ванили, гигантские поля, засеянные хлопком, давали ему сказочные богатства; десятки тысяч черных людей работали на его плантациях в Сан-Доминго. На берегах маленьких речек дымились сахарные заводы; черные люди, задыхающиеся от раскаленного воздуха и перегретого сахарного пара, по ночам входили в свои жилища там, на границе саванны, где начинались болота Сальваса, и ночью в маленьких шалашах катались по циновкам от укусов миллиарда moskitov, впивающихся в сладкую кожу. Днем, под бдительным взглядом цветнокожего надсмотрщика, хлыстом из кожи гиппопотама подгоняющего рабов, они отдавали свою кровь, свои мышцы, свои нервы двуногому москиту, богатство которого давно превзошло наследственные накопления крупнейших французских аристократов. Если в Париже господин Массиак не был допущен ко двору и в салоны принцев, то в Сан-Доминго он жил со сказочной роскошью и наряду с обыкновенными упряжками, вроде парной воланты, в которой он разъезжал для осмотра своих необозримых владений, он имел золоченые кареты, украшенные незаконно присвоенным гербом, запряженные драгоценными конями в упряжи, отяжелевшей от золотых гвоздей, подвесок и пряжек. Десятки слуг с благозвучными античными именами из числа чернокожих и цветных пленников и уроженцев Сан-Доминго, выросших с детства в роскошных дворцах Массиака, десятки безмолвных и покорных рабов, которым зачастую давалось чисто французское образование,— с надменными лицами стояли у дверей многочисленных зал во время празднеств, восполняя пышностью недостаток благородства крови и знатности рождения богача.

Если грубый феодальный сеньор Южной Франции обязан был соблюдать какие-то обычаи феодального времени в отношении к своим односельчанам и французский дворянин зачастую омужичивался сам и был такой же неграмотный, как крестьяне его родной деревни, и уже в силу этого зачастую не мог считаться беспредельным владыкой над жизнью и смертью своих вилланов,— там, в колонии, Массиак, Эснамбук, братья Ламеты вознаграждали себя за все уколы самолюбия в Париже тысячекратным чванством, разгулом кровожадного вла-

столюбия среди безгласных колониальных рабов, которых старинный королевский «Черный кодекс» трактовал как самодвижущиеся вещи, находящиеся в полном распоряжении господина.

Для полноты картины недостающей знатности господин Массиак ради увеселения своей дочери завел в своих палатах двух шутов из числа изуродованных, превращенных в горбунов негритянских детей. Запоздалые королевские замашки производили дикое впечатление на тех, кто посещал дом господина Массиака в Сан-Доминго.

Совершенство хозяйственной промышленной техники сочеталось в этом разгулявшемся буржуа с разнузданными манерами раннего феодала, который в первое десятилетие стремится возобновить стократный разгул фантастического злодея маршала Жиля де Реца. Так же, как этот современник Жанны д'Арк, маршал, казненный за неслыханный разврат и чернокнижие королевским судом XV столетия, так же этот некоронованный кофейный король осуществлял гнусные замыслы, делая предметом своего сладострастия издевательство над безответными представителями африканских племен, за которых никакой королевский закон не вступался на отдаленных от Франции плантациях Гаити.

Массиак был в дружбе с пятидесятилетним странным, безумным фантастом, отщепенцем парижской аристократии,—человеком, при имени которого содрогались благочестивые старухи и молодые аристократки, в то время как дворянская молодежь двусмысленно улыбалась при произнесении этого имени,—маркизом де Сад. В отличие от старинного французского негодяя, вошедшего в легенды под именем Синей Бороды, маршала Жиля де Реца, который осуществлял все свои безумные затеи и ничего не писал, этот новый претендент на престол короля распутства, маркиз де Сад, все описывал в своих жутких книгах, прокаленных на огне дикой и безудержной фантазии, но ничего не осуществлял. Старик Массиак, остробородый, желтолицый, со слезящимися глазами, имел в лице маркиза де Сада лучшего советника, консультация которого вознаграждалась иногда начиненным золотом мешком, перепавшим в руки беднеющего маркиза из тяжелых, окованных медью и железом сундуков богатого плантатора.

Только что накануне состоялось бракосочетание дочери Массиака с младшим сыном Александра Ламета,

заседавшего в Национальном собрании в качестве депутата третьего сословия. Ночная оргия в предместье Сент-Оноре сменилась тяжелым дневным сном. К вечеру, поднимая лиловатые отяжелевшие веки, Массиак вспомнил о том, что предстоит снова бессонная ночь, так как по очень важному делу он собрал у себя семнадцать богатейших представителей французских колоний. Массиак дернул шелковый шнур, замшевый шарик ударил в золотой барабан, висевший за дверью, и густой длительный звук, усиленный рупором, позвал к нему прислугу. Два лакея в красных ливреях внесли тяжелый двадцатисвечевой канделябр. Массиак короткими и отрывистыми фразами давал распоряжения.

...А в этот час Саси беседовал с отцом Томасьером, укрываясь от уличной перестрелки. А в этот час Оже, выйдя от Лавуазье, прибыл в семью Ретиф де ла Бретонна, чувствуя необходимость говорить с любимой девушкой. Дочь Ретифа, Франсуаза, открыла ему дверь и сказала:

— Добро пожаловать! Расскажите, почему давно вас не было видно и почему вид у вас такой, как будто бы хоронили кого-то?

— Вы правы,—сказал Оже,—нам всем очень тяжело, и я боюсь, что преждевременно придется уехать.

Франсуаза вскинула на него глаза и ничего не сказала. Наступило молчание. Оже, чтобы нарушить неловкость, спросил:

— Что делает ваш отец? Я слышу голоса в его типографском кабинете.

— Отец, как и всегда, занят. Он же ни минуты не может остаться без дела. Сегодня кончил гравировку автопортрета. Он заканчивает книгу «Парижских ночей», записывает свои наблюдения и встречи, считает, что каждый день дорог и ни один из них не повторится. Он дружит с крайними. Он работает днем, а ночью выходит и смотрит, как живет Париж. Он изобразил себя в плаще, в широкой шляпе, а на шляпе сидит большая пучеглазая сова, с которой он любит сравнивать себя. Отец говорит: «Сова Минервы вылетает только по ночам».

— Изменились ли его отношения ко мне?—спросил Оже.

— Нет, и трудно на это надеяться,—ответила девушка.—Сейчас вы с ним говорить не сможете, у него сидят

господин Фурнье и господин Фирмен Дидо, которые спорят из-за размеров типографского шрифта.

— Что же тут спорить? — спросил Оже, чтобы как-нибудь отвести разговор, приносящий боль.

— Как же, — с живостью ответила Франсуаза, — господин Фурнье в основу типографского счета положил длину королевской ступни. Ступня короля имеет двенадцать дюймов, дюйм имеет двенадцать линий, линия — двенадцать пунктов, — вот шестую часть этой линии господин Фурнье и считает необходимым способом измерения формочек для отбивки букв. Господин Дидо с ним спорит, а мой отец предлагает им определить, «какое отношение имеет к королевской ступне листок газеты, именуемый «Пикардийский корреспондент». Господин Фурнье доказывает, что при введении его шрифта легче бороться с революцией и что нет никаких оснований утверждать, будто бы «Пикардийский корреспондент» не печатается в типографии Дидо.

— Что такое «Пикардийский корреспондент»? — спросил Оже. — Почему такой спор о какой-то листовке?

В это время слышались голоса. Дидо кричал:

— Ни один из моих типографщиков не станет набирать гнусных листов газеты Бабефа «Пикардийский корреспондент»! Это порох, подложенный под фундамент всего общества, это взрыв, от которого взлетит человечество. Проповедник Бабеф требует уравнивания состояний, он требует изъятия дворянских земель без выкупа, он требует даже таких диких вещей, как передача мануфактур в руки правящего народа, а вы осмеливаетесь утверждать, что «Пикардийский корреспондент» печатается в Париже да еще в моей типографии.

— Ну, я пошутил, господин Дидо! — воскликнул Фурнье. — Я никогда серьезно не утверждал вашей симпатии к таким господам, как Марат и Бабеф, ставший другом «Друга народа». Хорошие друзья народа!

— А я чту Марата, дорогие братья, — сказал вдруг тихим голосом Ретиф де ла Бретонн.

Обиженный Дидо быстро уходил, Фурнье тоже простился. В комнату, где сидели Оже и Франсуаза, вошел Ретиф де ла Бретонн.

— Ах, это вы, господин Оже, — сказал Ретиф, осклабившись, — парижская зима заставляет и вас побледнеть, я вижу.

Оже сверкнул глазами, услышав эту шутку, так назойливо повторяемую парижанами в разговоре с цветными людьми.

— Вы не находите, что поздний час? — спросил Ретиф, обращаясь к Оже довольно грубо.

— Да, нахожу, — сказал Оже, встал и, не прощаясь, вышел.

На лестнице его догнала Франсуаза. Она держала платок, забрызганный слезами, и говорила:

— Не сердитесь, он всегда такой тяжелый. Разве это может иметь для вас какое-нибудь значение?

Оже остановился и сказал:

— Не сержусь, мне сейчас не до того. Если бы я не боялся рисковать вашей жизнью, я предложил бы вам уехать со мной, но теперь... — Оже задумался и повторил: — Но теперь я должен вдвойне побереечь вас. Может быть, настанет другое время и мы осуществим наш замысел, а сейчас я уже не принадлежу себе.

У Франсуазы дрожали руки, язык ей не повиновался: она могла сказать только одну фразу:

— Не думайте покидать Париж, не повидавшись со мной.

Оже два раза прошел мимо освещенных окон дома Массиака. На условный стук у калитки, над которой свисали ветви каштановых деревьев, вышел маленький негр и сказал:

— Не здесь, а в предместье.

В предместье Сент-Оноре, в богатом отеле господина Массиака, сошлись семнадцать богатейших владельцев французских плантаций на Антильских островах. Тут были четыре брата Ламета, один из которых ораторствовал в Национальном собрании. Тут были внуки Эснамбука, дававшего когда-то деньги французским королям и кардиналу Ришелье, рядившего свою челядь так, как не мечтал король-солнце одевать своих миньонов и министров. Тут был вульгарный прихвостень угасающих аристократов аббат Мори, запасавшийся письмами знаменитых особ и при жизни стряпавший себе архив несуществующих подвигов и фальшивых дел. Но самое главное, тут был господин Массиак, остробородый, с сивыми волосами, слезящимися глазами, хилый, сладострастный и злой. Он кричал:

— Эти нищие на самом деле задумали обездолжить нас своими глупостями в Национальном собрании! Я уверен,

что бригадаж из наглых рабов — это их затея. Парижское дворянство провалилось. Версаль никуда не годится. Лафайет не знает, кого продать и кому продаться подороже. Мирабо готов продать кого угодно и за сколько угодно. Все говорят: дворяне уступают церковную десятину, которая идет не в их пользу. Духовенство уступает право охоты, которым не пользуется. Все уступают друг другу чужие вещи, лишь бы спасти свою шкуру. Господа депутаты Жиронды охотно предоставляют свободу неграм и развращают наших рабов. Пусть эта проклятая сволочь поймет, что они не получают ни соринки сахара и ни зернышка кофе, если вздумают посягнуть из Парижа на наши колониальные права.

— Вы правы, дорогой Массиак, — сказал старший Ламет, — я кровно в этом заинтересован. Но поймите наше горе: мы подписали «Декларацию прав», а ее первые параграфы говорят, что люди рождаются свободными и равными в правах.

— Послушай, Ламет, ты дурак, — сказал Массиак. — Я расторгну брак своей дочери и твоего сына, если ты хоть раз не только повторишь, но подумаешь такие вещи... На всякий случай для таких болванов, как ты, заявляю, что я, ничего не читая вообще, на старости лет прочел дурацкую «Декларацию». Она кончается семнадцатым параграфом, который говорит: «Право собственности священно и неприкосновенно». Негры — наша собственность! Понимаешь? Скажи это своим пустобрехам из Национальной ассамблеи. Скажи этим полудворянам, разорившимся щелкоперам и голодным адвокатам, что всего бюджета Франции не хватит выкупить наших рабов. Да еще мы посмотрим, стоит ли нам разговаривать о выкупе? У нас есть вооруженные корабли. К черту Францию санкюлотов! Да здравствуют хозяева независимых колоний! Мы тоже умеем писать свои декларации. А впрочем... — Массиак взял под руку Александра Ламета и аббата Мори и, отведя их в сторону, шепотом заговорил: — Мною приняты меры, чтоб уничтожить весь этот негритянский бригадаж вместе с семейкой Шельшера, приютившего беглых рабов в Париже под видом «законных» делегатов колоний. Я знаю этих друзей Рейналя — беглого попа, атеиста, бунтовщика. Сейчас они добиваются декрета об уравнивании в правах, а мы перестреляем их, как перепелов...

Аббат Мори заговорил:

— Вы сами виноваты в том, что колониальные негры образованнее своих хозяев. Они обучают ваших детей, вы делаете из негров нянек, они у вас преподают математику и служат инженерами на кофейных фабриках и сахарных заводах. Вместо того чтобы давать вашим детям образование, вы засыпаете их золотом, а к науке и знанию допускаете негров. Вот откуда гнев: *inde irae*¹. Отсюда же вместо церковного смирения и покорности идет гордыня человеческого разума и лживые мечты о свободе. Вы обратите внимание: все враги королевской власти, все атеисты, изгнанные из Франции, нашли себе приют в колониях. Там они заложили тайные масонские ложи, там они и теперь организуют бунт среди негров. Это все мятежный дух и гордыня разума! Это адское пламя, именуемое духом свободы!

Массиак грубо оттолкнул аббата и сказал с резкостью, привычной для него, окруженного сотнями рабов, неограниченного владыки несметных богатств:

— Замолчи, поп! Ты не на кафедре. Лучше бы ты произнес свою тираду с трибуны Национального собрания, где все ваши крючкотворы, адвокаты, не имеющие и десяти тысяч ливров дохода, осмеливаются читать поучения королю. А все почему? Потому, что голодная сволочь окружила Париж, и все вы дрожите за свою шкуру. Вы распустили гвардию короля, вы белую лилию Бурбонов заменили трехцветной кокардой...

— Мы? Кто же это мы, господин Массиак? Мы? Бедные священники короля и бога?! Поистине виновниками негрской делегации являются господа Бриссо, Верньо, Кондорсе, Лавуазье, а больше всего Робеспьер. Они организовали «Общество друзей черных племен», они в колониях объединили умных и образованных негров; они устроили кассу для поощрения негров изобретателей; они дают прибежище беглым.

— Нам не страшны негры изобретатели,— ответил Массиак мрачно.— Мы не боимся ни ума, ни образования. У меня в руках власть, деньги, плеть и пистолет. Под звуки этого оркестра я заставляю плясать и ум и талант, поселись они не только в черной, но даже в белой голове. Я не такой дурак, как ваши министры. Когда негр Дессалин закончил хлопковую машину, изобретенную им,

¹ Отсюда гнев (лат.).

я тотчас же отправил его на три года с лопатой чистить клоаки Сан-Доминго. Кажется, теперь он погиб. Все эти клубы мечтателей и фантастов, организованные из французских отбросов в колониях, нам не страшны. Мы подарили королю корабль «Клеопатра». На нем семнадцать пушек, три мачты, семиярусный трюм, в каждый ярус можно набить триста рабов. Правда, они не могут стать во весь рост, да это им и не нужно. Двадцать четыре дня просидеть в таком ярусе, а потом попасть на свежий воздух плантаций—не так уж страшно. Мы подарили королю этот корабль. Четыре раза в год черное дерево—королевский товар—перевозится на нем от берегов Либерии на Гваделупу, Мартинику и Гаити. Это верный доход его величества, более верный, чем королевские домены Франции. Мы можем сделать небольшие подарки тем членам Национального собрания, которые согласятся заткнуть свои глотки золотыми пробками, но клянусь святой Женевьевой, покровительницей моей честной торговли, что раньше, чем все ваши «друзья чернокожих» сумеют протащить в Национальном собрании какой-нибудь декрет о выкупе рабов, мы перестреляем их делегатов. Мы ни одного черного не оставим живым в Париже. Мы перехватим пакеты и почту, идущую морем! Ни один негр не узнает ни строчки здешнего декрета. А если стук от колес революционной машины в Париже докатится по волнам океана до берегов Гаити, мы сумеем заглушить его громом пушек со всех крепостных фортов Сан-Доминго. Это я говорю для тебя, Ламет, чтобы ты не ослабел как депутат Национального собрания. Сделай так, чтобы машина работала медленно, а прежде всего поговори с этим Винсентом Оже. Внуши ему, что он мулат и свободный, значит, ему не по пути с черными, как рабами... Я сейчас...

Массиак обратился громко к другим.

— Милостивые государи,—вмешался он в разговор группы колонистов,—могу ли я располагать вашим согласием в случае надобности ассигновать сотню-другую тысяч ливров на маленькое дело?

Массиак тихо и пространно приступил к намеченной теме: он изложил свой план подкупа цветнокожих и возбуждения в них враждебных чувств против черных рабов.

Разошлись под утро, молчаливые и затаенные.

В доме Шельшера после выздоровления вождя и смерти госпожи Шельшер наступили томительные и тяжелые дни. Оже, Риго, Дессалин и сам недавний больной, пациент доктора Марата, Туссен Бреда, совещались о том, какое значение имеют странные и страшные события, происходящие почти ежедневно с неграми среди белых людей революционного Парижа.

Приехав после прочтения «Декларации прав человека и гражданина» в зимний Париж 1789 года, шестьдесят делегатов с острова Гаити были полны лучших надежд; они просили об уравнивании в гражданских правах цветных племен Антилий; они представили петицию Национальному собранию о праве выкупа рабов, о предоставлении им избирательных прав в национальные ассамблеи колоний, где на двадцать тысяч белых колонистов приходилось полмиллиона черных и цветных людей. В качестве первого взноса они привезли с собой в кожаных мешках шесть миллионов золотых ливров — старое испанское золото, зарытое корсарами и известное только старикам, изучившим и плодоносные равнины, и болота, и красивые холмы Страны гор — Гаити, которую в годы революции негры переименовали в *Квискевея* — что значит «*Мать земель*», ибо «отсюда должна была идти свобода всем цветным людям в мире».

Но пока эта страна была «мачехой» негров. Оже говорил об этом в Национальном собрании. Он рассказывал о том, что такое Черный кодекс. Он развернул перед депутатами Парижа и французских провинций картину нечеловеческих мук черных людей, которых ежегодно по восьмидесяти тысяч и более перебрасывают с африканских берегов во французские колонии Нового Света на огромных невольничьих кораблях, которые тут же граф Мирабо окрестил «плавучими кладбищами», кинув эту реплику с места во время речи Оже.

Факелы чадили по сторонам трибуны, отбрасывая тень мулата на стену Манежа. За окнами выла буря. Четырнадцать стенографов записывали речи. В душной зале люди в треуголках, с палками, во фригийских колпаках серого и красного цвета слушали с затаенным дыханием о том, как в жаркой стране люди гибнут от палящего солнца во время сбора кофейных зерен, как дети приучаются с колыбели произносить первое слово «маасса» — господин, собственник черного человека.

Оже говорил:

— Сахарный тростник, кофе, хлопок и ваниль покрывают только часть острова, все остальное — это глубокие ущелья, пустынные леса, густой кустарник и горы, то, что ваш великий Руссо называл Свободой, называл Природой, в которой рождается человек. Но и эта естественная свобода людей от нас закрыта. Когда тяжелый бич плантатора проливает красные ручьи по нашей черной коже, тогда жить и дышать становится невозможно и солнце становится черным. Мы все искали бы выхода в побеге в эту природу, но ваши солдаты, ваша полиция, ваши собачьи своры устраивают облавы и на эту природу, в которой беспечно живут и растут лишь дети богатых плантаторов. Часто, часто, чтобы спасти свою жизнь, нам приходится искать убежища в глубоких пропастях, в темноте, среди камней, подвесившись на связанных лианах, весь день не прикасаясь ногами к земле, в морщинах которой слышится шуршанье ядовитых змей. По Черному кодексу негры, бежавшие от истязаний, приговариваются к огненному клейму. На плече ставят «знак белой лилии», королевский герб. За второй побег негру режут поджилки и уродуют лоб, за третий — казнят...

...В колониях тирания введена в закон, — говорил Оже, — безнаказанность развратила плантатора. Негры-вещи все же имеют живые мысли, и огромные массы тупоголовых хозяев стремятся физически истребить эту мысль. Вот почему наши колонии находятся в вечном огне, вот почему негры, обучающие ваших детей, стали опасной игрушкой в руках безграмотного хозяина. Мыслящие вещи стали истреблять тупоголовых двуногих животных с плеткой и пистолетом...

Негодование и беспокойство прокатилось по рядам Национального собрания: этот мулат, этот цветной человек осмелился грозить белым гражданам Франции, представителям белого народа, богатым людям, гражданам с независимым состоянием...

— Долой дворянство белой кожи! — закричал с места депутат Робеспьер. — Пусть торжествует принцип свободы, хотя бы ценою гибели колоний!..

Но его оборвали. Ему не дали говорить. Его прервал колокольчик Бальи и шум депутатов. Бальи кричал, покрывая собою толпу:

— Ни один голос угнетенных наций не останется не услышанным...

Но его собственный голос затерялся в гуле негоду-

ющих голосов. Бриссо, Верньо и Кондорсе подошли к шатающемуся мулату, сошедшему с трибуны, и говорили:

— Успокойтесь, все будет прекрасно, мы издадим декрет, соответствующий «Декларации прав», ручаемся нашими головами.

Винсент Оже усталым взглядом посмотрел на их головы, словно решая вопрос о качестве такого залога и словно предвидя, что эти три головы упадут под ножом гильотины как головы людей, случайно вознесенных на гребне волны и сметенных девятым валом.

Франция видела перед собою ведь всего только Национальное собрание колеблющихся людей. Еще четыре года — и гигантский взлет восемнадцатого столетия уничтожит дворянскую Францию. Конвент разгромит феодализм и сам погибнет под ударом свинцового кулака, на котором написан непреодолимый для Конвента семнадцатый параграф «Декларации»: *«Право собственности священно и неприкосновенно»*.

В Париже сдвинулась секундная стрелка, и на часах истории прошли густые тени вековых по качеству событий.

Оже говорил:

— Друзья, вы собраны мною для того, чтобы Туссен, наш тайный вождь, которого — увы! — не хотят признать свободным ни за какое золото, чтобы Пьер Шаванн, чтобы Жан Риу, чтобы Доминик Биассу, чтобы Жорж Пуссен, Феликс Тютуайе, Жан Пьер Руссо, Бенедикт Корбейль, Франсуа Виньерон и Кларети Валлон вместе с Теодором Канглотаном, а также чтобы и ты, наш неожиданный и не очень верный союзник, Риго, знали, что, доверившись французским грамотам и «Обществу черных друзей» в Париже, мы сделали большую ошибку. Из шестидесяти нас осталось тридцать семь... Где остальные? Люди исчезают в Париже бесследно, и белые и черные. Вот уже вечер, а Дессалин еще не вернулся. Нынче утром не стало еще четверых. Вчера неизвестно где погибло двое. Ни королевские магистраты, ни господин Мирабо, ни начальник Национальной гвардии не могут найти следов наших товарищей. Что это? Роковой случай или истребление шестидесяти лучших цветнокожих, уполномоченных от племени Гаити и доверенных первому городу мира — Парижу? Я для того вас созвал... По твоему приказу, Бреда, — сказал Оже, обращаясь к Туссену.

Негры и мулаты повернулись к маленькому большеглазому человеку с грустным и спокойным лицом. Он молча кивнул Винсенту Оже, и все цветные люди наклонили головы.

— Я для того призвал вас,—повторил Оже,—чтобы...

Оже опять остановился. Тогда его прервал Туссен.

— Друзья,—произнес он так тихо, что все встали и склонились к говорящему.—Нам нечего искать во Франции. Прежде чем хорошие, но бессильные люди смогут явно сделать что-нибудь для нашей свободы, другие, могущественные и злобные, их опережают тайно. Скажу вам прямо: до наступления ночи мы будем все перебиты. Я узнал это сейчас, когда уже нельзя просить лошадей на запад. По цвету кожи нас узнали бы. Узнав, перережут нам глотки, поэтому те, кто знает восток, поедут на восток. До Гавра никто из нас не доберется. Оже и еще троим я приказал через двенадцать дней встретиться в Лондоне у нашего друга Кларксон. Где? Они знают. Остальные! Покрасьте лица, оденьтесь нищими и, не медля ни минуты, бегите, взявши пропитание на два дня, в округ Кордельеров и там просто просите милостыню именем Лорана Басса. Вам помогут. Прощайте!

Наступила ночь. Шел снег. На набережной Елисейских полей появились двое на расстоянии выстрела один от другого. Передний тяжело дышал, а преследующий думал: «Выстрел разгонит пешеходов на всем пространстве квартала, а крик, наоборот, созовет всех даже из домов. Надо стрелять, а не резать, но в темноте я ни за что не попаду, в темноте я промахнусь». В эту минуту беглец исчез, а преследователь в ужасе развел руками.

У самого выхода из главной водосточной тумбы, загораживавшей спуск под реку, открывалась решетка, и старый негр, знающий, что чернокожему можно спрятаться только там, куда боятся влезать белые люди и черные собаки-ищейки, бросился вниз, под решетку. Илистый, гнилой всасывающий колодец под клоакой Сены был свидетелем того, как старый негр в течение семи с половиной минут стремился ухватиться за плоские скользкие стены, усеянные мириадами мокриц и плесенью. Потом долго еще под гнилой тиной он боролся за жизнь, синевя и задыхаясь, пропуская в бешено раскрытый рот отвратительную гниль клоаки.

Человек с пистолетом так и не понял, куда скрылся негр. Его труп опознали в марте 1790 года, когда речная вода размыва клоаку. Браслет на ноге выдал негра.

Люди в масках, с пригоршнями золота, дерзко идя навстречу судьбе, предлагали таможенным чиновникам на стенах, башнях и бастионах вокруг Парижа пропустить их за город. Проницательные и острые взоры таможенных крыс смотрели на мочки ушей под шляпами замаскированных пассажиров и говорили:

— Вы слишком торопитесь, дорогой гражданин, ваше ухо вымазано черной краской.

Или:

— Вы платите больше, чем вам полагается за ваш багаж, но все-таки не столько, чтобы хватило на жизнь, если меня выгонят за то, что я вас выпустил из Парижа.

В магистратах арестованные таможеней черные люди не появлялись. Они исчезали по пути.

Уроженец Эльзаса Шельшер, имея законный паспорт, выехал на север с тяжелым чемоданом. Он ехал в Брюссель. Его провожала белокурая и смеющаяся любовница, девушка с живыми глазами, легкомысленная и вульгарная. Она скалила белые зубы, гримасничала темно-красными толстыми губами, обмахивалась веером, брызгала духами, громко говорила неприличные вещи, сверкая лицом и ярким румянцем на скулах. На нее никто не обратил внимания. Таможенный сержант, подсаживая ее в карету, ущипнул ее за икру и получил такой удар носком туфли в зубы, что отскочил со словами: «Фу, чертова девка!» В эту минуту господин Шельшер сходил со ступенек, и двое носильщиков вскидывали тяжелый, уже досмотренный и оплаченный баул на империял кареты. Старый кучер и два фореитора, ругаясь безобразными словами, икали пьяной икотой, сплевывали и щелкали бичами.

Так по селам и деревням, останавливаясь без дороги, минуя Брюссель, доехали до Дюнкерка. Там, перед самым въездом в поле, вынули из баула полуживого Оже. Красотка Шельшер, скинув проклятый парик и снявши белила и румяна, снова превратилась в бешено танцующего негра Риго. Фореиторы и кучер вдруг стали

степенными строгими старыми неграми из масонской ложи аббата Рейналя.

Оже, усталый, вялый, кашляющий, говорил, обращаясь к Шельшеру:

— Дорогой друг, придет время, вы женитесь. У вас родится сын. Завещайте ему продолжить ваше большое, хорошее дело. А сейчас, пока он не родился, дайте мне что-нибудь пожрать, я издыхаю в вашем проклятом чемодане с флогистоном господина Лавуазье.

— Не ворчите, Оже,—сказал Шельшер,—одновременно с вами выехал из Парижа сэр Артур Юнг. Английский экономист, путешественник и писатель смущен тем, что во Франции благодаря лаборатории Лавуазье нашли способ быстро удвоить пороховые запасы государства. Он дважды предлагал Лавуазье переехать в Англию. Лавуазье отказался, а этот английский шпион ловко повернул дело так, что рано или поздно дураки санкюлоты казнят своего ученого, удвоившего обороноспособность Франции. Я не хочу встречаться с господином Юнгом на пристани в Кале. Вот почему мы с вами высаживаемся в Дюнкерке. Отсюда шлюп английских матросов *незаконно* переправит нас через Ла-Манш. Я опасаюсь только за жизнь Туссена.

— Я хочу есть,—сказал Оже.—Но никто из нас никогда не опасался за жизнь Туссена, если он на ногах. Если бы вы знали, чему научила жизнь этого негра за сорок шесть лет, проведенных им на земле!

Туссен Бреда пробыл в Париже еще три дня. Он увидел под конец третьих суток, что переодевания не помогают. Он знал, что по следам *неизвестного негра*, как звали его агенты магистратов в Париже, двинулись самые опасные шпионы из лакеев богатейших колонистов и специалистов, убивающих по найму,—этого особого разряда людей королевской Франции, избавленных от виселицы «на случай». Они имели даже свою кличку на полицейском *арго*, их звали «разведенными с вдовой», то есть приговоренными, но не повешенными ввиду согласия на «особые поручения». Из мансарды своего друга Ретифа де ла Бретонна Туссен в минуту обыска принужден был спуститься к стенам Самаритэны под самое утро. Голодный день он провел в бурьяне на берегу Сены, под мостом. А когда сумерки спустились на улицы Парижа, он

пошел по «Острову», имея перед глазами гигантскую главную розетку Нотр-Дам де Пари. Пистолетный выстрел из-за угла сбил с него шляпу.

— Что это? Что это? — раздалось рядом с ним, и молодой остролицый человек с длинными волосами, в маленькой форменной треуголке Бриеннской школы, звеня шпорами, загородил его собою.

— В меня или в вас? — спросил он Туссена, очень плохо говоря по-французски.

— Не знаю, — ответил Туссен. — Кто вы?

— Я корсиканский офицер. Моя фамилия Бонапарт. Я ненавижу французов, стреляющих по ночам в безоружных, как вы. Встаньте за мной!

С этими словами молодой человек вынул огромный пистолет, осмотрел полку и произнес, стискивая зубы:

— Проклятая нация! Неужели, истребив свободу на моем острове, они смогут удержать ее за собою?

— О каком острове вы говорите?

— О Корсике! Конечно, не об «Острове на Сене»!

Прошло несколько секунд. Какие-то тени зашевелились у дальних домов. Молодой офицер сказал:

— Идите до собора, а я здесь постою, но перебегайте улицу не раньше, чем я выстрелю, а потом прячьтесь в Нотр-Дам.

Он просчитал до трех, и, словно пушечный выстрел раздался над улицей, группа людей разбежалась. Туссен был уже далеко и через минуту взбирался по ступеням огромного недостроенного собора. Он слышал за собою шаги: Ему чудилось, что его преследуют какие-то тени. Шаги раздавались то близко над самым ухом, то далеко, словно капли, падающие на дно колодца.

Перебегая по темным лестницам, путаясь, негр поднимался все выше. В состоянии полного изнеможения, глотнув в пролете морозного воздуха, он пошел в ту сторону, откуда тянуло холодом, и, выйдя на парапет, спрятался между замерзшими звеньями балюстрады. Глубоко под ним расстился глухой, темный, лишь кое-где мерцающий огнями Париж. Темные каменные изваяния недвижно нависли над городом. Было тихо. И вдруг рядом слышались шаги. Человек крадучись шел, стремясь слиться со стеною. Он остановился в раздумье, тихо распахнул плащ, подняв пистолет, выстрелом озарил балюстраду. Уродливая химера на перилах собора, изваянная из черного камня безумцем тринадцатого столетия,

не пошевелинулась, и только ухо, раздробленное пулей, брызнуло каменными искрами по снегу.

Стрелявший в ужасе бросился вниз со словами:

— Эти проклятые негры превращаются в камень!

Через десять дней ветер замел следы скрывавшихся негров по зарослям морского берега, под соснами песчаных дюн Ла-Манша.

Массиак был озабочен поимкой двух бежавших слуг. В Париже наступили дни неожиданной ранней весны, и давно растаял тот снег, на котором мерзли не привычные к холоду черные ноги. Занятые французскими делами, «друзья чернокожих» позабыли о предметах своих забот, а когда вспомнили, то оказалось, что все негры исчезли, и Кондорсе предположил, что они благополучно уехали, не дождавшись обещанного декрета. Начиналась новая борьба не на жизнь, а на смерть. Триста дворян были найдены в Бордо и были застигнуты на приготовлении к побегу. Около двухсот семей были опознаны в Марселе. Население волновалось, беднота кричала, а Национальное собрание требовало отпуска невинных. Марат на страницах своей газеты клеймил богатых буржуа, сидевших в Национальной ассамблее, а Робеспьер все чаще и чаще поднимал голос уже не столько в защиту угнетенных, сколько требовал кары для угнетателей.

Вихри взлетали высоко над головами сидевших в здании Ипподрома депутатов, и пока они брали на себя решение маленьких деталей политики собственников, в это время другие мощные стихии столкнулись на широком и просторном политическом поле битв. Национальное собрание посылало мягкие требования пощадить дворян, пытавшихся бежать за границу Франции, но местные руководители французской революции, провинции, предавали казни этих пойманных дворян, десятки и сотни ослушавшихся воли тех, кто уже без всякого права называл себя представителями народа. И в то же время, когда Национальное собрание в лице мягкосердечных депутатов поднимало голос за улучшение участи черных и цветных людей, через голову того же Национального собрания производилась разрядка другой и страшно напряженной стихии озверевшего богача, готового протянуть руку кому угодно, только бы не лишиться своих колоссальных прибылей, добываемых черным трудом черного человека. Так шпаги борющихся классов скрещивались над головами пигмеев, пытавшихся где-то внизу, в

муравьиных кучах Ипподрома, остановить разыгравшуюся революционную стихию, поднятую не агитацией, не капризами отдельных людей, а борьбой тех, кому уже нечего больше терять, с теми, кто хочет все больше и больше приобретать чужим трудом.

В этой борьбе шестьдесят черных и цветных людей, таявших когда-то на улицах Парижа в толпе прохожих, были забыты, о них не вспомнил никто.

Савиньена де Фромон ехала по дороге из Парижа в Сен-Дени. Шелковый ветер трепал белокурые волосы, не пудренные, спускавшиеся кольцами из-под шляпы. Эта красивая дама ехала «подышать воздухом деревни». В ее не слишком наполненной голове, как легкие птицы, порхали еще менее полные мысли. Она уже совсем не вспоминала о встрече с Адонисом. И еще меньше думали о неграх господ Бриссо, Верньо и Барнав. Заботу о неграх принял на себя господин Массиак, он действительно был озабочен. Парижские дела его беспокоили сильно, приходилось обдумывать, как лучше поступить, не ссорясь с магистратом, но основным вопросом, тревожившим господина Массиака, был ключ к загадке другого рода — как сделать, чтобы в случае полного ослабления королевской власти, в случае крушения монархии во Франции сохранить независимым состояние и удержать политическое равновесие в колониях. Вопросы, тревожившие парижан, не тревожили господина Массиака. Вопросы, тревожившие господина Массиака, были вне круга забот, волновавших парижские массы, — разграничение удобное, позволявшее Массиаку действовать, давать директивы, в которые никто не вмешивался, определять поведение своих агентов пригоршнями золота, не вызывая у них никаких подозрений относительно осуществления сложной рабовладельческой программы.

События развернулись так, что ранним утром в морских портах Гавра и Сен-Мало внезапно взбунтовались матросы. Толпа пьяных моряков после ночного дебоша двинулась по прибрежным улицам, громя на своем пути все жилища, в которых обитали чернокожие рабочие, портовые грузчики, негры-матросы, негры-слуги, стаскивали людей черной кожи на камни дебаркадера, где в груде лежали три негодных якоря. Двое матросов брали за ноги свою жертву и разбивали об якорные кольца черепа чернокожим людям. Молодой офицер с королевского брига «Аврора», схватившись за стилет

левою рукою, правой рукой держа перед собой пистолет, пробовал остановить передние ряды разбушевавшихся пьяных матросов. К нему подбежал капитан Симонэ, командир, и скомандовал ему убираться с дороги, молодой человек пошел в магистратуру, он требовал взвода национальных гвардейцев или милиции; в этом ему было отказано. Молодой человек добился свидания с мэром. Градоправитель выслушал его сухо, достал клоч синей бумаги, на котором была начертана история происшествий предыдущего дня: «Неграми изнасилована дочь боцмана, матросы возмущены неграми, матросы требуют смерти черных».

— Откуда боцман? — спросил юноша.

— Как я могу это знать? — возразил мэр. — Здесь написано боцман брига «Аврора».

Юноша побледнел.

— У нас на борту вот уже месяц нет боцмана. Старый боцман умер от желтой лихорадки, у него никогда не было детей, он не был женат. Нельзя ли восстановить порядок?

— Это выше моих сил, — ответил мэр.

Молодой офицер ушел, недоумевая и пожимая плечами.

Серый, туманный день на взморье, леса корабельных мачт, а за ними белые валы шумящего океана. В городе тревожные слухи о том, что у негров есть свой предводитель; взволнованная беготня на кофейной пристани, шепот в конторе сахарных складов, постоянное хлопанье дверей в кабинете главного клерка по вывозу колониальных пряностей; шум по поводу письма, полученного от граждан города Бордо, от владельца колониальных контор Сен-Мало, которые напуганы приездом в Париж черных рабов Сен-Мало и сообщают, что самый опасный негр, страшный разбойник, бежавший с плантации испанского сеньора, Бреда, собирается поднять восстание на французских кораблях. Тысячи темных слухов, сотни добровольных поисков, десятки подкупленных агентур и горсти золота волновали целый день французский приморский город.

Молодой офицер с брига «Аврора» выезжал из Гавра в Париж на свиданье с родными. Он уже успел отвлечься от мысли о странном поведении мэра, о ложном доносе несуществующего боцмана и к вечеру, отдыхая на почтовой станции, в часы перепряжки лошадей, уже не думал о

погроме чернокожих. Старые истории, виденные на Антильских островах, уже не возникали перед ним как упрек в ненужной жестокости соотечественников. Он думал только о предстоящей встрече с родными и волновался за их судьбу, имея тревожные сведения о жизни в Париже. Как вдруг и здесь его настигли гаврские впечатления.

Перед окнами маленького дома, в котором помещался содержатель гостиницы, остановились двое — высокий конвоир с мушкетонем и человек маленького роста, чернокожий, с большими умными и грустными глазами. «Еще один пойманный негр», — подумал моряк, в то время как служанка, в ответ на просьбу негра, произнесенную чистейшим французским языком, подала ему большую кружку холодной воды. Вдруг офицер вскочил: негр мгновенно выплеснул свою кружку в лицо конвоиру и ногой выбил у него мушкетон, прежде чем служанка вошла на кухню. Еще через минуту конвоир выстрелил в воздух, стал кричать о помощи. Морской офицер не мог понять, куда мог так быстро укрыться негр. Сбежавшиеся слуги, сам трактирщик, конюхи и фореиторы дилижансов начали поиски во все стороны; они были безуспешны. В соседнем дворе, через забор, увидя мальчишку, сидящего на грудке древесного угля, конвоир умоляюще выпрашивал, не пробежал ли тут чернокожий человек. Мальчишка молча указал рукою на соседнюю изгородь, за которой виднелись груши, вишневый сад, осыпанный цветами, и несколько каштановых деревьев. Солдат побежал в указанном направлении и стал бешено колотить в ворота соседнего дома. К нему присоединились два-три человека, все с любопытством ожидали поисков этого фантастического беглеца до вечера. Поиски не увенчались успехом, но когда конвоир рассказал о том, что мальчик, сидевший на угольной куче, указал ему дорогу в соседний сад, то содержатель почтовых карет и трактирщик с удивлением покачали головами.

— Господин солдат, — сказал один из них, — этот мальчик, сидевший на угольной куче, и был беглец негр.

Когда ночью по освещенной дороге спешащая карета, запряженная шестеркой лошадей, увозила нашего морского офицера с попутчиками на Париж, через несколько туазов, по дороге, проходившей зарослями пустынного кустарника, от нижнего кузова кареты, из-под колес отвалилась тяжелая, словно неживая, кладь. Карета пы-

лила по дороге. Маленький негр, перемазанный углем, в изодранной одежде, стоял и грозил им кулаком вдогонку. Еще секунда, и он исчез в кустарниках. Это был Туссен Бреда.

Когда Оже прибыл на остров Гаити ночью, весь план был обдуман: решили «держаться курс на восстание» цветных людей, если местные ассамблеи не примут их предложений. Он и двенадцать мулатов тайком высадились недалеко от города Капа и дали знать о себе тайным друзьям цветнокожих деревень и сел. В маленькой палатке на берегу обменяли печальные вести на грозные инструкции. Вернувшись из Франции и Англии, Оже узнал, что он потерял все человеческие права и стоит «вне закона», даже вне «черного закона».

Прошло несколько дней. Маленький лагерь снялся по получении известия о том, что все цветные племена уже знают о французских событиях. С предосторожностями ехали Оже и его двенадцать уцелевших товарищей, без дороги, по каменистой глине Большой Ривьеры, когда внезапно Шаванн заметил двух драгун, разогнавших коней в галоп и мчавшихся по верхнему берегу. В мгновение ока драгуны были перехвачены. Оже встретил их ласково, спросил, куда едут, отобрал у них сумки с документами и, делая вид, что он с товарищами располагается на давно задуманном привале, стал читать одну за другой перехваченные депеши.

Все стало ужасающе просто и ясно. Парижские друзья успели на несколько дней, проведенных Оже с товарищами в Лондоне, опередить их приезд. Это могло спасти Оже, но враги оказались предусмотрительнее, не теряя дней за истекший месяц. Осторожный мулат не поддавался испугу, его поразили строчки последней депеши губернатора колонии, указывавшие на то, что «движение среди сотен тысяч рабов приняло размеры угрожающего свойства».

Оже ликовал. В депешах ясно говорилось, что «четырнадцать тысяч обученной негрской кавалерии, две батареи, восемь мортир и четыре береговых фрегата под черным флагом уже выступили против законного правительства в Сан-Доминго, но силы оружия белых превосходят».

«Что это? — думал Оже. — Кто это сделал?»

И вдруг, как молния, возникла мысль: «Только один человек, только он мог так пойти навстречу жиз-

ни, так бешено двинуть события вперед. Это старый Туссен!»

Оже скомкал депеши, надел мундир капитана гвардейской артиллерии, треуголку и шпагу, вышел к драгунам, сидевшим у костра с кусками рыбы и стаканами тягучего, как масло, душистого капского рома. Драгуны в испуге вскинули руки к треуголкам и стояли перед бледным мулатом.

— Вот что, друзья, во Франции делаются великие дела. Вы их не знаете. Их знаю я, прибывший из Парижа. Вы французы?

— Нет, капитан, мы оба мулаты.

— Известно ли вам содержание военных документов, которые вы везете?

— Нет, маасса,—ответил один драгун, отдавая честь.

Оже, нахмурившись, взял его за руку и резким движением опустил ее вниз.

— Так вот,—продолжал Оже,—я вез мир в ваши семьи, покой в ваши дома, вашим женам я вез досуг по вечерам, вашим детям спокойствие в колыбели. Я хотел мира среди цветных людей, чтобы детская колыбель качалась спокойно под песни негритянки, чтобы мулат, вернувшись домой, мог тихо сидеть с друзьями и играть в кости. Я всем хотел привезти мир и счастье. А смотрите, что пишет комендант Капа, что пишет начальник кантона, Лимонад, смотрите, что пишут ваши чиновники из полиции Сан-Доминго, из форта Акюль, из кантона Мармелад. Смотрите, что пишут ваши кофейные короли и хлопковые принцы, они говорят, что *«Оже и его товарищи, люди из породы дьяволов, ядовитые гады человеческого общества, подлежат смерти»*, что *«всякий обязан их убить и за это получит деньги»*.

Оба друга смотрели на Оже с ужасом. На лице одного было написано: «Если начальство так говорит, то, значит, верно», а другой, не понимая, таращил глаза и делал вид, что все понимает.

— Вот что, друзья,—сказал Оже,—вот вам пакет, вы можете ехать, вручите его губернатору Бланшланду. Это легче, нежели ваши сумки. Вы сыты? Вот вам деньги на дорогу. Говорите всем: «Оже не будет пойман! Оже везет мир и свободу!» На коней—и марш!

Драгуны встали, трудно было понять, что отразилось на их лицах. Радость оттого, что отделались дешево, или недоумение по поводу того, что попали в полосу страш-

ных вихрей. Ведь матрос без раздумья принимает штормы и бури, но с ужасом относится «к спору капитана с рыжим боцманом, если это случилось в понедельник». Драгуны думали именно о таком споре, но не боялись того, что разразилась буря.

Ночью, во время движения на Сан-Доминго, маленький караван Оже был предупрежден добровольцами из «черного племени». Люди вышли из оврага, произнесли в воздухе слово «Квисквейя». Оже сошел с мула и, хмурясь, подносил факел к каждому из пришедших. Друзья предупреждали. Там, на высоких местах Страны гор, свезены пушки и ружья. Четыре неуловимых фрегата с артиллерией и черными матросами кружат вокруг Страны гор и ловят, как старые конквистадоры, испанские и английские корабли с оружием. Но внизу творятся нехорошие вещи: «расставлены сети для ловли красной рыбы», и Винсенту лучше дня на три скрыться в испанской части острова.

— А кто вверху? — спросил Оже.

— Вожатый, но его имя неизвестно. Удались, товарищ, пока мы тебя не позовем.

Оже и Шаванн совещались. Он или не он? Знает ли он, что мы высадились, а если не знает, как его известить?

И, круто свернув на юг, Оже и его двенадцать товарищей раскинули палатки около испанского города Гинча, за пределами французских владений, предполагая через два утра двинуться по тайным тропинкам на горы Гаити.

Брезжил рассвет. Золоченые кареты, запряженные белыми конями, веером стояли у палатки Оже. Он вышел умыться и был поражен этим зрелищем: губернатор Сен-Рафаэль-Франциск Нюньец приглашал их к себе в город. Он писал тысячу любезных вещей, он предупреждал Оже, Шаванна и его друзей о том, что «не нужно верить французам, что Испания даст им приют». Выхода не было. Все сели в кареты. Сорок испанских всадников охраняли путь.

Но испанские кони привезли тринадцать негров и мулатов не в испанский город, а на французскую площадь Сан-Доминго. Шаванн и Оже дорогой поняли предательство. Они убили шесть кучеров, две лошади были

заколоты. Но сами они, с перебитыми челюстями, связанные друг с другом, в жаркий полдень были доставлены на горячую площадь перед собором. И женщины, услышав о прибывших, перестали играть пьески Рамо и Люлли на клавесиных, они ждали зрелищ у изгороди французской церкви, вертя ручки цветных омбрелок. Оже, перетянутый тяжелым кокосовым канатом, сломавшим ему левую руку, был вытолкнут из кареты. Солнце казалось ему оловянным, и туман застилал глаза. С губ его медленно сползала кровавая пена, когда барабанный бой, тысячи криков встретили пышные кареты перед остановкой у эшафота. Огромные колеса, вращаемые рукой палача, и тринадцать ножей, острых как бритва, торчавших навстречу движению колес, показывали, что ждало этих освободителей цветных племен.

Почти без памяти, Оже и Шаванн вместе с одиннадцатью парижскими делегатами были привязаны к этим колесам. Полицейский офицер читал перечень «убийств и грабежей тринадцати цветнокожих». Тринадцать палачей завертели круги, тринадцать мальчиков негров зажали втулки ножей, и куски живого человеческого мяса полетели в воздух без единого стога и крика умирающих.

«Это все верно, здесь нет ни слова неправды, равно как нет ни слова неправды в том, что площадь отозвалась безумным воплем. В этот день негры получили по кувшину рисовой водки и обещание привлекательных и красивых зрелищ, если придут на площадь. Но дикие и безумные вопли испугали даже колониальных жандармов в синих мундирах. Лошади шарахнулись на ступени собора. Стоны и грозные крики ужаснули жен и дочерей колонистов, не ожидавших, что это зрелище будет принято как вызов урагана».

Прошел день, прошла неделя, и откуда-то с гор появились листовки с рассказами о казни за подписью «Туссен Лувертюр» — «Туссен Откровение». Это был Туссен Бреда, принявший вторую фамилию к первому прозвищу. Он писал:

«Оже убит, он погиб мученической смертью в борьбе за свободу. Клевета не позорит его имени, но имя его навеки покрыло позором имена мучителей. Здесь нет ни одного слова неправды».

В ночь на 24 августа, когда в природе гремела гроза,

из густых лесов, покрывавших местность, именуемую Красный холм, как пчелы в часы роения, как дым из трещины кратера, вышли, скатились по горным склонам десятки тысяч людей. По горам горели костры. В трубы, свернутые из древесной коры, кричали громовые голоса, перекатывавшиеся по долинам рек:

«Бог белых повелевает им совершать безумные преступления, но мы хотим мстить, низвергайте бога белых, проливающего наши слезы. Есть лишь один бог — бог свободы, горящей в наших сердцах».

Как некогда Геркуланум и Помпея погибли под лавой Везувия, так, начиная с той ночи, погибали дворцы, дома, кофейные фабрики и сахарные заводы, почтовые станции и притоны белых рабовладельцев. Все было сметено по пути ста тысяч разъяренных черных людей, которые жгли, ломали и вешали все на своем пути. Они предлагали сдаться взбесившемуся врагу, а на отказ отвечали огнем, кинжалом и свинцом. Цветные войска присоединились к ним, в огне и дыму пожаров толпы белых женщин бегали по берегам и решались на безумные жертвы. Просили «маленького места» в лодке и платили «большими состояниями», лишь бы доплыть до Ямайки или Гваделупы.

Но когда, дождавшись поражения французов, вмешались испанцы и англичане, когда под натиском этих соединенных войск восставшие внезапно растаяли и за ними в горы ушли двенадцать человек в масках, одетые в красные одежды с ног до головы, в руках у белых остался лишь один пленник — старый негрский колдун, полубезумный старик, по прозвищу Букман. Настоящая его фамилия не установлена. Кто он, этот *книжный человек*? Никто не знает. Ему приписали крики и рупоры по берегам о ниспровержении бога белых. Его сделали предводителем этой страшной экспедиции, возникшей «ниоткуда». Его казнили. Француз очевидец писал в одной из редчайших печатных реляций того времени: «Букман был загнан в окрестности Капа и убит. Его голова на длинной пике была выставлена на Оружейной площади Капа с устрашающей надписью: «Голова Букмана, вождя мятежников».

Никогда мертвая голова не сохраняла столько выразительности: глаза были открыты и сохраняли весь огонь этой варварской души. Казалось, Букман глазами дает сигнал к началу кровопролития».

Глава пятая

КОНСТИТУАНТА

Плохие граждане Национального собрания поделили избирателей на активных и пассивных. Богачи — активные — управляют миллионами бедняков, лишенных избирательных прав. И вы, презренные жрецы, вы, бесчестные хитрюги, изворотливые бонзы, разве вам не ясно, что по вашим законам пришлось бы лишить избирательных прав вашего бога? Вашего Иисуса, из которого вы состряпали божество, вы лишаете избирательных прав, ибо он все-таки был пролетарием.

Камилл Демулен, «Памфлеты»

Ретиф де ла Бретонн не без ужаса узнал о том, что беседовавший с ним во время ночных встреч на «Острове» негр философ Бреда был одним из членов делегации Сан-Доминго. Ретиф беспокоился, он всячески замалчивал это событие своей жизни: никто не похвалил бы его за предоставление ночлега негру философу. Он описывал Франсуазе последние события «Парижских ночей»:

«Настало наконец ужасное время, которое подготовило событие 21 января 1793 года! В столице царило полное спокойствие, установленное Лафайетом, который вместо всяких казней прибегал в эту минуту только к инертности. В девять часов вечера я был в кафе Манури. Якобинец, которого с тех пор мы прозвали маратистом, появился в десять с половиною часов, мрачный, задумчивый. Он потребовал лимонаду и принялся ораторствовать против Лафайета с жаром, который совершенно не охлаждался его напитком. Я сказал Фабру, тоже якобинцу, но кроткому:

— Сегодня что-то неладно, наш «неистовый» сердится...

— Нет, я так же, как и он, пришел от якобинцев. Все спокойно!

Что-то мне говорило, что это не так. Я вышел из кафе, направился в сторону Тюильри и, дойдя до барачных дворцовых гренадеров, остановился. Я слышал глухое движение и видел людей, перебегавших поодиночке, но

держась недалеко друг от друга. Я ощущал внутри себя мятежное волнение; казалось, тревога тех, что бежали, воспаляла и меня. Физическое в человеке порою разве не может заменить моральное? Пока меня волновало множество смутных мыслей, я услышал какой-то шум за большим офицерским бараком. Я потихоньку пошел посмотреть, что там, и увидел человека в одежде швейцарского гренадера. Я испугался, ибо, кроме того, что «эти люди не внемлют голосу рассудка», согласно поговорке, он мог быть еще и пьян. Я отошел несколько шагов, чтобы притаиться за другим бараком. Я ждал там около четверти часа. Это, без сомнения, заставило меня пропустить более важное событие. Я увидел наконец, как швейцарец выходил из барака, где была сложена солома, вместе с женщиной, высокой и хорошо сложенной, с масочкой на лице.

— Стой здесь,—сказал он ей жестко, но очень тихо,— до тех пор, пока я не буду очень далеко... и будь осторожна.

Он направился к «Новой решетке». Я не пошел за ним. Меня удержала надежда заговорить с женщиной. В самом деле, как только человек прошел в калитку, я приблизился к ней.

— Сударыня,—сказал я ей,—я все видел. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?

— Да, вы кажетесь мне честным. Дайте мне руку и возьмите сверток, который мой слуга уронил, получив удар саблей от швейцарца, только что покинувшего меня.

— Не причинил ли он вам насилия?

— Я не скрою от вас того, что вы видели; у него в руках был штык, направленный в мою грудь. Я уступила... Пойдемте!

Она заставила меня выйти в ту же калитку, в которую убежал швейцарец. Мы были посреди площади Карусель, когда дорогу нам перерезала огромная карета, ехавшая шагом. Слуга дамы оказался там. Он подошел к нам и взял у меня сверток. Дама поблагодарила меня, прося меня удалиться и уверяя меня, что иначе я сам подвергаюсь опасности. Я последовал ее совету. Минуту спустя я оглянулся, чтобы посмотреть на нее. Она исчезла. Я уверен, что она села в большую карету, так как не видел ничего, что могло бы ее скрыть. Кто она? Кому принадлежит карета? Каждое лишнее слово могло быть большою ошибкой; не следует произносить его. Я видел только,

что она не снимала полумаски с лица. Я пошел прямо домой, сильно раздосадованный тем, что не уговорил ее приподнять полумаску. Шум, который я услышал на мосту Сен-Мишель, заставил меня вернуться и пойти по улице Жилль-Лекёр, которая показалась мне вполне спокойной. На углу улицы Лирондель на пороге стояла женщина, хозяйка притона. Она меня окликнула. Я спросил, что она делает так поздно на улице, по которой никто не ходит.

— Откуда ты идешь? — спросила она.

— Из Тюильри, от площади Карусель.

— Разве ты к *этому* причастен?

— К чему?

— О, теперь ты можешь сказать об *этом*, — *это* должно быть уже сделано.

— Я проводил одну даму...

— Ну, значит, ты к *этому* причастен!.. Я дожидаясь тут одного швейцарца, который тоже участвует в *этом*. Чтобы не возвращаться в казарму, он должен прийти ночевать сюда. Он не знает хорошенько, где я живу, ему известна только улица. А в такой поздний час ему не у кого будет спросить...

В это время со стороны набережной слышались шаги... Я тотчас расстался с женщиной и пошел по улице Лирондель, но спрятался в закоулке, который образует старая «Рисовальная школа», опасаясь только встречи с мулатом Оже, выраставшим здесь как призрак внезапно. Кто-то шел. Да, то был швейцарец, тот самый, которого я видел выходящим из-за барака. Он поднялся к женщине, и я быстро вернулся к двери. Они говорили громко. Женщина проводила швейцарца и вернулась ко мне.

— Он наверху, в комнате, с девицей; но, может быть, ты сам в таком же затруднении, как и он?.. Если хочешь, я помещу тебя у себя.

Я согласился. Она удостоила отвести мне постель в своей комнате, но, к счастью, то была не ее постель. Мы улеглись молча, и я заснул крепким сном. Около четырех или пяти часов утра я был разбужен шумом, который производил швейцарец, вставая, ибо его комнатка была отделена от нашей комнаты лишь тонкою перегородкой. Он принялся беседовать с хозяйкой:

— Мой нэ попробоваль твоя девица ни крошка, мой хорошо поушиналь другой девица вшера вешером: она биль много лутше!

— Удалось ли *все это* выполнить?

— Што ти думаешь сказать?.. Ешли ты снаешь то, што кажешься спать, мой отрешет твой голова! Не снаешь?

— Нет! нет!—отвечала хозяйка испуганно.

— Твой хорошо стелает, ешли *все это* забыль!

Он почти тотчас ушел, а я вернулся домой, ничего не зная еще о совершившихся событиях. Я чувствовал только, что произошло что-то очень важное».

Франсуаза слушала чтение отца и неодобрительно качала головой. Старик сам чувствовал себя неладно. Посматривая на дочь, он продолжал:

«Первая, кто подняла тревогу, была та самая кухарка из дворца, которая все дворцовые впечатления сообщает в секцию якобинцев. В шесть часов, в то время как я выходил от хозяйки притона, она отправилась в свою секцию и сделала следующее заявление:

«В одиннадцать часов меня тихонько заперли в моей комнате, в двери которой я по забывчивости оставила ключ снаружи. Затем в течение полутора часов я слышала, что много ходили взад и вперед. Моя дверь внезапно оказалась отпертой, но я так и не слышала, как ее отпирали. Я заметила это, только когда снова попыталась выйти. Я тотчас же оделась и высунула голову за дверь. Я спросила у первого часового, не случилось ли чего. Он ничего не знал, но, спустившись в галерею, я заметила волнение; я даже слышала, как кто-то сказал вполголоса:

— Говорят, что король уехал.

— Куда же он мог уехать?

— Не иначе как в Сен-Клу!

Узнав многое из этих немногих слов, я поняла, зачем меня запирали. Я видела, что план побега был хорошо обдуман. Я обращаю ваше внимание на время побега, которое должно быть между полночью и часом утра, если судить по тому движению, которое я слышала. Выйти можно только дворами, выходящими к проходу из Тюильри на улицу Эшель, меж тем как другие кареты стремились быть задержаны на площади Карусель, чтобы отвлечь внимание».

Эта женщина предполагала правильно...»

Ретиф продолжал дрожащим голосом:

— Ты знаешь, Франсуаза, я сел за работу по возвращении домой. Я узнал о событии только при моем первом выходе, в полдень. Я не узнал бы даже о нем раньше вечера, но услышал необыкновенную болтовню прачек на

нашей улице, и несколько слов ясно долетели до моего слуха:

«Король бежал сегодня ночью с дофином, с королевой, с Елизаветой, дочерью».

«Тут я понял, что случилось большое событие. Я оделся и вышел: несчастье подтвердилось. Я встретил в конце Нового моста и Валле (место продажи птицы на набережной Огюстен) астронома Лаланда, бледного, расстроенного. Из этого я заключил, что он не был аристократ. Все были поражены ужасом. Я отправился в Тюильри, в Пале-Рояль. Вернулся по улице Сент-Оноре. Я видел, как повсюду сбивали королевские гербы, вплоть до вывесок нотариусов. Таким образом, помни, Франсуаза: действительно королевская монархия уничтожена во Франции в один день. Три дня волнений и тревоги! Меж тем вечером 22 июня в Париже узнали об аресте в Варенне (Варенн-в-Аргонн, Мёз) Людовика и его семьи. Передавали, что начальник станции Сен-Мену сказал фореитору:

— Стой, или я буду стрелять в карету!

Людовик сказал:

— Если так, то остановите.

Ему отвели комнату в трактире.

То была его первая тюрьма».

«Одна мысль занимала все умы 21, 22, 23, 24 (июня 1791). В этот день Людовик должен был вернуться в Париж; но что это было за возвращение! Два комиссара Конституанты, Барнав и Петион, были посланы за ним в Варенн и везли его обратно. Париж ждал его с вечера 23 июня, и я вместе с другими отправился в Тюильри. Там мы узнали, что он не приедет, и каждый пошел обратно. Погруженный в раздумье, я направился в сторону Елисейских полей, не замечая, что отдаляюсь. Я миновал место, где находился столь недолговечный Колизей (здание для празднеств и спектаклей, вблизи улицы Пентьевр и Елисейских полей), мимолетное создание последнего и ничтожнейшего из Фелипо, несмотря на все зло, которое он сделал! Мне вспомнились слова псалма: «Transivì et non erat»¹. Дальше я миновал то место, где был реквизованный сад маркизы Помпадур. «Увы, сколько блестя-

¹ Я снова проходил, но его уже не было. (Примеч. автора.)

щих существований погибло навек! — воскликнул я. — И многие другие пройдут так же бесследно». Затем я прошел до решетки Шайльо и, перенесясь в прошлое, припомнил, как восхитительно я пировал там однажды с моим приятелем Бударом и с тремя актрисами... Я вспомнил один еще более очаровательный обед с другом моим Рено и с красавицей Дешан, героиней предпоследней новеллы моего XXII тома «Современниц»... Я отдался воспоминаниям о Зефире, этой жемчужине чувствительности, и о Виргинии. Но тут я заметил, что я заблудился. Я повернул назад. Пробило одиннадцать часов. Я пошел вдоль сада, так как здесь было безлюдно. Оставив за собою улицу Мариньи, я умерил шаг. Мужчина и женщина сидели в саду, на внутренних перилах рва, отделявшего их от меня. Я двигался бесшумно, и высота изгороди скрывала меня от их взглядов.

— Вот жестокая революция, — говорил мужчина, — и не видно ей конца! Уехать за границу — значит оставить поле врагам. А между тем, если я не уеду, я буду обещен. Мне уже прислали прялку. Я ответил, что я здесь необходим. Я рассчитывал ехать завтра — но вот теперь везут обратно короля! Кто знает, что будет дальше? И к тому же как выехать?

— Необходимо было эмигрировать, сударь, — отвечала дама, — о лежащем на вас долге не рассуждают. Что делаете вы здесь, вблизи слабого короля, являющегося вам бóльшим врагом, нежели демократы? Я надеюсь наконец, что он погибнет, раз его схватили. Понимаете ли, сударь, сколь это было бы выгодно для нас и для всех честных людей, если бы голова слабого Людовика упала? Видите вы, как поднялась бы вся Европа, как объединились бы все короли! Вы увидали бы и наемных солдат, которые служили бы нашему мщению, как собаки, которых выпускают на других собак. У нас нет иной надежды на спасение, кроме смерти Людовика Шестнадцатого. Пока он жив, пока он сохраняет хоть видимость власти, свободы, хорошего обращения, — мы погибли, и державы будут действовать слабо.

— Ах, сударыня, как вы плохо их знаете! Я знаю их лучше вас, эти державы, от которых вы ждете помощи и восстановления в ваших правах! Они втайне радуются... печальному положению могущественной страны, которой они прежде завидовали; они выжидают благоприятного момента, чтобы наброситься на нас и уничтожить нас

всех — и дворян и разночинцев. Перестаньте обольщаться, сударыня. Наше положение ужасно. И если бы я был склонен повиноваться чувству ненависти более, чем рассудку, то я не преминул бы тотчас же встать в ряды революционеров.

Тут дама встала и поспешно удалилась. Мужчина стал звать ее. Я расслышал только слова: «Нет! Нет! Я никогда больше не захочу вас видеть».

Он пошел за нею. Я ему крикнул:

— По какой бы то ни было причине, но делайтесь патриотом!

Я поспешно удалился. Домой я пришел в час ночи, не встретив ни одного патруля...

— Это записано хорошо, — сказала Франсуаза, обязанная всегда отзывать на чтение отца. — Но что было дальше? У вас, отец, верный глаз и чуткий слух, а я запуталась в баснях...

«На следующий день все было в движении. Молодые люди, мужчины не старше сорока лет были под ружьем. Беглеца ждали только к вечеру. Я присутствовал при въезде Людовика, на которого я смотрю с этой минуты уже как на лишенного престола. Национальная гвардия стояла двойною изгородью от бульваров до замка Тюильри. Глубокое молчание царило, прерываемое изредка каким-нибудь заглушенным ругательством. Он въехал, предваряемый тысячью ложных слухов; его кучеров принимали за закованных в цепи вельмож, хотя они и не были закованы. Людовик снова дома, опозоренный ложностью своего шага. Однако он не был за него наказан даже естественным ходом вещей. Учредительное собрание, верное своим принципам, декретировало, что Франция — монархия, извинило короля и думало расположить его к себе, оставив ему весь тот почет, который еще могло ему оставить. С этой минуты Ламеты и Барнавы изменили свои взгляды. Мирабо, великого Мирабо, уже нет. Ты знаешь, что он умер в апреле. Что сделал бы он в эту минуту? По тем сведениям, которые у нас были о нем с тех пор, можно предположить, что он всею силою содействовал бы восстановлению монархии, что он заставил бы войти в свои планы иностранные державы, что у нас не было бы войны, — но во что бы мы превратились? Это нетрудно вообразить, зная, — а это знают все, — деспотический и жестокий до варварства нрав великого Мирабо. В наши дни он сделался бы новым кардиналом

Ришелье, а Людовику XVI, подобно Людовику XIII, был бы только первым рабом. Ламеты, Барнавы и кое-кто еще получили бы назначения сообразно изменившимся обстоятельствам: Лафайет был бы генералиссимусом или, быть может, коннетаблем; но Мирабо был бы первым министром. Принц Орлеанский потерял бы все, во всех отношениях; Мирабо не стал бы слишком церемониться в выборе средств, чтобы отделаться от него. Я знал частную жизнь Мирабо, пока он был жив, благодаря одному из его секретарей, человеку достойному, с которым он обращался, как с каторжником. Повидав въезд Людовика, я вернулся в предместье Сент-Оноре через площадь с конным изваянием...»

— Вам не кажется, дорогой отец,—говорила Франсуаза,—что вы не можете никак определить себя и свое положение в этом странном мире? Мне кажется, что ваш рассказ вас самого очень тревожит: то вы даете прибежище врагам короля, то оказываете содействие королевскому побегу. Вы не бережете свой возраст, а мне не хотелось бы осиротеть.

Ретиф не успел ответить на слова дочери,—пришел господин Бриссо, принося извинения за посещение в столь поздний час. Он был очень бледен и внимательно посмотрел на Франсуазу подслеповатыми глазами. В наступившем молчании Франсуаза по-своему истолковала этот взгляд, чтобы не быть лишней в беседе, она вышла из комнаты, но, переступая порог, не удержавшись, оглянулась. Бриссо внимательно провожал ее взглядом. Девушка встревожилась. Она села за вышивание в соседней комнате. И вдруг ночной ветер, вносящий какие-то слова, раздававшиеся в комнате отца, в раскрытое окно, заставил ее выронить шитье из рук. В состоянии оцепенения и ужаса она ждала продолжения разговора. Снова шепот Бриссо:

— Во имя законов человечности и справедливости я должен вскрыть покровы этой страшной тайны. Вы видели его у себя, вы его знаете, разве он и его друзья производили впечатление мятежников и грабителей? Я собираюсь выступить на защиту памяти Оже и его двенадцати товарищей. Франция не может спокойно отнестись к гибели невинных людей, все преступление которых состоит в том, что они были цветнокожими.

Ретиф кряхтел, собираясь говорить, но в наступившем молчании только давился кашлем. Франсуаза поспешно

встала. Она вернулась в комнату отца и, обращаясь к депутату, твердым, спокойным по внешности голосом сказала:

— Я могу дать сведения. Оже был моим женихом. Все его преступление передо мною состоит в том, что, уезжая с благородной и прекрасной целью освободить людей от рабства, он усомнился в возможности взять меня с собой. Я жалею, что не могла быть подругой его жизни и смерти.

Дальнейших слов она не могла произнести. Она вбежала по узкой темной лестнице в мансарду и, не зажигая огня, бросилась на старое, пыльное кресло, не удерживая охватившего ее горя. Бриссо и Ретиф говорили недолго. Ретиф остался неудовлетворенным этим разговором, Бриссо тоже.

Адвокат большими шагами ходил по Парижу, всюду разыскивая следы пребывания негров. Странные противоречия получаемых сведений поражали его. Прилагая все усилия юридического анализа к событиям, о которых он слышал, Бриссо твердо и уверенно становился на тропинку, которая, казалось, вот-вот приведет к тому месту, с которого открывается тайна. Однако тропинка исчезала, как река, внезапно кончающаяся, никуда не впадая, в песках, в безводной пустыне. Снова, чтобы не прийти в отчаяние, нужно было собрать все свое мужество для возобновления пути.

В этот день над Францией поднималась заря новых пожаров и кровавых событий: главное из них — бегство короля в Варенн под влиянием происшествий, начиная с октября 1790 года, когда Конституция, входившая в силу, начинала мешать монархии, организовывались департаменты, окружные собрания, трибуналы, закрывались монастыри и капитулы, наступали часы, последние часы перед продажей национального имущества. Ослабевало влияние генерала Лафайета, в Париже организовались сорок восемь секций. То были новые ячейки революции, там раздаются крики против королевских министров. Короля и министров обвиняют в неспособности управления, в потворстве аристократам. Людовик XVI шлет в Германию генерал-лейтенанта Ожара, чтобы посоветовать эльзасским и лотарингским феодалам обратиться с жалобой к имперскому сейму на действия, оскорбляющие права немецких князей и на границе.

Войска эмигрантов под командой Буйлье с австрий-

скими частями ожидали, что король приедет. Буйлье в тайной переписке советует уступить Англии какие-нибудь колонии, и действительно, королевский агент Шампсоннэ в январе 1791 года уезжает в Лондон, чтобы подарить Англии мятежные Антильские острова в награду за предстоящее вмешательство во французские дела коалиционной группы монархических интервентов.

Летом 1790 года инженер Дефурни, врач Сеннтэ, типографщик Моморо учреждают в старом округе Кордельеров, ставшем теперь секцией, «Французский театр», «Общество друзей прав человека и гражданина». Это общество просто называют «Клубом Кордельеров». Депутаты отдаленных провинций, почти никогда не бывавшие в столице, чувствуют некоторое смущение в великом городе. Они инстинктивно стремились поселиться поближе к Национальному собранию, чтобы в случае каких-либо событий было легче соединиться. Неподалеку от Национального собрания они сняли за двести франков в год трапезную монастыря якобинцев. Этот монастырь возник из часовни во имя святого Якова, построенной семьёю братьями-проповедниками, пришедшими в Париж в 1217 году. По имени часовни улица называлась Якобинской, ее же называли Большой улицей, а раньше — улицей святого Бенедикта. Ко времени Национального собрания братья-проповедники были владельцами уже трех домов и имели монастырь на улице святого Якова, давшей этим монахам название *якобинцев*. Эти же монахи построили другой монастырь на улице Сент-Оноре. И вот в этом-то самом доме монастыря, на улице Сент-Оноре, обосновался политический клуб. Недалеко от входа — под тремя арками, из которых средняя назначалась для проезда экипажей, а по бокам широкие арки назначались для пешеходов под нишами со статуями Доминика и Екатерины Сиенской, был вход на большой мощеный двор, посредине которого возвышалось здание монастыря. Собравшиеся в нем депутаты-арендаторы называли свое собрание «Обществом друзей конституции», но парижские секции упорно называли их сборища *«Якобинским клубом»*. С первых летних дней 1790 года якобинцы урегулировали свое существование, они выработали правила порядка, установили способ введения новых членов и быстро стали расти в числе, так как, чтобы стать членом клуба, не требовалось принадлежать к составу Национального собрания. При входе сидели цензоры,

проверявшие входные билеты, и в первые месяцы работы клуба Александр Ламет, генерал Лафайет, герцог Орлеанский, вставший на сторону революции, и певец Лаис зачастую сидели вечером при входе для проверки членских билетов якобинцев, входивших на собрание.

Скоро этого помещения уже было мало: от здания Манежа не хотелось уезжать далеко, и монахи, отцы-якобинцы, с любопытством бывавшие на заседаниях клуба и смотревшие на загорелые лица ораторов такими же удивленными глазами, какими школьник смотрит на оперение чужестранных птиц и вслушивается в их свист и щебет, узнали, что их арендаторы, люди, любящие порядок, чистоту и серьезность, вносящие какое-то небывалое оживление в стены их монастыря, собираются теперь их покинуть. Они предложили депутатам-якобинцам огромную залу своей библиотеки, почти под самой крышей, занимавшую этаж без перегородок, равный всей площади монастырского здания.

Это была обширная зала с хорошей вентиляцией, со сводчатыми потолками, залитая потоками света, падавшего из шести высоких кровельных окон. Между шкафами из ясеня висели восемнадцать портретов знаменитых доминиканских монахов. В конце залы расположены были решетчатые шкафы с пергаментными книгами, рукописями, так и оставшимися в дни революции на попечении посетителей клуба вместе с картиной безвестного художника, изображающего Фому Аквинского около многоструйного фонтана, воду которого черпают чашками монахи различных орденов. По бокам длинной галереи амфитеатром располагались скамьи. С одной стороны—эстрада и кресло президента; под эстрадой, ближе к ораторам,—стол, за которым работают секретари, напротив—узкая, высокая, длинная, как башня, кафедра ораторов, а сзади—суровые доминиканцы в белых одеждах с черными капюшонами—мрачные судьи старинных инквизиционных трибуналов. Заседания якобинцев происходили по вечерам, правильно через два дня; они начинались аккуратно в восемь часов, оканчивались в половине одиннадцатого. Депутаты оповещали секции Парижа о происходящих событиях, они то выше, то ниже поднимали факел гражданской войны и революционной доблести. С 29 мая 1791 года монашеская община была ликвидирована, а якобинский революционный клуб занял все владения.

Только впоследствии был обнаружен единственный представитель монашеского ордена, уцелевший в этих обширных владениях: то был молодой рыжеволосый монах в веснушках, брат Сульпиций, все интересы которого сводились к уходу за голубятней, расположенной под самым куполом церкви. Он жил около башенки с колоколами, в нише которой едва вмещались деревянная кровать и трехногий стул. Парижские революционеры, приходившие по вечерам, не интересовались вопросом о том, какая сила выгоняет на заре стаю белокрылых голубей, кружащихся в небе, стремительно кувыркающихся и внезапно падающих на распластанных крыльях. Ни со двора, ни с прилегающих улиц не заметна была фигура в грязной сутане, подпоясанной веревкой, фигура монаха, хлопающего в ладоши и посвистывающего на летающих голубей. Неизвестно было, кто приносил ему пищу, кто доставлял ему воду на ветхую голубятню.

Уже маркиз Лафайет вышел из состава «Общества друзей конституции», уже немало других откачнулись от Якобинского клуба, и братья Ламеты, которые первоначально с любопытством сидели по вечерам, слушая речи парижских сапожников и ткачей по вопросам ценза и избирательных прав, теперь образовали самостоятельное общество; они перестали посещать якобинский монастырь. После смерти Мирабо Ламеты, тайно получившие субсидии из королевской казны, заступили его место; они продали свои голоса королевскому двору и сделались постоянными шпионами в Национальном собрании. Выступать им в клубе было неудобно, особенно когда в борьбу парижского ремесленника с королевским двором вмешалась еще третья сила — крупный собственник, боявшийся и тех и других.

После побега короля и возвращения его в Париж, после того как по французским дорогам сотни тысяч крестьян с пиками, вилами и кольями выстроились шпалерами, чтобы видеть, как везут Людовика XVI, захотевшего перекинуться через границу и стать во главе армий, как тучи нависших над Францией, после того как карета коронованного арестанта вкатилась через парижскую заставу, Париж кипел как в котле. Секции негодовали, парижские массы требовали низложения короля и суда над ним, а Национальное собрание, в котором к этому часу насчитывалось уже сто шестнадцать подкуп-

ленных голосов, колебалось и направляло все старания к тому, чтобы выгородить короля. Маркиз Буйлье за рубежом Франции дал этим продажным голосам очень удобную формулу: он заявил, что никакого побега не было, но что он возымел намерение «похитить» французского короля у мятежной Франции. Как обрадовалось Национальное собрание этой возможности сделать так, чтобы волки были сыты и овцы целы! Это словечко «похищение» как бы целиком оправдывало Людовика XVI.

Лоран Басс рано утром проходил мимо Якобинского клуба, случайно поднял голову, случайно увидел, как из-под купола выпорхнул белый голубь. Птица сделала несколько всплесков крыльями и упала на мостовую. Лоран Басс был сердобольным наборщиком,—перебежав через улицу, он поднял голубя. Раскинув правое крыло по камням, птица тщетно пыталась встать на лапки. Лоран Басс поднял ее. Голубь не был нигде поврежден, но на левой лапке у него был подвешен непосильный груз, и птица упала. Старик осторожно положил голубя в сумку, заботясь о том, чтобы не помять крылышки и оставить доступ воздуху.

После бойни на Марсовом поле Париж казался пустыней.

Вечером того же дня, нигде не найдя Марата, Лоран Басс по чутью отправился со своей находкой на остров Сен-Дени. Раздвинув кустарник, нашел лодку, отомкнул замок и тихо переправился в рыбацью хибарку, стоявшую на длинном сен-дениском островке. Разбитые окна выходили в сторону Сены, хибарка одной стеной касалась воды, так что кольцо для привязывания лодки было вделано почти у самой двери.

За столом сидели трое: юноша с прекрасным цветом лица, с большими черными красивыми глазами—Камилл Демулен. Против него, горячо жестикулируя, бросая фразы, стоял Робеспьер, а совсем в углу, погруженный в чтение документов, сидел тот, ради кого Лоран Басс предпринял дальнюю поездку,—доктор Марат. Робеспьер остановился. Демулен тревожно посмотрел на вошедшего Лорана Басса. Марат вскинул на него глаза и продолжал работать как ни в чем не бывало.

— Я принес вам ужин, граждане,—сказал Лоран Басс и вынул птицу из сумки.

Марат сделал отметку на документе и осторожно взял

голубя в руки. Лоран Басс подал Марату зашитый сверток, бывший причиной падения птицы, выпущенной из голубятни.

— Почтовый голубь! — закричал Камилл Демулен.

Лоран Басс кивнул головой. Марат надрезал кинжалом швы, вырвал из пергаментной оболочки тончайшую бумажную полоску, и все трое наклонились над столом. Мелким почерком было написано письмо архиепископу Трирскому. Король Людовик XVI уведомлял князя церкви о том, что он вынужден, дабы поправить дела, сделать несколько негодующих выступлений против принцев, против родных и против того гостеприимства, какое оказывает архиепископ Трирский агентам французской монархии, организуя войска против французского народа. Король просил не придавать никакого значения этим громким фразам и продолжать работу, которая обеспечила бы восстановление монархии.

Марат вскочил; он быстро свернул шею голубю и бросил его на пол.

— Чья голубятня? — спросил он у Лорана Басса.

— Голубятня Якобинского клуба.

— Так, — прохрипел Марат, — так! Вот это адский замысел. Не пора ли все-таки перейти к решительным действиям? Пока я скитался, пока меня гоняли, я был поневоле, друзья, лишен возможности принимать участие в великом искусстве революции. А вы, что вы сделали, когда контрреволюция поднимала голову? Дважды задерживали теток Людовика Шестнадцатого по дороге в Рим? Их нужно было искрошить у парижской заставы, а их выпустили к римскому папе, где неприсяжный папа и двадцать четыре беглых епископа вместе с этой королевской сворой готовят цепи и ошейники французскому народу.

Демулен казался ошеломленным. Робеспьер все снова и снова прочитывал перехваченный документ. Марат продолжал:

— Пора кончить с Национальным собранием; это оно дважды издавало указ о беспрепятственном проезде королевских теток. Что такое Национальное собрание, которого народ не создавал? Это — загробное детище деспотизма, это — бесчестно возникшая организация, в которой так много врагов революции и так мало друзей отечества; это незаконная корпорация, скорее терпимая

нацией, чем ею созданная. Декларация прав провозглашает равенство всех перед законом. Национальное собрание делит граждан на активных и пассивных по имуществу. Почти вся Франция оказывается непричастной к созданию законов. Крестьяне останавливают королевских родственников, увозящих миллионы из Франции, Национальное собрание их пропускает; горожане Парижа не спускают глаз с короля как с заложника, в то время как над Францией собираются военные тучи; Национальное собрание кричит, повторяя глупую сказку о том, что короля похитили из дворца, как Моисея из корзинки на купанье,—пусть верят этому дураки.

Заговорил Робеспьер:

— Надо немедленно разрушить эту голубятню.

— Две голубятни,—закричал Марат,—две голубятни, говорю: одну голубятню, которую свили над нашим гнездом, голубятню над Якобинским клубом, а другую голубятню—в павильоне Флоры, голубятню австриячки Марии Антуанетты, голубятню Людовика, голубятню дофина. Все эти воркующие голубки с белыми крылышками, украшенные лилиями, тащат кровавый призрак войны,—надо низложить короля.

— Согласен,—произнес Камилл Демулен,—на Людовика Шестнадцатого надо смотреть как на человека, пойманного на месте преступления. Швырнуть его в тюрьму, отделить его от жены и предать его гласному государственному суду. Королевский побег, королевский манифест—это все оскорбление нации. Если только когда-либо существовало такое преступление, то необходимо начать дело по обвинению короля в оскорблении нации перед судьями высшего революционного трибунала.

— В самом деле,—отрываясь от документов, произнес вдруг Робеспьер,—что делать нам с первым чиновником государства, который хотел бежать? По существу он освободил бы страну от сорока миллионов расходов по гражданскому листу. Франция могла бы вздохнуть свободно. По существу день королевского побега мог бы стать самым прекрасным днем революции, но этот негодяй с белыми лилиями выбрал для дезертирства такой момент, когда открытие единичных собраний должно было бы возбудить честолюбивые надежды всех, а глупость Национального собрания из-за применения декрета об избирательном праве по имуществу и по налогу грозила вызвать

войну всех против всех. Что может быть нелепей различий, установленных между *целым* гражданином, *половиной* гражданина, *четвертью* гражданина и так далее? Капет выбрал удачный момент, когда Первое законодательное собрание—им же созванные «Генеральные штаты»,—против его воли превратившись в Конституанту, должно сложить свои полномочия и уступить другому «Законодательному собранию», которое должно будет прогнать нынешних депутатов, отменить целый ряд их нелепых постановлений. Король выбрал такой момент, когда священник-предатель при помощи епископских посланий и папских грамот раздул фанатизм и поднял против конституции все, что осталось самого невежественного в восьмидесяти трех департаментах нашей Франции. Людовик выбрал такой момент, когда император Леопольд и шведский король должны были поехать в Брюссель, чтобы встретить нашего французского беглеца, и это все в те дни, когда во Франции поспеет урожай, чтобы таким образом с небольшой бандой разбойников уморить голодом весь французский народ. Камилл! и ты, Марат!—вы оба не чувствуете, что, убегая, Людовик вовсе не отрекался ни от чего, что никакие банды коронованных распутников Европы не могут нас испугать. Все дело в том, что они рассчитывали на триумфальное шествие при поддержке врагов революции *внутри самой Франции*. Я за то, чтобы разрушить и третью голубятню! Не только голубятню на чердаке Якобинского клуба, не только голубятню в Тюильрийском дворце,—я за разгон того проходного двора, который называется Национальным собранием, я за разгон этих лживых кудахтающих кур, которые осмеливаются лгать перед лицом всего народа, заявляя о похищении короля, когда в наших руках собственноручное письмо Людовика Шестнадцатого к Национальному собранию, где он прямо говорит, что он намеревается бежать, чтобы с оружием в руках вернуться, опираясь на мятежников внутри Франции. Я нахожу, что положение чрезвычайно опасно, и вот вам новое тому доказательство!

Камилл Демулен, задумчиво глядя в окно на стальные волны Сены, посеребренные барашками под сильным ветром, говорил:

— Я слышал, что, когда Людовик Шестнадцатый опять вступил в свои покои в Тюильри, он бросился в плетеное кресло и воскликнул: «Дьявольски жарко!»,

потом он сказал: «Однако выдалась проклятая поездка», и затем: «Уже давно все идет кругом у меня в голове», и наконец, обращаясь к присутствовавшим национальным гвардейцам: «А и глупую же шутку я выкинул,—я вижу это. Ну что ж, и мне приходится разыгрывать комедии, как другим. Скажите, чтобы мне подали жареную курицу». Появился один из его камердинеров. «А, так это ты,—как видишь, я опять здесь...» Ему принесли жареную курицу. Он пьет и ест с аппетитом короля страны с молочными реками, с кисельными берегами — совершенно так же, как делал во все время своей поездки. В карете, которая должна была доставить его в лагерь заговорщиков, люди, печатавшие вещи, заметили большой ящик. Они подумали, что в нем хранятся важнейшие гайны, по меньшей мере бриллианты короны. Каково же было их изумление: вместо клада они нашли...—судна к ночным горшкам.

— Итак, будем продолжать заниматься делами!.. Дружище Лоран, мы хотим пробыть здесь до утра. Если можешь, съезди к гражданке Симонне Эврар и привези нам чего-нибудь поужинать, и себя не забудь, четверым,—сказал Марат.—Итак, я теперь отвечу тебе, Робеспьер. Я потому не занимался вопросами о колониальных порядках, что прибывавшие из Сан-Доминго негры и мулаты прямо попадали в объятия моих врагов. Они сами говорили, что во главе Общества друзей чернокожих стоят Бриссо, Лавуазье, Мирабо. Довольно с меня этих грех жуликов, чтобы я не вмешивался в их дела. Потом, как мог я без подготовки определить направление своих ударов? Вы смотрите, сахар исчезает с рынка, вы не найдете ни зернышка кофе. Во всем этом парижские купцы и агенты провинциальных контор в Сен-Мало, в Бордо, в Гавре, в Тулоне, в Марселе обвиняют негров. Восстание цветных людей считают причиной того, что Париж голодает. Может быть, действительно нужно было бы внести какой-то порядок в дело освобождения цветных племен?..

Его перебил Робеспьер:

— Порядок нужно внести в тарифы и цены. Вот тебе лучшее свидетельство: один из друзей нашего клуба доносит, что купец Дельбе имеет на два миллиона ливров сахара и на один миллион — кофе, но он не продает ни сахар, ни кофе. Его не устраивают ни корсеты, которые, во всяком случае, уже не стоят теперь пяти франков, ни

серебро,—он продает только на чистое золото с огромной надбавкой. Порядок надо внести в рыночные цены, это заставит богачей не повышать стоимости продуктов. Надо ввести закон о максимуме.

— Вот это верно!—воскликнул Демулен.—Но это ново, это совсем новая теория.

— Теория революционного правления тоже новая, как и революция, которая ее создала,—ответил Робеспьер.—Вот вам еще двое владельцев колониальных складов—Дандре и купец Боскари. Вот наглые биржевики, спекулирующие сахаром, и никакие якобинские клятвы «отказаться от сахара, не пить кофе до тех пор, пока не установятся на них прежние сносные цены», не сделают этих двух биржевых акул умереннее в их зверских аппетитах. Честные патриоты будут отказывать себе в необходимом, а биржевые акулы ничего не будут считать излишним. В вопросе о признании гражданства за цветными племенами я придерживаюсь своих прежних взглядов: пусть погибнут колонии, но будет торжествовать принцип равенства граждан. Я считаю, что необходимо сломать ценз, установленный Национальным собранием, но что вы будете говорить о правах для цветных людей, когда у нас в положении негров и рабов остаются миллионы свободных граждан, признаваемых неактивными по существующим нормам Национального собрания? Я думаю, что нужно освободить и тех и других, я думаю, что революция только что началась. События, которые произошли в наших колониях, поистине ужасны. Сегодняшний вечер я посвящу просмотру стенограмм Национального собрания и потом поделюсь с вами моими соображениями об истинных виновниках трагических происшествий за океаном. Мы вернемся в Париж не раньше завтрашнего дня, когда уляжется буря, связанная с нашими именами.

— Так! Согласен!—сказал Марат.—К приезду Лорана Басса я составляю очередной номер газеты. Демулен займется просмотром рукописи для очередного номера «Революции Франции и Брабанта».

Народные трибуны прекратили общий разговор и, не глядя в окно, принялись за работу. Марат скрипел гусиным пером по бумаге, Робеспьер ходил большими шагами. Бумаги лежали на скамьях и на полу.

Максимилиан Робеспьер не слишком рассчитывал на то, что он уцелеет в Париже: покушения на друзей

народа учащались, аристократия сопротивлялась, а самым тяжелым было то, что богачи всех мастей вели себя так, будто революция сделана только ими и только для них.

Исчезло чванство знати только для того, чтобы уступить место чванству богачей. Где же естественный закон, делающий людей равными в правах, и как горьки первые плоды борьбы за свободу, равенство и братство!

Робеспьер нахмурился; в этот день произошла новая встреча с господином Бриссо. Перед самым началом движения толпы по Марсову полю господин Бриссо взял Робеспьера за пуговицу серого камзола с таким видом, как будто он испытывает свою храбрость в зверинце перед клеткой тигра, преодолевая свою природную трусость, щуря глаза на Робеспьера и говоря:

— Дорогой Робеспьер, дорогой Робеспьер, не настаивайте на крайних мерах, этим вы разрушите единство нации.

— Адвокат Бриссо, фальшивые ноты звучат у тебя в голосе,— отвечал Робеспьер грубо и резко,— ты ведешь интригу против меня, против Марата, против Сен-Жюста, против Демулена, и ты боишься выступить против нас открыто, ты защищаешь короля, лишенного исполнительной власти, ты протестуешь против моих крайних мероприятий. Береги свою голову, адвокат Бриссо; кто будет ее адвокатом, когда народ потребует снятия ее с плеч?

— Вы сегодня грозите, дорогой Робеспьер, а я даю вам полезные советы: вы не бережете себя, это я знаю, но вы не бережете и Францию. Даю вам честное слово, что если бы ваши крайности не испугали короля, то не было бы королевского побега в Варенн.

— Молчите, Бриссо,— оборвал Робеспьер,— если бы не было крайностей короля, то ему незачем было бы бежать к эмигрантам. Глупая австриячка жадна; если бы не королева, то Людовик наверняка уже стал бы во главе дворянских армий и брауншвейгские штыки несли бы проколотых крестьянских ребятишек Шампани. Хорошее сделано дело, говорю тебе, Бриссо, хорошее! Восемь ночных горшков с королевскими гербами из «севра» и два сундука с тончайшим полотном, украшенным вензелями австриячки,— с таким богатством легко было опознать в Варенне путешествующего дворянина.

Голос Бриссо вдруг стал едким и вкрадчивым одно-

временно, когда он пытался ответить на эту тираду Робеспьера:

— Дорогой Робеспьер, дорогой Робеспьер, ведь мы же знаем, что вы учились на королевскую стипендию в коллеже Людовика Великого в Париже, ведь мы же знаем, что вы звучными латинскими стихами встретили французского короля в тот день, когда он приехал навещать своих стипендиатов в коллеж. Ваш одноклассник Камилл Демулен был тому свидетель. Как теперь у вас поворачивается язык, когда вы кричите о лишении короля исполнительной власти и о предании его суду за простую попытку спастись с семьей от ваших же угроз, от ваших же крайностей.

— Вот что, Бриссо, не лги на Камилла, это не он рассказал тебе о латинских стихах,— четырнадцатилетний мальчик мог делать и не такие вещи. А если ты пойдешь дальше, ты будешь упрекать меня в том, что я мочился в пеленки, и показывать мне эти куски грубой ткани с трибуны Национального собрания. Ты трус, Бриссо, ты лицемер, Бриссо, я не боюсь твоих упреков, Бриссо, но помни: мои латинские стихи—в прошлом, я иду рука об руку с народом вперед, а ты с каждым днем делаешь шаги назад. Не завидую твоим будущим дням. Ты сейчас, когда разъяренный народ негодует на короля-предателя, готов писать ему латинские стихи и лизать пятки его челяди. Вы все за Францию, вместе с предателем Мирабо, который в апреле издох, как лопнувший мешок, набитый червонцами придворного казначейства. Если вы показываете мне мои мальчишеские пеленки, то помни, что ты, окружившись предателями, пачкаешь революционное знамя французского народа. Ты все припомни.

В этот момент началась давка и крики в конце Марсова поля. Бриссо поспешно кинулся в переулок и сел в ожидавшую его коляску, не замечая Робеспьера. От этих воспоминаний дня Робеспьер перешел к другим.

В Эрменонвилле двадцатилетний Робеспьер сидел в саду у деревянного кресла, на котором покоился, откинув голову с серыми длинными волосами, Жан Жак Руссо. Робеспьер пылко и красноречиво говорил почитаемому философу о том, что всю молодость он отдал на изучение его великих творений и что дальше он пойдет по пути, указанному великим философом. Руссо невнимательно слушал. Солнце палило черную шляпу философа, освещало подбородок, а затененные шляпой веки с синими

жилками и верхняя часть лица землистого оттенка были в тени. Руссо лишь изредка из вежливости поднимал глаза и кивал головой с равнодушной, холодной улыбкой. Дети перебросили мяч через ограду. Зашуршали листья и ветки вишневых деревьев. Руссо испуганно вскочил с кресла, и если бы Робеспьер не поддержал старика, он упал бы в кустарник. Голова философа дрожала, руки с растопыренными пальцами были протянуты вперед, словно он стремился помешать вторжению какого-то несчастья. Через секунду все было на прежнем месте,—от внезапного испуга не осталось и следа.

«Бедный старик,—думал Робеспьер, уходя из сада,—преследования целой жизни не прошли для него даром».

Еще одно воспоминание: сегодня как раз годовщина Союза молодежи Арраса. В тот день в Аррасе собирались молодые буржуа на Праздник роз. Вино, дружба и поэзия, нежные лирические стихи—вот что было в этот день музыкой и душевным строем юриста Робеспьера. А потом вдруг королевский указ о созыве Генеральных штатов. Это какой-то лед на голову и огонь в сердце. Все закипело, вся жизнь закружилась, ни один день не проходил без собраний и блестящих речей. Робеспьер выставляет свою кандидатуру, и третье сословие Арраса посылает его депутатом Генеральных штатов. Вот начало новой жизни, вот день, открывающий ворота новых веков. Теперь две задачи: добить аристократию, раздавить богачей, создать из Франции республику доблести и гражданских добродетелей.

Робеспьер смотрит на часы, на догорающие свечи. Волнение мешает спать, он перебирает стенограммы Национального собрания. Толстая тетрадка, 12 мая 1791 года, речь Ланжуинэ. Робеспьер водит пальцем по бумаге, останавливается на строчках:

«Политические права не зависят от цвета кожи. Вследствие этого и белые и цветные свободно должны высказывать свои пожелания относительно организации колоний. Каким образом могли бы осуществиться политические меры, на основании которых цветные люди лишаются тех прав, которыми, как ставшие свободными, они пользовались еще сорок лет тому назад? Вы говорите, что цветные люди являются промежуточным классом между белыми, господами колоний, и рабами, вы настаиваете на том, что полезно противодействовать слишком большому сближению рабов и господ. Но скажите, откуда

возникли цветные племена, как не от самого большого сближения, разве зачастую они не являются детьми одной с вами матери, разве вы в их лице не видите зачастую ваших братьев, ваших племянников, ваших родных? Теперь вы подумайте: вопрос об их правах — только потому, что их цвет не отличается белизною кожи, и в этом все их различие с вами. Граждане владельцы плантаций, сидящие здесь, в здании Манежа, обращаюсь к вам, несущим с собой чванство смешных претензий, взгляните на себя в зеркало и скажите... — палец Робеспьера скользил по строкам, он читал: — Благодаря счастливому смешению рас цветные люди содействуют и силе американцев и уму природному европейцев, они обладают даже и большей силой, гибкостью, ловкостью, они обладают талантами строителей промыслов, — одним словом, они обладают всем, что украшает так называемого гражданина. Обеспечьте им свободу, — они будут исправными плательщиками налогов. За что же вы теперь хотите лишить их прав? Если вы произнесете над ними вечное отлучение и дадите в судьи их же тиранов, то вам же самим придется опасаться взрыва, который будет последствием этого».

Робеспьер читал дальше, что говорил гражданин Гупиль:

«Граждане, я землемер-геометр, я вместе с директором пороховых заводов, академиком Лавуазье, только недавно закончил работы над измерением высот восточных границ Франции. Вот теперь обстоятельства бросают меня, геометра неизмеримых высот, от возвышенных вычислений к земной задаче, для того чтобы проверить и соразмерить работу отвлеченную.

Сам Руссо, этот высший мыслитель, которому вы поставили памятник, счел необходимым изменить форму и урезать принципы общественного договора, прежде чем применять их к решению вопросов о конкретном плане государственного устройства польского государства.

Население Сан-Доминго состоит из огромного количества рабов, то есть людей с душою, сердцем и умных, но политически ничего не знающих; состоит из белых людей и наконец из цветных людей и освобожденных негров. Класс белых господ сам по себе подразделяется на две группы: владельцы плантаций, занимающие большие должности, и белолицые мелкие буржуа, которые, не обладая имуществом, посвящают себя обслуживанию дру-

гих белых людей. Цветнокожие, происшедшие от смешения белой и черной крови—все эти разной степени расцветки одной и той же человеческой природы,—зачастую являются и более богатыми, и более предприимчивыми, и более талантливыми, нежели люди белого цвета. Однако эти цветнокожие проискамы белых плантаторов приведены уже теперь в состояние крайнего угнетения, несправедливого и тяжелого. Располагая самостоятельным капиталом, они ежесекундно испытывают на себе тягчайшее состояние отверженных. Отвратительное отношение белых людей приводит их в состояние раскаленной ярости. Их отстраняют от всякого рода общественных должностей, они не имеют права даже интересоваться судьбами правящих ими учреждений. Это тем более оскорбительно, что белые, занимавшие во Франции самое последнее место на дне общественного колодца, имеют возможность—пользуясь покровительством не столько законов, сколько местных обычаев, против которых никто пойти не смеет,—ставить себя в Сан-Доминго гораздо выше владельцев самостоятельных предприятий только потому, что у них белая кожа. Никто из цветных людей не допускается к столу белого человека, даже если этот белый человек был только сыном сапожника, поставлявшего во Франции обувь цветнокожим купцам. Скажите, кто сеет смуту в колониях, как не белые люди? Кому нужна там атмосфера раскаленной ярости среди черных племен, как не тем белым негодьям, которые, наподобие Сервия и Катилины, сеют мятеж, чтобы в перегруппировках и перипетиях гражданской войны грабить имущество цветнокожих и завладевать их домами якобы в порядке политической кары? Так возникли в Сан-Доминго страшные слухи, были пущены среди черных и цветных людей подкидные листовки, была создана атмосфера тревоги. Люди, ждавшие от «Декларации прав» осуществления того, что им принадлежит по закону, вместо этого осуществления все как один попали в положение приговоренных. Таково положение вещей. Говорю вам: цветные люди уже решили избавиться от состояния унижения, в котором они были. Если мы лишимся наших рабов, скажут они себе, то нам нужно по крайней мере восстановить наши политические права. Брожение оказалось настолько сильным, что в результате белые колонисты пришли к выводу: будет час, когда уравнивание политических прав будет произведено насиль-

ственным переворотом. Отсюда один шаг к самому страшному — к тому, что рабы, почувствовав себя людьми, бешено устремятся к морю свободы. Не создавайте себе иллюзий, не разжигайте вражды между черными и цветными племенами. Речь идет не о том, возможно ли в данной революции урезать права цветных людей, — речь идет о том: удастся ли вам не допустить их к немедленно-му использованию своих естественных прав. Помните, что рабство колоний есть лишь часть общего рабства у нас на континенте...»

Робеспьер остановился и вздохнул. Он вспомнил, как спокойный, уравновешенный математик Гупиль нахмурил брови, весь его матовый и тихий обычно голос вдруг зазвучал на всю громадную залу Манежа и оттолкнулся от металлических подвесок на потолке. Он крикнул:

«У нас на континенте несколько миллионов граждан, не добившихся еще титула активных!!!»

По залу Манежа пронесся ропот, раздались крики негодования, — Гупиль наступил на больное место французской буржуазии.

«Да, он прав, — подумал Робеспьер. — Дюфурни недавно кричал о том, что все трудящиеся Франции нынешней Конституцией устраняются от участия в политической жизни страны. Самый бедный человек, несущий самую трудную, упорную работу, принужден влачить самое жалкое существование, а избирательный закон допускает к выборам только высоких цензовиков, людей, платящих малый налог с большого имущества».

Гупиль продолжал:

«Не прерывайте меня криками и шумом, соблаговолите, граждане Национального собрания, отметить, что я говорю здесь чистейшим языком вашей Конституции, я не касаюсь вопроса об евреях. Права этого древнего народа вовсе не определены вами, однако их гораздо более во Франции, чем цветных людей в колониях. Настанет час, и вам придется решить вопрос, предоставить ли всем обиженным права активных граждан, или они сами должны завоевать их оружием!»

«Верно, верно, — думал Робеспьер, — однако кто же этот Гупиль? Да тот математик-инженер, который говорил передо мной». Робеспьер перевернул страницу. Речь Гупиля кончалась словами:

«Можете ли вы рассчитывать на уважение к праву собственности, если вы не только *рабов*, но даже *людей*

свободных приравниваете к неживым существам, если находятся граждане, осмеливающиеся говорить об этом с трибуны Национального собрания. Что, если от этих речей вспыхнет пожар в колониях и блестящие речи рабовладельцев приведут к полному разорению плантаторов и освобождению негров! Пусть лучше белые колонисты обратятся к вам, как к государю-народу, с обязательством умерить свои претензии, пусть лучше протянут руку помощи цветным людям».

Теперь перед Робеспьером была ясная картина. Последние слова Гупиля показались ему, входящему на трибуну, каким-то странным желанием обойти простой и ясный принцип «Декларации прав человека и гражданина».

Он вдруг в устах лукавого геометра уловил ноты боязни: лучше пойти на уступки, лишь бы не осуществлять принцип в целом. Легким прыжком через две ступеньки Робеспьер, как кошка, взбежал на трибуну и вцепился в края кафедры. Молния чертила темные ощущения, одна четкая мысль — сбросить тактику Гупиля, ставить вопрос о принципах человеческой свободы в основу, вопреки опасениям о потере колоний.

Последнее движение руки, левая рука еще крепче стискивает доску трибуны, правая поднимается кверху, чтобы затушить возгласы, шум и шорох на скамьях. «Если бы мы боялись дворянских криков и дворянской боли, не нужно было бы поднимать революцию,— думал Робеспьер.— Однако теперь следует ли опасаться того, что принцип свободы режет барыши белых колонистов?»

Робеспьер стоял с поднятой рукой. Шум затихал по рядам, и только сбоку от входа раздались провокационные крики:

— Ах, это господин Робеспьер!

В ответ из другого угла:

— Это помесь лисицы с тигром!

Хохот и прежний голос:

— Бездарный адвокат из Арраса, не умеющий связать двух слов!

Председатель просит соблюдать порядок. Робеспьер начал намеренно тихим голосом:

— Предлагаю точнее ставить вопрос. Речь идет не о том, даете ли вы политические права людям с цветной кожей, речь идет о том, хотите ли вы отнять эти права, так как они принадлежат им до вашего декрета...

Стенограмма записывает: «Рукоплескания и крик аббата Мори: «Господин Робеспьер, в вашем имени соединились имена Робера и Пьера. Помните, что эти бандиты родные братья Дамьена-цареубийцы» — «Молчи, поп,— раздастся с другой стороны,— дай говорить Робеспьеру!» — «Долой попов! — раздастся из глубины залы».

Робеспьер опять поднимает руку. Председатель, стоя, гщетно стремится водворить порядок. Аббат Мори кричит:

— Если говорите: «Долой попов», то почему здесь сидит аббат Грегуар, потребовавший ареста короля? Он хуже Рейналя, безбожника.

— Молчи, продажная ряса! — кричат аббату Мори соседи старика Грегуара.

Робеспьер продолжает:

— Я настаиваю на том, что цветные люди имеют права, которых белые желают их лишить теперь, Революция...

— Довольно страшных слов! — раздастся голос из глубины зала.

— ...Революция,— повторяет Робеспьер,— вернула все политические права всем гражданам. Разве ваши декреты хотят отнять естественные права человека, хотят отнять качества активного гражданина, вы хотите отнять избирательные права даже у тех, кто по вашей Конституции платит налоги в размере трехдневного заработка? Тут ставится вопрос о том, что цвет кожи имеет какое-то значение при определении права на заработок, права на труд, права участвовать в избирательных собраниях. Я напому декрет двенадцатого октября, которым здесь хотите добиться исключения цветных людей из избирательных собраний. Но ведь этот декрет говорит о том, что в судьбе колоний вы не будете ничего менять без инициативы самих колоний, а проявление этой инициативы предоставлено также свободным цветнокожим людям, платящим налоги в размере трехдневного заработка. На каком же законе вы хотите основаться, выкидывая их теперь? Какая причина побуждает вас нарушить одновременно ваши же законы, ваши декреты и, что хуже всего, принцип справедливости и человечности? Кто-то настойчиво твердит вам, что если вы не отнимете у цветных людей их права, то Франция потеряет колонии. Откуда это? Все это потому, что одна часть граждан, называемая белыми, хочет присвоить исключительно себе все граж-

данские права, и они осмеливаются говорить перед лицом всемогущего народа, через своих наглых депутатов, чтобы вы опасались последствий недовольства колониальных хозяев, владельцев плантаций, белых богачей. Кто эти люди? Скажите им, что они представляют собой партию мятежников, грозящих зажечь колониальный пожар и разорвать ту связь, которая имеется между ними и метрополией, если вы не примете их претензий. Я спрашиваю вас перед лицом всей Франции, достойно ли законодателя совершать сделки с бессердечным корыстолюбием, со скупостью, алчностью и чванством богатого класса колониальных граждан?

Стоя за письменным столом, перед мигающими свечами, Робеспьер водил пальцем по стенограмме и облегченно вздохнул, прочтя пометку стенографа: «Аплодисменты на левых высоких трибунах».

Он читал дальше свою речь.

«Я спрашиваю вас, о граждане, насколько политично будет выносить решения, вымогаемые у вас угрозами богатых партий, принося при этом в жертву права людей, принося в жертву справедливость и человечность? Разве люди, имеющие другой цвет кожи, нежели французские колонисты, не могут спросить вас при этом: если вы отнимете у нас наши права, это вызовет также и наше недовольство, и мы положим не меньше мужества на защиту священных и неприкосновенных прав, полученных нами от природы, нежели те, кто прилагает усилия к организации тягчайшего нашего угнетения. Пусть наш противник не упорствует в стремлении отнять наши человеческие права. Справедливое негодование людей, рожденных в естественной свободе, даст нашему восстанию не меньше энергии, чем людям, коими руководят низкие чувства чванства и своекорыстия. Если они говорят об опасности, то об опасности говорят и другие. Барнаву мы обязаны одним замечанием — он тонко заметил, что наиболее богатые белые колонисты высказываются за мир с богатыми цветными людьми. Проследите во всех подробностях все, что говорится вам со стороны партии белых депутатов, прибывших из колоний: какая причина их крайнего нежелания разделить политические права со своими цветными братьями? Разгадайте, и вы увидите, что в основе всех опасений лежит одно: если вы дадите права активных граждан свободным людям цветной кожи, то вы уменьшите трепет негров перед своими

господами, а вот это и оказывается самой большой опасностью, ибо, с точки зрения белого господина, страх должен быть основным состоянием негров. Вы видите, до чего договорились эти господа, вы чувствуете нелепость этого положения? Скажите, влияют ли на покорность черных людей цветнокожие, состоящие на свободе? Уменьшается ли власть господина над их рабами? Наконец, выражаясь вашими собственными словами, разве вы не увеличиваете могущества хозяев, предоставив права цветнокожим собственникам, а если вы лишите прав цветнокожих, то тем самым вы сблизите их с неграми, находящимися в рабстве, и здесь ваши слепые опасения необоснованы. Если идет разговор о том, что Франция может лишиться колоний, то вы вашей политикой сближения негров и цветнокожих обеспечите прочный союз тех и других, вы укажете им дорогу согласно с их общими интересами. Вы запутались, вы не видите, к чему сводятся смешные претензии белых колонистов. В ослеплении они сами стремятся к своей гибели, они придерживаются политики лжи, соблазна, иллюзий и лживых убеждений. Чего они добились? Они добиваются созыва местных собраний исключительно из белых людей, чтобы эти местные собрания и решили вопрос о судьбе цветнокожих. Где тут соображение с природой? Где здесь согласие с разумом? Из кого будут состоять эти местные собрания? Из белых колонистов. Это значит, что вы судьбу людей цветнокожих отдаете в руки их противников. Вспомните, что было бы, если бы во Франции вместо представительства сословий был созван съезд депутатов аристократии для решения вопросов о том, должно ли третье сословие иметь двойное представительство».

В стенограмме отметка: «Все депутаты третьего сословия аплодируют господину Робеспьеру».

Робеспьер говорит:

«Я настаиваю, чтобы наиболее дорогие интересы людей, права человечества не были брошены в подчинение тому классу людей, которые выступают перед вами, желая добиться только власти. Здесь сидит господин Барнав, депутат из Гренобля. Мы слышали, что он пламенный оратор в Обществе друзей чернокожих. Что же он говорит? Он говорит, что решение колониального съезда плантаторов будет благоприятно для людей смешанной крови. Скажите, кто поверит этому? Я, отвечая за свои слова, настаиваю на обратном. Я даю вам гарантию

против, ибо колониальные владыки привыкли жертвовать всем, не исключая интересов родины, ради наживы и личной корысти. Это подтверждает их переписка, находящаяся у меня в руках. Так же твердо высказаны мнение и претензии, на которых они упорно настаивают в течение двух лет. На словах они обещают благоприятствовать людям цветной кожи, на деле они кричат во всех своих письменных обращениях к Франции, что торжество прав цветнокожих людей будет концом колоний и параличом торговых барьеров. (Рукоплекания.)

Говорю вам во имя справедливости: побежденных нельзя осуждать так бесчестно. Имея уважение к законодательным органам народной власти, разве позволительно думать, что народ можно соблазнить нелепыми доводами или, что хуже всего, обращенными к нам угрозами? Смотрите, на что бросаются такие люди, как господин Барнав. После нескольких противоречивых утверждений и явных софизмов выдвигается несколько фактов, как-то не вяжущихся с предыдущими речами, если вы это заметили. Расточив красноречие и не имея возможности убедить вас своими доводами, вас стремятся раздавить напрасным страхом, и вот господин Барнав выдумывает подозрительный эпизод, о котором вы здесь прослушали. Он говорит: «Вооружается Англия!» Хорошо, я принимаю эту тревогу, которая прокатилась как волна по скамьям Национального собрания. После этих слов я готов предполагать у английских правителей самые враждебные Франции намерения. Я не стану решать вопроса о том, зависит ли эта английская угроза от того мира или от тех войн, которые ежеминутно ожидаются против нас со стороны Англии, Пруссии и России. Если англичане попытаются использовать восстание в наших колониях, с чьей стороны они найдут наибольшую стойкость и сопротивление? Вы уверены в том, что двадцать тысяч белых колонистов, разозленных тем, что вы отвергли их безумную жадность, окажут Англии больше сопротивления, чем испытанные в наших войсках цветнокожие люди, сотни тысяч мулатов, привыкшие нести на себе тяжесть труда и усталости, испытанные в защите колоний от врагов Франции. Так я хочу сказать, что проект отнятия прав у цветных людей отнимет у Национального собрания репутацию представителя нации, отнимет признак справедливости и заставит Национальное собрание потерять титул Друга народа и покровителя человеческих

прав. Я спрашиваю, возможно ли будет назвать здоровой политикой принятие такого проекта?»

Робеспьер перелистывал дальше, быстро пробегая по строкам. Стенограмма кончалась словами председателя: «Из семи человек, вместе со мною составляющих бюро, четыре выражают сомнение по поводу текста. Я ставлю вопрос на общее голосование». Робеспьер отмечает карандашом: «Происходит общее голосование. Большинство 378 голосов против 236 собрание выносит решение поставить на обсуждение новый проект декрета. Заседание закрывается в пять часов».

Робеспьер посмотрел на часы. День клонился к вечеру, Марат, не разгибаясь, сидел за столом и быстро писал. Камилл Демулен перечитывал лежащие на столе рукописи и задумчиво посматривал в окно на вздувавшиеся волны реки, на тучи, собравшиеся над Парижем. Крепчал ветер, волны набегали на ступеньки. Народные трибуны озабоченно переглянулись; подметное письмо угрожало жизни одного из них, другому друзья посоветовали как можно скорее скрыться из квартиры, третий уже давно не ночевал дважды в одном и том же помещении. В Якобинском клубе каждый из них появлялся в окружении друзей-санкюлотов с более или менее увесистыми дубинами, и нападение на Робеспьера, Марата или Камилла Демулена у ворот Национального собрания или же при входе в Якобинский клуб было делом слишком трудным. Открытое выступление против народных трибунов не рекомендовалось и дворцовой интригой; участие двора в гибели кого-либо из вождей революции могло бы, с точки зрения Людовика, повести к обратным результатам. Сто шестнадцать золотых мостиков уже были проложены из королевского казначейства в сердца депутатов; это было более надежное средство, но опытные люди из дворцовых шпионов и стоустая молва Парижа сразу сделали безнадежными все попытки повесить золотой замок на язык Робеспьера. Ремесленники Сен-Марсо и рабочие Сент-Антуана видели, знали и слышали Робеспьера и дали ему прозвище «Неподкупного». Между подкупом и кинжалом не было средств, и приходилось терпеть, и тем не менее если постоянные судебные процессы направлялись против Марата за разоблачающие страницы «Друга народа», если парижская магистратура с Лафайетом во главе предполагала вполне достаточным простое привлечение Марата в суд по ничтожному делу о клевете на какого-

нибудь купца, с тем чтобы сразу после этого посадить Марата в тюрьму и не выпускать ни под каким предлогом,—то гораздо труднее было дело с Робеспьером, на которого не действовала никакая травля, которого невозможно было потянуть в суд и популярность которого доходила до того, что в любом уголке Парижа он мог найти себе пристанище.

Марат читал:

«Гражданин, рабочие Сент-Антуанского предместья предоставляют женам, старицам и детям вопить об отсутствии сахара; люди, бравшие Бастилию 14 июля, не пойдут в бой из-за конфет. Знай, гражданин Марат, что грубые и дикие нравы нашего округа больше всего в мире любят только две вещи: сталь и свободу. Пусть заговорщики, пусть скупщики, пусть враги французской революции узнают, что в момент, когда подкупленные люди или негодяи призывают наши пригороды и предместья к разгрому складов, мы спокойно куем копья, которые должны истребить заговорщиков. Мы выступаем с обличением скупщиков и спекулянтов всякого рода,—все, вплоть до продуктов первой необходимости, находится в жадных руках этих убийц народа. Разбойники больше всего кричат о священном праве собственности, но разве эта собственность не составляет преступления и нарушения народных прав? Марат, Друг народа, мы знаем, при рассказе о народной нищете в твоём чутком сердце закипит негодование против этих кровопийц. Проходя по улицам Парижа, взгляни на улицы и окна: в торговле царит полный застой, она еле дышит,—это следствие спекуляции. Мы хотим, чтобы ты и твои друзья издали закон о смертной казни скупщиков, чиновников и двора и тех, кто организует спекуляцию. Друг народа, ты должен знать, что нас сорок тысяч вооруженных людей. Помимо оружия из стали, у нас есть оружие вечной любви к Декларации прав человека, мы клянемся в братстве и помощи патриотам. Друг народа, граждане нашего предместья, собравшись в количестве десяти тысяч, пока что мирно и без оружия, в здании нашей приходской церкви, уполномочивают тебя: во-первых, провести закон о подавлении спекуляции, издать декрет, предписывающий административным органам наблюдение за всеми кассами, выпускающими банкноты, следить за сдачей обменных ассигнаций. Выяснить, какие ассигнации заготовлены в Англии для разрушения нашего рынка

и в каких местах Ла-Манша найдены ящики с фальшивыми ассигнатами. Во-вторых, мы ждем от твоей мудрости репрессивного и настолько справедливого закона, чтобы он одновременно обеспечивал возможность добросовестной торговли и обуздывал скупость тех торговцев, которые скупают и перепродают все, вплоть до костей убитых патриотов, чтобы продать их аристократам».

— Я уверен,—сказал Робеспьер,—что парижские купцы нарочно прячут сахар, кофе, колониальные товары. Они преследуют двоякую цель: увеличивают голод в стране для доказательства того, что революция виновата во всем, и Ламеты, Барнав и прочие негодяи составили шайку мятежников, которые хотят сорвать революционные законы и во что бы то ни стало хотят отстоять свои права на торговлю черными рабами, свои права на обкрадывание многочисленных плантаций неполноправных цветнокожих людей. Они оказывают давление на голодных людей в предместьях, те кричат в секциях о голоде, а Барнав, пользуясь этим, хочет вместе с Ламетами и Массиаком во что бы то ни стало добиться только одного—выдавить из Национального собрания такой декрет, который узаконяет рабство черных и цветных людей, ставя их в положение худшее, нежели то было до революции. Что сделал наш клуб? Мы дали клятву отречься от сахара, воздерживаться от кофе, возможно повести еще более суровую жизнь.

— Это не приведет к цели,—смеясь, сказал Камилл Демулен.—Друзья,—продолжал Демулен,—вся забавная мудрость Ликурга состояла в том, что он принуждал своих сограждан ко всевозможным лишениям. Однако искусство заключается не в том, чтобы отнимать у людей удовольствие, а в том, чтобы предотвращать злоупотребления. Ликург сделал своих лакедемонян равными таким же способом, как буря уравнивает тех, кого она приводит к кораблекрушению. Что касается нас, то мы не испытываем ни малейшего стремления к такому равенству.

— Ты неправильно говоришь,—злобно прервал его Робеспьер.—Как мог ты возражать против демонстрирования гражданами готовности нашего клуба к жертвам?

— Однако,—сказал Марат,—я хочу есть. Над Парижем идет дождь. Сена вздулась, и не пройдет часа, как избенка начнет протекать. Успеет ли Лоран Басс привезти нам еду и питье? Смотрите, начинается буря.

Робеспьер подошел к окну. Свинцовое небо. Тучи закрыли солнце. Волны бурливо хлестали около самой двери.

— Кто тебя научил выбрать это жилище, Марат? — спросил Демулен с некоторым волнением.

— Я привык ночевать здесь, — сказал Марат. — Ни разу никому в голову не приходило сунуться в эту дыру. Четыре раза меня заливала вода, весной я спасся отсюда вплавь, я почти тонул, но около берега меня вытащил гвардейский офицер. Пока я обсыхал, он разговаривал со своим товарищем о том, что он скорее вспорет живот собственной своей матери, чем позволит себе пойти против приказаний государя. Я чуть не бросился в воду при мысли о том, что это гвардейское чудовище стало моим спасителем. А тут еще он ко мне обратился со словами: «Ну, а что бы вы сделали, мокрый господин, на моем месте?» Я ответил ему спокойно, я сказал: «Скорее я зарезал бы всех королей мира, чем наложил бы руку на виновников дней моих». — «А кто вы такой?» — спросил меня гвардеец. — «Я — Марат, Друг народа», — ответил я ему и, спокойно выжимая свое платье, ушел с пристани.

— И он не погнался за тобою? — спросил Робеспьер.

— Нет, — ответил Марат. Взглянув на расстроенное лицо Камилла Демулена, Марат продолжал: — Милый Демулен, ты, кажется, расстроен, но ты хорошо умеешь развлекать своих читателей в газете, научись смеяться вместе со мною. Я тоже весельчак, и, пока нас не залило водой, поднимающейся из Сены, вы оба на голодный желудок послушайте мой веселый рассказ:

— Двадцать второго января, когда министр финансов, мэр и главнокомандующий послали для нападения на меня целую армию, я спал в соседнем переулке, как вдруг молодой человек, служащий у меня по письменной части, прибежал ко мне и со слезами на глазах объявил, что дом мой окружен несколькими батальонами. Мой хозяин тут же вошел в мою комнату вместе со своей женой; они были потрясены и хотели говорить, но вместо слов издавали только стоны. «Успокойтесь, — бросил я им, — все это пустяки». Я вскочил и потребовал, чтобы меня оставили одного. Никогда я не бываю так хладнокровен, как посреди угрожающих опасностей. Не желая выходить в беспорядке, из опасения возбудить подозрение, я тщательно оделся. Я надел сюртук, круглую шляпу, принял веселый вид и отправился по направлению к

Гро-Кайу сквозь отряд гвардии, посланный арестовать меня. Дорогой я старался развлечь своего спутника и сохранил прекрасное расположение духа вплоть до пяти часов вечера—время, когда мне должны были подать корректуру газеты, где я давал отчет о знаменитой экспедиции. Однако никто не приходил. Я почуял угрожающий мне удар; на другой день утром я узнал, что типография моя опечатана. День прошел для меня грустно. Путь мой пронюхали. Вечером дом был окружен шпионами, которых я узнал из-за жалюзи. Мне предлагали спастись с наступлением ночи через крышу. Но я прошел среди них днем под руку с одной молодой особой, идя самым спокойным шагом. Когда настала ночь, я отправился к большому бассейну в Люксембургском саду; там меня ждали два друга, которые должны были отвести меня к одной даме по соседству. Мы никого не застали дома, и я очутился на мостовой. Один из моих спутников расплакался; я своим смехом осушил его слезы. Берем извозчика, и я отправляюсь искать прибежища в недрах квартала Марэ. Прибыв на Гревскую площадь, хочется посмотреть на фонарь, намеченный для меня два дня тому назад, и я прошел под этим фонарем. Добираемся до улицы Перль; у нового моего хозяина гости, среди которых одно лицо мне несколько знакомо. Чтобы сбить с толку любопытных, надо было притвориться веселым, и веселье пришло само собой. После пятнадцатиминутного разговора я на ухо спрашиваю у хозяина, уверен ли он в такой-то личности. «Как в себе самом».—«Отлично»,—и я продолжал разговор. Я поужинал и отправился спать. Посреди ночи перед моими окнами останавливается отряд конницы. Я вскакиваю, приоткрываю окно. Вижу, никто не спешил; я преспокойно опять иду спать до завтра, когда надо было ретироваться.

Когда Марат кончил, Робеспьер и Демулен все еще смеялись. Якобинцы и суровые вожди революционной Франции были уверены в чистоте своего дела. Они без боязни смотрели в будущее и легко переносили трудное настоящее.

— Однако,—сказал Марат,—ты, Робеспьер, давно хотел показать мне речь Барнава и твои споры, закончившиеся позорным декретом по предложению аббата Мори.

Робеспьер порылся в бумагах и подал Марату документы.

«16 мая 1791 года Барнав говорил так:

— Нас обвиняют в том, что мы напрасно отнимаем время у Собрания ссорами по вопросам самолюбия. Комитет не изменил своего предложения. Он не должен был отказываться от тех мер, которые вначале считал необходимым ввести. Изменения стали вноситься нашими противниками. Мера, предлагаемая г. Рейбелем, абсолютно противоречит вчерашнему декрету. Вы постановили ставить на обсуждение статью г. Мерлена, а сегодня вам предлагают признать права цветных людей и свободных негров: это значит противоречить вчерашнему декрету. Это предложение к тому же совершенно недопустимо. Вы признали, что колонии являются настолько необходимыми для государства, что издали третьего дня особый декрет относительно них; захотев достигнуть цели, хорошо захотеть использовать все средства. Это средство должно быть посредником между гражданами и свободными людьми, и это посредничество должно быть провозглашено по поводу предложения колоний. Я считаю, что если Собрание вынесет решение, соответствующее сделанному предложению, несмотря на обещанную инициативу, оно не должно ожидать от него никакого спасительного результата. Я сказал, что белые владельцы благосклонно относятся к людям цветной кожи; но они дорожат обещанной им вами инициативой, и отнять ее у них — значило бы затушевывать в их душах добрые чувства. Следует сильно опасаться того, чтобы не был принят декрет, уничтожающий эту инициативу. Верно то, что наибольшее влияние правительства не остановит того эффекта, который произведет в сердцах мелкопоместных белых неожиданный декрет. Это приостановит доброе отношение к цветным людям и вызовет отчуждение к некоторым из них. Один из выступавших, лучше всего говоривший по этому поводу, совершил одну фактическую ошибку: он высказался за то, что ваш декрет будет губительным для белых. Я же вам говорю, что он не будет приведен в исполнение, что недостаточно средств для ниспровержения правительства и царящего брожения... *(Голос с левой стороны... ужас отчаяния.)* Ваш декрет разрушит доверие, которое является единственным длительным связующим звеном, могущим нам сохранить колонии, возбудит зависть, уничтожит нити благодарности, связывающие освобожденных людей с белыми.

Вот куда должен привести путь, начертанный комитетами. Предоставить колониальным собраниям инициати-

ву в отдельности — значит подвергнуть их наплыву чувств опасения и недоверия: ни одно из них не захочет, чтобы его упрекнули за высказанное желание, которое принудило бы остальных последовать за ним; никто не захотел бы проявить себя подобным образом около мелкопоместных белых. Они будут принуждены высказываться при наличии массы предрассудков, и это снизит степень благосклонности и справедливости по отношению к цветным людям, в то время как малочисленный комитет, который мы предлагаем организовать в Сен-Мартине, будет свободен от всех этих недостатков. Я прошу, чтобы приоритет был предоставлен предложению, которое Собрание большинством голосов постановило вчера вынести на обсуждение, и я хочу внести в него две поправки, которые сделают его тождественным предложению комитетов.

Г-н Робеспьер. Во время прений было высказано достаточно возражений тому, что говорилось здесь, г. Барнав. Что касается декрета, который, как он уверяет, был утвержден вчера, я замечу, что ставить какую-нибудь статью на обсуждение — не значит принять ее. Он убеждает нас в том, что, уже декретировав однажды рабство, мы, или, вернее, вы, не должны затрудняться ни перед чем остальным. Но было ли совершенно свободно произнесено вами это слово «рабство»? Ведь, вероятно, легко узнать тех, кто привел вас к этой жестокой крайности? Если вы приняли декрет, мысль о котором колонисты не посмели бы предложить шесть месяцев тому назад, то кажется странным, что вы ценою такой жертвы хотите сохранить принцип свободы по отношению к тем, кого вы сочли свободными. Что касается меня, то я чувствую, что я здесь для того, чтобы защищать права людей; я не могу согласиться ни на какие поправки и прошу, чтобы принцип был принят в целом.

Г-н Робеспьер спускается с трибуны среди повторяющихся аплодисментов левой стороны и всех трибун.

Г-н аббат Мори появляется на трибуне. Прения закрываются. Правая сторона и несколько членов левой просят поставить вопрос относительно редакции, предложенной г. Рейбелем. Вопрос откладывается.

Некоторые члены правой партии высказываются относительно сомнительности текста.

Г-н Робеспьер. Я настаиваю на том, чтобы был принят принцип.

По предложению г. Робеспьера Собрание переходит к порядку дня.

Г-н аббат Мори. Предосторожность, с которой должен действовать законодатель для поддержания справедливости и добрых нравов, побуждает меня предложить вам маленькую поправку, то есть сказать: «Национальное собрание декретирует, что оно никогда не будет ставить вопроса о состоянии цветных людей, которые не рождены от свободных отца и матери и не могут доказать законности своего рождения».

Никто не хотел бесконечно лишать цветных людей политических прав, но хотели привести к этому совершенно спокойно, с тем чтобы белые колонисты указали, какие предосторожности следует принять в данном случае. Вам не сказали, что свободные негры достойны большего интереса, чем цветные люди; они заслужили освобождение своей службой, в то время как цветные люди зачастую обязаны своим существованием самой постыдной проституции. Те законодатели, которые почувствуют необходимость защищать общественную нравственность, конечно, не будут приравнивать ублюдка к законному ребенку. Итак, я прав, когда прошу, чтобы цветные люди доказали законность своего рождения, дабы получить доступ к политическим правам; я не прошу для них ограничений, но я хочу, чтобы, когда они встанут в ряды администраторов, можно было бы им сказать: вы находитесь в стране, где рабство для цветных людей законно, а свобода является исключением. Вы хотите принимать участие в политических правах, дайте докончить нам... (Шум; просьба приступить к голосованию.) Я прошу вас не делать меня ответственным за ваши законы, не я их создал; вы имеете право сказать человеку, который носит еще на своем лице печать рабства (несколько голосов: «Это отвратительно!» — «К голосованию! Прения закрыты!»)... и который претендует на самый прекрасный титул, титул гражданина: вы хотите быть гражданином, не будучи свободным, мы вас не можем признать таким — докажите нам, что вы были освобождены... (Его прерывают — просьба перейти к голосованию.) Я делаю это замечание потому, что в колониях имеется множество несчастных, которые, будучи рождены от белых и негритянок, легко добились свободы, но которые, будучи брошены на произвол судьбы своими отцами, превратились в авантюристов. (Просьба перейти к голосованию.)

Г-н Гупиль. Прося поставить вопрос о поправках, я предлагаю еще следующее добавление: «Свободные цветные люди, рожденные от свободных, а не отпущенных на свободу отца и матери».

Г-н Редере. Я прошу поставить вопрос обо всех поправках.

Запрошенное Собрание решает не пускаться в прения по поводу поправок.

Г-н Вирье. Это грабительский декрет...

(Несколько голосов: «К порядку, к порядку!»)

Гг. Моналазье, Дейпрсмений, Делонэ, Малуэ, Клермон-Тоннер и др. возражают громкими криками и обступают кафедру, среди которой возвышается бюст Мирабо-старшего, преподнесенный Собранию на заседании, имевшем место третьего дня. Правая партия долгое время пребывает в сильном волнении.

Председатель. Усомнившись относительно текста, я не предложил его на утверждение два дня тому назад... *(Гг. Малуэ, Делонэ и большая часть правой партии: «Мы просим общего голосования».)* Но теперь, когда мои сомнения разрешены, я высказываюсь...

Г-н Фуко. Приняли ли вы вчера во внимание мое заявление? Были ли равноценны прения? Отвечайте.

Председатель. Мое вчерашнее поведение противопоставляется сегодняшнему... *(Правая сторона: «Да, да!»)* Вчера и я и бюро колебались, сегодня этих колебаний уже нет... *(Поднимаются сильные крики в правой партии.)*

Г-н Фуко. Эти господа замолчат, если вы ответите на мой вопрос...

Председатель. Некоторые члены, голосовавшие против декрета, удостоверяют, что все сомнения исчерпаны. Я хочу запросить Собрание. *(Большая часть собрания подтверждает, что сомнения исчерпаны.)*

Г-н Фуко. Я прошу, чтобы было отмечено то обстоятельство, что нами были приложены все усилия, чтобы спасти колонии. *(Большая часть правой стороны встает, чтобы присоединиться к этой просьбе.)* Статья, предложенная г. Рейбелем, ставится на голосование.

Вынесено следующее постановление:

«Национальное собрание декретирует, что оно никогда не будет ставить вопроса о состоянии цветных людей, не рожденных от свободных отца и матери, не будучи

побуждаемо к тому свободным и самостоятельным желанием колоний, что ныне существующие колониальные собрания будут существовать и дальше, но что цветные люди, рожденные от свободных отцов и матерей, будут допущены во все будущие приходские и колониальные собрания, если, впрочем, они отличаются требуемыми качествами».

(Зал оглашается аплодисментами.)

Г-н Мурине. Я предлагаю проголосовать вопрос поименно. *(Большая часть членов правой стороны спускается на середину зала и в волнении требует поименного голосования.)*

Собрание большинством голосов постановляет к поименному голосованию не прибегать.

Заседание закрывается в два с половиной часа посреди повторных аплодисментов всех трибун».

— Тут нет ничего для меня неожиданного,— сказал Марат.— Я всегда считал Барнава двоедушным, он еще себя покажет. Однако стало совершенно темно. Давайте закроем окна, зажжем свет.

Началась гроза, река потемнела. Народные трибуны, как на бивуаке, зажгли свечи. Трое сидели на деревянных скамьях у некрашеного покосившегося стола. Груды привезенных бумаг лежали вокруг; тени, бросаемые на стены, колебались, ломались по углам, так как ветер, проникающий в щели ветхой рыбацкой лачуги, превращал пламя шандалов в длинные горизонтальные огненные веретена. Марат, по обыкновению, жестикулировал и говорил горячо. Камилл Демулен смотрел на него большими грустными красивыми глазами. Его треугольная шляпа была похожа на корабль под бурей, когда свеча отбрасывала ее тень на простенок между двумя косыми окнами. Робеспьер казался сутулым от воротника из серого бархата, вздымавшегося над серым камзолом; чернели запонки его белого жабо, манжеты запачкались на грязном столе; он носил на лице печать усталости. Молния прорезала наступившую темноту. Сквозь ставни, вырезанные сердечком, Робеспьер увидел разъяренную Сену и в отдалений большую черную лодку с двумя гребцами. Мгновенно свет был погашен. Пистолеты Марата, кинжал Робеспьера, трость со шпагой внутри—

Камилла Демулена — все было выложено на стол в наступившей темноте.

Прошли томительные четверть часа. Робеспьер сказал: — Очевидно, это мимо острова. Это не лодка, это целая шаланда. Лоран Басс, очевидно, не приедет.

Раздался знакомый пятикратный стук в дверь, и все опасения исчезли. Застучало огниво, загорелись свечи. Лоран Басс с тяжелой корзиной вошел в лачугу, придерживая дверь ногой. За ним вошла женщина. Это была Симонна Эврар. В домашнем белом чепчике с кружевами, в широкой юбке с кружевной пелериной, крест-накрест подоткнутой под передник, белокурая, с веснушками на носу, голубоглазая, она щурила глаза, попав в светлую комнату, и безмолвно, спокойно и приветливо улыбалась Марату. Робеспьер и Демулен приветствовали ее. Она спокойно подошла к столу и, расставляя приборы, сказала:

— Вы хорошо сделали, что покинули Париж. После вчерашней бойни волнение продолжается. На этот раз все, и даже гражданин Демулен, сделались предметом особого внимания Лафайета. Маркиз кричал о необходимости растоптать лошадьми всех якобинцев. Друга народа ищут по всему Парижу уже давно. Что касается вас, гражданин Робеспьер, то ваш квартирохозяин, гражданин Морис Дюпле, просит вас не беспокоиться, к нему никто не заглядывал, но в прежней вашей квартире перерыто все сверху донизу. Мадемуазель Шарлотта, ваша сестра, и мадемуазель Елизавета по-прежнему ссорятся. Мадемуазель Шарлотта кричит о том, что вы пропали и не вернетесь вовсе.

— А мадемуазель Елизавета Дюпле кричит вашей сестрице, что она знает господина Максимилиана Робеспьера не хуже родной сестры, — выпалил залпом Лоран Басс.

Робеспьер махнул рукой. Он выпил стакан красного вина и стал есть печеные яйца с хлебом, обильно посыпая ломоть серого хлеба резаным луком. Марат осторожно отщипывал кусочки хлеба и, посмеиваясь, смотрел в глаза Симонне Эврар.

Его подруга не обнаруживала ни суетливости, ни болтливости; спокойная легкость, уверенность и округлость движений резко противоречили беспокойному образу жизни, который выпал на ее долю с того дня, как она соединила свою жизнь с жизнью Друга народа. Когда

говорил Марат, она смотрела на него внимательно и спокойно. Ее понимание сказывалось в улыбке, озаряющей ее глаза, спокойные и ясные; легкость движений и большая уверенность говорили о твердой и бесповоротной воле и полном отсутствии каких бы то ни было сомнений в раз принятом пути, и этот путь был один — общий с Другом народа и с ее другом, Маратом. Она была дочерью французского народа, она была дочерью парижского предместья, той деревеньки, которая вот-вот будет поглощена Парижем в тот день, когда город выплеснет свои стройки и дома, свои улицы и переулки за пределы окружающих его стен. Она была парижанкой со всем героическим напряжением страстной воли к свободе, она была простолюдинкой со всей простотой большого и цельного сердца. Беспокойные одинокие ночи, недели, когда Друг народа скрывался, не давая о себе вестей, не казались ей тягостными. Ни одного упрека за трудную жизнь, которая выпала ей на долю, ни разу не сорвалось с ее уст, и пальцы с одинаковой легкостью и безропотностью штопали рваную одежду Друга народа и по ночам правили корректуры листов, из которых каждый мог стоять ей жизни и свободы. Она легко и незаметно, смешиваясь с девушками Пале-Рояля, проходила мимо условных углов зданий, где на фундаменте, на цоколе нужно было сделать мелом отметки, которые тысяченогой почтой Марата передавались ему буквально в несколько минут. Марат привык к ее молчаливости. Чем дольше они жили вместе, тем меньше они говорили, чем больше воздуха одной и той же комнаты вдыхали они общим вздохом, тем легче, тоньше и воздушней становились их взаимоотношения. Помогая и становясь друг другу необходимыми как воздух, они почти не нуждались в словах. Суровость и простота героических будней Якобинского клуба не казались ей тягостными, и, смотря на жизнь ясными и простыми глазами, она никогда не считала эту жизнь обещанием какого-то праздника. Она счастлива была в этих бурях, в тысяче волнений, в бессонных ночах, днях, неделях беспокойных скитаний по кипящему, взволнованному, клокочущему Парижу.

Утолив голод, Робеспьер сказал, отвечая на собственные мысли:

— Барнав не страшен, страшен Бриссо, ибо что может быть страшнее, как остановиться на полдороге,

ведя за собой народ? Нация, вверяющая свою жизнь неполноценному врачу, может испустить дух в минуту его хирургических колебаний. Мне отвратителен Бриссо, мне отвратительны всякие полумеры. Поверьте, друзья, пройдет полгода — они будут требовать войны для того, чтобы раздражить муравейник, и деспоты всей Европы кинутся для того, чтобы спасти шкуру одного Капета. О, только бы не было войны, и Франция найдет свой путь к свободе. Из наших якобинцев я боюсь только Виллара, Бонненкара и Дефье, — я думаю, что они шпионы короля. Из Клуба Кордельеров я боюсь Дантона, хотя мы больше всего доверили ему. Что происходило вчера? Мне на всю жизнь запомнится это семнадцатое июля. Кордельеры возложили на алтарь свободы, построенный на Марсовом поле, свою петицию о республике. Мирно шли парижане, и что же сделал муниципалитет? Он послал национальных гвардейцев Лафайета, и в семь часов вечера началась гвардейская атака. Лафайетовские ряды бегом, стреляя беглым огнем по толпе, ворвались на Марсово поле, развернув впервые за все время революции красное знамя военного закона, под которым королевские офицеры вели войска для подавления мятежей. Пусть не торопятся, — будет время, красное знамя окажется у нас в руках. Сантер-пивовар наварит им пива. Две тысячи санкюлотов, вооруженных пиками, пассивные граждане Сент-Антуанского предместья, все требуют низвержения монархии и установления республики, а я требую суда над королем. Но я презираю этого Бриссо, он может нам все испортить, как чиновник, желающий выполнить дело только наполовину.

Симонна Эврар тихо сказала:

— Я удивляюсь, как вы вчера уцелели. Сегодня перед вечером уже расклеен декрет, закрывающий ваши газеты. Муниципалитет угрожает вам террором.

Марат засмеялся.

— Проследите-ка за Национальным собранием! Я думаю, что нам сейчас лучше всего вернуться в Париж. Пусть ухищряется в поимке Лафайет, но помните, что Национальное собрание становится активным после такого народного волнения, оно даже может издавать хорошие законы после мятежа. Давайте воспользуемся этим, ибо, как только наступит спокойствие в Париже, Национальное собрание снова приступит к изданию пагубных законов.

Пятеро собеседников замолкли. Лоран Басс ел громко, капли падали у него с полей мокрой шляпы, волосы прилипли ко лбу, и сквозь тонкую рубашку, промокшую насквозь, проглядывали загорелые плечи и волосатая грудь. Камилл Демулен набивал табаком трубку, сдувая при этом пепел, горкой высыпанный из трубки на угол стола. Робеспьер говорил:

— Бриссо бегаёт по Парижу, разыскивает очаги мятежей, происшедших на Сан-Доминго, и, как всегда, выступит с половинчатой речью, не называя имен, опасаясь сказать полную правду, замазывая, запутывая, маскируя события. Кажется, все ясно: до тех пор пока в колониях не будет свободного труда, свободных людей, Сан-Доминго и Гаити будут очагами кровавых восстаний и убийственных мятежей. О чем нужно поднять вопрос? О прекращении спекуляции, о продаже по твердым ценам сахара и кофе со складов таких биржевиков, как Дельбе, Данкре, Баскари. Бриссо никогда не додумается до этого, он никогда не нащупает настоящего очага восстаний.

Незадолго до рассвета буря утихла, пятеро сели в лодку. Через три часа в разных местах из лодки выходили разные люди. На песчаном берегу около моста Ошанж Марат и Симонна Эврар вышли на песчаную отмель. Лоран Басс завел лодку в затон и последовал за ними.

Глава шестая ЛЕГИСЛАТИВА

Овца поедает тарантула.

Бюффон

Национальное собрание кончило свою работу 30 сентября 1791 года. Оно создало конституцию, сломившую французский феодализм и утвердившую колоссальное неравенство граждан по имуществу. Буржуазия, решившая созвать Законодательное собрание только активных граждан Франции, провела тот принцип, что никто из членов Конституанты не может быть избран в Законодательное собрание, осуществляющее конституцию. В Легислативу и Законодательное собрание сошлись 264 депутата от буржуазной аристократии, 345 депутатов центра, всегда голосующих с правыми фельянами, и 136 якобинцев, которые заняли левые скамьи и самые верхние

трибуны—гору: торговые города Бордо, Марсель, так называемые депутаты Жиронды, взяли в руки смычок первой скрипки, им вторил центр, но иногда их голоса прерывались, когда на всю страну раздавались крики с верхушки, с горы, когда якобинцы, монтаньяры вдруг объявили себя врагами Жиронды.

Третьего декабря 1791 года около входа в Национальное собрание дежурили спешенные драгуны свободы. Зябнувшие лошади дрожали; пританцовывая, позванивая шпорами, ходили взад и вперед кавалеристы, как вдруг из-за угла, среди огромной толпы народа, выступила толпа матросов. Загорелые, с острыми глазами, они катились волной по улицам и рассыпались шпалерами около ворот. На тощих клячах, в экипажах, оставлявших длинные следы по талому снегу, въехали в ворота семнадцать человек, богато одетых, здоровых, упитанных.

Робеспьер с любопытством вглядывался в их лица; он шел в Законодательное собрание с билетом простого гостя, ему хотелось слышать речь господина Бриссо, обещавшую на сегодня «большой день», но его чрезвычайно удивили въехавшие экипажи. Вот кучера, приготавливающие большую синюю карточку, удостоверяющую право на вход.

Робеспьер всматривался в лица пассажиров. Вот знакомый конторщик господина Массиака, вот счетовод сахарного спекулянта Дельбе, а вот и знакомый человек в шубе, отороченной мехом рыжей лисицы, остроносый, с черной повязкой, закрывающей левый глаз, с большой тростью с набалдашником из зеленого камня. А вот еще знакомый—это приказчик колониальной лавки на углу улицы Генего. А вот капитан какого-то океанского корабля со зверским лицом и рыжими баками, с трубкой такого размера, что, кажется, в нее можно опустить грудного младенца, и вот остальные люди с выпученными глазами угодливых клерков, чиновников для письма, бухгалтеров—холопов господских цифр, с песьим оскалом голодных ртов, злыми, холодными, недоверчивыми глазками—верных сторожей хозяйского сундука.

«Это зверинец,—думал Робеспьер.—Кто эти люди? Что это за торжественное шествие мастеров бухгалтерии и актеров счетоводного ремесла?»

Робеспьер занял свое место. Заседание уже шло. Какой-то неизвестный человек, стоя на кафедре, кричал:
— Господин Болдуин, директор королевской типогра-

фии, раздает депутатам бывшего Национального собрания огромные тома стенограмм, напечатанных ин-кварто. Вполне понятен протест нашего Законодательного собрания против этого навязывания на шею нации расходов в тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят ливров для бывших членов бывшего Национального собрания. Я предлагаю остановить эту раздачу.

— Нет ли возражающих? — спрашивает председатель.

Среди шума ничего не слышно. Председатель звонит в колокольчик и кричит:

— В порядке дня отчет колониального комитета. Я спрашиваю собрание, не хочет ли оно теперь же заслушать депутатов из Сен-Мало, приехавших сюда, чтобы говорить на ту же тему?

Робеспьер смотрит. Собрание решает заслушать депутатов немедленно.

«Ах, вот это кто! — подумал Робеспьер. — Как, эти приказчики колониальных магнатов, как, эти счетоводы сделались внезапно делегатами Сен-Мало? Еще немного, и они, пожалуй, превратятся в делегатов с острова Гаити».

Сзади послышался голос:

— Теперь понятно, почему нет сахара. До тех пор, пока не перережут всех негров и мулатов, восстания не прекратятся в колониях. До тех пор, пока колонии в агонии мятежа, Париж будет голодать.

Ему ответил второй голос:

— Если уничтожить рабов, то господа совсем перестанут доставлять сахар, — кто же будет убирать плантажи?

Рядом с трибуной садятся депутаты из Сен-Мало. Человек с повязкой на глазу, споткнувшись, поднимается на кафедру.

— Входишь, словно на эшафот, — сказал он довольно громко, обращаясь к своим, сидевшим на скамьях.

— Практикуйся перед растратой! — крикнул ему один из бухгалтеров.

Человек с черной повязкой на глазу начал:

— Граждане, вам представлен вчера от господ комиссаров Генерального собрания Франции, партии Сан-Доминго, документ, рисующий картину ужасающей нищеты. Вы обрушились на эту часть французского владычества. Причина этих пожаров существует и поныне. Вам, сидящим здесь, во Франции, известны имена тех, кто участвует в мятеже, чтобы уничтожить повсюду на зем-

ном шаре основу всякой власти. Говорю вам, что северная часть Сан-Доминго сплошь облита кровью белых и черных. В Париже есть друзья чернокожих, и если бы усилия этих друзей увенчались успехом, если бы им удалось осуществить свои пожелания, то мы снова увидели бы возобновление кровавых сцен людоедства. Предшествующее Национальное собрание поставило колонии и их владения под национальную охрану. Увы, это обещание нам не поможет. В настоящее время комиссары колонии прибегают к вам, просят вашей защиты и помощи от страшных бедствий и ужасов. Здесь сидят граждане из французского порта Сен-Мало. В нем разгружаются колониальные грузы, отсюда везут в Париж сахар и кофе. Граждане Сен-Мало не соблазнились ложной филантропией, они совсем далеки от абстракции лживой философии. В границах колонии эти граждане Сен-Мало видят людей, имеющих большое имущество и индустриальный талант. Граждане Сен-Мало знают господ офицеров, генералов и лейтенантов, стоящих у власти в колониях. Граждане Сен-Мало уверяют вас, что они ручаются за этих людей,—французские военные власти отличаются справедливостью и оберегают интересы хозяев-колонистов. Помните, граждане, что шесть миллионов французов существуют, кормятся и дышат только благодаря тому, что колониальные хозяева владеют своими плантациями, но не пеняйте, если эти шесть миллионов погибнут согласно позорному желанию, которое выразило ваше Национальное собрание.

— Что? что? — раздались голоса. Шум и крики прервали оратора. Кто-то вскочил с места, выставив ноги вперед, встал на спинку нижнего кресла; кто-то высоко поднял руку вперед и машет красным колпаком.

Робеспьер узнал их: это Лекуантр, Пюираво. Они кричат:

— Остановите грубияна, это обвинение ложно, это клевета против Собрания! Если кто ищет у нас потерянных доходов, то, конечно, найдутся люди, готовые их слушать,—так заткните им глотки. Представители нации, вы покушаетесь на собственную честь, если дальше будете слушать колониальных истцов и клеветников.

На левой встает Лякруа. Показывая на звонок председателя, он кричит:

— Не звоните, призовите лучше к порядку и уважению истцов. Если они хотят, чтобы Законодательное

собрание их слушало, не разрешайте им говорить иначе.

Человек с черной повязкой на глазу скалит зубы, грозно смотрит одним глазом по скамьям вверх. Председатель делает разочарованный жест, разводит руками и обращается к нему с каким-то выговором. Счетоводы, бухгалтеры, капитаны кораблей вскакивают с мест и кричат, пока наконец голос одного оратора не выделяется ясно:

— С Францией покончено, вы виноваты в том, что разразился ужасный крах со всевозможными последствиями. Вы распустили рабов.

Тут его снова прервали. Всеобщий ропот.

— Мы требуем самого необходимого,— вдруг загудел он, покрывая негодующие голоса депутатов,— мы требуем водворения мира в Сан-Доминго, мы требуем введения большой вооруженной силы, способной водворить спокойствие железом и кровью. Если Франция—наша родина—не придет на помощь хозяевам плантаций, то колонии будут разорены.

Законодательное собрание затихло. Человек с черной повязкой на глазу, учитывая момент, вдруг переменил тон. Обстоятельно и сладко он произнес:

— Ваша мудрость продиктует те средства, которые предохранят французские колонии от разорения. Что касается нас, то мы обязуемся поддерживать те меры, которые вы сочтете необходимым предпринять.

Председатель встает с жестом, не лишенным патетики. Он произносит формулу, определяющую поведение собрания. Среди затихающего шума раздается его голос:

— Законодательное собрание заслушало с самым горестным интересом повествования о несчастиях, поразивших наши колонии. Каково бы ни было расстояние, отделяющее Францию, каковы бы ни были океаны между нами и колонистами отдаленных островов, Законодательное собрание с непоколебимым усердием и мужеством предпримет все, чтобы помочь несчастным.

— Не слишком ли большие посулы?—крикнул Робеспьер.

Председатель не обратил внимания на этот крик, но отступил шаг назад и добавил:

— Только Законодательное собрание проницательным взглядом сумеет отыскать источник происшедших зол и несчастий.—Затем, сделав небольшую ораторскую

паузу, он произнес: — Собрание приглашает всех граждан, делегатов Сен-Мало, участвовать в заседании.

Раздаются аплодисменты, и вдруг на трибуне появляется не кто иной, как сам господин Массиак. Прерывающимся, охрипшим голосом он кричит:

— Вы заслушали истцов и уголовного прокурора в лице этих бесстрастных и доблестных офицеров, вы заслушали уполномоченных комиссаров от всех комиссаров колоний, и если вы хотите соблюдать ваш долг перед богом и людьми, то ускорьте решение всех вопросов, связанных с судьбой несчастных колонистов, докажите же этим умоляющим вас душам, что Франция не намеревается покинуть их в постигшей беде, что восстание рабов не будет покрыто еще большим преступлением — равнодушием метрополии к колониям-кормилицам. Я знаю твердо, что в этом городе, что в столице Франции... — голос Массиака сорвался; по рядам собрания пошел ропот. Массиак закончил: — Я знаю, что в этом городе существует некий очаг клеветы, злодейства и бунта.

Массиак быстро сошел с трибуны. Слова его были настолько резки, а голос настолько сильным, появление следующего оратора — настолько быстрым, что собрание не успело реагировать, тем более что Лякруа, громовым басом произнеся одну фразу, всех призвал к порядку:

— Я предлагаю, чтобы Законодательное собрание, отложив все остальные дела, посвятило внимание вопросу о колониях.

На трибуне появляется господин Верньо.

«Однако, — подумал Робеспьер, — Жиронда сыплет ораторами, как горохом. Какие бойкие люди, какие самонадеянные голоса!»

Верньо говорил:

— Невозможно допустить, чтобы колониальные комитеты делали сегодня свои отчеты Законодательному собранию. Граждане комиссары из Сан-Доминго вчера вечером читали вам свою длинную петицию, и в комитете возникла совершенно ненужная и лишняя работа, которая задержит представление полного отчета. Вместо того чтобы комитету говорить о принципах основанных колоний, ему приходится разбираться в бумагах, доставленных в большом количестве в комитет от колоний. Сведения приходят со всех сторон, и даже мне сейчас вручили индивидуальные петиции, имеющие, по видимому, также какое-то отношение к колонистам.

Верньо зачитал несколько писем от пассажиров французских кораблей, прибывших из города Капа, с острова Гаити. Пароходами во Франции они были подвергнуты карантину, арестованы и схвачены по подозрению в принадлежности к мятежной организации колоний. Эти пассажиры океанских кораблей спрашивают: где же хуже, в революционном Бресте или на обломках Капа, охваченного пожаром восстаний?

Скомкав последнюю фразу, Верньо сошел с трибуны, и вот появился главный враг Робеспьера. Гражданин Бриссо, подслеповатый, сутулый, входит на трибуну с таким видом, как будто он родился государственным деятелем и законодателем.

«Вот герои нынешней политики»,— подумал Робеспьер и крикнул с места:

— Бриссо, почему продаешь облигации Северо-Американских Штатов?

Бриссо не ответил,—победители великодушны. Он с видом спокойного достоинства начал свою речь:

— Я дал торжественное обещание к первому декабря найти и выдать вам зачинщиков мятежа в колониях. Граждане, я исполнил свое обещание...

Красноречивая пауза, Собрание затаило дух. Бриссо ораторски воспользовался этой паузой и, для того чтобы еще более напрячь внимание депутатов, кокетливо произнес:

— Я готов говорить, я спрашиваю Собрание, хочет ли оно меня слушать?

Аплодисменты были ему ответом.

Но заряд пропал даром. Председатель получил записку и, встав рядом с Бриссо, словно закрывая ему глотку ладонью, заявил Собранию:

— Поступило предложение отсрочить на десять дней обсуждение колониальных вопросов...

И опять сбоку вклинилась голова Массиака: не прося слова, он кричал петушком:

— Я имею честь уверить вас, милостивые государи...

При словах «милостивые государи» ропот пронесся по Собранию.

— Господа... граждане,—поправился Массиак,—я имею честь уверить вас, что отчет колониального комитета представляет собой тяжелую, длительную работу, что всякий доклад перед этим отчетом комитета будет умело обдуманым докладом. Я прошу вас, я умоляю вас во имя

интересов Франции, чтобы вы уполномочили добиться у морского министра расследования, разыскали факты в официальных донесениях, которые скопились у него за время страшных мятежей и буйств цветнокожих колоний.

Гаран-Кулон, обменявшись знаками с Массиаком, добавил, несмотря на то что колокольчик председателя готов был призвать непрощенных ораторов к порядку:

— Я не возражаю против какой бы то ни было отсрочки. Сведения, полученные комитетом колоний, сильно расшатали его работу, Конституанта издала декрет о правах цветнокожих такого сорта, что если в разных местах острова вздумают осуществить этот декрет, то ежеминутно может вспыхнуть новый пожар в колониях,—поэтому во всех работах Учредительного собрания мы категорически требуем, в целях предотвращения новых беспорядков, как можно скорее декретировать защиту колонистов. Ваша мудрость, граждане, должна подсказать вам содержание этого декрета.

— Довольно прений,—закричал Верньо,—довольно споров, мы хотим слушать Бриссо!

Собрание настораживается, депутаты садятся поудобнее, Бриссо начинает речь.

— Ужасные события повергли Сан-Доминго в отчаяние. Внезапно, как кровавая гроза, разразились восстания черных людей, самые страшные и самые грандиозные, какие только видел когда-либо мир. Медленные и неправильные меры предосторожности повели к тому, что раскол на два лагеря упрочился, мятежники росли в количестве, и в конце концов, ввиду неизбежной опасности, французские хозяева Сан-Доминго, увы, обратились за помощью к иностранным войскам, и после нескольких сражений,—которые, правда, в Европе были бы названы скорее перестрелкой,—те, кого вы считаете виновными, были принуждены просить пощады, и было восстановлено сомнительное спокойствие. Но при этом было разгромлено огромное количество сахарных и кофейных складов, убито или повешено от пяти до шести тысяч негров, перерезано от пятисот до шестисот белых. Печальные результаты, ужасное несчастье, отклик которых отзывается на балансе торговли и на частных состояниях. Я хочу найти источник этого зла, найти его причину и выдать его зачинщиков.

После первых трех лет составления и аннулирования декретов и противоречивых отчетов положение наших

островов оставалось еще неизвестным; это объясняется тем, что секрет был в руках людей, державших нити всех заговоров. Наконец будет выявлена истина. Вместе с Ювеналом я скажу: пусть бледнеют те, души которых оледенели при воспоминании о стольких преступлениях. Но здесь вы не увидите оттенка партийности. Законодатель не должен брать за основу ссоры индивидуумов. Законодатель, подобно божееству, может быть оскорбляем в своем святилище, но, подобно божееству, он должен презирать оскорбления и мстить за них, продолжая делать добро. Следует наконец разорвать покров и сказать, что это было не только восстание черных, но также и восстание белых, *которых следует наказать, белых, которые, желая стать независимыми, одновременно желали освободить себя и от законов равенства*, противоречащих их гордости, и от долгов, мешавших их пристрастию к развлечениям,— вот что следует доказать.

Население Сан-Доминго состоит из четырех классов индивидуумов: белых колонистов, мелкопоместных белых, цветных людей и рабов. Белые колонисты представляют собой людей двух родов: не имеющих долгов, потому что они сумели внести порядок в свои дела, привязаны к Франции и любят цветных людей, которых они считают опорой колонии; колонистов-расточителей, ведущих рассеянный и непроизводительный образ жизни, которые не любят ни французских законов, ни цветных людей. Они не любят французские законы, потому что режиму свободы не известны просрочки векселей и всевозможные отсрочки. Они не любят цветных людей, потому что последние, не имея долгов и регулярно ведя свои дела, захотят выполнения законов. Таким образом, враги цветных людей оказываются также врагами нашей конституции, несмотря на то что равенство не является ее базой; но, опрокинув деспотизм всякого рода, она все же сохранила деспотизм белой кожи. Этот род белых колонистов, желая продлить тиранию и избавиться от долгов, направлял колонии по пути к независимой аристократии. Хотите ли сразу узнать этих людей? Вот слова одного из них, обращенные к королю: «Государь, ваш двор полон креолами».

Он был прав; между ними и придворными существовало родство порока, аристократизма и деспотизма. (*Ап-лодисменты.*) Этот класс колонистов имеет очень сильное влияние на мелкопоместных белых, которые являются

пасынками Европы и которые все свои надежды полагают на грабежи владений цветных людей. Цветные люди, требования которых внушают такой интерес, являются людьми, рожденными от белых и африканок. Они составляют собой третье сословие колоний. Этот полезный и трудолюбивый класс людей состоит из владельцев и ремесленников; они являются друзьями порядка и законов и желают жить под их властью, потому что проявление законной власти не ощущается людьми, руководимыми чистыми побуждениями.

Последним классом является класс рабов. Я не буду рисовать вам двойную степень рабства и жестокости. Услышав заколдованное слово «свобода», негр ощутил волнение, так как сердце черного также бьется для свободы. (*Аплодисменты.*) Что же произошло? Рабы спокойно остались в оковах, и они не пытались бы их разорвать без вмешательства ужасных людей, которых вы научитесь узнавать. Владельцы и богатые люди, желавшие получить хорошее колониальное правительство, предпочли мятеж контрреволюции. Цветные люди, пламеневшие справедливой надеждой к догмату равенства, с любовью думали о революционной Франции. Напротив того, колонисты-расточители отвергли ее. Эти люди, которые, как мы видели, служили слугами двору и вместе с тем народу, брали, оставляли, снова брали знаки деспотизма и национальных цветов.

При известии о революции администрация Сан-Доминго возбудила преследование против цветных людей и вызвала недовольство военных. На Мартинике поступили более умело: все классы были одновременно восстановлены друг против друга, и контрреволюция произошла при помощи соблазненных и введенных в заблуждение мулатов. В Сан-Доминго ею руководили белые. На Мартинике они служили только орудием борьбы.

Повсеместно необузданное население состояло на службе только колонистов-расточителей, ибо честные люди никого не покупали и не нанимали. Они деньгами колоний оплачивали свои мнимопатриотические отряды, так что каждому человеку приходилось по восемь франков и семь су. Понятно, каким образом этой партии удалось, несмотря на свою немногочисленность, покорить города, господствовавшие над деревнями.

Они покоряли города при посредстве штыков, состо-

ивших у них на жалованье. Такова партия, которой мы должны приписать несчастья колоний. Контрреволюционеры Франции действовали с ней заодно. Одни хотели вырвать колонию из рук Франции, другие мечтали отнять их у революции; каждый толкал друг друга на восстание, потому что беспорядки были целью как одних, так и других.

Третьим проектом был проект независимости. Некоторые хотели отделиться от метрополии; этому должно было благоприятствовать восстание негров. Они стремились к независимой тирании, потому что тирания составляла их радость и потому что независимость могла погасить их долги. Я могу подтвердить эти предположения фактами. «Сан-Доминго никогда не был покорен, никогда не был приобретен, некогда был независим... Сан-Доминго самостоятелен; его зря называют колонией,—он представляет собой настоящее государство...»

Таковы выражения, которые можно найти во всех документах, опубликованных той нелегальной депутацией, которая предстала перед Генеральными штатами и которая еще более нелегальным образом руководила действиями Национального собрания в отношении к колониям. Последите за их поведением в ту эпоху. В письме от двенадцатого августа тысяча семьсот восемьдесят девятого года, послужившем началом всем смутам, один из них писал: «Здесь все пьяны свободой; следует привязать цветных людей»; словом «привязать» он хотел сказать «заковать». Из центра Парижа эти депутаты диктовали смертные приговоры, которые тщательно выполнялись комитетами, составившимися в колониях. Они советовали не допускать во Францию въезда ни одного из цветных людей, открывать и просматривать их корреспонденцию.

Руководствуясь все тем же духом независимости и опасаясь власти министерства, они восставали против того, чтобы в колонии были посланы войсковые отряды; они подбивали колонистов препятствовать их высадке, если бы таковые прибыли. Преследуя одну и ту же систему, они советовали министерству дать цветным людям титул граждан их владений, боясь, как бы иначе министерство не приблизило их к себе. «Если для них можно сделать какое-либо добро, то надо, чтобы это добро было сделано через нас»,—говорили они. Если тайная цель независимости возбудила какие-либо сомнения, то было бы достаточно

вспомнить все прежние их попытки. Они советуют комитетам и колониальным собраниям по своему усмотрению менять конституцию, которая им будет дана. «Сделайте так,—писали они,—чтобы колониальные собрания получили большее влияние, нежели исполнительная власть». Наконец они с коварной ловкостью организовали систему терроров, которой они запугивали Национальное собрание и которая порождала смуты, предсказывая их.

Надо ли вам напоминать о знаменитом декрете собрания Сен-Марка двадцать восьмого марта тысяча семьсот девяностого года? Надо ли вам напоминать о схватках этих двух собраний, которые, будучи соперниками в заговоре против метрополии, имели совершенно различную судьбу? Одно из них было наказано и покинуто, другое получило похвалу и награду, потому что общим желанием было иметь одну партию и потому что большинство страдало болезнью статуй. (*Аплодисменты.*)

Повсеместно колонисты грозили разрывом, говорили вслух о том, что они хотят общаться только с королем и что от Национального собрания они примут только торговые законы, которые могут войти в силу лишь после того, как о них будет сообщено колониям. Таким образом, Франция могла истратить миллионы на поддержку и покровительство жадным и расточительным колонистам, которые, будучи жестокими и дерзкими господами, насмеялись над человечностью, унижая рабов. Они овладели бы вскоре даже их торговыми отношениями; они перенесли бы их туда, куда хотели, и этим лишили бы торговой и промышленной помощи те шесть миллионов французов, которых они как будто хотят приобщить к своей судьбе. Нет, никогда судьба свободной Франции не будет зависеть от колоний; она будет зависеть только от нее самой и только от самой Франции.

То же самое поведение проводилось на Мартинике, и граждане Моро де Сен-Мери и Диллон, избранные без голосования, то есть нелегально нелегальным собранием, не говорили Национальному собранию, что колония «не хотела никакого иного общения с королем, кроме того, которое могло бы обеспечить ей право «veto», по выражению гражданина Дебух, президента колониального собрания.

Посмотрите на постановление этого собрания, которое открывает свои двери всем иностранцам. Посмотрите

на этих колонистов, которые хотели обратить в пепел город святого Петра, чтобы похоронить под развалинами все акты метрополии. Нельзя не слышать этого концерта, который по последнему анализу всячески устремлялся к освобождению и независимости.

Декрет двенадцатого октября тысяча семьсот девяностого года застал колонии готовыми к вспышке. Существовавшая общественная сила мешала мятежникам. Ожидались новые солдаты, которых надеялись легко ввести в заблуждение. Патриотизма не существовало нигде — ни в собрании Сен-Марка, ни в сердцах Модюи и Пейнера, ни среди членов западного комитета. Независимые агитаторы на мгновение надели на себя его маску; батальоны Нормандии и Артуа были введены в заблуждение; Модюи потерял голову, собрание Сен-Марка снова завоевало большое влияние, и система независимости увеличила надежды и средства.

Декретом двенадцатого октября собрание Сен-Марка приносилось в жертву мелкой мести, а цветные люди — собранию Сен-Марка. Колониальный комитет полагал, что сможет двусмысленной речью послужить и нашим и вашим; ему не удалось удовлетворить ни одну из них. Наконец декрет пятнадцатого мая тысяча семьсот девяносто первого года дал права активных граждан цветным людям. В неистовом злопамятстве колонисты обратились к Англии и ее судам с призывом напасть на наши острова; одни из них отправились в Лондон, другие поехали в колонии и проявили в наших портах горячность, превосходившую всякие ожидания. Депутаты Национального собрания воздерживались от посещения его заседаний, и подписанное ими письмо представляло собой акт разрыва. Сам колониальный комитет заявил, что он приостанавливает свои действия, но он сохранил свое опасное, парализующее влияние на министерство. Министр и руководимая им партия сочли, что сделали достаточно, послав на острова «Почтальона из Кале», в то время как туда отправлялись огромные грузы всевозможного рода пасквилей, агитирующих за разрыв.

Один великодушный мулат некоторое время проживал с товарищами из-за океана во Франции, где колонисты следили за всеми их поступками. Выданный ими капскому комитету, он бежал в тот момент, когда был произнесен его смертный приговор; он уехал, чтобы просветить своих братьев, о несчастиях которых он

узнал, когда вышел с корабля в испанской части Сан-Доминго. Там он присоединился к небольшой воинской части негров и мулатов повстанцев; он написал генералу, что будет уважать мир, если будет выполняться закон. Это письмо было принято за объявление войны; его принялись преследовать, он искал убежища у испанцев, и испанцы выдали его палачам. Этот блистательный и великодушный мулат вам известен. Имя его Винсент Оже! *(На скамьях волнение. Возгласы: «Как? Оже! Он?»)*

Отвратительный приговор объявляет Оже и его сообщников виновными в воровстве, грабежах и пожарах; ведь необходимо вменить преступления тому, кого хотят умертвить мечом справедливости. Оже умер мучеником за свободу и законы, ибо все было для него человечностью, справедливостью, декретом.

Конкордат отомстил за него, позор более не пятнает его святого имени; пусть же он навсегда запятнает имена его тиранов! *(Аплодисменты.)* Все мулаты должны были испытывать чувство самого живого отвращения, их ярость предвидели; с ними стали обращаться все хуже и хуже, их обезоружили, их сделали подлыми, низкими даже в глазах их собственных рабов.

Декрет пятнадцатого мая появился второго июля отпечатанным в «Moniteur universel»; он привел в отчаяние белых, а мулаты не без страха отдались радости, внушенной им поздней справедливостью, хорошо зная, однако, что это будет вменено им в преступление. В Сан-Доминго раздались крики и угрозы белых и их проклятия против конституции: было сделано предложение расстреливать на улицах цветных людей, которые убегут из городов и укроются в деревнях, в домах своих друзей и в лесах. Наконец к ним обратились с прокламацией; но им вменили в закон обязательство оказывать белым уважение и подчинение. Они вернулись, чтобы стать свидетелями новых насилий; вслух делались предложения вешать капитанов французских кораблей; постановлялось просить помощи у Англии; в качестве знамени была принята черная кокарда; делались предложения оказать сопротивление отрядам и национальным гвардейцам, которые, как говорили, должны были прибыть из Франции с миссией упрочить выполнение декрета; надеялись на прибытие пятнадцати линейных английских кораблей; эта химера была разрушена, и губернатор Ямайки ответил посланным Национальным собранием,

что он был далек от мысли посылать отряды для борьбы против декрета и что он пошлет их только в случае восстания рабов.

Эта система независимости, укреплявшаяся подобными попытками, ясно видна во всех актах Колониального собрания. В них можно прочесть следующее предложение: «Если король утвердит санкцию, колонии получают свою долю; если будет покушение на их прерогативы, они сумеют удержать их за собой».

Прерогативы колоний?.. Уж не думают ли они, что владеют короной? Мятежный дух административных собраний царил также и в собраниях приходских. Но, однако, главная масса умов не разделяла эти экстравагантные предложения и яростные выпады. Негоцианты чувствовали, насколько нелепо и опасно было бы порвать с метрополией. После нескольких дней волнения умы успокоились; это спокойствие разочаровало мятежников. Нужен был предлог, чтобы позвать англичан: для этого было необходимо поднять восстание негров. Ни один заговор не записывается, но его можно отыскать во мнениях и поступках; путем сопоставления мнений и поступков я доказал существование системы независимости, теперь же я перейду к другим фактам, которые я должен показать вам.

Мятежники вошли в состав вновь организованного Колониального собрания. Из Сен-Марка оно было перенесено на Кап, который был местностью, наиболее расположенной к независимости. И тогда они перестали скрывать свои проекты: они стали торопить усиление укреплений в достаточно укрепленном городе; национальная кокарда была отвергнута, торжественным актом гражданам было дано разрешение носить другие. Сам президент Колониального собрания появился с черной кокардой, очевидным знаком разрыва с метрополией и союза с Англией. Правда, что вскоре после этого в народе поднялись протесты. Тогда Колониальное собрание переменило свой знак на черный шарф; провинциальное собрание приняло красный шарф, и повсюду, даже в общественных местах, исчезли слова, знаменующие собой единение французских подданных: «Нация, закон и король». На их месте появился новый лозунг, крик независимости: «Свобода острову Сан-Доминго!»

Наконец двадцать второго числа августа месяца было возвещено восстание негров, в тот самый момент, когда

было получено известие о бегстве короля. То было просто восстание нескольких ремесленников, и достаточно было послать против них несколько отрядов, чтобы все успокоить,—это не давало бы хода восстанию,—и двадцать пятого оказалось: нельзя было послать за отрядами к губернатору Ямайки. Почему в самом деле, вместо того чтобы пойти прямо на мятежников, храбрый генерал окапывается в уже укрепленном городе и составляет правила для своих отрядов, когда он должен был бы их вести в сражение? Говорили, что опасаются того, что в городе могут быть укрывшиеся черные. Но ведь генерал мог увеличить свою силу, очистив деревни и уничтожив мятежников, которые, по его собственным словам, были в три раза менее сильны, нежели он. Это поведение дало пищу многим размышлениям, но достоверно то, что тот, кто дал совет запереться в городе, был причиной разорения колоний. Сражение, происходившее в течение часа, уничтожило один из лагерей мятежников, несколько пушечных выстрелов рассеяли другой. Кавалерия орлеанских драгун топтала тысячи голов людей, зарытых в землю до самых зубов.

Негры были в количестве пятидесяти тысяч, если верить наименее преувеличенным рассказам. Почему же двадцать четвертого числа генерал совместно с Колониальным собранием забавлялся писанием депеш, чтобы просить помощи у Соединенных Штатов, у англичан и испанцев? Но в то время они еще не знали врага, и когда сотни разбойников угрожали жилищам, было ли необходимо посылать за помпами в Филадельфию, чтобы затушить пожар? Эта смешная депеша предназначалась для того, чтобы замаскировать депешу Ямайки: надо было скрыть, что, хотя просили помощи у трех властей, эта помощь была желательна только от одной.

После первой депеши от двадцать шестого августа генерал посылает вторую депешу англичанам, страдая в то же время оттого, что Колониальное собрание, презирая наши конституционные законы, сообщает с иностранной властью, в то время как только один генерал имел на это право. Идя на столь странные попытки с целью получить неопределенную помощь, опасность которой была бы осознана всеми верноподданными французами, он не смел и подумать о легкой и верной помощи в борьбе с вооруженными мулатами.

Это еще не все. Двадцать восьмого августа восстание

негров было еще неизвестно в Леогане и во всех частях Западной и Восточной провинций, которые могли дать серьезную помощь; в то время как уже двадцать седьмого Ямайка знала об этом и получала душу раздирающие известия о положении северной части, они справедливо опасались патриотизма своих сограждан; они боялись также силы, которая ожидалась из метрополии. Двадцать третьего августа, когда стали известны лишь некоторые подробности восстания, они считали недостаточными укрепления Капа; они говорили о возможной необходимости приготовиться к отплытию, что могло бы оправдать общее стремление занять место на корабле.

Почему же было не отправить во Францию судно, которое приняло бы на себя не больше тридцати человек? Зачем было дурно обращаться с капитанами, которые громко кричали о том, что надо предупредить Францию? Почему это необыкновенное замедление депеш с Ямайки? Почему письмо губернатора Бланшланда было задержано в течение восьми дней? К чему было это ласковое письмо колонии к министру Англии? К чему та мягкая и слабая манера защиты от подозрений, которых было невозможно не иметь, применявшаяся посланными Колониального собрания? Как могло случиться, что кровь французов не закипела от негодования, когда их обвинили в измене родине? Вместо этого добродетельного негодования вы слышали лишь странное оправдание, в котором наносилось оскорбление самому собранию упреком за то, что оно сеет раздор; и этот упрек послужил предпосылкой к лозунгу независимости. Они не говорят нам о том, что Колониальное собрание, устанавливая таксы, проводя административные меры, устраивая суды и сажая людей в тюрьмы, имело дерзость установить таксу и на французские товары, овладело звонкой монетой, бывшей на борту судов, арестовало и рассадило по тюрьмам пассажиров. Девятнадцать человек этих несчастных томились еще девятнадцатого октября в тюрьмах Капа, среди ужасов оков и голода. Таким образом, с французами обращались не только как с иностранцами, но как с врагами. Будет ли Колониальное собрание отрицать, что на его заседаниях раздавались следующие крики: «Франция для нас больше ничего не значит; почему у нас нет Буйе? Почему он не дал нам короля? Он бы мог отсюда разрушить собрание, которое является причиной несчастья Франции».

Надо закончить характерной чертой: будучи спасены мулатами, колонисты дали им торжественное обещание, а их депутаты здесь умалчивают об этом обещании и их признательности. Они еще надеются лишить своих благодетелей справедливости, предложенной в виде награды, они не возобновляют и не утверждают перед вами того соглашения, которое оказало бы честь Локку и Монтескьё. Ах! В колониях не существует более доверия, но оно еще существует во Франции, оно имеется в сердцах всех добрых французов! (*Аплодисменты, возобновляющиеся несколько раз.*)

Хорошо организованная политика должна была бы подтвердить это соглашение, ибо всякий народ, владеющий многочисленными стадами рабов, нуждается также и в многочисленных сторожах, а мулаты представляют собой мужественных и преданных сторожей. Катилина также опирался на восстание рабов, и если рабство ранее не сыграло роли во время революции в Сан-Доминго, то благодарить за это следует отнюдь не колонистов.

Вам рассказывали факты, заставлявшие вас содрогаться от отвращения, но Филарис не говорил о кинжалах, выставляемых против него варварством. Нам приводили черты жестокости. «Но дайте мне,—говорил Мирабо,—тупое животное, и я сделаю из него хищного зверя». Белый человек первый бросил черного в пылающую печь, раздавил сына на глазах его отца, заставил раба есть его собственную плоть: именно этих чудовищ следует обвинять в варварстве восставших негров. Миллионы индейцев погибли на этой кровавой земле; вы на каждом шагу наступаете на кости местных жителей, которых природа дала этим местам, и вы содрогаетесь при рассказе о поступках их мстителей! (*Аплодисменты.*)

Ах, господа, в этой ужасной борьбе преступления белых больше всего остального вызывают отвращение. Они были порождены деспотизмом; ненависть к рабству и жажда мести являются причиной преступления черных. Следует ли в данном случае обвинять философию? Требуем ли мы вашей крови? Мы говорим вам: братья, будьте справедливы, будьте добры, и вами будут дорожить. Вечное рабство должно быть вечным источником преступлений, ибо рабство является величайшим преступлением. Отделите от него по крайней мере слово «вечность», так как невыразимая печаль должна породить

отчаяние. Подводя итоги, я скажу: причина всех зол кроется в характере жителей жаркого климата, в коррупции судей и судов, в отсутствии справедливости и правосудия между правительством и управляемыми; она кроется главным образом в системе независимости колонистов, колониальных комитетов и провинциальных и колониальных собраний; она кроется в дерзости мятежников, которые придумали эту систему, чтобы противопоставить свою аристократию и свою тиранию министерской аристократии; она кроется в слабости, не сумевшей оттолкнуть их, в испорченности, обеспечившей им безнаказанность, в увертках декретов и их вариантов, в наградах, присуждаемых одному собранию, в то время как другое подвергалось наказанию, не будучи виновным. Это зло можно найти в причинах, создавших декрет двенадцатого октября, который, принося в жертву цветных людей, вооружал против них белых; его можно найти также в преследованиях цветных людей, в оскорблениях, которые им пришлось испытать, в тюремных заключениях, которые они перенесли, в отвратительной клятве, которой они обязались оказывать уважение белым, в убийствах тех, кто этому не подчинялся; наконец в резне их братьев и их защитников; это зло кроется опять-таки в невыполнении декрета пятнадцатого мая и в разоружении мулатов.

Виновными являются те, кто захотел стать независимым, которые заявили, что не будут подчиняться декрету, которые отняли у острова его наиболее прочную опору, которые пригрозили отдаться во власть иностранцам, призывали их суда, приняли их цвета, которые установили таксу на французский товар, наложили запрещение на выход наших судов из гавани. Это те, которые оскорбляют философию, свободу и Декларацию прав в самом храме философии и свободы.

Да, Франция обязана оказывать белым покровительство, охрану, правосудие, но она обязана давать то же и цветным людям. Франция обязана оказывать покровительство тем, кто охраняет общественный порядок; она дает охрану тем, кто уважает общественный порядок; она должна оказывать правосудие всем, она должна давать его виновным, она должна проявлять его также и в торговых делах, она обязана оказывать его себе самой, и это правосудие будет установлено. (*Аплодисменты возобновляются.*) Я должен был прочесть проект декрета в

десяти статьях, с несколькими заметками о его развитии, но я прошу собрание отложить это чтение.

Г-н Гюаде. Вы безвозвратно потеряете колонии, если вы допустите уход отрядов, которые должны привести в исполнение декрет двадцать четвертого сентября; вы их сохраните, если вы утвердите соглашение. Итак, я прошу, чтобы вы либо отложили до субботы проект господина Бриссо, либо чтобы вы установили *status quo*, то есть отложили бы выполнение декрета от двадцать четвертого сентября. (Аплодисменты.)

Г-н Дюбейе. Я никогда не буду восставать против меры, которая требуется для общественного процветания; но мне кажется, что собрание слишком хорошо убеждено в том, что истинная причина несчастий колоний заключается в противоречивых намерениях декрета и в предубеждениях тех, кто его составлял; поэтому его решения не представляются созревшими. Вы не хотите, чтобы опыт был для вас потерян; вы не хотите уступить опыт, который может быть дан новыми прениями; я вовсе не возражаю против сделанного вам предложения, но я прошу, чтобы собрание не пускалось в его обсуждение, не заслушав проекта декрета, о котором говорил господин Бриссо, а также и отчета Колониального комитета.

Г-н Бриссо. Я думаю вместе с господином Дюбейе, что достоинство собрания восстает против временных мероприятий; но дело можно отложить до субботы, в надежде, что до тех пор министр не отправит отрядов для приведения в исполнение декрета.

Г-н Верньо. Мы можем согласовать колониальный интерес с законом и с достоинством собрания. Мера, предложенная господином Гюаде, согласна с интересами колоний. Ошибки, совершенные во всем этом деле, происходят оттого, что, стоя между двумя мисками, было обращено внимание только на одну из них. В то же время никто не говорил: белые не будут слушаться, если будет проявляться справедливость относительно цветных людей; мулаты не будут слушаться, если к ним будут несправедливы. Побуждаемые любовью к свободе, ненавистью к угнетению, они, если их довести до отчаяния, сделают попытку вырвать силой то, что они должны были бы получить по справедливости; эта двойная опасность не была еще учтена одновременно. Соглашение (конкордат) предупредило в западной части несчастья, разрушив-

шие север; но и в этой провинции мулаты с большим великодушием начали с того, что предложили белым свою кровь, сказав им при этом: мы подождем того, чтобы мы вас спасли, и тогда потребуем своих прав. Все пункты конкордата необходимы для сохранения колоний. Если бы белые после прибытия отрядов перестали выполнять соглашение, если бы они изменили священному обещанию, данному в виде награды за полученную ими услугу,—возмущенные цветные люди захотели бы, вероятно, в своем отчаянии и чтобы утолить свою месть, похоронить себя под развалинами колоний. Утверждая соглашение, подписанное белыми, вы ничем не задеваете декрет двадцать четвертого сентября. Таким образом, инициатива будет проведена в жизнь не собранием, а самими белыми, согласно закону. (*Аплодисменты.*) К тому же, если я хорошо понял Гюаде, речь идет о временной мере, и вы этим не отнимаете у колонистов права выражать свои пожелания в легальном собрании. Повторяю, самая настоятельная необходимость требует выполнения соглашения. (*Аплодисменты.*)

Запрошенное собрание последовательно и единогласно декретирует напечатать речь и проект Бриссо, так же как и соглашение, отложить до субботы обсуждение предложений Гюаде и Верньо и чтение проекта декрета Бриссо.

Заседание закрывается в четыре часа.

Робеспьер вышел. Зимнее солнце бросало длинные косые тени от решетки тюильрийского сада. Зябнувшие каштаны вырисовывались на тусклом, белесоватом зимнем небе. По лестницам слышались голоса, около ворот стояли толпы. Общее неудовлетворение было на лицах. Бриссо, начавший высоким тоном, не сумел удержать внимания, и в то же время чувствовалось, что Гора побеждена Жирондой, что в общем испуге перед какими-то надвигающимися грозами, перед темными тенями, перед шепотами и шорохами—где-то назревали негодование и гнев одних и затаенная настороженность других.

«Пусть поет этот певец,—думал Робеспьер, оценивая речь Бриссо.—К чему свелись его гуманные намерения,—вот сплошное человеколюбие!—но Бриссо боится дойти до конца».

Неизвестный человек высокого роста тихо подошел к Робеспьеру и вручил ему небольшую тетрадь. Это была сводка четырех секций. Из провинций сообщали, что

нойонские крестьяне, вооруженные пиками, вилами и алебардами из помещичьих усадеб, составили двадцатитысячную армию. Они останавливают по реке Уазе баржи, груженные хлебом, и делят их, взяв на себя обязанности продовольственной армии округа. Группа национальных гвардейцев в деревнях Канталя, Ло Доржоньи, Коррез, Гари уничтожает замки эмигрировавших дворян, сжигает дворянские архивы. В Дюнкерке все телеги с хлебом не дошли до дебаркадеров, с которых велась погрузка на английские корабли, и местные рыбаки вместе с нормандскими крестьянами на огромном пространстве по дороге остановили хлебные обозы и начали дележку хлеба.

В бретонских лесах, в глухих местах, появился отряд Жана Шуана под лозунгом: «За бога и короля».

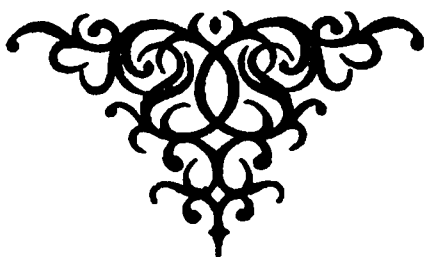
На небе Франции появилось зарево, заставившее Робеспьера забыть о речи Бриссо.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ



КРАСНАЯ ФРАНЦИЯ





Глава седьмая

КОНВЕНТ И ГАИТИ

Берегись, минутная стрелка твоего брегета режет тысячи голов на циферблате истории.

Бомарше-Часовщик, Письмо к сыну

Еще несколько дней, и низложенный король будет осужден, как простой предатель. Десятое августа обновило Революцию.

На острове Сен-Луи, в одном из глухих кабачков Парижа, эти события обдумывал молодой остролицый человек, все манеры которого показывали принадлежность к сословию военных людей. «Что произошло за какие-нибудь полгода! — думал он. — Началась война. За войну были господа Бриссо, Верньо, Кондорсе, вся Жиронда. Против войны Робеспьер и крайние якобинцы. И вот самое замечательное: король оказался тоже на стороне войны. Так или иначе, война объявлена!» — думал молодой человек, но мысль его прервал удар по плечу.

С ним рядом сел за маленький изрезанный и изрытый от времени деревянный столик новый посетитель кабачка. Поздоровался, потребовал вина, яичницу с луком.

Трактирщик, зная одного, с любопытством воззрелся на другого единственным уцелевшим глазом, отошел, ворча про себя:

— Богатые люди всегда могут заказывать себе богатые кушанья. Господа офицеры не боятся, что после богатого ужина их ограбят в переулке.

Молодой человек, о котором трактирщик говорил как об офицере, облокотился на стол и подбородок положил на ладони. Спокойные и успокаивающие холодные глаза он устремил на своего соседа.

То был человек с бронзовым лицом, с профилем римского сенатора, с черепом почти обнаженным, с горбатым носом и горячими глазами, в которых порода была ключом, заливая индивидуальное сознание своего представителя. Этот человек тускло улыбнулся в ответ на пристальный взор офицера.

— Я принес чертежи,—сказал он, чтобы начать разговор, и вынул из-под плаща папку с кипой иллюминированных кроки, на которых были занесены десятки планов, чертежей владений, домов, расположения этажей; все это безмолвно выкладывалось перед молчаливым офицером.

— Во сколько оценен вот этот?—спросил офицер.

— Вы знаете, что правобережные ценятся дороже. Со времени декрета все дома подорожали. Я могу вам устроить перепродажу любого из тех, что вы видите перед собой,—все зависит от того, насколько вы обеспечите меня самого.

— А как думаете вы, граф,—вдруг резко перебил собеседник,—во что ценятся собственные ваши имения? Уверяю вас, что не больше вашего титула—графа де Сен-Симона.

Сен-Симон вспыхнул, слегка откинулся назад, но потом, быстро овладев собой, сказал:

— Послушайте, лейтенант Бонапарт, я неоднократно просил вас воздерживаться от свойственной корсиканцам грубости. Если вы хотите пользоваться моим бедственным положением, если вы применяете мои силы, мои старые связи для улучшения ваших коммерческих дел, если вы скупаете за бесценок и продаете за баснословные цены дома моих друзей и моих родственников, если вы сдаете купленный у меня дом актеру Тальма и запрещаете мне самому ходить в этот дом,—так это вовсе не значит, что я бесконечно способен сносить ваши унижения, встречаясь с вами по кабакам и притонам Парижа.

Молодой Бонапарт улыбнулся холодно и сказал:

— Успокойтесь, я позабыл, что нельзя вас называть. Не тратьте много слов, я выберу вот эти четыре дома. Сколько вам сейчас нужно на расходы?

Потомок герцога граф Анри де Сен-Симон вычислил что-то на листке бумаги и показал листок Бонапарту. Тот метнул взглядом, проверил цифры и, спрятав листок в кожаную сумку, достал пачки ассигнатов.

— Не давайте корсеты, эти несчастные пятилировые ассигнаты теперь ничего не стоят,—сказал Сен-Симон.

— Они мне стоят столько же, сколько вам,— ответил Бонапарт жестко,— прощайте.

Не проверяя, Сен-Симон быстро спрятал деньги и, не прощаясь, отошел от стола.

Офицер Бонапарт допил кружку вина, оставил деньги под опрокинутым стаканом и быстро вышел спешащей, довольно гневной походкой, свойственной ему лишь с 20 апреля 1792 года, то есть со дня объявления войны герцогу Брауншвейгскому, обещавшему сжечь Париж, когда эта походка стала модой армейских патриотов.

Было 2 сентября, ясное небо перед закатом просвечивало сквозь аллеи. На острове Сен-Луи до самого моста, по мостам Мари и Порт-о-Бле почти не было движения. Приказчицы из магазинов, парикмахеры и девушки ночных профессий плясали под звуки уличной музыки. Несколько насмешек брошено в сторону офицера, мрачного человека в черном плаще, вошедшего на мост.

Занятый своими мыслями, Бонапарт не заметил и не ответил на насмешливые возгласы девушек. Темно-синие, лиловые облака принимали самые причудливые очертания. Там, где над западом Парижа, казалось, кончался мир и в зеленоватом небе плавали очертания далеких рощ, безветренный вечерний день парижской осени был полон тишины. А здесь солнце, деревья, улицы и дома сияли спокойной ясностью, никак не отвечая на то, что тревога была в каждом сердце, что где-то на границах Франции захватили Лонгви, что соединенные войска европейских монархов вместе с армиями принцев врезались клином, не нынче завтра угрожают подступом к Парижу, и проклятый королевский двор из четырехсот семей, и проклятый дворянский строй и тридцать тысяч дворян снова начинают вливаться в тело двадцати пяти миллионов народа, выпивая девять десятых того, что сделано его крестьянами и его ремесленниками, его деревенскими и городскими руками. Не лучше ли смерть, чем такая покорность судьбе? Но солнце не было с этим согласно, не были согласны с этим птицы, не были согласны с этим облака, таявшие над краем земли: они безразлично смотрели на тревоги каждой личной судьбы, на массовую тревогу клокочущего Парижа.

Бонапарт взглянул на часы: скоро заходит солнце; идти в кафе Манури небезопасно, ходить по улицам— утомительно, возвращаться домой, где бестолковый Бурьенн опять начнет рассказывать о выступлениях Робеспье-

ера в Парижской коммуне,—это не менее скучно и утомительно. Что из того, что, помимо Законодательного собрания, выбранного якобы всей Францией, есть еще Коммуна Парижа, выбранная всеми парижскими ремесленниками в сорока восьми секциях, что из того, что главная и секционные Коммуны ведут свою парижскую политику и стремятся навязать ее всей стране! Это борьба продлится долго. Коммуна гордится тем, что ее вмешательство решило участь короля. Однако вооруженный ремесленный Париж не осмелился тронуть Легислативу. Ремесленник оказался зачарованным пением жирондистских соловьев. Бонапарт тихо засмеялся.

— Сбывается миф о том, что под музыку Орфея волки ложатся с овцами и тигры с телятами. Хватит ли духу жирондистам-музыкантам продолжать эти песни без передышки?

Вдруг вспомнил по дороге, что предстоит большой платеж в этот вечер. Предложение обедневшего графа на перекупку одного из богатых эмигрантских домов совершенно нарушало платежный план. Что-нибудь одно: или состоится перепродажа этого дома, и тогда бедному офицеру в Париже можно будет полгода существовать сносно, осуществить кое-какие затеи; или сегодня же пойти расплатиться с кредиторами, и снова весь барыш прошлой недели вместе с дымом камина улетит в трубу. Решение было мгновенно: «Что из того, что эти два ростовщика, Жозьер и Цюбал, подождут еще три-четыре дня,—разве они не берут сатанинских процентов?!»

Высокий массивный портал Нотр-Дам де Пари вырисовывался впереди. Бонапарт остановился около берега Сены в раздумье. Не нынче завтра отъезд в армию, не нынче завтра продвижение союзных войск в направлении Верден—Париж, и все это в день, когда безумие охватило Францию, когда заколебались прочные достатки, земля переходит из рук в руки,—ни знатность, ни богатство не спасают человека. За решеткой, среди желтеющих листьев сквера Нотр-Дам, там, где в каменном шестиугольнике возвышается готическая башенка со статуей мадонны внутри, два человека оживленно разговаривали, прогуливаясь взад и вперед по тропинкам, заросшим травой. Запущенный сквер был одним из тех пустырей, которыми изобиловали сады и церковные дворики Парижа.

Бонапарт остановился около решетки и на мгновение прислушался к разговору. Одного из говоривших он знал;

это был юноша в круглой шляпе с узкими полями, в светло-голубом сюртуке с большим черным бархатным воротом; ботфорты с желтыми крагами, серые штаны и хлыст в правой руке; черты лица необычайно правильные, похожие на рельеф греческой медали, глаза мечтательные и нежные, совсем не мужественные,—это был поэт Андре Шенье. Он говорил горячо и громко, сбивая хлыстом головки чертополоха. Рядом шел спокойный старичок маленького роста, без шляпы, в сером парике, держа кожаную книжку и зажимая указательным пальцем недочитанную страницу.

«Вот какой этот доктор!» — подумал Бонапарт, услышав, как поэт Шенье обратился к своему собеседнику, называя его «уважаемый доктор Гильотэн».

Доктор и поэт, очевидно, спорили давно. Старик, не разжимая маленькой книжки, указывал ею на головки чертополоха, падающие под ударами хлыста, и говорил:

— Они гораздо милостивее вас. Ваше поэтическое движение хлыстом сшибает головки ни в чем не повинного чертополоха, а моя машина режет головы тому бурьяну, который растет на человеческой ниве. Вы вашим ударом подламываете половину стеблей, а моя машина режет быстро и чисто, и уверяю вас, что страх смерти—это глупый и нелепый страх, так как моя машина дает человеку секундное ощущение освежающей прохлады, не причиняя при этом ни малейшей боли.

— Вы чудовище! — говорил Шенье.— Тратить так много времени на такую отвратительную машину можно только нося в душе ад, и если бы я знал, что вы говорите правду, будто мои стихи были вам отдыхом в промежутках вашей варварской работы, я никогда бы не написал ни строчки. Я чуждался встречи с вами.

— Вы неблагодарны,—сказал Гильотэн.— Я сдал один чертеж машины в Национальное собрание двадцать восьмого ноября тысяча семьсот восемьдесят девятого года. Я никогда не занимался этим вопросом специально. В одной старой миланской хронике я нашел чертежи скотобойни герцога Сфорца. Это были хорошие мясники, прекрасные ломбардские скотоводы,—я только улучшил чертежи старой миланской машины. Национальное собрание не обратило должного внимания на мой чертеж, людей не избавляли от жизни, а калечили прежним варварским способом. Теперь для спасения отечества нам нужно или открыть школу палачей-великанов, или пус-

кать в ход мою машину, с которой справится малый ребенок.

— Не говорите мне этого! — кричал Шенье. — Второй раз встречая вас в сквере Парижской богоматери, я чувствую себя отравленным вашим присутствием. Вы хвастаете вашим адским изобретением, а между тем молва приписывает вам страшные неудачи. Ваши ножи мяли человеческие тела, давили из них кровь, вместо того чтобы облегчать человеку переход в иной и лучший мир.

Собеседники вдруг остановились, глядя друг на друга. Гильотэн улыбнулся кроткой и застенчивой улыбкой.

— Здесь вы правы, — сказал он, — столяры, плотники и кузнецы — ненадежный народ, в ущерб своей собственной пользе, они очень плохо исполнили первую машину, — в декабре она была построена на конюшнях Шарля Ламета. Действительно, она работала плохо; она прекрасно остригла головы тридцати баранам, но только на время придушила огромного негра, от которого тайком захотел отделаться господин Ламет. Это уже не моя вина, у этого чернокожего позвонки оказались крепче стали. Потом, когда господин Ламет пожелал испытать мою машину над головой быка, животное разорвало путы, сорвало станки и испортило мне все дело. Но если бы не пробовали негра и быка...

— Остановитесь, — закричал Шенье, — я не могу вас больше слушать!

— Однако вы в раздражении сбиваете головки чертополоха! Но ведь вы знаете, что господин Сильвестр де Саси вместе с молодыми арабскими учеными утверждает, будто растения также имеют душу...

— Меня не интересует душа чертополохов, — ответил Шенье.

— ...Да, кроме того, — продолжал доктор, — секретарь хирургической академии, мой товарищ, доктор Луи, внес в конструкцию значительные улучшения. Вместо плоского длинного ножа он посадил на шарниры тяжелый треугольный топор. С тех пор дело пошло как по маслу, и вы сами знаете, что двадцать четвертого мая этого года бандит Пеллетье был казнен так чисто, что, по-моему, он успел только «облегченно вздохнуть».

Шенье вздрогнул и с невольным поворотом в сторону Гильотэна положил свою левую ладонь себе на затылок.

— Вот почему вашу машину зовут «Луизеттою», — сказал Шенье.

— Зовут по-разному. Парижские острословы называли ее «гильотиною».

Бонапарт прошел дальше. За последний месяц он с жадностью впитывал в себя впечатления Парижа. Ненависть к французам, возраставшая в нем с каждым днем, перешла в чувство холодного любопытства. Он как наблюдатель носился от решетки Тюильрийского дворца к площади Карусель, он с жадностью прислушивался к говору парижской толпы, он холодно вычислял, сколько выстрелов и в каком направлении нужно было сделать в час осады королевских покоев и ареста Людовика XVI для того, чтобы водворить спокойствие.

«Какой дурак!» — восклицает Бонапарт, увидя, как Людовик XVI появляется в красном фригийском колпаке.

Десятки верных патриотов подозрительно посматривают на этого офицера с холодными глазами, железным лицом, ввалившимися щеками и длинными космами волос, падающих на плечи. Так, чужими глазами глядел он на все потрясающее зрелище революционного Парижа, пробегая из кофейни в кофейню, врываясь ночью в притоны на улице Луны, толкаясь в клетки домов подозрительного вида, взбираясь по лестницам, замыкающимся небольшими решетками. Или, запасшись хорошим спутником, он целыми часами выслеживал в притоне старинного нищенства, так называемом «Дворце чудес», как продавцы рыбы, солонины, доходя до поножовщины, играли в карты, наполняя воздух руганью, запахом пота, пьяной икотой и политическими сплетнями, внезапно, как молния, освещавшими перед Бонапартом истинную картину настроений простолюдинов.

Этому человеку с чужими глазами, с ненавистью к Франции за порабощение родной Корсики, с безумным клокотанием горячей итальянской крови в жилах и с холодным расчетом математически устроенного, четко работающего мозга предстояло принять командование французским отрядом где-то на северо-востоке Франции, защищать интересы той самой революции, которая вызывала в нем простое любопытство. Ему предстояло весь мир событий иметь перед собою, как чужую картину, смотреть и ждать того часа, когда этот чуждый мир станет его собственностью, *станет игрушкой его способнос-*

тей, ибо «что такое теперешняя Франция, как не блистательная арена борьбы за жизнь и власть?»

С такими мыслями Бонапарт вошел под своды собора и по левой боковой лестнице стал подниматься на свинцовые парапеты и галереи, с которых открывалось зрелище вечернего Парижа,—зрелище, способное увлечь даже самого равнодушного человека. По правому и левому берегам Сены теснились здания, позолоченные лучами вечернего солнца. Затихающие шумы и стуки, пыль—словно одно дополняло другое—поднимались над кровлями домов в этом вечереющем воздухе; это производило впечатление сизого, дымчатого, играющего голубоватыми и розоватыми тенями облака, говорящего полужвуками.

Бонапарт перешел на северную башню, встал над свинцовой складчатой кровлей гигантского недостроенного собора. Перед ним была узкая башня, длинным шпилем уходящая к небу; короткие загнутые шипы на отдельных коньках, на ребрах тонкого шпиля производили впечатление шипов чертополоха на тонкой, острой, жалящей небо игле. Слева и справа на ступеньках, на маленьких готических пьедесталах неуклюже примостились, глядя в разные стороны, неподвижные продолговатые фигуры старинных святых, смотрящих на Париж с огромной высоты под дождем, снегом и зноем пяти столетий.

На балюстраде соседями корсиканского офицера были чудовищные птицы в монашеских капюшонах, с горбатыми носами, выпуклыми глазами, во много превышавшие человеческий рост, застывшие в вековечном каменном сне. Впиваясь каменными когтями в свинцовые и каменные балюстрады, эти химерические видения безумцев XIII века устремляли свои мертвые, каменные зрачки на беспредельный Париж, полуоткрыв уродливые рты с отбитыми каменными челюстями, а иногда с горбатым носом хищного ястреба, с нелепой застывшей идиотической улыбкой полуживотного-полуптицы под монашеским капюшоном. Каменная чешуя крыльев, каменные перья хвостов, растопыренные каркающие птичьи пасти и в безумном сарказме закинутае за спину птичьи головы, на которых безумному скульптору удалось выдавить из камня идиотический хохот птичьей головы, смотрящей на площади Парижа. А дальше чудовища с голыми ребрами и космами волос на груди, с вывихом вместо плеч и

локтей, с перепончатыми лапами вместо рук, с озлобленным оскалом, хищными улыбками, с длинными острыми ушами, с глазами, посаженными на виски, с длинными острыми мордами, с носом, упавшим на верхнюю губу, и дико закрученными хвостами.

На самом углу, рискуя выпасть из пилястра, исступленный монах, закутанный с головы до ног, с шапочкой вроде тамбурина на затылке, закатив глаза под самые брови, лежа в полтуловища над Парижем, раскрыл огромный рот в застывшем над столетиями безумном крике, и только птицы, прилетая и касаясь верхних зубов этого монаха-гиганта, садились ему на нижнюю челюсть. Дальше — горгоны, крылатые пантеры, пумы и леопарды, кошки и тигры с крыльями коршунов, с подбородком, уходящим в самую глотку, и еще дальше — «задумчивый дьявол», смотрящий на Париж, уродливый, мрачный, с печатью злого и таинственного гения на отвратительном, недобром и грустном лице. Ухо изваяния было отбито, очевидно, недавно: камень в свежем остром ударе производил впечатление более свежей породы, чем поверхность всей статуи.

Кое-где погасала красная черепица. Внизу, под самым собором, поднимая клубами пыль, проезжал эскадрон «драгун свободы». Ехали по трое, и перед каждым отделением в двенадцать человек, несколькими шагами впереди, выделяясь серебром аксельбантов, ехал начальник. Зоркий глаз Бонапарта, совсем слившегося с химерами, смотревшими на Париж, увидел при повороте отряда в переулок, навстречу солнцу, как засверкали серебряные аксельбанты и погоны на мундирах молодых людей. Это было в тот день, когда Коммуна издала строжайшее распоряжение о том, чтобы офицеры Национальной гвардии и драгуны свободы не позволяли себе никаких лишних украшений.

Бонапарт не улыбался. Положив подбородок и щеки на обе ладони, облокотившись на широкую балюстраду, почти улегшись на нее совсем, этот недавно окончивший военную школу офицер Оксеннского гарнизона погрузился в молчаливое созерцание Парижа, который стал городом его личной судьбы. Почти безродный, он думал сейчас о тяжелой судьбе наиболее родовитых офицеров.

Не без презрения вспомнил он своего отца Карла Бонапарта и всю его родню — бесконечных нотариусов и синдиков разных корсиканских местечек и городов. С

холодным любопытством он стремился воспроизвести и понять черты характера своей матери. Летиция Рамолино,—мелочная, расчетливая, как крестьянка, чуждая какой бы то ни было красоты и утонченности, почти неграмотная,—носила своего сына под сердцем в самый разгар французского нашествия на Корсику. Под угрозой неожиданного нападения и расстрела, беременная, она, с ребенком в утробе, верхом спасалась от оружейных выстрелов в гористых ущельях и в самых диких местах острова. «А потом,—думал Бонапарт,—тридцать тысяч французов, которых эта поганая страна изрыгнула на наши берега, залили потоками крови престол корсиканской свободы. Вот героический побег моей матери в Боканьяно, где я родился. Паоли—тот, кто мог бы спасти корсиканскую свободу,—был выдан головой и, увы, его адъютант, мой отец, был в числе тех, кто стоял за мир и за передачу Корсики французам». Бонапарт обдумывал свои чувства, как всегда стремясь расплавленную лаву своего возмущения перелить в отчетливую и сжатую формулу, пригодную для действия.

Что было потом? Потом военная школа и королевская стипендия, испрошенная отцом Карлом Бонапартом, а потом все докатилось до 10 августа этого года. Побег того самого короля, на деньги которого Бонапарт был в школе. Что было за это время? В избирательном собрании корсиканский депутат Буттафуоко, тот самый, который привел к порабощению Корсики, получает от Бонапарта письма, полные ненависти и сарказма. В то же время изгнанник аббат Рейналь получает от того же Бонапарта восторженные мальчишеские письма по поводу его прекрасной книги о политике европейских учреждений в обеих Индиях. И вот он, Бонапарт, делит весь свой досуг между военными занятиями, бешеным изучением математики в приложении к артиллерии, каким-то страстным блужданием со свечой в одной руке, с карандашом в другой руке по огромной английской карте, разложенной на полу в антресолях школьного дортуара,—среди всего этого колоссального напряжения мысли, когда каждая минута суток посвящена науке и тщательному изучению артиллерийского искусства, географии и коммерции, когда усталый и пожелтевший, с воспаленными веками он встречал утреннюю зарю над Парижем, гасил свечу и вымерял циркулем по карте расстояние между реками и горными хребтами, между

городами и вершинами гор, прикидывал в уме всевозможные комбинации атак, нападений, месяцев осады и долголетних оборонительных войн. В минуту, когда на заре после бессонной ночи смежались веки, он находил свой отдых в новой работе, он писал историю свободной Корсики. Перед ним лежали письма аббата Рейналя, одобряющего его побуждения к этой работе и выражающего согласие принять посвящение книги молодого автора. Если бы аббат Рейналь знал, что делает этот пятнадцатилетний мальчишка, если бы он прочитал все восторженные тирады, в которых красноречие Руссо лишено сентиментальности, а безудержная многоречивость рейналевской тирады окончательно лишилась своих берегов,—как посмотрел бы этот атеистический аббат, этот проповедник колониальных восстаний цветных и черных рабов, на своего молодого ученика из Бриеннской военной школы, на королевского стипендиата, сына корсиканского нотариуса Бонапарт?

«Что будет с Францией? — думал Бонапарт.— Откуда я буду брать деньги, когда все это полетит к черту? Хоть бы поскорей настала власть Робеспьера».

И вдруг сразу — ясная, хорошая, деловая мысль.

В Ницце, на лазурном берегу, при сильном морском ветре, он был по командировке парижской военной школы; там он впервые увидел Робеспьера-старшего, его сестру Шарлотту и Максимилиана Робеспьера-младшего — нынешнего диктатора Коммуны, некоронованного короля буржуазной французской республики, по собственной вине не попавшего в Легислативу и, однако, вместе с Маратом страшного всему Парижу. Братья уехали, Шарлотта осталась в Ницце. Все произошло страшно быстро и просто, он получил ее без отказа на морском берегу. Но, никогда не позволяя себе проводить с женщиной в постели больше получаса, он через неделю принужден был скрываться от Шарлотты Робеспьер.

«Если теперь задержать ее на лишние полчаса в объятиях, — думал Бонапарт, — то...» Но тут его мысль оборвалась; он понял, что игра не стоит свеч.

Переходя от балюстрады к балюстраде, он увидел скопление народа на дальних улицах; ему казалось, что это ремесленники собираются у булочных и пекарен для получения вечернего хлеба, но толпы были слишком плотны, а около площади, ведущей к дворцу Правосудия, они загружали улицы целого квартала. И вдруг в осенней

тишине замирающего вечера ударил гулкий, низкий, усталый и матовый колокол; ему ответили сразу в тринадцати кварталах Парижа, и через мгновение все сорок восемь секций гудели, перекликаясь переливчатым, судорожным, бубнящим и наполняющим волнами гула весь город звоном. Волосы на голове Бонапарта вдруг зашевелились. Все задрожало кругом. Бонапарт понял, что над головой и рядом запел могучим басом колокол Нотр-Дам де Пари. Повернувшись, Бонапарт увидел в оконце, как шестнадцать кузнецов в кожаных фартуках били тяжелым молотом в колокол Нотр-Дам, и понял, что не церковное празднество заставило этих людей с разъяренными лицами выйти на улицы Парижа, наполненного звоном и гулом бешеного набата.

Бонапарт почувствовал знакомый огонек любопытства и холодящий ледок на сердце. На Париж надвинулась буря, гулко звенели колокола, набат призывал секции предместья. Нужно было спуститься и вмешаться в толпу.

В этот час граф Сен-Симон, раздевшись на чердаке и зашив в подушку деньги, полученные за комиссию от продажи домов, беспокойно спрашивал единственного оставшегося друга, старого слугу Диара:

— Послушайте, Диар, в честь какого святого так бесшабашно раззвонился наш старый Париж?

— Измена, господин, измена! Новые хозяева Парижа испугались предательства бывших людей. Говорят, что генерал открыл границы, говорят, что в Париже по тюрьмам сегодня избивают всех заговорщиков. Внизу у кузнеца пруссаки убили сына. Отец, надев кожаный фартук и взявши молот, час тому назад пошел, сказав, что будет чистить тюрьмы.

— Ошибаешься, Диар,— возразил Сен-Симон.— Ты не понимаешь, друг, что наступило новое столетие и что если я, потомок герцогов и графов Сен-Симон, все принес на алтарь свободы, равенства и братства, то это не значит, что кто-то выдумал свободу, равенство и братство по своему капризу. Знай, старый друг, что пути истории жестки и прямолинейны. Клио—это такая муза веков, на которую обижаться могут только глупцы. Сдержись, мой друг,—быть бедняком несколько не позорно.

— Но очень неприятно,—сказал небритый Диар, разводя руками перед нетопленной печкой и держа перед графом Сен-Симоном противень с угольной пылью.—Вы

думаете, дорогой господин, что вы сделали большое дело, отказавшись от титула? Знаете ли, там, в зале Ипподрома, заседает Законодательное собрание, ораторы говорят беспрерывно до тех пор, пока у них на председательском столе не погаснет последняя свечка. Там господин Бриссо и господин Верньо произносят прекрасные речи, о которых мы читаем в «Дебатах» или в «Монитере». Они, глупцы, не знают, что всеми делами ворочают двое,— Диар понизил голос,—если хотите, трое, если хотите, четверо, если хотите, пятеро. Парижем управляет парижская городская Коммуна, выбранная всеми: ремесленником в кожаном фартуке, слесарем с щипцами и молотом, сапожником с шилом и ножом, виноделом из предместья, извозчиком со двора Мессажери. Все они идут за этой тройкой, четверкой, пятеркой.

Сен-Симон потянулся на скрипящей кровати, закрыл глаза и отвернулся к стене. Диар продолжал:

— Всем этим ремесленным людом Парижа вертят господа Сен-Жюст, безногий Кутон, летающий по улицам Парижа в кресле на колесах, Дантон, головастый, огромный, лобастый, как племенной бык, а потом,—тут Диар заговорил шепотом,—господин Марат и самый страшный—господин Робеспьер.

Сен-Симон повернулся и, с усмешкой смотря на Диара, сказал:

— Дорогой друг, вот ты говоришь, что эти люди вертят ремесленным Парижем, а я смею тебя уверить, что ремесленный Париж заставил этих людей говорить лучшие слова, которые когда-нибудь слышала земля. Будь справедлив, ибо если ты ошибаешься, то получишь ущерб, хотя будешь прощен, а если ты обманываешь, то помни, что историю обманывать нельзя.

Диар не унимался, а Сен-Симон, жестом останавливая его, говорил:

— Помни, что если бы не было высоких духовных качеств Робеспьера, то он не мог бы не только вооружиться доверием, но и быть проводником затаенных желаний и прекраснейших мыслей, которыми наделила природа сословие угнетенных тружеников, которые, только теперь поднимая голову, начинают говорить языком человеческого достоинства. Трудящийся, тот, кто волю превращает в труд и жизнь превращает в созидание,—это благороднейшее сословие из всех, которые когда-либо создавались человеческими обществами. Говорить от его

имени — высокая честь, и не всякий чувствует себя ее достойным. Вот почему, несмотря на уговоры, я отказался быть мэром, когда весь округ Парижа избрал меня на эту почетную должность. Но я не тоскую: еще недавно, владея миллионами, я стал бедняком; за пять лет военной службы в войсках Нового Света я получил патент полковника, а вернувшись, я был комендантом крепости Меца. Знаешь, Диар, не обижайся, я сделал ошибку, выбрав Редерна вместо тебя поверенным во всех делах графского рода. Этот негодяй разорил меня. Пусть я живу в нищете и перебиваюсь чем угодно, — если бы ты был на месте Редерна, я, может быть, остался бы богачом. Теперь, с потерей миллионов золота, я получил миллиарды идейных сокровищ.

— Попробуйте поджарить картофель на ваших сокровищах, — проворчал Диар, бросая пустой противень перед печкой. — И неужели же вы не могли при мне не вспоминать этого негодяя Редерна? А то, что вы хвастаете потерей титула, так вот вам: почтенный герцог Орлеанский, позабыв свое имя и титул «высочество», написал неведомо ради чего письмо в Парижскую комму-ну с просьбой дать ему новое имя. Ну, те ему ответили, что господин герцог Орлеанский будет отныне называться гражданином «Филиппом Эгалитэ». Извольте-ка радоваться, хорошая фамилия — «Равенство»! Портной сделал ему черную одежду, будто для клерка, а парикмахер подстриг его так, как теперь стригутся приказчики парфюмерных магазинов Сент-Оноре.

Римское бронзовое лицо Сен-Симона вдруг исказилось гримасой ярости и гнева; он даже слегка привстал.

— Послушай, Диар, зачем ты сравниваешь меня с разными дураками? Что общего между мною — потомком Карла Великого, явившегося мне совсем недавно во сне и сказавшего мне, что я буду так же велик в человечестве трудящихся, как он в своем мире рыцарей и героев, — что общего между мною и этим несчастным Капетингом, родственником Людовика Капета? И что говорит о равенстве его новая фамилия? Если недавно говорили: каждому по рождению, то теперь говорят: каждому по способностям, а я сказал бы: пусть каждый получает по потребностям. А потом настанет время, когда народы земли создадут такое общество, в котором каждый будет иметь по количеству доброй воли, внесенной в общий труд, и по количеству своих достижений. А сейчас я хочу

спать, Диар, прекрати свою ворчню, хотя колокола, врываясь голосами во все щели, все более и более меня тревожат. Да, я понял, в чем дело: вот, не забудь, Диар, что сегодня воскресенье второго сентября, значит...

— Значит...— прервал Диар,— значит... по-вашему — значит, а по-моему — не значит! Уверяю вас, что сегодня вовсе не *воскресенье*, а всеобщая парижская смерть, и, судя по тому, как разгорается зарево, боюсь, что сон ваш будет беспокойным.

Парижские толпы двигались по улицам и вдруг остановились перед окнами Пале-Рояля. На балконе появился герцог Орлеанский, получивший теперь фамилию Эгалитэ. Любовница герцога Орлеанского мадам Бюффон и несколько собутыльников спокойно ужинали, невзирая на колокольный набат. Мадам Бюффон последовала за герцогом. Раздались крики толпы, и над головами людей в красных колпаках, в кожаных фартуках, с пиками, кольями и топорами, с молотками, щипцами и дубинами высоко на пике на уровне балкона показали герцогу голову принцессы Ламбаль, его невестки. Любовница герцога отшатнулась, в полуобморочном состоянии вошла в комнату, в то время как герцог с невозмутимым видом приветствовал толпу парижан, разгневанных слухом об изменах, парижан, мятущихся в стремлении спасти Париж от внутреннего взрыва контрреволюции. В своем хаотическом движении эта мстящая напуганная парижская толпа, боявшаяся за жизнь своих детей, за свои собственные головы, которым угрожали пули и штыки герцога Брауншвейгского, боявшаяся за свои жилища, которым грозил пожар и уничтожение, объявленные манифестом контрреволюционной армии,—эта парижская толпа убивала, не желая убивать, судорожно сдавливала пальцы на горле своих многочисленных жертв и стремилась возможно скорее очистить тюрьмы, в которых явные изменники и предатели в силу подкупа и защиты в Легислативе были пощажены одновременно с несколькими случайными посетителями страшных парижских тюрем. Судорожное движение толпы, несмотря на страшную разъяренность каждого входившего в ее состав, производило впечатление напуганной самозащиты, а не нападения.

Мадам Бюффон сказала своему любовнику:

— Вот так понесут мою голову на пике.

Герцог сел за стол и мрачно сказал:

— Бедная женщина! Если бы она мне верила, ее голова по-прежнему была бы цела.

Его мрачность скоро рассеялась при мысли о том, что наследство принцессы удваивает его капитал. Герцог просчитался, так как прошло очень немного времени перед краткими, молниеносными событиями, сделавшими излишним всякий капитал для обезглавленного туловища гражданина Эгалитэ. Передовой человек, поставивший у себя на шелковых фабриках первую паровую машину во Франции, захотел быть передовым человеком в революции, но легко было поднять и тяжело нести. Парижская толпа, которую почти никогда не обманывает власть, которая всегда прекрасно понимала Марата, которая всегда с обожанием смотрела на Бабефа, а в Робеспьере видела «пламенного защитника до известной поры»,—эта самая неуклюжая ремесленная толпа—суровая, недоверчивая, изменчивая масса парижских ремесленников—сразу раскусила господина Филиппа Эгалитэ. Само наименование, данное ему Парижской коммуной, показывало своим подчеркиванием, что «равенство нарушено и никогда не восстановится».

Под утро толпы народа собрались у тюрьмы Шатле и у ворот Консьержери. Молодой желтолицый Бонапарт холодными глазами рассматривал людей, не принимая ни в чем участия; он только смотрел. Революционный комиссар из Коммуны быстро вывел из тюрьмы около двухсот человек, арестованных за долги и за мелкие гражданские дефекты, и потом толпа ворвалась в ворота и стала извлекать из камер роялистов и тех швейцарцев, которые перестреляли столько парижского простонародья в день 10 августа, перед низвержением короля Людовика XVI. Огромными буквами на стенах тюрьмы вырисовывались плакаты:

«ГРАЖДАНЕ, ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!»

Еще за день перед этим та же толпа внесла в Законодательное собрание серебряную статую святого Роха, и безвестный депутат, указывая на малое количество вооружения для революционного народа, произнес замечательную речь:

«Различные братства являлись при прежней власти

звеньями жреческой цепи, способствовавшей закабалению народа. Мы разбили эти звенья и присоединились к великому братству свободных людей. Мы призывали святого Роха против политической чумы, так сильно опустошившей Францию; но он не внял нашему зову. Тогда мы подумали, что его молчание зависит от его формы, и вот мы принесли его вам, чтобы вы превратили его в звонкую монету. В этой новой форме он, безусловно, поможет истребить зачумленную расу наших врагов».

Быстрый трибунал приговорил к смерти швейцарцев, стрелявших в тылу, со ступеней Тюильри. Командир этих наемных палачей революции, майор Бахман, кутается в свой красный мундирный плащ и равнодушно смотрит на толпу парижан, пожирающих его взглядами ненависти. Бахман попадает на гильотину, двести двадцать его спутников подвергаются иной казни под пиками сент-антуанских рабочих. Толстый, здоровенный, плечистый поп, аббат Барди, монархист, братоубийца и содержатель притонов, выскочив из камеры, отшвыривает могучими руками своих конвоиров и вступает в единоборство с толпой. Разрывая сутану, подбрасывая тяжелым сапогом то одного, то другого из нападавших на него парижан, он пускает в ход локти, надкусывает горла, расшвыривает людей ногами. Через минуту около него было свободное пространство, но вскоре длинная пика вонзилась ему под нижнюю челюсть, и он упал навзничь, все еще не подпуская никого и судорожно обороняясь ногами.

Бонапарт, взглядевшись внимательно, заметил человека в сером плаще и серой шляпе, он, также не принимая участия, выступал в роли созерцателя этой борьбы. Ретиф де ла Бретонн жадно смотрел и слушал. Рядом с ним стоял молодой рабочий и говорил:

— Не нынче завтра пруссаки ворвутся в Париж и штыки Брауншвейгского герцога будут нанизывать нас, как каштаны на вязальную спицу. Надо как можно скорее очистить тюрьмы от попов, контрреволюционеров и аристократов, иначе вся эта орава завтра же раздавит наш рабочий Париж.

Разъяренные контрреволюционные деятели, дворянская прислуга, которая после отъезда господ с успехом выполняла должности шпионов, быстро приспособилась, проводя свои лакейские замашки в политической конспирации, замашки, свойственные старым камеристкам, графским парикмахерам, счетоводам королевского пар-

фюмера, пострадавшего после прекращения колоссальной выделки пудры на сумму в двадцать четыре миллиона ливров ежегодно. Служки епископов, монашки-сплетницы, сводни-комиссионерки, сводившие и разводившие молодых и старых господ «хороших семей», — вся эта многочисленная орда ханжей и лизоблюдов, кормившихся у господского стола, теперь продавала революционную Францию оптом и в розницу, разыгрывая из себя «угнетенных старого режима». Эти люди быстро организовывали тайные союзы, превосходящие революционностью своих воззрений вождей Якобинского клуба и старых рабочих-секционеров, бывших комиссаров фронтовых частей. Они вообще проявляли чрезмерную лояльность по отношению к революции. Но, однако, эта лакейская сволочь ухитрилась выгнать из округов мэрий, коммунальных учреждений и народных трибуналов честнейших и беднейших граждан, бескорыстно служивших делу революции. Они, соединяясь втроем, писали доносы на четвертого, создавали дела из ничего, запутывали народные суды, компрометировали его ложными шагами до тех пор, пока огромное чутье парижского простонародья из Сен-Марсо или обитателей подвальных этажей Сент-Антуанского предместья не насаждало в тюрьмы сотни этих паразитов, вцепившихся крепко в тело революционной Франции. Тогда поднимались вопли, тогда кричали о безграмотности суда, о безжалостном терроре и «кровожадности всех этих Маратов и Робеспьеров».

В 1792 году, в год войны, в год тяжелого продовольственного кризиса, эта контрреволюционная шваль все чаще и чаще наполняла тюрьмы, и вот в Бисетре, в тюремном заведении, названном по имени кардинала Винчестера, владевшего когда-то этим мрачным и обширным кварталом Парижа, ко дню сентябрьской расправы накопилось три с половиной тысячи людей такого сорта. Двери тюрьмы, обычно открывавшиеся с той легкостью, которая так вводила в досаду бесновавшихся парижан, в этот день оказались необычно туго и крепко запертыми. Исчезли сторожа, и начальник тюрьмы находился неведомо где. Затаенная и мрачная бисетрская тюрьма, казалось, вымерла, ибо никто не отпирал на стук, на крики, на многотысячный вой собравшихся парижан, желавших проверить состав заключенных. Тогда, по приказу секций, к воротам Бисетра была привезена пушка, и ядро, гулко ударив в ворота, перебило замок. Гвозди дождем

посыпались из пазов и щелей старых тюремных дверей. Казалось, наступило время освобождения—так бурно и быстро ломались замки, двери слетали с петель, гнулись решетки. Один раз было так, что люди, перед которыми насильно открывались двери, отказывались пошевелиться из-под дощатых нар и сломанных матрацев. Заключенных вытаскивали на двор, опознавали и убивали тут же.

Парижский мэр Петийон, выждав надлежащий момент, явился в тюрьму и уговаривал остановить истребление контрреволюционеров до организации более длительной формы суда. Знал ли он сам в этот день свою судьбу—свой волчий побег из Парижа, когда было открыто его предательство? Загнанный в бесконечные пустыри бордоских ландов, он был найден еще теплым среди стаи волков, пожиравших его мертвое тело. Сантер, организатор двухтысячного отряда копейщиков, только на третий день пошел уговаривать толпы, несмотря на приказ, изданный Роланом—жирондистским министром внутренних дел.

Бонапарт, встретившись взглядом со старым Ретифом, наблюдал за тем, как выражение ужаса заставляет его меняться в лице и переходить от одной окраски в другую; вдруг новое зрелище отвлекло его внимание.

Максимилиан Робеспьер и Тальен появились вдалеке, они медленно шли по улице с таким видом, как будто в Бисетре ничего не происходит.

— Гражданин Тальен!—закричал один ремесленник.—Эти дни муниципалитет должен оплатить обычным тарифом.

Тальен кивнул головой и сказал:

— Вы принесете мне списки.

Бонапарт уловил слова Робеспьера. Тот говорил:

— Вы говорите об этом негодяе, полковнике Модюи в Сан-Доминго? Если происходят страшные события в Вандее, которая имела несчастье восстать во имя бога и короля, то помните, что мы точно такую же Вандею имеем и в Антилиях, где жестокости вызвали восстание черных людей и мулатов, где глупость Бриссо не сумела понять, что как раз в ту минуту, когда после гибели шестисот плантаций колонисты пошли на мир с мулатами и признали декрет пятнадцатого мая тысяча семьсот девяносто первого года, как раз в это время Барнав, с тупостью настоящего жирондиста, уничтожил все значе-

ние декрета и поставил цветные племена в положение худшее, чем до революции. А кто такой Модюи, этот королевский офицер, как не яростный сторонник короля, как не противник революции, как не руководитель сан-домингской Вандеи? Разве после этого тебе кажется странным такое зрелище?

Бонапарт обернулся в ту сторону, куда кивнул Робеспьер и где среди криков гневной толпы, среди шума, беспрестанного бега, ударов и воплей он увидел черного человека с курчавой головой, с черным лицом и черной волосатой грудью, в разорванной рубахе. Белые зубы улыбались страшным оскалом, он держал в руках выщербленный старый кусок алебарды и потрясал неправильно отрубленной, искрошенной головой. К нему подводили одного за другим, он резал, рубил и ударял без устали и без перерыва.

То был негр Делорм, мститель за свое племя, появившийся неизвестно откуда, искавший по тюрьмам предателей, когда-то истребивших делегатов с острова Гаити. Чтобы облегчить себе эту задачу, он не отказывался ни от чьих поручений; он рубил, резал, крошил и кромсал всех, кого ему подводили, и только на третью ночь, найдя в катакомбах заставы Сен-Жак молодого лакея Массиака и конюха, служившего Шарлю Ламету, он связал их обоих и, погоняя бичом, ночью подвел их к самому Клармарскому рву. Он долго и ожесточенно говорил им что-то ломаным английским языком и потом, развязав их правые руки и надев кандалы, соединившие обе левые руки его врагов, приказал им вступить в единоборство, заявив, что тот из них, кто победит, будет им отпущен на волю. Но оба, и лакей и кучер, мгновенно загорелись одним намерением: они бросились на Делорма с ножами, которые он же им вручил. Хитрый негр это предвидел, он отскочил в сторону; легкий помост, на который прыгнули оба разъяренные его противника, провалился под их ногами, и оба они попали в клоаку Клармарского рва.

Ретиф де ла Бретонн так описывал эти события:

«Я заперся у себя дома на остальной день 3 сентября, думая, что убийства прекратились за недостатком жертв, но вечером я узнал, что ошибся,—они были приостановлены всего на несколько минут. Я не верил рассказам о том, будто восемьдесят заключенных в тюрьме Ла Форс ушли в подземелье, откуда стреляли в нападавших, и

будто их собирались задушить с помощью дыма от смоченной соломы, положенной у входа. Я отправился туда. Убийства продолжались, но спасенных было больше, и мне показалось верным то, что говорилось о ворах, будто бы спасавших своих товарищей. Но был и обратный способ действия. Все фальшивомонетчики заставляли, наоборот, убивать своих товарищей, делая в то же время вид, что хотят их спасти... Убийства прекратились в Аббей, в Консьержери, в Шатле, где никого не осталось.

Вечером все направились в Бисетр. Там вывели «конурочников» (тех, которые сидели взаперти в темных конурках); но их судили менее правильно, чем в обычных тюрьмах. На них едва взглядывали, по двум причинам: надзиратель в тюрьме Бисетр, убитый раньше других, не мог дать список заключенных, а затем вообще было известно, что то были поголовно отвратительные субъекты, которых революция не могла освободить. Они были расстреляны во дворе. Заключенные в тюрьме Ла Форс в первом этаже, во дворе темных конурок, пробовали защищаться, вооружаясь; но они были уничтожены. Вот что произошло в этой тюрьме, весьма некстати присоединенной к госпиталю.

Оставалось еще одно дело, которое особенно радовало негодяев и разбойников. Я узнал, что его отложили на четвертое, по возвращении из Бисетра.

В тюрьме существовала одна несчастная — Дерю (вдова известного отравителя), которую, после долголетнего заключения, во время которого она родила ребенка, — по слухам, от Ладиксмери, — наконец наказали плетьюми, заклеив ей белые плечи, как недавно графини Ламотт (графиня де Валуа — Ламотт — героиня дела с ожерельем королевы), и посадили в Ла Форс при Сальпетриере на весь остаток ее жизни. Эта женщина, по слухам, была главной причиной этой экспедиции на женщин госпиталю... Про нее говорили, что она была красавица, но в то же время интриганка, озлобленная, способная на все; не раз говорила, что была бы счастлива увидеть Париж, залитый кровью, или поджечь его... Но меня всего более удивляет то, что все знали об этом проекте и что никто ему не помешал. Наоборот, на следующий день в семь часов утра разбойники выступили в сопровождении двух людей «с шарфами через плечо» — во избежание беспорядка, как говорили.

Пришли. Какой-то простолюдин закричал среди двора во все горло:

— Начальницу, начальницу! С нее надо начинать!

Это не входило в планы. Явившаяся начальница и сестры выказали страх, внушенный им этим человеком.

— Подождите,—сказал один марселец (последующее передаю буквально со слов свидетеля-очевидца),—я вас от него избавлю.—И рассек ему череп ударом сабли, потом отбросил его к стене.

Приказали открыть дверь женского отделения тюрьмы Ла Форс. Женщины затрепетали от радости (как прежде бывало в тюрьмах), думая, что пришли их освободить. Здесь следовали списку. Их вызывали по старшинству. Читали причину заключения, выводили из одного двора и убивали на другом. Вдова Дерю оказалась четвертою или пятою и оповестила всех остальных об ожидавшей их участи ужасными криками, так как разбойники, забавляясь, обращались к ней с непристойностями. Ее труп не был от них избавлен и после смерти. Сорок женщин были убиты здесь.

Пока эта кровавая сцена происходила в одной части Ла Форс, по другим бегали распутники и негодяи всей Франции или даже всей Европы. Прежде всего сутенеры выпустили всех проституток. Надо было видеть эту сцену. Она не была кровава; но едва ли можно было увидеть нечто более непристойное. Все эти женщины предлагали своим освободителям, равно как и каждому первому встречному, то, что они называли любовью...

Но оторвем наши взоры от этой картины и направим их на другую, которая не будет ни более пристойною, ни более успокоительною, ни более нравственною, но которая по крайней мере не явится изображением двойной испорченности.

Сутенеры и чернь бросились в женскую тюрьму. Другие распутники проникли в приют для девиц, приют «домашних служанок», то есть тех, которые там воспитывались.

Несчастные ведут там печальную жизнь. Вечно за школьными занятиями и под страхом розги учительницы, обреченные на вечное девство, на плохую и невкусную пищу, они не ждут иного счастья, как только чтобы кто-нибудь пригласил их в прислуги или на какую-нибудь тяжелую работу. Да и тогда что за жизнь? При первой жалобе несправедливого хозяина или хозяйки их берут

обратно в приют для наказания... Нетрудно почувствовать, насколько эти существа унижены и несчастны...

Вот к этим-то забитым и униженным существам, которые, будучи случайно брошены в общество, остаются в нем всегда презренными,—ворвалось все, что было наиболее распутного и наиболее злодейского в Европе... Негодяи обежали все дортуары, в то время как молодые девушки вставали. Они выбирали из них тех, которые им более нравились, и овладевали ими тут же, на глазах у подруг. Ни одна из этих девушек не была изнасилована, так как ни одна не сопротивлялась. Доведенные почти до униженного состояния рабынь-негритянок, они повиновались малейшему приказанию. Некоторые честные молодые люди, находившиеся в толпе в качестве любопытных, спасали девушек, уводя их из этого места...

Так как среди девушек есть много дочерей бедных родителей, то часто у них оказываются братья и сестры в предместьях или в деревне. Один молодой пивовар бродил по спальням, кого-то разыскивал. Наконец он увидел молодую девушку, оказывавшую некоторое сопротивление и отбивавшуюся от немца, замахнувшегося, чтобы дать ей пощечину. Молодой пивовар бросается на немца и оглушает его дубинкой. Вся толпа восстает против его поступка.

— Ах, боже мой!—воскликает пивовар.—Это моя сестра. Неужели вы хотите, чтобы я допустил целовать ее на моих глазах?

Тогда все приняли его сторону, и он увел девушку.

Другая сцена произошла на глазах у моего свидетеля. Одну из наиболее красивых девушек преследовал парень из мясной. Он уже поймал и схватил ее, как вдруг девушка обернулась.

— А, мой братец!—воскликнула она, глядя ему в глаза.

Мясник остановился и вслед за тем ушел, уведя с собой сестру. Одна из девушек, впрочем, оказалась удачливой. То была молоденькая блондинка, быть может единственная, безусловно красивая девушка в приюте. При виде разбойников она заклеила себе лицо пластырем и вымазала его грязью. Среди входивших она заметила мужчину лет сорока, внушившего ей некоторое доверие. Гиацинта Гандо—так звали девушку—вытерла лицо и бросилась к нему с криком: «Отец, спасите меня!» Мужчина накрыл ее своим плащом и увел, говоря: «Это

моя дочь!» Придя в его дом, Гиацинта бросилась к нему на грудь со словами: «Делайте со мной что хотите, но только никогда не отсылайте меня обратно в приют». Мужчина привязался к ней, найдя в ней, кроме красоты, и добрый нрав. Что было дальше? После того как у нее родился сын в начале мая, он на ней женился...

Эта история меня несколько утешила... Событие в приюте «домашних служанок» завершило разгром Сальпетриер. Простимся с этим несчастливым сентябрем, который когда-нибудь займет такое видное место в нашей истории».

Господин Шатобриан вернулся после полугодовых скитаний по Америке. Савиньена де Фромон сидела с ним в маленьком притоне, что у самого выезда из Парижа в Венсенскую рощу. Она слушала его бесконечные рассказы об американских лесах, о восхитительных таинствах южноамериканской ночи, но слушала рассеянно, и в голове у нее неустанно бродила одна и та же мысль: «Когда же этот болтливый путешественник заговорит о деле?» Но Шатобриан, увлекшись своей поэтической фантазией, продолжал:

— Я думал отдохнуть на лоне девственной и могучей природы. Когда в непроходимом лесу, перебегая от дерева к дереву по берегам многоводных рек, я почувствовал, что здесь не ступала человеческая нога, я вдруг понял и оценил великое учение Руссо о естественном человеке. Париж со страшной бойней, с неизвестностью завтрашнего дня, это ад по сравнению с тем, чем должно быть человеческое общество, основанное на общественном договоре. Но, увы, в этот самый момент, когда я увлекался видом первобытного леса, в эту минуту слух мой поразили странные, неприятные и слишком знакомые звуки. Я понял их происхождение: на поляне под звуки плохонькой скрипки плясали индейцы, а маленький француз парикмахер, напудренный, в парике, играл им польки и кадрили.

— Ну что же, это очень мило,— сказала Савиньена де Фромон, тихонько нажимая туфлей на носок сапога Шатобриана.— Мой друг, вы заставляете меня терять время,— продолжала она,— поберегите ваше красноречие до того утра, когда вы сможете опять с полным правом перед восходом солнца сравнивать мои раскрасневшиеся

щеки на подушке с расцветающим небом,—не в пользу последнего, как вы неоднократно мне говорили. А теперь помните, что вы задолжали мне за прошлый раз пятьсот ливров золотом, а сейчас, если дело успешно пойдет, вы получите паспорт и возможность беспрепятственного побега через границу только при условии немедленной уплаты, вот сейчас, перед нашей разлукой, пятисот тысяч ливров золотом.

Шатобриан вскочил как ужаленный:

— Боже, где я их возьму?

— Но, мой друг, у вас молоденькая жена с очень старым состоянием.

— Да, дорогая,—раздраженно ответил Шатобриан,—я должен был очень сильно истратиться, чтобы в дни сентябрьской резни выручить из тюрьмы мать и сестру.

— Напрасный труд, напрасный труд,—сказала Савиньена,—они вас только свяжут по рукам и ногам.

Шатобриан едко улыбнулся, махнул рукой и сказал:

— Я не стану разъяснять вам, как и чем связываете меня вы. Впрочем, если все это вас так затрудняет, я могу отказаться,—я просто явлюсь в секцию и скажу, чтобы вас арестовали.

— Ах, вот как!—вскричала женщина и, вскакивая со стула, резким движением уронила кружку вина, залив камзол и панталоны господина Шатобриана.

— Аристократ и проститутка дерутся,—вдруг громко произнес кто-то в углу.

— Ты сам аристократ,—ответил Шатобриан.

Он для виду бойко и с любезным видом предложил руку Савиньене. Около рощи Шатобриан быстро скользнул в заросли и, прежде чем Савиньена де Фромон успела его догнать, он уже сидел верхом, а вторая лошадь нетерпеливо била копытами, имея в седле старика, не без удивления смотревшего на женщину, повисшую на стремени молодого Шатобриана.

— Как? Ведь вы же обещали мне карету!—кричала женщина.—Неужели я пешком пойду в Париж?

— Как! Ведь вы же обещали мне паспорт!—иронически дразнил Шатобриан.—Неужели я пешком пойду через границу?

— Будь проклят, негодяй!—закричала женщина.—Мы еще встретимся!

— Надеюсь, что нет,—крикнул Шатобриан, ударяя хлыстом по лицу взбешенной женщины.

Под этим благодатным небом, под вечным солнцем и пленительными эфирами Гаити во всех садах и плантациях дарит человеку голубые и розовые цветы алоэ, ваниль, кофейное дерево, пряности, хлопок, и огромные сахарные тростники покрывают остров.

Юнивер Питтореск

Терпение—это самое редкое растение, оно произрастает далеко не в каждом саду.

Английская поговорка

Пьер Леон Модюи, один из полковников, вскоре генералов, находившихся в распоряжении губернатора Сан-Доминго Перонье, был по существу человеком, лишенным какой бы то ни было злобы, однако к полному отсутствию собственной моральной физиономии он присоединял полное неумение разбираться в людях. Если бы генерал Модюи имел возможность слышать слова Робеспьера о том, что он является «организатором колониальной Вандеи», то был бы немало огорчен: он всегда считал себя просвещенным человеком, был почитателем Вольтера и Руссо, и однажды за дружбу с Дювалем Дюпременилем, бастильским узником, который не испугался противодействовать королевским министрам, Модюи был волею короля удален из Парижа. Это положило начало тому изменению взглядов, которое кончилось полной ломкой всех воззрений Модюи. Он подал прошение на королевское имя, в котором, распинаясь в верно-подданнических чувствах, коленопреклоненно просил короля вернуть ему право пребывания в Париже. Это право он получил на короткий срок. Он стремился поддержать связь с депутатами Национального собрания, но, не получив доверия ни там, ни здесь, провалившись вместе с провалом королевского проекта о постройке новых четырнадцати военных судов, он принужден был искать себе убежище в первой попавшейся должности и уехал, получив военное назначение на остров Гаити. По его предположению, это могло доставить ему почетное

положение, большие деньги, и вдруг оказалось, что возможно еще одно приобретение — военная слава.

Супруга господина Модюи писала в Париж:

«Когда европейцы пришли на острова, там царила природа во всем диком величии своей роскоши. С грёбней гор спускались перевитые ползучими лианами беспредельные леса, соединявшиеся с саваннами и тянувшиеся, подобно длинным прядям волос, до моря. Задерживавшиеся над вершинами этих лесов облака постоянно сообщали им влажность, которую любят сочные растения этого климата, а с большей еще высоты к ним лились потоки солнечных лучей. Таким образом, питаемые всеми испарениями океана и всем тропическим жаром, острова стали добычей обильной растительности, которая, не останавливаемая зимними морозами, заглушала и пожирала сама себя, для того чтобы возрождаться в еще большем изобилии. Тогда-то со всех сторон началось чрезмерное разрушение. Топор и огонь зараз пущены в ход в этих девственных лесах, а саванны утратили свою вековую тень. Прибывшие из Африки суда начали высаживать на эти берега негров. В настоящее время сахарный тростник покрывает золотоносные берега по всей поверхности колонии. Лучшие земли отошли под шестьсот сахарных плантаций; кофейные плантации заняли пригорки; таким образом разделенный остров имеет восхитительный вид. Это волшебный сад.

Повсюду взор с восторгом останавливается на выполотых и разделенных на квадраты тростниковых полях, за которыми ухаживают, точно за цветником; тропинки между плантациями сходятся со всех концов в виде розетки к саванне, посреди которой высится дом владельца. Там ее сердце; оттуда исходит жизнь, кровь разносится словно по венозным сосудам. В ста саженьях от дома плантатора расположены хижины негров, образующие деревню от ста пятидесяти до трехсот душ в каждой плантации. Время жатвы, начинающейся в январе и заканчивающейся в июле, — это ни с чем не сравнимая в мире картина, которая представляется с возвышения: вид вертящих свои крылья мельниц по всему острову, пропадающих вдали сахарных плантаций; покров острова, ежеминутно меняющий вид и цвет; работы по уборке, веселый огонек, точно убегающий все далее и далее и выходящий из труб сахарных заводов дым. Со всех

саванн раздаётся пение, запах горячего сахара поднимается к небу. Наступает вечер: мельницы останавливаются, негры выстраиваются в ряд перед домом хозяина для общей молитвы, которую слушают с обнаженными головами плантатор со всей своей семьей; затем каждый отправляется к себе в хижину и разводит огонь, чтобы приготовить ужин. Двое негров, назначенных для этого по очереди, помещаются тогда в шалаше вблизи дома хозяина, разводят костер и, вооружившись ножами, готовятся охранять жилища. Все двери запираются, все другие огни гасятся, и ночь опускается на окрестности. Белые в Сан-Доминго делятся на два класса. Одни, будучи привязаны крупной земельной собственностью ко всем выгодам и пользе плантаций, имели бы основание жалеть о гибели своей собственности в случае уравнивания прав черных и цветных людей с белыми. Другой класс состоит из сволочи французских эмигрантов, бежавших от королевского гнева, выходцев из низкой толпы неаполитанских мятежников, карбонариев, бежавших из своих провинций. Здесь есть исступленные женеvские республиканцы, бежавшие из Франции в дни Людовика Солнца. Все они, пользуясь начавшейся смутой, нападают на богатейших белых и охотно идут на приглашение черных банд, собирающихся в горной и лесистой части острова, куда не проникают французы из боязни страшных лихорадок и откуда выселились случайные испанские колонисты. Могу заметить, что те философские системы нашего времени, которые так пленяли нас в нашем когда-то прекрасном Париже, имеют следствием самое губительное воздействие на умы негров и простолюдинов вообще. Прекрасные правила философов, будучи приведены в действие, сопровождаются величайшими бедствиями для благородных сословий. Я слышала об одном негре, выходце из плантажа графа Ноэ. Это плантаж Бреда, находящийся на расстоянии одной мили к северу от Кап-Франсеа. Я тебе напишу имя этого негра. Моя старая повариха негритянка сообщила мне, что здесь ходит легенда о том, что какой-то гений вдохновил этого негра, научил его читать и писать и пристрастил его к чтению губительной французской философии еще в те дни, когда он был пастухом, мальчиком Бреда. Очевидно, бывший ваш управляющий, который ныне управляет бредским плантажем, именно г-н Байон де Либерта, не отличается зоркостью, ибо, зная о сношениях этого негра

с бунтовщиками, убитыми в Париже, а также с неграми Биассу, Букманом (голова которого недавно была на пике для устрашения площади и даже мертвая смотрела на всех живыми глазами) и Жаном Франсуа, Байон де Либерта оказывает столь странную доверенность этому опасному черному философу. Конюшни и пастбища Бреда, судя по словам моей поварихи, сделались местом каких-то таинственных сборищ, на которых происходят, как говорят, таинственные обсуждения французских событий и чтение книг безбожного аббата Рейналя. Негры называют эти книги «Белым кодексом черных людей». Как жаль, что в Париже мало знают о том, что здесь происходит... Знает ли нечестивый Рейналь о том, какие ядовитые плоды принесли его посевы?»

Пьер Леон Модюи увидел другую картину: посадив своего брата Николая Модюи в контору табачной фабрики, он имел возможность близко соприкоснуться не только с вопросами быта черных рабов и цветных племен, но и с тем, что больше всего интересовало его супругу,—с вопросом о суммах барышей, получаемых плантаторами, французскими колонистами. Это вызывало зависть в душе обнищавшего дворянина. Он согласен был переменить свои воззрения на праздных буржуа, получающих колоссальный барыш, переменить, но по одному их слову, если они научат его быть богатым. В колониях были немногочисленные французские войска, но очень многочисленные и вместе с тем превышавшие французов нерегулярные армии гаитийских маронов, рабов, из числа тех, которые совершенно легально доставляли французы и англичане и которые не вынесли режима и бежали в недоступные части острова.

Благочестивые негры, собирающиеся вечером на молитву, для того чтобы вместе с милостивым и ласковым господином возблагодарить создателя за прелести восемнадцатичасового дня работы, зачастую убегали в саванны, организовывали там большие и малые отряды, и хотя эта армия нигде не была зарегистрирована и не вела списка своих батальонов, полков и бригад, но Модюи скоро узнал, что отряды маронов, скрывающихся в совершенно недоступных частях Гаити, гораздо значительнее, нежели думают в Париже.

Первое, что сделал господин Модюи, это написал генералу Лафайету о том, чтобы тот озаботился подкреп-

лением колониальных войск. Он не получил ответа, и, как увидел впоследствии, это письмо сыграло самую решительную роль в определении его личной судьбы. Он очень неосторожно отозвался о пятнадцати тысячах мулатов, которые, будучи свободными и владея небольшими домиками, пожелали стать совершенно свободными, то есть участвовать в законодательных органах страны. Модюи просто приравнял их всех к числу восставших рабов и, помня уроки отца Николазика из классической древности, писал Лафайету, что:

«Во избежание зрелищ восстания нового Спартака необходимо как можно скорее избавиться от воцарения негров и мулатов, ибо если они сделаются господами острова, то он ничего не будет в состоянии сделать с другим, гораздо более опасным движением, которое есть среди безродных плантаторов, «господ, выскочивших из бедноты», неблагодарных по крови и способных отложиться от Франции, если она будет оказывать покровительство идеям свободы среди мятежно настроенных цветнокожих и черных людей».

По Черному кодексу, надо уничтожать всех маронов, ибо каждый из них «трижды заслужил пытки перед смертью и смерть после пыток». Но так как у них много сторонников среди убежавших негров, работающих на плантациях, факториях, на фабриках и заводах, то в карательном порядке придется уничтожить такое количество людей, что плантации могут обезлюдеть.

«При теперешней дороговизне, когда англичане колоссально подняли цену на негров, это вызовет серьезный убыток. Не лучше обстоит и в других областях. Господа, привыкшие жить в невероятной роскоши, о которой не смели мечтать принцы и принцессы королевской крови, пожалуй захотят отложиться от Франции и устроить из острова Гаити самостоятельное государство. Помните, что даже негры на плантациях курят такие сигареты, которых мы с вами, или, во всяком случае, я, бедный французский генерал, не мог бы во Франции купить ни за какие деньги. Наши королевские чиновники слишком уже замкнуты, они зачастую спорят с местными плантаторами, которые заинтересованы в делах самоуправления колоний. Смотрите, дорогой маркиз, как бы

нам не оказаться между молотом и наковальней. Надо все сделать для того, чтобы богатые люди имели максимум прав; надо все сделать, вместе с тем, чтобы население из белых людей, осевших на острове,—из итальянцев и французов, хотя и не дворянского происхождения, но составляющих основные массы белого населения, в виде ремесленников, купцов, матросов торговых кораблей и мелких торговцев,—получило бы гражданские права, если они аккуратно уплачивают свои налоги. Желательно было бы, чтобы вы как первый министр определили, следует ли вообще устраивать Законодательное собрание на острове, или Сан-Доминго должен выбрать своих представителей для отсылки в Париж. Вместе с тем, дорогой маркиз, уведомляю вас, что богатейшие колонисты сен-маркского кантона собрались в Сен-Марке и объявили себя приходским национальным собранием. Ответьте, пока не поздно».

Лафайет не ответил. Модюи не писал Лафайету, что уже давно новый губернатор Сан-Доминго, Бланшланд, через подставных лиц занимается куплей и продажей негров, что он сам не прочь бы принять участие в этих операциях. Он частенько подумывал, что его племянник, мэр города Бордо, мог бы в тысячу раз больше разбогатеть, если он, Модюи, сам мог направлять караваны в южные гавани, ибо «как-никак Бордо по справедливости назывался Антильскими воротами Франции». Через Бордо и его главные конторы антильские пряности поступают не только в Париж, но и во всю Европу. Тростниковый сахар шел не только на французское хозяйство, он служил серьезнейшим подспорьем английскому ввозу сахара на континент Европы.

Скоро новые события коренным образом переделали воззрения Модюи. Однажды после полудня к нему явился человек с благородным лицом, синеватыми ногтями, просто одетый, слегка ожиревший. Он никак не хотел сказать лакеям своей фамилии.

Модюи заинтересовался. Просунув голову в дверь, он вдруг увидел, что никакой тайны нет, что перед ним просто старый мулат Цюбал. С улыбкой, с униженным видом Цюбал, увидав господина, немедля проскочил в дверь и, перебирая всевозможные титулы, существующие и не существующие, заговорил:

— Я не смею рассчитывать на эту честь, но, быть

может, вы навестите меня, будет такая честь? Мой скромный обед, мой дом, мои слуги, мои негры—все в распоряжении генерала.

Цюбал был самый спокойный и уважаемый мулат округа. Модюи хотел обойтись с ним высокомерно, как подобает французскому генералу, но вдруг неожиданно не понятное ему самому любопытство сменило первоначальное решение.

«Я всегда успею обругать этого человека,—подумал Модюи,—но надо узнать, чего он хочет».

Обращаясь к мулату, он спросил:

— У тебя что: свадьба, похороны, семейное торжество? Что вынудило тебя звать меня, французского генерала?

— Ваше превосходительство, вечером, после захода солнца.

— Вечером, после захода солнца,—повторил Модюи.—Хорошо, кто же у тебя будет?

— Никто, кроме генерала,—сказал Цюбал.

Когда мулат ушел, Модюи подумал: «Один из моих предков дружил с арабскими вождями, по преданию занимавшими когда-то лесные склоны Дофинэ. Отчего бы мне не посетить этого почтенного мулата?»

И он посетил «почтенного мулата». Наступил вечер, спадал зной. Супруга господина Модюи ушла к соседям; она сидела уже давно на кампешевом диване креола Шапотена с его дочерьми и красивой креолкой-хозяйкой, которая прекрасно произносила слова, установленные по креольскому обычаю: «Мой дом—ваш дом, генеральша».

Госпожа Модюи слушала мелодичные креольские песни, которые пели молодые дочери Шапотена на удивительном языке, в котором смешивался родной язык Шапотена с языком испанских креолов, в котором смешивались мелодии знойного древнего острова карибов с причудливыми, простыми и словно во сне звучащими звуками Люлли и Рамо: нежный, тихий, какой-то пчелиный звук, похожий на жужжание, который клавесин дарил вечеряющему антильскому воздуху, смешивался с чудными голосами молодых девушек.

На столиках, на скатертях, на шитье лежали деревянные вещицы, сделанные неграми местной мастерской из кокоса и пальмы. Желто-белое молочное дерево пальмы почти ничем не отличалось в полировке от слоновой кости. Креолки любили брать в руки эти вещицы, играли

ими во время разговора. Из этого же самого белого дерева были сделаны почти прозрачные белые ложки, которыми хозяйка клала из баночек всевозможные дульчи — креольские варенья, намазывала их на белые плоды хлебного дерева, льяне. Кокосовые вилочки, тонкие, похожие на деревянные лопаточки с кружевными узорами на ручках, стукали по краям тарелок гостей. Подавались пататы, сладкие длинные бананы разного приготовления, желе из мараньонов, цапоты, ниспэросы и другие местные лакомства.

Негритята, маленькие, прекрасно сложенные, в белых фартуках, белых камзолах и белых жабо, синих шароварах и кожаных туфлях с загнутыми носками на босу ногу, числом двенадцать, прислуживали за столом. Это были любимцы господина Шапотена, взятые к столу еще в детском возрасте, когда нет ни удивления, ни стыда, когда нет еще созревшей дружбы и того презрения товарища, которое останавливает молодежь от целого ряда неосторожных поступков. Эти молодые негры в большинстве случаев довольно рано привыкали презирать неудачников, относиться к ним со своеобразным пренебрежением, но зачастую, не рассчитав своего взлета, они падали, заслужив презрение тех, кого они сами презирали. Их встречали товарищи, привычные к побоям и не знавшие барского двора.

После кофе, когда спала жара, креолки с белоснежными лицами, с глазами, блестящими и черными, с великолепными волосами, спадавшими почти до колен, потанцевав немного для увеселения генеральши Модюи, посадили ее в воланту — экипаж чрезвычайно удобный, так как можно принять любое положение, не вставая и даже не поднимая ног, и выехали на прогулку. Генеральша была немало удивлена, когда увидела по дороге на Макорис, как ее супруг выходит из экипажа около дома Цюбала у самого берега моря на горе и как Цюбал вместе со своими сыновьями встречает его почтительно и нежно у ворот, украшенных гирляндами цветов. Генеральша проехала по дороге, ее супруг вошел в покои мулата.

Мулаты редко приглашают к себе белых. Порабощая черных, они всю тяжесть своей ненависти переносили на белых поработителей, исходя в первом поколении от смешения крови, которое не знает ни белых, ни черных, которое ломает перегородки сословные, классовые; они были живым доказательством протеста природы против

классового устройства общества, и, однако, никакие их усилия, никакие усилия собственной мысли не давали им возможности выйти из того страшного тупика, в который загнал их освежающий, грозовой, громоподобный вихрь французской революции. Перед одними были перспективы колоссальных возможностей, другим рисовался тот страшный гнет, который являлся результатом напуганного воображения колонистов и белых людей на Гаити, ибо если одни требуют свободы, то другие удваивают рабство.

В гостиной, украшенной сообразно европейским обычаям, Цюбал встал перед французским генералом и, рассыпаясь в раболепных выражениях, просил его оказать честь десяткам кушаний, расставленных перед французом на маленьком круглом столе.

Модюи огляделся. Двери, обитые тонкими полосками сантала почти малинового цвета, были затворены; ни одного вздоха не слышалось за ними.

— Дорогой генерал,—сказал Цюбал, оглядывая золотые нашивки на синем мундире Модюи,—я долго обдумывал свое намерение, и, для того чтобы вы не думали обо мне плохо и оценили мою преданность в полной мере, я, пока вы кушаете, не предлагаю вам вина, потом и мне, старику, разрешите выпить за ваше здоровье,—а сейчас скажите мне одно: не согласитесь ли вы взять в дар...

Модюи смотрел с любопытством и тревогой.

— ...вот этот небольшой кусок земли, на котором стоит мой дом. Он довольно удобен, обширен, как все земли вокруг. Здесь родится лучший кофе во всей стране, здесь созревают лучшие ананасы, у меня восемь сахарных плантаций, одна табачная, одна ванильная, четыре хлопковых. Я должен уехать, я становлюсь стариком.

— Куда же ты уезжаешь?—спросил Модюи, ошеломленный этим предложением.

— Я стар и достаточно богат, я хочу на покое прожить остаток дней. Вы знаете, какие времена. Если я сейчас начну продавать мое имущество, мне за него дадут так мало, что разговор о продаже будет стоить гораздо больше для моей печальной старости, и, кроме того, я могу продать только мулату, которые вообще страшно скуны. Если я выдам вам расписку в получении от вас платы за мои земли, вы нисколько не пострадаете, и я смогу спокойно выехать, оказав таким образом знак

малого, но посильного внимания благородному французскому властелину, вступившему на землю Сан-Доминго.

— Так ты за этим меня звал? — вдруг вставая, произнес Модюи.

— Да, генерал, — твердо сказал мулат. — Меня беспокоят ваши артиллеристы. Они начали подкоп моего виноградника, с моря карабкаются матросы к маленькой табачной сортировочной, которая для меня очень дорога, потому что я на опыты с табаком потратил лучшие силы моей юности... Ваши чудаки французы называют табаком это растение, которое все мы называем «петтон». «Табак» в старину называлась трубка для курения этой травы... Дело совсем не в том. Мне стало беспокойно жить в близости к столице острова. Господин Никот преподнес вашей королеве Екатерине Медичи в тысяча пятьсот шестидесятом году это растение. Вот этот Никотов табак я улучшил тем, что получил самые замечательные сорта. Вы будете их владельцем, — только потребуйте, чтобы прекратили с моря и с суши подкопы под мою усадьбу, владейте ею сами. Презирующие нас матросы не осмелятся подкапывать имущество французского генерала.

С этими словами Цюбал налил в чистую стопку коричневый, густой, тягучий и наполняющий комнату запахом напитков.

Модюи вдруг оживился. Он поднял стопку до уровня глаз, выпил ее залпом и сказал:

— Хорошо, я согласен. Когда ты едешь?

— Когда прикажете, генерал, — спокойно ответил Цюбал.

Наутро артиллерийские работы во всех имениях Цюбала были прекращены. Через неделю генерал въезжал полновластным собственником одного из богатых имений и уже в качестве собственника он руководил организацией войск против восстания Оже.

Не показываясь нигде сам, он через подставных лиц проделывал неслыханные жестокости. Он восемь тысяч негров закопал в песок в десяти туазах от Макориса, потом, разогнав по этому огороду из человеческих голов, еще дышащих и смотрящих в небо, одиннадцать эскадронов французской конницы, он смотрел, как она крошила копытами лошадей человеческие черепа. Генерал Модюи все чаще и чаще прибегал к коричневому напитку, оставленному в погребах Цюбала. Он окончательно про-

возгласил себя сторонником французской монархии, и в то время как мулаты и свободные негры требовали уравниения в правах и участия в Законодательном собрании Гаити, генерал Модюи был сторонником того, чтобы разогнать всякие выборные собрания и уничтожить всякую память о французской революции.

Белые колонисты, не принадлежавшие к числу богачей Сан-Доминго, владевшие небольшими факториями почти у самой горы, на заре внезапно были разбужены трубами французских горнистов. Конница генерала Модюи пересекала кратчайшим путем фактории, но эти люди вдруг с музыкой бросились в атаку на стада, пасшиеся в прериях Гаити.

Этот безумный поступок довершил изоляцию Модюи. Удивлению колонистов уже не было границ. Начались безумства французского генерала. Не было удержу его затеям. Но вот однажды, в день казни Букмана, когда генерал Модюи соскакивал с лошади у собственного дома, неизвестный негр, встав у стремени, ударом кривой шашки снес голову генералу Модюи, вскочил на его лошадь и ускакал.

Так кончилась карьера владельца цюбаловского имения, самого либерального генерала французской армии, вольтерьянца и почитателя идей Руссо, корреспондента «Монитера», бежавшего за границу и продававшего Францию.

— Какие газеты выходят в Париже?

— Да очень много, господин Лавуазье.

— Ну, например?

— «Старый Кордельер», «Революция Франции и Бранта», «Национальная газета», или «Всемирный указатель», ну, потом «Легограф», ну, потом «Патриотические анналы», потом «Отец Дюшен» и еще...

— Хорошо, но где же опубликовано о том, что я вышел из откупов? — спрашивает Лавуазье.

— Право, не знаю, нигде не опубликовано, — был ответ.

— Знаете, — заявил Лавуазье, — я становлюсь похож на птицу из стаи в осенний перелет. Десять лет проходит, как охотник убил одну на берегах Сены, и с тех пор вся стая при перелете из Скандинавии в Африку огибает Париж. Что мне делать?

— Что вам делать? — отвечал собеседник, доктор Кабанис. — Ну, принимайте Дюрандовы капли и успокой-

тесь. Я не понимаю разницы в том, заявили ли о вашем выходе из откупов до или после их ликвидации.

— Ах, вы меня не понимаете! — сказал Лавуазье. — В феврале этого года меня снова призывали, предлагали занять должность директора Режи-де-Пудр, я отказался. Ну где мне быть директором пороховых заводов! Я продолжаю свою работу, но мне все труднее и труднее дышать.

Кабанис взял его за руку, нащупал пульс и сказал:

— Великий Гарвей говорил, что вполне можно обойтись с одной третью той крови, которая дана человеку. Сделайте себе кровопускание; посмотрите, как надулись жилы у вас на висках.

— Я не dokonчил, — сказал Лавуазье, не отнимая левой руки. — Комиссар секции произвел обыск в Арсенале, опечатал все мои документы, опечатал все мои научные работы, а без некоторых формул я не могу проделать самое интересное, что я считал делом своей жизни: плотность воды я считаю единицей веса, мы хотим установить универсальный метраж согласно природе. Великий Руссо учил, что она является нашей матерью, а нет ничего лучшего, как воздать должное виновникам своей жизни. Природа указывает новой Франции способ учредить новые меры.

— Как бы они не стали виновниками вашей смерти, — проворчал Кабанис. — У вас повышенное давление крови, сосуды полопались у вас в глазах, вы выглядите плохо.

— Так вот я говорю, — перебил его Лавуазье, — мой помощник Лефоше застрелился, это был невиннейший человек. Бумаги мои опечатаны. Как я могу перед началом нового века дать французам и всему человечеству новые единицы мер и веса?

— Я бы на вашем месте уехал.

— Что это поют? — вдруг вскочил Лавуазье.

— Как что? — со смехом сказал Кабанис. — Это боевая песня марсельского батальона. Офицер Руже де Лиль на фронте сочинил эту песню, Гретри написал на нее музыку, нежный Гретри, автор оперы «Ричард Львиное Сердце». Представьте себе, дорогой Лавуазье, это сочетание: юный офицер с лицом девушки и старый композитор, автор королевских пасторалей, музыкант во много раз лучше, нежели какие-нибудь нежнейшие и сладчайшие Рамо и Люлли, вдруг соединили свои голоса, чтобы сочинить вот такую песню.

Волонтеры, проходившие мимо Арсенала, пели:

Вступаем мы в кровавый путь,
Когда отцы в лучах денницы
Принуждены навек уснуть,
И мы украсим их гробницы,

И ночью мы найдем их след.
Сквозь бури лет и сквозь бураны
Несем мы на алтарь побед
Свободы лучший первоцвет.

Так трепещите же, тираны!..

Лавуазье и Кабанис стояли у окна. Молодежь в новых мундирах, со штыками на ружьях громко пела; доносились еще слова:

Людовик — деспот кровожадный.
Но вы сообщники Конде...

Кабанис улыбался маленькой, хитрой, лисьей улыбкой и говорил, успокаивая Лавуазье:

— Вот посмотрите, сочинил песню — и сам испугался. Я подробно знаю из Комитета двенадцати, что когда господин Карно приехал в Рейнскую армию и сообщил господам офицерам о низложении короля, тогда этот самый автор марсельезы, красная девица Руже де Лиль, сорвал с себя эполеты и швырнул их в лицо генералу Карно.

— Ну и что же? — спросил оживленно Лавуазье.

— Что же, — повторил Кабанис, — что же? Убежал в штаб Дюмурье и потом скрылся в Эльзасе.

Лавуазье вдруг засмеялся.

— Ну, стоило ли писать такую песню?

Кабанис сказал:

— А стоит ли вам говорить о ваших формулах? Вы как будто очень взволнованы. Да что, вы в переписке с эмигрантами, что ли?

— Нет, — ответил Лавуазье, — я считаю это бесчестным, я сторонник революции, но меня беспокоит непонимание толпы.

Кабанис улыбнулся едко.

— А вы ее понимаете? — спросил он.

— Важно, чтобы она меня понимала, — ведь во мне французские интересы.

— А она думает — важно, чтобы вы ее понимали.

— Мы не сойдемся,—сказал Лавуазье.

— Ничего,—сказал Кабанис.—Простите меня, старика: если вы не сойдетесь, вас сведет машина доктора Гильотэна, которую вчера неведомо кто построил на заре перед самым зданием Отель-де-Вилль.

Раздался стук, в дверь вошел слуга и сообщил:

— Господин Пинель.

Кабанис улыбнулся тонкой звериной улыбкой. Трудно было понять, смеются ли его глаза, или его губы складываются в усмешку. Видя колебания Лавуазье, он вдруг с лихорадочной быстротой заговорил:

— Слушайте, академик, примите его. Ведь это же страшно интересно! Если какой-нибудь господин Месмер оказался просто шарлатаном и сукиным сыном, то ведь Пинель—это же ведь гений перед ним, это же лучший лекарь заболевания духа!

Но Лавуазье и без агитации Кабаниса распорядился жестом принять Пинеля, которого очень уважал.

Пинель был у Лавуазье месяц тому назад. Он принес в пробирке тонкий белый порошок с просьбой дать качественный анализ этого странного зелья, только что привезенного с Антилий комиссаром Законодательного собрания Сантонаксом. Этот порошок был отобран у двух матросов, которые на палубе корабля «Артемида» в полубреду закололи капитана, скинули семерых матросов за борт, со страшной силой и бешеными криками захватили штурвал рулевого и компас в капитанской каюте и, выхватив шомпола мушкетонов, заклепали двенадцать орудий на борту корабля. Лавуазье больше не знал ничего. Пинель вкратце сообщил эти сведения и оставил состав у химика. Пинель вошел в комнату, где стояли Кабанис и Лавуазье. Пинель, очень спокойный, круглолицый, с улыбкой горечи, которая, опуская его губы, странно противоречила выражению веселых, почти смеющихся глаз, сказал:

— Ну вот, дорогой Лавуазье, я, кажется, не опоздал. Ко мне пришел некий пикардиец, господин Демулен из города Гизе, тупоумный старик и скряга, верноподданный его величества бывшего короля. У него все в голове перепуталось! И знаете, с чем он ко мне пришел?

Кабанис вежливо встал и, обращаясь к Пинелю, сказал.

— Я не помешаю великому лекарю души в беседе с великим знатоком вещества?

— О нет! — сказал Пинель. — В моей науке нет секретов. Чем больше фонарей светит в этот бездонный погреб, тем лучше.

— Так, — сказал Кабанис, — наука любит тайны.

— Наука любит свет, дорогой Кабанис, — вдруг отозвался Лавуазье. — Так что же, дорогой Пинель, — спросил он, — что привело к вам отца Камилла Демулена?

— Прежде всего, — спросил Пинель, — какой это Камилл Демулен? Это тот самый, который издавал «Революцию Франции и Брабанта»?

— Да, да, тот самый, — ответил Кабанис. — Все дело в том, что этот юноша только что женился на богатейшей невесте Парижа Люсиль дю Плесси. Эрот яростно вмешался в политику, и мальчик Демулен не знает, оставаться ли верным революции, или своей жене, одной из прекраснейших женщин, которых я когда-нибудь видел.

— Да, они друг друга стоят, — сказал Лавуазье.

— Так знаете, с чем явился этот старик отец? Он требовал, чтобы я властью начальника Сальпетриера и Бисетра, двух домов умалишенных, освидетельствовал его сына и признал его безумным матереубийцей.

— Как? — воскликнули оба, Лавуазье и Кабанис.

— Да так; старик сообщил, что в силу присоединения сына к партии мятежников, уничтожающей законную власть во Франции, его мать заболела и потеряла мензулы от испуга.

Кабанис засмеялся.

— Дважды женщина теряет мензулы: первый раз, когда ей нужно родить, второй раз, когда приходит климакс. Сколько же лет этой старухе?

— Не знаю, — улыбаясь, сказал Пинель. — Судя по возрасту мужа, и ей пора готовиться с покорностью к возрасту климактерии и не роптать на судьбу. Революция тут ни при чем. Я сказал сумасшедшему старику, что я не только не могу помочь в отвратительном деле объявления его сына безумным, но что я даже тех, кого безумие королевской власти посадило в дома умалишенных ради отобрания богатого наследства, и тех освободил и выпустил на волю. Я пригрозил ему революционным судом, я сказал ему, что он на плохой дороге. Если революция сбила цепи с третьего сословия, то я, психиатр Франции, впервые пошел в Бисетр, в больницы и тюрьмы, чтобы снять с несчастных душевнобольных цепи, наложенные преступниками и невеждами. Можете ли вы себе предста-

вить, что среди двухсот тридцати семи больных пятьдесят, закованных в цепи как безумные, оказались совершенно здоровыми. Их речь, их ясное сознание, их способность на все отвечать разумно показали мне, что истинные преступники—это те, кто осмелился надеть на них цепи.

Лавуазье слушал, склонив голову. Пинель продолжал: — Вы помните восьмибашенную Бастилию? В каждой из восьми башен помещались пять восьмиугольных камер. И подвалы и так называемые «камилавки» — сводчатые чердаки башен—ставили человека то под удары страшного зноя, то под конвульсии безумного холода. Офицеры Бастилии сами не знали, кто сидит в этих камерах. Какой там был воздух! Вы помните, металлические прутья решеток пропускали через себя только отвратительную вонь главной клоаки улицы святого Антония. Тиканье больших крепостных часов с освещенным циферблатом преследовало каждого заключенного. Около циферблата—две кариатиды, обвитые стальными цепями: мужчина и женщина из бронзы, привязанные этими цепями к коробке часов; эти стальные цепи позванивали при всяком проезде экипажа ржавой сталью. Я посмотрел списки арестованных. Там оказались, как теперь мне совершенно ясно, люди, объявленные безумными за «бунтовские слова» против королевской блудницы, маркизы Помпадур. Там сидели двадцать семь человек за то, что «они были меланхоликами», там сидели восемь человек, пострадавших от преследований интендантов и откупщиков.

Лавуазье вздрогнул. Пинель заметил это и сказал:

— Могу вам точно сообщить, что по вашим откупам никто никогда не сидел в Бастилии.

Лавуазье мрачно произнес:

— Я вышел из откупов, несмотря на ссору с женой.

— Так,—продолжал Пинель,—там сидела некая женщина просто за приступ падучей болезни. Герцог Неверский отправил в Бастилию своего брата, потому что не мог поделить с ним его красавицу жену, и тот действительно, по-настоящему сошел там с ума. Господин Териссон, пытавшийся продать за границу рисунки лионской шелковой фабрики, был арестован и сошел с ума. Кажется, только Вольтер вышел из Бастилии не только сохранив, но еще больше заострив свой едкий и глубокий ум. Я не перечислю всех старух, молодых женщин, стариков и

молодых мужчин, которые сидели в Бастилии за сношение с дьяволом, за колдовство, за магию и чародейство еще совсем недавно. По существу это были обычные оштрафованные, которые, смазываясь на ночь сочетанием вполне известных им ядов, до безумия доводили экстазы своего воображения. Их рассказы были достаточным поводом для королевского суда, для ареста и даже для предания сожжению.

Кабанис кивал головой; он был строгим материалистом, и эта система воздействия химией на воображение была ему известна до тончайших деталей, но ему никак не хотелось ссориться с парижским духовенством. Как ученый, он одобрял Пинеля, признавал его правоту, но, как политик и бывший королевский врач, он думал, что осторожнее держаться на двух якорях, и молчал во время молодой, гордой и сильной речи Пинеля.

— Так как же? — спросил Пинель, обращаясь к Лавуазье. — Мой опыт рассчитан на четырнадцать порций.

Лавуазье сделал движение удовлетворения. Пинель кивнул.

— Да, четырнадцать, — сказал он, — получился полный успех. Как ваш?

— Тоже, — сказал Лавуазье. — Этот порошок представляет собой то, что среди цветных племен Америки называется «ниоппа». Это порошок, который аборигены Карибских островов втягивают с маленьких глиняных трубок через очин птичьего пера в ноздри. Он приводит их в состояние блаженного безумия, а частое и чрезмерное употребление этого порошка может привести их в состояние длительного безумия, сопровождающегося кровавыми стычками и проявлением вражды. Сантонакс не первый привез это средство из-под тропиков, и кажется мне, что тропики травят Париж и Париж травит тропики одновременно.

Лавуазье, Пинель и Кабанис перешли в лабораторию. Восемьдесят четыре пробирки стояли на деревянных штативах с держателями из проволоки. Лавуазье показал все стадии своего анализа. Пинель, улыбаясь, сказал:

— Благодарю, я тоже произвел анализ в целях моей науки, но я сам был этим рядом стеклянных сосудов, и я сам на себе пережил весь опыт этого безумия. Мой помощник Латур был приглашен мною в свидетели. Я разделил на четырнадцать порций яд, привезенный Сантонаксом, и испробовал его на себе.

Кабанис скептически наморщил брови. Лавуазье вздрогнул:

— Как? Что? — спросил он. — Вы знаете, что это такое?

— Теперь я знаю, — сказал Пинель. — Я выходил из самого себя и снова вошел в себя. Вернуться к себе было трудно, тем более что я принял три смертельные дозы. Но разве, мой дорогой Лавуазье, вы не помните, как вы ради опытов с разложением света долгие месяцы провели в абсолютной темноте и не остановились перед риском потери зрения?

— Да, это был тяжелый опыт, — сказал Лавуазье.

— Так же и я, — сказал Пинель, — погрузил свой разум в полный мрак, рискуя не вернуться к свету.

— Ваш опыт вам будет стоить пяти лет жизни, — вы забрали у природы на пять лет вперед, — сказал Кабанис, обращаясь к Пинелю.

— На ком же мне было его произвести? — ответил Пинель. — Я сам отвечаю за свои опыты, пусть знают, чего стоит наука. Люди, умирающие сейчас от прусских пуль, когда еще не утихла канонада под Вальми, платят дороже за то, чтобы их дети знали, что такое свобода. Известно ли вам, что Лазарь Карно, определяя движение ядер и вычисляя их траектории, пользовался боевой обстановкой, — рискуя жизнью, он наблюдал падение германских ядер. Так возникли самые его замечательные математические работы. Господа Гальвани и Вольты, в своих открытиях животного магнетизма и нервной жидкости, разве они не прибегали к опытам, повреждающим здоровье? Не могу сказать, чтобы все это делалось без труда. Средства, которые я испытывал как источник многих человеческих безумий, есть, к сожалению, те же самые средства, которые фигурируют в процессах колдуний в тысячах случаев, когда инквизиция умерщвляла людей, якобы летавших на шабаш. Они страшно действуют на воображение, и в то время, когда человек лежит в полуобморочном состоянии, ему грезятся дьявольские сцены. Он испытывает увлекательное саббатическое безумие и просыпается в совершенном изнеможении, думая, что все это происходило наяву. Находящийся сейчас на моем попечении маркиз де Сад — человек, гораздо более невинный, нежели о нем говорит молва, обезумел благодаря длительному применению шариков, сделанных из этого порошка. Но его увлечение не было бескорыстным: он не

...имел никакого научного опыта и потому сделался рабом и жертвой бездушного вещества; он позволил себе ради славы покидать здоровое состояние духа с такой же легкостью, с какой путешественник отправляется путешествовать, запирая на ключ дверь своей комнаты. Но вот однажды в этой опасной дороге ключ оказался потерянным, вернуться было некуда. Маркиз де Сад бродит сейчас около того жилища, которое являлось обителью здорового сознания, но не может переступить порога. Отсюда мрачная меланхолия и состояние полной потерянности.

Вы правы,—сказал Кабанис,—я воспользовался бы старым сравнением, которое я слышал неоднократно от Кондильяка и которое по существу вы можете найти в диалогах Дидро и д'Аламбера. Помните, статуя, которой добавляют и у которой отнимают свойства? Ваш сумасшедший маркиз есть статуя, у которой вынули весьма существенное свойство. Все вещества определяют мысль; пища, питье создают равновесие и неравновесие тела.

Лавуазье встал, подошел к книжному шкафу и вынул большую книжку в переплете из красного сафьяна, принадлежавшую его жене. Он прочел вслух:

«Любопытный метод Дидро для объяснения жизни как результата определенной организации материи, в других сочетаниях лишенной жизни».

В диалоге между д'Аламбером и Дидро мы находим следующее,—добавил Лавуазье:

«...Д'Аламбер. Я хотел, чтобы вы мне указали, в чем вы видите разницу между человеком и статуей, плотью и мрамором.

Дидро. Сравнительно в немногом. Из плоти делается мрамор, из мрамора—плоть... Что делаете вы, когда вы едите? Вы уничтожаете препятствия, которые противодействуют активной чувствительности пищи,—вы ассимилируете ее, претворяете в плоть, делаете ее живой, чувствительной. И то, что вы делаете с пищей, я могу выполнить над мрамором. Раньше чем мать одного из величайших геометров Европы, д'Аламбера, прекрасная и преступная канонисса Тенсен достигла половой зрелости, раньше чем солдат Латум стал юношей,—молекулы, которые должны были образовать моего геометра, были рассеяны в молодых и хрупких механизмах каждого из них, плавали в лимфатической жидкости, участвовали в кровообращении; пока наконец не соединились в сосудах,

предназначенных для их слияния: в семенниках отца и яичниках матери. Редкий зародыш сформировался, наконец спустился по фаллопиевой трубе, согласно общему мнению, в матку; скреплен с ней длинной соединительной связкой; постепенно рос и превратился в человеческий зародыш; наступил момент его выхода из тесной тюрьмы: родился, был подброшен на паперть церкви святого Иоанна, в честь которого назван; взят из яслей на прокормление доброй госпожой Руссо; вырос, окреп духом и телом, стал литератором, механиком, геометром... Как все это совершалось? Благодаря еде и другим чисто механическим операциям. Тот, кто пожелал изложить перед Академией процесс образования человека или животного, не нуждался бы для этого ни в чем, кроме материальных агентов, в результате действия которых последовательно образуется существо инертное, чувствующее, мыслящее, разрешающее проблему предварения равнодействий, возвышенное, чудесное существо, затем стареющее, дряхлеющее, умирающее, разлагающееся на свои составные части и возвращающееся наконец в прах».

— Совершенно верно,—сказал Кабанис, когда Лавуазье кончил.—Вот почему человек должен искать какой-то гармонической связи с веществом, ибо, порывая эту связь, он ускоренно ведет себя к уничтожению. Но,—сказал Кабанис, обращаясь к Пинелю,—меня, собственно, интересует, что побудило вас взяться за этот страшноватый опыт? Следует ли на опыте узнавать все виды человеческого безумия? Ведь так мы придем к необходимости испытать состояние утопленника, испытывать состояние сгоревшего человека, мы будем проверять на опыте вред пожаров?

— Я не иду так далеко,—сказал Пинель,—меня интересует только одно: какие побочные явления возникают у человека, охваченного действием ниоппы. Я убедился, что первоначально человек обладает повышенной чувствительностью ко всем явлениям действительного мира, потом действительность вытесняется призраками воображения, ибо я совершенно ясно помню—и это подтверждено моим ассистентом,—что до шестой дозы я разговаривал с ним, когда он действительно присутствовал в лаборатории, потом я продолжал разговор с ним, словно видя его перед собой, в то время как он вышел уже из кабинета, и наконец между одиннадцатой и четырнадцатой порциями я довольно длительно спорил с моей

матерью, реальность присутствия которой не могла быть ничем доказана, так как она умерла два года тому назад. Вот вам причина бунта матросов Сантонакса, вот вам причина безумия целого ряда деревень и сел Флориды, вот вам причина слабости многих восточных племен, принимающих в обильных дозах маковые наплывы, которые в обработке дают опий и которые обрекают целые племена и народы на медленное вымирание. Мой опыт раскрыл мне двери понимания целого ряда душевных болезней, источник которых до сих пор оставался неизвестен. Вместе с тем я теперь не считаю ошибкой предположение, что целый ряд наблюдавшихся по деревням безумий связан с применением так называемых любовных напитков. Для меня ясно, что целый ряд нарушений духовного равновесия определяется временным характером. Для меня совершенно ясно, что только революция может поставить правильно вопрос о человеческом здоровье и только наука — отнюдь не религия — может осветить человечеству его ясный и хороший путь. Рабство и невежество идут рука об руку, истинная наука совершенно свободна и всегда революционна.

— Вы правы,—сказали оба, Кабанис и Лавуазье,—ваш опыт далеко не бесполезен. Но, однако, дорого же обходится человеку его знание!

— Да,—сказал Пинель, прощаясь.—Я думаю, что будут какие-то другие ассоциации ученых, помимо Академии. Без большой солидарности науки, без дружеской руки, протянутой друг другу учеными разных областей, невозможно создать единого знания. Вот без помощи Лавуазье я не мог бы произвести анализа этого сложного растительного яда: у меня нет тех колоссальных возможностей, которые предоставлены великому химику его шестнадцатью лабораториями.

Лавуазье устало посмотрел на Пинеля и, вручая ему протокол анализа, сказал:

— Только мое огромное состояние позволило мне так широко поставить опыты. Предшествующие столетия не давали ученому и его друзьям столь богатых и разнообразных средств, потраченных на достижения одной цели. Теперь я уж лишен возможности тратить так много, я уже не откупщик,—но не жалею об этом.

Пинель посмотрел серьезно и сказал:

— Еще раз благодарю. Я горячо убежден, что Конвент, собравшись, вскоре будет обладать возможностью

улучшить состояние наук во Франции. Конвент даст вам неизмеримо большие средства, чем давали ваши проклятые откупа.

Лавуазье отвернулся и, глядя в окно, произнес:

— А вам не кажется, что я уже отчитался перед человеческим миром в тех средствах, которые мне давала Франция?

Пинель горько улыбнулся и, тронув Лавуазье за локоть, сказал:

— Вы предлагаете ваш вопрос таким тоном, как будто сами сомневаетесь в себе. Ведь только слепой или злодей может отрицать неизмеримость ваших заслуг перед людьми!

— Увы,—сказал Лавуазье,—не только слепой и не только злодей. Не проходит дня, не проходит часа, чтобы я не чувствовал на себе всей тяжести людского непонимания. Люди слепы, им кажется вздором вся программа научной работы химиков будущего века, они видят во мне только богача, их глаза горят бешеным огнем, звериной завистью. Никогда не чувствовал я себя столь покинутым и столь окруженным врагами, как теперь.

Пинель, казалось, не слушал; он произнес как бы в воздух:

— Комиссар Законодательного собрания Сантонакс рассказывает очень много интересных вещей о происшествиях в Сан-Доминго. Вы, кажется, имели отношение к «Обществу друзей чернокожих»?

— Да,—сказал Лавуазье.

— Прочтите журнал Сантонакса,—сказал Пинель.— Это даст вам ключ к пониманию событий.

Простились. Пинель обещал Лавуазье прислать тетради дневников Сантонакса, написанных по пути из Гаити во Францию.

ЖУРНАЛ САНТОНАКСА

«Z» 1792

Штиль кончился, «Колдунья» идет под полными парусами, капитан Босек повеселел. Жалею, что не вел журнала в течение восьми штилевых дней. Противоречивые чувства сгладились, но события кажутся более грозными. Теперь, когда берега Гаити так далеко, можно считать себя уцелевшим от борьбы столь противоречивых

стихий. Вывод один: нет ни одного сословия, нет ни одного класса в Антилиях, которые были бы довольны Францией. Богатые колонисты ненавидят метрополию санкюлотов и жаждут возврата королевской власти. Бедные европейцы: французы, испанцы и англичане стремятся лишь к одному — овладеть избирательным правом, чтобы не допустить ни одного закона, который нарушал бы их и без того нарушенные интересы. Мулаты, первоначально такие спокойные, после речи Барнава и безобразий, допущенных Бланшландом и Модюи, пришли в совершенную ярость. Неудача первого восстания, внезапный поворот белых, принявших мулатское население в свою среду, и потом опять низведение свободных мулатов на степень рабов — все это издергало людей, создало неуверенность в завтрашнем дне и окончательно подорвало доверие к Франции. Не нынче завтра произойдет самое страшное: мулаты начнут искать соединения с маронами. Негры ходят на сходки глубокой ночью. Я наблюдал две деревни, которые до утра казались неживыми. Под утро мужское население вернулось. Где они были?

«X» 1792

Кто такой покойный Модюи? Убитый полковник купил у мулата Цюбала его имение. Мой двоюродный брат Моро де Сен-Мери рассказывает, что человеческая кровь состоит из 128 белых частей у европейцев и 128 черных у негров; средняя — это 64, мулат составлен из 64 белых и 64 черных частей. Моро де Сен-Мери говорит, что таково учение великого Франклина. Все прочие племена — квадруны, гриффы, актеропы — идут вправо и влево от этой линии в 64 равных части. Если бы Модюи был жив, я, комиссар Законодательного собрания Франции, должен был бы его арестовать. Не знаю, в каких отношениях Модюи состоял с мулатом Цюбалом, но цюбаловское имение было в руках Модюи. За неделю до нашей поездки на борту «Колдуньи» мои агенты выяснили, что табачный домик Модюи, снесенный бурсей, был построен над каменным берегом. Я приказал оцепить дом Модюи, я поставил часовых у входа, и когда расчистили почву под табачным домиком Модюи, то обнаружили большую каменную кладку с выходом на море. Эта каменная кладка, глубокая и древняя, заканчивалась амбразурами в сторону моря, и против них были

обнаружены в полутемных нишах четыре английские орудия. Этот преступник Модюи, очевидно в уговоре с мулатом Цюбалом, охранял целый английский форт, приютившийся неподалеку от столицы и готовый ежеминутно четырьмя пушечными жерлами не только раскидать фашины, закрывавшие амбразуры тайного форта, но в каждые три минуты выпускать смертоносные ядра против французских кораблей.

Погода прекрасная. Пена у кормы и на гребне носовой волны одинакового цвета — значит, еще дня три пройдем, не меняя парусов. Птицы давно исчезли, океан без островов, и только изредка марево на горизонте дает впечатление суши. Опрокинутый красный круглый остров с пальмами целый час мучил сегодня матросов, как видение, на западе. Четыре матроса нивернезца заболели. Перед вечерней молитвой на палубе у них наблюдался приступ невероятной болтливости, ночью они бредили, один другого поранил кухонным ножом.

Что ждет меня во Франции?

«А» 1792

Чем больше размышляю о протекших семи месяцах, тем более теряюсь в догадках. В первый месяц я не умел привыкнуть к сияющему небу, к ландшафту, к жизни, которая несколько не похожа на жизнь Европы. Ночные тени, длинные, прозрачные, необычайно подвижные, пугают решительно всех приезжих. Растения, все превосходящие своей буйностью...

Сведения, сообщенные мне перед отъездом господином Бриссо, не подтвердились. Оже считал себя только проводником спорного права. Молодой мулат, красивый, он был больше французом, чем креолом; он был воспитан в Париже, и обстоятельства вынудили его оставить там свою невесту. Он служил в Германии, знал и посещал многих тамошних людей и принадлежал к «Обществу друзей черных», в которое ввели его аббат Грегуар, господин Кондорсе и господин Лавуазье. Будучи агентом общества, он, вернувшись в Сан-Доминго, окружил себя надежными мулатами; он успел собрать около Большой Ривьеры, в пятнадцати милях от Капа, отряд в триста человек, согласных умереть или победить. Отряд Модюи принудил его укрыться в испанской части острова, там выдали его французскому правосудию. Оже и его двенадцать товарищей были колесованы на площади перед

собором. Кем был бы Оже, оставшись в Париже? Молодой человек с такими блестящими задатками, образованный, живой, оригинальный, он мог бы сделать честь любому министру в Париже, а вместо этого он попал под пожи колесовальной машины и куски его плоти с брызгами крови разлетелись по площади перед собором, где еще недавно, как святыня, хранилась гробница Христофора Колумба. Как это странно — древнее караибское население когда-то при встрече с великим открывателем земель Христофором Колумбом было обречено этим последним на рабство. Уже Колумб предлагал европейским монархам начать работорговлю, но это было остановлено весьма забавною вещью. Когда один христианский священник долго пытался объяснить караибам новую веру, первые мушкетеры Колумба алчно вытаскивали золото отовсюду, тогда на помощь неумелому поповскому языку пришли глаза караيبов; они взяли слиток золота, пришли к Колумбу и сказали: «Мы поняли — вот настоящее божество белых людей. Возьмите его, мы ему не поклоняемся».

«Л» 1792

Сегодня легли в дрейф. Паруса не убраны, они висят по мачтам и реям и не шелохнутся. Два креола поют песни на корме. Босек играет в карты с моим помощником. Огромные рыбы появляются по ватерлинии, почти примыкая к обшивке, покрытой раковинами. Никаких птиц, небо чисто и безоблачно, солнце злое. Хочется спать...

Что представляют собой негры? Англичане ежегодно привозят их в числе сорока тысяч, они торгуют дешевле французских капитанов. Напрасно думают, что все они одинаковой породы; негры либерийского побережья совсем не то, что негры Слонового Берега, негры Слонового Берега совсем не то, что эфиопияне. В последней партии прибыли остролицые, сухие, черные люди, с небольшими острыми бородками, с суровыми умными глазами и походкой принцев. Креолки заглядывались на них на пристани. Корабль «Клеопатра» был предметом общего внимания. Почему-то он подошел к порту Акюль, и губернатор никак не хотел объяснить мне причины этой странной остановки. Некоторые племена приносят в Гаити замашки своей страны, они верят в колдунов, которых называют *оби*.

Поймут ли во Франции мой доклад, отпустят ли меня снова с теми полномочиями, каких я хочу просить? На плантации Ноэ я видел очень странного негра: маленький, худой, с бесконечно грустными глазами, он принадлежал к имению Бреда. Я не помню его местное прозвище, по-французски звали его Туссеном, ибо он родился в день всех святых. Я не помню, как завязалась наша беседа; он спрашивал, как идут дела в Париже, потом вдруг перешел к вопросу: «Что дороже: человек, работающий над сахаром, или сахар?» Когда я, не поняв вопроса, переспросил, он объяснил:

— Речь идет о том, чтобы французский закон освободил черных и цветных людей. Во Франции говорят, что от этого повысятся цены на сахар, а мы говорим, что мертвый человек и раб дешевле сахара, а живой человек и друг французской свободы может сделать так, что все вещи этого мира станут дешевле.

Он со смехом сказал мне:

— Бедные люди Парижа не станут есть сахар, если он смочен человеческой кровью.

Если так думают многие негры, то они умнее многих французских министров. Что представляют собою нынешние партии в Сан-Доминго? В Сен-Марке собрались самые упорные и самые злые колонисты, они называли себя Общим собранием французской части Сан-Доминго. Они провели целый ряд решений, по которым декреты Национального собрания, присланные из Парижа, принимаются только в том случае, если они одобрены постановлением собрания в Сен-Марке. Однако не все колонисты согласились с этим решением. Те, кто объявил себя сторонником метрополии, надели шапки с белыми бантами, сформировали *«партию белых помпонов»*. Противники сформировались также и называли себя *«Красными помпонами»*. Началась гражданская война в колонии, положившая отпечатки на все действия колониальных комитетов. Я усматриваю источник больших несчастий для Франции именно в том, что ни одно распоряжение, ни декреты Национального собрания и ни одно письмо от Легислативы не приходят в Сан-Доминго в своем виде: все бывает искажено произволом *«Красных помпонов»* или их тай-

ной организацией, которая намерена уничтожить самый признак свободы,—организацией, которая пойдет на все, лишь бы сохранить колоссальные барыши, получаемые рабовладением, и уничтожить своих соперников. Я ничего не мог с ними сделать. Последнее двусмысленное выступление гражданина Барнава и письмо господина Бриссо не рассеяли тумана, чтобы облегчить мою задачу.

«V» 1792

Со смутным чувством еду во Францию. Вновь крепчает ветер, трудно писать. Бьют склянки, бегут песчинки в стеклянных часах, слетают узлы за узлами под кормой. Еще немного—конец океанскому безлюдью. Во время дрейфа одного матроса подвергли килеванию; двое, опьяненные ниоппой, заклепали пушки шомполами мушкетонов и едва не вызвали возмущение всей команды.

Босек уже не играет в карты; за два дня дрейфа он пожелтел; по его приказу произвели обыск у всех матросов. Ниоппа найдена; я приказал снести ее ко мне в каюту. На корабле становится противно. Босек рассказывал историю «Леопарда». Он смеялся по поводу того, что адвокаты в Национальном собрании берутся не за свои дела.

«Разве могут провинциальные люди, боящиеся переплыть с одного берега Жиронды на другой в лодке, решать вопрос о том, как наказывать матроса громадных океанских шестидесятипушечных кораблей? Самое смешное вот что,—сказал Босек.—Когда господа «Красные помпоны», самые богатейшие плантаторы севера Гаити, прибыли в Брест на «Леопарде» после побега от ярости мулатов и негров, они первым делом разыграли из себя мучеников свободы, они жаловались на всех и прежде всего на людей, остановивших их колониальные зверства. Плантаторы-богачи на «Леопарде» заявили, что губернатор Сан-Доминго Пенье едва выпустил их из гавани, намереваясь пушками обстрелять свои же французские корабли. И так целый месяц корабль «Леопард» именовался «Спасителем нации», а восемьдесят три богатейших буржуа были приняты брестскими моряками как жертвы и спасители свободы. Только приезд двух комиссаров Национального собрания выяснил, кто такие эти защитники свободы».

Босек смеялся, смеялся больше всего не тому, что обманули они легковверных брестских матросов, захотевших на примере «Леопарда» заработать смягчение жестокостей Морского кодекса,—он смеялся тому, что депутат Гренобля Барнав перепугался, как бы в самом деле экипаж «Леопарда» не оказался революционнее Национального собрания. Но он успокоился, он нашел плантаторов, почти роялистов, и комиссар Национального собрания быстро принужден был освободить их из-под ареста и с почетом перевезти в Париж. Босек смеялся, а меня охватила ярость, ибо не только управлять, но даже понимать сложные связи племен, людей и имуществ в колониях невозможно из Парижа. Таков мой доклад Легислативе.

«W» 1792

Разница между матросами. На «Колдунье» работают негры, французы и голландцы. Голландцы хуже всех. Между матросами французами и неграми неожиданная дружба. Недавно я слышал собеседование негра Коффи и французского матроса, кажется, его фамилия Дартигойт. Оба говорили о новых и старых законах. Негр рассказывал, что в районе Сан-Доминго при клубе колонистов содержат питомник в две тысячи собак; их кормят негрским мясом.

— Откуда берут негрское мясо? — спросил Дартигойт.

— Покупают у негрятенок больных детей, — ответил Коффи, — а также отдают на съедение псам провинившихся негров. Две тысячи собак откармливаются и дрессируются только для одной работы: они разыскивают бежавших негров. По Черному кодексу бежавший негр приравнивается к вору, ибо он украл у хозяина свою рабочую силу.

Дартигойт качал головой. Оба они, не видя меня, говорили нелестные вещи по адресу Франции. Дартигойт говорил:

— Матросский кодекс не лучше вашего Черного кодекса. Матросы французского флота — такие же рабы. В Париже уже четвертый год заседают купцы и адвокаты, никому не стало от этого легче. Что король, что купец, что офицер, что адвокат, все равно они все за богатых и за власть имущих. Бедноте всегда живется плохо.

Почему Легислатива не знает о таких разговорах? Эти разговоры не единичны. Действительно, обращение с матросами чудовищное. Килевание — это обычное страшное наказание, при котором матрос, схваченный канатами с носа и помещенный под килем, не всегда живым вытаскивается на канатах из-под кормы. Самые лучшие пловцы и те говорят — килевание можно выдержать только один раз в жизни. Дартигойт выдержал его дважды. По второму разу он лежал на палубе, запихивая обрывки «концов» к себе в ноздри, пока не остановилось страшное кровотечение. После этого его все-таки били. Я не знаю человека озлобленнее Дартигойта, он никому не верит, на всех смотрит волком.

«D» 1792

Наконец я узнал, кто этот молодой человек, который едет с нами. Это полицейский агент господина Ролана с фамилией Рош-Маркандье. Он был секретарем Камилла Демулена, а теперь, имея поручение господина Ролана, занят составлением памфлета под названием «История хищников». Памфлет имеет в виду главным образом Дантона, но Ролан хорошо платит за все, — там фигурируют и Демулен, и Марат, и многие другие. Рош-Маркандье производит отвратительное впечатление, это продавец чужих секретов. Мои впечатления сводятся к тому, что он имел какое-то тайное поручение в Сан-Доминго. Вполне возможно, что и я фигурирую в его секретных донесениях господину Ролану. Что же встретит меня в Париже?

Один из участников плавания французского корабля, очевидно много спустя, ревизуя Сантонакса, пишет на полях его журнала: «В явных противоречиях и несовместимостях французских донесений я не в силах разобраться. Пусть время и прозорливость последующих поколений судит Сантонакса и Туссена. Я же по чести и долгу республиканского офицера не осмелюсь произнести своего приговора».

Сантонакс прибыл в Париж 21 января 1793 года. Он не застал Легислативу, он застал самый разгар Конвента. В этот день, по приговору Конвента, голова короля Людовика XVI была отрублена гильотиной.

РОБЕСПЬЕР

Консул в сенате

[illegible]

Полководец

Счастливы был путь, жизнь весела...
В каждой победе Гомерова Троя...
Разве я знал, что тайком из угла,
В сердце ударив, Эроса стрела
Жизнь переломит героя?

Консул в сенате

Римский сенат и римский народ
Путь твой хранили незримо.
Если ж твой меч похитил Эрот
И без ружья ты вышел в поход,—
Гибни от ярости Рима.

Приговор сената

Излишен спор, есть уговор:
По ступеням Капитолия
Выйди в толпу, потупивши взор,
И две секунды, не более,
Смоют позор.

После ухода героя

Ляжешь, безвестный и строгий,
Там, на Сабинской дороге,
Не сыщут ни люди, ни птицы
Твоей безыменной гробницы.
Не зная коварства и страха,
Смежают герои ресницы,
А боги, не зная коварства,
Стирают людские столицы,
Сметают древние царства,
Как горсточку пыли и праха.

Латур. На смерть Дантона

После речи Барнава Законодательное собрание рассказало, что сгоряча, под влиянием Бриссо, послало некоего господина Сантонакса в колонии для выяснения

положения цветнокожих и черных людей. Этот человек, при всех своих добрых желаниях, не располагал никакими полномочиями и поэтому попал в совершенно ложное положение, приехав в Сан-Доминго. Но прежде чем он успел выйти из этого положения, прежде чем он успел написать что-либо в Париж, в самом Париже развернулись обстоятельства чрезвычайной важности. Острая часовая стрелка на циферблате истории, как пылинки, смахивала человеческие головы.

Когда 10 августа 1792 года Париж второй раз совершил один из чудеснейших законодательных актов, давших образец революционной законности, он воспроизвел этим вторично неизгладимую картину взятия Бастилии. Теперь уже не разрушение мертвого камня, а живая Бастилия французского феодализма — Людовик XVI с семьей были объектом законной ярости парижского пролетариата. Совершая акт величайшего исторического правосудия, пролетариат, несмотря на стрельбу швейцарцев, взял приступом Тюильрийский дворец, разметав отряды швейцарцев, безжалостно стрелявших в толпу почти безоружных людей. Законодательное собрание не знало, что ему делать. 12 июля Учредительное собрание не имело никакого отношения к взятию Бастилии, так теперь Легислатива не без некоторого ужаса отнеслась к тому, что еще недавно почти на ее глазах вышвырнули из дворцов целую королевскую семью со всеми «первыми и вторыми мороженщиками короля», со всеми пятнадцатью «придворными врачами» на каждого члена семьи, со всеми «двадцатью семью камеристками» на каждую королевскую даму, со всем старинным феодальным обиходом, который чем дальше, тем больше производил впечатление нарочитой притупляющей ребячливости взрослых людей, стремящихся устарелой формой пышности одурачить огромные массы работающих на них людей.

Первое выступление парижского народа вспыхнуло 12 июля после горячих слов Камилла Демулена, когда, за два дня до взятия Бастилии, Демулен, только что выслушав политические новости в кафе Дефуа, призвал Париж к оружию словами:

«Двор и король сейчас нанесут удар народу! Не теряя ни мгновенья, предупредите изменников! Все в бой! К оружию, народ парижский! Кто с нами — наденьте этот знак!»

Знак парижского пролетариата не был заказан ювелиру, Камилл Демулен сорвал его с одного каштанового дерева; это был листок, который он прикрепил себе на шляпу. К счастью, в Париже хватило каштановых деревьев, чтобы друзья могли по этому знаку соединиться в совместных усилиях, когда сотни и тысячи людей ринулись на мрачную крепость, внушавшую ужас со времен средних веков.

Если в событиях 14 июля играл роль Камилл Демулен, то в событиях 10 августа и в сентябрьских казнях прямыми вдохновителями были Марат, Дантон и Робеспьер.

Камилл Демулен родился в 1760 году, Дантон — в 1759. Марат, Дантон и Демулен были основателями Клуба Кордельеров. Клуб выступил на арену борьбы в те годы, когда политические события сложились более отчетливо. Кордельеры не претерпели тех изменений, которые пришлось перенести якобинцам. От умеренного, смешанного состава якобинцы шли все более и более налево, до тех пор, пока наконец дали в Конвенте главенство Горы, отчетливую и сильную партию монтань-яров.

Уроженец Шампани, Жорж Дантон, рябой, с разрезом на верхней губе, человек огромного роста, шумный, бурный, крикливый, с громоподобным голосом, который можно было слышать за пределами здания, — имел темперамент бойца, выносящего краткие вспышки и потом поспешно уходящего из боя. Казалось, в жилах его кипит, играет и искрится неперебродившая влага шампанских виноградников. Детские бои с быком, от которого пострадала рассеченная верхняя губа, мстительное чувство к другому быку, который переломил ему переносицу, ребяческий налет на стадо свиней, которое опрокинуло мальчишку Дантона и перекрошило ему грудную клетку, — все это говорило о темпераменте безудержном и неукротимом, о некоторой стихийности порывов, о величайшей искренности и в то же время о странной неразборчивости.

Дантон жил в округе Кордельеров. Низенькая лавчонка в нижнем этаже скрывала в себе тайную типографию Марата, а во дворе находился сарай, в котором Марат, Дантон и Камилл Демулен вместе с доктором Гильотэном смотрели, как на овцах пробуют новую машину-головорубку.

Безалаберность Дантона в целом ряде случаев заводи-
ла его в неверные тупики. Организуя вместе с Париж-
ской коммуной 10 августа сентябрьскую самозащиту па-
рижского пролетариата от заговора бывших людей и
будучи прямым ее вдохновителем, Дантон был все же
несколько повинен в том, что по Парижу ходили слухи о
странных связях его с королевским двором,—о том, что
«если он не получает от короля такие большие деньги,
как покойный Мирабо, то лишь в силу того, что ему
нечего предложить за более высокую цену». Но это были
только слухи, слухи носились о каждом, и чем ярче был
человек, тем темнее были слухи. Коммуна им не верила,
она еще любила Дантона. Единственно, что не нравилось
суровым парижским ремесленникам и молодым респуб-
ликанцам вольного Парижа, это чрезвычайные кутежи
Дантона, для которых нужно было иметь много денег. Но
и об этом пока молчали.

Законодательное собрание шаталось и проявляло
чрезвычайную медлительность. Оно тонуло в мелочах,
оно разбирало вопрос о том, следует или не следует
уничтожать статуи старинных французских королей. Два
депутата тщетно предлагали Национальному собранию
отказаться от уничтожения статуй, Робеспьеру удалось
потребовать от имени Коммуны, чтоб закрыли стенное
изображение Людовика XVI «Декларацией прав челове-
ка», а в другой раз, при грозном реве парижской толпы,
Законодательное собрание принуждено было провести
мероприятия о переливке колоколов и бронзовых статуй
на пушки и медную монету.

Волонтеры в Вогезах уже кричали: *«Да здравствует
нация без короля!»* Рашельские судьи кончали заседания
криками, обращенными в толпу: *«Народ-самодержец, и
больше никакой власти!»* Якобинцы города Страсбурга
кричали: *«Долой короля, да здравствует равенство и респуб-
лика!»*

Вот в этой обстановке Законодательное собрание все
больше и больше чувствовало себя лишним, и 3 сентября
1792 года, под давлением провинциальных коммун и
Коммуны города Парижа, были произведены выборы в
Конвент. Когда отозванный Сантонакс, разочарованный
и не умеющий применить своих сил, возвращался из
Сан-Доминго в Париж, тогда уже заколебалась Жиронда.
Господин Ролан, ее министр, господин Бриссо, господин
Верньо трепетали. Компас Франции указывал ей левую

дорогу, и Франция свернула на этот путь. Жирондистам было не по пути. Они торопливо эбиделись на историю, но не отказались от сопротивления.

Госпожа Ролан писала: «Алмазы из короны короля украдены Дантоном». Жирондисты пустили по Парижу этот слух, и Дантон молчал, не отвечая на выпады. Когда он говорил с трибуны, с задних скамей ему кричали: «Кому продал бриллианты?» Дантон молчал. Его хотели заставить заговорить, а он упорно «уклонялся от этой темы» и этим подливал масла в огонь.

Увы, не на этом кончилась карьера Дантона. Профессиональные воры из Гард-Мебель были найдены, но как вначале Дантон злился, а не печалился, молчал, а не оправдывался, так теперь он бурлил и бранился, но не предавался младенческой радости по поводу того, что клевета миновала, как грозная туча.

Весь Париж, вся Франция напряженно думали об одном: о будущем Национальном Конвенте. Все граждане голосовали на выборах. Правда, выборы были двухстепенные, но это не меняло их значения в той мере, в которой хотелось использовать эту двойственность жирондистам. Борьба перешла в Конвент и началась с новой силой. Все должны были показать перед лицом Парижа, перед лицом Франции, перед лицом всего человечества — *кто и как желает осуществить «Декларацию прав».*

Истинное лицо французской революции, ее мировой экзамен мир увидел за тридцать семь месяцев работы Конвента. Ясно стало, что могла сделать Франция, что она хотела сделать и чего не умела сделать. Даже Конвенту, при всем его напряжении, не удалось решить коллизию свободы и собственности, если этой «собственностью становится человек».

Однако, пока борьба еще не разгорелась, пока еще не собрался Конвент, депутаты Жиронды в своем беспокойстве поспешили по-своему «открыть ему ворота», то есть обеспечить себе победу на выборах. Они кричали о новой тирании Парижской коммуны, не называя имен, имея в виду Дантона, Марата, Демулена, и «сеяли ветер слухов, не зная, что сами будут пожинать бури крови». Они кричали с трибун, посылали письма, они писали:

«Южные провинции Франции встанут на защиту свободы, попираемой страшными людьми в красных колпаках, сидящими в здании Коммуны города Парижа».

Каждое разоблачение Марата они встречали криками ярости и негодования. Тайные отряды шныряли по Парижу, разыскивая типографию Друга народа, листки Демулена. Страшные строчки Марата, которые, как ночной фонарь, искали по следам парижских улиц дорогу скупщиков хлеба, ловили тонкие струйки сахара, сыпавшегося из мешков по дороге из Колониальных домов в какой-нибудь подвал, какой-нибудь сарай,—все эти страшные строчки Друга народа жирондисты называли клеветническими, бросая в воздух прекраснейшие слова о свободе и справедливости.

Камбон от имени жирондистов кричал с трибуны:

— Если презренные клеветники сделались в силу нашей слепоты хозяевами положения, поверьте мне, что благородные граждане юга, поклявшиеся быть на страже свободы и равенства, в одно прекрасное время кинутся на спасение угнетенного Парижа, а если, к несчастью, свобода будет поражена, если злодеи отбросят южан от подступов к Парижу, то знайте, что не вам, ремесленникам, сидящим в Коммуне, овладеть неприступными домами городов французского юга и что в этих домах мы найдем себе приют, ускользнув от топора тысячи новых тиранов, из которых каждый страшнее римского диктатора Суллы.

Эти письма и эти речи делали свое дело. Южные города, города федералистов были готовы подняться контрреволюционным движением. Издали трудно было разобратся: все «говорили о свободе» и все кричали о защите «прав народа», но сам народ, посылая своих детей на защиту французских границ, стонал, недоедая и недосыпая.

Париж был под ударом, надо было спасти Париж. Новая форма гражданской войны была опытом самозащиты жирондистов против революции. Обвиняя Дантона, Марата и Робеспьера, депутаты с берегов Жиронды забыли, что они сами сеют федерализм как форму гражданской войны, что они рвут Францию на части, лицемерно проповедуя единство. Но вот когда разорвался фронт, когда угроза Парижу стала реальной, жирондисты перешли к новой, гораздо более тонкой формуле: если нельзя спасти Париж как столицу, то спасем Легислативу как центр законности, *переселим Законодательное собрание и учреждения Франции на юг. Бордо или Тулуза станут нашим местом, откуда мы будем декретировать,*

откуда будем производить мобилизацию сил. Так адвокаты, красноречивейшие в мире купцы, фабриканты южных городов, люди крупной коммерческой хватки, люди больших барышей и широкой торговой инициативы, считавшие себя солью земли, решили спасти свои бархатные голоса, свои холеные головы на юге Франции. Одним выстрелом хотели убить двух зайцев, дважды себя спасти: спасти себя, переселившись подальше от герцога Брауншвейгского, и спасти себя от Коммуны города Парижа, предоставив парижским сапожникам, столярам, слесарям, пивоварам и хлебопекам самим повозиться с герцогом Брауншвейгским, предвещавшим в грозном манифесте сожжение мятежного Парижа.

«В самом деле,—писали они,—во Франции восемьдесят три департамента, главный город каждого департамента имеет свою коммуну. Почему Коммуна города Парижа должна иметь авторитет больший, нежели в размере $\frac{1}{83}$ доли своего нынешнего авторитета?» Правда, тут есть мелкие события: взятие Бастилии, ликвидация королевской власти, сентябрьские бои, события, после которых как-то внезапно улучшались для народа декреты законодательных органов, события, которые были сделаны сердцем, мозгом и кровью парижской толпы, события, которые сделаны энергией и политическим разумом вот этих самых «клеветников» вроде Марата и Робеспьера, о которых так звонко, заливисто и музыкально пели и журчали жирондистские соловьи!

В решительный момент проект увоза Легислативы на юг—этот удар по Коммуне—смутил всех, но вдруг 10 сентября 1792 года в «Патриотических анналах» беспокойный молодой и горячий Анахарсис Клотц написал:

«Французы! Вам никогда не придет в голову запрятать нас в южные горы. Ведь это значит ускорить нашу гибель, это значит привлечь к вашим избранникам внимание всех тиранов Европы и поставить нас под удар даже мадридского султана. Разве можно отдавать Париж—Париж, город французов? Гибель столицы будет началом гибели всего политического организма Франции. Не отдадим Париж!»

Вечером 10 сентября госпожа Ролан отдала приказ не пускать в ее гостиную господина Анахарсиса. Она была в полном бешенстве, она боялась, что этот голубоглазый молодец услышит проект организации *специальной депар-*

таментской гвардии, на котором настаивал Бриссо. Господин Ролан, давая клятвы, уверял собравшихся, что Марат, Дантон, Робеспьер и Камилл Демулен изменили Франции, они стали слугами герцога Брауншвейгского.

И вот 17 сентября жирондисты выпустили на кафедру Законодательного собрания Ласурса, который, якобы от имени Комиссии двенадцати, преподнес удивленному Парижу полоумный бред старика Ролана. Мрачным голосом Ласурс заговорил:

— Существует страшный проект помешать Конвенту собраться...

Не называя имен, он клялся и божился перед лицом французского народа, что говорит правду, что верхушка левых продана интервентам,—и даже осторожный и осмотрительный Верньо в этот раз поверил клевете. Сама Коммуна была озадачена, и, пользуясь этим смятением, быстро, на следующий же день, по предложению депутата Гюаде, Законодательное собрание провело декрет о перевыборе революционной Коммуны Парижа, о восстановлении Петиона мэром города Парижа, о предоставлении права ареста только мэру и его помощникам. Набат и вестовые пушки могли звучать по Парижу только с воли и согласия Законодательного собрания.

На этот раз шестинедельный бой Коммуны и Собрания кончился победой Собрания.

Бой продолжался в Конвенте. Жиронда начала наступление. Федераты южных департаментов действительно вошли в Париж 3 ноября. Они прошли мимо Конвента, который только что постановил предать суду преступного короля, они прошли с плакатами: «Долой процесс Людовика XVI», они прошли с песнями:

От Парижа к берегам Ривьеры
Докатился звон набата,

Вот и мы пришли на голос звона.
Мы казним сегодня Робеспьера,

Завтра снимем голову Марата,
Послезавтра — голову Дантона.

Толпа наемников Жиронды гудела и кричала. Трижды они прошли Пале-Рояль при молчаливом изумлении парижан. Жирондисты, затаившись, ждали вспышки гражданской войны, но ни Робеспьер, ни Марат, ни

Дантон ни шага не сделали по направлению к новой парижской коммуне. Они не подняли своих сторонников. Секции молчали. Военный министр Паш обратился с письмом к парижскому населению:

«Я не знаю причин, которые требовали бы пребывания в Париже вооруженных федератов. Первый приказ, который я сделаю, это будет приказ об их «отъезде».

Господин Рош-Маркандье подал докладную записку господину Ролану, обвинявшую Робеспьера в дикгаторских замыслах и считавшую Робеспьера фактическим виновником восстаний в колониях. Тем временем Сантонакс получил документ о коммерческой переписке королевского казначея Сентайля с иностранными банкирами и негоциантами по поводу покупки и продажи различных продуктов, главным образом муки, кофе, сахара и рома. Король Франции не забывал о своих денежных делах.

Во время суда над королем в дворцовой стене обнаружили потайной шкаф, сделанный слесарем Гамэном. Слесарь Гамэн сообщил об этом шкафе Ролану, господин Ролан единолично вскрыл этот шкаф, без свидетелей. Королевская переписка обнаружила, что подкуплены были королем и Мирабо, и братья Ламеты, и королевский духовник епископ Клермон, и господин Лафайет, и даже победитель при Вальми генерал Демурье. Все эти люди находились за пределами досягаемости. Но так как Ролан единолично вскрыл королевский тайник, то никто из Конвента не знал, какие еще тайны в нем хранились, какие документы жирондистов захотел и не захотел доставить в Конвент господин Ролан. Долго возились вокруг короля. Коммуна дала герцогу Орлеанскому фамилию Эгалитэ, жирондисты кричали:

— Если уж кончать с Бурбонами, то давайте одновременно кончать и орлеонида Филиппа Эгалитэ.

Сен-Жюст, монтаньярский комиссар, заявил: «Жирондисты стараются судьбу Орлеана связать с судьбой короля, для того чтобы спасти обоих, по крайней мере смягчить приговор над Людовиком Капетом».

Конвент голосами 361 против 334 высказался за смерть короля. Борьба продолжалась. Жиронда и Гора расходились все больше и больше. Рабочий люд Парижа, ремесленники городов не видели конца и края трудно-

стям своей жизни. Они голодали. Ролан кричал в Конвенте, что «в голоде виноваты агитаторы Горы». Но появились новые люди, аббат Жак Ру и почтовый чиновник Жан Варле. Они кричали в секциях Парижа о том, что богатые люди, сидящие в магистратуре, и богатые члены Конвента потому не поднимают голову, что сами являются скупщиками и ажиотерами.

Робеспьер просиживал ночи над планом аграрного закона, который обеспечил бы раздел крупных земель и правильное распределение имуществ. Этот проект приводил в ужас Жиронду, а Жак Ру, Жан Варле и сотня их друзей по парижским секциям, получившие прозвища «бешеных», пугали Жиронду еще больше, ибо тысячи памфлетов, петиций и писем сыпались в Конвент, обвиняя Ролана и жирондистов в эгоистическом бесчувствии, в проведении «классовой политики богачей», в полном непонимании нужд тех, «кто делал революцию, свободу и победы».

Через двадцать два дня после казни Людовика XVI господин Ролан вынужден был подать в отставку. Но Жиронда вела еще войну, и эта война, которая поворачивалась в сторону побед, вдруг стала войной поражений. Генерал Дюмурье, герой Вальми, вдруг потерял все и бежал, предавая интересы революции, вместе с десятком банкиров и скупщиков, облепивших французскую революционную армию. Бриссо, надевая революционный колпак на старую королевскую *политику естественных границ*, видел спасение Франции в расширении войны, в то время как Робеспьер указывал на тягости войны, не требуя форсированных наборов, зная, что Франция будет продолжать воевать, раз вынуждена воевать.

Впервые стерлись старые таможенные границы Франции и рухнули ограды дворянских владений. Крестьянская пшеница и крестьянский виноград давали первую жатву со старинных помещичьих полей. В этот год Конвента неожиданной бедою на крестьянские поля, впервые вспаханные без слез людьми, смотревшими на мир без старого горя, надвинулись тучи иноземных войск. Новая Франция после первых минут испуга, поражений и негодования ответила страшным и кровавым ударом по интервентам; она не отдала ни пяди своей земли.

Воевать было трудно, и напряжение было огромное, если приходилось выпускать декреты и обращения, по-

добные воззванию от 23 августа, написанному Барером и Карно:

«С этого мгновения и до того часа, пока последний враг не будет изгнан с территории Республики, все французы объявляются на постоянной военной службе. Молодые идут на поле битвы, женатым поручается изготовление сооружений, перевоз снабжения и продовольствия, женщины будут шить палатки, обмундирование, обслуживать госпитальные нужды Франции, старики должны являться в общественные места. Даже те, кого придется нести на носилках, пусть напрягут свои силы, чтобы возбуждать мужество в борцах, разжигать ненависть к королям и монархам, проповедовать единство Республики. Дома, принадлежащие нации, превращаются в казармы, общественные места и клубы — в оружейные мастерские. Земли и грунт подвалов выщелачиваются для извлечения пороховой селитры».

Этот знаменитый декрет облетел весь мир, и его с трепетом читал маленький старый негр Туссен Бреда вечером, окруженный друзьями на плантации Ноэ, собирая роты и батальоны негров для отпора неожиданному английскому десанту.

Войну, начатую Жирондой, продолжала Гора. Война, затеянная для подавления революции, продолжалась революцией. Война, склонившаяся к упадку в дни Жиронды, стала страшной для европейских монархов в дни Конвента. Под руководством Горы Франция эпохи восхождения Конвента, Франция, когда создан Комитет общественного спасения, стала непобедимой. Но депутаты Жиронды, побежденные на трибуне, продолжали свои интриги в салонах. В марте 1793 года семьдесят шесть комиссаров из числа якобинских монтаньярских депутатов выехали в провинцию для производства набора трехсот тысяч человек.

Четырнадцатого марта Бриссо писал в своей газете: «В Конвенте отсутствие пылких голов дает возможность обсуждать дела с большим спокойствием, а следовательно, с большей продуктивностью».

Этот маневр рассылки наиболее опасных противников по провинции напрасно утешал жирондистов. Семьдесят шесть сторонников Робеспьера сделали такое дело в провинции, что жирондисты навеки были обречены на поражение в своих последующих обращениях к первичным собраниям.

После ухода Ролана от должности в его доме собирались по-прежнему, собирались у богатейших граждан Парижа, у богатейших депутатов провинции, вырабатывали мероприятия для борьбы уже не с королем, а с народом, при полном безразличии к нуждам трудящихся. Жирондисты хлопотали только об одном — как бы сохранить себя и свою власть. Обсуждали каждого депутата в отдельности, считали «удобным» Дантона, считали «безопасным» Демулена, — не нынче завтра «они выйдут из списков опасных людей», — но что делать с такими, как Марат, «неуловимый», всезнающий, окруженный сотней тысяч глаз, охраняющих его и делающих страшно опасной эту чрезвычайно осведомленную, богатую и бескорыстную голову. Еще хуже был Робеспьер, он не страдал порочными склонностями, как Дантон, он не обольщался обманами чувств, как Демулен. К бескорыстию ученого, к энергии Марата, к его неусыпной бдительности Робеспьер присоединял чудовищную способность организатора и резкую отчетливость ума, хладнокровно разбирающегося в обстановке, требующей мгновенного решения сложнейших и головоломных задач.

У господ жирондистов сохранилась еще своя полиция. У полиции были свои старые, испытанные полицейские методы — отыгрываться на мелких преступниках и прощать больших, сотней мелких преступников ловить одного крупного. Господин Рош-Маркандье, научившийся конспирации в бытность секретарем Камилла Демулена, изучивший технику подкупа и предательства на службе у господина Ролана, занялся изготовлением в Париже своеобразной «мастерской интриг», формированием армии негодяев.

Савиньена де Фромон из аристократки превратилась в буржуазку «мадам Журдан». Она под этой фирмой открыла в закоулке Пале-Рояля небольшой, но богоустроенный публичный дом, где молодые приказчицы парфюмерных магазинов, продавщицы материи и дорогих портновских прикладов — девушки, как о том говорила реклама, из которых «самой старшей никогда не бывает свыше двадцати лет», — обслуживали это учреждение. Молодые клиенты, которые вскоре были названы армией Фрерона, состояли из сынков богатых купцов, банкиров, фабрикантов и спекулянтов, помощников адвокатов, дрогистов. К ним примыкали журналисты и литераторы из компании

графа Ривароля, картавящие, подловато улыбающиеся,—компания молодых каналов, первостепенная сволочь, считавшая себя солью земли, незаметные в Париже среди белого дня, но внезапно появляющиеся в театрах, где шли революционные пьесы. Тогда вдруг начинались стуки в партере и в райке, а вместо песен Марсельского батальона раздавались крики, требовавшие песни Суригьера «Гимн пробужденного народа». И прежде чем представители революционного Парижа успевали вмешаться, эта нахально картавящая молодежь, напевая контрреволюционные песенки, уже сбегала по темным лестницам театра, опрокидывала людей, уносила стулья, ударяла по головам ошеломленных и сбитых с толку прохожих.

Эта молодая сволочь, так называемые мюскадены и их подружки, все эти Нанитты, Лизетты, Туанетты, все эти Лулу, Додю и прочие полупогибшие девы, смеясь и плача, делали свое дело. Они получали сведения о пирушке Дантона, они сообщали хозяйке, мадам Журдан, о том, что Камилл Демулен влюбился в красавицу Люсиль дю Плесси, что Дантон, оплакав смерть своей последней жены, строит куры набожной канониссе Луизе Жели. Молодая католичка Луиза Жели не прочь связать свою судьбу с могущественным народным трибуном, но она католичка, она совсем не хочет записи брака у гражданина мэра своего округа. И вот молодая портниха, которая шьет платья для мадемуазель Жели, по ночам приходит в заведение мадам Журдан и рассказывает шпионящим мюскаденам обо всех перипетиях Дантонова сердца, в то время когда Дантон, тщательно скрывая от всех свою не в меру выросшую любовь, бегает по Парижу в поисках «настоящего», то есть не присягнувшего священника.

Движение сердца обезумевшего от любви Дантона обсуждается шумно, со смехом, при звоне стаканов, на рассвете в борделе бывшей аристократки. С хохотом воспроизводят жесты и движения Дантона, идущего на исповедь к контрреволюционному попу. Рассказывают, как поп, мрачный, в грязной сутане, засаленный и небритый, принимает от безбожного вождя французской революции покаяние в грехах в фонарных виселицах для попов, а потом тут же, на чердаке, этот поп, положив крест и кружевной платок на ящик с бутылками капского рома, венчает Дантона по старому католическому обряду

с шестнадцатилетней смазливой девчонкой Луизой Жели.

Дантон писал своим новым родственникам:

«На тихой реке, в моем имении Арсисе, я живу сейчас, усталый от гроз и громов Парижа. Здешние добрые буржуа чтут меня уже безбоязненно, они приглашают меня в свои палисадники, где я сажаю и поливаю вместе с ними деревья свободы».

Парижские бордели хохочут, стаканы звенят, слышатся песенки:

Дин-дон, дин-дон,
Погиб Дантон.

И скоро попадет к девчонке в плен
Его товарищ Демулен,
Уж на груди у ней без воли и без сил
Заснул Камилл.

Шантаны в Пале-Рояле повторяли эти песни.

Демулен сделался богатым наследником, пышная свадьба его с Люсиль дю Плесси была отпразднована всем кварталом. Последний раз повидался он с Робеспьером на свадьбе и уехал в Бур-ля-Рен, в уютную сельскую усадьбу. Вскоре у него родился сын.

Какая-то странная перемена произошла в Камилле. Когда стал работать в Париже Комитет общественного спасения, Камилл Демулен придумал новую газету; он выступил уже в качестве противника Робеспьера с планом «Комитета общественного милосердия».

Компания мюскаденов не ошиблась. Савиньена де Фромон и Рош-Маркандье доносили своим хозяевам, что если воля Робеспьера кристаллизует силы революционного Парижа и если Марат с каждым днем становится все сильнее, то Демулен и Дантон окончательно потеряны для революции. Робеспьер был охраняем всем Парижем, его прозвище «Неподкупный» делало его независимым. Следовательно, нужно ударить по Марату, который был еще на нелегальном положении.

Пока жирондистские депутаты сохраняли свою силу в Конвенте, они пользовались легальными способами борьбы, но обсуждали свои планы в доме номер пять на Вандомской площади, где одну квартиру занимал жирон-

дист Верньо, а другую — Доден, богатый администратор Индийской компании, перекупщик колониальных товаров. Его жена устраивала еженедельные пиры, где в кругу дельцов и депутатов Конвента жирондисты намечали очередные выступления и готовили еженедельные планы борьбы. Рош-Маркандье встречался с господином Роланом в ресторанах Пале-Рояля и на улице Орлеана в предместье Сент-Онорэ номер девятнадцать, где владелец квартиры Дюфруш Валазье широко открывал двери всем, кто группировался вокруг интриг Жиронды.

В то время как монтаньяры, якобинцы и кордельеры выносили свою политику в Конвент, в секции, в клубы, на суд парижского простонародья, отвечая за все, что они говорят и что делают, прислушиваясь к голосу бедняцкого Парижа, который требовал установки твердых цен, ликвидации биржевых интриг, подоходного налога на богатей; в то время когда все это обсуждалось открыто, все это контролировалось низовым Парижем, — в это время пирушки жирондистов, их тайные собрания возбуждали справедливое недовольство парижан, воспринимавших эти пирушки как новый метод политических интриг.

Первый удар по Марату жирондисты нанесли после того, как 5 апреля 1793 года Марат, председатель Якобинского клуба, обратился с письмом к провинциальным клубам. Он предложил апеллировать в Конвент об отозвании всех депутатов, стремившихся спасти Людовика XVI. Тогда депутат Жиронды Гюаде 12 апреля потребовал в Конвенте обвинительного декрета против Марата. А так как семьдесят шесть депутатов Горы были в отсутствии по набору войск, то Марат был обвинен «большинством голосов».

Это было торжеством на час. Революционный трибунал, Коммуна, парижские секции в ответ на это обвинение устроили манифестацию в честь Марата, а через два дня Паш — мэр города Парижа — и тридцать пять секций подали Конвенту петицию с требованием ареста двадцати девяти жирондистских вождей.

Двадцать четвертого апреля депутаты из провинций, секционеры Парижа огромной толпой проводили Марата в Конвент, где он должен был предстать в качестве подсудимого. Увенчанный цветами, больной, измученный, он был допрошен и мгновенно оправдан. Он занял свое

депутатское кресло. Провожавшая его толпа продефилировала перед его врагами через залу Конвента и вышла на улицу, где по всему Парижу уже раздавались ликующие крики.

Жирондисты поняли всю силу своего поражения: преследуемый, скрывающийся Марат был опасен, но Марат оправданный и торжествующий стал страшен.

Головы жирондистов скатились на гильотине, а 6 мая полтысячи мюскаденов, собравшись на Елисейских полях, осыпали свистками и бранью проезжавшего верхом начальника парижской Национальной гвардии Сантерра. Потом, пробравшись к Клубу Кордельеров, они выждали конец речи Марата и бросились на него при выходе. Марат был отбит, щеголи рассеялись, парикмахеры, клерки, мюскадены без определенных занятий, с вихрами огромных волос, свисающих на лоб, с дубинками, высокими воротами, наглые, гогочущие и свистящие, рассыпались по переулкам, угрожая Конвенту.

Тринадцатого июля Эро де Сешель от имени Комитета общественного спасения делал доклад Конвенту. Отечество было в опасности больше чем когда-либо, необходимо было его спасти. Он докладывал о натиске врагов, о продвижении армии соединенных монархов, и вдруг мальчик подал ему записку. Эро де Сешель покачнулся и нахмурился.

— Граждане,—сказал он,—сейчас кинжалом неизвестной женщины зарезан Жан Поль Марат!

Стон раздался на скамьях Горы.

Робеспьер остался один. В огне жирондистских восстаний, под угрозой коалиционных армий после похорон Марата, под выстрелы пушки с Нового моста через каждые пять минут и наконец после казни убийцы Друга народа, Шарлотты Корде, Робеспьер, почти изолированный, должен был приступить к борьбе против вооруженного выступления тех, кто нес великую правду парижской бедноте, но не умел ни рассчитать силы врагов, ни организовать силы друзей парижского пролетариата.

Наступил конец 1793 года. Сторонники Гебера образовали радикальную партию, которая стремилась нанести удар самому принципу буржуазной собственности. Гебертистам и «бешеным» вся деятельность Робеспьера казалась слишком миролюбивой и чрезвычайно медленной. В день борьбы с гебертистами Дантон снова появился в

Париже. Он хотел оказать помощь Робеспьеру, но было поздно: как только закончилась борьба с жирондистами, как только были подавлены вспышки восстания гебертистов в Париже и в провинции, как только Робеспьер смахнул с пути гебертистов — он приступил к делу своих бывших друзей.

Оба, Жорж Дантон и Камилл Демулен, после короткого и решительного суда 5 апреля 1794 года взошли на колесницу, а с колесницы на эшафот, где ожидала их гильотина. Оба погибли. Последними словами Дантона были:

— Вперед, Дантон, ты не должен знать слабости!

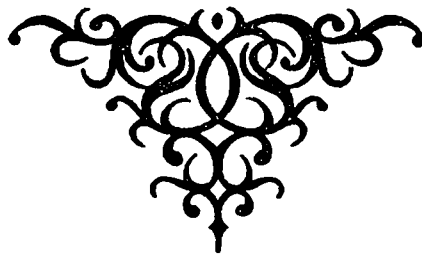
Робеспьер без колебаний приступил к проведению в Конвенте закона о равенстве состояния. Это был декрет, отменявший рабовладение на Антильских островах.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



ЧЕРНАЯ
ФРАНЦИЯ





Глава десятая

ЧЕЛОВЕК-СОБСТВЕННОСТЬ

Горе той республике, для которой
достоинства и даже добродетели како-
го-нибудь одного человека сделались
необходимостью.

Лазарь Карно

Республика погибла, разбойники
торжествуют.

Робеспьер, 9 термидора

Все тихо. Коршуны кружатся вдалеке
На белых небесах каким-то роем
темным.
И зверь и человек — все спит в огне
огромном.

Хозе Мариа Эредиа

Революционный Конвент декретировал отмену рабства 21 июня 1793 года, но еще задолго до того Сантонакс снова получил приказ отбыть в Гаити. В ушах его еще раздавались речи в Конвенте 24 апреля 1793 года. Он видел немало и страшных и прекрасных зрелищ революции. Он был комиссаром батальона в Вандее, где попы устраивали лесные ловушки, застилая волчьи ямы гнилыми листьями, поверх покрывая их тонкими прутьями. Солдаты десятками падали на острые колья на дне этих глубоких колодцев и погибали голодной смертью или от удушья. Сбегавшиеся крестьяне-бретонцы кидали туда охапки горящей хвой и лесной суши, превращавшей эти ямы в костры. Сантонакс видел, что свет побеждал и выковывалась новая Франция. Он видел молодого генерала, который казался ему истинным представителем новой

Франции. Это был желтолицый юноша, с холодными глазами, худой, маленький и злой. Сантонакс говорил с ним, так как слышал, что этот молодой офицер получил первую премию Лионской академии за ответ на академический вопрос Рейналя: *«Какие суть правила и учреждения, посредством которых можно возвести род человеческий на высшую ступень?»* Этот молодой генерал, прославленный в стольких битвах Конвента, не пожелал делиться с Сантонаксом идеями своего произведения, получившего премию Лионской академии. Он сказал ему только:

— Мне было четырнадцать лет, когда я подпал под влияние этого таинственного аббата Рейналя. Я любил приходить к нему по вечерам, я встречал у него мулата Винсента Оже, казненного за восстание на островах, но теперь я знаю, что все это — заблуждения прошлого: аббат Рейналь не нужен Франции. Полагаю, вы должны думать так же, боевой комиссар Сантонакс.

Однако в тот день, когда роялистские заговорщики осадили Конвент, Бонапарт осыпал их картечью и быстро очистил площадь. А когда англичане попробовали, в пику якобинцам, занять Тулон и провозгласить правительство жирондистов, тот же Бонапарт, по приказу Конвента, идет на покорение Тулона. Вся морская артиллерия, вся сухопутная артиллерия, все атаки адских колонн Лазаря Карно бросаются на истребление мятежного города. Франция вновь едина и неделима, по приказу Конвента, под ударами артиллерии Бонапарта.

«О, этот восхитительный молодой генерал далеко пойдет!» — думает Сантонакс, становясь по левую руку Робеспьера перед выходом последнего на трибуну и наблюдая, как Бонапарт становится в группе с правой стороны Народного трибуна, собирающегося произнести перед лицом Франции «Речь о значении частной собственности».

Сантонакс сравнивает лица.

Робеспьер, простой, серьезный, в белом парике с косицей, крутым завитком волос по краям парика до середины уха; в профиль покатый, широкий, откинутый назад лоб, бровь широкая, идущая до виска, челюсть, устремленная слегка вперед, сжатые тонкие губы, тонкие ноздри и маленькое удлинение носа к концу, почти незаметное. Черты скорее правильные; но слишком стремительные, и дальше в профиль так, как рассказывает Лафатер в своей «Науке физиогномий»: «Выдающаяся

передняя часть лица и спокойное строение глаза». Не будь этой стремительной поспешности длинной челюсти, не будь этой сжатости тонких злых губ, не будь этой чрезвычайно стремительной линии лба к затылку, можно было бы думать, что эти спокойные угольного цвета глаза, что эти красиво сидящие, едва обрисованные скулы принадлежат философу XVIII столетия, которому легко и спокойно думать о науке после собирания цветов на полях и составления гербария в Монморанси. Черный глаз, большой, красиво поставленный, смотрит умно, спокойно и слегка надменно. Пышный ворот, прямо от ушной мочки спадающий на плечи и подпирающий затылок, слегка сутулит фигуру. Муслиновый галстук цвета чайной розы слегка подпирает подбородок. Две верхние пуговицы камзола расстегнуты, а третья застегнута почти на высоте ключицы.

Весь в черном, застегнутый, спокойный, Робеспьер делал три шага вперед, три шага назад около трибуны. Безызвестный оратор, имя которого пропало в стенограммах, кричал о красоте принципа частной собственности. Робеспьер трижды взглянул на него, подошел к Фукье-Тенвилю и шепнул ему что-то.

За последние дни богачи выпускают целый ряд неизвестных людей, повторяющих с трибуны чужие речи, а когда дежурные стенографы требуют их фамилий, то оказывается, что при записи они назывались неверно, а после их ухода уже никому не известны их имена. Но этот оратор сходит, его фамилия Мюзо. Уже на ночь дано распоряжение узнать, кто он, клерком или счетоводом чьей конторы он является в Париже. Он кричал о священном праве собственности, как будто его кто-то оскорблял; он говорил о том, что собственность — опора французских границ, он говорил:

«Господин Робеспьер, стоящий вот здесь неподалеку, не забудьте, граждане, есть тот самый господин Робеспьер, который провозглашает закон о максимуме, тарифы на цены предметов первой необходимости. Это то же самое посягательство на священное право собственности, которое мы слышали однажды из уст негров и цветных рабов».

Робеспьер с легкостью взбегаёт на двадцать семь почти вертикальных ступенек кафедры Конвента и говорит:

— Граждане, а вы спросите-ка их, этих продавцов

живого человеческого мяса, что такое, по их мнению, собственность? Если уж они упомянули сейчас о негрских и цветных племенах, то пусть они вам скажут, и даже не только скажут, но покажут продолговатые гробы, плавающие на поверхности морей под парусами,—корабли, в которых они своим счетоводческим пером зарегистрировали негров—живых когда-то людей, где они записали их цену, пока они еще кажутся только живыми: вот моя собственность! Я их купил по столько-то франков за голову! Спросите-ка этих джентльменов, которые владеют сушей и морем, кораблями и людьми,—они считают, что вселенная рухнет, как только их не станет на земле. Вот они, эти владельцы черных кораблей с неграми,—они вам покажут, что такое собственность, что такое обладание достаточным для них довольством и счастьем на земле. А после этого вы можете спросить о собственности у августейших членов капетингской династии. Они вам повторяют то же самое и даже скажут вам больше. Они без обиняков назовут вам все формы человеческой собственности, формы, наиболее священные из всех благословенных богами. Не противоречьте им—это наследственное право королей, право, каким они наслаждаются уже с древних времен, *право угнетения не только черных, но и белых, право превращения в ничтожество на законных основаниях, в силу монархического принципа, двадцати пяти миллионов людей,—людей, существующих на земле, на территории вот этой нашей страны, для их наивысшего удовольствия.* В глазах этих людей принцип собственности ни в какой степени не соприкасается с принципом человеческой нравственности и добродетели. Нравственность и добродетель существуют лишь для тех, кого они угнетают. Почему наша «Декларация прав» кажется все-таки ошибочной, ограничивая человеческую свободу? «Первое право счастливого человека, самое священное право то, которое он получил от самой природы». Мы скажем с полным правом, что есть границы, отделяющие право одного от права другого. *Ни один народ не может становиться собственностью другого, ни один человек не может принадлежать другому.* Только теперь мы можем в полном смысле слова понять и ощутить, почему вы в свое время не приложили усилий к развитию этого принципа собственности в противовес свободе, равенству и братству. Да потому, что это не политический, а чисто *социальный* принцип, подверженный большим изменени-

ям, потому, что *он не является вечным законом природы*, который не может быть подвержен насильственным поворотам человеческой воли в той степени, в какой может быть подвержен изменению любой закон добровольного соглашения людей между собою.

Вы, граждане, усложнили статьи, которыми обеспечивается единственная полная свобода варьирования законов о собственности. Вы до сих пор ничего не сделали, не сказали ни одного слова, чтобы ограничить природу и законные пределы того, на основе чего ваша «Декларация» обязана оградить человека как такового. Все сделано для богача, для обогащающегося, для хищного скупщика, для биржевого ажиотера, в конце концов для тирана-эксплуататора, который не остановится ни перед какой формой собственности. И вот, граждане, перед тем как отправить комиссаров для раскрепощения черных людей, я предлагаю вам исправить эту порочную часть «Декларации прав», посвящая будущим поколениям следующие живые истины как закон:

I. Собственность есть право, которым каждый гражданин может пользоваться и располагать в пределах, строго ограниченных законами государства.

II. Право обладания собственностью есть право ограниченное, как и все остальные священные обязанности каждого. Оно предписывает уважать такое же право и такие же права во всех остальных живых человеческих существах.

III. Закон не разрешает: ни злоупотребления безопасностью, ни, само собой разумеется, свободой, ни тем более существованием, а в особенности принадлежностью кого бы то ни было кому бы то ни было из людей.

IV. Все способы обладания одного человека другим и все способы какой бы то ни было торговли, насилующей изложенные принципы, объявляются незаконными, противоестественными, подлежащими искоренению.

Робеспьер, как черная кошка, склонился с кафедры и спросил стенографов:

— Записали четыре пункта?

Громкие аплодисменты со стороны монтаньяров ничего не позволили услышать, только кивки головами были ответом Неподкупному. Он сошел с эстрады.

Сантонакс продолжал сравнивать лица. Бонапарт проще и, пожалуй, красивее. Военная жизнь сделала его лицо живее.

Короткие ручки Бонапарта хлопали Робеспьеру в самый нос. Робеспьер, не улыбаясь, с широко открытыми глазами разыскивал кого-то. Он увидел Сантонакса, скользнул взглядом ему через плечо, без улыбки. Сантонакс обернулся: за ним стоял человек небольшого роста, изрытый оспой, в красной карманьоле, и с ним рядом — загорелый остролицый солдат в треуголке, веселый и любезный. Робеспьер подошел к Сантонаксу и сделал знак этим людям.

— Дорогой Сантонакс, — сказал Робеспьер, — ты едешь сегодня с поздним мессажером, не медля ни минуты. Зайди к Пинкалю, восьмая зала Конвента, он даст тебе на руки сертификаты. И вот тебе твои спутники. Вот твой первый помощник Польверэль, сапожник, член Парижской коммуны. Он первый надел фригийский колпак на голову Капета, он вместе с Грегуаром производил расследование об истреблении негрской делегации в Париже. Это друг черных людей, получше, чем все дурачье, окружавшее компанию Мирабо. А вот тебе другой спутник, ты его узнаешь в дороге. Эльхо, поздоровайся с твоим командиром. Будьте верны комиссару, он клялся на верность Французской республике. Помните, что в ней не должно быть рабов.

Потом, отведя в сторону Сантонакса, он сказал:

— Слушай, комиссар, твое плавание будет на «Ласточке». Я хотел, чтобы матрос Дартигойт был сделан капитаном, но он исчез неизвестно куда. «Ласточка» хорошее судно, ее построил Эйлер. Эйлеру мы верим, он великий математик и бескорыстный ученый. Это один из кораблей, который построил Конвент. Не советую приставать в Сан-Доминго, — тебя встретят пушки и потопят «Ласточку». Дело твое, прощай. Ты можешь погибнуть, но дело сделай! Республика требует, чтобы не было больше рабов.

ДНЕВНИК САНТОНАКСА

3 декада

(Начало отсутствует).

«Z...» 1793 — W... месяца

...в Брест, а пока смотрел «Памелу», превозносящую дворянство и английское правительство в Французском театре. Не мог досидеть до конца, ушел, чтобы не затошнило от глупости. В «Амбигю Комик» ставили

«Адель де Саси». Я пошел смотреть, думая, что это что-либо касающееся моего дорогого наставника Сильвестра де Саси (видел его три дня тому назад в Медонском замке,— удивительный «неприсяжный» ученый, который все силы кладет на науку для новой Франции). Оказывается, «Адель де Саси» — это поганая пьеса безыменного автора; она изображает королеву и ее сынка, заключенных в крепость в силу «одной только подлой интриги». Народ, освободив их обоих, восстанавливает в правах, оказывает им почет. Пьеса заканчивается монархическим вздором.

Из «Амбигю» я, не переводя духа, побежал к Робеспьеру. Застал его дома. Я рассказал ему эту возмутительную историю. Он сказал:

— Ты напрасно волнуешься, Комитет общественного спасения уже дал распоряжение о снятии этой пьесы. Оба автора — английские шпионы — действуют чрезвычайно ловко.

У Робеспьера застал слесаря, члена Революционной коммуны. Его фамилия Коффингаль. Вышел вместе с ним. Коффингаль говорил:

— Вот казнили Журдана-головореза, моего товарища в юные годы. Казнили за авиньонскую резню в сентябре прошлого года. Этак Робеспьер казнит и меня! Я с ним сейчас серьезно поговорил, он покровительствует ученым. Знаю я этих ученых! Робеспьер отдал им Медонский замок. Ну, правда, они выдумали новый календарь, они сделали оружейные школы, готовят порох, селитру, пушки. Марсова школа на Саблонской равнине и Гренельский пороховой завод — это все хорошие вещи. Правильно, конечно, Робеспьер говорит, что имущество заговорщиков должно быть поделено. Это ведь добро тысяч семей. Из них кое-кто виноват в подготовке фосфорных фитилей, чтобы поджечь арсеналы и склады фуража. Уже были пожары в парусных мастерских Лоранского порта. Ведь ты, комиссар, кажется, сам выезжал в Байонну на расследование о пожаре на снарядном заводе и в артиллерийском парке Шемилле?

Я ответил утвердительно, а этот неугомонный Коффингаль продолжал:

— Робеспьер говорит: «Иметь два плана, один для себя, другой для канцелярских служащих». Он нас считает канцелярскими служащими? Да? Ты едешь в Сан-Доминго?

Я ответил утвердительно. Коффингаль перескакивал с предмета на предмет, болтая без устали.

— Ты знаешь что,— сказал Коффингаль,— оттуда привезли в кандалах дворянина д'Эспарбеза, сменившего тамошнего губернатора Бланшланда. Я был за то, чтобы его простить, а Робеспьер его казнил. Да что говорить,— продолжал Коффингаль,— у Тальена, председателя Конвента, лежит в ящике новая конституция Франции. Когда же отопрут этот кедровый ящик? Все кричат—когда наступит мир, а мы думаем, что пора. Так-то, гражданин Сантонакс! Робеспьер учеными увлекся, по нашему мнению. По-нашему, по-рабочему, все это господа вроде Гассенфратца—господин Шанталь, комиссары округа, заводов, пороховщики, какой-нибудь там Фуркруа, ученик и друг откупщика Лавуазье. Ох, этот откупщик!— Коффингаль сверкнул глазами, склонив голову.— Правда, из Медонского замка выходят хорошие вещи. Ну, там гремуче-кислая соль дала новый сорт пороха, там выдумали полые ядра, зажигательные снаряды для пушек, зажигающие города, там даже начали подниматься на воздух в корзинке под легким баллоном. Там даже гражданин Шапп сумел зеркалами передавать депешу из Парижа в Марсель в семнадцать с половиной минут,—но все это пустяки. Республика может обойтись без ученых, когда не хватает муки, картошки и мяса.

Я высказал Коффингалю свое мнение довольно резко и старался успокоить его тем, что в этом году был ранний и обильный урожай, а что если мы сейчас имеем двести тысяч фунтов пороха в день и что если войска наши одерживают победы, то в этом немало заслуг наших ученых-химиков и таких математиков, как Лазарь Карно.

Мы с Коффингалем остановились перед кофейной, на стене которой прочли:

«У купцов нет отечества, черт их дери. Пока они думали, что революция будет им полезна, они поддерживали ее, они протягивали руку санкюлотам, чтобы уничтожить дворянство и парламент. Но все это только для того, чтобы занять место аристократов, в то время как активные граждане более не существуют, в то время как несчастные санкюлоты пользуются теми же правами, что и богатый вымогатель. Все они—будь они прокляты—

отказались от нас и употребляют всякие меры к уничтожению Республики. Они скупали все продовольственные припасы, чтобы продавать их потом на вес золота или вызвать голод».

Я подошел поближе. Это был номер 279 газеты Гебера «Отец Дюшен».

— Ведь вот они пишут правду,—сказал Коффингаль,—и Робеспьер так же думает.

— Чего же ты хочешь, Коффингаль?—спросил я.

— Хочу, чтобы Робеспьер не умничал и не возился с учеными.

— Но если это необходимо?

Коффингаль пожал плечами, и мы расстались.

Трагическая судьба. Робеспьер остается все чаще и чаще один.

«К» 179...

Путь на Брест труден и тяжел. Никогда переезд к морю не стоил мне так много сил. «Ласточка» действительно прекрасный корабль. Четырнадцать пушек отлиты из церковных колоколов, орудия новенькие, ни разу не стрелянные. Итак, в дорогу.

Скоро услышу снова страшные песни негров «Куа-Нассе» и «Камп де-Гранд-Прэ», как они, коверкая язык, называют лагерь Большой долины. Под эти жуткие песни умирали десятки тысяч негров.

На палубе купец. Если бы он не был мулатом, я сказал бы, что это вылитый портрет полицейского шпиона Рош-Маркандье. Он отвратительно говорит по-французски, ломает слова, его почти невозможно понять. Шапповские аппараты, гелиограф для мгновенной передачи депеш—везу с собой.

«S» 179...

Утром—человек за бортом. Мулат с лицом Рош-Маркандье стоит как ни в чем не бывало. Станный человек. Спасти матроса не удалось. Размышляя о предстоящей работе и о поручении Робеспьера, сравниваю их обоих: молодого генерала Бонапарта и молодого члена Комитета общественного спасения—Робеспьера. Бонапарт замкнутый и злой. Робеспьер—бесконечная доброта и страшная усталость. Бонапарт наводил пушки на дома беднейшего населения Тулона, Робеспьер не спит ночи и

готов бежать на край Парижа для спасения невинно осужденного. Оба по-своему нужны.

Читаю последние сводки военного министерства. Война с Англией неблагоприятно отражается на состоянии колоний. Мы сами отчасти виновны в том, что возбудили ненависть и недовольство населения Антилий. Если Антильские колонии нельзя в полном смысле слова назвать Новой Вандеей, то во всяком случае их нужно рассматривать как то место, где значение Франции оценивается особо. Там все принимается за чистую монету, в то время как Париж считает возможным надолго задерживать осуществление и публикацию конституции 1793 года. Париж ждет для этого наступления мира, а мир не наступает в силу того, что конституции, примиряющей противоречия сословий, до сих пор во Франции нет. Мы «не сеем новых посевов до тех пор, пока земля не привыкнет к новым семенам». О, это сложная, о, это темная сторона человеческой истории! Генерал Симкоэ, Уайтелок и Майтланд занимают почти весь остров Гаити.

Самое последнее донесение: испанцы и англичане ссорятся между собой. *Генерал Лаво на свой страх и риск сформировал негрскую армию. Где-то я ее застану?*

«D» 179...

Не писал одиннадцать дней. Чувство смутного беспокойства, плохой сон. Окончательно ознакомился с документами и инструкциями. Хуже всего, что необходимо иметь три или четыре варианта быстрых решений и безошибочно принять одно из них сразу. Это возможно только в том случае, если для этого быстрого решения будут все данные. А если *нет*? Я могу погибнуть, но хуже всего погубить все дело.

«Z» 179...

Появились первые птицы. Сегодня держал совет с капитаном и канонирами, согласились на обстрел берега в случае явного сопротивления нашей высадке.

«W» 179...

С форта Дофин в ответ на сигнал четыре выстрела. Кто мог их дать? Неужели форт занят испанцами или англичанами? Ушли в открытое море.

Форт Акюль. Французский сигнал: «Имеются ли на борту комиссары Конвента?»

Ответ: *«Да. Просим обеспечить высадку до наступления сумерек».*

Вместо сигнала — боевой залп шестнадцати орудий. Сбита мачта, сломан штурвал, погибли четыре канонира и младший помощник капитана немец Штюрцваге.

«S» 179... 17...

.....

Не могу найти страниц. В бауле никто не рылся. Генерал Лаво в плену, взят под утро испанцами, как раз в тот день, когда мы совершили тайную ночную высадку. *Нам все враги, кроме негров.* У меня обедал адъютант генерала Лаво, негр Франсуа Доминик Туссен Лувертюр. Смеясь, за обедом он рассказывал мне, каким способом удалось изгнать англичан. Но об этом после. Самое странное, что он сказал:

— Гражданин комиссар и вы, *честные* Польверэль и Эльхо, будьте уверены в моей дружбе. Вы считаете, что генерал Лаво честно служит Французской республике? Генерал Лаво нынче ночью будет с нами.

Удивительный и странный этот негр. Уходя, он пожал мне руку и сказал:

— Я не мальчик, мне сегодня ровно пятьдесят лет, я не говорю напрасно: нынче ночью вы увидите генерала.

«7...

Порт-о-Прэнс. Познакомился с генералом Лаво. Во время богослужения вдруг раздался пушечный выстрел. Я вышел из зала муниципального собрания на соборную площадь. В коляске под руку с Туссеном Лувертюром ехал седой француз. Это был генерал Лаво. Эскадрон негрских гусар пылил по улице.

Эти странные негры искрошили испанский отряд, освободили Лаво и 1700 пленных французов. Эти негры делают чудеса храбрости. Вполне понимаю, что сорокапятитысячный английский корпус, высадившись четырьмя десантами, не мог удержаться; лихорадка, нападение испанцев и негры, эти замечательные бойцы, сделали пребывание их на острове нестерпимым. Самыми упорными были Майтланд, Уайтелок и Симкоэ. Последние сдались раньше всех, и если бы не Майтланд, англичане

ничего не потеряли бы, но Майтланд стянул основные силы в Крет-а-Пьерро.

Пользуясь преимуществом горной местности, негры нанесли Майтланду колоссальный урон. Англичане вызвали дополнительный флот и на 85 кораблях покинули остров.

«D» 179...

Неделю не писал дневника. В этой фантастической стране особенности человеческой породы до такой степени странны, что не сразу осваиваешься с целым рядом явлений. Восьмые сутки вместе с Туссеном работаем над новыми законами гаитийских общин. Туссен друг и почитатель Рейналя, но говорит, что Рейналь дает очень много для критики, а когда необходимо приступить к организации государства, когда требуется продолжительная программа — необходимо руководствоваться декретами Конвента, учением Мабли и, как это ни странно, *Корсиканской конституцией Жан Жака Руссо*.

«H» 1794 Zis
(В тексте перерывы)

...истекшем году; такие есть опасения, что это повторится в нынешнем. Странные вести: некий Адмирал, как пишет «Монитор», дожидаясь у выхода из дворца Конвента Максимилиана Робеспьера. Перепутал его с Колло д'Эрбуа и снес череп последнему пистолетным выстрелом. Девушка двадцати лет — Сесиль Рено — ворвалась к Морису Дюпле с тем, чтобы убить Робеспьера. Максимилиан счастливо отделался, он не был в этот день в Конвенте и ночевал у кого-то из друзей. Трагическая история! Робеспьер в ссоре с гебертистами. Война на фронте, ссора в тылу, что может быть хуже! Но к чести Неподкупного надо сказать, что он предпринял репрессии только тогда, когда Гебер выступил вооруженной силой против Конвента.

«P» G 17... ZY

Казнены Камилл Демулен и Жорж Дантон. Что это значит? Я держу газетный листок и письмо, полученное мною от Фуркруа.

Лавуазье, друг черных людей, арестован! За что? Ведь он уже давно не откупщик. Стены, воздвигнутые крупье Генеральной фирмы, этим продажным человеком Леду,

вовсе не были «стенами Лавуазье», как о том говорили в Париже. К тому же...

Нет, об этом надо написать отдельно, я буду писать Фуркруа, чтобы он хлопотал за Антуана Лорана Лавуазье. *Стены вокруг Парижа и таможенные станции разрушены еще до взятия Бастилии восставшим народом, задолго до ликвидации откупов. Лавуазье перестал быть откупщиком. За что же сейчас сажать в тюрьму ученого?*

«Y» 17...

Франция ведет победоносную войну.

«V» 1794...

Как ужасна жизнь! Кто знает, что будет завтра? Вот сейчас передо мной это странное письмо:

«Дорогой друг, я давно не писал тебе и не мог писать. Это письмо последнее. Республика погибла. Негодяй Тальен, получив отчаянное письмо от своей сожительницы, проститутки Кабарюс, арестованной по приказу Робеспьера за лихоимство, вместе с Баррасом подняли весь гнусный и спекулянтский Париж против нашего общего друга. Я ждал, что ты приедешь. Со времени твоего отъезда было столько горя и я так был одинок, что твое присутствие одно только облегчило бы мою участь. Скажу тебе прямо: я не знаю, как ты сейчас отнесешься к Робеспьеру, я простой гравер, я типографский рабочий,— я знаю, что у нас многие сердиты на Неподкупного, но я говорил товарищам, что именно он *стоит за проведение закона о максимуме* в такой форме, которая облегчила бы жизнь трудового люда. Изголодавшиеся типографщики мне не верят, лионские шелкопряды думают еще хуже, орлеанские ткачи и бельгийские суконщики тоже стонут. *Крестьяне, особенно кто побогаче, купили земли из национального фонда и, наевшись, отвалились от стола. Их беспокоит только внешняя война, закон о максимуме для крестьян так же противен, как противен для парижского откупщика. Эту сволочь ничем не остановишь. И вот ужасное случилось. Я не знаю подробностей, я знаю, что Тальен махал кинжалом, что он не давал Робеспьеру говорить. Я знаю, как издевались над ним, когда арестованного отказывались принять все тюрьмы,— до такой степени гнусным делом показалось это дело даже полицейским и гильотинеру. Но страшное событие соверши-*

лось. Максимилиан неудачно пытался застрелиться. С простреленной челюстью эту мудрую голову положили в окно гильотины. Погибла Франция! Негодяи, совершенные негодяи встали у власти. Прощай, дорогой Санто-накс, мне нечем дышать. Не отвечай мне, так как я решил не жить. Ты знаешь, я не говорю напрасных слов. Прощай.

Моклер-гравер».

*(Большой пропуск в рукописи)
«S» 17...*

Гроза не разразилась. Небо было совершенно черно, в четыре часа пополудни, казалось, наступила ночь, только бугшприт, мачты и реи покрылись беглыми огоньками: это огни святого Эльма.

Ветер был крепкий, но сухой, облака шли низко и казались безводными,—я первый раз в жизни вижу это явление. Очевидно, где-то вдали были гром и буря. Мы шли берегом, то отдаляясь, то приближаясь к линии каботажа. Компас обнаруживал странную игру и колебания. При полном отсутствии горизонта небо полыхало зарницами где-то страшно далеко и беззвучно. Через два часа внезапно проглянуло солнце сквозь разорванные тучи, и облака словно развалились в этих лучах. Мы шли в направлении Порт-о-Пэ, и внешние очертания берега показались нам знакомыми, но я не узнал места, в котором не был так давно. Как ласточкины гнезда, высматривали на уровне горы четырнадцать орудий неизвестного мне форта. Они смотрели прямо в море, это были длинные английские береговые пушки.

Туссен положил мне руку на плечо.

— Здесь была мулатская пулькерия, а вот теперь новый форт.

— Так это действительно Порт-о-Пэ?—спросил я.

— Да. Этот новый форт знаменит тем, что его выстрелы потопили крупнейший крейсерный парусник англичан. Самоуверенное командование не узнало даже этого места, оно подошло к форту настолько близко, что англичан удалось потопить сразу, не разрешая им ответного выстрела.

— Скажите, генерал,—обратился я к Туссену,—в чем состоит секрет спасения Лаво?

— Ни в чем,—ответил Туссен.—Испанцы должны

были, по договору со мной, убраться с острова, они выговорили себе только одно—право отправлять богослужение и назначать *свое* духовенство. Несмотря на невыгоду этого, пришлось согласиться, чтобы не тревожить тамошних католиков. Испанцы фанатичны. Когда Лаво был взят в плен, я вошел в Гинче в собор, предварительно введя за сутки батальон моих негров, переодетых в испанскую форму. В соборе хор пел «Те Деум». В этот момент я поднял руку, остановил богослужение и, выйдя из портала, приказал барабанщикам ударить в барабаны. Батальон испанских негров, к великому удивлению испанского правителя, с барабанным боем прошел по городу, освободил из тюрьмы генерала Лаво, открыл стрельбу по казармам. Вместе с подготовленными мулатами мы искрошили военное командование и гражданские власти последнего опорного пункта Испании, Гинч сделался нашим. *В Гинче я получил доказательство того, что письма Винсента Оже, выражающие согласие на полное рабство негров при условии освобождения мулатов и предоставления им избирательных прав,— сплошь поддельные письма.*

«W» 179... N-P

В Порт-о-Пэ провели собрание. Восемь делегатов, а именно: Мерканти, Гуцман, Лозье, Таверньер и другие, фамилии которых не помню, выступили с бурными речами. Они кричали опять о том, что не согласны на ликвидацию рабства, так как это разоряет колонистов.

Я узнал, что Гуцман и Таверньер являются крупнейшими агентами парижских акционеров «Индийской компании». Я сказал, что «Индийская компания» ликвидируется, на что Туссен ответил:

— Да, да! Этим делом ведает Фабр д'Эглантин.

— Что же,—ответил я,—он сделает с вами то же, что с католическим календарем. Революционный Париж даст вам вместо январей и февралей брюмеры, нивозы и плювиозы; вместо недели заставит вас считать на декады. Для вас новая жизнь начнется с первого года Конвента.

Таверньер, озлобленный, отошел от меня. Гуцман снова взял слово и, встав на стол, обратился к собранию с речью против меня. Опять старые дела: «Франция не получит ни куска сахара, ни зернышка кофе до тех пор, пока не смиритса перед необходимостью платить за освобождаемых рабов».

Тогда с места заговорил Туссен:

— Мы кровью добывали себе свободу, мы вернули метрополии ее самые богатые колонии! Мы требуем, чтобы все, кто сейчас говорит о выкупе, выкупили свою собственную жизнь покорностью революционной власти! Подчинитесь—таково требование Конвента.

Раздались бешеные крики:

— Черный генерал говорит от имени Конвента!

Кричали:

— Мы не допустим, чтобы негры управляли белыми.

— Да?—крикнул Туссен.—Мы этот недостаток восполним! Белые, желающие быть собственниками человеческих жизней, должны быть удалены с острова под угрозой смерти! Объявляю террор!

Поднялся страшный шум, засверкали кинжалы, пистолетный выстрел раздробил люстру, свечи посыпались на пол. Я не знал, что у Туссена может быть такой голос. Его белки сверкали, он стоял, не боясь разъяренной толпы жутких людей, и кричал:

— Здание окружено по приказанию Сантонакса и Эльхо. Те, кто не подчинится распоряжениям Конвента, будут расстреляны на месте.

Воцарилась немая тишина, слышно было, как скрипел стол, когда спрыгнул Туссен. Потом Эльхо встал на кресло и прочел декрет Конвента.

Ночь прошла спокойно. Утром расстреляли восемьдесят два колониста.

«V»... Р. Р. F.

Сен-Марк

Пятнадцать колонистов бежали. Восемь человек, напавшие на мою карету, расстреляны перед зданием городской коммуны. Получил письмо с нарочным из Сан-Доминго. В Париже творятся странные вещи, пишет нантский комиссар, мой друг Монбельяр. «Индийская компания» закрыта. По ликвидации государство недополучило пяти миллионов ливров благодаря взяткам Фабра д'Эглантина. Фабр д'Эглантин казнен по приговору Робеспьера. Робеспьер казнен после происшествий 9 термидора. Коффингаль вел себя как настоящий предатель. Он освободил своего друга Анрио и с батальоном парижских секционеров прошел мимо тюрьмы, где содержался Робеспьер. Он палец о палец не ударил для освобождения Неподкупного. Ужасна эта «термидорианская» молодежь!

Я называю так потому, что *девятый день термидора* будет вечным ужасом для *Франции*. Только теперь понимаю, что должен был испытывать благородный Моклер. Кто остался? Эта сволочь, подчищающая свои старые якобинские билеты, выдохшиеся негодяи, для которых революция стала докучным прошлым, люди, готовые примириться с кем угодно, лишь бы им дали «пенсию старого якобинца». Может быть, я ошибаюсь?

Монбельяр описывает, что представляют собой термидорианцы в Нанте. Этот мальчишка Карье, подобранный когда-то на улице богатой шляпницей Мадленой, стареющей торговкой, сделался потом ее мужем. Веснушчатый, с рыбьими глазами, рыжеволосый, безбровый, с белесыми веками, похожий на кошку рыжей масти, завистливый, злой — сейчас он выставляет себя противником террора. Но вот до этого Карье Оверньяк окружил себя бандой в сорок человек, он называл их «ротой Марата». Он выплачивал им из муниципальной казны, пополняемой штрафными, *пятнадцать ливров в сутки*, в то время как рабочие Нанта получали *пятнадцать су*. Удешаженный оклад он оправдывал тем, что рота Марата ведет исключительно важную государственную работу. Два ротных командира Фуке и Ламберти организовали шайку мошенников-счетоводов. Ламберти был начальником снабжения, и когда оба взятками и вымогательством набрали шестьсот тысяч ливров, тогда Карье отнял деньги и расстрелял своих друзей без суда, «успокаивая» таким актом ограбленное население.

Нант был центральным местом по свозу вандейских пленных и бретонских контрреволюционеров. Тюрьмы Нанта ужасны. Там началась эпидемия тифа и холеры. Чтобы спасти население от эпидемии, Карье придумал ускоренный способ очистки тюрем. Он вывез на средину Луары барки с заключенными и пустил их ко дну. А 29 Фримера он единолично распорядился о расстреле двадцати четырех разбойников, из них четверо не достигли четырнадцатилетнего возраста, а шестерым женщинам предстояло родить и кормить детей. И вот, пишет мне Монбельяр, этот человек является сейчас осквернителем памяти Робеспьера.

.....

(В рукописи большой пропуск)
S. d. S a S i...»

Организационный гений Туссена за истекший год достиг колоссальных успехов. Я уступил ему дорогу всюду. Здесь еще страшно имя Конвента. В Париже смута, никто не догадается отозвать меня обратно. Последний приказ получен восемь месяцев тому назад. Обо мне, о Польверэле и об Эльхо позабыли. Террор, проведенный нами на острове, доставил мне много врагов, но, видя дружбу негров со мной, они молчат. Обработка факторий, работа заводов достигли небывалой высоты. Что может сделать из человека свободный труд и как бесконечно велики возможности свободных земледельческих коммун!

Приказ о том, чтобы *следить за иностранными шпионами*. Подпись — *генерал Бонапарт, комендант города Парижа*. Какое отношение имеет ко мне копия этого приказа? Письмо — слабое объяснение. Некий Меньяр пишет мне:

«Бонапарт и Дульсэ просмотрели вчера большую корреспонденцию с командующими генералами. Не оказалось важнейших документов, именно *«директивного приказа Комитета общественного спасения относительно принципиальной основы и политики французских войск во время войны на чужой территории»*. Генерал Бонапарт и Дульсэ самолично произвели обыск в помещениях Конвента. Этот акт нашли в письменном столе в передней. Ключ был у молодого писца, его расстреляли. Установлено, что иностранные державы имеют в Париже своих агентов, которые покупают копии бумаг Комитета общественного спасения».

Какой ужас!

«Zy» 178—2 p.

Польверэль задержался в Окэйе. Туссен читал мне статью Биассу, напечатанную отдельной брошюрой в Париже. Называется «Ликвидация рабских отношений между людьми». Статья замечательная. Макайя, Пьерро и Эльхо заканчивают объезд. Через неделю трибунал решит последние дела о выселении богачей на остров Кубу. Соглашение состоялось, Риго держится на юге, но, кажется, тоже уезжает, он совершенно безвреден.

.....

Полгода, как я комиссар Директории. Усталость от вечных разъездов, моя ненужность на успокоенном острове заставили меня просить Директорию назначить Туссена губернатором Сан-Доминго. Общины подали мне тысяча семьсот петиций. Туссен—истинный начальник негров, примилившееся белое население любит его как друга».

В документах Сантонакса вложен синий лист с пометкой той же рукой:

«Пятого фримера Туссен Лувертюр подписал прокламацию, отпечатанную в Сан-Доминго, и затем, размножив ее, разослал во все концы Гаити. Она гласила следующее:

«С первого дня революции я исполнил все, что зависело от меня, чтобы возвратить моему Отечеству счастье жизни в свободном состоянии и утвердить права человека и гражданина за всеми моими согражданами. Будучи вынужден начать войну с внутренними и внешними врагами Республики Франции, я вступил в годы кровопролитных боев, имея неустрашенное сердце и ненавидя всякую жестокость. Честь негрского воина стояла высоко, и мы с вами, сограждане, не удалялись от чувства справедливости, даже имея перед собой бесчестного и своекорыстного врага, попиравшего на наших глазах естественные человеческие законы братолюбия и справедливости. И если я в боях и сражениях применял оружие, имея волю к победе, то не гораздо ли больше положил я силы на то, чтобы даже в войне усладить ужасы войны и пощадить кровь человеческую? Всегда было первым правилом нашим—прощение обид; первым чувством нашим было—грядущее человечество. И часто после побед, как вы видели сами, я давал вам примеры дружеского и братского обхождения с теми, кто вчера еще шел против нас под знаменами неприятеля. Забывая их заблуждения и проступки, я хотел посеять семена свободы и вырастить деревья счастья, я хотел привить, как святыню, людям законную и священную свободу. Свободу я хотел сделать любезною для самых опасных ее противников.

Генералы и офицеры! Братья мои по оружию! Напоминаю вам, что степени и воинские звания, в которые вы возведены, являются лишь наградой вашей чести, вашего

беззаветного мужества и беспорочного поведения, что поступки ваши и самые ваши слова и даже собственные мысли, известные только вам одним, должны быть тем благороднее и лучше, чем выше стоите вы по воинскому рангу в рядах прочих граждан; что соблазнительные примеры людей, стоящих, как вы, на высоте, гораздо губительней, нежели развращенность простого жителя приморских городов, долин или гор; что воинские звания и должности, вами занимаемые, даны вам не ради выгод и не для утоления честолюбия, но единственно ради блага общественного; что ваш долг осуществлять все намерения Правительства, не думая о себе; что беспристрастие и справедливость должны управлять всеми вашими решениями, имеющими целью установление стройного порядка жизни, счастье вашей страны и уничтожение всех недостатков, мешающих расцвету деятельного и ревностного труда.

Всегда голосом ясного ума и горячего сердца я стремлюсь внушить нашим войскам дисциплину и организованность внутреннюю, без которых армия существовать не может. Цель наших войск — защита гражданской свободы и гражданской безопасности Республики. Никто из членов нашей армии не должен терять из виду славного своего назначения. Офицеры должны давать солдатам не только на словах, но и на деле примеры воинского поведения. Всякий капитан должен иметь благородное рвение и держать свой отряд в наилучшем повиновении, хорошо одетым и занятым осмысленными воинскими и гражданскими занятиями. Капитан должен знать, как и всякий начальник, что поступок любого солдата позорит начальника и является поступком того, кто этим солдатом командует. С еще большей ясностью должны это усвоить себе Начальники Батальонов относительно своих батальонов и Начальники Бригад относительно своих бригад. Они обязаны считать армию своей семьей и быть среди солдат как в своей семье.

Сколько раз я говорил таким языком с генералом Мойсом за десять лет моей дружбы с этим собратом. Я говорил с ним в частных беседах еще задолго до осуществления замыслов негрской свободы при совместных чтениях книги великого Рейналя, который пророчески предугадал зарождение нового мира в угнетенных колониях. Сколько раз, уже много спустя — когда мы втайне формировали нашу армию, я повторял генералу

Моису принципы организации войск и повторял ему все это в присутствии наших общих товарищей, нынешних генералов. Сими уроками и чувствами пронизана вся переписка моя с генералом Моисом. Но вместо того чтобы слушаться голоса ума и сердца и выполнять приказания, имевшие в виду общественное благо нашей Страны, генерал Моис пошел на голос низких страстей и погиб, как жалкий и несчастный раб своих других склонностей. Вспомните расстрел генерала Моиса и громко возвестите, что такая участь ждет всех, кто пойдет по его пути. Опыт жесток, товарищи и братья! Принося мне лично печаль и наказание, дурное поведение генерала Моиса лишило меня возможности посылать на утверждение Французского Правительства новые производства в дивизионные генералы. Только генерал Дессалин, оказавший столько услуг нашей Стране, сохранит степень дивизионного генерала. Все прочие производства на низшие ранги не прекращаются.

Граждане Свободной Страны, в одной из моих прокламаций, обнародованной во время Южной войны, я дал вам правила воспитания нового поколения людей: я описал обязанности родителей по отношению к детям. Станет ли повиноваться общественным законам тот, кто ногами попирает самый священный и самый кроткий закон природы — закон *материнства и любви к детям?*

Но, однако, я вижу, что родители с небрежностью воспитывают своих детей, особенно в городах, не сообщая им познаний необходимых, не научая любви к труду. Они не только оставляют детей в бездействии и невежестве, но и сами они зачастую забрасывают плантажи и уходят от возделывания земли, которое мы считаем самым почетным, самым первейшим и полезнейшим из всех трудовых состояний. У этих людей едва только успеет родиться ребенок, как ему вместо материнского молока дают серьги и обряжают его в ненужные драгоценности, под которыми я сам видел грязные лоскутья одежд, отвратительную неопрятность и наготу. Я знаю города и плантажи, где мальчики и девочки, достигшие двенадцатилетнего возраста, остаются неграмотными, без всяких убеждений, без знания наук и ремесл, но с великою страстью к роскоши и с непреодоленной ленью. И в той мере, в какой впечатления детства определяют волю юности, дорога злая и жизнь страшная ожидает их. Их ждет *дурной удел* (*mauvaise part*), они

станут плохими гражданами, бродягами, ворами. Девочек ждет гибель на пути торговли самым дорогим, что имеет человек: силой сердца и здоровьем тела. Отцы и матери таких детей! Помните, что на вас обрушатся первые последствия безвластного бунта простых грабителей и бесчестных убийц в лице ваших детей. Каковы должны быть побуждения народного правительства Республики Негров и Французов? Как должна наша армия смотреть на это? Говорю вам — смотрите на этих отцов, на этих матерей и на этих детей открытыми глазами во имя свободы и закона!

Привет и Братство!

(Подписано): *Туссен Лувертюр*».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА САНТОНАКСА

«Временами мне кажется, что этот фанатичный человек горит неугасаемым огнем любви к человечеству. Этот огонь заливает ярким пламенем его сухое черное лицо и светится в темно-синих глазах. Я ни разу не видел, чтобы он был мелок; в жестоких распоряжениях, даже в приговорах никогда не было колебаний, но он охотно идет на длительные пересмотры приговоров. А сейчас мы вдвоем подписали распоряжение об отмене смертной казни на острове. Никогда личное самолюбие не отделяет Туссена от негров, от мулатов, от кого бы то ни было на острове. Весь образ жизни его — республиканская простота, забывает о себе, никогда не забывает о людях. Прекрасный дипломат во всем, что касается острова, наивен и доверчив во всем, что касается его лично. Характерно обращение к нему негров. Обычное выражение — «отец». В войсках и в строю полная дисциплина, во всех остальных встречах опять то же обращение «отец», на «ты», и шутки, как со старым товарищем.

Переезжаем в Сан-Доминго. Вот уже август. Читаем по дороге с Туссеном аббата Рейналя. Туссен достал из баула свои любимые книги и старые письма. Рейналь писал Туссену:

«Тридцатого января 1494 года Колумб захотел организовать на острове Эспаньола, который теперь называется Гаити, первую торговлю невольниками из карибов.

Бенцони слышал, как индийские караибы говорили, показывая на золотые изделия: «Неужели эти золотые куски лучше наших богов? Почему христиане золото сделали своим богом?»

Туссен говорил:

— Я боюсь, что новая Франция золото сделает своим богом. Испанские местечки на острове внушают мне опасения: они являются местом шпионажа, тамошнее духовенство сеет смуту.

Туссен не тревожит религии, богослужение отправляется свободно, но боюсь, чтобы религия не потревожила Туссена... Офицеры из штаба Туссена принесли мне странное письмо. Французское письмо с ошибками в сторону испанского языка, без подписи. Неизвестный человек пишет:

«Комендант города Парижа, генерал Бонапарт, написал письмо, известное всему Парижу. Бонапарт говорит: «Я считаю Робеспьера безупречным, но, будь он даже моим отцом, я собственноручно заколол бы его, если бы он покушался на самовластие; это сделал Робеспьер». Поэтому господин Туссен должен обратить внимание на самовластие робеспьеровского ставленника — Санто-накса».

Мне трудно писать, у меня дрожат руки. Этот анонимный донос требует от Туссена моей казни. Туссен прислал мне его без пометок.

Не застал Туссена, он приедет только к вечеру, уехал по горной дороге с девятью всадниками.

(11—13)

Туссен объяснился со мной. Старик был очень взволнован, но не подавал виду. Он прямо говорил:

— Моя экспедиция увенчалась успехом, полковник Дессалин, Клерво и Макайя собрали все сведения, нужные нам обоим. На испанский корабль «Барселона», стоящий на рейде в Сан-Доминго, намеревались передать вот этот пакет, толстое письмо на имя гражданки Жозефины Ташер де ла Пажери. Это креолка, живущая в Париже,—пояснил Туссен,—она богата, родом с острова Мартиники. Ее дед—негр, мать—испанка, отец—

француз; она — любовница Барраса, одного из членов Французской директории.

Мы вскрыли пакет. Человек, писавший длинное послание, носил краткую фамилию Рош. Я не мог вспомнить, но что-то мелькнуло у меня в памяти при этой фамилии. Длинное письмо содержало усердную просьбу довести до сведения коменданта города Парижа и всех директоров (странно, на первом месте стоит комендант города Парижа?!) о том, что робеспьерист Сантонакс и его помощники Польверэль и Эльхо не только не казнены, не только не отправлены на галеры, но даже правят колониями с неслыханной жестокостью.

«Некая черная обезьяна Туссен из графства Ноэ, бывший конюх сеньора Бреда и великий знаток лошадей, теперь сделался правителем всего острова благодаря постоянному попустительству мошенника Сантонакса.

...Дорогая, вы можете сделать очень многое. Ваши имения в Мартинике сожжены, ваши рабы разбежались, они теперь «свободные» люди. Возьмите платочек, как вы это делали всегда в трудных случаях жизни, приложите его к плачущим глазам и умоляйте Барраса и египетского героя, вернувшегося в Париж, генерала Бонапарта, победителя Лоди, Арколя, Милана, Маренго, — молитесь им всеми святыми, что остались во Франции, как можно скорее исправить колониальные дела, пока они не стали непоправимы. Встаньте на колени перед всемогущим начальником французских войск, перед тулонским героем Бонапартом. Гибнут французские дети от недостатка сахара, гибнет колониальная торговля от бездушия Туссена Лувертюра. Раб не может быть свободным по евангельскому завету, вы сами знаете, какова сладость тирании рабов. Вы сами и ваша подруга Тереза Кабарюс сидели в тюрьме, ожидая смертной участи, и если бы не кинжал героя Тальена, поднятый в Конвенте 9 термидора, вы обе сложили бы голову под ножом гильотины. О женщины Франции, о лучшие женщины Франции, восстаньте против тени Робеспьера, истинно черной тени! Я посылаю вам как вечный укор портрет этого человека. (Приложен действительно гравированный в Париже портрет Робеспьера в профиль; с адской улыбкой смотрит, как сжатое в его правой руке, высоко поднятой над головой, человеческое сердце источает кровь потоком в золотой кубок, около самых губ кровожадного Робеспь-

ера.) Помните! То самое, что здесь изображено, делается сейчас в Сан-Доминго: кровь льется ручьями, богатейшие люди сделались нищими, негры, за которых платили по тысяче франков, из дорогих рабов сделались дешевыми гражданами. На что это похоже?

Месяц тому назад с очень верным человеком я все это изложил в донесении Баррасу. Теперь настало время напомнить ему об этом. Вас я прошу это сделать и к ногам вашим повергаю свою мольбу.

Свободный, желающий сделаться снова вашим рабом.
P. S. Помните ли вы нашу поездку в Отейль?»

Едва я кончил письмо, как сразу понял все: мулат, виденный мною на корабле, конечно тот самый Рош-Маркандье. Почему я сразу его не схватил? Ведь я же читал распоряжение Робеспьера об его аресте, я читал афишу Конвента о том, что он значится в списках гильотинированных. Неужели Рош-Маркандье возник вновь передо мной, как тень тарантула, расставляющего сети? Я хотел заговорить об этом с Туссенем, но вошли восемь офицеров его штаба. Дессалин и Клерво посмотрели на меня чрезвычайно странно.

Не спал всю ночь. Я устаю. Наступает время лихорадок.

Корабль «Алерт» прибыл на рейд. Через два часа мне доставили почту. Туссен Лувертюр утвержден губернатором Сан-Доминго, я остаюсь в звании комиссара Директории. Неужели Директория нуждается в проконсулах? Мое пребывание здесь излишне. Письмо от жены: мой мальчик умер. Бедный Франсуа, какое тяжелое детство и какая ранняя смерть...»

.....

(Пропуск в рукописи)

ПИСЬМО САНТОНАКСА

«Дорогая Франсуаза, вчера, 20 августа 1797 года (прости за применение старого календаря, я в качестве члена Конвента имел специальное поручение не тревожить местные нравы и сам отвык от нового календаря). Не тоскуй, дорогой друг, скоро ты меня увидишь. Этот быстроходный крейсерный парусник придет на месяц

раньше меня и успеет предупредить тебя письмом. Осуши свои слезы, скоро мы будем вместе.

Так вот, я сбиваюсь; вчера, 20 августа, Туссен Лувертюр пришел ко мне с четырнадцатью старшими офицерами своего штаба и вице-губернатором Кристофом. Они преподнесли мне массу золотых вещей, десять голубых бриллиантов и слиток серебра величиной с голову ребенка. Они бурно и горячо выражали мне свою признательность за то, что я с пламенной верой в правоту своего дела осуществил приказ Конвента,—так они выразились. Но потом они на все лады и разными голосами стали умолять меня выехать во Францию для спасения дела колоний, которому угрожает новая опасность.

Вот его подлинное обращение ко мне:

«Туссен Лувертюр Генерал-Аншеф.

Гражданину Сантонаксу, Народному Представителю и Французскому Комиссару.

3 фруктидора, VI года.

Долгое время нет известий и ответов от Французского Правительства. Это молчание беспокоит истинных друзей Республики и наших прав. Враги порядка, враги свободы, враги Республики стараются использовать это отсутствие ответов и достоверных сведений. Нам известно, что тайные агенты распространяют таинственные слухи, которых единственная цель — это возмущение колоний.

Подобные обстоятельства требуют, чтобы человек, которому известны все наши происшествия и который был в Сан-Доминго свидетелем всех перемен, вернувшись нам спасение и тишину, явился бы в Париж к членам Исполнительной Директории и уведомил ее правдиво о состоянии нашего Острова.

Будучи наименованы Депутатом от нас, от Нашей Страны в Законодательном Корпусе, вы ради грозных обстоятельств нашей гражданской войны почли долгом пробыть еще некоторое время среди нас, как желанный нам член Конвента. Ваше присутствие было необходимо, ибо злодейство угнетателей свободы еще не прекращалось. Но теперь установлен республиканский порядок, тишина воцарилась над мирным трудом наших полей и городов. Наши победы и слабость внешнего врага позволят вам принять от нас вашу должность Народного Избранника.

Итак, поезжайте во Францию и возвестите ей все, что

вы видели. Обрадуйте наше общее Отечество чудесами жизни, свидетелем и участником которой вы были. Вам предстоит защита той степени счастья, которого мы достигли. Приветствие и почет.

(Подписано): *Туссен Лувертюр*».

Мог ли я ему отказать? Имел ли я право им отказать? Эта просьба была настойчива, и почетна, и оскорбительна для меня одновременно. У меня нет выхода из положения, я должен ехать. Я не знаю, чем встретит меня Франция, но состояние духа у меня чрезвычайно угнетенное. Мне кажется, прожита вся моя жизнь, а истекший год в колонии я работал так напряженно и долго, что каждый час кажется мне годом. Я не узнаю сам себя, не узнаю окружающих людей, я упрекаю себя в том, что минутами, в напряженной работе, мне казалось, что жизнь остановилась, в то время как она бежала с невероятной стремительностью. И вот день, казавшийся мне вечным, вдруг стал клониться к вечеру. Я чувствую смертельную усталость. Я знаю Туссена: то, что он говорит с мольбой, является бесповоротным приказом. Итак, через две недели я еду.

Вечером Туссен был у меня снова. Он привел ко мне Исаака и Плацида, двух мальчиков, которые прекрасно говорят по-французски. Он просил меня отвезти их в Париж, в политехническую школу имени Эйлера. Я обещал ему это сделать. Итак, мы скоро увидимся, приветствуй от меня Марионну и дедушку Латуша. В последнем письме он писал так неразборчиво, что я опасаюсь за количество дней оставшейся ему жизни. Обнимаю тебя.

Твой *Анри*».

(Конец документов Сантонакса)

Туссен Лувертюр провожал Сантонакса на корабль. Шхуна «Минерва» была готова, Туссен прибыл раньше на мол. Показались Польверэль и Эльхо в экипаже. За ними верхом ехал Сантонакс, немного поодаль, как он всегда любил ездить, просто и без окружения. Огромная толпа народа, военный оркестр и двенадцать барабанщиков стояли перед опускным помостом. Дорожное имущество и снаряжение детей Туссена было погружено еще за день перед тем, имущество комиссаров Конвента также; оно

было невелико. Сантонакс спешился в двадцати шагах от Туссена. В это время бешеная лошадь ворвалась сквозь ряды людей, и мулат в седле, замахав руками, подъехал в упор к Сантонаксу и выстрелил ему в лицо. Выстрелом из второго пистолета он очистил себе дорогу, стрельнув в толпу. Раздались крики, стоны. Проложив дорогу через толпу, мулат спешился в переулке и исчез. Нашли только оседланную лошадь. Отъезд был отложен.

Все поиски мулата были тщетны. Сантонакса торжественно похоронили, перевезя его на островок около Капа. Там было место его отдыха, там он однажды в шутку говорил Туссену, что этот «островок настолько хорош», что он согласился бы иметь его «местом вечного покоя».

Польверэль и Эльхо приняли поручение Туссена. Два комиссара—Польверэль и Эльхо—и секретарь Сантонакса Дельнеш, два мальчика—дети нового правителя, губернатора Туссена Лувертюра, Исаак и Плацид,—выехали на корабле во Францию. Туссен посылал их Франции как доказательство мирных своих намерений, как признак высокой степени доверия к новой Франции.

Глава одиннадцатая

БЕЛЫЙ КОНСУЛ

О французы нового века, вы обещали больше, чем вы можете. Уничтожая меня, вы срубаете только *имя* одинокого «Дерева негрской свободы». Я посадил его когда-то перед тем местом, где была гробница Колумба в Сан-Доминго. Вы забываете, что эта порода растений пускает тысячи неистребимых корней, от которых через столетия вырастут миллионы новых побегов человеческой свободы.

Туссен Лувертюр

У Первого консула был прием. В этот день в Париже готовилась иллюминация. Транспаранты, гирлянды, розетки украшались не привычными для парижан буквами «N» и «В», Наполеон Бонапарт. День рождения Первого консула был занесен в число праздников Французской

республики наряду с июльским днем взятия Бастилии и августовским днем низложения короля.

Господин Шатобриан был принят в этот день Первым консулом, и поднес ему книгу «Гений христианства», а ночью тайком в Париж приехал кардинал и привез текст договора Бонапарта с римским папой. В день конкордата унылые колокола Нотр-Дам возвестили торжество католической религии в якобинском Париже. У самых дверей нового Тюильрийского кабинета, отделанного с королевской роскошью, бесшумно скользили по паркету две дамы. Они подходили к цветочным горшкам, срезали позолоченными ножницами маленькие желтые розы, кокетливо прикалывали друг другу на пояса, затем осматривали друг друга, поправляя складки белых, с высокими талиями и с рукавами выше локтя, платьев. Одна из женщин улыбалась веселой, беспечной улыбкой и утешала другую. Эта другая, одетая скромно, с нарочитой, подчеркнутой скромностью, казалась безутешной.

— Кто у него? — спросила безутешная.

— Кажется, Колычев, посланник русского царя, — ответила другая дама.

Беспечная женщина была супруга Первого консула, креолка Жозефина Ташер де ла Пажери. Вторая — знаменитая красавица, двадцативосьмилетняя Тереза де Кабарюс, испанка по происхождению, дочь богатого мадридского банкира, бывшего министра финансов Испании. Она пришла к Первому консулу, пользуясь тем, что ее подруга и любимица — Жозефина, родственница трех первых рабовладельцев Мартиники, из простой любовницы Барраса, первого негодяя Франции времен Виктории, из молодой вдовы виконта Богарне превратилась в законную супругу Первого консула. Тереза Кабарюс сама в каталоге своих бесчисленных любовников имела Барраса. Одни и те же мужские объятия роднили этих двух женщин. Жозефина не сомневалась в успехе своего ходатайства за Терезу, Тереза была уверена, что Жозефина не ревнива, а Первый консул не склонен сдерживать вспышек своего корсиканского темперамента.

История Терезы была замечательна. Родители отправили ее в Париж для завершения карьеры, которая состояла в умении понравиться монарху. Она не успела сделаться фавориткой короля и вышла замуж за господина Фонтене. В первые годы революции она держала в Париже салон и кружила головы всем, начиная с Ларош-

фуко, братьев Ламет, Лафайета, Мирабо и кончая молодыми адвокатами, вроде Камилла Демулена. Дворяне исчезали из Парижа, Терезе Фонтене становилось скучно, она выехала с супругом на юг и не напрасно остановилась в Бордо. Оттуда супруг, благополучно разведясь с Терезой, благоразумно выбрался в Антилии на Мартинику, сделался владельцем кофейных плантаций и удалился из Франции совсем, чувствуя, что в этой беспокойной стране легко наполнить мешок собственной окровавленной головой вместо золота. Тереза развлекалась всевозможными скандальными приключениями, она переходила из рук в руки и даже одно время вступила в связь с родным братом. Вот этой особе, воспитавшей при себе своего лучшего друга — Жозефину, и суждено было играть довольно своеобразную политическую роль.

В Бордо ожидали назначения члена Конвента Жана Ламбера Тальена. Он прибыл в Бордо с огромными полномочиями Конвента и сразу поскользнулся в салоне госпожи Кабарюс. Авантюрист Тальен и авантюристка Кабарюс пошли рука об руку. Он мог назначать казни и аресты, конфискации и реквизиции, она могла его умиловить. Вскоре она прослыла чрезвычайно доброй для всех, кто мог хорошо заплатить. В голодный год, когда четыреста тысяч человек из числа беднейших французов умерли с голоду, она давала богатейшие пиры и разъезжала с гражданином Тальеном в великолепном экипаже под эскортом кавалерийского взвода. Она сидела рядом с полномочным комиссаром в белом хитоне, закрывавшем слишком мало, в ярко-красной фригийской шапке на черных волосах и с копьем в правой руке. Левая покоилась на плече Тальена. Бордоские булочки пекли для нее особые хлебцы, которые именовались «хлебом депутатов».

Эта блестящая пара прекрасно проводила свои дни. Но до Парижа доносились странные слухи: если в Бордо случаются казни, то казнят только бедняков, богатые преступники остаются на свободе; Бордо остается местом грабежей, очагом интриг. Город запружен шайками богатых мошенников. Тальен беспокоился, надо было спешно ехать с докладом к Робеспьеру.

Тереза Кабарюс немедленно после его отъезда делает доклад бордоским женщинам «О воспитании детей». Она инсценирует республиканскую демонстрацию, она пишет в Конвент петицию о том, что французские женщины

должны работать в больницах и богадельнях в качестве сестер и сиделок и чтобы все девушки проходили обязательный курс обучения уходу за больными, «дабы, выйдя замуж, они могли думать не только о нарядах и бриллиантах».

Но ни Тальену, ни Терезе не удалось обмануть Робеспьера. Тонкая лесть не помогла комиссару Конвента, и Тереза должна была сама ехать в Париж. Не доезжая до Парижа, она была арестована в Версале и посажена в тюрьму Ла Форс. Тальен и Баррас — к тому времени уже заговорщики против Робеспьера, Коффингаль и Фукье-Тенвиль с ними же, — шайка беспринципных людей, казнивших направо и налево, казнивших без стыда и сожаления химика Лавуазье, поэта Шенье, теперь бросились скопом на Робеспьера. 9 термидора они встали у власти.

После казни Робеспьера им стало легко, и вот наступил медовый месяц хищной буржуазии. Тереза Тальен делается модной картинкой Парижа и повторяет все свои бордоские приключения. Член Директории Баррас выкупает Терезу у Тальена, Баррас перепродает ее армейскому поставщику Уврару, ловкому спекулянту, поставлявшему в армию генерала Бонапарта сапоги на картонных подошвах и узко скроенную одежду, которая лопалась и рвалась на солдатах.

Вот теперь эта многофамильная Тереза внезапно получила приказ «удалиться из Парижа и уйти со всех консульских празднеств». Ее фамилия была изгнана, ее не приглашали никуда.

— Последнее приглашение, полученное мною от имени Бонапарта, это приглашение на выезд из Парижа, — жаловалась она. — Неужели мы должны отказаться от хитонов, неужели мы должны носить монашеские платья и блюсти семейные нравы? Жозефина, Жозефина, твой муж хочет сделать из Франции монастырь.

— Совсем нет, — ответила супруга Первого консула, — про него говорят совершенно несправедливые вещи. Ведь припомни, говорили, что Первый консул Бонапарт превратит Республику в страну военной диктатуры, но первое, что сделал мой муж, это, став во главе Республики, он снял генеральский мундир и надел гражданский фрак, — ты же сама читала об этом в газетах. Потом посмотри, как одеты консульские чины! Мой муж любит, чтобы они пудрились, носили парики, он

роздал им шелковые чулки и туфли, совсем как при короле.

Дверь отворилась, из кабинета Первого консула вышел человек в лиловом камзоле с шитьем из серебра и голубых бриллиантов. Корявое лицо, изрытое оспой, темляк шпаги, накрученный туго на руку. Это уходил посланник русского императора Павла — Колычев. Надушенный Бурьенн, адъютант Первого консула, скользя по паркету, подошел к женщинам и сказал:

— Мадам, Первый консул вас просит.

— Представь себе, Жозефина,—сказал Наполеон, не обращая никакого внимания на вошедшую с его женой Терезу,—русский царь из врага превратился в друга. Он пишет мне о том, что я обязан для мира и спасения монархов европейских держав принять титул короля с правом наследственной передачи короны, «дабы искоренить революционное начало, вооружившее против Франции всю Европу».

Бонапарт смеялся, но в этом смехе чувствовалась радость победителя, чувствовалось упоение властью честолюбца. Затем, не дожидаясь обращения Жозефины, он быстро повернулся к Терезе и сказал:

— Знаю, о чем вы просите, мадам.

«Как? — мелькнуло в уме Терезы.—Сразу такое суровое обращение? Он позабыл, этот худенький офицер, что, возвратившись из Египта, он постучался в дом Барраса. Баррас сделал его комендантом Парижа. Моя беседа украсила его первый парижский ужин. Я дала ему Жозефину, когда она стала вдовушкой генерала Богарне. Я сделала так, что банкиры Колле, Массиак и Уврар принесли пятьсот тысяч золотых франков в распоряжение этого молодого офицера. И вот теперь... сухой, ничего не понимающий тон».

Бонапарт осмотрел Терезу с головы до ног и продолжал:

— Я не отрицаю, мадам, что вы прелестны, но обдумайте немножко вашу просьбу. По самому скромному подсчету, у вас было четырнадцать мужей, вы разбросали по Франции бесчисленное множество брошенных вами детей, они никогда не в силах будут разыскать своих отцов.

Тереза хотела что-то сказать, но Бонапарт поднял руку.

— Каждый был бы счастлив стать виновником вашей

первой ошибки, вторую вам, быть может посердившись, простили бы. Но вы без конца повторяете одну и ту же женскую ошибку. Я Первый консул Франции! Я призван восстановить семью и приличие, хотя бы только внешнее. Ничего не могу сделать для вас, мадам!

После этого, не глядя на женщин, Бонапарт взял перо. Молодой человек присыпал золотистым песком начертанные Первым консулом строки. На одном документе Бонапарт утвердил арест вдовы Марата, Симонны Эврар, на другом назначил пенсию в шесть тысяч ливров своей бывшей любовнице, Шарлотте Робеспьер, чернившей на всех улицах Парижа память казненного брата. Жозефина ушла, Тереза поспешила за нею. Вошел министр полиции Фуше. Начался доклад о состоянии столицы, потом Фуше спросил:

— А как же быть с негром, полковником Винсентом?

— Арестовать,— сказал Бонапарт,— но арестовать тайно, похитить среди улицы. То же сделать с двумя кадетами военной школы—неграми Исааком и Плацидом Туссенами. Я прочел это ужасное предложение африканского консула. Черный генерал Туссен не лишен ума, он даже «идеолог». Это мудрец, начитавшийся Рейналя. Но «Конституция Республики Гаити» с Черным консулом во главе—это нарушение суверенитета Франции, равно как свобода чернокожих есть оскорбление Европы. Будьте на совещании через час. Цель совещания, протоколы и состав—строгая тайна. Посмотрите, что привез этот черный полковник Винсент: письмо своего господина «Первому консулу белых от Первого консула черных». Они обезумели, эти обезьяны!

Фуше раболепно откланялся и вышел.

Через час собрались: министр морской и колоний Декре, министр полиции Фуше, генерал Леклерк, один из ближайших Первому консулу, женатый на его сестре Марии Полине Бонапарт. Присутствовали два банкира, представившие Бонапарту докладную записку «О гибели сахарной промышленности после прекращения доставки сахара из колоний».

— Мы слышали,—говорили банкиры,— что выработка сахара утроилась за эти годы на Гаити, однако это никак не отражается на европейском рынке.

— Еще бы,—резко оборвал Бонапарт.—По-вашему, освобожденные рабы сами съедают собственный сахар, а по-моему, они продают его кому угодно, только не

Франции. Мы впоследствии вернемся к этому вопросу. Сейчас обращаю ваше внимание на то, что вы хорошие дисконтеры, но плохие хозяева. Вот вам книжка.— Бонапарт быстро встал и вынул из стеклянного шкафа книжку в коричневой коже 1747 года.— Прочтите, шестьдесят лет известен этот способ добывания сахара из белой свекловицы по способу Маркграфа. Я приказал инженеру Ахарду поставить на широкую ногу извлечение сахара из белой свеклы. Это дешевле и не требует перевозки на кораблях. К осени 1804 года мы не будем нуждаться в тростниковом сахаре. Теперь я предлагаю обсудить следующее: нам необходимо восстановить порядок в колониях. Сахар, кофе, хлопок, пряности, все колониальные товары, которые Франция поставляла на всю Европу, едва не были захвачены у нас англичанами. Англия захватывала наши корабли, она поставляла оружие нашим врагам, она превращала наших матросов в рабов. К чести наших черных генералов должен сказать, что они освободили Антильские острова от англичан. Это сделала негрская армия черного генерала Туссена Лувертюра. Франция признательна ему за это. Меня интересует, в какой степени французские банкиры пойдут навстречу республике, стремящейся образовать плацдарм на континенте Америки. Так как островное положение колоний не обеспечивает их всем необходимым, прямое соседство Флориды и Луизианы с Антилиями ставит наши колонии в зависимость от постоянного влияния Северо-Американских Соединенных Штатов.

Колле и Массиак ответили Бонапарту в один голос: — Мы готовы предоставить средства.

Бонапарт кивнул головой и знаком освободил представителей финансового мира Парижа.

Началась секретная часть совещания в составе военно-полицейских представителей.

— Я получил сведения,— начал Бонапарт,— о том, кто такой этот Черный консул. Это старый негр, конюх колониста Бреда, масон, друг и почитатель аббата Рейналя. Случай или военный талант помог ему организовать армию. Якобинский генерал Лаво поручил ему формирование негрских отрядов для отражения английских десантов. Он одержал победу над англичанами, он изгнал с острова испанцев, он поделил земли, он освободил рабов. Благодаря совсем непонятным свойствам этого человека он примирил совсем непримиримые интересы черных

людей и мулатов,—одним словом, он приготовил для нас Гаити, и мы сделаем ошибку, если Франция не воспользуется тем благосостоянием, в какое привел наш богатейший остров черный генерал. Как это сделать? Привести негров к покорности из господства. У нас есть повод для недовольства: Туссен прислал мне на утверждение негрскую конституцию республики Гаити. Франция оскорблена, я приказываю начать войну. Мы сделаем заявление в газетах о том, что в наших колониях нет рабства. Я, Первый консул, пишу лестное обращение к Туссену Лувертюру. Но вот чего мы должны добиться: во-первых, полного возвращения прежнего негрского режима; во-вторых, осторожного и проведенного с предварительной разведкой изъятия всех негрских вождей. *Для Туссена соткать паутину, чтобы муха сама попалась; для черных начальников батальонов и полковников посулить чины и награждения и, под видом перевода в европейские французские войска, всех небольшими группами взять на корабль и перевезти во Францию.* Одновременно возвещать во всех декларациях и военных приказах, что свобода, равенство и братство простирают свои крылья над всеми гражданами, независимо от цвета кожи.

Слово взял Декре.

— Речь идет о том,—сказал он,—каким способом, без потрясений для хозяев колоний, ликвидировать владычество черных. Черный генерал действительно водворил порядок, он организовал фермы и коммунальные плантации черных людей, он создал армию, он одержал блестящие победы. Мы могли бы, конечно, обязать черных фермеров выплачивать ценз или задолженность прежним французским владельцам, мы могли бы сохранить для метрополии исключительную торговлю с колониями. Для этого, конечно, я просил бы увеличить ассигнование на постройку тридцати судов береговой охраны.

Наполеон его оборвал, нахмурившись.

— Морской министр увлекается, как всегда,—сказал он.—Речь идет о спасении французских колоний, а вовсе не об увеличении судостроительного бюджета! Ваши неумеренные похвалы Туссену заставят меня сделать его вашим преемником по министерству колоний. Итак, запишите мой приказ: 1) вновь заставить колонии военной силой выслать во Францию всех черных, занимавших должности свыше начальников батальонов, 2) разрушить черную армию, для вида обеспечить ее воинам граждан-

скую свободу, 3) восстановить владения белых колонистов, 4) полностью восстановить рабство и неготорговлю.

Бонапарт обвел присутствовавших глазами и продолжал:

— Поймите, иначе невозможно, нашему бюджету и без этого грозит тяжелый удар. Я приказал Талейрану написать Британскому правительству, что в принятом мною решении уничтожить в Сан-Доминго правительство черных я менее руководился соображениями торгового и финансового порядка, нежели необходимостью задушить во всех частях света всякий зародыш беспокойства и революционных волнений. Я не понимаю одного: какой дурак позволил опубликовать в «Монитере» от четырнадцатого октября о приезде Винсента с нелепой конституцией Черного консула и некоторые статьи, которые будто бы мною не утверждены. Всю конституцию, а не отдельные статьи мы используем как предлог для войны. Итак, министру: приготовить в Бресте суда для посадки экспедиционного корпуса, снабдить провиантом и оружием, сформировать отряд в тридцать тысяч человек, вооружить, организовать снабжение. Командование судами поручить Бернадотту. В пути: операцию и выполнение всех наших инструкций поручить генералу Леклерку.

Леклерк вздрогнул. Он считал себя посвященным в тайну до конца и уже имел кандидата в начальники экспедиции, полковника Брюне, солдата с наглым лицом и оловянными глазами, человека, который, казалось, прошел огонь и воду и медные трубы, который считал себя способным видеть насквозь всех людей. Леклерк был уверен, что, обладая полностью способностями и свойствами подлеца, полковник Брюне мог блестяще выполнить эту рискованную и вполне бесчестную операцию.

Но Бонапарт оказался прозорливей Леклерка. Он смотрел на вздрагивающие губы своего шурина и говорил:

— В помощники вам дается полковник Брюне. Вам принадлежит только наблюдение за выполнением наших инструкций. Моя инструкция вручается только вам, и никто о ней знать не должен. Говорите одно, делайте другое; левой рукой гладьте по голове, правой всаживайте нож. Никаких законов войны, помните — негры не люди!

Хитрый Фуше, не поднимая глаз, улыбался тонкой и

паскудной улыбкой шлюхи. Неразборчивость в средствах Первого консула приводила его в восхищение и в трепет одновременно.

— Леклерк, ты поедешь из Бреста не позже двадцатого ноября.

Затем, отпустив Декре и оставшись втроем с Леклерком и Фуше, Бонапарт продиктовал Леклерку следующее письмо:

«Мы чувствуем к вам уважение, и мы рады оценить и отметить большие услуги, которые вы оказали французскому народу. Если его знамя развевается над Сан-Доминго, то он обязан этим вам и черным храбрецам. Будучи призваны в силу обстоятельств и ваших талантов к главному командованию, вы уничтожили гражданскую войну, наложили узду на преследования нескольких злобных людей, восстановили честь религии и культ господя бога, от которого все исходит. Составленная вами конституция, заключая в себе много хорошего, имеет также много противоречий достоинству и верховной власти французского народа, достоянием которого является Сан-Доминго. Обстоятельства, в которые вы были поставлены, сделали законными статьи этой конституции, иначе они не были бы таковыми. Но теперь, когда обстоятельства столь счастливо изменились, *вы первый отдайте должное верховной власти нации, которая считает вас в числе своих самых славных граждан...*

Чего вы можете еще желать? Свободы черных? Вы знаете, что во всех странах, где мы были, мы дали свободу тем народам, у которых ее не было.

В «Изложении Положения Республики» от двадцать второго ноября та же точка зрения официально предоставляется французскому народу. Неправильные действия в Сан-Доминго довели до отчаяния покорное население.

Под двусмысленной внешностью некоторых поступков ваших черных товарищей правительство усмотрело лишь невежество, смешивающее воедино имена и вещи и узурпирующее свободу, тогда как оно полагает необходимым безусловно покоряться. Но из портов Европы готовятся отплыть флот и армия, которые вскоре рассеют все тучи, и Сан-Доминго целиком вернется к законам Республики. В Сан-Доминго и в Гваделупе нет более рабов, все там свободны и все останутся свободными. Мудрость и время восстановят там порядок и утвердят культуру и честный труд».

Когда кончили диктовку, Бонапарт подписал письмо не перечитывая, Фуше доложил:

— Арест произведен.

— Прекрасно,—сказал Бонапарт. Затем обратился к Леклерку и сказал:—У тебя на борту будут два сына Туссена Лувертюра, Исаак и Пласид. Если Черный консул окажет сопротивление и откроет стрельбу, сигнализируй ему с корабля, что ты под отцовские ядра ставишь двух его сыновей. Если он откажется сдаться, скажи, что ты будешь подвергать их килеванию до тех пор, пока они уже не будут в состоянии пить морскую воду и изойдут кровью... Генеральских сынков доставить в Брест,—заканчивая прием, произнес Бонапарт, обращаясь к Фуше. И еще:—Через полгода паутина должна быть готова. Если эти негрские мухи не будут попадаться случайно—обеспечьте им возможность с легкостью совершить преступления, дабы мы могли осуществить наказание.

— Гражданин Черный консул, самое лучшее побуждение к преступлению—это «Черный кодекс», которого никто не отменял,—сказал Фуше, закрывая за собой дверь.

Министр полиции удалился. Оставшись вдвоем с Леклерком, Бонапарт сказал:

— Полина едет с тобой? Бедная Жозефина, она потеряла два миллиона ливров в годы восстания черных на Мартинике. Мы скоро поправим наши дела.

— Там страшная лихорадка,—сказал Леклерк,—я боюсь этой экспедиции, дорогой шурин. Если кто-нибудь заболел, то должен оставаться в том же климате, уйти навсегда в сырые испарения, жить и болеть под затуманенным знойным и вселяющим озноб солнцем. Я боюсь этой экспедиции. Я видел, как страшно там умирают европейцы.

Бонапарт, кусая кончик гусиного пера, презрительно сплюнул на сапог генерала, отвернувшись, забарабанил пальцем по столу.

— Вы еще не ушли?—гневно спросил он Леклерка.

— Готов служить,—отозвался Леклерк, одевшись без слуги. Бонапарт всегда отсылал слуг в часы секретных совещаний.

— Помните, никаких законов войны,—негры не люди, вы едете охотиться на обезьян. Итак, предложите Черному генералу лучшую должность во Франции, полное обеспечение для его семьи, лишь бы он согласился уехать.

Второго февраля 1802 года, вопреки ожиданиям экипажа адмиральского корабля, перед взорами молодых офицеров, державших вахту, на целые сутки раньше показалась земля Гаити. «Клоринда», «Сирена», «Альцеста», «Пурсюиванта», «Индийский пилот» — корабли первой колонии — во все глаза и всеми подзорными трубами наблюдали с левого борта и с мачт неправильно вычерченный на горизонте холмик, который знаменовал собой конец морского пути.

Леклерк дочитывал собственноручную тайную инструкцию Первого консула, стремясь во время пути выучить наизусть все двадцать семь страниц неразборчивого бонапартовского почерка:

«§ 18. Каста цветных людей должна привлечь ваше существенное внимание. Поставьте их в условия широкого развития национальных предрассудков, обеспечьте им возможность господствовать над черными, и этим путем вы добьетесь покорности и тех и других.

§ 31. Если вы добьетесь того, чтобы в феврале без опоздания стать на рейде французского Капа, а в Сан-Доминго еще не будут знать о вашем прибытии в северный порт, то вы обязаны будете развернуть операции так, чтобы до конца сентября отослать нам всех черных генералов, ибо без этого мы ничего сделать не сможем. Я прекрасно понимаю, что это может вызвать волнения, но перед вами будет целый сезон, чтобы их усмирить.

§ 32. Установить, по крайней мере по внешности, полное доверие к мулатам, креолам и цветным людям. Обращайтесь с ними, по крайней мере по внешности, так же, как с белыми, поощряйте браки цветных людей с белыми и мулатскими женщинами, но организуйте совершенно противоположную систему в отношении к черным вождям.

§ 35. Следуйте точной инструкции и, как только вы отделаетесь от Туссена, Кристофа, Дессалина и главных разбойников, как только массы черных людей будут разоружены, отправьте на континент всех черных и цветных людей, сыгравших какую бы то ни было роль в гражданских волнениях.

§ 40. В ту неделю, когда вы заметите реальные следы усмирения колоний, вы должны передать всем генералам, генеральным адъютантам, полковникам и начальникам

черных батальонов приказ перейти на службу, с соблюдением чинов, в континентальные дивизии Франции. Малейшее непослушание рассматривайте как нарушение воинского устава на театре военных действий.

§ 41. Вы должны погрузить на восемь или десять кораблей, по возможности в разных портах колоний, этих откомандированных внутрь Франции черных офицеров. Вы должны направить их в порты Бреста, Рошфора и Тулона. Затем поручается вам разоружить все черные части армии, сохранить девять негритянских батальонов по шестисот человек. Командование в этих батальонах поручить: одна треть старших офицеров — белые, нормальный комсостав — цветные, молодые офицеры, не выше одной трети комсостава, — черные из числа заявивших полную покорность»¹.

Уже третий раз вице-адмирал Вилларэ де Жуайез стучит в дверь каюты, третий раз Леклерк отказывает ему в приеме, наконец адъютант сообщает через дверь:

— Господин генеральный правитель, к вечеру мы будем у берега.

Леклерк отрывисто ответил, взял кусок сургуча, запечатал кожаный пакет с инструкцией Первого консула, положил его на дно баула и вышел на палубу.

Туссен Лувертюр совершил мирный объезд коммунальных факторий, плантаций негритянских фермеров. На маленьких горных речках он делал небольшие привалы, ехал лунными ночами по долинам, чтобы не терять времени, с двумя спутниками, верхом на маленькой испанской вороной лошадке. Небольшого роста, сухопарый, с блестящими темно-синими глазами, наблюдательными, думающими, спокойными, — он посещал поля, засаженные пряностями, огромные равнины сахарного тростника. Он сам ощупывал степень готовности к сбору ванильных деревьев, надкусывал кофейные зерна, определяя урожайность и качество. Он принимал заявления от пострадавших, он быстро решал тяжбы и производил переделы неправильно размежеванных земель, он мирил ссорящихся и умерял разыгравшуюся жадность.

¹ Париж. Морской архив — секретные инструкции 5 фримера 9 года (26. XI. 1802). (Примеч. автора.)

Негритянки, старые и молодые, с детьми выходили на дороги при его проезде, поднимали детей, показывали им Туссена, словно от этого зрелища успокаивались материнские сердца и затихали детские горести и болезни. Он не был ни ласков, ни суров, необычайная простота этого человека была самым поразительным и самым сложным его свойством. Он не поднимал голоса, и его всюду было слышно, он не волновался и не понукал, и все вокруг него закипало в живом и радостном труде. Песни, которые так любят петь негры и негритянки по вечерам у своей хижины и днем под солнцем на плантациях и табачных факториях, не затихали при его приближении. Казалось, наоборот, их сила и жаркая выразительность удваивались, учащались ритмы и ускорялся темп работы.

После страшного гнета, после угроз бичом, без которого ни один плантатор не выходил в поле, словно благородный воин, не выходящий в битву без оружия, после ужасов «Черного кодекса», после пожаров войны за освобождение, после истребления собак-негродок,— на полях Гаити появилось негритянское племя, как племя заново рожденных людей. Дремавшая в них веселость, сдавленное в них ощущение простой и счастливой жизни, радостная жажда большого физического труда — все проснулось в этих веселых по природе и счастливых людях, наделенных здоровыми легкими, крепкими мышцами и даже в годы рабства не утратившими способности к песне.

Местные старшины в деревнях и селах, то белые, то черные, то цветные люди, объединялись суровой и спокойной волей вождя. Наиболее неподатливые белые колонисты, не желавшие расставаться со своим имуществом, принуждены были удалиться на Кубу или переехать на континент. Кантоны имели во главе наблюдательные комитеты в составе семи человек, до чрезвычайности напоминавшие масонские организации аббата Рейналя, раз в месяц вожди собирались на съезды, напоминавшие конференции верховных масонских лож. Туда приезжали Поль Лувертюр, Клерво, Лаплюм, Вернэ, Белэр, Морпа, Дессалин, Анри Кристоф.

В тот момент, когда эскадра генерального правителя Леклерка подошла к французскому Капу, в Капе находился именно Анри Кристоф, негр, первый адъютант и наместник Туссена Лувертюра. Он быстро догадался, в чем дело, сигнал вооруженных кораблей на горизонте и

пушечный салют только путают дело. На вышке вместе с Анри Кристофом стоят негры—морские офицеры. Их лица приобретают землистый оттенок, и глаза горят, как в лихорадке. Анри Кристоф, отрываясь от подзорной трубы, смотрит на товарищей и говорит:

— Вот вам знак,—он указывает на горы перед рейдом, на склоне которых вырисовывается огромный круг из гранитных глыб, расположенных в виде змеи, кусающей себя за хвост.—Вот вам,—говорит Кристоф,—знак вечности! Голова змеи снова хватается себя за хвост. Жизнь нас ужалит, братья! Кристоф Колумб приехал на остров три века тому назад, а сейчас Анри Кристоф погибнет так же, как Кристоф Колумб, в тюрьме, защищая благое дело. Если бы я мог пойти сейчас на корабль командира и отговорить их от войны! Но я не могу.

Короткие крепкие молодые матросы в белых штанах и белых баскетках принимали сигналы. Леклерк уведомлял о своих мирных намерениях, предлагая помочь высадке французских солдат для борьбы с англичанами и испанцами.

Кристоф нервно закусил губы и сказал, перебивая кричавшего с вышки офицера:

— С нами никто не ведет войну. На французском знамени написаны только два слова: «Рабство черным», я это вижу.

К вечеру четыре всадника отправились в четырех направлениях, чтобы найти Туссена. Прошел день и прошел второй—Туссена не было. Наступило 4 февраля. Форты к северу от французского Капа были в полной готовности, канониры негры стояли с зажженными факелами, все ждали зеркального сигнала с Капской башни. В ответ на последнее требование Леклерка—сдаться немедленно на милость победителя—Кристоф пустил в ход зеркала шапповского семафора, который доставил такое торжество парижскому Конвенту: депеша от взморья на Брест до Парижа, в самые горячие дни Конвента, передавалась световыми сигналами ровно в семь минут.

Как только загорелись зеркала на главной вышке, сорок восемь орудий загудели с берегов Капа, корабельные борта покрылись белыми дымками. Началась перестрелка негритянского форта и французского флота. Она длилась весь день. К вечеру четвертого числа эскадра удалилась, после того как один корабль, высоко подняв

бугшприт, стал опускаться кормой под воду и потонул, взорвавши пороховой трюм.

Шестьсот повозок с грохотом и шумом, со скрипом выезжали за холмы, окружающие Кап. Белесая каменная дорога уводила в горы все население города. Остались черные войска, которые подкладывали сухие ветки и маслянистые вещества под легкие дома и вкатывали бочки с селитрой в каменные здания. Пятого числа опустевший город горел со всех концов. Вечером пятого февраля 1802 года на рейде опустевшего Капа стали уцелевшие французские суда. Развалины были заняты Леклерком.

Могила Сантонакса, найденная в долине за городом, на маленьком островке между двух горных речек, переплетавшихся рукавами, была разрыта. Останки комиссара Конвента были сложены в тонкий узкий мешок, заложены в пушку и выстрелом развеяны по ветру. Островок был сделан местом казни матроса Дартигойта, поднимавшего восстание на адмиральском корабле. Дартигойт был расстрелян в том самом месте, где с почетом был похоронен комиссар Национального Конвента. Тело казненного матроса заняло могилу убитого комиссара, в то время как по всему острову шли приготовления к борьбе черных племен против надвигающегося белого рабства.

Ночью после казни Дартигойта два матроса с фрегата «Гермиона» и лейтенант Сегонд с корабля «Индийский пилот» выбрались за сторожевое охранение в горах и бежали.

Кто такие эти беглецы? Два матроса были братья Дартигойта; лейтенант Сегонд, бывший командир корабля «Тиранисида» («Тираноубийца»), был беглый аристократ, маркиз Шафлёр, племянник графини Ламбаль. Воспитанный на Мартинике, едва увидевши Париж впервые в дни революции, он быстро воспринял идеи, полученные в колониях от ссыльных французских революционеров. Он со всем пылом и горячностью молодости бросился в водоворот парижских событий; он не знал двора, простота и естественность островного воспитания не сделали его приверженцем касты, идеи Руссо и благороднейшие мысли Рейналя воспитали и укрепили его дух. Бедность семьи и возможность любых общений, природное здоровье сделали его полезным в секции «Французского музея», так назывался округ, в котором он

шил, после того как переименовал имя. Под именем гражданина Сегонда он вступил в члены Парижской коммуны в дни Конвента и был послан в качестве комиссара на корабли, стоявшие в Гавре.

ЛЕКЛЕРК — МОРСКОМУ МИНИСТРУ ДЕКРЕ

«Штаб-квартира на Кане

20 плювиоза 10 года

Строгая тайна.

Гражданин министр, ежеминутно я узнаю, что наше положение в отношении продовольствия становится все более тяжелым. Затопленный корабль был единственным новым быстроходным и построенным по науке, по чертежам математика Эйлера. Почему ядра негритянской артиллерии выбрали именно этот корабль. Неужели потому, что он вез на борту и в трюмах продовольствие почти всей эскадры? Вчера вошли на рейд американские и испанские суда; они берут страшно дорого и расчеты производят на золото. Прошедшие три дня мы были заняты подсчетом наших ресурсов. Буду счастлив, если окажусь способным продержаться со всем отрядом два с половиной месяца. Соединенные Штаты ввезли сюда оружие, порох и всякое военное оборудование, они же подбили Туссена к защите. Я глубоко убежден, что американцы создали план призвать к независимости все Антильские острова, надеясь заручиться исключительной торговлей, как они заключили торговые сделки с республикой Туссена Лувертюра. Во всех отношениях для меня было бы не плохо, если бы Англия и Франция объединились в целях припугнуть Соединенные Штаты.

Главный правитель — *Леклерк*».

Двадцатого плювиоза 10 года, то есть 9 февраля 1802 года, это письмо было отослано. Бешенству Леклерка не было границ, когда 30 марта того же года он получил неожиданное письмо от французского посланника в Вашингтоне, гражданина Пишона.

Несмотря на то что письмо Леклерка было отослано самым секретным порядком, на него прежде всего отвечал французский посланник в Вашингтоне. Но такова

была система Первого консула, что даже муж его сестры, получивший такое серьезное поручение от Бонапарта, был окружен шпионами. Пишон писал:

«Жерминаль 10 года

Умоляю вас, генерал, высказать все доводы, приводимые мною министру в качестве истинного освещения поведения Соединенных Штатов. Я боюсь, что вы расположены обвинять Америку, рассматривая ее военные действия, время для которых уже прошло, так, как будто они продолжают сейчас. Я боюсь, что вижу обратное интересам французской нации в той переписке, которая доходит до меня из вашей колонии. Если считаться только с вашими личными интересами, генерал, то мы действительно можем поставить Соединенные Штаты в такое положение, при котором вместо общей работы против черных Соединенные Штаты поведут работу на изнурение голодом вашей армии. Опыт доказал вам это, колонии восстали благодаря этой стране, но теперь только благодаря этой стране восстание может быть подавлено. Давайте жить в добром согласии с Соединенными Штатами. В настоящее время все умы взволнованы и разгорячены делом о покупке Луизианы. Нажимы, применяемые вами, только портят дело. Оцените мою откровенность. Я вам пишу так же просто, как пишу своему правительству».

Взбешенный Леклерк отправил это письмо в Париж, сделав на нем надпись об отзывании Пишона, называя его плутом, негодяем, перлюстратором и прочими нелестными словами.

Братья Дартигойты и лейтенант Сегонд после трехнедельных поисков нашли Туссена. Высоко в горах, в зеленой долине, в зарослях барбадина, гаявы и магнолии, в той зоне, где флора тропической долины соединяется с горными цветами, где расположились поселки одиноких фермеров, старики которых еще пляшут на праздниках в масках оборотней, почитают змей, «воду» и верят в колдунов «оби», а неподалеку располагаются полудеревни-полулагери цветных людей с громадными крытыми галереями, полными света, где на высоких коновязях, вокруг колодцеобразных кормушек стоят всегда оседланные лошади в артиллерийской упряжке, готовые попарно

вылететь из двадцати вращающихся ворот, чтобы подцепить лафеты легких горных пушек,—там, среди этих мест, встретил Сегонд вышедшего к нему навстречу проводника. Французский лейтенант и два матроса были приняты Туссенем на пороге деревянного дома, почти незаметного с дороги в зарослях огромных банановых листьев, камыша и пальм.

Туссен просто усадил их рядом с собой и просил говорить. Сегонд быстро, отчетливо и неумолимо полтора часа рассказывал ему о том, что удалось узнать дорогой из Бреста в Гаити,—для чего отправлена эскадра. Рассказывал все происшествия в Капе. Туссен слушал молча, не прерывая. Старуха жена, дочь Туссена, ее муж Клеро проходили мимо, не мешая беседе, а когда Сегонд остановился, Туссен спросил:

— Полковник Винсент не с вами?

Сегонд отрицательно покачал головой.

— С нами только два негра, генерал,—ответил Сегонд,—они на адмиральском корабле и до сих пор не спущены на берег: это ваши дети.

Туссен спокойно поднял веки, старуха негритянка уронила кокосовую чашку. В доме наступила тишина. Оба матроса, молчавшие до сих пор, знаками обратили внимание Сегонда на то, что на горизонте, на белом холме, который казался увенчанным снежной шапкой, появилась маленькая струйка голубоватого дыма, прямо поднимавшаяся к небу.

— Вы переночуете у меня,—сказал Туссен,—сейчас сядете вместе со мной за ужин, а завтра определите, как вам поступить с собой. Хотите ли вы вернуться в распоряжение Леклерка?

На лицах французов изобразился совершенно неподдельный ужас. Матросы, измученные долгой матросской мукой, смотрели на Туссена, подергивая скулами, как на человека, произнесшего неуместную шутку.

Туссен в первый раз грустно улыбнулся. Сегонд обратил внимание: у негра улыбались только глаза, губы сохраняли оттенок горечи. Но и в глазах, горевших ежесекундными взрывами богатой, непрекращающейся мысли, эта улыбка мелькнула только на секунду.

— Как ваше имя?—спросил Туссен.

И совершенно неожиданно для себя молодой человек полностью назвал свой французский титул. Он спохватился, но было поздно. Братья Дартигойты смотрели на него

как на чудовище, но Туссен и тут сохранил спокойствие. Он быстро перебежал глазами от матросов к офицеру и успокоился.

— Разные дороги ведут к революции,—сказал он, обращаясь к матросам.—Вы сами знаете, что человек не выбирает себе отца. Итак, вы трое остаетесь у меня.

Маркиз Шанфлёр и матросы кивнули головой.

После ужина французов отвели в походную палатку. Когда они засыпали, негры-часовые с английскими ружьями встали на посту неподалеку.

Проснулись рано утром, вышли из палатки. Часовой негр с непокрытой головой, словно кусок черного гранита, стоял на склоне горы над ущельем. Девятнадцать всадников спускались с карабинами через плечо, с мешками, саквами и торбами на седлах. Мексиканские стремяна, похожие на корзинки, для каждой ноги, маленькие лошади с зонтиками над глазами, уши лошадей, торчащие сквозь зонтики, как черные концы копий,—вот зрелище, которое расстилалось длинной полосой по извилистой ленте дороги между горами в те часы, когда Черный консул и восемнадцать всадников вслед за ним по узкой и извилистой тропинке выезжали на вершину, туда, где стояла так называемая Верхняя хижина.

Был военный совет в горах. Никто никого не ждал, все съехались вовремя. Что это было—трудно сказать. Это был по задаче, конечно, военный совет, а по способу ведения собрания это была форма старой масонской конспирации, где старик Туссен Лувертюр заседал в качестве «Достопочтенного отца», или великого мастера ложи, где сидели братья старших степеней: Яков Дессалин, Анри Кристоф, Алексис Клерво, Жан Морпа, Шарль Белэр, Жан Купе, Поль Лувертюр—помимо Туссена семь человек,—столько, сколько требовалось уставом. Помимо этого, были еще и другие: два представителя от культиваторов Гаити, один беженец с Гваделупы и негр с отрубленной рукой с Мартиники.

Был дождь, был сильный ветер; тростниковые занавески шлепали об окна. Яков Дессалин перед открытием собрания говорил, сжимая кулаки:

— Я утверждал и утверждаю все, что я думал раньше:

ничего нет подлее французов, я снял бы им всем головы и размозжил бы паскудные черепа их младенцам...

Был праздник, было море, было солнце, не было ветра. Качались перья белых птиц на волнах, качались мысли у белых людей на берегу, начинались игры, и девушки в белых платьях стояли на набережной Порт-о-Прэнса. Все богачки и богачи из Капа приехали в золоченых каретах на праздник в гости. Черные красавицы и белые рабыни, дочери и сестры богатых наследниц,—рабыни с опахалами из перьев окружали их на богатых верандах над морем.

«Альцеста», «Клеопатра», «Людовик» качались под тихим ветром, набирая путь парусами. Белый флаг и лилии на нем лишь изредка вспархивали под ветром на дальнем маяке в ответ на сигналы нижнего форта. Господа французские офицеры перед дамами, смеясь, говорили, что ни один смельчак не проплывет по заливу две тысячи туазов от форта до маяка. И тогда, мастер,—продолжал Дессалин,—я сбежал с берега, отдал свое платье матросу и поплыл. Но лейтенант Малуэ, сын коменданта, не вытерпел, тоже разделся на корабле и бросился вплавь вслед за мной. Но где же французскому дворянину одолеть пловца Дессалина! Он задыхался. Я слышал, как он плещет руками, этот маленький Малуэ, а в рупор мне кто-то крикнул с берега: «Дессалин, нырни. Оглянись, Дессалин». Я не нырнул. Я не оглянулся. Я стал плевать кровью. Пули с форта прострелили мне щеку и левую ногу. На форте обижались, что я не тону, посылали мне пулю за пулей. А когда я приплыл все-таки на маяк, и приплыл первым, я потерял не только память, но и право на жизнь. Мастер, прошло шесть недель. Мастер, я здесь сижу с вами, а меня ищут по всем гнилым болотам сальвасов. Меня ищут по матросским притонам. Мою одежду подвешивают на черные ошейники громадных псов Массиака. Собаки-ищейки, роняя пену с красного языка, ворвались в лачугу к моей жене и в куски разорвали моего ребенка. Мастер, куда годятся ваши дворяне, если они подлостью, а не силой одержали победу над честным соперником! Ваши дворяне кричат, что мы рабы, но ведь раб победил комендантского щенка, не сумевшего доплыть. Пусть у него десять столетий дворянства на пергаменте его грамоты. Пусть я и с простреленной ногой и изуродованной челюстью пропал без вести. Но сын коменданта, получивший кубок пловца

в тот же вечер, этот мальчишка Малуэ, разве это не жалкий подлец, осрамившийся перед черным рабом, пошедший на фальшь и подлость?..

И вдруг сразу, словно какой-то ожог заставил его отскочить от двери, Дессалин отошел и выпрямился, все встали. Маленький седой негр, просто одетый, вошел, стал у стола, взял молоток из камышового дерева и трижды ударил по столу. Два черепа и медный треугольник, линейка и меч, к которому привязан был красный фригийский колпак, мерно вздрогнули под ударами деревянного молотка о стол.

Туссен заговорил:

— Товарищи и братья, в гавани Самана в январе этого года я видел первых французских разведчиков. Вот молодые товарищи культиваторы с Гваделупы, с Мартиники расскажут нам, что там уже водворено рабство. Гибель наша неизбежна, вся Франция, в том виде, как она сейчас существует, поднялась для того, чтобы погубить Сан-Доминго. Их обманули, несчастных французских бедняков, и вот их правительство сейчас собирается совершить акт кровавого насилия и порабощения черных. Близка наша гибель. Что скажешь ты, Анри?

— Я пожег весь Кап, город лежит в развалинах,— ответил Анри Кристоф.— Я сделал, как ты приказал. Не знаю, стало ли от этого лучше.

Ропот раздался среди генералов. Одетые просто, собравшись без чинов, они все-таки были смущены этим дерзким выражением по адресу любимого вождя. Но Кристоф не унимался, он говорил:

— Мы отступили. Я не знал, как ты отнесешься к тому, что твои дети подвергаются опасности, и к тому же я не знал, что несут с собой французские суда.

— Что несут?— сказал Дессалин.— Ясно, что несут: несут рабство и Черный кодекс. Я говорил и говорю, что настанет время, и белые люди исчезнут на земле. Она будет землею черных!

Культиватор, младший брат из Гваделупы, кивнул головой, встал и сказал:

— Я подтверждаю.

Туссен заговорил, вынув из кожаной сумки синеватую тетрадку и разглаживая ее на столе перед собой:

— Исчислим жизненное равновесие сил. У нас двадцать семь небольших кораблей, предназначенных только для торговли. Все наши силы внутри острова, вся наша

сплоченность—это сплоченность по цвету кожи. Теперь смотрите, что имеют французы. У них было, по последнему адмиралтейскому исчислению, двести четырнадцать военных судов, из них шестьдесят четыре линейных корабля. Еще недавно это был самый первый по величине военный флот во всем мире, теперь их перебили англичане, но все-таки у французской метрополии во всем флоте тринадцать тысяч семьсот сорок пушек, семьдесят шесть с половиной тысяч матросов, тысяча восемьсот семьдесят шесть офицеров, из которых большинство роялисты, прекрасные знатоки флота, но люди, исполненные ненависти ко всякой революции, не только к революции в пользу негров. Это ведь не какие-нибудь генералы, случайно залетевшие к нам на отдых, вроде Симкоэ или Майтланда: они не отступят просто.

Заговорил Клерво:

— Отец и мастер, вы все пугаете, а нам и без того страшно. Как же нам быть в этих горестных обстоятельствах? Разве вы не предвидели, что так случится?

— Я не пророк и не провидец,—сказал Туссен.— Вы сделали меня старшим вашей организации, я согласился, но это не значит, что я смогу видеть больше, чем всякий, кому поручена власть населением Сан-Доминго. Кто мог предвидеть гибель комиссара Сантонакса от пистолетного выстрела полицейского шпиона Рош-Маркандье, кто мог предвидеть смерть члена Комитета общественного спасения генерала Робеспьера, нашего лучшего друга? Дела на континенте Франции могут измениться настолько, что завтра будет отозвана армия генерала Леклерка.

Заговорил опять Кристоф, заговорил горячо и запальчиво:

— Если бы у меня не было твоей тайной инструкции, я пустил бы генерала Леклерка на рейд, он сообщил бы мне о намерениях Франции. Говорят, он имеет письмо к тебе от Первого консула. Быть может, все, что мы затеяли, есть настоящее преступление, преступление против родины, которое ничем искоренить нельзя.

— Где твои родные?—спросил Туссен.

Кристоф вдруг поник головой, опустил локти на стол, раскинул ладони пятернями по направлению к Туссену и замолк.

Туссен заговорил:

— Я сторонник осадной войны. Я твердо знаю, что французы несут, несомненно, рабство, что Черный кодекс

будет восстановлен полностью, что веселые голландские капитаны, пропитанные джином, и американские обезьяны с волосами на шее и бритыми подбородками еще покажут себя в качестве торговцев черным товаром, но я не могу примириться со словами Кристофа. Я предлагаю осадную войну, я предлагаю увести все население в горы, затопить плантации, поджечь города на берегу моря, вывезти весь порох на горные вершины, снять береговые отряды, уничтожить дороги и обеспечить французам только доступ в сільвасы, где желтая лихорадка будет косить их по тысяче в день.

Яков Дессалин одобрительно кивнул головой.

— Я говорил,— воскликнул он,— что нет никого подлее французов, что белая порода исчезнет с лица земли, что черные люди будут населять земной шар и водворят настоящую справедливость путем жесткой военной диктатуры.

— Это ошибка, Яков,— сказал Туссен,— это ошибка. Помнишь, что говорил старик? Старый Рейналь понимал, в чем дело, дело вовсе не в цвете кожи. Ты хочешь провозгласить дворянство черной кожи: это такая же ошибка, как и лозунги дворянства белой кожи.

— Вот к чему привела твоя политика,— кричал Дессалин,— вот результат твоего гуманизма. Поверь же мне, я ученик Парижского университета, я друг Оже. Это ты говорил, что национальность есть предрассудок. Черные всегда были рабами и рабами останутся до тех пор, пока не сделаются господами. Это ты делаешь ошибку, утверждая равенство рас и наций.

Туссен поднял молоток и ударил четыре раза в знак величайшей важности, после чего Дессалин встал и сказал:

— Я не намерен оказывать сопротивление, я спорил и возражал как товарищ.

Туссен сурово сказал:

— И я требую повиновения. Соглашаетесь ли вы все со мною в том, что Франция несет нам полное восстановление рабства?

— Мы еще не выслушали всех,— сказал Кристоф,— но так как было четыре стука, я соглашаюсь по уставу.

Туссен промолчал, ему не понравился ответ Кристофа. Кристоф, пользуясь этим молчанием, произнес:

— Ведь мы еще не выслушали Францию.

Туссен ответил спокойно:

— Я ее уже выслушал.

Кристоф пожал плечами и ничего не ответил.

— Подсчитаем силы,—сказал Туссен.—В нашем распоряжении под ружьем двадцать четыре тысячи черных солдат, открыты нетронутые форты под Акюлем, шесть батарей в Сен-Никезе, восемнадцать безбатарейных орудий в Деннери. Не трогайте земляных ковров до специального приказа со знаком Семи. Значит, ведем осадную войну. Товарищи и братья,—обратился Туссен к сидевшим спокойно на краю стола культиваторам,—ваша обязанность разослать культиваторов по деревням и селам, по фермам, собрать всех, провозгласить войну. Вы свободны.

Четыре негра встали и удалились. Туссен посмотрел в окно, как они оседлывают лошадей, говоря друг с другом. Он наблюдал их лица, и его собственное лицо тускнело, становилось серым, приобретало землистый оттенок. Он говорил дальше:

— Кристоф получает командование авангардом, сдерживающим продвижение армии Леклерка. Главное, обратите внимание на разведку. Спросить матросов, помнят ли они Морской кодекс, и знают ли они, что сделал для уничтожения *офицерского зверства* дворян гражданин Робеспьер. Итак, у Кристофа четыре тысячи восьмьсот человек сдерживают наступление Леклерка и ведут разведку. Дессалин, у тебя одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят солдат, твоя штаб-квартира Сен-Марк. Теперь, Клерво, ты с Полем Лувертюром вместе охраняешь границы бывших испанских владений. Помните, что против вас три тысячи французов под командованием генерала Рошамбо, на форте Дофин три тысячи человек под командованием Будэ уже направились против граждан Порт-о-Прэнса.—Заглянул в синюю тетрадку и сказал: —Со стороны Капа Кристофа атакует генерал Гарди, в его распоряжении сорок пять тысяч человек.

Потом Туссен порывлся в тетради и вынул маленькие листки в серовой бумаге, на которых было напечатано крупными буквами: «Французские граждане, попавшие под несчастное иго черных, не бойтесь ничего. Черные собираются уничтожить все в случае своей победы, организуйте свои батальоны, помогайте нашим войскам».

Туссен показал это Кристофу. Кристоф отрицательно покачал головой.

— Я не знаю этого документа. Я только сигнализирую

вал Леклерку, что без разрешения губернатора я не позволю высадиться его эскадре.

— Это мне привезено с эскадры Леклерка,—сказал Туссен.

Кристоф, проведя руками по лбу, сказал:

— А все-таки генерал Ажэ под влиянием белого населения Порт-о-Прэнса и прокламаций Леклерка заявил, что если бы то были англичане или испанцы, то он нашел бы способ отбить атаки, но так как в нем нет уверенности в правоте высшего негрского командования. так как он не знает, действительно ли французы хотят зла черным людям, то он желает впустить генерала Будэ в Порт-о-Прэнс, для того чтобы выслушать его лично.

Туссен поднял глаза, осмотрел присутствующих, ничего не ответил. Наступило неловкое молчание. Дождь сменился грозой, и через несколько секунд черная туча заволокла все небо. Наступила темнота, и только молнии рвали мрак, окутывавший горную хижину. Раскаты рвали облака, как пушечные выстрелы, и казалось, что войны, бури гражданских битв перенеслись в это мирное горное убежище Туссена. Пробовали говорить Дессалин и другие генералы, но врывающийся ветер, гроза и молния делали неслышными их речи.

Длинный, остролицый профиль Дессалина с черной клиновидной бородой вырисовывался, как фигура сатанинского героя европейской трагедии в Вальпургиевой ночи на Брокене, словно герой сатанинской повести Клингера «Мефистофель», возникший перед Европой снова под пером Клингера в Петербурге в 1791 году. Дессалин улыбался страшной улыбкой, губы шевелились и говорили что-то на ухо собеседнику. Губы его и других шевелились, но не было слышно голосов. Так продолжалось довольно долго. Клерво вынул из кожаной сумки длинный чубук-табакко, скатал шариком табачные листья между ладонями, запрятал этот шарик в трубку и стал высекать искру огнивом.

Наконец, когда кончились последние взрывы в низко бегущих и захватывающих верхушки деревьев тучах, Туссен произнес:

— Я сам виноват в том, что вы слишком верите французам. Знаете ли вы, что Винсент арестован? Знаете ли вы, что тот самый Бонапарт, который когда-то спас меня от смерти, сейчас требует моей смерти? Но это все касается только Туссена. Что касается нашего генерала

Ажэ, то я имею первые сведения: четыре корабля на рейде сожжены, город охвачен пожаром, и, вероятно, завтра отряд генерала Леклерка его займет. Во всяком случае, до получения твердых и определенных предписаний Великой французской лиги мы не вправе сами ничего менять из того, что нам предписано, иначе слово «Квисквейя» станет лишенным смысла, а тогда на что нам станет наша жизнь?

Разъехались молча. Решили начать осадную войну. Самым последним уехал маленький негр с письмом к начальнику негрской дивизии Домаже.

Туссен писал своему подчиненному:

«Разуверься во всех белых людях, которые тебя окружают, они предадут всех нас при первой возможности. Все их клятвы и заверения на самом деле ведут только к возобновлению рабства. Поверь мне и нисколько не сомневайся в справедливости моих слов. Несмотря на все попытки заманить нас, держись твердо, подними все массы культиваторов и дай им твердо-натвердо уразуметь, что они не должны оказывать никакого доверия этим фальшивым людям, которые рассылают свои прокламации то черным, то белым палачам Франции. Они дают заверения, диаметрально противоположные тем, которые получают белые колонисты от французского командования. Самое губительное — это то, что они пытаются сейчас же сформировать отдельные от нашего командования отряды цветных людей.

Квисквейя и братство!

Туссен Лувертюр».

Оставив Дессалина у власти, Туссен исчез. Он появился через четыре дня, переодетым, на площади Сан-Доминго, около собора, в жаркий день под навесом. Старые креолы, мулаты и белые люди глотали куски фруктовых прохладительных смесей, когда седобородый, измененный до неузнаваемости Туссен прошел и занял место в парикмахерской при кофейне. Парикмахер ловкой рукой вскидывал и опускал бритву, наклонившись низко к левому уху Туссена.

— Напечатать ничего не удалось,— говорил он,— сломаны все машины, фромантеновские станки не работают, а в то же время на рейд пришло под английским флагом суденышко, с которого скинули мешки. В этих

мешках прокламации, призыв французского народа за подписью Первого консула. Объявляются мир и братство. Испания передала Луизиану. Первый консул призывает всех к единению, поздравляет все население Сан-Доминго, говорит, что подтверждает все декреты об отмене рабства.

У Туссена дрожала голова, этого он не ожидал. Неужели он в самом деле ошибся, объявив войну Франции? Но тогда зачем вооруженные силы Леклерка?

— Хорошо, Муркос,—сказал Туссен, обращаясь к парикмахеру,—а как объясняют они появление вооруженных сил и привоз моих детей, Исаака и Плацида, в качестве заложников?

— Ваши дети здесь,—сказал Муркос,—они на горе, они в губернаторском доме. Их встретили, как хозяев, вчера был колокольный звон по всему городу.

Туссен не сказал ни слова, он вышел из лавки парикмахера, ушел опять за город. Его обувь была в пыли, пыль осела на ресницах. Тенистая аллея, несмотря на влажную листву, нисколько не облегчала жары.

Испанская процессия двигалась по дороге. На первом месте шли Альмас Сантос, люди в масках, люди в островерхих конических шапках и в масках. Шапки, раскрашенные в яркие цвета, высотой в рост человека, кончались тремя длинными лентами, которыми играл ветер. Затем, сменяя эти восемь маскированных людей, шел священник в кружевной пелерине до колен. Два мальчика несли свечи в рукоятках мечей. Огромный тонкий и легкий крест в руках священника, ему предшествовали четыре носильщика, на плечах которых был гроб с сидящим на нем прикованным скелетом, этот скелет вырезан из дерева ангела с крестом. И дальше за этим гробом следовали снова четверо маскированных людей в таких же конических шапках. Потом шли священники, диаконы, числом пятьдесят шесть, и несли разные эмблемы Христовых страстей; здесь были меч, плащаница, хитон, дароносица, свечи, терновый венок, фонарь палестинских кустодов, рама; петух, трижды пропевший отречение апостола Петра; копье, вонзившееся в ребро висевшему на кресте; лестница, молоток, гвозди, губка на шесте, с которой непрерывно капал уксус, и дальше траурный черный крест огромных размеров, пустой внутри, сделанный из тончайших досок, с белым хитоном на перекладинах; его несли двое людей в

черных одеждах и в черных масках. Дальше шли музыканты, продолжавшие шествие носильщиков, с курильщиками фимиама, со щитом, на котором стоял вырезанный из дерева Иоанн-Креститель с золотым венцом на голове. За ними несли, предваряемые фонарями, ярко горевшими, несмотря на ослепительное и знойное солнце, на таком же помосте изображение Марии Магдалины. Потом опять священник со звездообразным крестом, два свеченосца и шестнадцать носильщиков несут под балдахином статую, изображающую коленопреклоненного Христа, падающего под крестной ношей. Конец огромного креста поддерживает Симон Киренейский...

При всей душевной боли, при всем адском противоречии чувств, заражавших душу Туссена, с нетерпением ожидавшего на перекрестке прохода этой церемонии, старый негр не мог не улыбнуться, видя, что роль этого Симона Киренейского играет первый конторщик табачной фабрики, брат покойного генерала Модюи. За балдахином шли первый алькад испанского квартала Сан-Доминго и восемь испанских негров со страусовыми перьями на касках.

Туссен считал людей, чтобы не упасть без чувств. Стремление видеть Исаака и Плацида было настолько сильно, и в то же время смутное чувство того, что они несут ему еще большее горе, было настолько страшно, что он мгновениями не чувствовал, как подгибаются колени, и, смотря на дорогу сквозь заросль могучего кустарника, невольно схватывался за серые стволы пальм. Прошло сто пятнадцать человек — представителей упраздненных испанских монастырей, за ними — воспитанники испанских школ, возвращающиеся из Сан-Доминго в Гинч. Дальше шел второй алькад испанского квартала. Дальше была гробница под балдахином; ее несли все представители народов, населявших испанскую землю. Дальше, в тюрбанах, в фесках, с ятаганами и алебардами, шли «предатели и палачи».

Религиозная церемония страстей Христовых была разыграна испанской частью Сан-Доминго, словно балет во Французском театре. И вдруг, как удар, поразило Туссена чучело негра, в треуголке, с плюмажем из страусовых перьев, в раззолоченном мундире. Это чучело несло мешок с надписью «Тридцать сребреников». Болтая руками, помахивая мешком, это чучело неуклюже кланя-

лось вправо и влево, вперед и назад, неся за собой флагообразную ленту с надписью «Иуда».

Кто сделал это намеренное сходство с губернатором Сан-Доминго, кто состряпал это чучело, поразительно похожее частями лица и формой одежды на Туссена Лувертюра?

«Сейчас сезон лихорадок,— думал Туссен,— быть может, я уже в бреду? Где мои дети, где я сам и кто я сейчас?»

Процессия медленно двигалась дальше, поднимая пыль и блестя на солнце золотыми фонарями, хоругвями и блестящим убранством испанского духовенства. Несколько религиозно настроенных белых офицеров, четырнадцать матросов мулатов— все это Туссен просчитал. Далее за ними, после оркестра с трубами и валторнами, Туссен увидел черную фигуру, закутанную с ног до головы в мягкий шелк, и огромный красный шлейф, простирающийся на руках шлейфодосцев на протяжении семидесяти шагов: это первый каноник испанской церкви. За ним кадильница в руках двух носильщиков, и потом— под балдахином— епископ в окружении пышной католической гвардии. Толстая, короткая, заплывшая жиром фигура епископа и шесть викариев, заместников епископа, представляли собой шесть бочек, обливавшихся потом, трясущихся от жира. Епископ в высокой тиаре, под балдахином, изукрашенным перьями тропических птиц, а за епископом— на помосте, под большим овальным зонтом из красной материи, в парчовой ризе— статуя мадонны. Четыреста креолок и испанских женщин, сплошь в белых одеждах и со свечами в руках, шли за мадонной. Потом в экипаже, украшенном позолотой,— старый испанец, бывший владелец крупнейших земель около Гинча. Он ехал и бесшумно вышвыривал из мешка, стоявшего у него между колен, кипы небольших листков, раскидывая их на расстоянии ста шагов по дороге.

Так, ожидая встречи с сыновьями, внезапно прибывшими из Парижа на кораблях, которые везли с собой порабощение, позор, рабство и смерть, Туссен, пользуясь своим способом предварительного появления в местах, которые его еще не ждут, узнал, что оба старшие сына, рожденные и выросшие около Капа, к западу от города на плантации Ноэ, теперь прибыли в его губернаторский дворец в Сан-Доминго. Недаром зорким глазом Туссен

заметил на рейде легкопарусное французское судно «Ласточка», качавшееся на волнах, самое маленькое среди всех стоявших на рейде и самое страшное для сердца самого большого человека на острове.

«Совершилось,—думал Туссен.—Вот пришли времена и сроки, когда завершится формула Кардана о том, что все вещи имеют свое возвращение, и о том, что последующее событие может стать пародией предыдущего. А что, если Бонапарт является пародией Робеспьера? Что, если этот цезарь пошлости воистину возвещает новое рабство? Что, если прав этот мальчуган Шанфлёр в своем запальчивом раздражении против разного вида человеческих безумий?»

Дорога поднималась в гору, маленький мостик из пальмового дерева, крутой в расчете на разлив четыре раза в год, перегораживал дорогу. Туссен вдруг опомнился. Ему казалось, что целое столетие прошло с той минуты, как он встретил испанскую католическую процессию. Он свернул по долине ручья, пошел вверх по течению и, усталый, остановился там, где во рву ядовитые пчелы слепили себе гнезда. Он вынул пальмовый свисток из кармана, трижды тихонько подул. В ответ раздался такой же тихий свист, потом на дне оврага появился человек с двумя лошадьми. Он шел, держа четыре кожаных ремешка в руках. Зеленые листья и просветы между деревьями бегали золотыми бликами по этим трем существам; один белый человек и сотни солнечных бликов. Так он подошел к Туссену, разобрал поводья и, отдавая честь правой рукой, левой рукой предлагал Туссену коня.

Это был Вернэ, первый адъютант генерала, генерал-губернатора, правителя и Черного консула Гаитийской республики. Он вручил пакет Черному консулу. Туссен читал:

«Дорогой отец, через два дня наше свидание. «Ласточка» через час подойдет к дебаркадеру. Капитан Боссюэт показывает нам твоё жилище, он говорит: через два дня ваш отец с почётом и славой вернется в этот дворец. Все тебе расскажем. Франция была прекрасна до нашего ареста, но добрый старик Леклерк объяснил, что все это недоразумение. Будем надеяться на лучшее будущее.

Исаак Лувертюр, Плацид Бреда».

«Вот как,—подумал Туссен.—Оба сына называют себя по-разному».

Вернэ смотрел на генерала и гладил лошадей. Туссен спрашивал:

— Что же, кто-нибудь есть еще, кроме моих сыновей?

— Никого, товарищ,—говорил Вернэ,—все, кто с ними приехал, остались на борту «Ласточки».

— Хорошо,—сказал Туссен,—мы уедем так же просто.

— Нельзя, генерал,—ответил Вернэ,—около большого колодца, рядом с дворцом Сансуси, завтра в полдень будут ждать восемьдесят всадников. Вам хотят сделать встречу такую, какую предписал генерал Леклерк.

Морщины на лбу Туссена углубились, он ударил хлыстом вороного конька и, за неимением шпор, стиснул его бока шенкелями.

К вечеру приехал в Деннери. Он узнан был не сразу; его узнал первым, при повороте на Деннери, загорелый маленький человек с крутыми усами и бородой клином, с лицом в красных и синих пятнах, в большой шляпе. Он сидел в воланте и, быстро повернувшись, оскалил крепкие желтые зубы, взяв двумя пальцами левой руки трубку изо рта. Но и Туссен также узнал его. Он был поражен только одним: этот капитан Наваррец, хвалившийся тем, что он перевез один с африканского берега свыше семидесяти тысяч негров, был изгнанником острова Гаити. В свое время Туссен за наглые выходки на колониальном собрании ударил его палкой по лицу. Потом в первые дни губернаторства Туссена Наваррецу пришлось быстро убежать.

«Как он теперь появился здесь и что значит его появление?» — думал Туссен.

За месяц отсутствия Туссена, очевидно, произошло столько перемен, что необходимо принимать какие-то меры для того, чтобы это поправить. Во всяком случае, при прежнем положении вещей появление этого морского волка, неготорговца, было бы невозможным, а если он появился, это служит первым предостережением: значит, случилось что-нибудь такое, что обусловило эту неслыханную наглость. Значит, появился кто-то, кто дает приют подобным людям.

«Он даже не боится быть узнанным». С этой мыслью Туссен подъехал к своему жилищу. Никто не вышел на стук. Взволнованный и смущенный, Туссен поднялся на

верх небольшого деревянного строения. Большая черная собака с низким басовым лаем кинулась ему навстречу, узнала хозяина, вильнула хвостом, завывала. Туссен толкнул дверь, перед ним, в плетеной корзинке качая ребенка, сидела старуха и пела. Она пела старую негритянскую песню, какую пели во времена рабства. Туссен ее окликнул, то была его сестра.

Старуха встала, пошла к нему навстречу, приветствовала его со спокойной важностью. Она никогда не была разговорчива, но тут вдруг усадила его и заговорила торопливо:

— Хорошо, что ты приехал раньше. Тебя ждали только через два дня, тебя хотят купить твоими же детьми. У тебя начинаются черные дни, но думалось мне все-таки, что ты приедешь раньше, и хорошо, что ты приехал раньше.

Эту фразу она готова была повторять без конца.

Туссен ее прервал:

— Сходи к Бовэ, скажи ему, что завтра торжественно въезжаем в Сан-Доминго.

Старуха хотела уходить, ее внук закричал из корзинки. На крик вышла молодая женщина мулатка, племянница Туссена. Она посмотрела на дядю просветлевшими глазами, с чувством горячей благодарности по поводу неожиданного, но своевременного приезда, и ничего не сказала.

— Давно ли здесь Наваррец? — спросил Туссен.

Молодая женщина вздрогнула, старуха сказала:

— Наваррец не может здесь появиться.

— Я говорю тебе, что он здесь, я сам его видел.

Старуха ничего не ответила и вышла из комнаты. Молодая женщина сказала:

— Должно быть, он приехал вместе с французом Рош-Маркандье, с тем самым, который убил Сантонакса.

Туссен нахмурился. Он не мог сидеть, не мог думать и отдыхать и решил сам пойти навстречу Бовэ.

Молодой офицер уже сам спешил к нему, быстро надевая шашку, и, кончив эту операцию, подошел, словно на смотр, к Туссену и отдал ему честь по-военному.

— Не могу похвастаться благополучием, генерал, — сказал он.

— Почему? — спросил Туссен.

— Вам послали четырех гонцов, из них ни один не вернулся. Донесения, очень важные, все потеряны, если

потеряны гонцы, а если потеряны донесения, то многое потеряно в деле нашей свободы.

Туссен нахмурился и, беря Бовэ под руку, отправился с ним по верхней дороге к морю.

Утром большой колокол Сан-Доминго в соборе, где еще недавно покоилась гробница Христофора Колумба, возвестил приближение отряда правителя острова. Туссен Лувертюр верхом, одиннадцать его генералов, эскадроны черных драгун в киверах с султанами, в снаряжении из белой кожи, с большими пистолетами и кривыми шашками ехали впереди. Туссен обмахивался древесной веткой и ехал спокойно. У въезда в город—там, где солнце бросало резкие черные тени на улицу, ярко освещая желтые дома с фестонами и разводами по карнизам и крышам,—навстречу Черному консулу выехала делегация города. Женщины в белых платьях, в волантах и каретах, негрские ребятишки, представители мулатской и негрской коммуны и маленький экипаж английского образца, где под зонтиком сидело двое в гражданской одежде. Их Туссен узнал издали. Они встали в коляске, сняли шляпы. Туссен при громких кликах двухсот человек, слегка осаживая лошадь, повернул к коляске, Исаак и Плацид бросились к отцу на шею. Потом все трое пересели в карету и отправились к губернаторскому дворцу.

— Меня поразила смерть Сантонакса,—говорил Плацид,—но никто, кроме матери, не писал мне об этом.

Туссен, казалось, не слушал. Он внимательно смотрел на старшего сына, словно выжидая, пока тот заговорит. Но Исаак молчал, он улыбался отцу самодовольной и сытой улыбкой, в то время как Плацид без умолку расспрашивал о сестрах, о матери до самого последнего оборота колес кареты, когда почетный караул, выстроившись перед дворцом, принял начальника негрской армии и правителя Сан-Доминго.

Быстрой походкой нисколько не уставшего человека Туссен взбежал по лестнице. Казалось, ничто не переменялось. Холодно поздоровался с адмиралом Сидоном, рассеянно выслушал и принял в руки поданный рапорт о состоянии города, потом ушел с детьми и заперся в отдаленных покоях. Ему хотелось, чтобы дети первые заговорили без наводящих вопросов о том, что собой представляла экспедиция Леклерка.

— Знаешь, отец,—вдруг начал Плацид,—когда нас арестовали и отправили в Брест...

Туссен вздрогнул.

— Как арестовали, кто арестовал?

— Да, потом выяснилось, что это случайность, что двоих других каких-то негрских детей с почетом проводили на корабль, когда мы восстановили свои права.

Туссен нахмурился, Исаак прибавил:

— Не нужно было об этом рассказывать. Генерал Леклерк—это шурин Первого консула. Это лучший человек в мире. Нам было очень хорошо плыть на адмиральском корабле, хотя и запрещали говорить с солдатами. Что больше всего нас поразило, это отвратительное поведение Анри Кристофа. Он первый из Капа открыл стрельбу по нашим кораблям, и так как «Ласточка» была третьей в головной колонне, то знай, отец, что он едва не утопил твоих детей ядрами. Ему хочется вызвать войну, этому Кристофу. А Леклерк приехал с самыми хорошими намерениями; он хочет помочь в борьбе с Англией и с Испанией, он знает слабость негрских армий.

— Ты думаешь, они слабы?—с живостью спросил Туссен Исаака.

— Не думаю, а знаю,—самоуверенно ответил Исаак.

Тогда заговорил Туссен. Чувствуя и зная, что интересы того дела, которому он служил, дороги интересам его собственной крови, он все время сдерживал себя, когда вопрос казался связанным с военной тайной.

Плацид слушал с жадностью, и его реплики иногда заставляли Туссена проговариваться. При словах «осадная война» Исаак скривил губы и сказал:

— Воевать с Францией невозможно, это безумие. Я думал, что воюет только Кристоф, я жалею, что я приехал.

Тогда Туссен встал и, кладя руки на стол, произнес:

— Вам сегодня, в первый же день, даже сейчас, сию минуту, нужно будет решить вопрос, останетесь ли вы со мной, или вернетесь на французские корабли. Причем, я должен предупредить вас, что остаться со мной—это значит остаться со своим племенем и с его делом, остаться в Стране гор и считать, что Страна гор есть настоящая Матерь земель. В этом мире мы должны перестроить отношения людей, в этом мире мы должны

изменить человеческий строй, от него пойдёт свобода во всем мире.

Плацид встал и сказал:

— Для меня нет в этом вопроса, я остаюсь.

Исаак молчал; веки его вспухли, глаза потемнели.

— Ну что же, надо ответить сейчас, а потом нас ждёт завтрак. Сегодня большой прием, я возвращаюсь в Сан-Доминго после месяца отсутствия, и будет много дела. Где капитан «Ласточки»?

— Он с нами в нашей каюте, там же ларец.

— Знаю, знаю,—сказал Туссен.—Сейчас встреча отца и детей, а потом при всех встреча посланников Первого консула с губернатором Сан-Доминго.

Исаак, еле шевеля губами, произнес:

— Я вернусь.

Туссен молча кивнул головой и, не глядя на него, вышел под руку с Плацидом. Глаза Плацида горели, он не смотрел на брата и рукавом камзола быстро смахнул горячую ядовитую слезу.

В приемной капитан Сенье, Плацид и Исаак вручили Туссену золотой ларец. Туссен поставил его на мраморный столик и открыл ключом, лежавшим на блюде. На дне, с пятью большими печатями зеленого сургуча, лежало письмо первого консула Бонапарта. Короткая приписка Полины Бонапарт, жены генерала Леклерка, содержала несколько любезных фраз, обращенных к Туссену. Она называла его «дорогой генерал», посылала привет и радовалась, что он снова видит своих детей.

К вечеру для Туссена стало совершенно ясным желание Леклерка скомпрометировать конституцию Гаити и скомпрометировать все дело свободной республики. Письмо Бонапарта поразило Туссена, как он выразился, многозначительной бессодержательностью. Отсутствие Винсента, приключение с Плацидом и Исааком, разыгрывание ареста и извинение перед молодыми людьми — все это Черному консулу показалось в высшей степени плохой игрой. Смутное чувство наполняло его душу. Он увидел, что население Сан-Доминго в течение месяца было предметом провокационной агитации. Не было человека, который не осуждал бы Кристофа за сожжение Капа, ни у кого не появлялось ни малейшего сомнения в том, что Франция, провозгласившая отмену рабства,

может или намерена идти по пути его восстановления. Все это казалось Туссену тяжелым сном. Для него самого не было ни минуты колебаний в том, что Франция готовит неожиданный и страшный удар, и когда наутро он проезжал площадь с черными офицерами, он замечал любопытные и в то же время непроницаемые взгляды белых людей, населяющих столицу республики.

Он проехал на пристань, где корабль «Ласточка» готовился к поднятию парусов. Глубокая бухта ярко-зеленого цвета была спокойна; дальние маяки белели на фортах; корабли качались на волнах легкой усталой, мертвой зыби; широкие зеленые волны, едва заметные с берега, вливались в бухту через равные промежутки времени и слегка поднимали корабль от кормы до киля, а потом это мерное качание продолжалось на ровной глади. Где-то была далекая буря, где-то океанский тайфун прочертил небо молниями и снова сливался с горообразными штормовыми валами, где-то гибли корабли, где-то плавали мертвые тела—но буря утихла, и в безветренную гавань доносились лишь изредка покатые, ленивые и широкие, едва заметные пологие волны.

Туссен спокойно говорил с офицерами на дебаркадере. Его сын Исаак, не повидавшись с матерью, торопливо уезжал в штаб Леклерка. Мост на тяжелых канатах свисал над морем с дебаркадера, канатная лестница спускалась с висячего моста в море, и с лестницы уже был опущен маленький катер. Загорелые голландские матросы сидели на веслах, французский трехцветный флаг с белыми полосами из угла в угол висел спокойно на корме катера; капитан корабля разговаривал с Туссенем. Сцена была совершенно мирная, ничто не говорило о той буре, которая рвала душу и мысли Черного консула.

«Так будет удобней,—думал Туссен.—Пусть Исаак уедет. Надо же кого-нибудь посылать с ответом. Но как быть, когда оба увидят, что брат идет на брата? Что сделает старая Анита, когда узнает, что сын уехал?»

Он посмотрел на Пладида, потом, быстро повернувшись к Исааку, спросил:

— Ну, а если не сбудется твоя надежда на мир, если генерал Леклерк, как я слышал, действительно двинул войска на Крет-а-Пьерро?

— Я уеду в Париж.

Туссен отвернулся и, вынув шпагу, сделал знак. Береговая пушка выстрелила, палуба «Ласточки» зашеве-

лилась, вышли матросы. Исаак и морской офицер сели в катер. Матросы забежали по реям, легкий верхний ветер тронул поднятый флаг. Катер подтянули к борту, как только Исаак с офицером оказались на палубе «Ласточки». Пушка ударила по борту, загремела издалика якорная цепь, корабль оторвался и, постепенно ускоряя ход, скоро белой птицей казался в пролете между маяками.

Город торговал, был шумен, кофейни были полны. Англичане, французы, испанцы, мулаты, негры, женщины в ярких платьях, мужчины в широких шляпах, черные офицеры в треуголках, старые негритянки с седыми волосами, с полуголыми детьми наполняли базар и площадь перед собором.

Туссен и Плацид, бок о бок, верхом, стремя в стремя, ехали и говорили друг с другом.

— Три дня побудешь у матери, потом, ничего ей не говоря ни о себе, ни об Исааке, ты отправишься на высоты Крет-а-Пьерро. Там ты займешь с отрядом Морн-дю-Хаос. Ты отвык от родных гор, будь осторожен, там крутые стремнины и опасные повороты. Там, при полном безветрии в долинах, бывают такие ветры, которые могут сорвать в пропасть, там орлиные стаи нападают на человека. Это хорошее место, там мы уничтожили шестнадцать батальонов английского генерала Уайтелока. Там сейчас Дессалин, ты будешь его адъютантом. Сдерживай этого человека, он любит кровь и ненавидит белых, независимо от их убеждений. Помни наше учение: цвет кожи ничего не значит, когда мысль свободна и дух независим. Но Дессалин хороший воин. У англичан было сорок пять тысяч людей; потеряв два батальона, они решили не бороться с нами, они быстро покинули остров. Крет-а-Пьерро хорошее место — помни это. Французы не могут его миновать. Если бы то были англичане, если бы то были испанцы, какое бы тут было сомнение, — а сейчас как мне оправдать эту войну? Я знаю, что я прав: французы приехали восстановить рабство. Придется ждать, чтобы события развернулись сами.

— Можно ли спросить, отец? — заговорил Плацид.

— Да, спрашивай, пока есть время, — ответил Туссен.

— Можно ли узнать, что везет Исаак Леклерку?

— Он везет четыре слова от меня и вырезку из парижского «Монитера», где твердо, ясно и определенно вещи называются своими именами. Там сказано: для

спасения европейской торговли и водворения мира Первый консул решил твердой рукой подавить восстание черных людей на Мартинике. Там водворяется прежнее положение плантаций и факторий.

— Откуда эта газета? — спросил Плацид. — Верно ли, так ли это?

Лицо юноши стало серым, он так волновался, что нервная дрожь передалась лошади, — она рванулась в сторону.

— Тише, тише, — сказал Туссен. — Дартигойты и маркиз Шанфлёр делали из этой газеты пыжи для ружей. Эта газета с кораблей Леклерка. Я вернул ему этот обрывок и на нем же написал четыре слова: «Я вам не верю». Но повторяю, Плацид, война будет страшно трудная, потому что дело идет о Франции. Франция Сантонакса, Польверэля, Франция Эльхо, Франция Робеспьера и Марата не могла обманывать черных людей. Я доверил вас Сантонаксу, Эльхо отвез вас во Францию после смерти комиссара. Вы знаете высокие качества этих простых республиканских сердец. Каковы бы ни были воззрения Первого консула, какова бы ни была разница между его намерениями и действиями, между его словами о мире и делами, восстанавливающими работорговлю, он запутал моих людей, он уже произвел раскол в сердцах. Торжествуют испанские попы, появились те, кого мы изгнали с острова, и есть опасные признаки возможного междоусобия. Война утомила, все хотят мира, и я тоже. Но я боюсь, что мне придется убеждать и побуждать к новой войне, а это кончится тем, что меня будут считать единственным виновником войны. Поэтому будем ждать.

Конюх подошел к Туссену, Плациду и к по очереди подъезжавшим офицерам. Проходные высокие залы дворца были полны людьми. У Туссена начался жаркий деловой день.

Вечером, после ужина, он простился с сыном. Плацид уезжал повидаться с матерью, а потом ему предстояло принять участие в войне с сорок восьмым батальоном, с полком орлеанских драгун, которые под командой генерала Гальбо выступили с высот Капа в направлении Крет-а-Пьерро. Прощаясь, Плацид опять хотел говорить об Исааке. Туссен его сурово остановил.

— Не поддавайся предрассудкам крови, сын, — сказал он, — помни слова аббата Рейналя. Но если хочешь знать, я страдал не меньше твоего. Моя мать имела пятерых

детей, я и твоя тетка в Деннери, мы были старшими. Ты помнишь своего деда, его разорвали собаки, когда ему исполнилось восемьдесят четыре года. Потом моя мать принадлежала испанскому господину; она была еще хороша собой, стройна и голубоглаза. От нее родился Адонис Бреда, погибший в Париже, а тот, кто сейчас называет себя моим братом и кто принял мое новое имя,—Поль Лувертюр, это сын мулата Цюбала, рожденный от моей же матери. Но не желаю тебе встречи с Исааком, ибо вижу, что ты не поручишься за себя.

— Да,—сказал Пладида,—я разmozжу ему череп.

Туссен покачал головой и пожал руку сыну. У садовой калитки отдали лошадей. Кучер, почтенный старый негр, уложил небольшой багаж Пладида, обнял Туссена и, похлопав по плечу своего пассажира, захлопнул дверцу маленькой воланты. Лошади мягко затопали восьмью копытами по пыльной дороге.

Через восемь дней Туссен получил известие о смерти Пладида у черных ворот Артибонита. Он ничего не сказал и тотчас же приступил к своей очередной работе. Дессалин писал:

«Французские войска приблизились ночью, *без огней*. Наш лагерь был в долине, в крепости оставалось тысяча двести человек. Все спали, дремали и часовые, опершись на ружья. Французы, замеченные нами, были подпущены на ружейный выстрел, после этого я дал тревогу. По сигналу весь лагерь снялся и бросился в крепость. Французы без выстрела заняли долину. Я слышал их ликующие голоса, я слышал крики: «Да здравствует генерал Дебелль!» И вот от ворот Артибонита им в тыл ударил отряд Пладида Лувертюра. Генерал Будэ убит у французов, но Пладида оказался прострелен семнадцатью пулями. Мы приготовили его тело. Доктор Мокайя говорит, что оно тебя дождетя, не тронутое тлением. Я приказал искрошить тысячу семьсот французов перед домом, где лежит покойник. Леклерк в ярости. Он послал дивизию генерала Дигуа и 19-й легкоконный полк.

Разведчики принесли нам сведения, что Леклерк взбешен и во что бы то ни стало хочет занять Крет-а-Пьерро. Он согласен кинуть туда всю армию. Пусть. Французы оценили мою голову. Я написал письмо Леклерку, чтобы он не тратил напрасно денег. Я нарочно появился с саблей, нарочно ворвался верхом в их ряды, я

назвал свое имя и кричал: «Да здравствует свободная республика!» Старые французы перестали стрелять, они окружили моего коня, они бросили ружья и рукоплескали. Нынче ночью полк расформирован, французы расстреливают своих. Ночью, услышав выстрелы, я понял, в чем дело. Мы сделали вылазку из крепости, ползком пробрались к месту расположения штаба, мы сорвали палатку генерала Дюгуа, избили его самого, принесли пороха документов. Французы, несомненно, несут острову рабство. Посылаю тебе самую важную часть переписки. Морпа приближается и ударит на французов с тыла. Пусть попробуют, пусть узнают.

Мои солдаты не сомневаются в правоте войны, но тревожат меня вести из отряда Кристофа. Французские прокламации говорят о полном уничтожении рабства и о согласии французов на конституцию Гаити».

У самого входа в губернаторский дворец на стене красовался большой плакат. Напечатано было следующее:

«Вы возбудили наше уважение, мы с удовольствием признаем и провозглашаем важные услуги, которые вы оказали французской нации. Если национальное знамя развевается в Сан-Доминго, то этим Франция обязана вам, генерал Туссен, и вашим храбрым неграм. Помните, генерал Туссен, что если вы первый из людей вашего цвета достигли такой высокой степени могущества и отличились такой храбростью и дарованиями, то вы должны также ответствовать перед богом и людьми за поведение своих подчиненных».

Верхняя часть плаката оторвана, под оставшимися строками подпись: *Наполеон Бонапарт, Первый Консул.*

Глава двенадцатая ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ

Приготовьте ему паутину.
Наполеон, Записка к Фуше

«Что это? — думал Туссен. — Вместо губернаторского бюллетеня о нападении Франции на Кап и Крет-а-Пьерро, о высадке французской армии по городу развешаны плакаты с письмом Бонапарта на имя Туссена Лувертюра. Французы ведут себя так, как будто они не

воюют вовсе. Первый консул пишет дружественные письма, а французский генерал простреливает семнадцатью пулями сына Черного консула».

На Мартинике, в Гваделупе полностью восстановлено рабство. Разведка с испанской стороны показывает оживление негровладельческих рынков. Звероподобные капитаны, торгующие «черным деревом», потирают руки, ожидая барышей, а здесь прокламация Наполеона Бонапарта, напечатанная незаконно и тайно, возвещает мир и братство черному племени и рассыпается в похвалах вождю негров. Сто семьдесят офицеров посланы во все концы острова—самые опытные люди, беззаветно преданные делу гаитийской свободы. Проходят недели, и со всех концов острова привезены разнообразные прокламации, отпечатанные то в корабельной типографии эскадры Леклерка, то в восстановленном Капе, и наконец прокламации, напечатанные в Луизиане, с уведомлением, что Испания на веки вечные уступила Луизиану Франции. Прокламации, мирные обращения к населению Гаити, с указанием, что французское командование не верит во враждебные намерения негрских генералов. Сообщение, что мулат Риге арестован за враждебные выступления против Туссена Лувертюра и выслан за пределы острова. И, однако, все новые и новые дивизии вводит генерал Леклерк в битву на подступах к ущельям Крет-а-Пьерро. Он совершенно разбил Кристофа, не дав ему соединиться с Дессалином, он двинул 18-ю дивизию на Сен-Марк, для того чтобы выбить оттуда негрского генерала Морпа и Лаплюма. Генерал Ганта и полковник Линда ночью окружили Сен-Марк. Утром ударили пушки по городу. Ответа не было. К полудню разведчики показали, что город был пуст и все деревянные строения сожжены. При входе французских генералов на рейде взорвался корабль. Последние кучи золы говорили о том, что береговые провиантские склады сожжены дотла. Никаких следов Морпа и Лаплюма нет.

— Это серьезный неуспех,—заявил Леклерк.

Он писал морскому министру:

«Я потерял шестьсот человек убитыми, у меня две тысячи больных. Мое военное положение не плохо, как вы увидите, гражданин министр, но оно станет плохим, если вы быстро не придете ко мне на помощь».

Армия Морпа и Лаплюма совершенно исчезла. Французские кавалерийские отряды тщетно разыскивали по

дорогам следы ее пребывания. Это исчезновение восьмидесяти тысячного отряда прекрасно вооруженных негров беспокоило Леклерка больше всего. Он боялся удара с тыла, тем более что не знал, чем и как кончится дело под Крет-а-Пьерро. Это проклятое место, равно как и другие почти недоступные горные крепости негров, внушали ему целый ряд опасений. Людей косила желтая лихорадка. Люди в страшном бреду сходили с ума, резали своих товарищей. Леклерк писал:

«Гражданин министр, корабль «Верите», который должен был обслуживать нас как госпиталь, оказался снаряженным настолько плохо, что на нем не оказалось оборудования даже для шестисот больных. Городские пожары повсюду, куда ступает нога француза, уничтожают все».

Клерво занимал Порт-о-Пэ, все попытки овладеть дорогами и нанести ущерб генералу Клерво были тщетны. Леклерк приходил в отчаяние, нервы не выдерживали, он уже сожалел, что не пошел прямо на Сан-Доминго. Но жертвовать богатым, великолепным городом было бы слишком неблагоразумно. И вот появилось предписание брать возможно больше пленными, воздерживаться от жестокостей, выбирать грамотных негров и отправлять их обратно, одарив и с легальными французскими паспортами, обеспечить право перехода демаркационных линий за теми неграми, которые отказываются сражаться, восстановить торговлю с мирным населением.

Был сформирован особый «мирный» батальон. Он занимал негрские поселки, раздавал деньги, возвещал мир и уходил. И вдруг этот «мирный» батальон напал на след отряда негрского генерала Морпа около местечка Плезанс.

Четыреста человек негров, входивших в состав этого батальона в качестве пленных, отправились в отряд Морпа без оружия, с белыми флагами. Они кричали, что не хотят воевать, они показывали новые документы, выданные французским командованием. Морпа приказал их арестовать, но черные люди перемешались, пленные влились в отряд Морпа и сразу его дезорганизовали. Морпа, который получил уже приказание Туссена идти на выручку Кристофа, не знал, что ему делать. Бунтующий лагерь, палатки на границах саванны, за которой простиралась песчаная пустыня с черными пальмами на горизонте,— все казалось настроенным против черного

генерала. От него отшатнулись даже офицеры. Он переходил от одного к другому, они вежливо, но упорно молчали; если трое или четверо говорили, то несколько шагов в сторону этой группы со стороны Морпа заставляли ее расходиться. Один молодой негр сказал:

— Генерал, мы не знаем, за что мы воюем. Это те же люди, которые посылали нам Сантонакса.

И вот, связав Морпа по рукам и ногам, привязав его к коню, негры снялись с лагеря и пошли в направлении штаба генерала Дефурно. Нестройно они демаршировали к левому флангу французских войск, как вдруг на повороте, на пригорке, они увидели четыре горных пушки, а навстречу им на рысях мчался эскадрон черных гусар, имея впереди знакомого маленького командира.

Два зеленых штандарта на копьях с буквами «Туссен Лувертюр», горнист трубит поход. Смущенные негры отряда Морпа, попавшие в плен к своим собственным братьям, шедшим на сдачу к генералу Дефурно, остановились и стали строиться в колонны. Им навстречу с другого горного ската спускались левофланговые части генерала Дефурно. Встреча была неизбежна. Туссен был между неграми, сдающимися в плен, и французским отрядом, идущим навстречу. Туссен понял во мгновение ока и привстал на стременах. В это время защелкали курки, несколько пуль пролетело, смахнув его шляпу, он поймал ее левой рукой и крикнул:

— Вы звали меня *Отцом*, теперь вы хотите стать *отцеубийцами!* Кто за свободу, тот идет со мной!

Четыреста негров, как один человек, рядами становились на одно колено и поднимали к нему правую руку. Французский отряд не сдержался, начался беглый огонь, и в перестрелке пали четыре офицера, окружавшие Туссена, и пятнадцать кавалеристов.

Атака французов была отбита. Туссен быстро восстановил положение, он сам повел в бой отряд Морпа. Плезанс был занят в течение двух часов, Дефурно был выбит и бежал разбитый.

Двое суток Туссен и Морпа пробивались на север, чтобы выручить окруженного Кристофа. Неподалеку от Капа, в том месте, где были фактории и плантации сеньора Бреда, именем которого назывался сначала Туссен, в том самом месте, в том самом доме, где Анита родила ему детей, Туссена встретили французские парламентарии.

Испытание оказалось слишком сильным. Туссен, усталый и измученный, лежал на полу, холодную воду выливали ему на волосы, кровь ручьями бежала из носа. И в таком состоянии он читал письмо. За двумя подписями генеральный правитель Сан-Доминго — генерал-капитан Леклерк и наместник Сан-Доминго — негрский генерал Анри Кристоф сообщали Туссену о состоявшемся примирении негрского и французского оружия. Путь Дессалину был отрезан. Клерво был разбит, Лаплюм застрелен неизвестным злоумышленником. С тяжестью на сердце Туссен выслушал эти вести.

Кристоф писал:

«Надо выждать, пока воочию не убедимся в справедливости слов генерала Леклерка, и будем надеяться, что свобода нашей республики ему будет так же дорога на деле, как сейчас в его клятвах и обещаниях. Я остался один, мои люди бежали. Всем хотелось скорее к своим хижинам, к своим женам и детям. Наступил сбор ванили и кофе, скоро задымят сахарные заводы. Мы пожгли слишком много мельниц, война подорвала наше хозяйство».

Туссен сформировал в течение трех дней батальон, сплошь состоящий из офицеров одного и того же черного братства. Это были шестьсот отборных, вернейших, честнейших людей. Он распустил отряд Морпа, он собрал новую часть из культиваторов, поодиночке скликая их на полях. С этой маленькой армией он ушел в горы и скрылся в неприступных извилинах; его надолго спрятали неприступное лоно Матери земель.

Леклерк внезапно снял осаду с Крет-а-Пьерро, известив Дессалина, что война кончилась, так как Кристоф и Туссен сдались. Он не предлагал никаких условий, он просил только прекратить военные действия, так как у него с французской армией и у вождей свободных негров нет никаких предметов вражды.

Дессалин произвел разведку, она обнаружила свободные дороги и нигде не нашла следов французской армии. Двадцать тысяч негров, работающих по вольному найму, заново отстраивали Кап. Нигде не произнесено ни одного слова о рабстве. Земля, поделенная после ухода англичан и испанцев, осталась за неграми, зато возникли десятки легенд о честолюбии Туссена и о том, что враждою с Францией он желает усилить свою власть.

— Значит, Туссен еще не в руках Леклерка. Лгут эти генералы,— говорил Дессалин,— лгут,— и направил к Туссену братьев Дартигойт и лейтенанта Сегонда— маркиза Шанфлери. Все три француза совершили чудеса храбрости и проявили себя верными сторонниками негров. Но осада была снята, дороги были пусты. Повозка, запряженная волами, отбитыми у французов, была отправлена в Деннери. Негр провожатый и три француза сопровождали гроб Плацида. Предполагали там найти Туссена, ибо там была его семья, его старая Анита, ее сестра, племянники и племянницы, жившие все в тех же белых негритянских хижинах, что и раньше.

Третью ночь волы везут по горам гроб. Дартигойты беседуют с негром, Сегонд молча покуривает трубку в раздумье о превратностях своей судьбы. Негр без умолку рассказывает о себе. Он строитель главных сахарных дефибреров, системы валиков, отжимающих сахарный тростник и дробящих его стебли. Он главный инженер двухсот сахароварен,— война оторвала его от дела.

В свою очередь братья Дартигойт рассказывают свою историю. Во флот они приняты по приглашению покойного старшего брата. Он служил в полку Шатовье и был главным участником восстания полка. Когда началась революция, то полковой командир и офицеры с дворянскими патентами прекратили выдачу жалованья солдатам. Шатовьеские батальоны были заперты в казармы и не получали пищи, так как слишком уж резко сказалась их приверженность революции. Потом они были выпущены, но денег не получали и жили впроголодь. Тут они решили выбрать полковой комитет, и, чтобы не производить беспорядка, девятнадцать человек в полку в качестве депутатов пришли к командиру.

Солдатские депутаты—это неслыханный в истории мира бунт. Первый министр революционной Франции, начальник парижской Национальной гвардии маркиз де Лафайет узнал об этом.

Требование солдат было справедливо, жалованье платить необходимо, господа дворянские офицеры сделали «ошибку», расхитив полковую казну, но граждане солдатские депутаты совершили преступление, нарушив воинский устав выборной системой, заменяющей строгую военную иерархию. Офицеры получили выговор, солдаты не получили жалованья, депутаты были приговорены к повешению. И вот тут двое из этих депутатов, пригово-

решных к смертной казни, бежали в Брест. Там был набор матросов. Старший брат, посвидетельствовав, что они всю жизнь торговали табаком в Бресте, принял их на борт. Потом все трое были в Тулоне, бились с англичанами, которым Жиронда и буржуа сдали французский порт. Под командой Бонапарта стреляли из орудий береговой обороны по английским кораблям и по городу, где раздавались безумные крики контрреволюционного мятежа, где английские королевские знамена нагло поднимались руками озверевших французских дворян над кровлями правительственных революционных зданий.

— Тулон — это страшное место, — говорили Дартигойты, — и если бы не генерал Бонапарт, то там начался бы десантный поход англичан в глубь Франции.

— А что с вашим полком? — спросил внезапно лейтенант Сегонд.

Дартигойты оживленно, наперебой, быстро заговорили:

— Полк! Полк был расформирован, и из него был сделан штрафной батальон. На всех надели красные колпаки каторжников и направили в Тулон, чтобы посадить на галеры, а они повернули на Париж и в красных колпаках и в карманьолах прошли по улицам мировой столицы. Замечательный наш город Париж! Он принял этот полк, он его усыновил. Секции Парижа расквартировали революционных солдат, и как форму революционной Национальной гвардии санкюлоты приняли фригийский красный колпак. Синий цвет Парижа, белый цвет короля и красный цвет шатовьеских каторжных колпаков составили трехцветное французское знамя.

— Но нам теперь дороже черное знамя, которое Дессалин поднял над портами Крет-а-Пьерро, — сказал Сегонд.

Разговор был прерван криком «стой». Французский конный разъезд остановил повозку, проверяя, кто идет и что везут.

Белые люди с гробом черного человека навели на подозрение французских офицеров. Начальник разъезда спешился, начал допрос, и так как Дартигойты упирались, а негр упорно молчал, то принялись за маркиза Шанфлёри. У него нашли письмо Дессалина Туссену Лувертюру. Одна половина была надорвана и измельчена настолько, что прочитать было невозможно; другая кончалась словами: «Я также согласен сложить оружие и

выждать осуществления Францией обещания. Если погибнут регулярные черные войска, то нам не с кем будет выступить потом; если наша армия уцелеет, мы всегда сможем ее поднять против французов. Я благополучно довел армию Леклерка до половины прежнего состава. Скажи Аните, чтобы не слишком плакала над гробом Пластида».

Пока офицер читал это письмо, Шанфлёрри быстрым движением выхватил у него пистолет из-за широкого кушака и выстрелили себе в висок. Братья Дартигойты, как французы, были допрошены с пристрастием. Они кричали:

— Мы видим, каких солдат набрал Леклерк. Будьте вы прокляты, вы шоферы¹, а не матросы!

Но разговор был короток: разъезд из отряда полковника Брюне, действительно составленный по специальному отбору из отбросов мародерских частей, коротким залпом расстрелял обоих Дартигойтов. Волы с гробом Пластида свернули с дороги, разъезд направился в штаб отряда. Полковник Брюне приказал выкинуть труп Пластида за пределы лагеря и улыбался, раскрывая рот до ушей, когда ночью слышал, как одичавшие псы подвывают, разнося на части покойника.

Утром полковник Брюне послал в Деннери семье Туссена обрывки письма, перехваченные у застрелившегося Шанфлёрри. Он писал так, как будто наверняка знал, что Туссен будет в Деннери. Он извещал Туссена, что Шанфлёрри умер в дороге насильственной смертью, но что он считает своим долгом препроводить ему остатки письма генерала Дессалина. Леклерк шлет ему привет и поздравляет с наступлением мира.

Туссен получил письмо, он не сомневался в его подлинности. Рука Дессалина, его откровенность, рассчитанная на специального посла, все это было до такой степени правдоподобно, что сомневаться было нельзя. Он внезапно почувствовал холод страшной изоляции, незаслуженного одиночества, и его охватило томительное

¹ Шоферами назывались во Франции времен Директории бандитские шайки из дезертиров, которые ловили по дорогам богатых проезжих и вынуждали их тем или иным способом доставлять в руки начальника выкупную сумму. Обычный способ побуждения жертвы к щедрому выкупу — это был способ шоферования — поджаривания на тлеющих углях пяток и ступней захваченного человека. (Примеч. автора.)

чувство конца. Анита сказала ему, что Поль Лувертюр находится в штабе Леклерка, принят с почетом, что Анри Кристоф в чине французского генерала получил под свое командование тысяча пятьсот солдат смешанного отряда.

Старая негритянка ворчливым басом произносила фразу за фразой, кротко и внимательно украдкой глядя на мужа в те минуты, когда он казался погруженным в свои мысли. Она разводила руками и говорила:

— Я женщина и старуха, я никому не верю из этих людей, но что же ты будешь делать? Ты возьмешь один солдатское ружье, пойдешь встанешь перед французскими генералами и будешь стрелять один. Ты будешь опять один, и остров останется без тебя, семья останется без тебя. Покой уйдет с острова, непокой посетит наши села, а тебя уже не будет, чтобы снова вернуть покой.

Туссен и его любимая негритянская девятка выехали в совершенно неприступное соколиное гнездо. Там на огромной высоте, в каменной пещере, выходившей на морской берег, в густую заросль, было свезено уже давно достаточно продовольствия и снаряжения. Оттуда видны были костры, которыми предупреждали друг друга негритянские посты; оттуда в подзорную трубу было видно море на тысячу туазов; туда не проникал ни дождь, ни ветер; туда было почти немыслимо пробраться, не вымерив расстояния для конского прыжка в пропасть, и только в одном месте конь мог взять этот прыжок через ущелье и не сорваться задними копытами, а из пещеры к морю можно было пройти только ползком неширокому человеку, слегка изодрав плечи.

Вот в этом соколином гнезде мальчики Плацид и Исаак в детстве развели выводок азорского сокола, и редчайшая птица Атлантиды, оставшаяся только на одной скале Азорских островов, привилась в этом горном ущелье, словно соединялись снова концы материка, разсеченные океаном, наступавшим на сушу. Анита и мальчик негр по имени Майка знали эту дорогу.

Леклерк прекрасно знал теперь свою ошибку. Думая встретить неразумное скопище рабов, привезенных когда-то негроторговцами во французские колонии, он полагал, что поход в Гаити будет увеселительной морской прогулкой. Полина Леклерк, его жена, ехала окруженная целой свитой, она не без иронии говорила с детьми Туссена, считая их исключением в негрской семье и

приписывая Парижу влияние, облагораживающее мысли, которые так пленительно и красиво формулировал молодой Платон.

Но вместо скопища рабов, вместо пестрой толпы кое-как вооруженных людей они встретили крепкую, закаленную в англо-испанской войне армию черных людей. Черные офицеры, черные инженеры, черные врачи; крепкая черная конница; прекрасная горная артиллерия, которую английские купцы продали Туссену для борьбы с Испанией; старые испанские пушки, которые испанские купцы продали Туссену для борьбы с Англией; сильные форты, удвоившие вооружение со времени Людовика XV благодаря стараниям артиллерийского генерала Дессалина; смелые глаза негрских солдат, открытая походка матросов черного фрегата; их песни о свободе Гаити, их песни о Матери земель, их песни о Черном генерале, к которому они относились, как дети относятся к отцу,—все это сначала испугало Леклерка, потом раздражило его против французского командования. Его собственные войска, после гибели половины отряда под Крет-а-Пьерро, сильно изменили свое отношение к войне.

На острове появилась страшная вещь—желтая лихорадка, которой не болели негры и которая косила людей по рядам и батальонам. Ужасное зрелище больных пугало здоровых. Одновременно и усталость негров и французов заставила Леклерка написать письмо министру Декре:

«Ослабляя негрскую армию, мы ослабеваем сами, гоняясь за необходимостью выиграть время. Если обстоятельства иногда вынуждают меня, гражданин министр, как будто уклоняться от буквальной цели врученной мне инструкции, поверьте, что я не теряю ее из виду, что я иду на уступки, крайне тяжелые, только для того, чтобы овладеть ими всецело и приспособить эти обстоятельства к выполнению моего плана. Ввиду того что мои отчеты, которые вы неосторожно, гражданин министр, отдаете в печать, вчера оказались напечатанными Туссенем в здешних негрских газетах, я прошу вас запретить печатание моих донесений. *Было бы неpolitично оглашать в Париже что бы то ни было, что указывает на наши стремления разрушить идеи свободы, равенства и братства, которые здесь у всех на устах*».

Прибыв в Деннери, Туссен нашел у себя письмо Леклерка от 1 мая 1802 года. Леклерк писал:

«Мне Первый консул поручил управление островом от имени Республики до того момента, когда конституция Гаити будет утверждена законами метрополии. Забудьте прежнее, я считаю вас преданным делу государственного управления и общественному благу колоний. Вы оправдаете надежды Первого консула, если согласитесь мне помогать ежедневным советом вместе с вашим братом Полем Лувертюром и вашими генералами. Мы согласились на следующие условия, предложенные от вашего имени...»

Туссен вскочил и ударил кулаком по столу:

— Кто предлагал?

— Что, что? — спросила Анита, гася кокосовый ночник и быстро запирая дверь.

Туссен вздохнул.

— Не пугайся, старуха, — сказал он.

Свет был снова зажжен, Туссен читал дальше:

«Полная и неприкосновенная свобода всех ваших сограждан, неприкосновенность и оставление в чинах и должностях всех гражданских и военных офицеров, назначенных вами.

Само собой разумеется, это условие, которое предлагаю я и которое я заверяю честным словом французского генерала, что вы и ваши друзья сохраните полную свободу передвижения по острову с вашим штабом и вашим отрядом. Мои желания суть только желания мира. Примите знаки восхищения и преданности.

Генерал-капитан *Леклерк*».

ГЕНЕРАЛ-КАПИТАН ЛЕКЛЕРК — МОРСКОМУ МИНИСТРУ
ДЕКРЕ

«18 флореаля 10 года (8 мая 1802)»

Гражданин министр, генерал Туссен отдался в наши руки. Он выехал сейчас отсюда, совершенно довольный и готовый выполнить мои приказы. Я думаю, что он точно их выполнит, ибо он убежден, что, если он их не выполнит, я сумею заставить его раскаяться в неповиновении. Очевидно, я внушил ему большое доверие, потому что он без оружия переночевал в штаб-квартире одного из моих генералов, причем с ним было только девять молодых негров. Я не теряю ни одной минуты для восстановления спокойствия и безопасности».

Полковник Брюне писал в Париж министру полиции Фуше:

«Гражданин министр, не памятуя прошлого, должен сказать, что в нашей колонии одинаково запоздали и Вандея и якобинский хмель; он бродит в головах с легкой руки гражданина Сантонакса, дело которого придется заканчивать, по-видимому, в два-три поколения, не меньше.

Здесь секретный агент Рош-Маркандье, именуемый литерой «А», разыгрывая из себя мулата, прибывшего с Ямайки, занимается торговлей и содержит целый штат «коммерческих агентов». Разъезжая по острову, они ведут точную регистрацию всем негрским вождям; у них записаны все артиллерийские расписания негров, они имеют в своих руках, главным образом через священников в католических испанских семьях, эти списки. Благодаря этому я располагаю уже сейчас именами 4087 офицеров младшего, среднего и старшего состава и имею в своих руках фамилии важнейших вождей негрского племени, числом 269 человек, которые по сплоченности, по фанатизму, по характеру принадлежности к тайной организации являются опасными не только для Франции, но и для всего цивилизованного человечества. Они представляют собой организацию вольных каменщиков, построенную по типу конспирации аббата Рейналя в Германии и в Англии. Совершенно несомненна их связь с некоторыми членами Конвента. Бывший аббат Грегуар, голосовавший за смерть короля Людовика, часто упоминается у них, но связь с ним не установлена.

Вы приказали сделать так, чтобы паутина была готова к сентябрю, уверен, что это так и будет, но самое трудное — это «мудрость» генерала Леклерка. Он боится выслать негров. Две армии, армия Клерво и армия Дессалина, представляют собой истинные революционные клоаки, перед которыми Якобинский клуб ничто. Это настоящие республиканцы, дерзкие, прекрасно владеющие оружием, опасные негры террористы. Они прекрасно знают военное дело. Они готовы умереть друг за друга, эти негодяи, и так как у нас в войсках желтая лихорадка косит людей и дня не проходит, чтобы побледневший человек не выскочил из строя с диким воплем, в бреду и, покрываясь потом, не набросился на командира, — то среди наших солдат появляется ропот. Желтая лихорадка не берет негров, пули не берут

Туссена, разведчики показывают, что в горах скопляются многотысячные отряды негров. Кристоф сидит в штабе Леклерка, к нему ежедневно приезжают адъютанты. Эти черные офицеры с гордостью проходят мимо наших постов, не отдавая чести старшим по команде, они прямо проходят в кабинет Кристофа и прямо сносятся с ним. Генерал-капитану, конечно, виднее, он имеет, по видимому, непосредственные инструкции Первого консула, но он играет с огнем, а мы все время ссорим между собой вождей черных отрядов.

Знаете ли вы, что произошло? 5 мая внезапно в штаб-квартиру у Капа, в том самом месте, где граф Ноэ отмечал впервые таланты Туссена, на плантации, купленной у сеньора Бреда, появился черный генерал Туссен Лувертюр. Он был верхом, без оружия, спокойный, с девятью офицерами. Он въехал во двор штаба с таким видом, как будто он входит в собственный дворец в Сан-Доминго. Генерал Леклерк и офицеры французского штаба вместе со мною вышли ему навстречу. Он спешил и пошел навстречу генерал-капитану. В это время Поль Лувертюр, его брат, кинулся ему на шею. Туссен нахмурил брови, поднял левую руку и отступил шаг назад со словами: «Остановитесь, воздержитесь от всяких свидетельств вашей пошлой дружбы, я не могу принять от вас ни знаков братского, ни знаков воинского подчинения до тех пор, пока не услышу заверения гражданина генерал-капитана». Он правой рукой дерзко указал на Леклерка, в то время как наш старый генерал, заслуженный генерал, никогда не забывающий, что он женат на родной сестре Первого консула — гражданке Полине Бонапарт, стоял на ступеньках веранды и держал руку под галуном треуголки, словно на параде перед Первым консулом Франции.

Сверкая белками, этот Черный консул дерзко сказал, обращаясь к брату: «Вы обязаны все ваши шаги соотносить с нашим решением, особенно в те часы, когда перед заходом солнца остается высчитывать минуты».

Ясно, конечно, что главный адъютант Леклерка, лейтенант-полковник Рошамбо, и сам генерал-капитан, все мы почувствовали неприятный озноб при проявлении такого высокомерия в присутствии высшего командования Франции. Я не был свидетелем беседы генерал-капитана с Туссеном Лувертюром. Знаю только, что никто из негрских командиров не виделся с Туссеном.

Когда генерал Анри Кристоф подошел приветствовать Туссена, на лице последнего отразилась горечь. Он поднял правую руку, Кристоф сделал то же, они приложили ладонь к ладони на высоте лица друг друга и разошлись молча. Из этого самого заключаю, что они враги навеки. Буду усиливать эту вражду.

В кантоне Гонаив есть местечко Деннери. По распоряжению главного штаба от имени Первого консула, это место переименовывается в город Лувертюр, в честь Черного консула. Там определено его местопребывание. Генерал Леклерк поручил мне обеспечить почетный ночлег Черному консулу. Мы шли с ним пешком полтора километра до моей квартиры. Негры и французы выбегали из палаток, негры становились на одно колено и поднимали правую руку к небу, у некоторых на глазах стояли слезы. Было такое впечатление, что какой-то новый апостол идет с проповедью новых откровений, и в глазах наших солдат я не прочел вражды к этому человеку. Он очень опасен, этот Туссен Лувертюр.

Утром на заре я услышал шорох в его комнате. Сержант Мишле прибежал ко мне и сказал, что Туссен и его девять офицеров спали крепчайшим сном; никто не выходил, никто не подползал; кордон и эскадрон орлеанских драгун не спали всю ночь. Итак, прежде чем проститься с Туссеном, я выслал по всей дороге в Деннери два эскадрона, по три справа и слева от дороги; они должны будут следить все время за путешествием Туссена в его заштатную резиденцию.

Рош-Маркандье послал в Деннери двух корсиканских сержантов под видом торговцев. Оба свяжутся со старостой тамошнего почтового пути, раз в двое суток отправляющегося с кожаной сумкой на муле из города «Лувертюра» до морской почты в Капе.

Со знаками всяческого почтения я проводил Черного консула и девять его адъютантов, молчаливых, молодых, весьма неприятно загадочных негров.

Для чего приезжали эти девять человек? Они ни с кем не сказали ни слова, они сопровождали Туссена с таким видом, как будто охраняли какую-то святыню. Они почти не прикоснулись к еде, но каждый осторожно и незаметно пробовал кушанья, предложенные Черному генералу. Они прекрасные наездники; не держась за луки, без стремян, они с разбега вскакивают на коня, из них самому старшему, мне кажется, девятнадцать. Что они за

люди? Что это за порода людей? Я пытался, в порядке дисциплины штаба, спросить их фамилии. Все они делали вид, что не говорят по-французски. Переводчик сообщил мне такой вздор, в котором не было никакого смысла. А между тем сержант Мишле видел, с какой жадностью они набросились в штабе на французские газеты в тот час, когда они больше всего были уверены, что ни один человеческий глаз их не видит. У меня такое впечатление, что Туссен является начальником огромной секретной организации острова и что он самый опасный человек из всех врагов Франции. Я исполнил приказание господина министра и пишу подробно не только факты, но и свои соображения. Корабль «Мезон» готов. Первую отставку мы предлагаем сделать в шестьсот человек.

Начальник секретной полиции, адъютант
генерал-капитана *Ромуальд Брюне*».

Ночью при факелах проходили мимо широких каменных труб, несших из-под земли сладкий пар глубоких подземных сахароварен. В заброшенной лачуге съехались Дессалин, Кристоф, Клерво, Морпа и Туссен Лувертюр. Обменялись пакетами почти молча, назначили сроком сентябрь, так как, по-видимому, Франция, предполагая,— говорил Дессалин,— в сентябре уже применить подробно разработанную инструкцию репрессий и рабства, до того выработала негласную тактику.

Туссен должен был оставаться в стороне; его принадлежность к штабу Леклерка помешала бы выступлению на стороне людей своего племени, его открытые выступления против Леклерка или призывы против французов компрометировали бы тех негрских генералов, которые были в силу соглашения привлечены Леклерком для помощи по управлению колониями. Итак, выхода не было, нужно было демонстративно объявить о разрыве перед французами и прекратить свидания до августа месяца. На этом расстались.

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛ-КАПИТАНА ЛЕКЛЕРКА ВОЕННОМУ
МИНИСТРУ ДЕКРЕ

«18 флореаля 10 года (8 мая 1802)

Гражданин министр, болезнь производит разрушительные действия в армии, находящейся под моим командованием. Вы убедитесь в этом из рапорта, прилагаемого

мною к письму о состоянии французского оружия в колониях. Вы увидите, что армия, в которой еще недавно мы числили под ружьем двадцать шесть тысяч солдат, завтра едва может насчитать двенадцать тысяч штыков. Сверх того, из них полегло в госпитали и больницы три тысячи шестьсот человек. Я ежедневно теряю от тридцати до пятидесяти человек в колониях, и не проходит дня, чтобы в госпиталь не поступило от двухсот до двухсот пятидесяти человек больными. Спасутся из них не больше пятидесяти. Госпитали переполнены. Я отдаю на лечение солдат все мои заботы, но обратите внимание на то, что я явился сюда и наше появление вызвало пожары. Главные здания сожжены в городах, сожжены госпитальные корабли, все мое госпитальное оборудование относится к прошлому, гарнизоны, стоящие в городах, сильно страдают от отсутствия казарм, солдатам не хватает гамаков, так как они все перешли к флоту. Гибель человеческого состава армии поистине ужасна, и врачи уверяют меня, что это еще только начало. Что может быть страшнее этой болезни—желтой лихорадки? А между тем, чтобы *стать подлинным хозяином Сан-Доминго, мне необходимо самое меньшее двадцать тысяч человек солдат, обязательно вывезенных из Европы.*

Больше нельзя терять ни секунды, посылайте подкрепление немедленно, чтобы не ухудшилось мое теперешнее и без того плохое положение. Я приготовил корабль «Мезон», он пойдет на Корсику, для того чтобы отвезти сто двадцать вожаков, самых опасных негров, которые будут арестованы на днях. Это очень опасные люди, распорядитесь заключить их в самых уединенных замках Корсики».

Но дни проходили за днями,—европейская помощь не приходила. Леклерк чувствовал надвигающуюся грозу, капитан корабля «Мезон» сообщил, что Исаак Лувертюр «нечаянно упал с борта и утонул». Ничто так не действовало на Леклерка: эта нечаянность навела его на худшее подозрение¹. Встревоженный, в тягчайшем состоянии духа, он хотел уведомить Туссена, но раздумал. Как раз в эту минуту пришел перекрашенный мулатом Рош-Маркандье. Он принес перехваченное письмо Туссена

¹ Во Франции существуют фальсифицированные записки Исаака Лувертюра. Их написал не подлинный, а поддельный Исаак. (Примеч. автора.)

Лувертюра, в котором золотыми чернилами был подчеркнут один абзац:

«Я решил, что месяц жерминаль обошелся Франции в двести человек, умерших от желтой лихорадки, месяц флореаль стоил им тысячи восьмисот человек, прериаль уже в самом начале дал двести заболеваний. Французы бросаются на ниоппу, ниоппа помогает желтой лихорадке. Знаешь ли ты, что ниоппу ввезли из Луизианы сами же французы, для того чтобы травить наши же войска? Среди наших негров нет никого, кто применял бы ниоппу; наши братья держатся стойко в несчастье. Пиши мне, как всегда, Анита меня найдет».

Леклерк положил руку на письмо, спросил:

— Кому адресовано?

Рош-Маркандье пожал плечами:

— Оболочка и начало письма уничтожены. Человек, несший письмо, покончил с собой.

Леклерк вздрогнул и отпустил Рош-Маркандье. Он хлопнул в ладоши:

— Вызвать полковника Брюне!

Вестовой отправился за полковником. К ночи Брюне был на месте. Совещались вдвоем долго и спорили горячо. Леклерк настаивал на аресте Туссена. Брюне — на аресте Дессалина и Кристофа. Брюне говорил:

— Я не верю, чтобы эти два мошенника серьезно разошлись с Туссеном. Эта ссора для виду.

— А я уверен,— спорил Леклерк,— что, если я прикажу Дессалину произвести арест Туссена, он сделает это не сморгнув. Я прекращаю спор,— сказал Леклерк,— и приказываю вам дать распоряжение, чтобы капитан «Героя» стоял на якоре за мысом Деннери, чтобы два шлюпа дежурили у берегов. Вы займете Деннери с небольшим отрядом, сообщив почтительно семье Туссена, что у вас есть сведения о готовящемся покушении на Черного генерала. Сошлитесь на то, что у него есть завистники среди бывших черных друзей. Остальное вы знаете. Необходимо, чтобы через полчаса после ареста он был на корабле.

Мальчик привстал на стременах лошади, наклонился вперед, стиснув коленями бейнфутера, и почти опустил поводья. Лошадь с тихим свистом перенеслась через ущелье. Вот задние копыта примкнули к передним, вот в

одну точку ударились все четыре конские ноги на узкий, короткий выступ противоположной скалы. Лошадь весело заржала, мальчик сел плотно в седло и случайно оглянулся. Сержант французской гвардии летел ему вдогонку, не видя прыжка, и кричал, размахивая кивером, грозил выстрелом из пистолета. Заведя лошадь за выступ скалы, мальчик соскочил. «Такого случая упускать нельзя»,—мелькнуло у него в голове. Он прилег за камнем и ожидал приближения скачущего офицера. Но все произошло иначе: смерть последовала без выстрела. Французский конь, не зная пропасти, оборвался с разбегу, и через мгновение легкий плеск на дне ущелья показал, что все кончено.

Майка первым долгом передал Туссену.

— Генерал,—сказал он просто,—здесь появилась гвардейская конница французов. Один офицер разбился, другой может перескочить. Нехорошо, что они здесь,—где один, там и другие.

Лицо Туссена стало серым, глаза потухли мгновенно.

Прежде чем Майка успел по поручению Черного генерала выехать в Деннери на разведку, на далекой вершине появилось два костра, и Туссен остановил Майку.

Два дня ходило письмо Туссена к Леклерку. Ответ Леклерка был короток. Генерал писал:

«Мне ничего неизвестно о занятии Деннери французскими войсками. Маленький отряд конницы с генералом Брюне объезжает морской берег. Вероятно, Брюне сейчас в Деннери. Есть сведения о том, что ваши бывшие друзья готовят на вас покушение. Вы редко посещаете наш штаб, я нуждаюсь в вашем совете. Если имеете какие-нибудь претензии, то повидайтесь с генералом Брюне и передайте ему мое приказание исполнить все ваши желания.

Генерал-капитан *Леклерк*».

«ПЕРВОМУ КОНСУЛУ

22 префиаля 10 года (11 июня 1802)

Гражданин консул, я осуществил решение, которое должно принести колонии большое благо. Я, как я вам уже писал об этом, приказал арестовать генерала Туссена. Я посылаю вам его во Францию вместе со всей его семьей.

Эта операция была не из легких, но она удалась как нельзя более счастливо. В течение нескольких дней он объединил вокруг себя от шестисот до семисот землевладельцев и большое количество дезертиров. Он отказался явиться на два свидания, назначенные ему генералом Брюне. За несколько дней до того он написал мне, жалуясь, что я поставил отряды солдат в Деннери, которое он избрал своей резиденцией. Я ответил ему, что, во избежание всякого повода для жалоб с его стороны, я уполномочиваю его договориться с генералом Брюне на месте расположения отрядов в этом кантоне. Он отправился к генералу Брюне и там был арестован и посажен на судно. Человек двадцать его сторонников были арестованы в окрестностях. Я отправляю их в Кайенну. Мною составлена прокламация, возвещающая о его поведении; тем не менее состоялись сходки и собрания, но я держу линию против Черного генерала и надеюсь восстановить порядок. Черные остались без компаса (руководства); все они разбились между собой. Сегодня арестовали одну из любовниц Туссена, явившуюся сюда с целью меня убить...

Туссен увезен — это значительное достижение, но черные снова вооружены, и мне нужны силы, чтобы их разоружить. Болезнь делает здесь страшные успехи, и невозможно рассчитать, на чем она остановится... Возможно, что к октябрю в Сан-Доминго не останется и четырех тысяч человек французских войск. Судите же, каково будет мое положение... Мое здоровье все еще плохо, и если бы мое положение было настолько прочно, чтобы мне можно было не беспокоиться, могу вас уверить, что я попросил бы у вас заместителя, но я буду делать все возможное и беречься, чтобы продержаться здесь еще шесть месяцев. К тому времени я все окончу, если, конечно, морской министр не будет забывать обо мне, как он это делал до сих пор...

Не следует оставлять Туссена на свободе. Заключите его где-нибудь внутри республики, с тем чтобы он никогда более не увидел Сан-Доминго».

Генерал-капитан Леклерк спал, он выпил большую золотую чашку капского рома, густого, золотистого, ароматичного. Полина Леклерк поздравила его с успехом большого и сложного дня.

Четырехмачтовый фрегат, напрягая паруса и клонясь

на левый бок, уже четырнадцать часов везет негрского апостола по волнам океана. Усиленные патрули утром и вечером, легкая перестрелка в Деннери. Шестьдесят восемь негрских трупов, повисших на кофейных деревьях, и полная тишина.

Веранда закутана муслином, погашена лампа с четырнадцатью кокосовыми фитилями; шандалы со спермацетовыми свечами, бронзовые, с стеблями голубого севрского фарфора, догорели один за другим. Походная кровать и человек в белом, слегка всхрапывающий и откинувший руку далеко назад. Вот зрелище походного кабинета генерала.

Госпожа Полина Леклерк-Бонапарт спит в больших покоях, слуги и две камеристки чутко спят в соседних комнатах.

И вдруг, среди полного покоя ночи, падение шандала разбудило Леклерка. Он встал, быстро нащупал огниво, но был повален. Холодная рукоятка зацепила его висок, он схватил тонкую хрупкую руку человека, стремившегося его убить, схватил его руку так грубо, что хрупнули кости и нож выпал из рук покушавшегося. Но другая рука схватила его за горло, началась борьба. Леклерк почувствовал, что перед ним женщина; быстро сдернув ремень с походной кровати, он перевязал ей руки за спину и тем же ремнем скрутил ей ноги ниже щиколоток. Все это молча, без единого крика. Потом спросил:

— Вы одна?

— Одна,—сказала она.

Леклерк зажег свечу. Перед ним на полу с разбитой нижней губой, из которой струилась тонкая полоска крови, лежала женщина. Леклерк сразу узнал француженку.

— Ну, что же все это значит?—спросил Леклерк.

— Это значит, что вы опозорили Францию. Это значит, вы на много лет запятнали Республику, вы совершили бесчестный поступок, весь остров заговорит про предательство, все поднимутся как один человек. То, что вы делали, долго не умрет. То, что делали лучшие люди Республики, вы уничтожили одним бесчестным жестом подлой политики.

— Ах, вот как!—сказал Леклерк.—Кто вы такая?

— Я не обязана отвечать на этот вопрос.

— Чего вы хотели?

— Зарезать предателя Франции, предателя Туссена.

— Он ваш любовник? — спросил Леклерк с солдатской наглостью.

— Стыдитесь, генерал! — ответила женщина. — Вы не знаете, кто этот человек, вы не знаете, что у него не было своей жизни, вы не знаете, как к нему относятся люди. До появления вашей эскадры, до сожжения Капа никто не сделал столько на земле добра, сколько сделал этот старый негр. Его чтили французские дети, матери выносили на дорогу ребят, чтобы показать путь, по которому проходил их вождь.

— Вы француженка? — прервал ее Леклерк.

— Да.

— Член Якобинского клуба?

— Да.

— Как ваше имя?

Женщина молчала. Леклерк подошел, развязал ремень и сказал:

— Вы знаете, что вас ждет? Садитесь за стол и пишите.

Девушка встала, расправила руки. Леклерк быстро убрал ее нож и положил перед собой большой корабельный пистолет, взведя курок.

— Если вы патриотка, — сказал он ей, — вы обязаны сказать, кто подослал вас. Раскаяние ваше произведет хорошее впечатление на суд, и даже больше того, я обещаю отпустить вас.

— Меня никто не посылал, я послушалась первого порыва возмущенного сердца, я совсем не нуждаюсь в вашей пощаде. Что будет представлять дальше жизнь здесь и во Франции? Здесь вы испортили все, что за четыре года сделано этим человеком. Ему и его друзьям удалось показать неслыханный в мире опыт. Как только исчезло рабство, как только труд стал свободным, как только исчезло порабощение человека человеком, то презируемая вами раса показала, что она лучше и умнее своих поработителей. Помните, старик, что с вами говорит человек, которому уже ничего не страшно.

Леклерк вздрогнул. Уже с утра его томил озноб, в самую жаркую пору он пил большими стаканами крепчайший ром. Теперь вдруг этот озноб усилился, и он почувствовал, что еще секунда, и застучат зубы. Не помня себя, он говорил:

— Ваши черные с каждым днем становятся все более дерзкими, я должен работать над их разрушением. У

меня едва остается девять тысяч французских солдат, все остальные ненадежны. Вот почему я не мог тронуть всех и взял только одного Туссена. Голос французской крови должен подсказать вам...

Тут озноб прошел.

«Что это я говорю? Кому это я говорю?» — подумал Леклерк.

Взяв пистолет в правую руку и наведя его на женщину, Леклерк, пятясь, подошел к двери и тронул за плечи храпящего ординарца. Тот спросонья, вздрагивая веками, встал перед генералом.

Леклерк сказал:

— Пишегрю, сейчас же позови полковника Брюне или начальника штаба. Никого не буди.

— Полковник Брюне еще не прибыл, — ответил Пишегрю.

— Тогда военного прокурора Гальбо.

Пишегрю вышел.

Гальбо явился почти мгновенно, он не ложился еще спать. Позванивая шпорами, он вошел на веранду и по-военному приветствовал Леклерка. Леклерк коротко и отрывисто сказал:

— Эта женщина — любовница Туссена, она подслана им и сама призналась, что намеревалась меня убить по предписанию Черного генерала. Вот вещественное доказательство — нож, отнятый мною у нее, и вот скандал с поломанными свечами и разбитым фарфором — она его уронила в темноте. Достаточно ли этих улик, гражданин прокурор?

Девушка казалась безучастной. Морщины залегли у нее между бровями, она молчала и не смотрела на говоривших.

Гальбо оглядел ее с ног до головы, поправил свой головной убор, молодежато подтянулся и сказал:

— Генеральный капитан, достаточно вашего слова, и никаких улик не требуется, кроме вашего показания. Военный суд сейчас соберется.

Второй ординарец с пистолетом в руке, послушный кивку головы военного прокурора, подошел к женщине. Она пошла как тень и долго еще виднелась белым пятном в темноте сада. Белое пятно исчезло за оградой вместе с затихающим звоном шпор военного прокурора.

Под утро на островке тело казненной девушки было зарыто. История сохранила только один документ: шесте-

ро драгун были приговорены полковником Брюне 13 июня 1802 года к получасовому стоянию под ружьем с учетом трудностей предшествующего похода, то есть фактически оставлены без наказания. В графе «вина» проставлено было только: «Сношение с проституткой, казненной за покушение на генерал-губернатора».

Леклерк старался заснуть в эту ночь, но это удавалось ему урывками. Перед утром тени деревьев сползали медленно, бросая фантастические узоры на покровы и ткани. Леклерк вскочил. Подняв голову с подушки, он внимательно смотрел на черную, меняющуюся, расплывчатую тень; она менялась слишком быстро — он сразу понял, что на дереве есть человек. Было еще настолько темно, что по движению нельзя было определить, куда устремляется тень. Но вот она вдруг круто спустилась с дерева, словно ушла вниз головой. Леклерк, задрожав всем телом, вскочил с кровати и хотел кричать. От стены совершенно ясно отделилась черная фигура. Закинув голову назад и комкая матрац, генерал сделал страшное напряжение, чтобы крикнуть дико, нечеловечески, но сдавленное горло не выпустило даже сипения. Черный генерал подходил к нему тихими шагами. Это был Туссен Лувертюр.

Доктор держал генерала за руку.

— Пульс нормальный,— говорил он Полине Леклерк.— Легкое удушье от выпитого вина. Надо очистить желудок и сделать кровопускание.

При слове «кровопускание» Леклерк проснулся. Он чувствовал себя легко, и ночное происшествие казалось тяжелым сном. Но пришедший в полдень Брюне предложил на конфирмацию приговор к смертной казни через повешение женщины, отказавшейся себя назвать.

— Простите, генерал, мои офицеры поторопились,— сказал Брюне,— дело уже сделано.

Леклерк мрачно подписал приговор и сказал Брюне о том, что его беспокоит штаб-квартира. По совету адъютанта Леклерк переехал в другое помещение. Низ был превращен в крепость, верх — в канцелярию и спальню Леклерка.

Полина Бонапарт-Леклерк давно жила не с мужем. Антуан Метраль, участник экспедиции, писал в 1825 году, что, увлеченная красавцем драгуном Умбертом, она отдельно поселилась на склоне приморского холма. Носимая в паланкине, она часами проводила время на отмели,

окруженная музыкантами, певцами и красивыми парами влюбленных мужчин и женщин, юных креолок — богинь любви и спутниц тех французских офицеров, которые «за красоту» получили бессрочный отпуск в свиту жены Леклерка. «Взрыв желтой лихорадки резко изменил нравы армии», — пишет Метраль. Горсточка героических женщин бросилась в госпитали и лазареты. Лихорадка уносила тысячи людей. Гибли солдаты, врачи, офицеры, но негры и мулаты вовсе не болели. Леклерк видел, как таяла армия. Тем временем жена правителя разыгрывала то Венеру, плывущую в корабле-раковине по розовым волнам вечернего моря, то Клеопатру, приглашавшую всех разделить буйные радости этого нового «пира во время чумы». Красивые черные эфебы тринадцати — четырнадцати лет прислуживали этой «царице пира» за ужином и позже. Полина сама говорила, что «если смерть так близка, то необходимо встретить ее картинами французского «Декамерона». Чрезмерно занятый Леклерк долго не видел этого. Наконец увидел. Под видом спасения жены от опасности желтой лихорадки он потребовал отъезда ее в Париж.

Полина Бонапарт отбыла в Париж.

Три корабля один за другим отплывали от Капа. Первый вез донесение Леклерка о том, что он приступил к исполнению инструкции Первого консула — вырвать с корнем мозг и сердце негрского племени, переловить вождей и выслать их во Францию.

Второй — четырехмачтовый фрегат «Герой» — вез в кандалах прикованного цепью в тесной носовой каюте, обитой железом и пробковым деревом, Туссена Лувертюра. В кормовой каюте в деревянных клетках плакали старая негритянка и ее дети. Один раз в сутки им давали пищу. Дочь Туссена качала на руках умирающего ребенка; не хватало воды, у нее иссякло молоко.

На третьем корабле старый адмирал в большой кают-компании, окруженный офицерами, за обеденным столом занимал изящной, веселой беседой красивую сестру Первого консула, жену правителя Леклерка, Марию Полину Бонапарт-Леклерк. Молодая женщина щебетала, как птица, она мечтала о Париже и вздыхала о брате, как о чужом человеке. Тончайшие ломти мягкого золотистого ананаса, тридцать семь сортов антильского варенья, кипящее и пенистое вино украшали стол. Воен-

ный шестидесятипушечный бриг мчался по волнам без качки и кренов, его громадные паруса глотали ветер, и под бугшпритом волны кипели и пенились, как вино в бокалах веселящихся офицеров, провожающих жену правителя Сан-Доминго во Францию, где она станет снова женой Первого консула.

Адмирал Вилларэ де Жуайез, старый аристократ, уцелевший при всех режимах, вез секретный пакет с надписью «строгая тайна». В пакете было письмо,— оно до сих пор хранится в Морском архиве Третьей французской республики. Вот что в нем написано:

ГЕНЕРАЛ-КАПИТАН—МОРСКОМУ МИНИСТРУ ДЕКРЕ

«22 префиала 10 года (11 июня 1802)

Строгая тайна.

Гражданин министр, вот я послал во Францию этого человека, представляющего собой столь страшную опасность для острова.

Следует, гражданин министр, чтобы правительство поместило его в глухую, изолированную крепость, где-нибудь в глубине Франции, чтобы у него никогда не появилась возможность вернуться в Сан-Доминго, где он пользуется неограниченной властью и влиянием апостола какой-то секты. Если этот человек появится в Сан-Доминго через три года, то, уверяю вас, он сможет в три дня разрушить здесь все, что успеет сделать Франция.

Я отнял у черных людей их точку опоры, но, увы, я чувствую себя до крайности слабым, я поддерживаю свои физические силы лишь необычайным напряжением нравственной воли.

Прошу вас настоятельно, пришлите мне помощь, без этого я не смогу предпринять разоружения, предписанного мне инструкцией. Я без снаряжения, я не являюсь хозяином в колонии. Пришлите мне деньги, армия в крайней нужде.

Гражданин министр, сделайте же для нас хоть что-либо. Не оставляйте нас в забвении, как вы делали это до сих пор. Сознаюсь вам, что это забвение—единственный повод к тому отвращению, которое возникло во мне при выполнении порученного мне Францией очень трудного предприятия».

В океане, приблизительно на меридиане Саргассова моря, ночью встретились два корабля. Мигали бортовые огни, цветные фонарные сигналы понеслись через лунную ночь над волнами. На адмиральском корабле матросы говорили:

— Этот господин, жену которого мы везем, господин Шарль Виктор Эммануэль д'Остэн. Я о нем узнал всю подноготную. Ему тридцать два года, а он седой, состарился в итальянском походе. Сейчас торжествует — отправил негритянского вождя во Францию.

На палубе курили офицеры, сидели камеристки Марии Полины Бонапарт. Офицеры говорили шепотом:

— В день восемнадцатого брюмера старик оказал важную услугу Первому консулу, вот почему Леклерк д'Остэн получил руку Марии Полины. Она ведь действительно хороша, — произнес молодой лейтенант.

— Избави меня боже от такой хорошестьи, — произнес другой офицер. — Хуже всего, что Первый консул не помнит о родственных связях.

— Тем лучше, — сказал один офицер.

— Тем хуже для мужа его сестры, — ответил другой.

На вахте прозвонила рында, хотя никакого тумана не было. Издалека виднелись топовые огни встречного корабля, потом сквозь летнюю ночь пронесся звездообразный сигнал. Франция передавала привет Франции, встречный корабль «Гермес» салютовал адмиральскому бригаду.

Адмирал давно уже покоился в капитанской каюте. Капитан ночевал в каюте первого штурмана, штурман — в каюте помощника капитана. Все чины были перепутаны и снижены на два ранга ради того, чтобы супруга правителя Мария Полина Леклерк со своей свитой могла спокойно занимать шесть светлых кают с клавесином, туалетным столиком, библиотекой, ванной комнатой и уборной адмиральских покоев.

Встречный корабль с борта салютовал шестью выстрелами адмиральскому кораблю. Получил свободный пропуск и двинулся дальше.

На нем плыли две тысячи вооруженных каторжан, законтрактованных в Тулоне, в Марселе и Бресте для войны на Антильских островах. Каждый получал кусок земли, факторию свободного негра, по представлению

ротного командира, который должен был удостоверить, что этот солдат действительно убил двенадцать человек, что он не отказался ни от каких операций и что он беспрекословно выполнял все приказания. А в капитанской каюте «Гермеса» лежал пакет, адресованный в Сан-Доминго. Он был датирован:

«ПАРИЖ»

25 прериала 10 года (14 июня 1802)

МИНИСТЕРСТВО МОРСКОЕ И КОЛОНИЙ

МИНИСТР ДЕКРЕ

ГЕНЕРАЛ-КАПИТАНУ ЛЕКЛЕРКУ, САН-ДОМИНГО

Гражданин Генерал-Капитан, текст закона от 30 флореаля, несколько оттисков которого я вам посылаю, согласно полученному приказанию не может и не должен, конечно, упоминать о колонии Сан-Доминго. Номинально он применим, в части, касающейся восстановления рабства, лишь к тем учреждениям, в которые мы вольемся после всеобщего мира, и к восточным колониям, но вы обязаны принять его как безусловное восстановление торговли неграми,—в этом нуждаются все наши колониальные владения. Именно относительно этого оба пункта, теснейшим образом связанные друг с другом, столь же щекотливы, сколь и значительны. Я имею передать вам намерения и распоряжения правительства. В том, что касается возврата к прежнему режиму черных, естественно, вы проявите некоторую дипломатическую сметливость и политическую осторожность, в силу кровавой борьбы, из которой вы только что вышли славным победителем. Правительство говорит вам: не спешите с немедленным свержением ложного кумира свободы, во имя которого, увы, в самой Франции пролито столько напрасной крови. Это значило бы поспешностью вызвать войну. Вам предписывается в течение еще некоторого, очень короткого промежутка военная бдительность и дисциплина в ваших войсках. Эти условия полевого и военного положения должны постепенно и неуклонно переходить в позитивное рабство цветных и черных людей ваших колоний. Главное необходимо, чтобы, сменяя военную власть, законные рабовладельцы хорошо обращались с неграми и

привязывали бы их к своему господству. Они должны почувствовать сравнительную разницу между тираническим ярмом военного закона и правами своих законных владельцев. Тогда наступит момент вернуть черных и цветных людей в их *естественные условия*, от которых они были освобождены только в силу роковой случайности. Что касается торговли неграми, то она более чем когда-либо необходима в целях рекрутирования рабочей силы для мастерских и предприятий после того огромного опустошения, которое было произведено в них десятилетними волнениями, в силу чего свободные места остались незамещенными.

Итак, ваша цель в Сан-Доминго — поощрять неготорговлю, бесспорно поощряя покупателя уверением в том, что его права покупателя негрской силы ограждены законами Французской республики.

Но вообще говоря, гражданин генерал, вы должны быть подчинены мудрости ваших намерений, и даже в деле обнародования этого закона, о котором хлопочет правительство, вы приостановите публикацию его, если сочтете это удобным. Обстоятельства подскажут вам, какие решения нужно будет принять немедленно, и, конечно, никто лучше вас не сможет оценить эти обстоятельства.

Будучи не уверен в том решении, которое вы сочтете нужным принять немедленно, я воздерживаюсь от письма к гражданину начальнику колониальной полиции, но я не сомневаюсь в том, что ваше доверие к нему побудит вас посоветоваться с ним по вопросу о документе столь высокой значимости».

К этому документу было приложено письмо на имя генерала Ришпанса в Гваделупе, в котором в категорической форме предлагалось немедленное установление рабства. Письмо на имя Ришпанса кончалось особым упоминанием двух параграфов нового закона.

«§ 1. Установление в мастерских полицейского надзора и законов порядка работ, настолько активных, что они будут превосходить дисциплину прежнего рабства.

§ 2. Благоприятное отношение к торговле неграми, причем покупателям следует давать полную юридическую гарантию относительно рабства черных, которых они будут приобретать от французских и иностранных судовладельцев...»

Генерал Леклерк со штабом переселился в Сан-Доминго. Молодые люди Туссена, полковые адъютанты, секретари, преданная его делу молодежь были расстреляны. Дессалин и Кристоф не выразили никакого удивления. Морпа, Клерво, Лаплюм составляли отныне штаб Леклерка.

«Монитор» от 23 прериала содержал краткое извещение о сдаче Туссена Лувертюра и о полном замирении Сан-Доминго.

Леклерк получил краткую записку Первого консула:

«Я рассчитываю, что к концу декабря вы пришлете нам сюда всех черных генералов, без этого мы ничего не сделаем».

Высылка началась. Дессалин превосходил в жестокостях Леклерка, негры стонали от его зверских выходок. Кристоф, не желая подражать Дессалину, иным способом доказал генерал-капитану свою полную преданность декретам консульской Франции. Он заявил о своем желании отправить единственного сына в Париж учиться и сам обратился к генерал-капитану с просьбой препроводить его, Кристофа, во Францию. Тысяча офицеров, по приказу Леклерка, получили назначение во французские батальоны метрополии. Их сажали на корабли и отвозили в гавани Тулона, Марселя, Ларошеля, Рошфора, Бреста, Гавра, Сен-Мало, Кале, Дюнкерка.

Леклерк был напуган преданностью черных генералов гораздо больше, чем их враждой.

ПИСЬМА ЛЕКЛЕРКА

ЛЕКЛЕРК — ДЕКРЕ

«17 мессидора 10 года (6 июля 1802)»

Гражданин министр, после того как Туссен был посажен на корабль, несколько человек захотели продолжить смуту. Я дал распоряжение их расстрелять или выслать. С этого времени несколько колониальных отрядов как будто намеревались устроить мятеж; я дал

приказание расстрелять вождей, и в настоящее время отряды скрывают свое недовольство, но расформирование частей производится. Черные генералы теперь хорошо видят, что я окончательно разрушу их влияние в стране, но они уже не смеют поднимать знамени восстания:

1) потому, что они больше, нежели нас, ненавидят друг друга и очень хорошо знают, что я уничтожу одних при помощи других;

2) потому, что черные не отличаются храбростью и что эта война их напугала;

3) потому, что они боятся мериться силами с тем, кто уничтожил их вожда.

При этих обстоятельствах я предлагаю идти большими шагами к своей цели. Юг и запад почти что разоружены; север начнет разоружаться через неделю. Установив жандармерию, я нанесу последний удар. Если это мне удастся, что вполне вероятно,—Сан-Доминго будет действительно возвращен республике...

Смертность продолжает косить население колоний и в настоящее время. Месяц прериаль обошелся мне в 3000 человек; месяц мессидор обойдется мне еще дороже; уже сейчас каждый день обходится мне в 160 человек. Я приказал, чтобы в настоящее время была произведена проверка армии по корпусам. Сейчас у меня под ружьем всего 8500 человек, не считая только что присланных 2000. Мои отряды, однако, питаются настолько хорошо, насколько это возможно, и не утомляются...

С 21 жерминаля я не получал от вас ни одного письма. Я пишу вам очень аккуратно, а вы не отвечаете ни на одно из моих писем. Забвение, в котором вы меня оставляете,—жестоко. Я просил у вас денег, одежды, госпитальных принадлежностей, артиллерийского оборудования, рабочих. Вы мне ничего не прислали; вы меня ни о чем не извещаете».

2

ЛЕКЛЕРК—ПЕРВОМУ КОНСУЛУ

«17 мессидора 10 года (6 июля 1802)

...Среди черных вождей, правда, имеется намерение поднять восстание, но я помешаю им достигнуть цели. Юг и запад разоружены, север вскоре будет разоружен.

Несмотря на суровость климата, я не замедлил своих операций и продолжаю идти большими шагами к наметенной цели. Через два месяца я объявляю Сан-Доминго возвращенным Франции. Я рассчитываю это сделать к первому вандемьеру. Тогда я отпраздную торжество всеобщего мира. К тому времени никто больше в Сан-Доминго не будет мешать мне, и вы будете удовлетворены».

3

ЛЕКЛЕРК — ДЕКРЕ

«23 мессидора 10 года (12 июля 1802)

Я еще не смог распорядиться насчет разоружения севера. Эта операция весьма деликатна, а мне невозможно подумать о том, чтобы заставить европейские отряды идти в настоящее время. Один батальон из легиона Капа потерял триста человек из шестисот после трехдневного похода. Мои черные отряды очень слабы, и отставные офицеры их волнуют.

Мой гарнизон в Капе очень слаб, и я не могу увеличить его, не рискуя потерять половину отряда, который я волею в него. Я вынужден, в целях успеха, действовать с большой осторожностью. В течение последней недели состоялись ночные сходки в долине и даже в городе. Я еще не знаю вождей, но веду наблюдение. Целью заговора является избиение европейцев. Надо начинать с генералов. Я не дам им возможности привести в исполнение их намерение. Я тороплюсь с организацией жандармерии и разоружением. Я буду спокоен лишь тогда, когда эти обе операции будут закончены...»

4

«29 мессидора 10 года (18 июля 1802)

...Положение колонии хорошо. Разоружение севера производится без шума. Несколько разбойников укрылись в горах, но они отрезаны и не смеют приближаться к учреждениям».

«4 термидора 10 года (28 июля 1802)

Я только что узнал о неприятном происшествии: разоружение Тортю было плохо организовано, черные восстали и сожгли несколько домов. Я пошлю туда отряды. В Порт-о-Пэ имело место подобное же восстание, но я не знаю подробностей. Мне невозможно отправлять куда бы то ни было европейские отряды,—они подыхают в дороге. У меня весьма мало колониальных отрядов; я распустил многие из них, так как мне было неудобно держать их в большом количестве. Я сообщу вам о последствиях этих восстаний через несколько дней; возможно, что восстание в Порт-о-Пэ окажется серьезным, но я надеюсь с ним справиться».

ЛЕКЛЕРК—ПЕРВОМУ КОНСУЛУ

«21 термидора 10 года (9 августа 1802)

Гражданин консул, мое положение улучшилось со времени моей последней депеши благодаря прибытию двух тысяч человек, прибывших из Генуи и из Тулона. Я немедленно отправил эти отряды на место, и их присутствие приостановило мятежи. Это уже много при настоящих обстоятельствах. Завтра я отправлю одновременно в различные пункты все, что я только мог набрать из числа европейских и колониальных отрядов. Я буду иметь честь известить вас немедленно, после того как операция будет закончена. Но от сего числа до первого вандемьера я ожидаю, что нас будут тревожить горсти разбойников. И в это время я буду уничтожать всех, кто не будет покоряться.

Я доволен Дессалином, Кристофом и Морпа; эти трое единственно пользуются влиянием, остальные ничтожны. Кристоф и Морпа в особенности много помогли мне при последних обстоятельствах. Кристоф и Дессалин просили меня не оставлять их здесь после моего отъезда; это дает вам возможность судить о том доверии, которое они питают ко мне. Я надеюсь в первые дни брюмера отправить во Францию или куда-нибудь еще тех, кто мне здесь мешает...

Я надеюсь уехать в вентозе. К этому времени вы мне,

вероятно, пришлете заместителя. Могу вас уверить, что я очень заслужил отдых, так как здесь, будучи почти совершенно один, я себя чувствую поистине раздавленным. К тому времени, как я уеду, колония будет расположена принять режим, который вы захотите ей дать, но последние шаги придется сделать уже моему преемнику тогда, когда вы это сочтете своевременным. Я не сделаю ничего противного тому, что я здесь напечатал.

Генерал Ришпанс ведет себя совершенно неполитичным и неловким образом по отношению к Сан-Доминго. Если бы я действовал здесь лишь при посредстве сабли, меня давно бы выгнали с острова и я не выполнил бы ваших приказаний».

7

ЛЕКЛЕРК — ДЕКРЕ

«21 термидора 10 года (9 августа 1802)

Я соединил все, чем мог располагать в отношении колониальных и европейских отрядов. Завтра я устраиваю нападение на мятежников во всех пунктах. Черные генералы поведут колонны, но они будут хорошо окружены. Я отдал им приказание не останавливаться перед суровыми мерами, и я всегда пользуюсь ими, когда должен делать много зла. Это побоище продлится по крайней мере десять дней; я дам вам знать о результатах. Мне кажется, я могу предсказать вам, что они будут хороши. Но еще до месяца вандемьера будет существовать очаг недовольства; к тому времени вся армия будет приведена в движение, и я овладею всеми мятежниками...

Постановление генерала Ришпанса здесь циркулирует и приносит много зла. Восстановление рабства тремя месяцами раньше срока обойдется армии и колонии Сан-Доминго во много людей.

Я получил известие о кровавом сражении, которое генерал Буайе имел в Гро-Морн. Мятежники были усмирены, 500 пленных — повешены. Эти люди умирают с невероятным фанатизмом; они смеются над смертью. То же можно сказать и в отношении женщин.

Мятежники Мустика напали и похитили Жана Рабеля, в настоящее время его, вероятно, уже взяли обратно. Эта ярость является результатом прокламационной работы генерала Ришпанса и необдуманных высказываний колонистов».

ЛЕКЛЕРК—ДЕКРЕ

«7 фруктидора 10 года (25 августа 1802)

Мне кажется, что вы не составили себе точного представления о моем положении,—это подсказывают присланные вами мне приказания. Вы приказываете мне выслать в Европу черных генералов. Весьма просто арестовать их всех в один и тот же день, но эти генералы служат в целях арестов мятежников, которые продолжают устраивать бунты, принимающие удручающий характер в некоторых кантонах.

Морпа—человек надежный. Он служит у меня в настоящее время, но через некоторое время он будет арестован. Шарль Белэр присоединился к мятежникам, я послал против него людей. Дессалин и Кристоф хороши, и я многим им обязан. Я только что раскрыл большой заговор, пытавшийся организовать мятежи в целой колонии к концу термидора, но который был приведен в исполнение лишь частично благодаря единственному вождю. Убрать Туссена—значит еще не все; здесь следует убрать 2000 вождей. (Уже не 200.)

Каждый управляющий располагает достаточным влиянием, чтобы поднять свою мастерскую. Однако, по мере того как я отнимаю оружие, вкус к мятежу уменьшается. Я уже отобрал около 20 000 ружей, в руках землевладельцев осталось еще приблизительно столько же... Я должен их взять...

Я жажду момента, когда я смогу убрать всех, кто мне здесь мешает, и число этих людей достигает до 2000; но я не могу этого сделать, не имея достаточных отрядов, чтобы выступить в поход против мятежников».

ЛЕКЛЕРК—ДЕКРЕ

«24 фруктидора 10 года (13 сентября 1802)

Вот мое положение: из 12 800 человек, отбытие которых из различных мест мне объявили, я получил... 6732. Помимо этого, я не получал ничего. По мере прибытия этих отрядов я был вынужден отправлять их в

поход для усмирения мятежников, о которых я вам дал отчет в моих последних депешах. В первые дни отряды принялись действовать и добились успеха, но болезнь настигла и их, и, за исключением только легиона, все прибывшее подкрепление не действительно...

Я не могу вам дать точного представления о моем положении. Оно ухудшается с каждым днем... Если к 15 вандемьеру у меня будет 4000 европейцев, которые будут в состоянии двигаться, я буду очень счастлив; в это число я включаю все, что вы мне прислали и что я привез с собой...

Чтобы составить себе представление о моих потерях, узнайте, что 7-й линейный прибыл сюда, имея 1395 человек; в настоящий момент в нем всего 83 тщедушных человека и 107 в госпиталях. Остальные погибли. 11-й легкий прибыл с 1900 людьми, теперь у него 163 человека в корпусе и 201 в госпиталях. 71-й полк, получивший около тысячи человек при знаменах, имеет 133 в госпиталях. Дело обстоит так же и в остальной армии. Таким образом, составьте себе представление о моем положении в стране, где гражданская война продолжалась в течение десяти лет и где мятежники убеждены, что их хотят обратить в рабство. В течение четырех месяцев я поддерживаю себя лишь при помощи ловкости, не имея реальных сил. Судите о том, могу ли я выполнить инструкции правительства».

10

ЛЕКЛЕРК — ПЕРВОМУ КОНСУЛУ

«26 фруктидора 10 года (15 сентября 1802)

...Как только известие о восстановлении рабства пришло в Гваделупу, мятеж, который до сих пор был лишь частичным, стал общим, и, не имея возможности противостоять всем сторонам, я был вынужден покинуть некоторые пострадавшие пункты.

К счастью, в самый трудный момент я получил подкрепление. Я употребил его с успехом, но после двенадцатидневного похода люди оказались изможденными, и мятеж усилился из-за недостатка сдерживающих средств.

Вчера я произвел нападение на Гран-Ривьеру, Сан-Сюзанн, Дон-дон и Мармелад; у нас были успехи в

некоторых пунктах, но главные позиции не могли быть отняты. Я объединил все средства для этой атаки, что делает мое положение весьма неблагоприятным. Итак, я снова вынужден держаться оборонительной позиции в долине Капа, в ожидании новых подкреплений.

Мои отряды лишаются мужества под влиянием климата...

Вот состояние моих черных генералов:

Морпа — опасный негодяй. Через немного дней я прикажу его арестовать и вышлю его вам. В настоящее время я недостаточно силен, чтобы арестовать его, потому что этот арест вызовет мятежи в его квартале, а пока с меня мятежей достаточно.

Кристоф, желая исправить глупость, по которой он присоединился к черным, начал с ними так плохо обращаться, что они его возненавидели, и я вам его отошлю без боязни, что его отъезд вызовет хоть какой-нибудь мятеж. Я не был доволен им вчера.

Дессалин в настоящее время является мясником черных; при его посредстве я привел в исполнение все ужасные мероприятия. Я буду держать его здесь до тех пор, пока он мне будет нужен. Я поставил около него двух адъютантов, наблюдающих за ним, которые постоянно говорят ему о счастье иметь состояние во Франции. Он уже просил меня не оставлять его в Сан-Доминго после моего отъезда.

Лаплюм, Клерво и Поль Лувертюр представляют собой трех дураков, от которых я охотно отделаюсь по возможности скорее. Вернэ — подлый негодяй; я непременно отделаюсь и от него. Шарль Белэр будет судим и расстрелян...

Последнее письмо, которое я получил от морского министра, относится к началу прериала. Я тщетно возвещал ему о потерях моей армии и о моих денежных нуждах, он не отвечает ни на что...

Да, гражданин консул! Таково было мое положение, в этом нет преувеличений. Ежедневно я бывал озабочен тем, как я поправлю беды, которые были сделаны накануне. И ни одна утешительная мысль не могла затушевывать или уменьшать жестокие впечатления настоящего и будущего; со времени увоза Туссена сохранность Сан-Доминго является вещью гораздо более удивительной, нежели мой дебют на этом острове и увоз этого генерала».

ЛЕКЛЕРК — ДЕКРЕ

«30 фруктидора 10 года (17 сентября 1802)

...Неудача моей атаки 28-го числа делает мое положение плохим на севере.

Я буду держаться оборонительного положения в долине Капа...

Я могу защищать долину, предполагая, что болезнь остановится в первые десять дней вандемьера. С целью усмирения гор я буду вынужден уничтожить все продовольствие и большую часть землевладельцев, которые, привыкнув за десять лет к разбою, никогда не привыкнут к работе.

Мне придется вести истребительную войну, и она обойдется мне во много людей. Большая часть моих колониальных отрядов дезертировала и перешла к врагу...

В течение этой ужасной болезни я находил поддержку лишь в нравственной силе и в распространении слухов о прибытии отрядов; но известие о восстановлении рабства, появившееся в Гваделупе, отняло у меня значительную часть моего влияния на черных, а прибывшие отряды уничтожены так же, как и остальные».

ЛЕКЛЕРК — ПЕРВОМУ КОНСУЛУ

«4 вандемьера 11 года (26 сентября 1802)

Мое положение день ото дня становится хуже... С каждым днем увеличивается партия мятежников, а моя — уменьшается благодаря потере белых и дезертирству черных. Судите о том, насколько низки мои акции. Дессалин, который до сих пор не думал примыкать к мятежу, думает об этом в настоящее время, но его тайна у меня в руках, и он от меня не укроется.

Вот каким образом я раскрыл его мысли. Не будучи достаточно силен, чтобы прогнать Дессалина, Морпа, Кристофа и других, я держу их в их же собственных руках. Все трое способны стать вождями партии, но ни один из них не объявит себя вождем, пока он будет

бояться двух других. Вследствие этого Дессалин начал делать мне отчеты против Кристофа и Морпа, внушая мне, что их присутствие вредно для колонии. Под его начальством находится остаток 4-го колониального батальона, всецело ему преданный; он стал просить у меня разрешения увеличить его до тысячи человек. В экспедициях, руководимых им, ему было поручено уничтожить оружие. Теперь он его больше не уничтожает и перестал плохо обращаться с черными, как это делал до сих пор. Это негодяй. Я его знаю. Я не могу арестовать его теперь; я приведу в ужас всех черных, находящихся со мной.

Кристоф внушает мне несколько большее доверие. Я посылаю во Францию его старшего сына, которого он хочет выслать отсюда. Впрочем, я мог бы выслать в первую очередь Морпа, но вышлю в тот же день и Кристофа и Дессалина.

Никогда генерал армии не попадал в столь неблагоприятное положение. Отряды, прибывшие месяц тому назад, уже не существуют. Каждый день мятежники нападают на долину; они открывают стрельбу, которая слышна из Капа. Мне невозможно обороняться: мои отряды раздавлены, и у меня нет средств для обороны и для того, чтобы воспользоваться преимуществами, которые она мне предоставляет. Я вам сказал свое мнение относительно мероприятий, принятых генералом Ришпансом в Гваделупе. К несчастью, события его оправдали: последние полученные известия говорят о том, что эта колония в огне».

13

ЛЕКЛЕРК—ДЕКРЕ

«4 вандемьера 11 года (26 сентября 1802)

...Вся моя армия уничтожена, даже присланные вами мне подкрепления... черные бегут от меня ежедневно. Несчастное постановление генерала Ришпанса, восстанавливающего рабство на Гваделупе,—причина всех наших зол».

Четырнадцатое письмо Леклерка было ответом на требование Первого консула сфабриковать и спешным способом прислать в Париж документы, обеспечивающие

возможность привлечения Туссена Лувертюра к суду. Бонапарту хотелось создать видимость преступления против Франции, чтобы наперед устранить от себя возможные упреки в подлости и предательстве.

Даже Леклерка поразило это чрезвычайное легкомыслие всегда расчетливого человека. Генерал, уже в достаточной степени оценивший всю глубину пропасти, в которую толкнула его авантюра Бонапарта, сделал отметку на полях: «Расчеты на восстановление доходов от колоний сделаны правильно, учтены будущие приходные статьи от сахара и кофе, но забыты при расчетах живые люди, которых мы же научили поклоняться идолам свободы, равенства и братства».

Леклерку стал очевиден провал всей экспедиции. Он чувствовал себя брошенным, он знал, что ни один корабль не может быть послан из Франции, и сколько бы их ни посылали — восстановить рабство в Гаити невозможно. Первая часть экспедиции удалась, путем предательства и вероломства уничтожены лучшие люди негрского племени, но гибнет последняя бригада Леклерка.

В раздражении Леклерк писал Бонапарту:

«Единственным материалом для учинения гласного процесса был бы пересмотр уже известной до моего прибытия деятельности Туссена, то есть амнистированной Первым консулом. Но со дня моего прибытия на остров и клятвенных заверений у меня нет никаких материалов для процесса. При настоящем положении дела судебный процесс и оглашение приговора способны только ухудшить и без того плохое положение колоний. Черные озлоблены»¹.

Во Франции поздняя осень, буря рвет корабли с якорей и канаты дебаркадеров. Тяжелый, мокрый снег падает на свинцовое море Сен-Мало. Это первый снег за пятнадцать лет. Грязный снег и лужи превращают подъезды к длинным баракам в непроходимые болота. В бараках ободранные и голодные, кашляющие люди — чернокожие офицеры. Шеи закручены тряпками, головы обмотаны чем-то похожим на шарфы, рваные мундиры носят на себе следы длинных переездов и путешествий без сна; мятые, разорванные, висящие клочьями, они все еще сохраняют шитье и узоры Конвента, хотя во Фран-

¹ «Переписка Наполеона I», т. VII. (Примеч. автора.)

ции консульства никто не носит этих предосудительных робеспьеровских и сен-жюстовских форм.

По всем гаваням Франции висят приказы министерства, запрещающие ночлег черным людям на дебаркадерах и на палубах. Эти люди сидят без денег, у каждого из них назначение в несуществующие французские полки метрополии, каждый из них командовал своей частью на зеленом острове под блистающим солнцем мексиканского моря. Кашель и брызги крови являются ответом этих людей на каждое дуновение осенней французской бури.

Нищета, голод и быстрая смерть были концом этих людей, лучших вождей своего племени, батальонных командиров, капитанов, полковников, лейтенантов, которые «значатся по корабельным спискам как господа офицеры, переведенные в войска метрополии приказом генерал-капитана с тем же чином».

Леклерк выехал на место происшествия. Шесть миллионов ливров погибло при перевозке уже на суше. Золотые мешки исчезли, и, несмотря на розыски, не могли найти даже следа эскортированной повозки.

Волнение генерала достигло высшего предела. К вечеру следующего дня он вместе с двумя эскадронами орлеанских драгун прибыл на границу саванн. Посматривая в бинокль на лесистые склоны, идущие к зеленым и страшным болотам, он увидел усыпанную цветами долину и в ней на привале пехотный полк. Ружья сложены в козлы, штык в штык, барабан перед каждой ротой, огромный, не меньше тамбур-мажора, и на одном из них, прислонившись к низкорослому дереву, сидит офицер. Был дан сигнал, из палаток никто не выходил; был дан второй сигнал, после которого генерал-капитан приказал сделать два залпа,—ответа не последовало. На рысях спустились в цветущую долину. Люди спали, но издали поразил Леклерка страшный запах падали. Крайние палатки лагеря были пусты, а в середине они оказались полны мертвыми людьми. Солдаты изжелта-синие, с надорванными воротами лежали на грудах оружия. Леклерк наклонился над одним из них, и вдруг солдат, казавшийся мертвым, протянул желтую высохшую руку и схватил Леклерка за горло.

Внезапно открывшиеся глаза были совершенно безумны, изо рта выходил тусклый, вялый хрип, кровавая пена

падала на губы. Этот еще живой солдат издавал ужасающий запах гангренозной сырости, и капли крупного пота падали на грудь и рукава генерала Леклерка. Генерал отшатнулся в ужасе, он быстро дал распоряжение покинуть ужасное место. Не кончив поисков, под утро вернулся в Сан-Доминго. Он ехал молча, не будучи в силах отделаться от этого страшного запаха, который оставили на его мундире прикосновения больного солдата. Леклерк вспомнил недавнюю смерть Дефурно, Гальбо, Ганото, тридцати офицеров своего штаба; у него было жуткое чувство одиночества и ощущения пустоты. В Сан-Доминго принял ванну.

Прошла неделя, эпизод был забыт.

Поздно ночью распечатал пакет, это была октябрьская почта из Парижа. Нет ни слова от Полины. Довольно резкие упреки Декре за «медленность действия». С досады генерал пил много, поздравил полковника Брюне с производством в генералы, простился, ушел в губернаторские покои. Начал раздеваться, но почему-то, не сняв одного сапога, задул свечу и лег. Тени от уличного фонаря, освещавшего с недавних пор до рассвета губернаторский дворец, бегали по стенам.

«Опять начинается осенний ветер с моря. Днем страшная жара, и ночью ветер»,—думал Леклерк, и совершенно так же, как в день ареста Туссена, он увидел, как с потолка спускается быстрая тень от чего-то, находящегося за окнами.

Пытался встать, зажег шандал. Тень исчезла, но дверь тихо растворилась, и вошел Бессьер, товарищ по военной школе.

— Мне не спится,—сказал ему Леклерк.

— Я думаю,—ответил Бессьер.—Ты когда-то ведь был честным молодым офицером, теперь ты делаешь предательство во имя Франции.

— Как ты смеешь, Бессьер!—закричал Леклерк и сам удивился своему собственному голосу.

Но кто-то говорит, говорит, говорит в комнате без конца, словно жужжит стружка металлического токарного станка артиллерийского склада. Этот сверлящий звук врывается в уши, рвет голову на части. Потом кусок раскаленного железа прошел от безымянного пальца левой руки по плечу; страшный ожог в левую руку, боль в сердце и удушье. Правая рука холодная, по всей длине спинного хребта страшный холод, как будто иголки льда

втыкаются в спину. В одном сапоге, полураздетый, еще не снявши рейтузы, Леклерк бежит по коридору и кричит:

— Врача, немедленно врача!

Офицеры еще не расходились, все толпятся возле кабинета генерала. Приходит доктор и хмуро трогает лоб и щупает пульс.

— Позовите Бессьера,—говорит Леклерк хрипло и злобно.

— Бессьера?—спрашивают офицеры и переглядываются. На лицах у всех смущение, которое озадачивает больного.

— У вас бред,—говорит доктор,—ложитесь.

Утром первого ноября стало лучше. Два фельдшера дежурили попеременно, но вот опять вспышка страшного раздражения. Леклерк выгоняет их вон и начинает жечь бумаги на свече. Пламя скликает всех, пепел лежит на полу, скатерть горит, загораются бумаги письменного стола. Генерала держат, но он кричит:

— Здесь были негры, они украли инструкции.

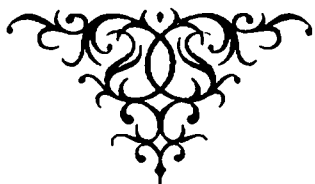
Стучащими зубами хватает край стакана, поднесенного доктором, и засыпает мгновенно. И вот мокрая простыня, мокрая рубашка, мокрая подушка от этой ужасающей испарины, которая пахнет гангренозной падалью.

Утром 2 ноября 1803 года штаб генерал-капитана готовил похороны Шарля Виктора Эммануэля Леклерка д'Остэна.

Тридцатого ноября 1803 года отплыл корабль, после полной капитуляции французских войск, с ничтожной горсточкой французских офицеров.

Генерал Дессалин занял губернаторский дворец. Остров снова стал называться Гаити. Дессалин объявил черный террор.

В первые месяцы 1804 года все белые, без различия пола и возраста, были перерезаны в *Сицилийской вечерне* устроенной Дессалином внезапно на всем пространстве колоний.



ЭПИЛОГ

Ты видишь: я в плену у чуждого народа,
Я раб, я голоден, я немощен и худ!
Где родина моя? Где прежняя свобода?
Где жемчуги вершин и моря изумруд?

Как живо в памяти все то, что так далеко!
Цветы на склонах гор и ароматный дол...
Горячий свет небес, жужжанье ос и пчел,
Немолчный плеск валов, гонимых от востока.

Хозе Мариа Эредиа

На границе Франции около Юрских Альп, там, где в ущельях между снежными горами река Дубс огибает тысячеметровый холм, смотрит в сторону Монблана унылый французский пограничный форт Жу. В его каземате совсем еще недавно был заключен, по требованию отца, посредством королевского леттр-де-каше, граф Мирабо, первый оратор и первый предатель французской революции. По вечерам, минуя зубчатые парапеты и артиллерийские ложи, этот неугомонный, бурный человек спускался в долину из орлиного гнезда, обуреваемого студенными ветрами и зиму и лето. С разрешения коменданта граф Мирабо ездил в город Понтарлье на тайные свидания с любовницей Софией Монье, без которой, под конец снисходительного заключения, не мог обходиться и полчаса.

На этот форт теперь привезли в артиллерийской зарядной повозке простуженного и харкающего кровью Черного консула. Но он не пользовался вольностями графа Мирабо. Он пробыл в камере ровно год, тщетно сясь узнать судьбу своей семьи, которую мельком видел на дебаркадере в Бресте, но ему не сообщали никаких сведений ни о том, какая судьба постигла Страну гор и

Матерь земель, ни о том, что в районе северных Пиренеев, около Байонны, его жена, его дети, его внучата ночью сброшены со скал на острые камни бегущего в ущельях потока.

Пятого брюмера 11 года (27 октября 1802 года) морской министр Декре писал коменданту форта Жу:

«Гражданин Байль, Первый консул поручил мне передать вам, что вы головой отвечаете за строгость наблюдения над Туссенем Лувертюром. Мне нечего прибавлять к столь определенному и точному приказанию. Туссен Лувертюр не имеет права ни на какие заботы, кроме тех, которые диктуются обычным режимом. Лицемерие ему свойственно в той же мере, в какой вам воинская честь, гражданин комендант. Единственное средство, при помощи которого Туссен мог бы улучшить свое положение, это полное отсутствие скрытности, а так как это неисправимая черта его характера, то всякий приближающийся к нему, естественно, не должен интересоваться его судьбой».

Комендант Байль ответил следующими письмами:

«8 брюмера 11 года (30 октября 1802)

Со времени последнего письма, которое я имел честь послать вам, генерал, я не имею сообщить вам ничего другого о Туссене Лувертюре, если только не считать новым его постоянное нездоровье, происходящее от внутренних недомоганий, от головной боли и несчастных припадков лихорадки. Он постоянно жалуется на холод, хотя поддерживает у себя постоянно большой огонь. До сих пор с ним виделся офицер стражи, не имевший полномочий говорить с ним о чем бы то ни было, что не касалось его насущных потребностей, и то только в то время, когда ему носили еду, дрова и прочее. Но в настоящее время с ним не может видаться никто, кроме меня; и если необходимость вынуждает входить в его комнату, я перевожу его в смежное помещение, занимавшееся до сих пор его слугой; он может бриться лишь в моем присутствии, и я даю ему его бритву и беру обратно, когда его борода обрита. Ввиду того что здоровье негров ни в чем не похоже на здоровье европейца, я не даю ему ни врача, ни хирурга, которые были бы ему бесполезны».

КОМЕНДАНТ АМИО—ДЕКРЕ

«Замок Жу

15 брюмера 11 года (6 ноября 1802)

...Я имею честь вам заметить, что Туссен по своей природе горяч и вспыльчив и что, когда я ему делаю замечания по поводу его жалоб о несправедливом к нему отношении, он топает ногами и обоими кулаками ударяет себя по голове.

Находясь в таком состоянии, которое напоминает бредовое, он говорит самые резкие вещи о генерале Леклерке, и так как его сердце полно желчи и он в своем уединении располагает временем, чтобы расцветить свои лживые и дерзкие измышления при известной доле ума, но без всякой логики (это мое мнение), он украшает свои рассказы коварными доводами, имеющими высшие признаки истины. Три дня тому назад, генерал, он был настолько бесстыден, что сказал мне: «Во Франции имеются лишь злые, несправедливые, клеветнические люди (это его выражения), от которых нельзя добиться справедливости».

КОМЕНДАНТ БАЙЛЬ—ДЕКРЕ

«Замок Жу-Понтарлье. Департамент Дубс

28 вендоза 11 года (19 марта 1803)

Гражданин министр, со времени моего письма от 13-го числа текущего месяца Туссен находится все в том же помещении; он постоянно жалуется на желудочные боли и неприятный кашель, он держит свою левую руку в повязке в течение уже нескольких дней из-за боли, причиняемой ею ему. Последние три дня я замечаю, что его голос сильно изменился. Но он ни разу не попросил меня прислать ему врача».

Наступили весенние дни. Таял горный снег, бежали ручьи по бастионам, и к голосу снежных вихрей, крутившихся в ущельях, примешивался все чаще и чаще горячий и золотой звон пастушьего рожка. А нижний

ветер, летевший с долин, все чаще и чаще вместе с холодом снега нес запах фиалок. Горы окрашивались лиловыми, голубыми и красными тенями.

В такой день на плоскую крышу бастиона вывели Туссена, поставили лицом к солнцу и выстроили перед Черным консулом взвод альпийских стрелков. Защелкали курки ружей с отвинченными штыками, комендант подошел и сломал шпагу над головой Туссена. Туссен вздохнул свободно, он давно ждал часа смерти. Но он вежливо отклонил руку офицера, пытавшегося завязать ему глаза. Он взял у него жесткую крепостную салфетку, служившую повязкой. Он скомкал ее в руке, поднял руку и внятно сказал стрелкам:

— Я генерал, приказываю слушать команду! Целиться в сердце, стрелять, когда скомандую «три»!

Он сделал это быстро. Но после команды солдаты поставили ружья к ноге. Выстрелов не последовало. Туссен стоял молча. Перед ним в небе плавало черное солнце. Затуманенным глазам Туссена свинцовыми казались солдатские лица, и когда комендант сказал: «Пока это только предупреждение, но мы послали сказать Дессалину, убившему Леклерка, провозгласившему независимость колоний, что вы будете казнены, если он не отменит своего безумного решения»,—тогда страшным огнем загорелись глаза Туссена. Он упал лицом вперед и надолго потерял сознание.

Он проснулся в камере. На столе был его обычный ужин. У кровати сидел человек в лиловой рясе и убеждал его покаяться, так как здоровье Черного генерала стало плохо и нужно «очищенным предстать перед судом всевышнего».

— Удалитесь,—сказал ему Туссен.

Когда священник вышел, Туссен выпил глоток красного вина и взял горсть сухого винограда. Но вдруг ему сдавило пищевод, и руки окрасились кровавой рвотой. Он вскочил, задыхаясь, свалился на пол и пополз в камеру, страшно вскрикнув. Старые солдаты вбежали в камеру. Они не узнавали Туссена: он был залит кровью, лицо стало серым, глаза потухли. Комендант послал за врачом, но до города Понтарлье от форта Жу было три километра, а от стынувших конечностей до леденеющего сердца Туссена смерти осталось идти несколько минут. Лицо Черного консула стало спокойно. Последними его словами были:

— Я не знал, что смерть так легка.

Семнадцатого жерминаля 11 года комендант Амио рапортует морскому министру:

«Гражданин министр, нынче ночью я нашел Туссена мертвым. В одиннадцать с половиной часов утра, когда принесли ему продовольствие, он сидел на стуле, согнувшись возле огня».

Остров Гаити, «Черная Франция». Дессалин пошел по пути преследования «Белой Франции». Но привычка *преследовать* научает *следовать*. Дессалин с ненавистью относился к Бонапарту и с трепетным волнением вслушивался в голос молвы.

Он читал французские газеты, он подражал Наполеону — императору французов. И все более и более забывая республиканскую доблесть своих старых негритянских генералов, он вводил титулы и перенимал утонченные и элегантные забавы маркизов Людовика XVI. Одновременно он воздвигал гигантские стены крепостей, нагромождая огромные камни фортов, строя приморские башни, широкие и огромные, сквозь амбразуры и бойницы которых виднелись оба берега океана. Исполинские краны, кабестаны и лебедки десятком тысяч черных рук поднимали каменные глыбы на неизмеримые высоты. И когда их достраивали, Дессалин горделивым взглядом озирает территорию нового города, выделяясь черным силуэтом на ярко-синем небе в амбразуре своего семнадцатого этажа.

Так возник город «Черной Франции», названный *Дессалинвилем*. У входа в старинное «Ущелье хаоса» на равнинах Артибонита был основан этот таинственный и через полстолетия исчезнувший город. Он был окружен шестью фантастическими фортами с причудливыми и таинственными именами, которые были понятны только орденом братьям из ложи аббата Рейналя. Их мог бы понять Туссен Лувертьюр, их понимал Кристоф, указывавший на старинный символ — змею, кусающую себя за хвост. Но их не поняла Франция эпохи великих материалистов, их также не могли расшифровать последующие европейские историки Гаити.

Первый форт назывался «*Источником синего света*», второй носил имя «*Рухнувший*», третий — «*Решимость*», четвертый — «*Невинный*», пятый носил название «*Раздав-*

ленный», и наконец шестой, самый сильный форт, носил злое имя: *«Конец света»*.

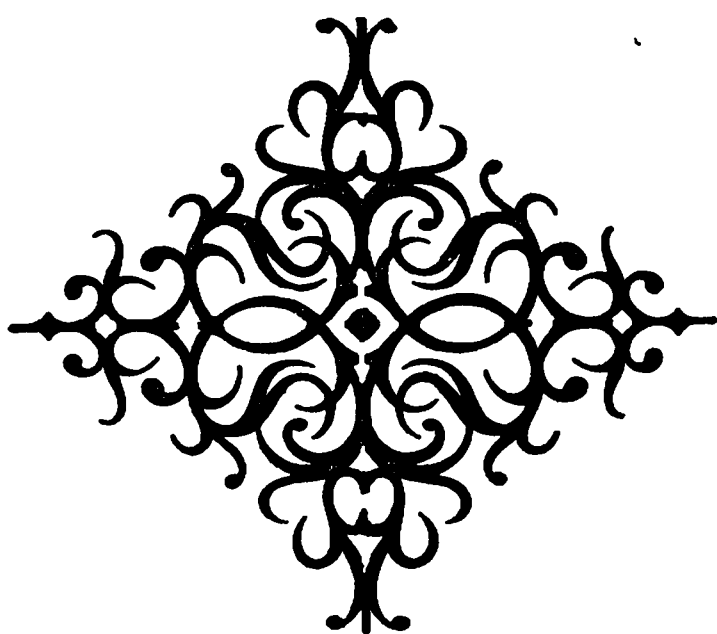
Гаити—Страна гор и Мать земель—в устах французов на десятки лет стала символом всего ужасного: «Река резни», «Кровавый поток», «Холм семнадцати виселиц», «Гнилой колодец», «Колодец трупов», «Костяное поле» и тысячи других названий повторяются в разных видах, на тысячи ладов на тогдашних картах Антилии. Гаити стал называться *«Страною страшных имен»*. Семь лет ни один французский корабль не смел приблизиться к острову, а потом остров ушел из рук французов вовсе. Новая Франция научилась торговать не только черными, но и белыми рабами.

Прошло восемнадцать лет. На маленьком острове Великого океана бесславно умер тот, кого Туссен в письме называл Первым консулом белых людей.



ПРИМЕЧАНИЯ







ПОВЕСТЬ О БРАТЬЯХ ТУРГЕНЕВЫХ

Хронологические рамки «Повести о братьях Тургеневых» (1932) чрезвычайно широки. Детство братьев Тургеневых совпадает с последними годами царствования Екатерины I, когда только что завершившаяся Великая французская революция вызвала в России, с одной стороны, подъем общественной мысли, с другой — реакционный поворот в политике двора. Заканчивает А. Виноградов свое повествование годом восстания Парижской коммуны (1871), последним годом жизни Николая Тургенева.

Перед читателями проходят такие события и русской, и европейской истории, как наполеоновские войны, конгрессы Священного союза, восстание декабристов, революционное движение 1830 и 1848 годов. Местом действия становятся Россия, Германия, Франция, Италия, Англия. Исходным материалом для романиста послужил много томный «Архив братьев Тургеневых», публикация которого началась в 1910-х и закончилась в 1920-х годах. В книгу включены отрывки из писем и дневников Александра Ивановича Тургенева, однако нередко писатель вносил в них некоторые изменения. В настоящее время значительная часть этих материалов стала доступной широким читателям благодаря появлению в серии «Литературные памятники» книги: А. И. Тургенев. Хроника русского. Дневники (1825—1826). М.—Л., Наука, 1964.

В предисловии к «Повести о братьях Тургеневых» А. Виноградов излагает свои достаточно спорные взгляды на исторический роман и на право писателя несколько изменять факты из «композиционных соображений». В произведении имеются отдельные отступления от истины и некоторые субъективные оценки, которые писатель дает событиям и историческим деятелям. Так, А. Виноградов явно преувеличивает размах и революционность масонского движения в Европе и причисляет к масонам лиц, которые никогда ими не были. Часто на страницах романа сходятся люди, которые не могли бы собраться в указанное автором время и в указанном месте, это относится, например, к сцене заседания Государственного совета в главе 26. Виноградов чересчур прямолинеен в оценке таких деятелей, как Сперанский, Греч. Во многом неверны его суждения о некоторых декабристах. Вымышлены такие эффектные

сцены и сюжетные линии, как посвящение Н. Тургенева в масоны высшей степени Иоганном В. Гете или сватовство С. Тургенева к некоей Пушкиной (упоминаемая в дневниках А. Тургенева Е. Г. Пушкина—его знакомая, немолодая замужняя дама). Другие ошибки и неточности оговорены в примечаниях.

Стр. 14. *...Новикова в крепость посадили...*—Николай Иванович Новиков (1744—1818)—русский просветитель, писатель, журналист. В 1770-х годах примкнул к масонству. Подвергался преследованиям со стороны Екатерины II, в 1792 г. был заключен в Шлиссельбургскую крепость. В 1796 г. освобожден по приказу Павла I.

...Радищева под конвоем... отвезли...—Александр Николаевич Радищев (1749—1802) был в 1790 г. после появления «Путешествия из Петербурга в Москву» сослан Екатериной II в Сибирь, где пробыл до 1797 г. В начале царствования Александра I Радищев был привлечен к работе комиссии по составлению новых законов. Однако представленный им план законодательства был настолько радикален, что власти вновь грозили ему репрессиями. Эта угроза привела его к самоубийству.

Лопухин—см. примеч. к стр. 189 I т.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837)—поэт, баснописец, представитель русского сентиментализма.

Стр. 16. *Из недр развалины огромной...*—51 строфа оды Радищева «Вольность» (1783), не вошедшая в текст «Путешествия».

Стр. 20. *...князя Потемкина-Таврического...*—Потемкин Григорий Александрович (1739—1791)—генерал-фельдмаршал, фаворит и ближайший помощник Екатерины II. В описываемое время он еще не носил титула Таврического, который получил позднее за покорение Крыма.

Стр. 23. *...кнутобойце Шешковскому...*—Шешковский Степан Иванович—начальник тайной канцелярии при Екатерине II, производил расследования по делу пугачевцев, Новикова, Радищева.

...парижанина Строганова...—Строганов Павел Александрович (1772—1817)—друг детства Александра I и один из его ближайших помощников, сторонник либеральных преобразований. Принимал участие в революционных событиях во Франции.

Теруанъ де Мерикур (Анна Жозефа Тервань; 1762—1817)—парижская куртизанка, принимавшая участие во взятии Бастилии и в восстании 10 августа 1792 г.

Стр. 26. *Баженов* Василий Иванович (1737 или 1738—1799)—выдающийся русский архитектор. В числе его творений—Пашков дом (ныне старое здание Библиотеки им. В. И. Ленина) в Москве, построенный в 1784—1786 гг., когда Баженов, вопреки описанию Виноградова, был уже далеко не молод.

Стр. 27. *Прозоровский* Александр Александрович (1732—1809)—в 1792 г. был московским главнокомандующим.

...мартинистов...—см. примеч. к стр. 95 I т.

Стр. 32. *Беляна*—сплавное плоскодонное судно.

Стр. 45. *Павел... магистр Мальтийского ордена...*—Остров Мальта, резиденция ордена иоаннитов (Мальтийского ордена), был в 1798 г. завоеван Бонапартом, а в 1800 г. захвачен англичанами. После отречения последнего мальтийского гроссмейстера Павел I принял на себя звание Великого магистра ордена.

Стр. 46. *Кайсаров Андрей Сергеевич* (1782—1813)—воспитанник московского благородного пансиона, студент Геттингенского университета, где получил докторскую степень за диссертацию «Об освобождении крепостных в России», внес большой вклад в развитие славянской истории.

Стр. 48. *...с Мерзляковым.*—Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830)—русский поэт, переводчик Горация, Вергилия, теоретик классицизма. Обучаясь в Московском университете, был близок с В. А. Жуковским.

...барон Маус ...барона Катцена.—Маус (нем. Maus)—мышь, Катце (нем. Katze)—кошка.

Стр. 50. *«Батрахомюмахия»...*—рукопись древнего песнетворца Омира, привезенная в Московскую Русь... *Софией Фоминичной Палеолог.*—«Война мышей и лягушек» (греч. «Батрахомиомахия»)—созданная в VI в. до н. э. пародия на «Илиаду» Гомера или, как его именовали в России, Омир. В 1772 г. в Петербурге был издан первый русский перевод поэмы, сделанный В. Рубаном. София Фоминична Палеолог—племянница последнего византийского императора, в 1492 г. вышла замуж за Ивана III Васильевича, великого князя московского. В. Жуковский воспользовался сюжетом «Батрахомиомахии» в шуточной сказке «Война мышей и лягушек».

Стр. 51. *Пален* Петр Алексеевич (1745—1826)—в 1798—1801 гг. был петербургским генерал-губернатором. Один из организаторов и участников убийства Павла I 12 марта 1801 г.

Стр. 52. *Скарятин*—участник убийства Павла I, его шарфом был задушен император.

Стр. 53. *Аракчеев* Алексей Андреевич (1769—1834)—выдвинулся при Павле I, завоевав его расположение исполнительностью и страстью к муштре. В последний год царствования Павла был в немилости, обвинялся в растрате. Александр I, взойдя на престол, вернул Аракчеву должность инспектора артиллерии. Влияние его на императора усиливалось с годами. С 1808 г. он—военный министр, а с 1815 г. фактически руководит государством, проводя крайне реакционную политику.

...швейцарскому республиканцу Лагарпу.—Лагарп Фредерик Сезар (1754—1838)—швейцарский политический деятель, доктор права, сторонник идей Просвещения и убежденный республиканец. В 1783 г. по приглашению Екатерины II становится воспитателем будущего императора Александра I. Именно Лагарпу Александр был обязан либеральным духом, которым было проникнуто начало его царствия.

Стр. 54. *...у графа Кочубея...*—Кочубей Виктор Павлович (1768—1834)—один из сподвижников Александра, министр внутренних дел (1802—1807 и 1819—1823), входил в негласный комитет по проведению либеральных реформ.

Стр. 56. *Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет*—слова из «Повести временных лет», древнерусской летописи, составленной в XII веке Нестором.

Стр. 57. ...*Сократ... перпатировал в греческом колонном коридоре...*—Перпатировать—слово, произведенное от греч. «перипатос»—прогулка. Перипатетиками называли учеников школы Аристотеля, который читал свои лекции во время прогулок. Местом бесед Сократа с учениками были площади Афин и Портик—крытая галерея, где собирались философы.

Стр. 58. *Галич* Александр Иванович (1783—1848)—философ, последователь Шеллинга, отправился в Геттинген в 1808 г. (позднее, чем описано в романе), затем преподавал философию в Петербурге, а некоторое время—латынь в Царскосельском лицее, когда там обучался Пушкин; автор «Истории философских систем».

Стр. 59. *Етурдерия* (от фр. *é tourderie*)—легкомыслие.

Стр. 60. *Принц Конде*—Луи Жозеф де Бурбон (1736—1818)—один из предводителей контрреволюционной эмиграции, сражался против Франции на стороне австрийцев.

Стр. 61. *Куницын* Александр Петрович (1783—1840)—юрист, последователь теории естественного права, получил образование в Германии, преподавал в Царскосельском лицее, подвергался репрессиям со стороны властей за свободомыслие.

Стр. 62. *Сарториус* фон Вальтерсхаузен Георг (1765—1828)—немецкий историк и экономист.

Стр. 63. ...*ошибка меркантилизма...*—Меркантилизм—экономическая политика, отражавшая интересы торговой буржуазии и процветавшая в XV—XVIII вв. (термин введен А. Смитом в конце XVIII в.); заключалась в развитии обращения, а не производства, стремлении скопить в стране как можно больше денег, а также в покровительстве вывоза товаров за границу и препятствовании их ввозу.

Фритредер (от англ. *free tread*)—свободная торговля. Фритредерство—течение в буржуазной политэкономии XIX в., представители которого выступали за свободу торговли и невмешательство государства в хозяйственную жизнь.

Стр. 64. ...*банкиров Фугеров...*—Фуггеры—крупнейший немецкий торгово-ростовщический дом, ссужавший золотом европейских монархов.

Стр. 65. *Физиократ*—то есть сторонник получившей распространение во Франции во второй половине XVIII в. экономической школы, признававшей единственным источником богатства землю и земледелие.

Стр. 66. ...*в Вену... при графе Разумовском.*—Разумовский Андрей Кириллович (1752—1836)—русский дипломат, в 1790—1799 и 1801—1807 гг.—русский посол в Вене.

Стр. 67. ...*шуцману...*—полицейскому.

Стр. 69. *Шлёцер* Август Людвиг (1735—1809)—немецкий историк и филолог, несколько лет был адъюнктом петербургской Академии наук.

В 1768—1809—профессор Геттингенского университета, знаток русской истории, автор труда, посвященного летописцу Нестору.

Стр. 73. *...конь ганноверского дома.*—Геттинген расположен в прусской провинции Ганновер, состоявшей в личной унии с Великобританией. Скачущий конь был изображен на гербе Ганновера.

Стр. 75. *Людвиг... наследный принц баварский.*—Имеется в виду Людвиг I, Карл Август (1786—1868), король баварский (1825—1848). В 1806—1813 гг. Бавария была союзницей Франции.

Стр. 76. *...убить герцога Энгиенского.*—Герцог Энгиенский, последний представитель боковой ветви Бурбонов, дома Конде, находился с начала революции в эмиграции. Заподозренный Наполеоном в намерении занять французский престол, он был привезен во Францию и расстрелян в 1804 г.

...два... заговора... Пишегрю и Кадудаль.—Генерал Шарль Пишегрю (1761—1804) и Жорж Кадудаль (см. о нем примеч. к стр. 170 I т.) были участниками одного и того же заговора.

Стр. 77. *...братьям Гракхам, Бруту, Гармодию и Аристогитону.*—Братья Гракхи и Брут—римские герои-республиканцы, Гармодий и Аристогитон—афинские тираноубийцы.

Стр. 78. *«Орлеанская дева»*—трагедия Иоганна Фридриха Шиллера (1801).

Стр. 80. *Фуше*—см. примеч. к стр. 158 I т.

Стр. 84. *...вести десятилетнюю войну...*—Война между Англией и Францией продолжалась с 1793 по 1802 г., когда антифранцузская коалиция распалась из-за несогласия между союзниками и Англия была вынуждена подписать мир с Наполеоном. Но в 1803 г. война возобновилась.

...тысяча двести торговых судов... Франции были захвачены англичанами...—В 1803 г. Бонапарт готовил десант для вторжения в Англию. Однако англичане заперли в гавани Кадис у Пиренейского полуострова французский и союзный Наполеону испанский флоты, таким образом переправа была сорвана.

Стр. 85. *...был у... Галя, который изобрел новую систему, называемую кранеологиею.*—Галль Франц Йозеф (1758—1828)—австрийский врач, создатель теории, согласно которой на основе краниометрических данных (то есть измерении черепа) можно судить о характере и способностях человека.

Стр. 86. *...не сходится ли его система с Лафатеровой...*—Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801)—автор популярного в конце XVIII—начале XIX в. трактата по физиогномике, то есть о связи внешности человека и его характера.

Стр. 87. *Иосиф II отменил было это, но теперешний император снова восстановил...*—Иосиф II (1741—1790) проводил политику просвещенного абсолютизма. Его преемник—Франц I (1768—1835) был одним из руководителей европейской реакции.

Стр. 88. *...славного Жакена...*—Жакен Никола Жозеф (1727—1817)—ботаник, директор академического Шенбруннского сада близ Вены.

Стр. 89. *...от профессора Ганки...*—Вероятно, имеется в виду чеш-

ский славист, пропагандист идеи славянской солидарности Вячеслав Ганка (1791—1861), который, однако, начал свою деятельность позднее описываемого в романе времени.

Стр. 101. ...князь *Чарторыйжский*...—см. примеч. к стр. 447 I т.

Стр. 103. ...*при Трафальгаре*...—В сражении у мыса Трафальгар 21 октября 1805 г. английский флот под предводительством адмирала Нельсона разбил франко-испанский флот.

...*Василия Львовича Пушкина*.—В. А. Пушкин (1770—1830)—дядя А. С. Пушкина, поэт.

Стр. 104. «*Князь Ираклий Полиньяк*»...—Имеется в виду Арман Жюль Мари Ираклий Полиньяк (1771—1847), роялист, участник заговора против Наполеона. Приговоренный к пожизненному заключению, бежал. Брат Огюста Жюля Полиньяка, реакционного министра Карла X.

Стр. 106. ...из *канцелярии Новосильцева*...—Новосильцев Николай Николаевич (1768—1838)—приближенный Александра I, член Негласного комитета, в работе которого принимал участие и А. Тургенев. С 1813 г. фактически управлял Польшей, с 1832 г.—председатель Государственного совета.

Стр. 109. *Румянцев Николай Петрович* (1754—1826)—в описываемое время (с 1802 г.) был министром торговли и заведующим путями сообщения России.

Стр. 111. *Как часто солнечный закат*... и след.—строки из стихотворения Жуковского «К Фидаету» (1808), обращенного к А. И. Тургеневу.

Стр. 112. *Штейн* Генрих Фридрих Карл (1757—1831)—прусский государственный деятель буржуазно-либерального толка. Его деятельность как министра торговли вызвала недовольство короля Фридриха-Вильгельма II. Однако после разгрома Пруссии Наполеоном и позорного для нее Тильзитского мира правящие круги были вынуждены пойти на ряд либеральных реформ. Штейн, поставленный во главе правительства, издал указ об отмене личной крепостной зависимости крестьян. Деятельность Штейна, направленная на укрепление Прусского государства, и его связь с германским освободительным движением побудили Наполеона потребовать его отставки. Штейн бежал в Австрию, а затем в Россию. Его реформы продолжал сменивший его Гарденберг. Вернувшись после освобождения Германии на родину, Штейн, испуганный размахом народного движения, стал поборником дворянско-монархических порядков.

Стр. 114. *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716)—немецкий философ, математик и физик.

Стр. 115. «*Монитор*»—парижская газета, основанная в 1789 г.

Римский папа... под угрозой вторичного вывоза...—Виноградов описывает события в неправильной последовательности и отчасти искажает их. Хотя отношения между Наполеоном и папой Пием VII были напряженными, папа короновал Наполеона в 1804 г. добровольно. Когда же Пий VII отказался поддержать политику континентальной блокады Англии, Наполеон захватил Папскую область, занял Рим и присоединил

папские владения к Франции. Папа издал буллу об отлучении Наполеона от церкви. В ответ на это в июле 1809 г. французские солдаты вторглись, по приказу императора, в папский дворец, захватили Пия VII и увезли его пленником во Францию. Здесь, в Фонтенбло, он прожил до самого падения империи.

Стр. 118. *...времена... Менандра.*—Менандр—греческий комедиограф IV в. до н. э. Непонятно, в какой связи упоминает его Виноградов. Пастушеские идиллии связаны с именем не Менандра, а Феокрита.

Стр. 120. *Он имел одно видение, непостижимое уму...*—строки из стихотворения А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный» (1829).

Стр. 121. *...саксонский Стендаль едва не стал моей могилой.*—Французский офицер, выведенный Виноградовым,—Анри Бейль, взявший впоследствии псевдоним Стендаля. События, о которых идет речь, относятся к 1806 г. См. об этом примеч. к стр. 62 I т.

Стр. 125. *Захват Бонапартом Голландии...*—В 1810 г. Наполеон прогнал из Голландии своего брата Людовика, который занимал трон созданного в 1806 г. Голландского королевства, за то, что тот противился его политике по отношению к Англии.

Стр. 130. *...во имя креста и розы.*—Роза и крест—эмблема розенкрейцеров, мистического общества, близкого к масонам.

Роза Гарпократа...—Гарпократ—в древнегреческой мифологии—божество молчания.

...наша страна в период бури и натиска...—Так называлось литературное движение 80—90-х годов XVIII века в Германии, к которому примыкали Гердер, Клинггер, Гете, Шиллер. Деятели «Бури и натиска» проповедовали идеи просвещения, свободы, национального единства.

Стр. 135. *...по-нашему в 4-м этаже...*—У французов счет этажей начинается со второго, для первого же существует особое название. Таким образом, то, что русский называет четвертым этажом, для француза—третий.

Стр. 136. *...Байрон выступает на защиту провинившихся рабочих.*—См. примеч. к стр. 108 I т.

Стр. 138. «*Сандрильона*»—опера Россини, написанная в 1816 г.

Стр. 144. *Ольденбург*—северо-германское герцогство, правители которого были в родстве с русскими монархами. Захват его Наполеоном послужил одним из поводов к началу войны между Россией и Францией.

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839)—с 1808 г. был ближайшим советником Александра I, автор проекта либерального государственного переустройства, сторонник конституционной монархии, инициатор создания Государственного совета. В 1812 г. впал в немилость и сослан Александром в Нижний Новгород. Декабристы предназначали ему роль члена временного революционного правительства, хотя сам он не входил в тайные общества. В 1826 г. Сперанский, отказавшись от своих прежних идей, стал сотрудником Николая I, возглавил II Отделение императорской канцелярии, которое занималось упорядочением действующего законодательства. Под его руководством издано «Полное собрание законов Российской империи».

Стр. 149. *Трианон*—название двух дворцов в Версале, бывшей резиденции французских королей.

Стр. 150. *Сколько бы швернутов...*—Швернут (искаженное нем. *Schwermut*)—грусть, тревога.

Стр. 157. *...дворянство не позже шестой книги...*—Имеются в виду родословные книги русского дворянства.

...старого моряка Шишкова...—Шишков Александр Семенович (1754—1841)—адмирал, государственный деятель, писатель. Эпигон классицизма, сторонник архаического стиля в литературе.

Стр. 159. «*Арзамас*»—литературный кружок, членами которого были В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, В. Л. Пушкин, К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский, А. С. Пушкин и др. «Арзамас» вел литературную войну с Шишковым и его обществом «Беседа любителей русского слова». Обряд посвящения в арзамасцы состоял из произнесения пародийно-заупокойной речи (но не над новичком, а над одним из членов «Беседы») и присвоения члену кружка нового имени. «Арзамас» начал свое существование в 1815 г., так что в 1812 г., когда происходит описываемая Виноградовым встреча, упоминание о нем—грубое нарушение хронологии.

Стр. 168. *Витгенштейн*—см. примеч. к стр. 47 I т.

Стр. 169. *...два старика Пушкиных—Алексей и Василий...*—Алексей Михайлович Пушкин (1771—1825)—дальний родственник А. С. Пушкина, литератор.

Стр. 171. *Милорадович*—см. примеч. к стр. 34 I т.

Стр. 174. *Бестужев*—см. примеч. к стр. 47 I т.

Стр. 175. *...Сергею Петровичу Трубецкому...*—С. П. Трубецкой (1790—1860)—впоследствии декабрист, один из руководителей Северного общества, был приговорен к 20 годам каторги. Служил не в Семеновском, а в Преображенском полку.

Стр. 176. *...Екатерина Ивановна Трубецкая (1800—1854)*—урожденная графиня Лаваль, последовавшая за мужем в Сибирь.

...Общество русских рыцарей...—политическое общество, главой которого был масон Дмитриев-Мамонов.

Стр. 177. *...госпожой Сталь...*—см. примеч. к стр. 230 I т.

Стр. 180. *...католические попы вывернули наизнанку голову моей сестрице.*—Имеется в виду Софья Петровна Свечина (1782—1859)—русская аристократка, содержательница католического салона в Париже. Однако она уехала в Париж только в 1817 г., к тому же Свечина—ее фамилия в замужестве, в девичестве же она—Соймонова, так что неясно, кем приходится ей описанный Виноградовым персонаж.

...Гурьев с Румянцевым или Козодавлев?—Гурьев Дмитрий Александрович (1751—1825)—русский министр финансов с 1810 г. В 1818 г. им был установлен либеральный таможенный тариф. Румянцев—см. примеч. к стр. 109. наст. тома. Козодавлев Осип Петрович (1754—1819)—с 1810 г.—министр внутренних дел России.

Стр. 181. *От самого Бернадотта...*—Бернадотт Жан Батист (1763—1844)—маршал Франции, участник наполеоновских войн. В 1810 г. избран наследником шведского престола. Командовал шведскими вой-

сками в войне против Наполеона. В 1818—1844 гг.—шведский король Карл XIV Юхан.

Стр. 186. *Коцебу* Август Фридрих Фердинанд (1761—1819)—немецкий драматург, эпигон классицизма. Состоял на русской службе. В 1800 г. был сослан Павлом I в Сибирь, но вскоре освобожден, чему способствовал перевод на русский язык его романа «О Петре III». В 1801 г. Коцебу вышел в отставку и уехал в Германию, где издавал реакционный журнал и был агентом русского правительства. Убит студентом-патриотом Зандом.

Стр. 190. *...Шомон опустел.*—В марте 1814 г. во французском городе Шомоне Россия, Англия, Австрия и Пруссия подписали договор о войне до полной победы над Наполеоном и об условиях будущего мира.

Стр. 192. *Венский конгресс.*—В 1814—1815 гг. в Вене работал крупнейший международный дипломатический конгресс, на который съехались представители 216 европейских государств. Задачей конгресса было закрепление победы над бонапартизмом, восстановление монархических порядков в Европе и создание Священного союза для борьбы против революционных движений.

...неделю тому назад снова гремели пушки в двадцати километрах от Брюсселя...—Имеется в виду сражение при Ватерлоо, где Наполеон был окончательно разгромлен после Ста дней. Однако Венский конгресс продолжался с сентября 1814 по 9 июня 1815 г., а битва при Ватерлоо произошла 18 июня 1815 г., то есть вскоре после завершения, а не перед началом конгресса.

Стр. 195. *...в редуте...* (от фр. redoute)—празднество, бал.

Стр. 198. *...сэр Вильям Питт...*—Питт Уильям Младший (1759—1806)—премьер-министр Великобритании в 1783—1801 гг. и в 1804—1806 гг., один из организаторов коалиции европейских государств против революционной, а затем наполеоновской Франции.

Стр. 200. *...Делольмовы суждения...*—Имеется в виду сочинение швейцарского публициста Жана Луи Делольма «Английская конституция» (1771).

Стр. 201. *Смесь Макиавелли и Фридриха Великого...*—Макиавелли Никколо (1469—1527)—итальянский политический мыслитель эпохи Возрождения, сторонник сильной государственной власти. Фридрих II Великий (1712—1786)—прусский король, выдающийся полководец и политик, собравший при своем дворе знаменитых ученых, писателей, музыкантов.

Стр. 205. *...говорил с... Блудовым...*—Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864)—дипломат, государственный деятель, литератор, один из основателей «Арзамаса». В 1826 г. был делопроизводителем верховной следственной комиссии по делу декабристов. Зная об отсутствии Н. Тургенева в России во время декабрьского восстания, он тем не менее не пытался его защитить и даже поместил в число важнейших обвиняемых, способствуя тем самым вынесению Тургеневу заочно смертного приговора. Позднее занимал должности министра внутренних дел, юстиции, был президентом Академии наук.

Стр. 206. *Катенин Павел Александрович* (1792—1853)—поэт, драматург, член тайного общества «Союз спасения».

Стр. 209. *Союз благоденствия*—тайная организация, созданная в 1818 г. на базе существовавшего ранее Союза спасения. В 1821 г. Союз благоденствия распущен и организованы Северное и Южное тайные общества декабристов.

Стр. 213. *Якубович Александр Иванович* (1792—1845)—декабрист, участник восстания 14 декабря, приговорен к 20 годам каторги.

Стр. 214. *...выгнал иезуитов...*—В 1820 г. был издан указ об окончательном изгнании из России иезуитов, А. И. Тургенев был в это время директором департамента духовных дел иностранных исповеданий.

Стр. 216. *Отуманилася Ида...*—строки из «Илиады» Гомера в переводе Жуковского.

Сверчок—арзамасское прозвище А. С. Пушкина.

Стр. 217. *Тургенев, верный покровитель...*—строки из стихотворения А. С. Пушкина «Тургеневу» (1817).

Стр. 218. *Риего и Квироса подняли восстание...*—Рафаэль Риго-и-Нуньес (см. примеч. к стр. 255 I т.) и Антонио Кирога (1784—1841)—вожди испанской революции 1820—1823 гг.

Стр. 219. *...вызвали Фердинанда...*—Имеется в виду неаполитанский король Фердинанд IV. В июле 1820 г. восставший народ вынудил его принять конституцию.

...с запиской Каразина...—Каразин Василий Назарович (1773—1842)—ученый, просветитель, близкий к Александру I в начале его царствования. В 1820 г. подал царю записку, в которой критиковал тогдашнюю систему администрации, за что был арестован и провел шесть месяцев в Шлиссельбургской крепости.

Стр. 220. *...на Карлсбадской конференции...*—На Карлсбадской конференции представителей германских государств (1819) было принято соглашение о праве вооруженного вмешательства стран Германского союза для подавления антиправительственных выступлений в любой из них, учреждена жесткая цензура, а в Майнце создан комитет для надзора над вольнодумством.

Стр. 222. *...король испанский объявил конституцию кортесов.*—Испуганный размахом восстания, испанский король Фердинанд VII объявил о восстановлении либеральной конституции, принятой во время национально-освободительного движения в 1812 г. кадисскими кортесами (парламентом) и упраздненной в 1814 г. феодально-абсолютистской реакцией.

Стр. 227. *Баронесса Крюденер Юлия* (1764—1824)—мистически настроенная писательница, проповедница, имевшая большое влияние на Александра I в 1814—1815 гг.

...этого претекста недостаточно...—Претекст (от фр. *prétexte*)—предлог.

Стр. 228. *Гоффурьер*—придворный чиновник.

Барон Розенкампф Густав Андреевич (1762—1832)—юрист, в начале царствования Александра I принимал участие в деятельности комиссии

по составлению новых законов, состоял членом центральных государственных учреждений.

...*граф Уваров* Сергей Семенович (1786—1855)—реакционный государственный деятель, с 1818 г.—президент Академии наук, позднее (в 1833—1849)—министр внутренних дел.

Стр. 230. «*Бронзовый век*»... *Эпиграф: «Impar Congressus Achilli».*—Политическая сатира Байрона «Бронзовый век» была направлена против монархов Священного союза, собравшихся в Вероне на конгресс. Латинский эпиграф, буквально означающий «неравный бой Ахилла», благодаря игре слов имел двусмысленный характер.

Греки подняли революцию против стамбульского монарха.—Восстание против турецкого господства вспыхнуло в Греции в 1821 г. В 1822 г. в ответ на провозглашение греками независимости султанское правительство устроило резню христиан в Константинополе. Байрон принимал участие в борьбе греков за свободу.

Стр. 232. ...*на конгресс в Вероне.*—Веронский конгресс Священного союза состоялся в октябре—декабре 1822 г., на нем было принято решение о подавлении испанской революции. Представителей Греции конгресс отказался принять.

Мордвинов Николай Семенович (1754—1845)—в описываемое Виноградовым время—председатель департамента гражданских и духовных дел Государственного совета, политический деятель либеральных убеждений, автор одного из проектов освобождения крестьян. Мордвинова декабристы предполагали ввести в состав временного правительства. Позднее, в 1826 г., он был единственным из членов Верховного уголовного суда, не подписавшим смертный приговор декабристам.

Стр. 233. ...*смотрел на покои Татариновой.*—Татаринова Екатерина Филипповна (1783—1856)—мистическая сектантка, основательница так называемого «духовного союза», пользовавшаяся покровительством Александра I. С 1815 по 1821 гг. жила вместе с матерью, которая была близка ко двору, в Михайловском замке в Петербурге.

Стр. 234. *Встретили Лунина и Чадаева.*—Лунин Михаил Сергеевич (1787—1845)—один из основателей тайных обществ декабристов, осужден на 20 лет каторги.

Чадаев Петр Яковлевич (1794—1856)—член Союза благоденствия, свободомыслящий писатель, философ, во время восстания на Сенатской площади находился за границей.

Муравьев Никита Михайлович (1796—1843)—правитель Северного общества и автор проекта конституции.

Яков Николаевич Толстой (1791—1867)—член Союза благоденствия, с 1837 г.—тайный агент русского правительства в Париже.

Всеволожский.—Имеется в виду Никита Всеволодович Всеволожский (1799—1862), литератор, основатель литературного общества «Зеленая лампа», или его брат Александр Всеволодович (1793—1864). Однако ни один из братьев не принадлежал к обществам декабристов.

Пестель Павел Иванович (1793—1826)—основатель Южного общества, убежденный республиканец, автор «Русской правды»—наиболее

Демократической программы декабристов. Приговорен к смертной казни и повешен.

Стр. 235. *Товарищ, верь...*—заключительные строки из стихотворного послания Пушкина «К Чаадаеву» (1818).

Поверь, мой друг, она придет...—строки из стихотворения Пушкина «Стансы Толстому» (1819).

...случай в Семеновском полку?—Бунт Семеновского полка произошел в 1820 г. Солдаты и офицеры принесли царю жалобу на жестокость командира полка Шварца, роты отказались идти на парад. И хотя Шварц был приговорен к смертной казни, восемь зачинщиков «бунта» были прогнаны сквозь строй, полк расформирован.

Стр. 237. *...профессором Ал. П. Куницыным*—А. П. Куницын не имел отношения к основанию Северного общества декабристов.

Федор Николаевич Глинка (1786—1880)—поэт, член Союза спасения и Союза благоденствия, близкий к декабристам, однако не состоявший в Северном обществе и не принимавший участия в восстании 14 декабря.

Грибовский Михаил Кириллович—член Союза благоденствия, тайный агент Бенкендорфа, в 1821 г. подал царю записку, где перечислил членов тайного общества.

Иван Григорьевич Бурцов (1794—1829)—был членом Южного общества.

Павел Иванович Колошин (1799—1854)—член Союза благоденствия.

Александр Александрович Шаховской (1777—1846)—русский драматург. Декабристом был не он, а Федор Петрович Шаховской (1796—1829), осужденный на вечное поселение.

Александр Сергеевич Пушкин—Пушкин не был членом декабристских обществ.

Стр. 238. *...повидайся с Кривцовым...*—Вероятно, имеется в виду декабрист Сергей Иванович Кривцов (1802—1864).

Стр. 239. *Лабзин Александр Федорович* (1766—1825)—религиозно-мистический писатель, издатель журнала «Сионский вестник» (1806—1807).

Стр. 240. *Известно мне: погибель ждет...*—строки из поэмы К. Ф. Рыльева «Наливайко» (1824—1825).

Стр. 241. *...послание североамериканского президента Монро*—Доктрина, получившая название «Америка для американцев», была изложена президентом США Джеймсом Монро в 1823 г. в послании конгрессу США (а не Веронскому конгрессу Священного союза). Целью ее было воспрепятствовать колонизации Американского материка европейскими странами и сделать ее монополией США.

Стр. 242. *...архивных юношей...*—Архивными юношами называли членов московского литературно-философского кружка «любомудров», многие из которых служили в Архиве министерства иностранных дел.

Греч Николай Иванович (1787—1867) и *Булгарин Фаддей Венедиктович* (1789—1859) в описываемое время были редакторами журнала «Сын отечества». В начале 20-х годов оба были близки к либеральным

кругам, после 1825 г. начали издания правительственного журнала «Северная пчела». Булгарин стал тайным осведомителем III Отделения.

Стр. 243. *Левушка*—Лев Сергеевич Пушкин (1805—1852), брат поэта.

Стр. 244. *«Полярная звезда»*—альманах, издававшийся в 1823—1825 гг. К. Ф. Рылевым и А. А. Бестужевым.

...об обществе филаретов...—Филареты (греч. любящие добродетель)—тайное патриотическое общество студентов Виленского университета, стремившееся к воссоединению разделенной между Россией, Пруссией и Австрией Польши. После 1820 г. реакционная политика в Польше усилилась, и хотя формально оставалась в силе конституция 1815 г., на деле Польшей деспотически правили наместник великий князь Константин Павлович и императорский комиссар при Административном совете Н. Н. Новосильцев. Студенческие общества были раскрыты тайной полицией Новосильцева, их руководители, в том числе поэт Адам Мицкевич, арестованы и высланы в глубь России.

Стр. 246. ...брошюру Бенжамена Констан *«Комментарий на труд Филанджиери»*.—Констан Бенжамен (1767—1830)—французский писатель и либеральный политический деятель.

Филанджиери Гаэтано (1752—1788)—итальянский юрист и экономист школы физиократов.

Стр. 247. *Веневитинов* Дмитрий Владимирович (1805—1827)—поэт-романтик, философ-«любомудр».

Николай Тургенев будет формировать временное правительство.—Включение Н. Тургенева во временное революционное правительство, действительно, предполагалось до его отъезда за границу, однако на него не возлагалась задача формировать все это правительство.

Стр. 249. *«Военное искусство»*—трактат генерала Антуана Анри Жомини (1779—1869), военного теоретика и историка, перешедшего на русскую службу.

Стр. 250 ...намерения Тургенева издавать журнал...—Имеется в виду журнал «Россиянин XIX века», который Н. Тургенев собирался издавать.

Стр. 257. *Роберт Оуэн* (1771—1858)—английский социалист-утопист. Основал в Англии и США поселки-коммуны, с помощью которых надеялся достичь радикальной перестройки общества.

Стр. 258. ...начальник штаба Волконский...—Вероятно, имеется в виду Петр Михайлович Волконский (1776—1852), начальник главного штаба с 1815 г., министр императорского двора с 1826 г.

Стр. 259. ...читал *«Вильгельма Мейстера»*—роман Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795—1796).

Стр. 260. ...пленение Платона...—Имеется в виду пребывание в Сицилии у тирана Дионисия Младшего дреэнегреческого философа Платона (427—347 гг. до н. э.).

...кораблей *Алкивиада*...—Алкивиад—греческий стратег V в. до н. э., организовал в 415 г. до н. э. экспедицию против Сиракуз. Во время войны в Сицилии он был обвинен в святотатстве и заочно осужден афинским судом.

Стр. 263. *Гипокризия* (от фр. *hypocrisie*) — лицемерие.

Стр. 265. ...с *Левашовым*...—Левашов Василий Васильевич (1783—1848)—генерал-майор, член Следственной комиссии по делу декабристов.

...*Пестель*... *арестован*...—П. И. Пестель был арестован генерал-адъютантом Чернышевым накануне 12 декабря 1814 г. по доносу предателя Майбороды.

...*арестовать обер-прокурора Сената Краснокутского*...—Краснокутский Семен Григорьевич, член Южного общества, осужден на двадцать лет ссылки.

...*Орлов Михаил Федорович* (1788—1842)—глава Кишиневского отделения Союза благоденствия, привлекался по делу декабристов и был сослан под надзор полиции.

...*подозрение падает на... Баранова и Муравьева-Апостола*...—Среди кандидатур в предполагаемое временное революционное правительство декабристы выдвигали сенатора Д. О. Баранова, ставшего одним из членов Верховного суда над декабристами, и литератора и государственного деятеля И. М. Муравьева-Апостола, находившегося в отставке с 1808 г.

Стр. 266. ...*показание полковника Комарова*...—Николай Комаров — офицер 2-й армии, расположенной в Тульчине, член Союза благоденствия.

Шульгин Дмитрий Иванович (1784—1854)—московский обер-полицеймейстер (1825—1830).

...*поручения, касающиеся Насакина и Мещерского*...—Прапорщик Я. Г. Насакин был награжден орденом за то, что 14 декабря не примкнул к восставшим и удержал своих солдат. А. П. Мещерский — прапорщик Черниговского полка, заключен на полгода в крепость за причастность к восстанию. Неясно, в какой связи он упоминается писателем.

Стр. 270. *Базар*—см. примеч. к стр. 304 I т.

Манюэль—см. примеч. к стр. 343 I т.

Стр. 274. *Томик «Ундины» Ламонт-Фуке*...—Имеется в виду сказка немецкого писателя Фридриха де ла Мотт (1777—1843), Жуковский сделал ее стихотворное переложение на русском языке в 1831—1836 гг.

Стр. 277. *Горчаков Александр Михайлович* (1798—1883)—однокашник Пушкина по лицей, дипломат, в 1824—1828 гг.—секретарь русского посольства в Лондоне, позднее министр иностранных дел и канцлер империи.

Стр. 279. *Соболевский*—см. примеч. к стр. 187 I т.

Меня, как Беранжера, хотят сделать ручным домашним животным.—Имеется в виду Пьер Жан Беранже (см. о нем примеч. к стр. 348 I т.), находившийся в оппозиции к правительству Реставрации, отказывался от предлагавшихся ему должностей и от звания академика.

Я ему Калашникову показывал.—Калашникова Ольга Михайловна—дочь крепостного, управляющего Михайловским, с которой Пушкин был близок во время ссылки 1824—1826 гг. В 1830 г. получила вольную.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875)—историк, писатель, журналист, близкий знакомый Пушкина.

Ражалин.—Вероятно, имеется в виду Николай Матвеевич Рожалин (1805—1834), литератор, член кружка «любомудров».

Стр. 280. *В наш гнусный век*...—строки из стихотворения А. С. Пушкина «К Вяземскому» (1826).

Стр. 282. *...Умереть, уснуть*...—строки из монолога Гамлета (акт III, сцена I) в пер. А. Кронеберга.

Стр. 283. *Пинель* Филипп (1745—1826)—выдающийся французский психиатр.

...к временам... Парацельса...—Парацельс (1493—1541)—великий врач и естествоиспытатель, философ Средневековья.

Стр. 284. *...графиня Генриетта Разумовская*—католичка, первая жена К. Разумовского, старшего сына последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского.

Père la Chaise—кладбище в Париже.

Стр. 286. *...его прозвали Варвиком*.—Варвик, точнее Уорвик, «делатель королей»—могущественный английский феодал времен войн Алой и Белой розы.

Стр. 288. *...сообразно закону о вольных хлебопашцах*.—По закону о вольных хлебопашцах (принят в 1803 г., в начале царствования Александра I) помещики могли на определенных условиях отпускать на волю крестьян с землей.

Стр. 290. *Берше*—см. примеч. к стр. 252 I т.

Россетти, отец ...мальчика-художника...—Сын Габриэле Россетти (см. о нем примеч. к стр. 252 I т.) Данте Габриэль Россетти (1828—1882) стал живописцем и поэтом. Однако в описываемое Виноградовым время Данте Габриэль еще только-только родился.

Фосколо—см. примеч. к стр. 204. I т.

Стр. 293. *Кювье* Жорж (1769—1832)—французский зоолог и палеонтолог. Установил принцип соответствия органов, на основе которого реконструировал строение вымерших животных.

Стр. 294. *...дать тебе «Шуана»*...—Имеется в виду роман Оноре де Бальзака «Шуаны» (1829), принесший ему известность.

Стр. 296. *...от госпожи Ансло*...—см. примеч. к стр. 404 I т.

...Гюго написал драму...—Имеется в виду драма Гюго «Эрнани» (1830), постановка которой вызвала настоящую войну между сторонниками классической и романтической школ в литературе.

Стр. 297. *...вы, автор «Романтического манифеста»*...—Вероятно, имеется в виду трактат Стендаля «Расин и Шекспир» (1823 и 1825), написанный в защиту нового, реалистического искусства и против эпигонов классицизма.

Стр. 299. *Мюрже*—см. примеч. к стр. 411 I т.

Стр. 301. *Маццини*—см. примеч. к стр. 457 I т.

Стр. 302. *Этьен Жуи* (1764—1846)—французский писатель, автор пятитомного романа «Отшельник с Шоссе д'Антен», в котором описываются нравы XIX века.

Стр. 303. *Винкельман*—см. примеч. к стр. 62 I т.

Стр. 305. *Лингаи*—см. примеч. к стр. 258 I т.

Жихарев Степан Петрович (1788—1860)—литератор, автор «Записок современника». В годы молодости был близким другом А. И., Н. И. и С. И. Тургеневых, впоследствии (в 1831 г.) разошелся с А. И. Тургеневым из-за материальных дел.

...двенадцать томов записок *Джакомо Казановы?*—см. примеч. к стр. 371 I т.

Стр. 307. *Мадам Рекамье*—см. примеч. к стр. 447 I т.

Стр. 308. «*Новые ордонансы*»—см. примеч. к стр. 486 I т.

Стр. 310. ...со времен 1650 года...—то есть со времен восстания Фронды против кардинала Мазарини в середине XVII в.

Стр. 311. *Годфруа Кавеньяк*—см. примеч. к стр. 451 I т.

Лаффит—см. примеч. к стр. 487 I т.

Тьер—см. примеч. к стр. 465 I т.

Стр. 313. ...господина *Дюпена*... и второго...—31 июля 1830 г. герцог Орлеанский принял звание наместника королевства и составил воззвание к народу вместе с либеральным адвокатом Дюпеном и Маршалом Себастианом.

Стр. 314. ...репрессии *Николая I* довели до открытой гражданской войны... *Польшу*.—Имеется в виду польское восстание 1830—1831 гг., подавленное Николаем I.

Стр. 316. *Вьессе* Жан Пьер (1779—1869)—итальянский журналист родом из Швейцарии, чья библиотека-читальня во Флоренции стала одним из очагов культуры в Италии.

Правитель Тосканы...—Леопольд II проводил политику терпимости и давал убежище изгнанникам из других областей Италии.

Стр. 317. *Клафа*—невеста Н. Тургенева.

Стр. 319. *Брюллов Карл Павлович* (1799—1852)—известный художник, в 1823—1835 гг. жил в Италии.

Анатолий Демидов (1812—1870)—один из представителей династии крупных русских горнозаводчиков, филантроп, проведший большую часть жизни за границей.

...оперу *Пуччини*... «*Последние дни Помпеи*»...—Пуччини, родившийся лишь в 1858 г., такой оперы не писал.

Кипренский Орест Адамович (1783—1836)—русский художник-портретист, долгое время живший в Италии.

...у *Зинаиды Волконской*...—Волконская Зинаида Александровна (1789—1862)—хозяйка литературно-музыкального салона в Москве, художественно и музыкально одаренная натура. В 1829 г. уехала в Италию.

Стр. 320. ...его русскую жену...—Имеется в виду Анастасия Семеновна Сиркур, урожденная Хлюстина (1808—1863)—хозяйка литературного салона в Париже, автор статей о русской литературе.

Стр. 328. *Д'Аршиак* Огюст—атташе французского посольства в Петербурге, секундант Дантеса на дуэли с Пушкиным.

Стр. 329. *Пулята* Николай Васильевич (1802—1877)—литератор, знакомый Пушкина, к которому он обращался в 1828 г. с просьбой быть

посредником в несостоявшейся дуэли с секретарем французского посольства Т.-Ж. Лагрене.

...отправились мы—я и жандарм!..—А. И. Тургенев был очень близок с Пушкиным в последние месяцы жизни поэта, но не знал о готовящейся дуэли. Он сопровождал тело Пушкина в Святогорский монастырь.

Стр. 331. *Адам де Кюстин—сын казненного Астольфа.*—Виноградов путает имена. Казнен в 1793 г. генерал Адам де Кюстин, Астольфом же звали его сына, французского писателя и путешественника, автора книги «Россия в 1839 г.», в которой в неблагоприятном свете выставлено русское общество.

...восхищается рабочим Лафаргом...—В «Прогулках по Риму» Стендаль поместил отчет о процессе рабочего Лафарга, убившего изменившую ему женщину и покушавшегося на самоубийство, и его речь в суде. Лафарг был осужден на несколько лет тюремного заключения, а затем амнистирован. К «ниспровержению политических и социальных систем Европы» это дело не имело никакого отношения.

Стр. 332. *Редко имена даются так удачно.*—Клара означает латыни «светлая».

Ламенне—(см. о нем примеч. к стр. 412 I т.). После 1830 г. стал проповедовать христианский социализм. Его взгляды были осуждены римским папой, после чего Ламенне порвал с католицизмом.

Лакордер ...и... граф Монталамбер...—Лакордер и Монталамбер—единомышленники Ламенне, оба они отошли от него после его разрыва с церковью.

Стр. 335. *...передал Мицкевичу стихи Пушкина, к нему относящиеся...*—Пушкин посвятил Мицкевичу несколько стихотворений. В поэме «Медный всадник» Пушкин полемизирует с Мицкевичем, выразившим резко отрицательное отношение к Петру I в цитируемом Виноградовым стихотворении «Памятник Петру Великому». Несмотря на разногласия, оба поэта высоко ценили друг друга. 25 мая 1837 г. в журнале «Глоб» появился некролог Пушкину, написанный Мицкевичем.

Марк Аврелий (121—180)—римский император с 161 г., философ, образец стоической доблести.

Стр. 338. *Бакунин Михаил Александрович (1814—1876)*—русский революционер, участник революций 1848 г. в Париже, Дрездене, Праге. В 1851 г. выдан России австрийскими властями, заключен в тюрьму, затем выслан. Из ссылки бежал за границу, сотрудничал с Герценом и Огаревым, был членом I Интернационала.

...Луи Филипп... преподает французский язык в английских школах.—Луи Филипп, бежавший в Англию в 1848 г., жил там под именем графа де Нейи.

Стр. 339. *...закатилось солнце Кавеньяка и... возшла звезда нового Бонапарта...*—Имеется в виду поражение на президентских выборах 1870 г. Кавеньяка и победа Луи Наполеона Бонапарта, короновавшегося в 1852 г. императором Франции.

Стр. 340. *«Коммунистический манифест», Лондон, 1848 г.*—Имеется в виду работа К. Маркса «Манифест Коммунистической партии».

Стр. 342. ...*после захвата пруссаками коронованного авантюриста*...— В июле 1870 г. началась франко-прусская война. В битве при Седане окруженная французская армия вместе с императором сдалась в плен прусским войскам. 4 сентября новая революция свергла империю Наполеона III и установила республику.

Изгнанник Гюго.—С 1852 по 1870 г. В. Гюго, выступавший против Наполеона III, находился в изгнании.

Мобили—мобилизованные гвардейцы набора 1870 г.

Гамбетта Леон (1838—1882)—лидер сформированного после свержения Наполеона III правительства национальной обороны (сентябрь 1870—февраль 1871).

Тьер ведет переговоры...—В 1870 г. Тьер вел переговоры с Бисмарком об условиях мира.

Стр. 344. ...*мальчика Луи*.—Имеется в виду сын Наполеона III Евгений Луи Наполеон.

Евгения Монтихо—см. примеч. к стр. 484 I т.

Стр. 346. *Sacré-Coeur de Montmartre*—церковь в Париже.

...*исполнение своих заветнейших дум*.—То есть освобождение крестьян в 1861 г.

ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ

Действие исторической повести «Черный консул» (1933) развивается в революционном Париже и на охваченном восстанием рабов острове Гаити. В 1789 году в обстановке экономического и политического кризиса во Франции началась революция. 14 июля восставший народ взял штурмом Бастилию.

История Великой французской революции изобиловала многочисленными поворотами, выдвигая то одного, то другого лидера. Вначале у власти стояли сторонники Конституционной монархии, потом борьба между правыми (жирондистами) и левыми (монтаньярами) принесла победу в Конвенте якобинцам во главе с Робеспьером. Но 24 июля (9 термидора по республиканскому календарю) в результате контрреволюционного заговора лидеры якобинцев были арестованы и казнены. 9 ноября (18 брюмера) 1799 года после военного переворота к власти пришел генерал Бонапарт, ставший Первым консулом. В мае 1804 года Наполеон принял титул императора.

В передаче событий Великой французской революции А. Виноградов допускает ряд неточностей. В некоторых случаях нарушения хронологии и ошибки серьезно искажают факты. Многие действующие лица появляются на исторической арене раньше, чем это было в действительности. Часто писатель изобретает несуществовавшие на самом деле любовные связи. Так придуманы отношения между сестрой Робеспьера Шарлоттой и Бонапартом, между Жозефиной Бонапарт и Баррасом, между Шодерло де Лакло и Терезой Кабарюс.

Оценки таких деятелей революции, как, например, Робеспьер,

Демулен, Бриссо, и трактовка противоречивых событий этого сложного времени у А. Виноградова чересчур прямолинейны, что в значительной мере объясняется господствовавшими в 30-е годы в отечественной исторической науке вульгарно-социологическими взглядами.

Революция происходила и в колониальных владениях Франции. На открытом Колумбом в 1492 г. острове Гаити (что на языке коренного населения острова означает «Страна гор») существовали две колонии: испанская в восточной и французская (Сан-Доминго)—в западной части. Колонизаторы уничтожили местное население—индейцев, завезли рабов из Африки, которые и обрабатывали плантации кофе, сахарного тростника, какао.

В 1789 г. мулаты и рабы отправили в Париж посольство¹, которое добилось, чтобы Учредительное собрание предоставило колонии автономию, но так как белые рабовладельцы не хотели признать равноправие цветных и рабов, то в 1791 г. вспыхнуло восстание под руководством бывшего раба негра Туссена Лувертюра. Прибывшие на остров комиссары Конвента объявили отмену рабства. Негры вместе с французскими войсками освободили остров от английских захватчиков, призванных местными плантаторами. Туссен Лувертюр стал правителем бывшей колонии. В 1802 г. Наполеон Бонапарт, желая восстановить рабство негров и колониальное владычество, послал на Гаити двадцатитысячную армию во главе с генералом Леклерком, который, коварно захватив Туссена Лувертюра, выслал его во Францию, где тот умер в тюрьме в 1803 г. Но гаитянская армия, возглавляемая негром Дессалином, одержала победу над французами, и 1 января 1804 г. была провозглашена независимость Гаити. Таковы события, составляющие фон романа.

Стр. 350. «*Вастола*»—поэма немецкого писателя и поэта эпохи Просвещения Кристофа Мартина Виланда (1733—1813), которая была в 1836 г. издана А. С. Пушкиным в переводе Е. П. Люценко.

Гафр (от фр. *gare*)—берегись.

Стр. 351. *Кабанис* Пьер Жан Жорж (1757—1808)—французский философ-материалист, выдающийся врач.

Стр. 353. *Мирабо* Оноре Габриэль Рикети (1749—1791)—граф, депутат от третьего сословия в Генеральных Штатах 1789 г., лидер революционной оппозиции двору и один из руководителей Учредительного собрания. Выдающийся оратор и прозорливый политик. В конце 1789—начале 1790 г., когда происходит действие романа, Мирабо вступил в тайное соглашение с королевским двором, выплачивавшим ему крупные суммы, о чем стало известно после его смерти в 1791 г. Марат одним из первых проявил недоверие к Мирабо.

...спасающий шкуру *Капетингов*...—Капетинги—династия французских королей, восходящая к X веку. К ней принадлежал и король Людовик XVI.

¹ Однако участие в этом посольстве самого Туссена, а также Оже, вождя восстания мулатов на Гаити в конце 1790 г.,—вымысел романиста.

...сидевший за долги...—Мирабо в молодости много лет провел в тюрьме, заключенный туда без суда, силой «*lettre de cachet*» — тайного письма, подписанного королем по просьбе Мирабо-отца, отказавшегося оплатить долги сына.

Стр. 355. *...лакеи графа д'Артуа...*—Граф д'Артуа—брат Людовика XVI и Людовика XVIII, впоследствии король Карл X. Во время революции эмигрировал и возглавил контрреволюционную аристократию.

Стр. 357. *...приносят в дар пилей.*—Пилей—особая шапка, которую надевали римские рабы, получившие свободу.

...в рубриках Мазурия.—Мазурий Сабин—римский юрист I в.

Стр. 358. *Персий Флакк Авл (34—62)*—римский поэт-сатирик. Процитированы строки 82—90 из его пятой Сатиры.

Марат Жан. Поль (1743—1793)—один из вождей якобинцев, издатель и автор газеты «Друг народа», самого смелого органа революционной демократии. Марат выступал против умеренно буржуазных реформ Учредительного собрания, не учитывающих интересы низших классов. Он писал резкие статьи против министра финансов Неккера, генерала Лафайета, Мирабо. В 1790—1792 гг. Марат неоднократно подвергался преследованиям, газета его была запрещена.

...Декларация прав человека и гражданина принята Учредительным собранием 26 августа 1789 г. Она провозглашала принципы свободы, равенства и братства всех граждан.

Стр. 359. *Он читает Овидия.*—Публий Овидий Назон (43 г. до н. э.—ок. 18 г. н. э.)—римский поэт. Конец жизни провел в изгнании. Процитированы строки из его «Скорбных элегий» (кн. I, элегия I).

Стр. 360. *...начальника Национальной гвардии маркиза де Лафайета.*—Национальная гвардия (добровольная милиция) была организована парижанами накануне восстания 14 июля 1789 г. Ее солдаты и офицеры должны были приобретать обмундирование и оружие за свой счет, поэтому национальными гвардейцами могли стать лишь имущие граждане. Начальником Национальной гвардии был маркиз де Лафайет (см. о нем примеч. к стр. 326 I т.).

Стр. 361. *...в зале Манежа.*—С октября 1789 г. Учредительное собрание перебралось из Версаля, где проходили Генеральные Штаты, в Париж, в здание манежа.

Стр. 362. *...с банкой железных чернил...*—В старину чернила делались из отвара чернильных орешков и железного купороса.

Стр. 364. *...судьбу Делонэ, Флесселя, Фулона, Бертье...*—Перечислены приспешники абсолютизма, казненные народом в день восстания 14 июля.

Стр. 369. *...аббата Рейналя...*—Рейналь Гийом Томас Франсуа (1713—1796)—французский историк и социолог, сотрудник «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера, автор «Философской и политической истории учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях» (1770), в которой критиковал политику белых колонизаторов, церковь, инквизицию. Книга была сожжена рукой палача, а автор ее приговорен к изгнанию.

...«Декларацией независимости»...— Декларация независимости Соединенных Штатов, провозглашавшая самостоятельность американских колоний, была принята в 1776 г.

Дамбланти— (от фр. *dame blanche*)— дилижанс с двумя отделениями, светлого цвета.

Бриссо Жак Пьер (1754—1793)—был избран в Законодательное собрание, затем в Конвент, принадлежал к жирондистам, во время террора был гильотинирован.

Траси—см. примеч. к стр. 402 I т.

Грегуар Анри, аббат (1756—1831)—депутат Учредительного собрания, позднее—Конвента, защитник прав мулатов и негров.

Ларошфуко.— Имеется в виду Луи Александр де Ларошфуко (1743—1792), выступавший с требованием отмены рабства негров.

Петион де Вильнев Жером (1756—1794)—один из лидеров демократического крыла Учредительного собрания, с 1791 г. президент якобинского клуба, мэр Парижа после Байи. В Конвенте примыкал к жирондистам, после их падения арестован, бежал в Бордо и вскоре погиб.

Сийес Эмманюэль Жозеф (1748—1836)—аббат, приобретший еще до революции популярность как автор антиабсолютистских брошюр, один из основателей якобинского клуба, позднее глава клуба фельянов, член Конвента, Директории, после переворота 18 брюмера—один из консулов. Принимал деятельное участие в разработке «Декларации прав».

Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794)—крупный французский химик. С 1769 по 1791 г.—генеральный откупщик налогов, с 1775 г.—управляющий пороховым делом страны. Во время революции был членом Национального казначейства, секретарем комиссии мер и весов. Лаборатория Лавуазье в здании Арсенала была центром научной мысли того времени. Казнен как бывший откупщик.

Стр. 370. ...*господина Юнга... с... господином Дюмоном*...—Вероятно, имеются в виду английский экономист Артур Юнг, автор книги, в которой описывается Франция эпохи революции, и философ и публицист Пьер Этьен Луи Дюмон, сотрудничавший с Мирабо, живший в Париже в первые годы революции.

Бальи, точнее Байи Жан Сильвен (1736—1793)—один из лидеров Учредительного собрания, мэр Парижа после 14 июля 1789 г. Утратил популярность после приказа о расстреле демонстрантов на Марсовом поле в июле 1791 г. Казнен по приговору революционного трибунала.

Стр. 371. ...*господину Ламету... его брату*...—Имеются в виду Александр Ламет (1760—1829) и Шарль Ламет (1757—1832)—члены Учредительного собрания, сторонники конституционной монархии; после восстания 10 августа 1792 г. бежали за границу.

Стр. 374. ...*к доктору Месмеру*...—Месмер Франц (1734—1815)—австрийский врач, автор теории «животного магнетизма», якобы обладающего целительной силой. Несколько лет с успехом практиковал в высших слоях парижского общества.

Стр. 375. ...родней австриячки...—то есть королевы Марии-Антуанетты, австрийской принцессы.

Стр. 376. *Шодерло де Лакло* (см. примеч. к стр. 422 I т.)—был генералом артиллерии, отличился в битве при Вальми.

Стр. 377. *Кабарюс Тереза* (1773—1835)—дочь испанского графа, в начале революции была главной героиней театрализованных представлений в Париже в честь свободы. В 1790 г. вышла замуж за маркиза Фонтене, бежала с ним в Испанию, была арестована и заключена в тюрьму в Бордо. Здесь в 1792 г. состоялось ее знакомство с комиссаром Конвента Жаном Ламбером Тальеном (1769—1820). По приказу Комитета общественного спасения Тальен, злоупотреблявший властью, был отозван из Бордо и исключен из якобинского клуба, Тереза заключена в Париже в тюрьму. Тальен сыграл решающую роль в перевороте 9 термидора, а Кабарюс, прозванная «мадонной Термидора», побуждала заговорщиков к действиям, хотя роль ее в заговоре А. Виноградовым преувеличена. После падения Робеспьера Тальен встал во главе правительства, а Тереза, ставшая его женой, держала блестящий салон.

Стр. 378. *Ретиф де ла Бретонн*—см. примеч. к стр. 593 I т.

Стр. 379. ...у герцога Орлеанского...—Луи Филипп, герцог Орлеанский (1747—1793)—представитель младшей линии династии Бурбонов. Во время революции, стремясь завоевать популярность у народа, примкнул к восставшим, отрекся от титула и принял имя Эгалите, то есть «Равенство», в то же время лелеял планы занять опустевший престол. Был членом Конвента, голосовал за казнь Людовика XVI. Казнен по приговору революционного трибунала. Его сын—будущий король Франции Луи Филипп.

«Эротика» *Мирабо*.—Вероятно, имеются в виду письма Мирабо из Венсенского замка, где он был заключен, к его возлюбленной Софи де Монье, опубликованные после его смерти.

...крестьяне сожгли все титры...—то есть долговые обязательства.

Прадт Доминик (1759—1837)—аббат, французский публицист и дипломат времен Революции, Империи и Реставрации.

Стр. 380. *Флориан Жан-Пьер Клари* (1755—1794)—баснописец, внучатый племянник Вольтера.

Стр. 383. *Вискетка*—легкий высокий кабриолет, вошедший в моду в Англии.

Стр. 385. ...генеральный фермер...—то есть генеральный откупщик. Учредительное собрание отменило эту должность.

Стр. 388. *Сильвестр де Саси* (1758—1838)—ученый-востоковед, академик.

...не хуже Кенникота и Росси.—Кенникот—английский богослов, библиист. Росси—еврейский писатель XVI века.

...рукописи Юлия Цезаря Скалигера...—Юлий Цезарь Скалигер (1484—1558)—итальянский ученый-гуманист; речь идет о его сыне Скалигере Жозефе Жюсте (1540—1609), знаменитом филологе, комментаторе античных текстов.

Стр. 389. ...переселился к Морису Дюпле...—Робеспьер поселился на квартире у столяра Дюпле лишь в июле 1791 г.

Стр. 391. ...*Овидий в «Посланиях с Понта»*.—Процитированы строки 15—19 из 2-го послания 4-й книги «Посланий с Понта» Овидия.

Стр. 394. «*Деяния апостолов*»—роялистская газета, издававшаяся в 1789—1791 гг. журналистом А. Риваролем.

...*немецкий ученый-оптик... Иоганн фон Гете*...—Великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете (1749—1832) занимался также естественными науками, в частности исследованиями о природе цвета.

Стр. 395. ...*немецкого фельдшера Фридриха Шиллера*.—Иоганн Фридрих Шиллер (1759—1805), немецкий поэт и драматург, автор драмы «Разбойники», имел медицинское образование и некоторое время служил полковым лекарем.

Стр. 398. ...*рассказы... Флетчера о России*.—Имеется в виду Джайлс Флетчер (ок. 1549—1611), английский дипломат. В 1588—1589 гг. посол в Москве, автор сочинения «О государстве Русском».

Шатобриан (см. о нем примеч. к стр. 75 I т.).—В замке Комбур Рене Шатобриан провел раннюю молодость. Имеется в виду, вероятно, его отец.

Стр. 403. *Мадам Дюбарри* (1743—1793)—фаворитка Людовика XV.

Стр. 404. ...*Клотильдам и Армидам освобожденного Иерусалима*.—Клоринда (а не Клотильда) и Армида—героини поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1575).

Стр. 405. *Монтескье Шарль Луи* (1689—1755)—французский философ-просветитель, правовед.

...*разлив Иремской плотины так называемой Счастливой Аравии*.—Счастливой Аравией географы прошлого называли юго-западную часть Аравийского полуострова. В начале II века в результате римских завоеваний и изменения торговых путей наступил упадок южно-арабской культуры, жители этих мест эмигрировали на север Аравии и принесли туда свой язык.

Стр. 408. *Жан Мабильон* (1632—1707)—член конгрегации святого Мавра, историк, основатель дипломатики и палеографии.

Стр. 410. *Бернард Монфокон* (1655—1741)—ученый монах-бенедиктинец, член конгрегации святого Мавра, автор исторических сочинений.

Стр. 414. «*Пикардийский корреспондент*»—журнал, в котором публиковал свои политические статьи Гракх Бабеф (см. о нем примеч. к стр. 289 I т.).

Стр. 417. *Кондорсе Жан Антуан Никола* (1743—1794)—маркиз, философ-просветитель, член Законодательного собрания и Конвента, примыкал к жирондистам. Покончил с собой, чтобы избежать гильотины.

Дессалин Жан Жак (ок. 1760—1806)—негр-раб с о. Гаити, участник борьбы негров и мулатов за независимость. В 1804 г. объявил себя императором Гаити.

Стр. 425. ...*пошел по «Острову»*...—Имеется в виду Ситэ, остров в Париже на реке Сене, самая древняя часть города, где расположен собор Парижской богородицы.

...*истребив свободу на моем острове*...—Наполеон Бонапарт окончил

Бриеннскую военную школу за несколько лет до описываемых событий. В начале революции он примкнул к движению за независимость Корсики. В Париж вернулся лишь в 1792 г.

Стр. 427. *Барнав*—см. примеч. к стр. 592 I т.

Стр. 435. *Камилл Демулен* (1760—1794)—журналист, политический деятель. Был во главе восставших 14 июля 1789 г. и 10 августа 1792 г. Издатель газет «Революция во Франции и Брабанте» (1789—1791), «Старый кордельер» (1793). Депутат Конвента, монтаньяр. Примкнул к группе Дантона и казнен по делу дантонистов.

...событие 21 января 1793 г.—казнь Людовика XVI.

...сказал Фабру...—Фабр д'Эглантин Филипп (1750—1794)—поэт, драматург, политический деятель. Был членом якобинского блока в Конвенте, казнен как дантонист. Фабр был составителем республиканского календаря.

Стр. 439. *...последнего и ничтожнейшего из Фелипо.*—Имеется в виду Жан Фредерик Фелипо де Поншартрен, граф де Монрепа (1701—1781), министр дворов Людовика XV и Людовика XVI. Среди его предков было два видных политических деятеля.

...сад маркизы Помпадур...—Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур (1721—1764), фаворитка короля Людовика XV.

Стр. 440. *...XXII тома «Современниц»...*—«Современницы, или Похождения красивейших женщин современности» — 42-томное сочинение Ретифа де ла Бретонна (1780—1785).

Стр. 447. *После бойни на Марсовом поле...*—В июле 1791 г. по призыву клуба кордельеров на Марсовом поле несколько дней подряд собирался народ с требованием низложить короля и переизбрать Учредительное собрание. 17 июля по приказу мэра Байи отряды Национальной гвардии открыли огонь по демонстрантам.

Стр. 448. *...неприсяжный папа и двадцать четыре беглых епископа... готовят цепи... французскому народу.*—Учредительное собрание секуляризовало земли церкви, распустило монастыри и потребовало от духовенства присяги конституции. Многие прелаты покинули Францию, отказались присягать и присоединились к эмигрантам-аристократам. Папа Пий VI всячески противодействовал революции—он объявил незаконными все действия Собрания. Папские агенты поддерживали связи с контрреволюционерами внутри Франции и за ее пределами.

Стр. 449. *...делит граждан на активных и пассивных...*—По конституции, принятой в 1791 г., избирательным правом наделялись лишь «активные» граждане, платившие значительный налог, которых было 4,3 млн. человек из 25 млн. французов.

...как Моисея из корзинки...—По библейской легенде, мать оставила младенца Моисея, основателя иудейской религии, в корзинке на берегу реки, где его нашла дочь фараона.

...королевский манифест...—21 июня 1791 г., после побега короля, в Учредительное собрание был доставлен пакет с манифестом монарха, в котором он опротестовывал все утвержденные им акты с октября 1789 г.

Стр. 450. *Леопольд II* — австрийский император, брат Марии-Антуанетты. В августе 1791 г. он подписал с прусским королем Фридрихом-Вильгельмом II военный союз против Франции.

Стр. 452. *...ввести закон о максимуме.* — Такой закон, устанавливавший твердые цены на продукты питания и направленный против спекулянтов, был принят Конвентом в 1793 г.

Стр. 453. *...против Сен-Жюста...* — Сен-Жюст Луи (1767 — 1794) — член Конвента, преданный сторонник Робеспьера. Знакомство Сен-Жюста с Робеспьером произошло не в 1781 г., как сказано у А. Виноградова, а год спустя. Первое выступление Сен-Жюста в Конвенте состоялось в ноябре 1792 г.

Стр. 454. *В Эрменонвилле...* — Жан Жак Руссо подвергался гонениям властей за свои политические и религиозные взгляды, в конце жизни страдал манией преследования. Руссо был вдохновителем и духовным вождем поколения французских революционеров, от Мирабо до Робеспьера. Робеспьер описал свою встречу с Руссо в Эрменонвилле, где философ провел последний год жизни.

Стр. 457. *...наподобие Сергия и Катилины...* — Очевидно, следует читать «наподобие Сергия Катилины». Катилина (ок. 108 — 62 гг. до н. э.) — римский патриций, пытавшийся с помощью мятежа захватить власть. Легендарный римский царь Туллий Сервий (VI в. до н. э.) никак не может служить примером мятежника.

Стр. 460. *...Дамьена-цареубийцы.* — Имеется в виду Робер Франсуа Дамьен, покушавшийся в 1757 г. на жизнь Людовика XV.

Стр. 462. *...должно ли третье сословие иметь двойное представительство.* — На Генеральных Штатах 1789 г. число представителей третьего сословия было увеличено вдвое против обычного.

Стр. 470. *...в Сен-Мартине...* — то есть на острове Сен-Мартен из группы Антильских, где находилась французская колония.

Стр. 472. *...бюст Мирабо-старшего...* — Имеется в виду маркиз Виктор Рикети де Мирабо (1715 — 1789), просветитель-экономист, прозванный «Другом людей», отец знаменитого деятеля революции Оноре Мирабо.

Стр. 474. *Мадемуазель Шарлотта... и мадемуазель Елизавета...* — Шарлотта Робеспьер — сестра Максимилиана, в описываемое время находилась в Аррасе. Дочь хозяина квартиры Мориса Дюпле, невесту Максимилиана, звали Элеонорой. Елизавета — ее младшая сестра.

Стр. 477. *Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707 — 1788)* — французский натуралист и писатель.

Стр. 486. *...На Мартинике...* — Мартиника — остров в Вест-Индии, французская колония.

Стр. 489. *...город святого Петра...* — Сен-Пьер, город на Мартинике.

Стр. 494. *...оказало бы честь Локку...* — Локк Джон (1632 — 1704) — английский философ, развивал теории естественного права и общественного договора.

Стр. 498. *...отряд Жана Шуана...* — Жак Котро, прозванный Шуан (то есть сова: крик совы был условным сигналом в его отряде), возглавил в 1792 г. роялистское восстание на северо-западе Франции. Шуанами

стали называть всех контрреволюционных мятежников, действовавших здесь в 1792—1803 гг.

Стр. 500. *Бомарше-Часовщик*.—Французский писатель и драматург Пьер Огюстен Карон де Бомарше (1732—1799), автор «Севильского цирюльника» и «Свадьбы Фигаро», был сыном часовых дел мастера.

Началась война.—Жирондисты во главе с Бриссо вели пропаганду революционной войны за пределами Франции. Король некоторое время одобрял эти планы в тайной надежде на помощь интервентов. Робеспьер выступал против этой авантюристической программы, считая, что главные враги революции не вне, а внутри страны, и предостерегал против вооруженного вторжения в другие страны. 20 апреля 1792 г. Франция объявила войну австрийскому императору. Война началась с поражений французов. Войска контрреволюционной коалиции и эмигрантов наступали и шли на Париж.

Стр. 501. *...графа де Сен-Симона*.—См. примеч. к стр. 194 I т.

Тальма Франсуа Жозеф (1763—1834)—знаменитый актер, любимец Наполеона.

Стр. 502. *Бурьени Луи Антуан Фовле* (1763—1826)—друг Наполеона Бонапарта по Бриеннской военной школе, его секретарь.

Стр. 504. *Андре Шенье* (1762—1794)—элегический поэт и публицист, в первые годы революции—ее пламенный сторонник, но, оставшись на умеренно-либеральных позициях, выступал против казни короля и якобинского террора. Казнен за три дня до термидорианского переворота.

Стр. 506. *...с ненавистью к Франции за порабощение... Корсики*.—Корсика—бывшее владение генуэзцев, в 1755 г. восстала против них. Генуя передала остров в 1768 г. Франции. В 1789 г. корсиканские патриоты под предводительством Паскуале Паоли (1725—1807) подняли восстание за независимость. Паоли был объявлен Конвентом вне закона.

Стр. 510. *...Робеспьера-старшего*.—Имеется в виду брат и соратник Робеспьера Огюстен, который был не старше, а младше Максимилиана.

Стр. 512. *...безногий Кутон*.—Кутон Жорж (1755—1794)—член Комитета общественного спасения, сторонник Робеспьера и Сен-Жюста, казнен вместе с ними. У Кутона были парализованы ноги.

Стр. 514. *Ламбаль Мария Тереза, принцесса* (1749—1792)—приближенная Марии-Антуанетты, содержалась в тюрьме Ла Форс, где была убита во время сентябрьских волнений.

Стр. 520. *...графиня де Валуа-Ламотт Жанна* (1756—1791)—авантюристка, замешанная в знаменитом деле об исчезновении ожерелья королевы (1784—1786). Графиня де Ламотт была наказана плетьюми, заклеймлена и заключена в тюрьму Сальпетриер, откуда ей удалось бежать.

Стр. 525. *Юнивер Питтореск* (фр. «Univers Pittoresque») — Занимательная география.

Стр. 534. *Господин Никот*.—Точнее Нико Жан (1530—1606)—французский дипломат, посол в Португалии, который первым завез во Францию табак.

Стр. 536. *Гарвей* Уильям (1578—1657)—английский врач, основатель физиологии.

...дать французам и всему человечеству новые единицы мер и веса?—Метрическая система была принята 1 августа 1793 г.

...*Руже де Лиль*... сочинил... песню, *Гретри* написал на нее музыку...—Песня, которую Руже де Лиль сочинил в Страсбурге в апреле 1792 г., называлась «Боевая песня Рейнской армии». Использовал мелодию из оратории композитора Гризона (а не Гретри). В Париж эту песню, ставшую впоследствии национальным гимном Франции, принесли марсельские батальоны, поэтому она стала известна как «Песнь марсельцев», или «Марсельеза». В политических убеждениях Руже де Лиль остался умеренным конституционалистом.

Стр. 537. *Комитет двенадцати*—создан по требованию жирондистов для расследования деятельности руководителей Коммуны. После восстания 31 мая—2 июня распущен.

Карно Лазар (1753—1823)—математик, член Законодательного собрания, Конвента, Комитета общественного спасения. Организатор борьбы против интервентов. Находился в оппозиции к Робеспьеру. Впоследствии—член Директории.

Дюмурье Шарль Франсуа (1739—1824)—французский генерал, один из командующих революционной армии при Вальми, после поражения при Неервиндене (1793) перешел на сторону интервентов.

Стр. 538. *Пинель* Филипп (1745—1826)—выдающийся французский психиатр.

Стр. 540. ...*Вольтер вышел из Бастилии*...—Вольтер был заключен в Бастилию в 1717 г. за сатиру на регента Филиппа Орлеанского.

Стр. 543. ...*слышал... от Кондильяка*...—Кондильяк Этьенн Бонно (1715—1780)—философ-просветитель, сотрудник «Энциклопедии».

Стр. 550. ...*родился в день всех святых*...—Туссен (фр. «Toussaint») — название праздника всех святых (1 ноября).

Стр. 554. *Латур* Луи Антуан (1808—1881)—французский писатель и поэт.

Стр. 558. *Госпожа Ролан* Жанна Мари (1754—1793)—жена министра внутренних дел Ролана, хозяйка салона, где собирались вожди жирондистов, автор «Мемуаров». Осуждена и казнена по делу жирондистов.

Стр. 559. ...*города федералистов*...—Озабоченные усилением политической роли революционного Парижа в стране, жирондисты поддерживали движение за автономию отдельных департаментов (федерализм), по их призыву в Париж прибывали вооруженные силы из провинций.

Стр. 560. *Анахарсис Клотц* (точнее Клоотс), барон (1755—1794)—немец по происхождению, принимавший активное участие во Французской революции, член Конвента. Был сторонником экспансии революционных войн до создания всемирной республики. Казнен вместе с эбертистами.

Стр. 561. *Федераты южных департаментов*...—Федератами называли членов добровольных объединений (федераций) Национальной гвардии,

созданных для защиты отечества в июле 1792 г. Никакого отношения к федералистам они не имеют.

Стр. 563. *Жак Ру* (1752—1794) и *Жан Варле* (1764—1832)—плебейские революционеры, прозванные «бешеными», составлявшие левую оппозицию якобинскому правительству. Критиковали конституцию 1793 г. за ущемление прав бедноты. В сентябре 1793 г. лидеры «бешеных» были арестованы. Ру покончил с собой.

Стр. 564. *Комитет общественного спасения* был создан в апреле 1793 г. для руководства обороной страны, после падения жирондистов стал высшим органом исполнительной власти, во главе его стоял Робеспьер.

Стр. 565. *...армией Фрерона...*—Фрерон Луи Мари Станислас (1754—1802)—беспринципный политик, стяжатель; назначенный комиссаром Конвента в Марсель, он под видом защиты революции проводил массовые казни и наживался на взятках и казнокрадстве. Один из инициаторов термидорианского переворота.

Стр. 569. *Эро де Сешель* Мари Жан (1759—1794)—член Комитета общественного спасения, единомышленник Дантона, казнен вместе с ним.

Сторонники Гебера...—Имеется в виду Жак Эбер—см. о нем примеч. к стр. 564 I т.

Стр. 572. *Хозе Мариа Эредиа*.—Так в старых переводах именовался Жозе Мария де Эредиа (1842—1905), французский поэт, автор сборника сонетов «Трофеи». Цитированы строки из стихотворения «Видение Кема».

Стр. 573. *Лафатер* Иоганн Каспар (1741—1801)—автор популярного в конце XVIII—начале XIX в. трактата по физиогномике.

Стр. 574. *...к Фукье-Тенвилю...*—Фукье-Тенвиль Антуан Кантен (1746—1795)—верховный прокурор революционного трибунала.

Стр. 583. *Мабли* Габриэль Бонно (1709—1785)—французский философ, брат Кондорсе, ученик Руссо, развивал идеи утопического коммунизма.

...Корсиканской конституцией Жан Жака Руссо.—Ж.-Ж. Руссо составил в 1765 г. проект конституции для Корсики.

Колло д'Эрбуа Жан Мари (1749—1796)—член Конвента, принадлежавший к левой оппозиции, один из организаторов переворота 9 термидора. Покушение на него Амираля произошло 23 мая 1794 г.

Стр. 586 *...«Индийская компания» ликвидируется...*—Дело о злоупотреблениях и махинациях администрации Ост-Индской компании, закончившееся решением о ее ликвидации, рассматривалось в Конвенте осенью 1793 г.

Стр. 594. *...на имя гражданки Жозефины Ташер де ла Пажери.*—Жозефина Ташер де ла Пажери (1763—1814)—уроженка о. Мартиники, в первом замужестве Богарне, стала в 1796 г. женой Наполеона Бонапарта, в 1804 г.—императрицей.

Стр. 613. *...погибнет... как Христоф Колумб...*—Христофор Колумб был арестован по приказу короля и королевы и привезен закованным в цепи в Испанию. Однако вскоре был выпущен. Умер он разоренным и

забытым. В 1537 г. его останки были перевезены на Гаити, а когда там утвердились французы,— в Гавану.

Стр. 616. *...делом о покупке Луизианы.*—В 1801 г. Испания была вынуждена уступить Франции громадную территорию Луизианы, но утвердиться там французы не смогли. В 1803 г. Наполеон продал Луизиану США.

Стр. 622. *Сильвасы*—точнее сельвасы, сельва—тропические леса.

Стр. 624. *...герой... повести Клингера «Мефистофель»...*—Имеется в виду повесть Клингера (см. о нем примеч. к стр. 464 I т.) «Жизнь Фауста», написанная по мотивам немецкой легенды.

Стр. 629. *Формула Кардана...*—Кардано Джераламо (1506—1576)—итальянский философ, математик и врач.

Стр. 644. *...в полку Шатовье.*—Восстание полка Шатовье произошло в 1790 г. Участники его были приговорены к тридцати годам каторги. Законодательное собрание в 1792 г. освободило их, а парижане устроили в их честь праздник.

Стр. 645. *...в карманьолах...*—Карманьолы—куртки особого покроя, которые носили марсельские федераты и которые быстро вошли в моду в столице. «Карманьолой» названа и революционная песня, сложенная в это время.

...санкюлоты приняли фригийский красный колпак.—Фригийский колпак и республиканское знамя не имеют никакого отношения к описываемым событиям.

Стр. 646. *Шоферы* (от фр. «chauffer»)—нагревать.

Стр. 664. *...оказал важную услугу Первому консулу, вот почему Леклерк д'Остен получил руку Марии Полины.*—I брюмера (9 ноября 1799 г.) Леклерк и Мюрат во главе гренадеров изгнали из зала заседания членов законодательной палаты. Однако его брак с Полиной Бонапарт был заключен раньше.

Стр. 681. *Ты видишь: я в плену...*—строки из сонета Ж.-М. Эредиа «Раб».

Н. Мавлевич



СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТЬ О БРАТЬЯХ ТУРГЕНЕВЫХ	7
ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ	
<i>Часть первая.</i> Белая Франция	350
<i>Часть вторая.</i> Красная Франция	500
<i>Часть третья.</i> Черная Франция	572
Примечания <i>Н. Мавлевич</i>	689

Виноградов А.

В49 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 2.

Повесть о братьях Тургеневых: Роман: Черный консул: Историческая повесть в трех частях. /Примеч. Н. Мавлевич.—М.: Худож. лит., 1988.—718 с.

ISBN 5-280-00117-1

ISBN 5-280-00433-2

В том вошли «Повесть о братьях Тургеневых» о видных деятелях декабристского движения и историческая повесть «Черный консул» о руководителе восстания негров-рабов на острове Гаити—Туссене Лувертюре.

4702010200-295
В _____ **подписное**
028(01)-88

ББК 84Р7

АНАТОЛИЙ КОРНЕЛИЕВИЧ ВИНОГРАДОВ

Собрание сочинений

Том 2

Редактор *Н. Новикова*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректоры *Б. Тумян, Т. Филиппова*

ИБ № 4717

Сдано в набор 07.01.87. Подписано в печать 10.08.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Баскервиль». Печать высокая. Усл. печ. л. 37,8. Усл. кр.-отт. 37,8. Уч.-изд. л. 40,55. Изд. № III-2673. Тираж 200 000 экз. Заказ № 804.

Цена 3 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Диaposитивы текста изготовлены в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28. Отпечатано в Ленинградской типографии № 2 головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.

